



БИБЛИОТЕКА

Калязинского

О-ва Потребителей



Шкафъ

6

Полка

6

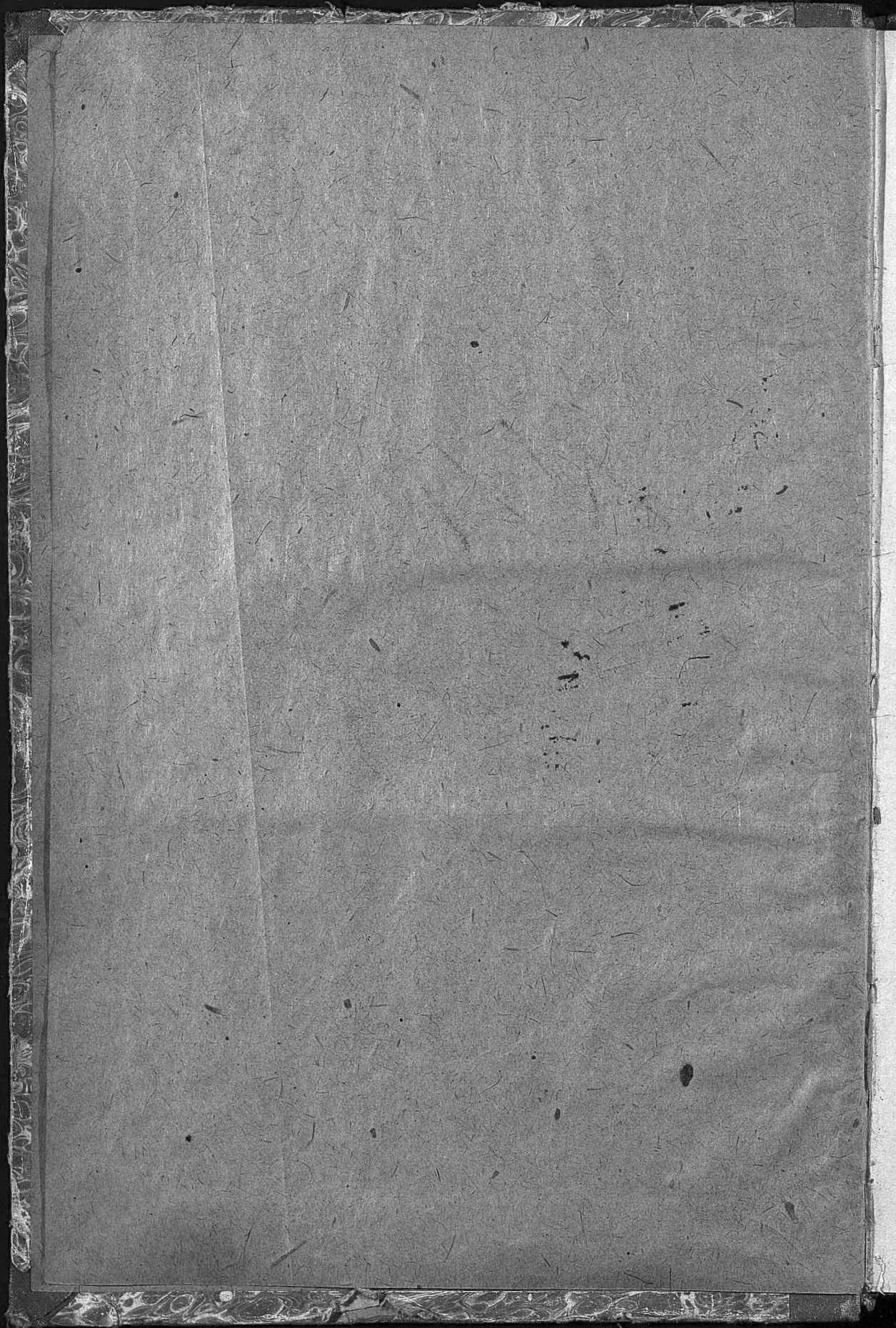
№

2



N4







# ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

*Ззззз*  
*м.б.н.*

ЖУРНАЛЬ

НАУКИ—ПОЛИТИКИ—ЛИТЕРАТУРЫ,

ОСНОВАННЫЙ М. М. Стасюлевичемъ въ 1866 году.

15591  
49

СОРОКЪ-ВОСЬМОЙ ГОДЪ.

Библиотека  
АПРѢЛЬ.  
КНИЖНИКА  
О-ва Потребителей

Редакція и Главная Контора журнала: Моховая, 37.

Журнальный фонд  
Московской обл. библиотеки

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1913.

*W*



# ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКѢ въ 1913 г.

(Сорокъ-восьмой годъ)

## „ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ НАУКИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ,  
издаваемый М. М. КОВАЛЕВСКИМЪ, подъ редакціей К. К. АРСЕНЬЕВА  
и Д. Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКАГО,

ПРИ ВЛИЖАЙШЕМЪ УЧАСТИИ:

И. В. ЖИЛКИНА, М. М. КОВАЛЕВСКАГО, Н. А. КОТЛЯРЕВСКАГО, В. Д. КУЗЬ-  
МИНА - КАРАВАЕВА, А. А. МАНУИЛОВА, А. С. ПОСНИКОВА, М. А. СЛАВИН-  
СКАГО, Л. З. СЛОНИМСКАГО и К. А. ТИМИРЯЗЕВА.

### ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

	На годъ:	По полугодіямъ:	По четвертямъ года:
Безъ доставки, въ Конторахъ журнала . . . . .	15 р. 50 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.
Въ Петербургѣ и Москвѣ, съ доставкою . . . . .	16 » — »	8 » — »	4 » — »
Въ друг. городахъ, съ перес. За границей, въ госуд. почтов. союза . . . . .	17 » — » 19 » — »	8 » 50 » 9 » 50 »	4 » 25 » 4 » 75 »

Отдѣльная книга журнала, съ доставкою и пересылкою 1 р. 50 к.

### ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

#### ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ:

въ Главной Конторѣ журнала, Моховая, 37,  
въ книжныхъ магазинахъ: М. М. Стасю-  
левича, В. О., 5 л., 28; К. Риккера, Нев-  
скій, 14; А. Ф. Цинзерлинга, Невскій, 20;  
Т-ва М. О. Вольфъ, Невскій, 13, и въ  
Гост. Дворѣ.

#### ВЪ КІЕВѢ:

въ книжномъ магазинѣ Н. Я. Оглоблина,  
Крещатикъ, 33.

#### ВЪ МОСКВѢ:

въ Отдѣленіи Конторы журнала: Тверской  
бульв., 15, въ книжн. магаз. Н. П.  
Карбасникова, на Моховой, и въ конторѣ  
Н. Печковской, въ Петровскихъ линіяхъ.

#### ВЪ ОДЕССѢ:

въ книжн. магаз. «Образованіе», Рижельев-  
ская, 12; въ книжн. магаз. «Одесскихъ  
Новостей», Дерибасовская, 20; въ книжн.  
магаз. «Трудъ», Дерибасовская, 25.

#### ВЪ ВАРШАВѢ:

въ книжномъ магазинѣ «С.-Петербургскій Книжный Складъ» Н. П. Карбасникова.

**Примѣчаніе.**—1) Почтовый адресъ долженъ быть написанъ четко и заклю-  
чать въ себѣ: имя, отчество, фамилію и точное названіе мѣста жительства и губерніи.  
если въ мѣстѣ жительства подписчика нѣтъ почтового учрежденія, *идѣ допускается вы-  
дача журналовъ, необходимо указать ближайшее почтовое учрежденіе, идѣ таковая выдача  
производится.*—2) Переимѣна адреса должна быть сообщена Главной конторѣ журнала  
не позже 26-го числа каждаго мѣсяца, съ указаніемъ прежняго адреса; переимѣна адреса,  
поступившая въ Контору послѣ 26-го, дѣлается лишь со слѣдующаго очереднаго но-  
мера. За переимѣну адреса городского на иногородній, уплачивается одинъ рубль; въ  
остальныхъ случаяхъ (съ иногороднаго на иногородній, иногороднаго на городской)  
за переимѣну адреса никакой платы не взимается.—3) Жалобы на неисправность до-  
ставки посылаются исключительно въ Главную Контору журнала и, согласно цирку-  
ляру Почтоваго Департамента, *не позже полученія слѣдующей книжки журнала.* Жалобы,  
поступившія позже этого срока, равно какъ и жалобы на неполученіе книжки, *въслѣдствіе  
несвоевременнаго заявленія о переимѣнѣ адреса,* оставляются Конторою безъ вниманія.—4)  
При доплатной подпискѣ необходимо указывать свой точный адресъ и фамилію, а  
также и *прежній адресъ,* если предшествовавшая взносу книжка получалась подпис-  
чикомъ по иному адресу.—5) Подписныя квитанціи высылаются Главною Конторою  
только тѣмъ изъ иногородныхъ или иностранныхъ подписчиковъ, которые приложить  
къ подписной суммѣ 14 коп. (можно и почтовыми марками).

РЕДАКЦІЯ и ГЛАВНАЯ КОНТОРА „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“.

Моховая, 37.

МОСКОВСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ: Тверской бульв., 15.

Типографія т-ва „Общественная Польза“, Спб., В. Подъячская, 39.



Библиотека

КРАСНОВСКОГО

О-ва Потребителей

## СОДЕРЖАНІЕ.

### КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. — АПРѢЛЬ.

	СТРАН.
I. ЮАННЪ-РЫДАЛЕЦЪ.—Ивана Бунина . . . . .	5
II. РОЖЬ.—Стихотвореніе.—Г. Вяткина . . . . .	11
III. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ.—Романъ (Окончаніе).—А. Тырковой . . . . .	12
IV. ВЫБАЮТЪ МИНУТЫ.—(Стихотвореніе).—Ал. Лугового . . . . .	83
V. НА РОДИНѢ.—Разсказъ.—Ник. Олигера . . . . .	84
VI. ИЗЪ СТАРЫХЪ ПИСЕМЪ.—Стихотвореніе.—Олега Леонидова . . . . .	126
VII. РЕЛИГИОЗНОСТЬ И ЕРЕСИ ВЪ XII—XIII ВѢКАХЪ.—Л. Карсавина . . . . .	128
VIII. «КОРНИ» НАРОДНИЧЕСТВА СЕМИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.—В. Я. Богучар- ский. «Активное народничество семидесятыхъ годовъ».—В. В. . . . .	146
IX. ХУДОЖНИКЪ-ПЕЧАЛЬНИКЪ.—(В. М. Гаршинъ).—Е. Колтоновской . . . . .	173
X. Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ, КАКЪ СОЦІОЛОГЪ.—Максима Ковалевскаго . . . . .	192
XI. ВЪ ГЛУБИНѢ ПРЕИСПОДНЕЙ.—Главы I—III.—Н. Морозова . . . . .	213
XII. КЛЯТВА СТЕФАНА ГУЛЛЕРА.—Романъ Голлендера (Продолженіе).—Съ нѣмецкаго, перев. З. Журавской . . . . .	264
XIII. ХРОНИКА.—Р. ПУАНКАРЭ.—Письмо изъ Парижа. (Политическая характе- ристика).—Бѣлоруссова . . . . .	219
XIV. ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ВЫСТАВКИ ВЪ МОСКВѢ.—Эммануила Хусида . . . . .	335
XV. ПРОЕКТЪ ПРАВИЛЪ О ПРОДАЖѢ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХЪ УЧАСТКОВЪ.— (Письмо изъ Сибири).—Сергѣя Крайскаго . . . . .	341
XVI. ЗАМѢЧАТЕЛЬНОЕ ИЗСЛѢДОВАНИЕ.—Однодневная переписка начальныхъ школъ въ Имперіи.—Ивана Янжула . . . . .	350
XVII. ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.—А. Ф. Кони и Е. Ф. Турау . . . . .	357
XVIII. ПРОВИНЦІАЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Съѣздъ правыхъ дворянъ.—Разслоеніе праваго дворянства.—Кошмары и страхи дворянства.—Страхъ предъ хулиганствомъ и надежды на репрессіи.—Ожиданіе погромовъ и воз- награжденія за нихъ.—Призраки революціи.—Ненависть и страхъ предъ прогрессивной печатью.—Убогое и безсильное хватанье праваго дворянства за колесо исторіи.—И. Жилкина . . . . .	361
XIX. ЧЕТВЕРТАЯ ДУМА И ВОПРОСЪ О ВСЕОБЩЕМЪ ИЗБИРАТЕЛЬНОМЪ ПРАВѢ.—Н. Арсеньева . . . . .	370
XX. ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАЩИТНИКЪ «УМИРАЮЩЕЙ ТУРЦІИ».—Л. Слоним- скаго . . . . .	376



XXI. ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. — Николай Клюевъ. Сосенъ перезвонъ. Его же. Лѣсныя были. — <b>Ч. В-скаго.</b> — Сергѣй Городецкій. Ива. Пятая книга стиховъ. — <b>Владимира Нарбута.</b> — А. Чапыгинъ. Нелюдимые. Разказы. — <b>Е. К.</b> — Александръ Амфитеатровъ. Ау! Сатиры, шутки, фельетоны и статьи. Его же. Эхо. — <b>Ч. В-скаго.</b> — Проф. Трельсъ-Лундъ (Копенгагенъ). Небо и міровозрѣніе въ круговоротѣ временъ. — <b>П. Юшкевича.</b> — Полное собраніе сочиненій Н. К. Михайловскаго. Томъ десятый. — <b>Ч. В-скаго.</b> — Рѣчи, произнесенныя въ торжественномъ засѣданіи Совѣта Императорскаго Московскаго Университета и Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ въ память 1812 года. — <b>И. Бороздина.</b> — И. Явинъ. Переселенческое движеніе въ Россіи съ момента освобожденія крестьянъ. — Е. С. Каратыгинъ. Въ странѣ крестьянскихъ товариществъ. — Н. Г. Воблый. Статистика (пособіе къ лекціямъ). — А. А. Кауфманъ. Теорія и методъ статистики. — <b>В. В.</b> — Письмо къ читателямъ о самообразованіи, Н. А. Рубакина — <b>А. Т.</b> . . . . .	385
XXII. ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. — Балканскія событія и ихъ результаты. — Политика великихъ державъ и Австро-Венгрія. — Странная роль русской дипломатіи. — Кампанія противъ Черногоріи. — Особенности нашей внѣшней политики и славянофильскія манифестаціи. — Албанскій вопросъ. — Перемѣна царствованія въ Греціи . . . . .	401
XXIII. ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ. — Несбывшіяся ожиданія. — Амнистія и смертная казнь. — Что разумѣлъ подъ «децентрализацией» В. К. фонъ-Плеве и что разумѣетъ Н. А. Маклаковъ? — Черезъ десять лѣтъ: предположенія и фактъ. — Нѣсколько иллюстрацій. — Отданіе чести студентами-медиками и «преобразование» военно-медицинской академіи. — Рокковыя послѣдствія «пріостановленія» дѣла Лыжина. — Юбилей Н. С. Таганцева. — Баронъ П. Л. Корфъ †. . . . .	412
XXIV. ЮБИЛЕЙ Д. Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКАГО . . . . .	428
XXV. БИБЛИОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ. . . . .	435
XXVI. НОВЫЯ КНИГИ И ВРОШЮРЫ . . . . .	439
XXVII. ОБЪЯВЛЕНІЯ . . . . .	443

ОТЪ РЕДАКЦІИ. Рукописи, присылаемыя въ редакцію для просмотра, должны быть переписаны на пишущей машинѣ и на одной сторонѣ листа; на отвѣтъ редакціи и на возвратъ рукописи заказной бандеролью должны быть приложены марки.

**Пріемъ редакторовъ:** К. К. Арсеньева — по субботамъ отъ 3½ до 4½ ч., Д. Н. Овсянко-Куликовскаго — по средамъ отъ 2 до 3 ч. (кромѣ праздниковъ).

**Пріемъ секретаря** — по средамъ отъ 11 до 1 ч., а также въ часы пріемовъ редакторовъ (кромѣ праздниковъ).



Библиотека  
КОЛЯЗИНСКАГО  
У-за Потребителей

## ЮАННЪ-РЫДАЛЕЦЪ.

Есть новая станція Грѣшное, есть старое степное село того же имени.

На станціи останавливается въ лѣтніе дни юго-восточный экспрессъ. На станціи голо и скучно. Казенный кирпичный вокзалъ, построенный слишкомъ низко по длинѣ, еще слишкомъ красенъ. Платформу замѣняетъ песокъ. Переходить по песку къ вокзалу трудно, да и зачѣмъ? Вокзалъ пусть и гулокъ, нѣтъ въ немъ ни буфета, ни книжнаго кіоска. А поѣздъ великолѣпный. Изъ открытых оконъ тяжелыхъ, запыленныхъ вагоновъ глядятъ богатые люди, ѣдущіе на Кавказъ: знаменитый чудовищно-толстый артистъ въ шелковой сѣрой шапочкѣ, черная красивая дама съ лорнетомъ, одинокая, но загадочно-недоступная, персіянинъ изъ Баку, не сводящій съ нея нагло-сонныхъ глазъ, худой англичанинъ съ трубкой въ зубахъ, молча и внимательно осматривающій эти необозримыя равнины, которымъ не уступаютъ только преріи... По доскамъ, вдоль поѣзда, медленно прогуливается широкій старичекъ-генералъ съ маленькими ножками, держитъ большой палецъ за бортомъ просторнаго мундира и дѣлаетъ разсѣянный видъ, втайнѣ наслаждаясь и тѣмъ, что у дверей вокзала вытянулся передъ нимъ жандармъ, и тѣмъ, что вотъ ѣдетъ онъ, генералъ, въ дорогомъ поѣздѣ на воды и гуляетъ съ открытой головой, скромный, спокойный за свое достоинство и во всѣхъ отношеніяхъ порядочный. Возлѣ пахнущаго кухоннымъ чадомъ вагона-ресторана, за зеркальными стеклами котораго пестрѣютъ цвѣты на бѣлоснѣжныхъ столикахъ, стоятъ бритые лакеи во фракахъ съ золотыми пуговицами, потный поваръ, поваренокъ, — все какъ будто тѣ же самые, что



видѣлъ англичанинъ и въ Египтѣ, и на французской Ривьерѣ. А громадный американскій паровозъ, весь горячій и блестящій масломъ, сталью, мѣдью, топится, дрожить отъ kloкочущей въ немъ силы, нетерпѣливо сдерживая ее. Ходить по выступамъ вокругъ его лежащаго туловища молодой кочегаръ съ багрово-пылающей масленкой въ рукѣ. Шумить рукавъ водокачки, наполняя глубокий тендеръ... И вотъ, вода уже переливается черезъ его края, все, что нужно, сдѣлано, торопливо бьютъ въ колоколь у дверей вокзала, генераль, звеня серебряными шпорами, спѣшить въ свой вагонъ...

На станціи Грѣшное, когда скрывается въ степи поѣздъ, становится мертво и безлюдно. А село всегда живетъ ровной, тихой жизнью. Мужикъ, неизвѣстно зачѣмъ приходившій на станцію, долго стоялъ на пескѣ и думалъ: «Вотъ уйдетъ поѣздъ, пойду и я помаленьку..» Глядѣлъ на мужика англичанинъ, дивясь его шапкѣ, полусубку и бородѣ, слинявшей на солнцѣ. Глядѣлъ и мужикъ на англичанина, но разсѣянно: селу нѣтъ никакого дѣла до поѣзда. Когда поѣздъ скрывается, мужикъ, безо всякаго желанія, съ притворнымъ наслажденіемъ крякая, выпиваетъ двѣ кружки теплой воды изъ станціонной бочки, вытираетъ бороду и бредетъ домой. Бредетъ онъ неспѣша: время неопредѣленное, ни дневное, ни вечернее — въ такую пору дѣлать нечего, думать не хочется, да неопредѣленна и погода: зашло солнце за облачко — не жарко и въ полусубкѣ, хотя, конечно, можно было и не надѣвать его. Дорога отъ станціи къ селу пролегаетъ по выгону, мимо большой княжеской усадьбы и старой каменной церкви, что напротивъ нея, возлѣ погоста. Поровнявшись съ церковью, мужикъ, по привычкѣ, снимаетъ шапку и крестится, низко кланяясь: на станціи Грѣшное останавливается экспрессъ, а въ селѣ Грѣшномѣ, за оградой церкви, возлѣ алтаря, рядомъ съ могилой князя, старичка-вельможи, ссорившагося съ самимъ царемъ, почиваетъ блаженный, Христа ради юродивый Іоаннъ-Рыдалецъ.

Княжеская усадьба въ селѣ Грѣшномѣ, конечно, старая и давно всѣми забытая: необитаемъ ея каменный двухъ-этажный домъ, полуразрушены каменные службы, черенъ и дикъ садъ. Погостъ на выгонѣ—голый, бугристый, съ двумя-тремя изсохшими раkitами. Церковь грубо испорченнаго византійскаго склада—приземиста и по камню окрашена темно коричневой краской. А въ оградѣ ея, за алтаремъ, не мало разсѣяно широкихъ чугунныхъ плитъ. А какъ разъ возлѣ оконъ алтаря высятся два огромныхъ кирпичныхъ гроба, тоже прикрытыхъ пли-



тами. И съ великимъ удивленіемъ прочтеть всякій, не знающій преданій села Грѣшнаго, отлитыя на этихъ плитахъ имена подъ ними покоящихся: на одной—имя князя и вельможи, а на другой—раба его, землянскаго крестьянина Ивана Емельянова Рябина. Такъ и сказано: крестьянинъ такой-то, родившійся и умершій тогда-то, а ниже: Іоаннъ-Рыдалецъ, Христа Нашега ради юродивый. Князь и вельможа, вольнодумный богохульникъ, только передъ самой кончиной примирился съ Богомъ и людьми. И, по княжескому желанію, ничто, кромѣ имени и начала покаяннаго псалма Давида, не украсило княжеской могильной плиты. Плита-же юродиваго, не выразившаго никакихъ предсмертныхъ желаній, украшена стихами и однимъ изъ любимѣйшихъ плачей его: «Юродъ, неряшенъ міру онъ казался»—говорить строфа, посвященная его памяти неизвѣстнымъ авторомъ. А подъ нею отлиты тѣ горькія и страшныя слова пророка Михея, съ которыми и умеръ юродивый: «Буду рыдать и плакать, буду ходить, какъ ограбленный, буду выть, какъ шакалы, и вопить, какъ страусы»!

Тѣ, что ѣдутъ въ экспрессѣ на воды, знаютъ не мало о князѣ—изъ книгъ. А въ селѣ Грѣшномъ образъ его смутенъ; село знаетъ только то, что лѣтъ сто тому назадъ пріѣхалъ онъ доживать свой вѣкъ въ грѣшинской глуши, что малъ ростомъ и чуденъ былъ онъ, что странными поступками ознаменовалъ онъ свой пріѣздъ. Доложили ему рано утромъ въ день новаго года, что пришелъ священникъ съ причтомъ. «Позвать его въ залу»—сказалъ князь—и долго, долго заставилъ ждать себя. А внезапно выйдя изъ маленькой боковой двери въ эту огромную холодную залу, еще не бритый, безъ парика, въ сапожкахъ и халатикѣ на заячьемъ мѣху, отрывисто спросилъ священника: «Зачѣмъ, сударь, пожаловалъ»? Священникъ оробѣлъ, смущенно отвѣтилъ, что желалъ-бы совершить служеніе. И князь, ѣдко засмѣявшись, будто-бы сказалъ ему: «Такъ служи мнѣ, сударь, панихиду». «Но осмѣлюсь спросить, ваше сіятельство,—по комъ-же»? «А по старому году, сударь, по старому году!»—сказалъ князь—и самъ подтягивалъ причту, не дерзнувшему послушаться... Въ этотъ-то день и отдано было первое приказаніе—дать полсотни розогъ Ивану, съ плачемъ и лаемъ выскочившему изъ ельника на князя, на разметенную аллею, по которой гулялъ князь.

Тѣ, что ѣздить мимо станціи Грѣшное, ѣдутъ, если они богомольны, на поклонъ угоднику воронежскому, а про грѣшинскаго, мужицкаго, даже и не слыхали никогда. Въ селѣ же



Грѣшномъ вотъ что рассказываютъ. Росѣ, говорятъ, Ваня въ семьѣ честной и праведной, у родителей своихъ, выселенныхъ княземъ подъ Землянскъ-городъ. Съ раннихъ лѣтъ полюбилъ онъ писаніе. Хорошія книжки носилъ онъ и съ богомолья, отъ Царицы Небесной—къ Ней на поклонъ онъ съ бабами часто ходилъ. Мать настаиваетъ, отецъ кланяется: женись сыночекъ! А онъ плачетъ, рыдаетъ, проситъ себѣ отъ Бога видѣнія, на Аeonъ собирается. Вышло ему въ видѣніи испытаніе: послушаться отца. Всталъ онъ на ранѣ, далъ отцу полное согласіе. Сыграли свадьбу, положили молодыхъ въ отхожую спальню, а они другъ дружки не коснулись, вышли оба заплаканные. Сѣлъ Ваня опять за свое, за всякое священное письмо, а день хорошій, морозный, за ночь снѣгъ выпалъ, виденъ слѣдокъ вездѣ: всѣ къ обѣдни пошли, пошла и молодая съ новыми родными, только Ваня одинъ дома, не пожелалъ и въ церковь пойти. И видитъ въ окно: подъѣзжаетъ къ окну поповъ работникъ въ новыхъ розвальняхъ, на ворономъ коню: лошадь отличная, поповская, хлѣбная. Подходитъ работникъ, стучитъ кнутовищемъ: «Ваня, велѣлъ тебѣ отецъ въ церковь ѣхать, взять съ собою лапти новые и денегъ двадцать копѣекъ». Ваня говоритъ: «Да я и не знаю, гдѣ деньги у отца». «А за образами,—говоритъ поповъ работникъ, въ гаманѣ лежатъ». (по нашей мѣстности всегда такъ—какую записочку волостную, поминаніе—все туда кладутъ, а допрежъ и деньги класть не боялись). Нечего дѣлать, досталъ Ваня деньги, надѣлъ армячекъ, вышелъ, сѣлъ въ сани, на колѣнки, поѣхалъ по селу, увидалъ на горѣ храмъ Божій, сказалъ: «Господи Исусе...» И только сказалъ—глядь, сидитъ онъ въ степи, въ полѣ, на снѣгу, на морозѣ, разутъ, раздѣтъ, новые лапти на ногахъ, старые осметки на веревкѣ черезъ плечо, а самъ плачетъ-рыдаетъ. Узнали въ селѣ объ томъ, наладили подводу за Ваней, хотятъ во соборню везть, думали бродяга какой, а онъ плачетъ, рыдаетъ, на всѣхъ, какъ цѣпной кобель кидается, самъ кричитъ на все поле: «Буду, буду ходить, какъ ограбленный, буду вопить, какъ штраусы!» Ну, конечно, навалились всѣмъ міромъ-соборомъ, избили до безчувствія, связали, повезли, а навстрѣчу отецъ идетъ: пришедъ, говоритъ, отъ обѣдни, вижу, сына нѣту, а видать чей-то пѣшій слѣдъ пробить за гумна, за овины; пошелъ я, говоритъ, по этому слѣду и вижу: лапти новые, а слѣдъ отъ одной ноги до другой—болѣ трехъ сажень...

Село Грѣшное этимъ и кончаетъ житіе святого. А жизнь его смутно помнятъ лишь двѣ, три старухи, доживающихъ свой долгій вѣкъ въ княжеской мертвой усадьбѣ. Всю свою жизнь,



говорять онѣ, Иванъ скитался и непристоенъ былъ. Онъ долго сидѣлъ на желѣзной цѣпи въ отцовской избѣ, грызъ себѣ руки, грызъ цѣпь, грызъ всякаго, кто къ нему приближался; часто кричалъ свое любимое: «дай мнѣ удовольствіе!»—и былъ нещадно бить и за ярость свою, и за непонятную просьбу. А сорвавшись однажды, пропалъ—и объявился страннымъ, пошелъ по селамъ, всюду съ лаемъ и оскаленными зубами кидаясь на господъ, на начальниковъ и въ слезахъ вопя: «Дай мнѣ удовольствіе!». Былъ онъ безобразно худъ, ходилъ въ одной длинной рубахѣ изъ веретя, подпоясывался обрывкомъ, за пазухой носилъ мышей, въ рукѣ—желѣзный ломъ и ни лѣтомъ, ни зимой не надѣвалъ ни обуви, ни шапки. Кровавоглазый, съ пѣной на губахъ, со всклокоченными волосами, съ рыдающимъ лаемъ гонялся онъ за людьми—и люди, крестясь, бѣжали отъ него. Былъ онъ уже славенъ, былъ пораженъ какою-то болѣзнию, все лицо его покрывшей бѣлой известковой коркой и сдѣлавшей еще ужаснѣе его кровавые глаза, былъ особенно яростенъ, когда пришелъ въ Грѣшное, прослышавъ о пріѣздѣ князя. Приказавъ отнять у него ломъ и при себѣ выпоротъ,—конюхи плакали, растягивая Рыдальца, съ воплями кусавшаго ихъ,—князь сказалъ: «Вотъ тебѣ, Иванъ, и удовольствіе. Я бы могъ тебя въ кандалы заковать и въ тюрьмѣ сгноить, да я, сударь, не злобенъ: гуляй себѣ, проповѣдуй, ори, но меня не безпокой. Если же ты не уймешься, то я неуклончиво буду доставлять тебѣ удовольствіе, о коемъ ты кричишь, уподобляя себя страусу». И такъ какъ Иванъ не унялся, чуть не каждую недѣлю прежде-стоко пугалъ князя, выскакивая изъ-за угловъ и запуская въ него мышами, то и таскали чуть не каждую недѣлю конюхи люто оравшаго Рыдальца на конюшню...

Въ старомъ селѣ Грѣшномъ скоро забываютъ прошлое, были скоро претворяютъ въ легенду. Ивана-Рыдальца запомнили надолго, можетъ быть, только потому, что на самого князя возставалъ онъ, а князь всѣхъ поразилъ своимъ предсмертнымъ словомъ. Онъ, когда ему, больному и изсохшему, доложили о кончинѣ Ивана, умершаго въ полѣ, въ дождливую осень, твердо сказалъ: «Схороните же сего безумца возлѣ церкви, а меня, вельможу-князя, положите рядомъ съ нимъ, съ моимъ холопомъ». И сталъ Иванъ Рябининъ Іоанномъ-Рыдальцемъ, и видится теперь онъ селу Грѣшному, точно въ церкви написаннымъ—кровавоглазый и скорбный, полунагой и дикій, какъ пророки, всю жизнь вопившій о какой-то радости и умершій въ грязномъ полѣ. Но святымъ и пророкомъ онъ все-таки не сталъ: не вѣрить село



Грѣшное въ мужицкихъ святыхъ, крестится и кланяется, а не вѣрить—всѣ святые, думаетъ оно, всѣ настоящіе угодники не мужиками, а монахами, священниками, архимандритами были. И дивится наслѣдникамъ князя.

На станціи Грѣшное каждый годъ въ началѣ осени сходить съ экспресса и направляется по выгону къ церкви, сопровождаемая начальникомъ станціи, некрасивая, худая дама въ траурѣ съ красивымъ тонконогимъ корнетомъ подъ руку. У церковной ограды съ поклонами встрѣчаетъ ихъ полный священникъ въ черной ризѣ и дьячекъ съ кадиломъ. Надъ полями уже тянутся низкія, темныя тучи, дуетъ сырой, холодный вѣтеръ. Но священникъ и дьячекъ стоятъ съ обнаженными головами. А входя въ церковную ограду, обнажаютъ головы и корнетъ, и начальникъ станціи, слѣдующій позади всѣхъ и спокойнымъ видомъ своимъ дающій понять, что идетъ онъ только ради вѣжливости. Сзади всѣхъ, спокойно и вѣжливо, стоитъ онъ и тогда, когда начинается развѣваться по вѣтру пахучій кадильный дымъ надъ страшными кирпичными могилами, и обходить ихъ, кадя и поклоняясь, возглашая вѣчную память князю и рабу его, священникъ въ черной ризѣ. Корнетъ молится разсѣянно. Онъ, юный, красиво наряженный, выставляетъ впередъ острое колѣно, крестится мелкими крестиками и склоняетъ маленькую головку съ той недоведенной до конца почтительностью, съ которой кланяются святымъ и прикладываются къ нимъ люди мало думающіе о святыхъ, но все-таки боящіеся испортить свою счастливую жизнь ихъ немилостью. Но дама плачетъ. Она заранѣе поднимаетъ вуаль, опускаясь на колѣни передъ могилой Ивана Рябина, Иоанна-Рыдальца,—она знаетъ, что сейчасъ навернутся на глаза ея слезы. «Юродъ, неряшенъ міру онъ казался»—читаетъ она на гробовой плитѣ. И слова эти трогаютъ, умиляютъ ее. А страшныя слова пророка Михея, упоминаніе шакала и страуса внушаютъ ей трепетъ и тоску. И она плачетъ долго и горько, стоя на колѣняхъ, опершись одной рукой, въ перчаткѣ, на тонкій зонтикъ, а другой—голубой, прозрачной, въ кольцахъ—прижимая къ глазамъ и отрывая отъ нихъ, съ мольбой, грустью и слезами устремленныхъ на могилу, маленький батистовый платокъ.

И. в. Бунинъ.





---

## РОЖЬ.

---

Цвѣтущей ржи звенящій шелестъ  
И тихій лепетъ васильковъ,  
А тамъ, вверху, пустыня неба  
И караваны облаковъ.

И видно, какъ горячій воздухъ  
Течетъ надъ рожью, какъ подъ нимъ  
Она, склоняясь, сонно млѣетъ  
И сыплетъ цвѣтомъ золотымъ.

Когда-жъ съ полей промчится вѣтеръ,  
Колосья вздрогнуть, пробѣжитъ  
Живая рябь по нимъ широко,  
Рожь затрепещетъ, зашумитъ

И кланяется долго, долго...  
Промчалась бурная волна  
И вновь кругомъ подъ знойнымъ солнцемъ  
Покой, дремота, тишина.

А темносиними ночами,  
Когда поля блѣдны отъ росъ,  
Бъ хлѣбамъ блаженно-задремавшимъ  
Нисходитъ ласковый Христосъ.

Онъ медленно идетъ межами,  
И радостно, со вѣхъ сторонъ  
Цѣлуютъ травы и колосья  
Его бѣлѣющій хитонъ.

Г. Вяткинъ.

---



---

# ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ.

(Окончаніе <sup>1)</sup>).

## XVI.

На лѣто Елизавета Ивановна съ дѣтьми уѣхала въ Старую Руссу. Ольга Пѣнкина сняла тамъ театръ и взяла просторный старый домъ, въ которомъ они всѣ и поселились.

Кругомъ былъ садъ съ высокими, густыми липами, съ кустами еще доцвѣтавшихъ душистыхъ сиреней, съ полусгнившей бесѣдкой, по которой ползли цѣпкія вѣтки хмеля. Въ глубинѣ, надъ заборомъ, серебрились громадныя тонко-лиственныя, серебристыя ивы.

Тиночка съ восторгомъ обѣжала заросшія, мшистыя дорожки, гдѣ пахло сыростью запущенной чащи, и, веселая и возбужденная, влетѣла въ столовую.

— Мамочка, какъ хорошо! Совсѣмъ такой садъ, какъ у Тургенева.

Сестры съ усмѣшкой переглянулись и глазами сказали другъ другу, что Тиночка милая, что у нея хорошенькое, полное жизни лицо, что уже ближе придвигается къ ней сложная и путанная дѣвичья жизнь, и Богъ знаетъ, что готовить ей судьба.

Даже Вася, несклонный къ сантиментальному любованью природой, подошелъ къ открытой на широкій балконъ двери и сказалъ ломающимся баскомъ:

---

<sup>1)</sup> См. мартъ, стр. 80.

— Да, воздухъ того... Пользительный.

— Ахъ ты, бурса, вотъ я тебя обломаю! — закричала тетка, вскочила и бросилась къ племяннику.

— Нѣтъ, тетенька, живой не дамся, — воскликнулъ Вася и выбѣжалъ въ садъ.

Актриса, подобравъ длинный шлейфъ бѣлаго, батистоваго капота, со смѣхомъ бросилась за нимъ. Потомъ остановилась:

— Ну тебя, барбось ты этакій... Только въ грѣхъ вводишь. Мнѣ докторъ запретилъ бѣгать.

Елизавета Ивановна смѣялась и ласково смотрѣла на сестру, такую красивую, такую нарядную на свѣтломъ фонѣ залитой солнцемъ садовой площадки. Голубое небо, зелень листвы, воздухъ, налитый запахомъ еще весенней земли и уже распустившихся цвѣтовъ, веселый гомонъ птицъ, что то толковавшихъ другъ другу подъ окномъ, все придавало жизни неиспытанную веселую легкость.

На маленькой дачкѣ, въ Парголово, куда изъ года въ годъ выѣзжали Рябовы на лѣто, тоже были и поля, и лѣса, и небо. Но туда переносилась частица ихъ городской жизни, что-то холодное и сѣрое, что застывало во всѣхъ углахъ ихъ квартиры, прилипало ко всѣмъ вещамъ рябовскаго дома. Когда хозяинъ дома, усталый и голодный, отяжелѣвшей походкой разсѣяннаго чиновника, подходилъ къ калиткѣ дачи, вслѣдъ за нимъ вползало это неуловимое, давящее нѣчто. Онъ появлялся къ вечеру, какъ разъ въ то время, когда человѣкъ больше всего принадлежитъ себѣ, когда вкрадчивѣе и мягче звучатъ голоса природы. Но Рябовъ никогда къ нимъ не прислушивался. Тающія очертанія облаковъ, неуловимый вкусъ воздуха, неожиданный оттѣнокъ листвы, пронизанной красными лучами заката, — все это шло мимо него. Парголово озеро давало ему столько же удовольствія, сколько могло бы дать и море. По воскресеніямъ онъ гулялъ съ дѣтьми по парку и взбирался на плоскіе холмики съ такимъ довольнымъ лицомъ, точно подымался на Юнгфрау. Дѣти терпѣть не могли этихъ прогулокъ, но покорно подчинялись необходимости.

Въ Старой Руссѣ дѣти какъ будто въ первый разъ увидали природу. Аллеи и лужайки парка, гряда облаковъ, измѣнчиво и очаровательно грозоздившаяся на закатѣ, серебристыя гигантскія ивы, свѣсившія свои гибкія, длинныя вѣтви надъ глинистымъ краснымъ обрывомъ около мутнаго, желтаго ручья, поля, и нивы, и перелѣски, тянувшіеся за городомъ, каждая подробность богатой всѣми отливами изумруда сѣверной природы будили и



въ дѣтяхъ, и въ матери рядъ новыхъ, ласкающихъ впечатлѣній. Они не лѣзли другъ къ другу, не навязывали своихъ ощущеній, даже не старались выразить ихъ опредѣленными, неизбежно мертвящими словами. Только обмѣнивались улыбкой, взглядомъ, торопливой, короткой фразой, чтобы другіе тоже успѣли взглянуть, не пропустили.

Каждый по своему радовался и богатѣлъ отъ красоты, которую короткое, измѣнчивое сѣверное лѣто щедро разсыпало надъ стариннымъ, непритязательнымъ, похожимъ на деревню городомъ. Но то, что они всѣ жадно пили изъ общей чаши, безъ словъ сближало ихъ, дѣлало ихъ болѣе чуткими и мягкими другъ къ другу.

Съ утра сестры вмѣстѣ пили братья ванны.

Актриса, смѣясь, объясняла:

— Мы обѣ лѣчимся. Она отъ излишней плодовитости, а я отъ безплодія.

Поднять Ольгу утромъ съ кровати было не легко. Она куталась въ одѣяло, и ворчала, и сквозь сонъ острила и декламировала. Но Елизавета Ивановна была неумолима. Полчаса спустя, пробираясь сквозь паркъ, актриса, уже забывъ теплоту постели, съ восторгомъ говорила:

— Господи, прелесть какая! Воздухъ то, воздухъ какой! А роса? Прямо лучше Тетовскихъ брильянтовъ. Какое безобразіе, Лизокъ, что мы это всегда просыпаемъ.

Онѣ входили въ длинные, прибранные коридоры, гдѣ было душно и тихо, точно въ больницѣ.

Баньщицы, привѣтливныя, внимательныя, забирали купальщицъ подъ свою власть, помогали имъ раздѣться, усаживали въ густую, липкую грязь, погружаясь въ которую тѣло становилось легкимъ и горячимъ.

— Барыня, милая, полотенце на головку-то положите, — казарменно ласковымъ голосомъ говорила краснощекая Ариша.

Острый, сѣрный запахъ слегка кружилъ голову. Теплота баюкала, торопливѣе гнала по жиламъ кровь, молоточками стучала въ вискахъ. Лѣнивая истома оковывала душу. Такъ пріятно было безропотно отдавать себя умѣлымъ, сильнымъ рукамъ Ариши. Она обливала водой, набрасывала простыню, крѣпко вытирала разгоряченное, ослабѣвшее отъ ванны тѣло; Елизавета Ивановна съ легкой улыбкой, смущенной и довольной, принимала всѣ эти услуги. Знала, что Ариша распространяетъ на нее то уваженіе, которое питаетъ къ Ольгѣ Пѣнкиной, и брала это, какъ должное.

Дома сестры, красныя, потныя, усталыя и пріятно воз-

бужденныя, опять ложились въ постель. Горничная подавала имъ кофе, горячій, съ густыми сливками, съ маленькими пухлыми булочками, на которыя такъ хорошо намазывалось желтое, холодное масло. Въ открытыя, большія окна заглядывалъ садъ, залитый солнцемъ. Было уютно, и удобно, и вкусно. Такъ хорошо болталось обо всемъ. Говорила больше Оля, рассказывала все, что накопилось за годъ, всякіе пустяки, анекдоты, волненія и удачи своей пестрой жизни. Елизавета Ивановна слушала. О чемъ ей было рассказывать? Хорошаго не было, а о томъ страшномъ, что переживали они съ Васей зимой, не хотѣлось теперь и вспоминать.

Приходила Тиночка, загорѣлая, хорошенькая, съ длинной свѣтлой косой, отъ которой на вискахъ и на затылкѣ выбивались золотистые завитки. Она тоже пила кофе, и болтала, и хохотала, наполняла большую, и безъ того свѣтлую, спальню веселымъ звономъ своего голоса и отъ ея присутствія все становилось еще болѣе праздничнымъ.

Съ тѣхъ поръ какъ Лиза ушла отъ любовной опеки матери и стала жить въ домѣ Рябова, она еще никогда не чувствовала себя такой спокойной и безпечной. Не было уже утромъ тягучей безрадостности, съ которой дома она встрѣчала каждый начинающійся день. Теперь она просыпалась съ смутнымъ ожиданіемъ чего-то легкаго, пріятнаго, что ждетъ ее, что уже стоитъ на порогѣ бодрствованія. И день за днемъ, часъ за часомъ ея усталая душа, смятая тусклою жизнью съ нелюбимымъ, всегда далекимъ мужемъ, распрямлялась, и свѣтлѣла, и молодѣла.

Младшая сестра командовала всѣмъ и всѣмъ. У Пѣнкиной было много возни съ театромъ, съ репетиціями, съ актерами, съ гостями, вѣчно смѣнявшимися въ ихъ домѣ. Но, дѣловитая и балованная, она умѣла все такъ наладить, что всѣмъ было хорошо и никто никому не мѣшалъ.

Елизавета Ивановна съ любопытствомъ разглядывала актрисъ, актеровъ, офицеровъ, помѣщиковъ, просто проѣзжихъ курортныхъ посѣтителей, то и дѣло появлявшихся въ ихъ столовой.

— Оля, какъ это ты находишь, что каждому изъ нихъ сказать?—съ удивленіемъ спрашивала она.

— Ахъ, Лиза, какъ же иначе, — съ легкой досадой говорила Оля, — вѣдь мы, актрисы, должны не только играть, а еще всякими способами поддерживать интересъ къ своей особѣ. Теперь еще легче, а ты послушала бы, что старухи рассказываютъ, на что имъ приходилось идти, чтобы выдвинуться. Прямо ужасъ!

Въ этой мелькающей у нихъ толпѣ были и поклонники



Пѣнкиной. Она принимала отъ нихъ и цвѣты, и конфеты, и всякое баловство, а сама смѣялась, показывая ровные, бѣлые зубы, позволяла цѣловать свои красивыя руки съ покрытыми лакомъ, розовыми ногтями, играла съ каждымъ по своему, точно кошка съ мышью.

Въ паркѣ дамы съ завистью разглядывали актрису, ея бѣлыя, дорогія, на видѣ такія простыя, платья, ея огромныя шляпы, изъ подъ которыхъ увѣренно и лукаво смотрѣли слегка подведенные, сѣрые глаза. Такимъ же лукавствомъ сіяла улыбка крупнаго, явно нарумяненнаго рта. Одинъ изъ самыхъ вкрадчивыхъ ухаживателей, невысокій плотный человѣчекъ съ чувственными еврейскими губами, увѣрялъ:

— Вы, Ольга Ивановна, даже ходите лукаво. Когда кончикъ вашей туфли мелькаетъ изъ подъ края юбки, это звучитъ для меня проникновеннѣе, чѣмъ взгляды тысячи красивыхъ женщинъ.

Правда, онъ былъ репортеръ, писалъ драму, которую считалъ символической, и собирался посвятить Ольгѣ Пѣнкиной, чтобы при ея помощи провести на сцену.

Актриса часто получала изъ-заграницы письма и телеграммы, и вся загоралась, вскрывая ихъ. Елизавета Ивановна знала, что это отъ князя Каганова, знала, что Оля ждетъ его къ себѣ, и радовалась за сестру и втайнѣ дивилась, что та сохранила способность такъ увлекаться. Себя она давно чувствовала старухой, хотя между ними было немного лѣтъ разницы. Многого въ жизни Ольги Пѣнкиной Елизавета Ивановна не знала, а если бы и знала, то не поняла бы. Но длинный списокъ любовныхъ приключеній сестры былъ для нея не тайной. И не только не осуждала она Олю, но испытывала какую-то удовлетворенность, точно видѣла въ чужой свободѣ противовѣсъ собственной связанности.

Князь, наконецъ, пріѣхалъ, высокій, дородный, по своему красивый. Онъ уже вышелъ изъ полка, занимался хозяйствомъ, вводилъ у себя какую-то сложную агрономію и все больше входилъ въ земскія дѣла. Въ немъ была спокойная, подлинная благовоспитанность, еще уцѣлѣвшая въ нѣкоторыхъ дворянскихъ семьяхъ. Со всѣми привѣтливый, со всѣми одинаковый, онъ умѣлъ слушать, всегда помнилъ о присутствіи другихъ. Въ тоже время была въ немъ неудержимая властность человѣка, у котораго сознаніе своего достоинства неразрывно связано, органически выросло изъ сознанія своего богатства и положенія. Это была

часть его самого, избавиться отъ этого ему было бы также трудно, какъ трудно измѣнить цвѣтъ своей кожи. Самъ онъ даже не замѣчалъ, не сознавалъ въ словахъ тѣ ощущенія, которыя выросли изъ принадлежавшихъ ему десятковъ тысячъ десятинъ земли, изъ денегъ, лежавшихъ въ банкѣ, изъ всего того разнообразнаго и привычнаго владычества надъ дорогими вещами и предметами, среди которыхъ вѣками проходила жизнь его рода, и уже почти 40 лѣтъ проходила его собственная жизнь. Это было тамъ, въ глубинѣ, а наверху жила искренняя и просвѣщенная благожелательность и къ отдѣльнымъ людямъ, и ко всему человѣчеству, и князь именно эти черты считалъ основными своими свойствами.

Съ появленіемъ князя, въ уютную, вольную жизнь, царившую около Ольги Пѣнкиной, вошло что-то болѣе сдержанное, важное. Въ домѣ всѣ сразу признали въ немъ хозяина, хотя онъ былъ только гость, нетребовательный и деликатный. Сѣдобородый Макарь, служившій еще отцу Сергѣя Григорьевича, былъ куда величественнѣе и капризнѣе самого князя. Надъ этимъ смѣялись, но охотно ухаживали за старикомъ, который по вечерамъ, на крылечкѣ около кухни, внушительно читалъ прислугѣ сочиненія Толстого.

Князь пріѣхалъ изъ-заграницы озабоченный и приподнятый. Онъ встрѣтился въ Парижѣ съ однимъ изъ земцевъ, подготавливавшихъ конституціонное движеніе, и теперь былъ весь охваченъ освободительными идеями.

— Мнѣ кажется, что я прямо переродился послѣ этой встрѣчи. Вы не можете себѣ представить, Ольга Ивановна, что это за человѣкъ, — съ несвойственнымъ ему восторгомъ рассказывалъ Кагановъ.

Ольга Ивановна слушала сдержанно, съ тревогой, похожей на ревность.

— Чего же онъ отъ васъ хочетъ? — осторожно говорила она, — вѣдь вы, кажется, и такъ у себя въ уѣздѣ много дѣлаете.

— Ну, конечно, кое-что дѣлаю. Но я вижу, что вся эта раздробленная культурная работа останется толченіемъ воды, если общій строй не перемѣнится.

— А вы собираетесь перемѣнить его при помощи буржуазіи? На нее рассчитываете? — раздался вдругъ вызывающій и звонкій голосъ Васи.

Всѣ обернулись. Юноша сидѣлъ на подоконникѣ въ парусинной гимназической блузкѣ, вытянувъ длинновязыя, тонкія



ноги. На загорѣломъ, повдоровѣвшемъ за лѣто лицѣ черные глаза блестѣли.

— А вы думаете, на кого надо разсчитывать?—безъ малѣйшей тѣни ироніи охотно отозвался князь.

— Конечно, на самосознаніе рабочихъ классовъ... Только классовая борьба мѣняетъ политическое положеніе...

Оля вопросительно взглянула на сестру. Откуда это? Елизавета Ивановна пожала плечами, съ недоумѣніемъ, потомъ сообразила. Вася познакомился съ двумя студентами. Одинъ былъ высокій, здоровенный, весельчакъ и пѣвунъ, другой, Михалинскій, маленькій, почти горбатый, съ длинными, какъ у обезьяны руками. Елизаветѣ Ивановнѣ они оба нравились, оба казались славными и умными, и она была довольна, когда изъ комнаты сына доносились ихъ молодые, густые голоса. И теперь ей было пріятно, что сынъ такъ смѣло вступаетъ въ споръ съ взрослыми.

— Но вѣдь рабочий классъ у насъ еще очень немногочисленъ. Россія страна земледѣльческая,—возразилъ ему князь.

— Ну хорошо, ну пусть земледѣльческая... Такъ кто же по вашему будетъ конституціи добиваться? Помѣщики, что ли? Держите карманъ... Да и развѣ это такъ важно, конституція? Велика штука! Есть поважнѣе...

— Что же?

— Ну, социальный вопросъ, конечно,—почему-то раздражаясь спокойствіемъ князя, отвѣтилъ Вася.

Они заспорили. Сестры слушали и плохо понимали, кто правъ, но Оля слегка досадовала на племянника, что онъ такъ рѣзко спорить съ такимъ человѣкомъ, какъ ея Сергѣй, а Елизавета Ивановна гордилась неожиданными для нея познаніями сына, тѣмъ, что онъ такъ увѣренно произноситъ непонятныя для нея слова.

Споры повторялись, разрастались и втягивали всѣхъ, кто приходилъ, и придавали новый, острый интересъ дачной жизни. Теперь уже оба студента принимали въ нихъ участіе, и два помѣщика, которые раньше болтали только о пустякахъ, и богатый купецъ, любитель театра и какія-то барышни-учительницы. Отчасти эту политическую атмосферу привезъ съ собой князь. Но и помимо него весь воздухъ кругомъ былъ пропитанъ новыми, настоячивыми, нетерпѣливыми мыслями и исканіями, которыя заставляли людей собираться вмѣстѣ и горячиться, кричать, спорить, ругаться и все-таки искать другъ друга.

Вслѣдъ за княземъ, чтобы повидаться съ нимъ, на нѣсколько

дней заѣхалъ въ Руссу молодой, шумливый адвокатъ изъ Москвы и тихенькій, съ лукавыми хохлацкими глазами, докторъ изъ Кіева. Они подолгу о чемъ-то разговаривали съ княземъ въ его комнатѣ, а когда выходили къ обѣду, адвокатъ рассказывалъ анекдоты обо всѣхъ знаменитостяхъ, съ которыми пьянствовалъ въ Москвѣ, дразнилъ Васю тѣмъ, что нѣмецкіе социалисты давно обуржуазились, а русскіе это проморгали, и говорилъ комплименты не только Ольгѣ Ивановнѣ, но и Тиночкѣ. Дѣвочка, вся розовѣя отъ удовольствія и смущенія, смѣло смотрѣла на него сѣрыми, уже поженски, измѣнчивыми глазами и шутливо отражала его шутки.

Только Елизавету Ивановну адвокатъ откровенно и добродушно не замѣчалъ. Она вообще терялась, ступевывалась въ томъ шумномъ, оживленномъ, разнообразномъ кружкѣ, который собрался вокругъ Ольги Пѣнкиной и князя Каганова. Къ нимъ тянулось все, что было кругомъ живого, интереснаго, подвижнаго. Ихъ всѣ знали, о нихъ сплетничали, за ними слѣдили, имъ завидовали. Князь принималъ это, какъ должное, а Ольга и тѣшилась маленькой, мѣстной славой, и постепенно сама увлекалась новыми идеями, которыми увлекся ея Сергѣй.

Съ его пріѣздомъ сестры рѣдко бывали вдвоемъ. Ванны кончились. Не было больше нѣжащихъ утреннихъ часовъ. Оля проводила все свободное время около князя. Она была все такая же веселая и ласковая и съ Лизой, и съ дѣтьми. Даже, можетъ быть, еще веселѣе и ласковѣе, чѣмъ раньше, но въ глазахъ, въ улыбкѣ, въ каждомъ движеніи стройнаго, жаднаго на радость тѣла, было теперь что-то разсѣянное и затаенное. Особенно, когда князя не было, когда она, вся насторожившись, ждала его.

Елизавета Ивановна съ изумленіемъ, съ невольной завистью смотрѣла на сестру, на ея умѣніе такъ цѣликомъ отдаваться счастью. Она была рада за Олю, но всетаки находила, что князь не стоитъ такой любви. Онъ былъ гораздо сдержаннѣе, всегда ровный, всегда корректный, и только разъ Елизавета Ивановна поймала въ его темныхъ глазахъ огонекъ влюбленности. Ей эта сдержанность не нравилась, вызывала даже недовѣріе.

— Слишкомъ ужъ онъ благовоспитанный, этотъ князь, правда, Вася? — сказала она сыну.

— Нѣтъ, отчего. Мнѣ онъ очень нравится, — возразилъ мальчикъ. — Онъ славный парень. Чего ему вчера Михалинскій наговорилъ, а онъ ничуть не обидѣлся. Только, конечно, міросозерцаніе у него аграрное.



Это слово «міросозерцаніе» всегда напоминало Елизаветѣ Ивановнѣ мужа. Они не видались все лѣто. Нащокинъ отправилъ Рябова въ командировку внутрь Россіи, и онъ только изрѣдка посылалъ оттуда дѣтямъ письма и открытки. А женѣ ничего не присылалъ, кромѣ денегъ. И отъ нея писемъ не получалъ. Дѣти о себѣ писали сами, а ей нечего было сказать мужу.

Бывали дни, когда, поддаваясь никогда неиспытанной лѣтней безпечности, Елизавета Ивановна совсѣмъ забывала о существованіи Рябова. Паркъ зеленѣлъ, солнце свѣтило, дѣти такъ хорошо загорали и поправлялись, веселая суета Ольгиной жизни развлекала и занимала. Никто въ домѣ не ссорился, не обрывалъ другъ друга, не ворчалъ. Актерскія распри и исторіи, которыя приходилось улаживать Ольгѣ, были скорѣе похожи на событія на сценѣ. Въ этой свѣтлой, интересной жизни Елизавета Ивановна съ каждымъ днемъ не только набиралась здоровья, но внутренне выпрямлялась. Вмѣстѣ съ физическими силами пробуждалось какое-то тревожное и свѣтлое ожиданіе, какое-то смутное любопытство къ жизни.

Иногда, сидя въ концѣ парка, тамъ, гдѣ кончаются деревья и зеленѣетъ клеверное поле, она опускала книгу на колѣни, глубоко вдыхала воздухъ, пропитанный запахомъ соленыхъ озеръ, и сѣна, и доцвѣтающихъ цвѣтовъ, и глядя на грудастое сѣрое, съ серебристыми краями облако, медленно двигавшееся по синему небу, тихо, тихо къ чему-то прислушивалась. Отъ теплой, творящей земли подымались соки и неспѣша текли по тѣлу и снова дѣлали его гибкимъ, легкимъ и стремительнымъ. Елизавета Ивановна прислушивалась, и губы ея улыбались, пріятно и выжидающе. Но если по дорожкѣ хрустѣли шаги, она торопливо сгоняла улыбку и опять бралась за книгу.

Несмотря на всю сдержанность князя, его появленіе внесло въ домъ ту любовь, которая всегда излучается отъ влюбленныхъ. Это усиливало всеобщее оживленіе, но на Елизавету Ивановну нагоняло неровную, несправедливую тоску. Въ разговорахъ она не умѣла участвовать, не было у нея ни словъ, ни опредѣленныхъ мыслей. Но жадно слѣдила она за всѣмъ и всегда была на сторонѣ молодежи, противъ князя. Сама она была кроткая, больше умѣла подчиняться, чѣмъ настаивать, и тѣмъ больше правилась ей ихъ юная рѣзкость, ихъ презрительная увѣренность въ своей правотѣ.

Только Тиночка не заразилась общимъ настроеніемъ. Она была увлечена теннисомъ.

— Знаешь, мамочка, я поставила себѣ цѣлью жизни играть лучше Эльзы Дорфъ,—важно заявила она матери.

Братъ презрительно посмотрѣлъ на нее.

— Ты совсѣмъ одурѣла со своимъ тенисомъ. Прямо противно. Посмотри, у Михалинскаго сестра твоихъ лѣтъ, а какъ уже хорошо разбирается.

— Это длинноногая-то, въ очкахъ?—задно спросила дѣвочка. — Ну и пусть разбирается. А мнѣ и зимой книги надоѣли.

Московскій адвокатъ нарядился въ бѣлый фланелевый костюмъ, досталъ ракету въ отличномъ англійскомъ чехлѣ и пошелъ съ Тиночкой въ паркъ. Всѣ оборачивались. Дѣвочка знала, что смотреть на него, и была горда, тѣмъ болѣе, что тайнѣ чувствовала, что и ею уже любятъ.

Татарчата побѣжали за мячиками. Адвокатъ, глядя на Тиночку смѣющимися, всегда дерзкими глазами, сказалъ:

— Антонина Аполлоновна, растите поскорѣе. Я хочу за вами ухаживать.

У нея была длинная свѣтлая коса, узкое личико съ выпуклыми, точно лѣпными губами и прозрачные, смѣлые сѣрые глаза. На мгновеніе эти глаза взглянули на него, точно взвѣшивая, серьезно ли онъ говорить. Потомъ она отвѣтила:

— Хорошо. Я согласна. Я вамъ позволю за собой ухаживать.

Губы улыбнулись, но звонкій голосокъ звучалъ серьезно. Елизавета Ивановна была тутъ же. Она съ недоумѣніемъ поглядѣла на дочь и на адвоката, наряднаго, крупнаго, самоувѣреннаго. Тревога кольнула ея сердце, тревога за дѣвочку, которая не сегодня, завтра, станетъ уже дѣвушкой, выйдетъ изъ ровной колеи ребяческихъ переживаній. Стало жаль дочку.

Она была такъ увѣрена, что женщину со всѣхъ сторонъ подстерегаетъ трудное, обидное и подчиненное. Вотъ Оля, ужъ, кажется, устроила всю жизнь по своему, сама себѣ хозяйка. А все-таки пріѣхалъ князь, и какъ-то такъ выходитъ, что онъ хоть и не мужъ, а всему голова. Елизавета Ивановна молча досадовала за это на сестру. Зависть и затаенное любопытство къ неиспытаннымъ ощущеніямъ, которыя такъ волнуютъ и владѣютъ другими людьми, закрадывались въ ея душу, отравляли ея спокойствіе, омрачали ясность непривычнаго для нея отдыха.

Погода испортилась. Небо опустилось, низкое и мокрое, дождь барабанилъ по крышѣ, по землѣ, по листьямъ. Елизавета Ивановна сидѣла съ ногами на диванѣ и съ увлеченіемъ читала



«Мальву». Горькій вообще ей нравился и яркостью словъ, и тѣмъ, что его герои были такъ не похожи на все, что она знала. Она разсердилась, когда князь сказалъ:

— Горькій романтикъ... Никогда такихъ босяковъ не бываетъ. Кромѣ, конечно, самого Горькаго.

Елизавета Ивановна никогда не спорила, но тутъ не удержалась:

— Если бы всѣ писали книги о томъ, что бываетъ, такъ ихъ не стоило бы читать.

Князь усмѣхнулся и съ любопытствомъ взглянулъ на нее. Отъ Оли онъ кое-что зналъ о семейной жизни Рябовыхъ и тогда же, мелькомъ пожалѣвъ объ этой незадачливой женщинѣ, пересталъ о ней думать. Хотя ея круглое лицо съ невеселыми глазами и неувѣренной, молодившей ее улыбкой казалось ему скорѣе пріятнымъ.

— Вотъ вы какая, фантазерка, я этого не зналъ, — ласково пошутилъ онъ.

Елизавета Ивановна смуталась и, чтобы скрыть смущеніе, съ неразсчитанной рѣзкостью, сказала:

— Я не знаю, фантазерка я или нѣтъ. Я просто думаю, что жизнь такая гадость, что никто не захочетъ о ней читать, какая она есть.

— Жизнь — гадость? Что ты выдумала? — закричала актриса и даже вскочила съ мѣста. — Да жизнь это такая прелесть, такая красота...

— Ну, это вы тоже по-барски разсуждаете, — вмѣшался одинъ изъ студентовъ. — Посмотрѣли бы на условія, въ которыхъ живетъ пролетаріатъ...

Всѣ заспорили, закричали. Елизавета Ивановна опять ушла въ Горькаго. Мальва смѣялась, и лукавила, и кокетничала, сверкала улыбками и взглядами, точно рыбка, плещущаяся въ морѣ. Съ восхищеніемъ слѣдила за ней Елизавета Ивановна, и горничной пришлось два раза повторить:

— Елизавета Ивановна, вамъ письмо.

— Мнѣ? — съ удивленіемъ спросила она.

Ей никто никогда не писалъ.

— Ну конечно тебѣ, отъ папы, — подтвердилъ Вася, взглянувъ на конвертъ.

Рябовъ писалъ, что уже нѣсколько дней вернулся изъ командировки.

«Фрося, которую тебѣ заблагоразсудилось оставить въ квартирѣ, оказалось наглою и весьма подозрительной душой. Я ее вы-

гналъ. Прошу немедленно прѣхать и привести домъ въ болѣе приличный видъ. Я не въ состояніи и на службу ходить, и съ прислугой возиться».

Весь тонъ письма былъ обиженный и злой, точно Елизавета Ивановна совершила большую несправедливость по отношенію къ мужу, что не стерегла сама квартиру, а оставила какую-то Фросю. Сразу послышался издалика голосъ хозяина, и Елизавета Ивановна уже поддавалась ему.

— Что-жъ, дѣти, пожалуй надо въ Петербургъ перебраться?—печально сказала она.

— Ну вотъ, зачѣмъ? Съ какой стати? Рано еще,—въ одинъ голосъ сказали и сынъ и дочь.

Имъ обоимъ совсѣмъ не хотѣлось въ городъ, не хотѣлось разставаться съ новыми друзьями, съ паркомъ, съ прогулками въ лѣсъ и въ поле, со всѣмъ тѣмъ свободнымъ, стремительнымъ и шумнымъ, что наполняло теперь ихъ жизнь. Было рѣшено, что мать съѣздитъ на нѣсколько дней и вернется.

— Послушай, если твой Аполлонъ будетъ дыбиться, ты его сюда пригласи. Пусть хоть въ праздникъ что ли прѣдетъ,—милостиво позвала зятя Ольга, прощаясь съ сестрой.

## XVII.

Въ вагонѣ Елизавета Ивановна вышла въ коридоръ и стала смотрѣть въ окно. Ночь была лунная. Легкій туманъ подымался отъ земли, все скрашивая, все мѣняя. Надъ низинками и рѣчками онъ стоялъ гуще, точно люди въ бѣлыхъ одеждахъ плавно летали, сплетались въ хоромы и снова уходили въ темную чашу. Елизаветѣ Ивановнѣ было грустно. Слишкомъ скоро промелькнуло лѣто, точно обмануло.

— А вѣдь мы, кажется, знакомы?—раздался рядомъ мужской голосъ.

Она обернулась. Невысокій, широкоплечій господинъ, съ подстриженной клинышкомъ бородкой, стоялъ около нея.

— Я имѣлъ удовольствіе быть представленнымъ въ паркѣ, третьяго дня. Вѣдь я не ошибаюсь, вѣдь вы сестра Ольги Пѣнкиной?

— Да, сестра.

Теперь она вспомнила, что дѣйствительно этотъ господинъ нѣсколько дней тому назадъ сидѣлъ вмѣстѣ съ ними въ паркѣ.



Кажется, инженеръ. Еще все рассказывалъ, какъ трудно было на Кавказѣ ладить съ горами.

— Удивительная женщина ваша сестра. Просто шикъ, а не женщина, — восторженно сказалъ инженеръ.

Ей не очень понравилось это опредѣленіе. Но она всегда была рада, когда хвалили Олю.

— Вамъ нравится, какъ она играетъ?

— Ну натурально. А глаза-то какіе, а походка. Вы позволите?

Не дожидаясь разрѣшенія, онъ увѣренно вошелъ вслѣдъ за ней въ отдѣленіе.

— Кажется, одни ѣдете? Вотъ счастливица. А у насъ четверо. Ужъ какъ хотите, а я, барынька, у васъ погощу.

Онъ засмѣялся, усѣлся противъ нея на скамейкѣ и началъ болтать. Что-то было въ его голосѣ и манерахъ безперемонное, развязное, что слегка коробило Елизавету Ивановну. Но лицо у него было красивое, улыбка открытая и ласковая и онъ забавно рассказывалъ всякіе пустяки. Колеса вагона мѣрно стучали. Свѣчка, убого мерцавшая въ фонарѣ скупно освѣщала сверху ихъ лица. Прошелъ контроль. Оберъ-кондукторъ, увидавъ билетъ инженера, почтительно приложилъ руку къ козырьку и, уходя, заперъ за собой дверь. Елизаветѣ Ивановнѣ вдругъ стало неловко, что она ночью сидитъ вдвоемъ въ купѣ съ незнакомымъ господиномъ. И тотчасъ же она прогнала это чувство, съ самолюбивой щепетильностью женщины, которая давно считаетъ себя пожилой и неинтересной.

А онъ болталъ и болталъ, и курилъ, наполняя отдѣленіе запахомъ крѣпкихъ папирсовъ, отъ которыхъ у нея слегка кружилась голова. Теперь онъ рассказывалъ о себѣ, о томъ, какъ скучно и въ то же время весело, быть холостымъ.

— Женщины, это удивительный народъ. Сколько я ихъ зналъ... И вѣдь ни одна не похожа на другую, — съ простодушнымъ, циничнымъ восхищеніемъ говорилъ инженеръ. — А иногда вдругъ мелькнетъ что-то похожее, что-то одинаковое у самыхъ разныхъ, у какой-нибудь кругленькой горничной, которую проѣздомъ въ чужомъ домѣ поцѣлуешь, и у ученой докторицы, которая даже и на любовь сквозь микроскопъ смотреть.

Онъ весело захохоталъ, довольный своей остротой. Потомъ вдругъ пересѣлъ къ Елизаветѣ Ивановнѣ, взялъ ея руку, тихо прижалъ ее не столько къ губамъ, сколько къ мягкимъ усамъ и заговорилъ, задушевымъ, немного даже печальнымъ, голосомъ:

— Всетаки бываютъ такіе женщины, которыя какъ войдутъ

въ душу, никакъ ихъ оттуда не выгнать. Или, можетъ быть, не въ душу, а въ тѣло, чортъ ихъ знаетъ. Вотъ со мной былъ случай...

Онъ началъ рассказывать случай, который съ нимъ былъ въ Алушкѣ, подробно описалъ какіе были у этой чудачки глаза, какъ они встрѣчались въ паркѣ, какъ она позволяла цѣловать только руки до самыхъ плечъ, а лицо отворачивала:

— Такъ и говорила: руки цѣлуйте, все равно мужъ не понимаетъ, что онѣ у меня красивыя, а остальное не смѣйте, остальное все его.

Елизавета Ивановна сидѣла растерянная, сконфуженная, оглушенная. Съ ней никто никогда такъ не разговаривалъ. Увѣренно, откровенно, съ неудержимой веселой чувственностью рассказывалъ ей о своихъ любовныхъ приключеніяхъ этотъ совершенно посторонній, въ сущности, незнакомый человѣкъ, а она чувствовала себя по дѣвичьи неопытной и наивной и вся волновалась горячимъ, застыдившимся волненіемъ, и старалась преодолѣть его, старалась оторвать себя отъ того жуткаго, захватывающаго, пьянаго, что подымалось отъ словъ инженера, клубилось въ головѣ, какъ клубился за окномъ вагона осенній туманъ.

Въ полутьмѣ она видѣла его профиль, носъ съ горбинкой, волосы подстриженные ежомъ, кончикъ уса, отдѣлявшійся отъ щеки и маленькое, хорошо вытѣпленное ухо. Она видѣла, что онъ красивый, еще молодой. «Вѣроятно, моложе меня», съ горечью подумала она и тотчасъ же отогнала эту мысль. «Какое мнѣ дѣло?», и чуть замѣтно отодвинулась, чтобы не такъ ясно ощущать его близость, вѣящую на нее дерзкой и жадной мужской силой. А онъ опять взялъ ея руку и засмѣялся тихо, ласково, уже нагло.

— Что это вы, барынька, развѣ я такой страшный?

Горячіе, крѣпкіе пальцы нѣжно погладили ея ладонь, скользнули выше до самаго локтя.

— Какая тонкая, славная кожа, и связки хорошія, гибкія. Я это люблю,—снисходительно похвалилъ онъ.

— Вы съ ума сошли!—произнесла Лиза и сама услышала, что въ голосѣ нѣтъ того отпора, который долженъ быть. Она отстраняла его, но радостная волна безумія подымалась въ ней, толкала ее къ этому человѣку съ мягкими усами, съ ласковымъ и требовательнымъ голосомъ. Его руки ласкали ее, его дыханіе скользило по ея лицу и каждый толчекъ вагона, точно смѣясь, уничтожалъ между ними преграды. Лиза вскочила, уперлась руками въ его плечи, сверху внизъ взглянула въ незна-



комое, смутно выступавшее въ полутьмѣ, лицо, явственно прочла на немъ горячее желаніе и вся подалась впередъ, разговаривая не съ нимъ, а съ собой.

— Ну хорошо... Ну пусть... Не все ли равно...

Она не узнавала ни своего голоса, ни своихъ мыслей, ни напряженнаго, счастливаго, тоже зовущаго тѣла. Туманными отрывками, едва слышными отголосками проносились въ мозгу напомниманія о томъ, что такъ нельзя, что есть домъ и дѣти, что это чужой. Но въ отвѣтъ Лиза только усмѣхалась дерзкой, пьяной улыбкой и крѣпче прижималась къ тому, кто такъ нѣжно, такъ умѣло ласкалъ ее. Онъ прижалъ свои губы къ ея губамъ, и жуткій холодокъ пробѣжалъ по ея горячимъ плечамъ. Ей стало страшно. А вдругъ она слишкомъ стара? вдругъ онъ встанетъ и оттолкнетъ ее? Но мужскія руки также ласково и страстно обнимали ее, мягкіе, душистые усы, запахъ которыхъ пьянилъ крѣпче вина, все также жадно касались ея губъ, и шеи, и плечъ.

Гдѣ-то глубоко въ памяти прозвенѣли давно забытыя слова: ее будутъ любить, такъ любить...

— Милая, милая, да какая же ты прелесть, — говорилъ онъ ей между поцѣлуями, и эти банальныя, ничего не значущія, ни къ чему не обязывающія, слова отгоняли робость, дѣлали Лизу счастливою, точно она слышала настоящее признаніе въ любви.

Она шла навстрѣчу его ласкамъ и каждый кусочекъ ея тѣла, каждая капля крови горѣла и радовалась, тысячею голо-совъ кричала о неизвѣданномъ раньше наслажденіи.

Усталый, удовлетворенный, уже остывшій, онъ закурилъ папиросу и, цѣлуя ея руку, сказалъ:

— А теперь я пойду къ себѣ. Выспаться надо.

Только тогда Лиза вдругъ пришла въ себя. Она съ ужасомъ схватила его за руку и прижалась къ его ладони, дрожащая, жалкая. Инженеръ ласково похлопалъ ее по плечу:

— Ну, ну, ну! Это ничего. Удивительно, какая у страстныхъ женщинъ бываетъ реакція...

— Послушай... послушайте... — она путалась и не знала, какъ заговорить, на вы или на ты, — не надо думать про меня худо... вѣдь я...

Она не договорила, съ отчаяніемъ еще крѣпче прижалась къ его рукѣ горячей щекой и мысленно, всѣмъ напряженіемъ не только мысли, но всего, еще не остывшаго отъ его ласкъ,

существа, молила понять и пожалѣть. Главное пожалѣть. А онъ осторожно высвободилъ руку и снисходительно сказалъ:

— Зачѣмъ же худо? Это все хорошее, а не худое... Намъ обоимъ было хорошо. Чего же больше?

Лучше бы онъ ее ударилъ. Она замолчала и вся сжалась.

Когда дверь закрылась за нимъ, и она осталась одна, ей захотѣлось броситься, догнать, вернуть, стать передъ нимъ на колѣни, рассказать ему всю свою сѣрую, постыдную женскую жизнь, рассказать, что она сама не понимаетъ, откуда налетѣло на нее это опьяненіе, сказать, что она не такая, что она просто Лиза, что живетъ она тихо, тихо, что у нея дѣти, которыхъ она безгранично любить, и мужъ, близость котораго вызываетъ въ ней тягучее отвращеніе. Но некому было сказать все это. Лиза была одна. Тотъ, кто только что былъ для нея ближе всѣхъ людей въ мірѣ, былъ просто чужой, незнакомый человѣкъ. Онъ взялъ отъ нея, что хотѣлъ, и ушелъ. Какое дѣло ему до ея жизни?

Стыдъ ядовитымъ огнемъ вползалъ въ душу, изгоняя, вырывая сладкую память только что пережитаго наслажденія. Прежде всего стало стыдно передъ собой. Потомъ поплыли передъ ней лица дѣтей. Ясно увидала она черные, серьезные глаза Васи и веселый лукавый взглядъ Тиночки и тихо вскрикнула, и закрыла лицо руками, не то прячась, не то обороняясь, не то моля о пощаду.

Колеса бѣжали и стучали, и громыхали, и укоряли, и звали куда-то. Лиза вдругъ выпрямилась и прислушалась. Неужели? Ахъ, если бы это было возможно... Мысль о смерти прохладой покоя пахнула на ея, еще горѣвшее страстью, тѣло. Стоитъ только шагнуть съ площадки и все кончено, и не надо будетъ смотрѣть въ глаза дѣтямъ, не надо думать, мучаться, терзать себя.

И опять она сгорбилась, опустила голову на руки. Нельзя, нельзя... Дѣтямъ она еще нужна. Ради нихъ надо все пережить, все затаить...

Прядь волосъ, выбившаяся изъ прически, коснулась ея обнаженной руки. Ей почудилось, что мягкіе усы опять ласкаютъ ея кожу. Счастливая, истомная улыбка раскрыла только-что горько сжатія губы. Непослушная кровь загорѣлась, вспоминая о ласкахъ. Умомъ она твердила, что опозорила себя, но кто-то другой, безстыдный и горячій, зная ничего не хотѣлъ и пѣлъ свою пѣсню, побѣдную и радостную.

---

Утромъ Елизавета Ивановна проснулась разбитая, съ мутнымъ ощущеніемъ чего то непоправимаго и ужаснаго. Холодѣя



отъ стыда, смотрѣла она передъ собой и не могла понять, какъ же дальше жить? Еще съ вечера она рѣшила, что скажетъ все мужу. Но теперь она уже не думала о немъ, съ отвращеніемъ и тоской думала она только о себѣ. Въ самой себѣ нарушила она тотъ внутренній завѣтъ, которымъ жила, свою собственную гордость оскорбила. Снова, съ болѣзненнымъ физическимъ презрѣніемъ къ себѣ, переживала она все, что случилось. Если бы это была любовь, если бы она знала этого человѣка. А такъ... Пришелъ и взялъ... Точно звѣри.

Она закрывала глаза, стискивала зубы и тихо стонала, обезсиленная, жалкая, раздавленная. Господи, какъ хорошо было бы не думать, не видѣть, не слышать, не быть.

За окномъ стлалась сѣрая мгла дождливаго утра. Вѣтеръ трепалъ желтѣющія вершины деревьевъ. Листья неслись по воздуху, дрожащія и безпомощныя.

«Вотъ и я, какъ эти листья, не знаю, куда лечу», подумала Лиза и сейчасъ же, съ злой улыбкой, возразила: — «оставь, не притворяйся. Ты сама этого хотѣла. На старости лѣтъ, какъ послѣдняя развратница»...

Никогда раньше она не думала, что ея вѣрность мужу имѣетъ какое-нибудь значеніе, никогда не считала это добродѣтелью. А теперь мучилась, и терзалась, и каялась, и вся сгибалась подъ тяжестью чего-то позорнаго. Даже то небольшое мѣсто, которое она занимала въ домѣ Рябова, стало ей казаться незаслуженнымъ, не принадлежащимъ ей больше.

Елизаветѣ Ивановичѣ было страшно подумать, что этотъ человѣкъ можетъ опять войти въ ея купе. Она не знала его имени и даже въ душѣ никакъ не называла его, хотя онъ все еще былъ въ ней, вокругъ нея, всюду.

Елизавета Ивановна взяла свой маленькій тючекъ и зонтикъ и на ходу, точно крадучись, перешла въ сосѣдній вагонъ. Длинный коридоръ былъ застланъ толстымъ ковромъ, глушившимъ шаги. Рессоры качались мягче, воздухъ былъ чище и казалось, точно за полированными, красными дверями скрываются люди болѣе счастливые, болѣе спокойные, иные.

Она остановилась у окна. Однообразно и сѣро мелькали за стекломъ залитыя дождемъ поля и лѣса. Точно и на нихъ навалилась тоска, разрывавшая сердце Елизаветы Ивановны.

Тонкимъ запахомъ духовъ пахнуло на нее.

За спиной, сквозь полуоткрытую дверь, раздался дѣтскій голосъ. Краска прилила къ ея щекамъ. Передъ всѣми дѣтьми на свѣтѣ чувствовала она себя виноватой. Но такъ хотѣлось

оглянуться и увидеть милую простоту ребяческой улыбки, от которой всегда оживала ее душа.

— Заиграли утки въ дудки, журавли пошли плясать, — захлебываясь от смѣха, пропѣлъ высокій голосокъ и сразу смѣхъ перешелъ въ хныканіе: — Ай, мамочка, больно, тянешь... Пусти.

Елизавета Ивановна не удержалась и оглянулась. Въ лиловатыхъ сумеркахъ, наполнявшихъ просторное отдѣленіе, она увидала дѣвочку въ бѣломъ платьѣ, съ распущенными бѣлокурыми волосами. Высокая, тонкая женщина, тоже въ чемъ то свѣтломъ, наклонялась надъ головой ребенка, расчесывая длинныя кудри и тихо уговаривала:

— Т-съ-съ, Лили, не капризничай, папу разбудишь.

— А мнѣ больно, а папа все равно не спитъ, — привередливымъ голосомъ, въ которомъ былъ и смѣхъ, и слезы, возражала дѣвочка.

— Гдѣ же тутъ спать, когда наша царица Савская разбушевалась, — раздался въ отвѣтъ недовольный мужской голосъ.

— Проснулся, проснулся, я говорила что проснулся, — торжествующе взвизгнула дѣвочка, и вскочила и бросилась на другую скамейку.

— Ахъ, Лили, какая ты несносная. Это прямо невозможно, — сказала мать.

— Конечно, несносная. Давай высѣчемъ ее, — сказалъ, уже повеселѣвшій, мужской голосъ.

Теперь уже не было сомнѣнія. Это былъ голосъ Струнскаго. Елизавета Ивановна поспѣшно повернулась, точно боялась, что онъ ее увидитъ. Но отворачиваясь она встрѣтилась съ разсѣяннымъ взглядомъ высокой женщины, успѣла замѣтить, что у нея смуглое лицо и большіе темные глаза, что вся она нарядная, и тонкая, и красивая.

Горькая, обидная зависть хлынула въ измученную, пристыженную душу Елизаветы Ивановны.

Вся сжавшись, точно таясь, пошла она къ площадкѣ. На ходу успѣла замѣтить, что у окна виситъ длинное, сѣрое манто и подъ нимъ большая, черная шляпа, съ бѣлымъ пушистымъ перомъ. Точно побѣдное знамя мѣрно колыбалось оно. И казалось, что это отъ него разливается по коридору тонкій, вкрадчивый запахъ духовъ, отъ него вѣетъ балованной женственностью.

Елизавета Ивановна стояла у двери вагона, вся ослабѣвшая, точно послѣ тяжелой болѣзни. Когда поѣздъ подошелъ къ дебаркадеру, она сдѣлала надъ собой усиліе и торопливо соско-

чила. Хотѣлось поскорѣе уйти, спрятаться отъ всѣхъ, и отъ того человѣка, и отъ Струнскаго, и отъ его жены, и отъ бѣлокурой дѣвочки. Она бѣжала къ выходу, пугаясь толпы, пугаясь каждаго, кто бѣжалъ рядомъ. Ей казалось, что она голая, что всѣ кругомъ видятъ и понимаютъ, что случилось съ ней.

Кругомъ нея плыли и крутились лица, затылки, спины, шляпы, но надъ всей этой суматохой, застилая и отодвигая ее, неотступно вставали, и кружились, и повторялись всѣ подробности только-что пережитой ночи. Они гнали, и торопили, и хлестали ее, дѣлали ее, такой маленькой, такой безпомощной среди людской суматохи.

Вдругъ она вспомнила, что забыла зонтикъ. Оставила его въ коридорѣ около купе, гдѣ ѣхали Струнскіе. Такъ велика была привычка беречь, заботиться о вещахъ, что она повернулась, пошла обратно къ вагону и только тогда остановилась, когда увидала надъ толпой высокую, широкоплечую фигуру Струнскаго.

Онъ былъ въ просторномъ, зеленоватомъ, не русскаго покроя пальто, въ сѣрой, широкополой шляпѣ. Онъ мало измѣнился, только сталъ крупнѣе, наряднѣе, красивѣе.

Бережно несъ онъ на рукахъ свою бѣлокурую, свѣтлолицую дѣвочку. Смуглая дама шла рядомъ, и въ томъ, какъ она несла голову, надъ которой развивалось бѣлое перо, было что-то надменное. У нихъ у всѣхъ троихъ, даже у ребенка, былъ озабоченный, торопливый видъ, какъ у всѣхъ на вокзалѣ. Но чѣмъ-то тѣснымъ, дружнымъ, радостнымъ пахнуло отъ нихъ на Елизавету Ивановну.

На мгновеніе острые, синіе глаза Струнскаго остановились на маленькой, невзрачной женщинѣ, заглянули въ ея темные тоскующіе глаза и не замѣтили, и не узнали ее, и равнодушно отвернулись.

Она пропустила ихъ мимо себя и, забывъ про зонтикъ, поплелась къ дверямъ, оглушенная, полубезумная отъ нестерпимой горечи жизни.

На Знаменской площади она съ усталымъ удивленіемъ оглянулась. Все было какъ всегда, обыденное, холодное, давно знакомое.

Дома она прежде всего услышала упреки:

— Удивительная безпечность. Посадить мнѣ на шею такую бабу... Слава Богу, кажется, васъ всѣхъ кормлю я. Могу я за это требовать извѣстнаго порядка въ домѣ, или нѣтъ?

Она слушала его равнодушно. И онъ самъ, и его голосъ,



и квартира все было далеко, ненужно. Никогда раньше не замѣчала она такъ ясно, что квартира темная, мебель разставлена такъ, что шкапы заслоняютъ свѣтъ, а на стулья не хочется сѣсть. Лицо мужа, его потолстѣвшій животъ, складки, тянувшіяся отъ жирнаго уха назадъ къ затылку, сѣдые волосы въ бородѣ и масляный налетъ, лоснившійся на носу, она тоже замѣчала теперь такъ отчетливо, какъ мы замѣчаемъ только подробности незнакомаго лица, случайно подвернувшагося подъ нашъ взглядъ. Странное спокойствіе упало на нее. Даже не было обычного раздраженія, всегда томившаго ее въ присутствіи мужа.

— Что же Фрося сдѣлала?—спокойно спросила она, кладя шляпу въ столовой на столъ и вдругъ увидала, что по лицу Рябова что-то пробѣжало и спряталось.

— Она дура, твоя Фрося,—свирѣпо сказалъ онъ,—бездѣлничала, да еще и любовниковъ водила. Дрянъ распутная.

Въ послѣднія слова онъ вложилъ столько высокомернаго омерзѣнія, что Елизавета Ивановна невольно опустила глаза. Не отъ смущенія. Просто боялась, что онъ прочтетъ въ нихъ злорадство, неудержимое, трусливое влорадство слабой женщины.

— Значить, надо другую искать,—сдержанно сказала она.— Я здѣсь поживу, пока не найду.

— Я полагаю, что поживешь. Какъ же иначе?..—все еще негодуя на кого-то, сказалъ Рябовъ.—А дѣти здоровы?

— Здоровы... Тутъ письма отъ нихъ.

Елизавета Ивановна нагнулась къ своей корзиночкѣ и краска прилила къ ея щекамъ. Дѣти.. Это слово вызывало въ ней не всегдашнюю радость, а страхъ.

Рябовъ не спрашивалъ ее ни про леченіе, ни про здоровье. Она не спрашивала его про поѣздку. Имъ обоимъ было такъ все равно, что дѣлаетъ другой.

Елизавета Ивановна ходила по своей квартирѣ, не узнавая ни ее, ни себя. Рябовъ разыскалъ ее въ спальнѣ.

— Что тутъ Вася пишетъ про князя Каганова? Это что же, новый любовникъ твоей сестры?

Опять это слово хлестнуло ее, пробудило жалкую, унижительную удовлетворенность согрѣшившей рабыни.

— А тебѣ, собственно, зачѣмъ это надо знать?

— Станный вопросъ. Кажется, мои дѣти живутъ подъ одной крышей съ твоей сестрой. Я долженъ знать, въ какой они обстановкѣ, что они видятъ.

— Видятъ хорошихъ, добрыхъ людей, и видятъ хорошія, чело-

вѣческія отношенія,—вызывающе сказала Елизавета Ивановна и смотрѣла ему прямо въ лицо, и думала:

«Ничего, ничего ему не скажу. Пусть... Тупой, деревянный эгоистъ. Такъ тебѣ и надо».

Какъ будто то, что произошло съ ней, касалось его еще больше, чѣмъ ея самой.

И какъ всегда, когда онъ слышалъ въ ея голосъ хотя бы смутный отголосокъ отпора, Рябовъ спросилъ уже сдержаннѣе:

— Да это какой же Кагановъ? Я объ одномъ много слышалъ въ Саровской губерніи. У него тамъ масса земли.

— Это тотъ самый.

— А... Вотъ что. Онъ тамъ въ земствѣ выдвигается... Миллионеръ,—думая о чемъ то своемъ, сказалъ Рябовъ.

Елизавета Ивановна слѣдила за нимъ. Неужели это такъ на него дѣйствуетъ, эти чужія деньги. Чтобы провѣрить, она прибавила:

— Оля звала тебя въ Руссу. Можетъ быть, пріѣдешь и познакомишься?

— Звала? Вотъ какъ,—переспросилъ Рябовъ.—Отчего же. Я на субботу могу.

Всякое вниманіе, всякая любезность льстили ему, мѣняли его отношенія къ людямъ.

Пока онъ былъ на службѣ, пришла Фрося за своими вещами. Это была ширококостая дѣвушка, съ блѣднымъ лицомъ, на которомъ узкія, злыя губы краснѣли, точно ихъ кто-то мазнулъ краской. Въ свѣтло-карихъ глазахъ перебѣгала безпокойная дерзость, которая часто горитъ въ глазахъ петербургской прислуги, перевидавшей всякихъ господъ и всякія господскія гадости.

— Что же это вы, Фрося, не поладили съ бариномъ?—мягко спросила ее Елизавета Ивановна, чтобы что-нибудь сказать.

Дѣвушка рѣзко тряхнула головой, точно необъѣзженный жеребенокъ, котораго подводятъ къ оглоблямъ, и вызывающе сказала:

— А ужъ это вы лучше его самого спросите, почему не поладили.

Глаза прислуги и барыни встрѣтились. Странная неловкость кольнула Елизавету Ивановну, точно эти горячія зрачки уже сказали ей что-то, еще невысказанное словами. Съ безсознательной, хозяйской сухостью въ голосъ она произнесла:

— Онъ говоритъ, что вы работать не хотѣли...

— Работать?—визгливо перебила ее молодая дѣвушка.—

А онъ вамъ сказать, какой съ меня работы требовалъ, какъ ночью ко мнѣ лѣзть?.. Добро бы молодой былъ, или какой... А то жирный весь... Просто плюнуть... Да я лучше удавлюсь, чѣмъ къ себѣ немилаго подпустить... А кто понравится, это ужъ мое дѣло. Тогда всласть погуляю...

Она засмѣялась, вызывающая, дерзкая, вся разгорѣвшаяся отъ одной мысли, что кто-нибудь помимо ея желанія смѣетъ лѣзть къ ней. Елизавета Ивановна пожала плечами, совершенно сбита съ толку. Она даже не знала, оскорбляетъ ее это или нѣтъ.

Когда Фрося ушла, хмуро, но все-таки сконфуженно, попрощавшись съ барыней, Елизавета Ивановна, стоя посреди кухни, громко произнесла:

— Такъ вотъ что... Ночью лѣзть... А я то...

Она засмѣялась неудержимымъ, мелкимъ, истерическимъ смѣхомъ, и долго еще, лежа на диванѣ въ комнатѣ сына, вся тряслась, вся содрогалась отъ этого сухого, безысходнаго, мертвящаго смѣха. Расползалось, валилось нехитрое зданіе ея семьи, сыпались мелкіе, плохо склеенные камни и шуршали, и ранили, и глушили. Непосильнымъ бредомъ проносились въ душѣ обрывки понятій о добродѣтели, о чистотѣ, о правдѣ. Не за что было имъ уцѣпиться, и они срывались и катились въ какую-то черную холодную дыру, куда все глубже опускалась и опускалась Елизавета Ивановна. Не только своя собственная жизнь, но все человѣческое, казалось безмысленнымъ и позорнымъ. Все пережитое, длинный рядъ дней, сплетавшихся въ года, тянулись, полные непрестаннаго, унижительнаго подчиненія себя, своихъ желаній и нежеланій.

Блѣдная, съ закрытыми глазами лежала Елизавета Ивановна въ пустой квартирѣ и увядающія губы шептали:

— Ну да, я слабая... я никогда ничего не хотѣла по настоящему, я всегда подчинялась чужимъ желаніямъ. Это было давно, давно, но я и сейчасъ помню, какъ мнѣ стало тоскливо, когда онъ первый разъ поцѣловалъ меня. Ну да, я слабая... Мнѣ надо было выгнать его, защищаться, кричать, какъ кричала, вѣрно, Фрося, когда онъ лѣзъ къ ней...

Черные глаза раскрылись, злая улыбка скривила губы. Опять раздался хихикающій, сухой смѣхъ. И казалось, что, въ отвѣтъ на него, изъ всѣхъ угловъ пустой квартиры раздается такое же сухое, мертвое хихиканіе. Елизавета Ивановна прислушалась. Ну да, это смѣются кровати въ ихъ, съ Рябовымъ, спальнѣ, смѣется столовый столъ, изъ за котораго всѣ они



торопятся поскорѣе встать, смѣются въ его кабинетѣ кресла, гдѣ ни дѣти, ни жена никогда не засиживаются, высокомерно усмѣхаются книги, откуда Рябовъ беретъ только мертвое, только то, что разобщаетъ людей. Сколько лѣтъ живетъ Елизавета Ивановна среди всѣхъ этихъ вещей, и все-таки онѣ чужія, враждебныя, ничего не берутъ онѣ отъ нея. Только здѣсь, въ комнатахъ дѣтей, все, что мать съ такой любовью покупала, по мѣрѣ того какъ дѣти росли, полки и столы, и простенькій диванъ снисходительно принимаютъ ее.

— Глупая я была, безсильная... Но развѣ это легко, когда надо все пережить, и замужество, и дѣтей,—точно оправдываясь передъ невидимыми судьями, опять шептала она.—Вѣдь я вначалѣ его боялась, просто боялась... Особенно ночью...

Она замолчала и, сдвинувъ брови, смотрѣла передъ собой.

— Нѣтъ, теперь не боюсь. Давно ужъ не боюсь. Только скучно, скучно около него, даже когда шаги слышу, или голосъ, или звонокъ въ передней, становится скучно. Но вѣдь надо же, чтобы у дѣтей былъ домъ. Я слабая, я глупая, я ничего не умѣю дѣлать. Куда же я ихъ поведу, что я имъ дамъ? Стоило ли себя жалѣть, когда надо было ихъ подымать...

Стыдливая на слова, даже для себя, не хотѣла назвать она крѣпкую гордость, глубокое чувство долга, которое заставляло ее ради гнѣзда, гдѣ будутъ расти птенцы, забывать о себѣ, топтать всю свою внутреннюю, интимную жизнь. На эту гордость опиралось ея человѣческое достоинство, она спасала ее отъ полного признанія своего рабства. Цѣной отрицанія себя охраняла и создавала Елизавета Ивановна домъ для идущаго ей на смѣну поколѣнія. И сквозь все трудное, сѣрое, безнадежное, что застилало отъ нея солнце жизни, пробивалась увѣренность, что такъ и надо, что эту ношу, возложенную на ея плечи непонятными силами, она пронесетъ сквозь всѣ терніи. Отъ нелюбимаго человѣка рожала она дѣтей, но то, что эти дѣти жили, и смѣялись, и росли около нея, придавало благообразіе всей ея семейной жизни, создавало обязательство къ ихъ отцу, къ кормильцу, къ хозяину дома. И вдругъ, поднялась волна грязи, захлестнула сразу и мать и отца ложью, развратомъ, чѣмъ то липкимъ и гнуснымъ наполнила гнѣздо. Такъ ей и надо. Вѣдь это она сама добровольно насытила свою женскую жизнь униженіемъ. Весь ея бракъ съ Рябовымъ, нелюбимымъ, далекимъ, враждебнымъ, это сплошная грязь.

Голосъ Фроси, дерзкій и горячій, сливался съ ласковымъ, настойчивымъ голосомъ инженеря. Стыдъ жегъ душу, разливался

по тѣлу и самой горячностью своей заставляла снова и снова переживать страстные подробности минувшей ночи. Рядомъ съ раскаяніемъ, Елизавета Ивановна съ ужасомъ прислушивалась къ воспоминаніямъ, удовлетвореннымъ и радостнымъ. Это дѣлало мысли еще безнадежнѣе и безысходнѣе. Сурово и цинично, грубыми, карающими словами обличала она себя, думала о несчастныхъ дѣтяхъ, у которыхъ такая мать, а кровь увѣренно повторяла свою пѣсню, гдѣ не было ни угрызений, ни печали, ни позора, ни порока, гдѣ слышался только благодарный жаръ наконецъ познаннаго наслажденія.

---

Вечеромъ между ней и мужемъ произошла одна изъ самыхъ унижительныхъ въ ихъ жизни ссоръ. Елизавета Ивановна приготовила себѣ постель въ комнатѣ сына.

— Это что за новости? — спросилъ Рябовъ.

— Тамъ мнѣ удобнѣе. Я устала, — сухо, но еще сдержанно сказала она.

— Тебѣ удобнѣе? Скажите пожалуйста! — язвительно произнесъ Рябовъ. — Два мѣсяца меня не было, а теперь ей удобнѣе спать отдѣльно. Что же, прикажете мнѣ въ публичный домъ идти?

Елизавета Ивановна выпрямилась. Внезапная ярость холодомъ прошла по тѣлу, исказила ея всегда тихое лицо. Она близко придвинулась къ мужу, схватила его за отвороты пиджака, и, сама не понимая, что дѣлаетъ, трясла изо всей силы;

— Не смѣй, не смѣй такъ со мной разговаривать! Грязный, низкій, тупой человѣкъ!

Ослѣпленная душившей ее, давно копившейся, злобой, она не замѣтила, какъ на его лицѣ промелькнуло трусливое недоумѣніе.

— Что съ тобой? — уже гораздо мягче спросилъ онъ, стараясь угадать, разболтала Фрося или нѣтъ?

— Какъ ты смѣешь говорить мнѣ о публичномъ домѣ? Или ты понялъ, наконецъ, что каждая проститутка свободнѣе меня? Она можетъ выгнать отъ себя мужчину. А я не могу, не могу! Я должна терпѣть, все терпѣть, потому что я законная жена, — кричала Лиза. — Ты всю жизнь обращался со мной, какъ съ вещью. Мнѣ противно, меня тошнитъ, когда я только подумаю о нашей спальнѣ, о нашихъ кроватяхъ. Ты это зналъ, но тебѣ было все равно. Ты мужъ, значитъ ты имѣешь право. А если я не хочу, не хочу, не хочу...

Она не узнавала ни себя, ни своего голоса, точно какая-то другая, разъярившаяся, взбунтовавшаяся женщина кричала въ ней. Годами копившаяся потребность свободно распоряжаться своимъ тѣломъ вдругъ вздыбилась, заметалась, уже искалѣченная, подстрѣленная и тѣмъ болѣе острая.

Рябовъ сначала растерялся и отъ неожиданности, и отъ того, что Фрося мелькала передъ нимъ. Потомъ рѣшилъ, что жена ничего не знаетъ и сразу почувствовалъ себя оскорбленнымъ.

— Что за цинизмъ! Откуда ты набралась этихъ словъ? — безразлично произнесъ онъ, — теперь ясно, что лѣто проведенное рядомъ съ сестрицей, съ этой жрицей свободной любви, не прошло для тебя даромъ.

— Перестань! Не смѣй притворяться, — прямо въ лицо ему кричала Елизавета Ивановна. — Моя сестра въ тысячу разъ чище насъ съ тобой. Она не притворяется, не лжетъ... А мы... Ты вѣдь знаешь, ты вѣдь всегда зналъ, что я тебя не люблю, не люблю, что я тебя ненавижу, и все-таки лѣзешь и лѣзешь ко мнѣ... Я для тебя, какъ тарелка щей или кусокъ мяса. Съѣлъ, оберся и все тутъ...

Она засмѣялась истерическимъ, мелкимъ смѣхомъ, который весь день лихорадочно трепеталъ въ ней. Засмѣялась не своему сравненію, а тому, что слово «лѣзъ» напомнило ей Фросю. Забывая, что она жена этого человѣка, она по-женски злорадствовала, что другая женщина не подчинилась его желаніямъ, оттолкнула, унизила его. Такъ и надо, такъ и надо...

Но какая то двойственная, туманная справедливость удерживала ее отъ того, чтобы укорить мужа Фросей. Блѣдное лицо дѣвушки съ узкими, точно краской помазанными, губами и мягкіе, нѣжные усы инженера, сливаясь, ставили предѣлъ негодующей искренности. Но, заслоня ихъ, вставляли воспоминанія о всей непростительной мерзости ихъ жизни, обо всемъ, что изо дня въ день переживала она рядомъ съ этимъ человекомъ.

— Мерзость, мерзость, сплошная мерзость, — кричала Елизавета Ивановна, и боялась, что онъ не пойметъ, что слова не причиняютъ ему той боли, которую испытывала она: — Ты говоришь, публичный домъ. Ну такъ чтожъ, иди. Вотъ ты умный, ученый, передовой... Развѣ ты не понимаешь, что во сто разъ лучше ходить въ публичный домъ, чѣмъ дѣлать то, что ты со мной дѣлалъ?

— То есть какъ это дѣлать? Что это за невинная жертва?



Маленькая дѣвочка, подумаешь... Кажется, не насильно за меня шла. Наконецъ, чтобы дѣлать дѣтей, надо двоихъ...

Онъ смотрѣлъ въ ея пылающіе гнѣвомъ глаза, на ея раскраснѣвшіяся щеки, на ея ротъ, потерявшій мягкую яркость молодости и видѣлъ морщины, сухость кожи, видѣлъ все, что время наложило на это лицо. Сейчасъ ему это было пріятно, и онъ смѣялся злымъ, несмѣющимся смѣхомъ.

Въ пустой, по лѣтнему гулкой, квартирѣ, голоса мужа и жены раскатывались, вызывая въ темныхъ углахъ отголоски. И казалось, что два врага, злобные и беспощадные, сводятъ старые счеты гдѣ-то въ чужомъ домѣ, гдѣ никакія общія переживанія не стѣсняютъ ихъ.

— Дѣти? Да неужели ты не видишь, какіе у Васи глаза? Или ты забылъ, какъ ты мучилъ меня, когда я была беременна Васей. Руки на себя наложить хотѣлось, — кричала Елизавета Ивановна.

И въ отвѣтъ ей раздавался язвительный, свистящій голосъ Рябова.

— Не смѣй такъ говорить. Клевета. Вранье. Лицемеріе. Бабы увертки. Это ты мучила меня, это ты исковеркала всю мою жизнь. Развѣ мнѣ такая жена нужна? Вѣдь ты ни принять не умѣешь, ни поддерживать отношенія. Ты карьеру мнѣ портишь. А дѣти? Что ты имъ можешь дать, когда у тебя голова набита кухней да глупыми романами. Можетъ быть, еще и свой романчикъ въ курортѣ завела? А? На глазахъ у дочери? Съ тебя хватить!

Онъ испытующе, разгорѣвшись отъ злобы, смотрѣлъ на нее и не узнавалъ ея обострившихся ненавистью глаза.

— А если бы и такъ? Кто мнѣ запретить? — съ вызывающимъ хохотомъ отвѣтила женщина, которая годами, неслышно и покорно, плелась рядомъ съ нимъ.

Онъ отвѣтилъ ей циничнымъ уличнымъ словомъ. Елизавета Ивановна закрыла лицо руками, убѣжала въ комнату сына и заперлась тамъ на задвижку.

Долго еще слышала она, какъ раздаются въ пустой квартирѣ гнѣвные, тяжелые шаги Рябова. Онъ подходилъ къ ея двери, дергалъ за ручку, требовалъ, чтобы она открыла. Она молчала. Позорное слово упало на нее, точно камень. Вся напрягаясь, старалась она сбросить его, освободиться отъ унижительнаго оскорбленія. Но вѣдь это же правда. Послѣ того, что произошло ночью въ вагонѣ, она стала такой.

Эту ночь Елизавета Ивановна провела одна, но съ ужасомъ

чувствовала какъ уже наползаетъ на нее, скрѣпленное годами и привычкой, подчиненіе мужу. Некуда идти. Да и зачѣмъ уходить такимъ, какъ она? Прежде она подчинялась изъ безсознательнаго желанія сохранять свою чистоту, быть безупречной передъ собой и передъ дѣтьми, теперь подчинится потому, что больше нѣтъ этой чистоты.

## XVIII.

На слѣдующій день Елизавета Ивановна уѣхала въ Руссу. Жена швейцара согласилась дѣлать Рябову все, что нужно. Она была еще молодая, не безъ деревенской кокетливости и, слегка жеманясь, сказала:

— Вы, барыня, будьте безъ сумнѣнія. Я вѣдь не Фрося, я мужняя жена.

Елизавета Ивановна поняла, что вся черная часть ихъ дома, дворники, швейцары, прислуга, уже знаютъ, почему Фрося ушла. Брезгливое чувство поднялось въ ней.

— Аполлону Максимычу не трудно служить. Онъ мало спрашиваетъ,—сухо сказала она и постаралась не замѣтить двусмысленной улыбки швейцарихи.

Въ ближайшее воскресеніе Рябовъ самъ пріѣхалъ въ Руссу. Какъ всегда при чужихъ, онъ былъ привѣтливый и оживленный.

— Спасибо тебѣ, Оля, я тебѣ крайне благодаренъ. Какъ дѣти поправились, выросли. Прямо неузнаваемы. И Лизѣ кажется гораздо лучше, правда?—заботливо спрашивалъ онъ, точно привыкъ слѣдить за здоровьемъ жены.

— Лучше, только все-таки надо ее беречь. А благодарить меня не за что. Я рада, когда она можетъ у меня отдохнуть,—суховато отвѣтила Ольга Пѣнкина и мелькомъ, съ ласковой усмѣшкой, взглянула на сестру.

Елизавета Ивановна поблагодарила ее взглядомъ. Ее всегда выводило изъ себя желаніе Рябова при постороннихъ притворяться не только отличнымъ семьяниномъ, но и благосклоннымъ, если не нѣжнымъ, мужемъ. А еще больше злило то лицемеріе, съ которымъ онъ, понося Ольгу за глаза, въ глаза принималъ съ ней игриво-родственный тонъ. Ее укололо, когда князь Кагановъ къ вечеру перваго же дня сказалъ ей:

— Елизавета Ивановна, вашъ мужъ очень интересный человѣкъ. У него такъ много знаній. Мы не всегда съ нимъ

сходимся во взглядахъ, но я думаю, что это придетъ... Онъ еще будетъ нашимъ.

Удивленно и какъ будто укоризненно посмотрѣла на него Елизавета Ивановна и неопредѣленно отвѣтила:

— Да, мужъ всегда много читалъ.

А про себя подумала: «Неужели вы не видите, кто онъ? Если вамъ такіе люди нужны, такъ Богъ съ вами». Ей казалось, что всякій чуткій, добрый человѣкъ долженъ понимать, что Рябовъ эгоистъ, что онъ никого и ничего, кромѣ себя, не замѣчаетъ, что рядомъ съ нимъ ея жизнь заволоклась холодомъ и безсиліемъ.

Но послѣ этихъ словъ князя она еще упорнѣе принимала въ спорахъ сторону Васи и его товарищей. Не на словахъ, а въ душѣ, потому что вмѣшиваться въ разговоры не рѣшалась. Зато Рябовъ спорилъ горячо, пространно и часто удачно. Крайніе марксистскіе взгляды сына огорчали и сердили его.

— Повторяютъ какіе-то старыя нѣмецкія указки и еще воображаютъ, что владѣютъ неоспоримой истиной,—возмущенно жаловался онъ князю.

— Это ничего,—успокаивалъ его Кагановъ,—они хорошіе, искренніе, самоотверженные. Счастье Россіи, что у насъ есть такая молодежь, которую никакимъ компромиссомъ не соблазнишь.

Рябовъ осторожно косился на собесѣдника. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ поступилъ на службу, онъ не любилъ слова компромисса и всегда оцѣнивался, когда слышалъ его. Но, толкуя съ княземъ о политикѣ, объ общемъ положеніи Россіи, обо всемъ, что ему пришлось наблюдать въ послѣдней поѣздкѣ, Рябовъ скоро понялъ, что для Каганова онъ, Рябовъ, не бывшій революціонеръ, превратившійся въ чиновника, а, напротивъ, чиновникъ, сумѣвшій сохранить въ себѣ общественные интересы. Понялъ и сразу ожилъ, и раскрылъ передъ княземъ свою душу и весь потянулся къ нему.

— Я только-что объѣздилъ три губерніи. Знаете, князь, что-то удивительное творится всюду. Какая работа кипитъ въ земствахъ, какіе тамъ люди...

— Ну еще бы!—вставилъ князь, думая о своихъ заграничныхъ встрѣчахъ.

— Мнѣ прямо показалось, что я слышу, своими ушами слышу, какъ по всѣмъ швамъ трещитъ политическій плащъ, изъ котораго Россія уже выросла.

Рябовъ поймалъ эту фразу на провинціальной вечеринкѣ,



куда его привелъ старый университетскій товарищъ. Ее произнесъ старикъ съ сѣдой бородой и молодыми глазами. И въ глазахъ, въ бодромъ нетерпѣливомъ голосѣ, горѣлъ огонь неугасимаго энтузіазма. Сравненіе такъ понравилось Рябову, что онъ запомнилъ его, и уже не разъ повторялъ, и съ каждымъ повтореніемъ все больше считалъ эти слова своими.

— Меня эта поѣздка точно выпрямила. Я опять вѣрю въ будущее Россіи. И такъ хочется работать, князь, такъ тяжело возвращаться въ промозглую канцелярію.

— Это я понимаю, — сочувственно говорилъ Кагановъ, — но я полагаю, что и на вашемъ мѣстѣ можно принести много пользы. Особенно, если событія начнутъ разворачиваться.

Онъ былъ остороженъ и только еще приглядывался къ Рябову, не посвящая его въ дѣла организациі. Но уже думалъ объ этомъ. А Рябовъ былъ искренно счастливъ, что познакомился съ Кагановымъ. Ему нравилось все въ немъ, и вѣжливость, и спокойствіе, и то, что онъ князь, важный баринъ съ придворнымъ званіемъ. Но въ этомъ Рябовъ даже самому себѣ не признавался. Тѣмъ болѣе, что умственное удовлетвореніе, которое онъ испытывалъ отъ общенія съ Кагановымъ, было дѣйствительно сильнѣе удовлетворенія тщеславнаго. Князь не высказывалъ никакихъ особенно новыхъ, или сложныхъ мыслей. У него было очень простое, ясное и опредѣленное политическое міросозерцаніе. Но даже Рябовъ, при всемъ своемъ неумѣніи чувствовать чужую индивидуальность, понималъ, что именно въ томъ, что князь зналъ, чего хотѣлъ, и хотѣлъ того, что зналъ, и заключалась его сила и вліятельность.

— Я прямо счастливъ, что познакомился съ вами, князь, — съ неподдѣльной искренностью говорилъ Рябовъ, — это своего рода вторая молодость. Когда-то я мечталъ обновить не только Россію, но и міръ. Но реальная дѣйствительность разбила всѣ иллюзіи. Трудно стало вѣрить даже тому, что наши дѣти могутъ увидѣть лучшее будущее. И вся жизнь стала бессмыслицей. Только для нихъ, только ради обязанностей передъ дѣтьми хватало силъ жить. А теперь провинція и встрѣча съ вами меня опять точно живой водой sprysнули.

Князь улыбался спокойной, чуть-чуть величавой улыбкой, заставлялъ подробно рассказывать какъ въ министерствѣ идетъ работа надъ крестьянскимъ вопросомъ и старался все запомнить, чтобы отписать заграничнымъ друзьямъ.

Ни одного слова оправданія, или прощенія, или даже объясненія не было произнесено между Елизаветой Ивановной

и Рябовымъ. Точно и не было сказано тѣхъ злыхъ, черныхъ словъ, точно и не было той злой, черной ночи, когда вражда, презрѣніе, непониманіе, много лѣтъ таившіяся въ ихъ необогрѣтомъ любовью домѣ, всѣ эти низменныя, дурныя, разобщающія чувства вдругъ прорвались и разгорѣлись.

Лѣто пришло къ концу и опустѣлъ большой, полный солнца и смѣха, окутанный прелестью стараго сада домъ, гдѣ Елизавета Ивановна отдохнула, гдѣ къ ней тихо подкрались забытые, заглушенные зовы жизни. Опять семья Рябовыхъ собралась въ своей квартирѣ на Знаменской, жизнь какъ будто опять покатила по старой колеѣ... Дѣти учились. Елизавета Ивановна вела хозяйство, мужъ ходилъ на службу, а ночью они опять спали въ своей большой, угрюмой спальнѣ, которая также была загроможденной шкапами и ненужными вещами, какъ когда-то была загромождена спальня Лизиной матери. Тотъ, кого въ ту ночь, охваченная, наконецъ, яростью разгорѣвшагося женскаго буйства, отогнала она отъ себя, по-прежнему былъ ея мужемъ. Опять тяжелыми веригами повисли на ней давніе, толкающіе къ покорности, доводы. Какъ же иначе? Куда идти? Куда дѣваться? А главное, дѣти?.. Пусть что. угодно будетъ съ ней, только, чтобы они не догадались, какія отношенія существуютъ между отцомъ и матерью. Пусть не знаютъ о самомъ главномъ, о самомъ унижительномъ, пусть все это таятся въ бездушномъ, холодномъ полумракѣ супружеской спальни. Она все перенесетъ, все стерпитъ, но, при одной возможности стыда передъ дѣтьми, кровь приливаетъ къ вискамъ и голова опускается внизъ, какъ у преступницы.

Елизавета Ивановна не знала, чего она больше стыдится, того, что пережила въ ту единственную ночь въ объятіяхъ чужого, мимоходомъ пожелавшаго ее, человѣка, или тягостной женской тоски, пропитавшей всю ея жизнь съ Рябовымъ. Случайныя ласки, опалившія ее радостью, которую она сама считала позорной, сдѣлали для нея отношенія съ мужемъ еще тяжелѣе. Память о нихъ загоралась, и дразнила, и оставляла въ душѣ расслабляющее, болезненное любопытство. Многое теперь опять пугало, отталкивало и мучило и возбуждало лихорадочное, тѣлесное отчаяніе, отъ котораго утромъ она просыпалась разбитая и пьяная.

Исковерканной и опозоренной чувствовала она себя. Какіе-то глухіе, неслышныя голоса раздавались въ ней. Порой она съ конфузливимъ, смутнымъ ожиданіемъ пристально вглядывалась въ свое изображеніе въ зеркалѣ. Въ черныхъ, еще густыхъ волосахъ сѣрѣли бѣлые волосы. Вокругъ глазъ шли морщины. Тусклой и

старой видѣла она себя. И со вздохомъ отворачивалась. Дома, на улицѣ, въ конкѣ, если ея взглядъ скрещивался случайно съ мужскимъ взглядомъ, она испытывала тяжелое, неудержимое волненіе. Иногда тоже волненіе вызывали въ ней широкіе плечи идущаго мимо нея человѣка, или усы, или веселый звукъ мужского голоса. Ей было стыдно и противно, она безжалостно корила себя, и не могла преодолѣть, и слышала, какъ струится кровь въ рукахъ, быстро обжигая плечи, какъ пробѣгаетъ она вверхъ, черезъ все тѣло, прямо къ бьющемуся сердцу.

Возбужденная, несчастная, сама себѣ противная, возвращалась Елизавета Ивановна домой и боялась взглянуть въ глаза дѣтямъ, точно пришла съ любовнаго свиданія. Но дома никто не обращалъ на нее вниманія. Тиночка была поглощена уроками, подругами, встрѣчами съ кадетами и гимназистами, которые уже признавались въ любви и писали ей признанія въ стихахъ и прозѣ. Распускающаяся женственность била въ ней ключомъ, и на ея полудѣтскомъ лицѣ, въ смѣлыхъ глазахъ, въ зыбкой улыбкѣ, чуялось хищническое любопытство начинающей сознавать свою силу женщины. Мать старалась этого не видѣть. Ей такъ хотѣлось, чтобы ея дѣвочка подольше оставалась дѣвочкой, и Тина, чуткая и ласковая къ матери, снисходительно поддавалась этой игрѣ.

Вася сблизился съ кружкомъ, гдѣ всѣ вопросы рѣшались быстро, непримиримо и доктринерски. Этой доктринѣ онъ отдавался съ той же страстностью, съ которой когда-то лежалъ на полу и бормоталъ молитвы. Между нимъ и отцомъ все чаще разгорались споры, все чаще они отвѣчали другъ другу ехидными язвительно-высокомѣрными голосами. Рябовъ сблизился съ конституціоналистами, видѣлся съ княземъ и его друзьями. Дѣлалъ онъ это осторожно, такъ чтобы никто не зналъ, но въ душѣ гордился новыми связями и чувствовалъ себя героемъ и былъ бы совсѣмъ счастливъ, если бы только могъ вести за собой и сына.

— Вася, да ты прочти хорошенько Маркса, — съ отчаяніемъ говорилъ онъ, — посмотри, что дѣлаютъ социаль-демократы на западѣ. Какъ же можно измѣнить положеніе пролетаріата безъ политической свободы?

— Другими словами, доставать свободу для госпожи буржуазіи, чтобы она еще крѣпче забрала рабочаго въ свои руки? Нѣтъ, благодарю васъ, — сердито и недовѣрчиво возражалъ сынъ, — не такъ мы глупы, чтобы таскать каштаны для удовольствія эксплуататоровъ.

— Но вѣдь это же идіотизмъ, — рѣзко отвѣчалъ Рябовъ, — безъ политической свободы нельзя сорганизоваться.



У Васи вздрагивала нижняя губа и онъ, съ трудомъ сдерживаясь, заявлялъ:

— Это идиотизмъ? Отлично. А я считаю твою вѣру, что буржуазія что-нибудь дастъ трудящимся массамъ, ребячествомъ...

— Ребячествомъ? Скажите пожалуйста,—откуда у васъ столько апломба берется!—уже кричалъ Рябовъ...

Елизавета Ивановна всегда была на сторонѣ сына и радовалась, что онъ умѣетъ давать отпоръ отцу. Ей казалось, что въ томъ, что говорить сынъ, больше надежды, больше широкаго желанія что-нибудь дать несчастнымъ. Что мужики голодаютъ, что рабочихъ притѣсняютъ, что кто-то спаиваетъ народъ и пьяные изъ-за этого бьютъ своихъ женъ, это она понимала, и чувствовала удовлетвореніе когда кто-то боролся или даже обѣщалъ бороться противъ насильниковъ, во имя справедливости. Разговоры о свободѣ и правѣ были отъ нея несравненно дальше. Эти слова давно, давно слышала она отъ Рябова и съ тѣхъ поръ она на себѣ узнала, что такое его свобода, его понятіе о правахъ, о личности, о справедливости. Она такъ и не научилась обобщать и логически думать, а просто считала хорошими и вѣрными только тѣ мысли, которыя высказывались хорошими, вѣрными людьми. Доброта и чуткость были для нея убѣдительнѣе ума. И можетъ быть, она, по своему, была права.

Кругомъ нея жизнь осложнялась и хорошѣла, и свѣтлѣла и втягивала въ новый круговоротъ все больше и больше людей, еще недавно сидѣвшихъ въ своей скорлупѣ. Раздавались старья, но какъ будто посвѣжѣвшія отъ долгаго лежанія подъ спудомъ, рѣчи. Люди проще, искреннѣе шли другъ другу навстрѣчу, охотнѣе обмѣнивались не только сходными, но даже противоположными взглядами. А тѣ, кто почему-либо настолько ослабѣлъ, оробѣлъ отъ жизни, что ничего уже не могъ сказать, съ жуткимъ любопытствомъ, съ сочувственной тревогой прислушивались къ гулу чужихъ голосовъ. И тоже радовались.

Елизавета Ивановна была среди нихъ. Сначала японская война привела ее въ какой-то нервный азартъ. Она даже газеты стала читать, и вмѣстѣ съ Васей шумно радовалась русскимъ поразеніямъ:

— Такъ и надо, такъ и надо,—съ безтолковой злобностью, иногда нападающей на кроткихъ людей, говорила она.

— Ну, Елизавета Ивановна, зачѣмъ же такъ?—мягко укорилъ ее Кагановъ, который только что вышелъ изъ кабинета, гдѣ долго говорилъ съ Рябовымъ,—все-таки вѣдь это русскія войска терпятъ. И солдаты чѣмъ же виноваты?

— Я не о солдатахъ, я о правительствѣ. Такъ имъ и надо,—упрямо повторила она.

Потомъ ей попало подробное описаніе какой то стычки. Опытный журналистъ вызвалъ передъ ея глазами ужасы, и боль, и раны, и страданія людей. Елизавета Ивановна заплакала, точно въ первый разъ поняла, что на войнѣ льется кровь.

Она вообще часто начала плакать. Послѣ той ночи въ вагонѣ, все ослабѣло, распаталось въ ней. Что-то внутри сдвинулось, сорвалось. Ушло покорное, грустное спокойствіе, которое придавало ея маленькой, домашней работѣ ровность и толковость. Теперь какіе-то толчки, какое-то внутреннее безпокойство безпричинно бросало ее отъ одного настроенія къ другому. Она была то неудержимо восторженна, то по-дѣтски весела, то угрюма до слезъ. И къ людямъ относилась нервно, несправедливо, точно ждала отъ нихъ чего-то и не могла дожидаться. Но кругомъ все было такъ необычно, что никто не замѣчалъ переменъ. Да и некому было присматриваться къ ней. Она была изъ тѣхъ, кого не замѣчаютъ, къ кому даже близкіе ее успѣваютъ приглядѣться.

Рябовъ теперь получалъ хорошее жалованіе. Нащокинъ пристроилъ его еще юрисконсультомъ въ горное товарищество, гдѣ самъ былъ крупнымъ пайщикомъ. Телефонъ и электричество, неизбежные признаки средняго благосостоянія, уже завелись у Рябовыхъ. Притокъ денегъ обезцѣнили неутомимую, заботливую, домовитую энергію, которая была до сихъ поръ вкладомъ Елизаветы Ивановны въ хозяйство. Все, что нужно было для дѣтей, можно было теперь покупать въ готовомъ видѣ и даже покупать въ хорошихъ магазинахъ. Все, что нужно было въ квартирѣ, дѣлали горничная и кухарка. У Елизаветы Ивановны было такое чувство, точно кто-то все суживаетъ и безъ того небольшое мѣсто, которое она занимаетъ на свѣтѣ. Деньги, которыя она брала отъ мужа, она такъ и не научилась считать своими. Да и давалъ онъ ихъ, попрежнему, скѣпо, тщательно высчитывая все напередъ, точно брала ихъ не хозяйка дома, а нерадивая экономка. А между тѣмъ, послѣ случайныхъ ласкъ чужого человѣка, о которомъ Елизавета Ивановна знала только, что у него крѣпкія, горячія руки и душистые, ласковые усы, въ ней заметалась потребность украсить, расширить свою жизнь. Ей хотѣлось видѣть цвѣты и яркія, мягкія ткани. Хотѣлось чего-то красиваго, праздничнаго, увѣреннаго. Въ головѣ мелькали робкія мысли о нарядахъ, о новой

шляпѣ, обо всемъ, о чемъ она давно перестала думать. И она сама стыдилась этихъ мыслей. Съ отчаяніемъ чувствовала Елизавета Ивановна, что все это запоздалыя желанія, что нѣтъ уже въ ней ни рѣшимости, ни смѣлости, ни умѣнія подойти къ жизни. И тѣмъ безсильнѣе билась она, отравленная, съ каждымъ днемъ терявшая связь съ тѣмъ немногимъ, что было ей близко и доступно. Тѣ рѣчи, которыя велись въ комнаткѣ сына, усиливали въ ней тревогу и смутную жадность къ чему-то.

Теперь она чаще вмѣшивалась въ разговоръ, но всегда невпопадъ, отвѣчая не общему настроенію, а только собственному. Всѣ привыкли встрѣчать ея слова короткимъ молчаніемъ или легкой улыбкой снисхожденія. Если были чужіе, особенно если былъ кто-нибудь изъ тѣхъ серьезныхъ, уже немолодыхъ людей, съ которыми Рябовъ познакомился черезъ князя, тогда Аполлонъ Максимычъ говорилъ добрымъ, прощающимъ голосомъ:

— Лиза, ну что ты говоришь? Ты совсѣмъ не принимаешь во вниманіе общей политической конъюнктуры. Моя жена, въ сущности, всегда была индифферентна къ общественной жизни. Вотъ это теперь и сказывается.

Онъ снисходительно улыбался, и Елизавета Ивановна ненавидѣла его и за улыбку, и за притворную ласковость голоса, и за то, что въ его словахъ все-таки была доля правды, потому что дѣйствительно о политикѣ она мало думала.

Когда не было чужихъ, Рябовъ рѣзко обрывалъ жену:

— Пожалуйста, не разсуждай о томъ, чего не понимаешь.

Эти слова — ты этого не понимаешь, — Елизавета Ивановна слышала все чаще.

Тиночка, ласкаясь, точно кошечка, говорила:

— Мамочка, хорошая, золотая, любимая, ничего-то ты у меня не понимаешь.

Дѣвочка уже приняла съ матерью покровительственный тонъ, но при этомъ такъ нѣжно терлась объ ея руку своей круглой, теплой щекой, такъ забавно улыбалась всѣми своими ямочками, что въ душу Елизаветы Ивановны, какъ бы ни было въ ней темно, проскальзывалъ лучъ солнца...

— Да ты сама то развѣ ужъ что нибудь понимаешь? — смѣясь отвѣчала она, цѣлуя дочь.

— Ну еще бы!

Дѣвочка задорно подмигивала сѣрыми, быстрыми глазами, и Елизавета Ивановна не могла удержаться отъ улыбки, любуясь нѣжнымъ подвижнымъ личикомъ. Слова Тиночки она считала ребяческой шуткой, не замѣчая, что дѣвочка, въ свои 15 лѣтъ,



такъ увѣренно и просто разбирается въ жизни и въ людяхъ, какъ мать за всю свою жизнь не научилась.

И въ комнатѣ сына нерѣдко слышала она тотъ же припѣвъ: «Ты этого не понимаешь». Въ этой комнатѣ Елизаветѣ Ивановнѣ легче всего дышалось. Здѣсь молодые, увѣренные, перебивавшіе другъ друга, голоса рѣшали всѣ вопросы быстро и категорично. Ихъ настроеніе, ихъ рѣчи напоминали то, что когда-то слышала она въ коммунѣ у Ивановой, будили въ ней смутное тяготѣніе къ добру, желаніе понять, осмыслить, сдѣлать что-то самое важное, что всегда заслоняется назойливымъ рядомъ будничныхъ обязанностей и изъ-за нихъ остается несдѣланнымъ.

Среди товарищей Васи она забывала о себѣ, о тяжелыхъ и мутныхъ внутреннихъ перебояхъ, терзавшихъ ея душу. Она вѣрила, что молодежь сдѣлаетъ то, чего остальные люди не умѣютъ дѣлать. И ей было пріятно заботиться о нихъ, ухаживать за ними, приносить имъ чай, хлѣбъ, фрукты. Она корила Васю, зачѣмъ не предупредить, чтобы она могла припасти всего побольше.

— Почему же я зналъ, мама? Да и стоитъ ли объ этомъ говорить? Съѣли, что было, ну и ладно, — отмахивался отъ нея сынъ.

Онъ былъ въ непрерывно-приподнятомъ настроеніи, не могъ сидѣть на мѣстѣ, двигался порывисто, точно хотѣлъ сорваться и полетѣть. Глаза у него блестѣли и смотрѣли пристально, какъ смотреть глаза людей, которые къ чему-нибудь прислушиваются, а мысли кружились, мѣнялись, передвигались, точно обгоняя его самого.

— Нѣтъ, Михалинскій, это невозможно; если мы будемъ ждать пока пролетаріатъ сьорганизуется, буржуазія все захватитъ въ свои грязныя лапы, — говорилъ Вася, бѣгая взадъ и впередъ по узкой, длинной комнатѣ.

Михалинскій былъ тотъ самый сутуловатый, длиннорукий студентъ, который лѣтомъ пріобщалъ Васю къ марксизму. Онъ пренебрежительно скривилъ тонкія губы и, пуская дымъ, произнесъ сквозь зубы:

— Совершенно не раздѣляю вашей тревоги. Я твердо знаю, что историческій законъ съ нами и что, рано или поздно, четвертое сословіе будетъ распоряжаться орудіями производства. Я это знаю и потому нервничать себѣ не позволяю. Считаю это излишней роскошью.

Изъ угла раздался голосъ бѣлокураго, чистенькаго юноши въ студенческой тужуркѣ:

— Ну и ваше счастье, что вы это такъ твердо знаете, —

голосъ насмѣшливо повторилъ подчеркиваніе на этомъ словѣ.— Только вы сами оговариваетесь, что рано или поздно. Вотъ тутъ-то и заковыка. Я не хочу, чтобы поздно, я хочу, чтобы рано. Я хочу самъ видѣть, какъ осуществляется справедливость. Я вижу мерзавца и хочу самъ съ нимъ расправиться. Понимаете самъ, своими руками...

Студентъ вскочилъ. На миломъ, еще дѣтскомъ, лицѣ горѣли прелестные, темные глаза. Это былъ Бросовскій, единственный сынъ важнаго чиновника, бывшаго товарища Аполлона Максима по училищу, сынъ того самого Бросовскаго, который былъ разъ у Рябовыхъ вскорѣ послѣ ихъ свадьбы и поднялъ тогда въ Рябовѣ мутную зависть къ своему богатству и положенію. Бросовскій-отецъ еще губернаторомъ прославилъ свое имя на всю Россію. Онъ заставилъ солдатъ при себѣ перепоротъ цѣлую волость, за то, что мужики осмѣлились запахать спорную помѣщичью землю. Объ этой землѣ у нихъ была давняя тяжба. Они проиграли ее во всѣхъ инстанціяхъ и рѣшили своими силами исправить рѣшеніе, казавшееся имъ незаконнымъ. Бросовскій, при помощи розогъ, объяснилъ имъ, что значить законъ, и послѣ этого быстро пошелъ въ гору.

— Ну, Бросовскій, это у васъ романтизмъ какой-то,— иронически усмѣхнулся Михалинскій,—просто, значить, чтобы себя потѣшить?

— Отчего? — вмѣшался Вася,—я думаю, что Бросовскій правъ. Эти всѣ историческіе процессы, чортъ бы ихъ побралъ, вѣдь это отвлеченность. А я вотъ вижу, что шайка все захватила, душитъ, грабитъ народъ, издѣвается надъ нимъ. Вотъ мы ихъ и устранимъ.

— Ого, вы что же соціалистомъ-революціонеромъ стали или анархистомъ?—съ еще большей ироніей спросилъ Михалинскій.

— Вамъ непременно кличку надо,—съ раздраженіемъ отвѣтилъ Бросовскій.—Ну да, если хотите, я анархистъ. Я хочу, чтобы человекъ былъ свободенъ, чтобы онъ самъ опредѣлялъ, что такое справедливость, а не тыкался всегда по указкѣ.

— А вы думаете, что всѣ умѣютъ быть свободными?—вдругъ спросила Елизавета Ивановна.

Она сидѣла на диванѣ, слушала и молчала, и всѣ забыли о ней. А теперь обернулись, съ нетерпѣливымъ удивленіемъ замѣтили ея лицо, казавшееся изъ-за табачнаго дыма сѣрымъ. Они относились къ ней хорошо, но ни она сама, ни ея слова не были для нихъ интересны.

— Ахъ, мама, ну что ты спрашиваешь!—нетерпѣливо ска-

заль Вася, — если кто не умѣетъ быть свободными, такъ и чортъ съ ними. Стоить ли объ такихъ думать...

— То есть какъ же? Куда же ихъ дѣвать? Какъ же имъ-то жить? — съ невеселымъ упрямствомъ настаивала мать.

— Пусть какъ хотятъ, такъ и живутъ, — жестко сказала Бросовскій.

— Развѣ это справедливо? — возмутилась Елизавета Ивановна, — вы же для всего человѣчества хотите счастья. Чѣмъ же они виноваты?

— Оставь, мама, — еще нетерпѣливѣе оборвалъ ее сынъ. — Ты совсѣмъ не понимаешь, о чемъ мы говоримъ. Вѣдь мы вообще, а не объ отдѣльныхъ личностяхъ.

Онъ обернулся къ Михалинскому и другимъ голосомъ, тѣмъ, которымъ говорятъ съ равными, сказалъ:

— Я ближе къ Бросовскому, чѣмъ къ вамъ, я тоже не обладаю такимъ дьявольскимъ терпѣніемъ, чтобы ждать когда массы двинутся.

— Значить, вы за партизанскую войну?

Споръ продолжался. Елизавета Ивановна слушала ихъ внимательно, ничуть не обиженная словами сына. Она смиренно сознавала, что дѣйствительно многое ей трудно понять, что думать, какъ они, она не умѣетъ. Но такъ хотѣлось къ чему-то примкнуть, прилѣпиться, стать частью какого-то цѣлаго, осуществлять, воплощать свою расплывчатую, безсильную любовь къ добру.

Съ благодарной осторожностью брала она отъ молодежи свертки и тючки, и прятала ихъ въ глубинѣ ящика, подъ бѣльемъ, и придумывала все новыя мѣста, гдѣ прятать, и лукаво улыбалась, таясь и отъ прислуги, и отъ мужа. Но разъ не доглядѣла и попалась ему на глаза. Она думала, что его нѣтъ дома, что онъ еще въ засѣданіи и, стуча дверцами шкапа, не слышала его шаговъ.

— Это что? — вдругъ раздался за ея спиной голосъ Рябова.

Онъ сразу догадался, въ чемъ дѣло, и выхватилъ изъ ея рукъ пакетъ. Онъ боялся, что тамъ оружіе, такъ какъ зналъ, что со всѣхъ сторонъ толкуютъ о вооруженныхъ возстаніяхъ, и убѣдился, что это только литература. Но все-таки онъ набросился на жену:

— Этого еще не хватало. Ужъ ты-то въ такія дѣла, пожалуйста, не суйся. Вѣдь если меня со службы выгонять, ты насъ кормить не будешь. А?

Онъ побѣжалъ въ комнату сына, но тамъ заговорилъ сначала иначе:



— Вася, вы съ товарищами очень неосторожны. Нашъ домъ совсѣмъ не годится для склада. За нами давно слѣдятъ.

— Откуда ты это знаешь?—недовѣрчиво спросилъ сынъ.— И съ какой стати будутъ за нами слѣдить?

Отецъ обидѣлся. Онъ давно замѣчалъ, что сынъ не цѣнитъ, даже какъ будто не замѣчаетъ, какая коренная перемѣна произошла съ нимъ, съ Рябовымъ, съ тѣхъ поръ какъ онъ сошелся съ конституціоналистами.

— Я полагаю, что ты уже достаточно сознательный, чтобы понять, что такіа знакомства, какъ у меня, не по вкусу власти имущимъ. Да и мои убѣжденія не особенно для нихъ пріятны,— внушительно сказалъ онъ.—Я каждый день жду, что придется уйти со службы.

Вася пожалъ плечами. Его служба отца ничуть не занимала.

— Ну, знаешь, папа, мнѣ кажется въ тебѣ какіе-то преувеличенные страхи.

Рябовъ окончательно разсердился.

— Во всякомъ случаѣ, я не только прошу, я требую, чтобы ты не превращалъ мой домъ въ складъ литературы, которой я даже не сочувствую. И мать въ это нѣтъ надобности втягивать.

— Ты требуешь... Ну, что-жъ, это твое право... А насчетъ сочувствія... Такъ вѣдь и я твоимъ взглядамъ не сочувствую... Изъ этого есть простой исходъ.

— Какой?

Отецъ съ сыномъ пристально, точно изучая, рассматривали другъ друга. Елизавета Ивановна поймала на ихъ лицахъ не только враждебность, но какъ ей показалось угрозу, и торопливо сказала:

— Пожалуйста, не воображай... Никто меня не втягиваетъ. Я сама отъ нихъ взяла. И пустяки... Какая тутъ опасность.

Ни мужъ, ни сынъ не обратили на нее вниманія. Вася, съ дѣланнымъ спокойствіемъ, продолжалъ:

— Очень просто... Я вѣдь могу и уйти.

— Какъ уйти?—закричалъ Рябовъ.—Куда ты пойдешь? Что ты, наконецъ, воображаешь? Вѣдь ты же еще мальчишка, гимназистъ...

— Ну, такъ что-жъ? Ну, пусть мальчишка. А все-таки буду жить по своему, а не по твоему,—тоже кричалъ Вася.—Я ненавижу всѣ эти семейныя глупости. Все это одна ложь.

— Ложь? Однако эта ложь, эта семья, тебя вскормила...

— Я развѣ объ этомъ просилъ васъ?—изступленно кричалъ юноша.—Я ни о чемъ тебя не просилъ. Никогда. Ты дѣлалъ

то, что хотѣлъ, просто потому, что тебя тѣшило, что это вотъ твой сынъ, твоя собственность...

— Неправда. Нѣтъ во мнѣ собственника...

Они старались перекричать другъ друга съ бессмысленной злобой, оба несправедливые, оба слушавшіе только себя. Елизавета Ивановна ловила въ ихъ голосахъ отголоски своихъ собственныхъ, долголѣтнихъ ссоръ съ мужемъ, той же бессмысленной, часто безпричинной раздражительности и не понимала откуда все это. Рябовъ вѣдь такъ любилъ сына. Вася тоже никогда не говорилъ дурно объ отцѣ, сдержанный и замкнутый, таилъ въ себѣ ту, часто тяготившую его, прирожденную противоположность натуры, которая отдѣляла его отъ отца.

Въ ту же ночь, сейчасъ, сію минуту хотѣлъ онъ уйти изъ отцовскаго дома. Но мать заплакала и опустившись на его диванъ безпомощно повторяла:

— Господи, а я-то, я-то какъ же?

Безграничная, великодушная жалость, подхватила, расширила душу сына. Онъ понялъ, какая она одинокая, слабая, безпомощная. Онъ не зналъ, не видѣлъ, не чувствовалъ всѣхъ однообразныхъ мелочей, капля по каплѣ наполнившихъ ея жизнь сѣрымъ, холоднымъ туманомъ. Но смутно пронеслось въ немъ сознаніе, что передъ нимъ не только мать, но и женщина, которую жизнь обошла и ограбила. Онъ сталъ передъ ней на колѣни, прижался головой къ ней и шепталъ:

— Мама, не плачь, только не плачь. Ну, хорошо, я останусь. Я буду съ тобой, только не плачь.

Такъ когда-то говорила она мужу, когда, онъ, молодой и влюбленный, безпомощно плакалъ у ея ногъ.

Послѣ ссоры между мужемъ и Васей узенькая дощечка, по которой брела Елизавета Ивановна, стала еще болѣе гибкой и тонкой. Она поняла, что и дѣтямъ, по крайней мѣрѣ Васѣ, тѣсно и душно въ гнѣздѣ. Въ томъ самомъ гнѣздѣ, ради котораго она гнула и сжималась, принесла въ жертву силы, молодость, заглушила во славу его и гордость, и женскую брезгливость. Все чаще, съ удивленнымъ и сумрачнымъ лицомъ, останавливалась она посреди квартиры и не могла вспомнить, куда и зачѣмъ шла, и ловила себя на томъ, что стоитъ одна, въ пустой комнатѣ, и тихо шепчетъ:

— Какъ же такъ? Куда же все дѣвалось?

Въ ней не было ни привычки заботиться о себѣ, ни маленькихъ, цѣпкихъ капризовъ, на удовлетвореніе которыхъ такъ

часто направляется притупленная воля женщинъ, въ особенности немолодыхъ. Вещи не имѣли для нея настоящаго очарованія. Модная шляпа, нарядное платье вызывало въ ней грустную неловкость: еще подумаетъ кто-нибудь, что она хочетъ молодиться. Вотъ для Тиночки, это другое дѣло. Но у той уже былъ свой опредѣленный, несходный съ материнскимъ, вкусъ. Елизавета Ивановна боялась что-нибудь сама купить или сшить для нея. Только смотрѣла и качала головой:

— Тиночка, откуда ты это выдумала? Развѣ синее съ зеленымъ красиво?

— Ну, конечно,—авторитетно отвѣчала дѣвушка.—Я видѣла въ концертѣ Струнскаго съ какой-то дамой. На ней было зеленое платье съ синими лентами. Знаешь, Струнскій? Ну, тотъ самый, художникъ, извѣстный такой...

— Знаю,—неохотно отвѣчала мать и чувствовала, что жизнь бѣжитъ быстро, быстро, а она неподвижно лежитъ на днѣ.

На улицѣ она съ завистью смотрѣла на женщинъ, рядомъ съ которыми шли маленькія дѣти. Имъ есть о комъ заботиться, есть кому беззавѣтно расточать свои мысли и силы. Понурясь шла она дальше и думала:

— Ну да, пока они маленькіе, все хорошо. А потомъ? Все равно, придетъ и къ нимъ пустота, и у нихъ дни потянутся такіе длинные и ненужные.

## XIX.

Жизнь за стѣнами Рябовскаго дома шумѣла, точно море передъ грозой, и смутный хоръ еще недавно молчаливыхъ человѣческихъ голосовъ гудѣлъ такъ властно, такъ призывно, что даже тѣмъ, кто умѣлъ только слушать, казалось, что и отъ нихъ чего-то требуютъ и ждутъ.

Въ январское, морозное воскресенье, котораго всѣ ждали съ такимъ страстнымъ, подлымъ и недовѣрія и надежды напряженіемъ, Вася и Тиночка общали матери остаться дома, и все-таки ушли, украдкой, чтобы не пугать ее. Елизавета Ивановна бросилась за ними, бѣгала по опустѣвшимъ, страшнымъ улицамъ. Солнце блестѣло, морозное и веселое. И при его радостномъ дневномъ свѣтѣ люди съ залитыми кровью лицами, которыхъ везли по Литейной на извозчикахъ, казались привидѣніями. Хотѣлось бѣжать отъ нихъ на край свѣта, чтобы не слышать этой не-

жданной городской тишины, чтобы не видать этих отвратительныхъ красныхъ пятенъ.

И лица дѣтей мерещились, тоже въ крови, изуродованныя и жалкія.

Она бросилась домой. Васи еще не было, а Тиночка стояла посреди столовой, тряслась мелкой, неудержимой дробью и, блѣдная, съ горящими, потемнѣвшими глазами, рассказывала кухаркѣ и горничной:

— Надъ самой моей головой ударило. Штукатурка такъ и посыпалась... Двое рядомъ упали. Рабочій и курсистка. Такая, вродѣ меня... Я хотѣла нагнуться, поднять ее... А какой-то студентъ кричитъ: «Что вы—съума сошли». И схватилъ меня за руку. Мы побѣжали, а они еще и еще въ догонку, въ спину намъ.

— Господи, Тиночка, да у тебя кровь,—бросилась къ ней мать.

Дѣвушка стояла въ шапкѣ и въ кофточкѣ, не раздѣваясь, какъ пришла. И по бѣлой шеѣ тянулась къ воротнику красная, уже темная, запекшаяся полоска.

— Пустяки!—сурово отвѣтила она,—кажется, кончикъ уха задѣло... Мама, если бы ты видѣла... Если бъ ты видѣла... Эта, курсистка, рядомъ. Вотъ совсѣмъ рядомъ...

Она сжала руки и въ безсильной ярости смотрѣла передъ собой, и снова видѣла широкую улицу, ряды солдатъ, толпу и неподвижное, уже залитое смертной синевою, лицо молоденькой, блѣлокурой дѣвушки.

Послѣ этого воскресенія Тиночка горячѣе Васи отдалась всему, что было связано съ революціей. Теперь она была дружна съ Бросовскимъ, ходила съ нимъ на какія-то собранія, мѣтко и зло спорила съ Михалинскимъ и, что больше всего удивляло мать, разогнала отъ себя всѣхъ своихъ прежнихъ поклонниковъ.

Это настроеніе все нарастало и нарастало, охватывая смутнымъ чувствомъ какого-то восторженного гнѣва самыхъ разнообразныхъ, самыхъ несходныхъ людей. Банкеты, рѣчи, митинги, стачки, засѣданія, союзы, программы, все это оглушало даже сильныхъ, привыкшихъ думать людей, сливаясь въ сплошной военный маршъ, призывавшій къ побѣдѣ. Даже одинокихъ, тѣхъ, кто всю жизнь незамѣтно копошился въ своемъ углу, подхватилъ и опьянилъ потокъ, смывшій столько условностей. Неудержимые и безотвѣтственные, какъ песчинки, неслись они по теченію, увлеченные призывами застрѣльщиковъ, которые считали себя вожаками, хотя въ сущности сами уже не могли



бы остановиться, повернуть, изменить ходъ движенія. Тѣ, маленькіе, незамѣтные, сдвинулись толпами и тащили за собой переднихъ и негодовали, и проклинали, и грозили, и были счастливы, потому что забывали о себѣ, о своей личной незадачливости, обиженности, обойденности, потому что, какъ дѣти, вѣрили, что пришелъ кто-то, кто несетъ съ собой справедливость и возмездіе. И ждали, страстно ждали, что чья-то могучая рука разобьетъ цѣпи ихъ рабства. А потомъ вдругъ начали оскудѣвать, тускнѣть распалившіяся души. Потянуло холодкомъ, поползла мгла, заволакивая просторы, миражемъ раскинувшіеся передъ глазами десятковъ миллионовъ людей. Все чаще и чаще, одни вслухъ, другіе про себя, но такъ, что ясно читались горькіе слова въ ихъ тоскующихъ глазахъ, повторяли:

— Не то, не то... Не вышло...

Въ Рябовскомъ домѣ дольше и упрямѣе всего держался самъ Рябовъ. Быть можетъ, потому, что онъ не такъ увлекался, не такъ поддавался, какъ остальные, трезвѣе и спокойнѣе присматривался къ событіямъ.

И Вася сначала упирался. Изъ его кружка никто не попалъ въ самую гущу событій, ничье имя не сверкнуло ни безумствомъ подвига, ни героизмомъ гибели. Но многіе изъ тѣхъ, кого и Вася, и его друзья знали въ лицо, чьимъ рѣчамъ они рукоплескали, исчезли за крѣпкими тюремными дверями. И подробности казней передавались теперь изъ устъ въ уста, какъ раньше передавались подробности революціонныхъ побѣдъ.

Когда Бросовскій пришелъ прощаться съ Рябовыми, былъ сырой, непогожій, ноябрскій вечеръ. Изъ холодной, невидимой морской дали налеталъ вѣтеръ, злобный и пронзительный. Сквозь каменную неприступность городскихъ стѣнъ доносились его порывы, пробуждая въ людяхъ томительное сознаніе сиротливости и безпомощности. Визжалъ флюгеръ на крышѣ, дрожала рама въ окнѣ и вдругъ, заглушая грохотъ улицы, раздавался жалобный вой бури. Городъ слитнымъ шумомъ миллионовъ жизней пытался заглушить могучій ревъ непогоды, но, точно издѣваясь, грохотала она за окномъ и ея невидимыя, жесткія руки, тяжело ложились на слабыя, слѣпыя человѣческія сердца, прибавляя какую то жуткую, стихійную безысходность къ красному гнету, созданному злой человѣческой волей.

Бросовскій съ блѣднымъ, похудѣвшимъ лицомъ, на которомъ темные глаза стали еще чернѣе, сидѣлъ на своемъ любимомъ стулѣ, у окна, въ тѣсномъ простѣнкѣ между столомъ и

стѣной и говорилъ вздрагивающимъ голосомъ, такимъ звонкимъ, точно онъ вотъ сейчасъ оборвется, какъ не въ мѣру натянутая струна.

— Я только потому уѣзжаю, что не хочу своимъ самоубійствомъ доставить лишнюю побѣду врагамъ. Я не вѣрю, я не могу вѣрить, что намъ никогда не удастся отомстить. Раньше я думалъ, что месть это что-то низменное, отжитое, звѣриное. Теперь я знаю, что иногда человѣку месть такъ-же необходима, какъ воздухъ и вода... Если бы не было мести, развѣ можно было бы остаться жить?..

Онъ обвелъ всѣхъ горячими, обѣзумѣвшими отъ ненависти, и негодованія, и жалости глазами. Вася, прислонясь къ шкапику, понурившись и крѣпко прихвативъ нижней губой верхнюю, слушалъ. Тина сидѣла на валикѣ дивана, обнимая рукой плечи матери, и потому, какъ сжимались и разжимались холодные, тонкіе пальцы, Елизавета Ивановна чувствовала, какъ волнуется ея дѣвочка. Бросовскій на мгновеніе остановилъ свой взглядъ на узкомъ, нѣжномъ, измѣнчивомъ, дѣвичьемъ лицѣ, на ея большихъ, свѣтлыхъ глазахъ, потомъ отвернулся и продолжалъ:

— Каждый вечеръ, закрою глаза и вижу, тянется мимо меня вереница людей... Есть молодые, есть старики, есть почти дѣти... Есть женщины. И у всѣхъ на шеѣ болтается веревка... Они мертвые, лица у нихъ блѣдныя, почти сѣрыя. На нихъ сѣрые, длинные мѣшки. Они идутъ и идутъ, и пристально смотрятъ на меня. Чего-то ждутъ, требуютъ, приказываютъ ихъ мертвые глаза. Ахъ, если бы я зналъ, чего они хотятъ, что я долженъ дѣлать...

Со стономъ схватился онъ за голову. Елизавета Ивановна сдѣлала движеніе, чтобы встать, помочь ему. Но дочь крѣпче охватила ея плечи и не пускала. Мать слышала, какъ громко и нервно стучало въ горячей груди сердце дѣвушки. Бросовскій, не подымая головы, все тѣмъ же звонкимъ, напряженнымъ голосомъ продолжалъ.

— Я знаю, это называется галлюцинаціей. Возможно, что еще немного и я сойду съ ума. Нельзя безнаказанно проводить ночи среди повѣшенныхъ. И не только ночи, но и дни... Я вѣдь и днемъ ихъ иногда вижу. Идутъ и идутъ, вереницей...

Онъ выпрямился и, глядя передъ собой невидящими глазами, усмѣхнулся кривой и злой усмѣшкой. Казалось, въ теплую, тихую комнату ворвался холодный порывъ вѣтра и тронулъ своими жесткими пальцами сердце матери и дѣтей.

— Бросовскій, вамъ все-таки надо бы къ доктору,—осторожно и нѣжно посовѣтовала Елизавета Ивановна.

— Ахъ, если бы мнѣ такого доктора, который могъ бы меня вылѣчить, Елизавета Ивановна,—такъ-же нѣжно, мягко отвѣтилъ онъ,—если бы кто-нибудь сказалъ, что мнѣ дѣлать? Пусть они стоятъ передо мной, пускай... Это ужасно, такъ ужасно, что иногда волосы холодѣютъ, острыми иглами колютъ мой мозгъ. Но я готовъ перенести, если бы я только зналъ, чего они отъ меня хотятъ? Чего? Ну, что же намъ дѣлать?—страстно и нетерпѣливо спросилъ онъ, и видно было, что ждетъ онъ отвѣта не отъ нихъ, а отъ кого-то другого, далекаго, недоступнаго.

Тиночка вдругъ соскочнула съ дивана и подошла къ Бросовскому:

— Послушайте, такъ нельзя. Я не могу. Я не хочу, чтобы вы такъ говорили... Не надо, ради Бога не надо.

Она вся разгорѣлась. Буйной свѣжестью вѣяло отъ ея высокой тонкой фигурки, перехваченной на талии широкимъ кушакомъ, отъ пышныхъ свѣтлыхъ волосъ, отъ выпуклыхъ розовыхъ губъ.

— Прежде всего надо жить, жить и жить,—гнѣвно крикнула дѣвушка.—Неужели вы этого не чувствуете? Только тотъ, кто живетъ, можетъ что-нибудь понять.

Вася съ Бросовскимъ переглянулись и усмѣхнулись.

— Напрасно смѣтесъ,—пренебрежительно сказала она.— Я знаю, что у васъ съ Васей больше словъ. Но я знаю, что я права. Я это всѣмъ своимъ существомъ чувствую.

И Бросовскій, уже безъ улыбки, мягко сказалъ:

— Я вѣрю вамъ, Антонина Аполлоновна. И я завидую вамъ.

Съ его отъѣздомъ исчезъ послѣдній Васинъ товарищъ. Михалинскаго еще раньше арестовали на фабрикѣ, когда онъ говорилъ рѣчь передъ собраніемъ рабочихъ. Въ университетѣ Вася не завелъ никакихъ связей. И вообще университетъ ничего не вносилъ въ его жизнь. Сравнительно съ тѣмъ сложнымъ, потрясающимъ и трагическимъ, что давала дѣйствительность, лекціи, наука, книжныя знанія казались бездушными и сѣрыми. Медлительное научное мышленіе не могло сразу привлечь тѣхъ, кто привыкъ стремительно и на-глазъ рѣшать сложнѣйшіе вопросы. Еще недавно эти рѣшенія, рождавшіяся въ раскаленной, заразительной приподнятости толпы, казались такими осуществимыми, такими всеильными. Развѣ могли состязаться съ ними профессорскія теоріи.

И Вася отвернулся и отъ профессоровъ, и отъ теорій. По цѣлымъ днямъ лежалъ онъ на кровати и читалъ романы. Мать смотрѣла на него съ тревогой. Для себя она считала романы пригодными, но она хорошо знала, что это ядъ, пища для слабыхъ, и хотѣла видѣть сына сильнымъ и неотравленнымъ, но по его глазамъ понимала, что онъ, какъ и она, уходитъ въ міръ чужой выдумки, чтобы заслониться отъ жизни, убѣжать отъ собственныхъ мыслей.

Послѣ отъѣзда Бросовскаго, Тина нѣсколько времени ходила молчаливая и мрачная. Похудѣла, поблѣднѣла, и даже для матери не находила ласковой улыбки, не мѣняла суроваго, злого выраженія глазъ. А потомъ какъ-то сразу опять закружилась, начала танцевать, гулять по набережной, каталась на ликахъ, снова стала вся яркая, задорная и быстрая. Даже отецъ замѣтилъ перемѣну въ ея голосѣ, въ манерахъ, въ причeskѣ.

— Что это, Тиночка, ты какая франтиха стала?

Они обѣдали. На молодой дѣвушкѣ было черное бархатное платье, съ круглымъ вырѣзомъ, изъ котораго красиво подымалась нѣжная, гибкая шея. Кудрявые, уже взбитые волосы, раздѣленные проборомъ, спускались на уши, а на затылкѣ лежали низко, придавая Тинѣ сходство со старинной гравюрой.

— Ахъ, папа, ты думаешь это бархатъ? Это просто русскій манчестеръ отъ Морозова, — пояснила она.

— Да я не о деньгахъ. Развѣ я для тебя жалѣю? — великодушно сказалъ отецъ. — Только какъ-то все у тебя необыкновенно. Это что жъ, такъ теперь всѣ молодыя дѣвушки одѣваются?

— Отчего всѣ? Развѣ я обязана, какъ всѣ? Просто я иду вечеромъ въ гости, вотъ и надѣла...

— Къ кому же ты идешь? — продолжалъ спрашивать Рябовъ. — И сколько тебѣ лѣтъ, скажи, пожалуйста?

Онъ съ любопытствомъ разсматривалъ свою дочь. Совсѣмъ взрослая. И какая красивая. Раньше онъ этого не замѣчалъ. Онъ вообще все это время мало замѣчалъ, что дѣлается дома. Слишкомъ много перемѣнъ происходило съ нимъ самимъ.

— Сколько? Неужели ты не знаешь. Семнадцать, конечно, — отвѣтила дѣвушка, и небрежно прибавила: — я къ Ильинымъ иду.

Это была неправда. Она шла на репетицію къ молодому писателю Синягину, жена котораго устраивала что-то вродѣ любительскаго cabaret artistique. Спектакль будетъ въ домѣ либеральнаго богача, водочнаго фабриканта. Сборъ въ пользу заключенныхъ. Жена писателя, хорошенькая, шалая барынька, хотѣла устроить все такъ, какъ видѣла въ Парижѣ, въ ателье



одной русской художницы. Около Синягиной царило какое-то особенное веселье, нервное и прyanое. Тина была довольна, что попала туда. Неожиданно для нея самой у нея оказалось умѣніе пѣть русскія пѣсни, которымъ когда-то научила ее Пелагея. Она уже познала, что такое успѣхъ, и тянулась къ нему, какъ бабочка на огонь. Но все, что касалось репетицій и спектакля, тщательно скрывала отъ своихъ. Слишкомъ ужъ тотъ безшабашный, артистическій міръ былъ непохожъ на ихъ Рябовскій домъ. Съ отцомъ было скучно разговаривать. Все равно не пойметъ. А мать было жалъ. Вдругъ это ее огорчить? Вѣдь ей не объяснишь, какъ весело въ безпорядочной гостинной, заваленной книгами, фотографіями, обрывками старыхъ тканей. Какъ весело пѣть, сдерживая лукавство вызывающей улыбки, и чувствовать, какъ отъ звука твоего голоса что-то удалое и безшабашное проносятся по комнатамъ. Вотъ и сейчасъ при мысли о томъ, что ждетъ ее на репетиціи, нетерпѣливые огоньки забѣгали въ ея глазахъ, и она торопливо прикрыла ихъ густыми рѣсницами.

Но Рябовъ все равно не замѣтилъ бы ихъ. У него въ тотъ вечеръ было важное засѣданіе. Онъ вспомнилъ, что надо еще взять цитату изъ одной книги, чтобы крѣпче отстоять свое мнѣніе, и опять торопливо сталъ пробѣгать въ умѣ весь рядъ подготовленныхъ аргументовъ и соображеній. Засѣданіе было не служебное, а партійное. Тамъ должны были обсуждаться вопросы, которые казались Рябову, да и многимъ его товарищамъ, очень важными.

Рябовъ уже не былъ чиновникомъ и очень гордился тѣмъ, что долженъ былъ оставить службу изъ за политическихъ убѣжденій. Это стирало изъ его самолюбивой памяти тотъ тяжелый періодъ его жизни, когда онъ, подчиняясь отчасти необходимости больше заработать, отчасти желанію во что бы то ни стало выдвинуться, поступилъ въ департаментъ. Послѣ служебныхъ непріятностей Рябовъ опять могъ высоко носить голову.

Когда Рябовъ уходилъ со службы, Нащокинъ, прищуривъ свои усталые глаза умнаго жуира, попрощался съ нимъ безъ всякой враждебности, скорѣе дружески:

— Ну, прощайте, Аполлонъ Максимычъ, очень жалъ, что наши дороги разошлись. Но я радъ, что вы юрисконсультъ въ нашемъ обществѣ. Радъ за себя, у насъ мало честныхъ людей. И за васъ... Все таки на первое время у васъ будетъ кое-что.

— Я не боюсь лишеній, — театрално сказалъ Рябовъ, самъ понимая, что сказалъ глупость, и разсердился за это не на себя, а на Нащокина.

Перемена работы не принесла ему никакого ущерба. Онъ записался присяжнымъ повѣреннымъ. Департаментская служба дала ему связи, а многіе знали его, какъ человѣка аккуратнаго и честнаго, и дѣла сами пошли ему въ руки. Въ ящикѣ письменнаго стола, куда онъ по прежнему запиралъ всѣ деньги, выдавая женѣ опредѣленныя суммы на точно высчитанные напередъ расходы, все чаще и чаще лежали хорошія пачки ассигнацій. Рябову это нравилось, но еще больше нравилась давно неиспытанная независимость. Онъ все ближе сходилъ съ кружкомъ политическихъ дѣятелей и хотя нерѣдко внутренне волновался, неувѣренный въ томъ, достаточно ли эти люди замѣчаютъ и цѣнятъ его преданность, знаніе и умъ, все-таки не шутя увлекался близостью къ какой-то большой, у всѣхъ на виду происходящей, работѣ. Тетка, умирая, оставила ему пустошь въ одной изъ сѣверныхъ губерній, и Рябовъ начиналъ подумывать объ этой землѣ, какъ о цензѣ, который можетъ открыть передъ нимъ дорогу къ болѣе видной политической работѣ.

У него былъ широкій кругъ знакомыхъ, но къ себѣ онъ мало кого приглашалъ. Новые интересы складывались и росли внѣ его дома, еще глубже расширяя пропасть, лежавшую между нимъ и женой. Рябовъ давно привыкъ сознать и чувствовать себя обособленнымъ отъ жены, считалъ эту обособленность неизбѣжной подробностью семейнаго ига. Но если бы ему сказали, что и дѣти стоятъ не рядомъ съ нимъ, а гдѣ-то по другую сторону, онъ возмутился бы и не повѣрилъ. Вѣдь онъ ихъ любилъ, денегъ для нихъ не жалѣлъ, переносилъ и на нихъ свое ревнивое самолюбіе и искренно считалъ, что этого довольно для пониманія и близости.

Чаще всего Рябовъ бывалъ въ домѣ Птицыной, гдѣ за длиннымъ чайнымъ столомъ постоянно происходили засѣданія какихъ-нибудь комитетовъ или обществъ.

Рябовъ былъ въ дружбѣ съ хозяйкой и очень цѣнилъ то, что она, всегда занятая, всегда окруженная, находить для него и привѣтливую улыбку, и ласковое слово. Онъ не замѣчалъ, что это привѣтливость, для всѣхъ одинаковая, что эта ласка просто умный пріемъ для болѣе удобнаго управленія людьми. Онъ любилъ бывать въ ея большой, хорошо убранной квартирѣ и чувствовалъ себя у Птицыной умнѣе и сильнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, и снова весело острилъ, какъ острилъ когда-то давно въ комунѣ Ивановой, гдѣ молодежь прислушивалась къ его язвительнымъ, беспощаднымъ рѣчамъ. И даже физически

Рябовъ чувствовалъ себя помолодѣвшимъ. Подстригъ короче полусѣдую бороду, сталъ одѣваться у хорошаго портного и даже иногда мылся одеколономъ.

— Отчего вы никогда не приведете ко мнѣ жену? — укорила его какъ-то Птицына.

— Жену?—съ удивленіемъ спросилъ Рябовъ. — Хорошо. Только знаете, моя жена совсѣмъ лишена общественнаго темперамента.

— Неужели? Ваша жена? Не можетъ быть, вы все-таки ее приведите, мы ее расшевелимъ, — съ своей обычной рѣшительностью сказала Птицына.

Рябовъ послушался и привелъ жену. Елизаветъ Ивановнѣ и хотѣлось и не хотѣлось идти. Любопытно было посмотрѣть на этихъ людей, но трудно было уйти изъ дому, къ которому съ каждымъ вечеромъ крѣпче привязывала ее тревога за Васю и общая тоска, роднившая мать и сына.

Весь вечеръ Елизавета Ивановна промолчала, сидя въ концѣ стола. Ей не было скучно. Она смотрѣла и слушала, какъ смотреть въ театрѣ на дѣйствіе, которое завязывается, и течетъ, и разрѣшается, совершенно независимо отъ нашихъ желаній и поступковъ. Только удивляло и тяготило ее, что эти люди, уже не слишкомъ молодые, казалось бы умные и опытные, все еще вѣрять въ себя, въ то что можно и надо что-то еще сдѣлать. Даже она отлично понимаетъ, что давно все пропало. Какъ же это они ничего не видятъ...

На извозчикѣ Рябовъ спросилъ:

— Правда, замѣчательная женщина?

— Птицына? Да, она умная. Только зачѣмъ она такъ громко говорить? И потомъ мнѣ кажется, что въ наши годы нельзя такъ пудриться и губы красить.

— Ну да, я такъ и зналъ, что ты скажешь какую-нибудь пошлость! — презрительно отвѣтилъ Рябовъ. — И почему наши годы? Она гораздо моложе тебя...

— Врядъ ли—съ усмѣшкой сказала Елизавета Ивановна. — Вотъ мнѣ понравилась та, съ сѣдыми волосами и молодымъ лицомъ, которая сидѣла въ концѣ. Кто это?

— Это...—Рябовъ назвалъ имя извѣстной поэтессы. — Ну, она случайно попала. У нея въ политикѣ какая-то мѣшанина, не то она социалистка, не то націоналистка.

— Ахъ вотъ это кто? Какъ жаль, что я съ ней не познакомилась. Вотъ досадно то!—воскликнула Елизавета Ивановна.

Она знала ея стихи и давно любила ее издали. Съ ней на-

вѣрное можно было поговорить просто, какъ со старшей сестрой, о томъ, что всю жизнь, невысказанное и нераспутанное, копилося въ душѣ. Почему она не подошла, не заговорила. Вѣдь нѣсколько разъ черные, горячіе глаза сѣдой женщины внимательно, точно разспрашивая, остановились на ея лицѣ.

Ночью Елизавета Ивановна увидала ее во снѣ. Сѣдая женщина сидѣла въ саду, на солнцѣ. Большія липы золотились надъ ея головой. Она улыбкой подозвала къ себѣ Лизу, и Лиза бросилась къ ней навстрѣчу, какъ ребенкомъ бросалась къ матери. Она сразу признавала себя и дѣвочкой въ бархатной кофточкѣ, съ круглымъ, бѣлымъ личикомъ, и легкой, тонкой дѣвушкой, тосковавшей отъ робкаго ожиданія жизненныхъ даровъ, и теперешней Елизаветой Ивановной Рябовой, усталой, ограбленной, отяжелѣвшей. Она знаетъ, что горячіе, черные глаза видятъ въ ней сразу и ребенка, и дѣвушку, и женщину, видятъ ее всю насквозь, знаютъ, что она слабая, всю жизнь желавшая всѣмъ добра, только добра, Лиза. Женщина кладетъ на склоненную голову свою властную, нѣжную руку и говоритъ:

— Бѣдная, бѣдная моя дѣвочка... Развѣ ты виновата...

Лиза слышитъ эти слова, слышитъ любимый, давно безмолвный голосъ матери и просыпается вся въ слезахъ... Сердце бьется въ ужасѣ, въ тоскѣ, въ безысходномъ сознаніи непоправимой потери...

Въ спальнѣ темно и душно. На сосѣдней кровати спитъ Рябовъ. Отъ него идетъ знакомый запахъ жирнаго пота. Этотъ запахъ для Елизаветы Ивановны символъ чего-то мертваго и унизительнаго, что уже двадцать лѣтъ тянется черезъ ея жизнь. Она не можетъ привыкнуть къ нему, все въ спальнѣ, даже тѣ материнскія вещи, которыя она сюда поставила, пропитаны имъ.

«А вотъ моего запаха нигдѣ въ домѣ нѣтъ»,—думаетъ Елизавета Ивановна и эта неуклюжая мысль заставляетъ слезы еще обильнѣе течь по ея мокрымъ щекамъ.

## XX.

Вася цѣлыми днями или лежалъ на кровати или торопливыми шагами ходилъ взадъ и впередъ по своей комнатѣ, точно по тюремной камерѣ. Нижняя губа плотно охватывала верхнюю, на похудѣвшей щекѣ дергался безпокойный нервъ, между свѣт-



лыми бровями кожа поднялась бугоркомъ, а глаза, опустѣвшіе и блестящіе, скользили мимо человѣческихъ лицъ, заглядывая куда то подъ ноги, точно тамъ былъ не твердый полъ, а край ему одному видной пропасти. Мать двигалась около него осторожно, какъ около трудно больного. Вѣдь она тоже не видѣла подъ собой твердой земли, а только пустоту, всегда открытую, жадную, безцвѣтную. Но неужели и для него нѣтъ спасенія отъ такой тоски?

— Тиночка... Хотъ бы ты Васю вытащила къ своимъ знакомымъ. Посмотри, на что онъ похожъ.

— Мамочка, да развѣ онъ меня послушается?.. Вольно же ему такъ опускаться... Мнѣ вѣдь тоже тогда было не легко... А я все таки одолѣла. Онъ самъ виновать.

— Тиночка...— съ печальной укоривной просила мать. Молодая дѣвушка припадала губами къ маленькимъ, мягкимъ рукамъ матери.

— Мамочка, дорогая, золотая, не сердись... Но ты знаешь, какой онъ... Онъ меня не послушается...

— А ты все-таки попробуй,—умоляюще, со слезами въ голосъ, настаивала мать.

— Ну, мамочка, ну хорошо, я все сдѣлаю для тебя. Жалость къ матери, да и къ Васѣ, обжигала сердце дѣвушки.

Ей удалось уговорить брата. Нехотя, съ кривой улыбкой, не отражавшейся въ черныхъ, омраченныхъ безысходной думой, глазахъ, онъ поплелся за сестрой къ Синягинымъ. Молодые поэты декламировали, а дамы, молодыя и немолодыя, на перебой восхищались ими. Вася угрюмо и молча сидѣлъ въ углу.

— Эй, коллега, выпьемъ... Выпьемъ за... Ну хотъ за экспроприаторовъ... Согласенъ?.. Къ чорту всякія перегородки. Ха-ха-ха.

Длинноватый, гибкій, похожій на большого чернаго червя съ маленькой рыжей головкой, извѣстный фельетонистъ, хлопалъ Васю по плечу, и хохоталъ, и говорилъ дребезжащимъ, козлинымъ голоскомъ Мефистофеля:

— Мы съ вами, коллега, еще молоды. Я вѣдь тоже не старъ, клянусь Венерой. А черезъ наши души прокатилось больше трагедій, чѣмъ черезъ всѣ драмы Кальдерона. Правда, коллега?

— Правда,—смущенно согласился Вася, хотя, не зная, кто такой Кальдеронъ.

Съ удивленіемъ смотрѣлъ онъ на незнакомаго ему человека: какъ это онъ такъ быстро заглянулъ къ нему въ душу?

Вася не зналъ, что заглядывать въ чужія сердца профессія длинновязого человѣка, что въ необходимости мимоходомъ разгадывать загадки чужихъ глазъ заключается и проклятіе, и радость его нервной жизни.

Они пили и пили, осушая одинъ стаканъ краснаго вина за другимъ. Темноволосая, худая женщина, въ пунцовомъ шелковомъ платьѣ, разглядывала Васю въ лорнетъ прищуренными глазами и тоже пила съ ними вино. Потомъ не оглядываясь передавала недопитый стаканъ стоявшему за ней юному офицеру, съ нѣжнымъ дѣвичьимъ лицомъ и опять пила. На перегонокки съ фельетонистомъ, сыпала она парадоксами, циничными изреченіями, шутками, острыми и пряными. Вася пьянѣлъ и отъ ихъ рѣчей, и отъ вина. Ему казалось, что это все не настоящее, что это только сонъ.

Въ противоположномъ углу раздался звукъ рояля. Тина, стоя на скамеечкѣ, подымавшей ее надъ гостями, запѣла свои русскія пѣсни. Ярко-зеленая лента висла на ея взбитыхъ свѣтлыхъ кудряхъ. Прозрачные, сѣрые глаза сіяли удалю и торжествомъ, ямочки на щекахъ и подбородкѣ круглились. Дерзкой женской властью вѣяло отъ ея голоса, отъ нея самой. Это тоже было похоже на сонъ. Развѣ это его сестра, развѣ это Тина Рябова?

— Это откуда же такая штучка?—съ любопытствомъ разглядывая пѣвицу, спросила черноволосая барыня.—Съ кѣмъ она?

Что-то рванулось въ сердцѣ Васи и опять упало. Не все ли равно. Все плыветъ, и сливается, и звенитъ. Все только сонъ... И пѣвица сонъ, и длинновязый фельетонистъ сонъ, и самъ Вася не живой, а такъ только, нарочно... Онъ засмѣялся, и въ отвѣтъ своимъ мыслямъ утвердительно кивнулъ пьянѣющей головой.

— Вы что, милый юноша?—насмѣшливо спросила сосѣдка.—Вы отъ пѣнія или отъ лафита такъ размякли?

— Нѣтъ, очаровательная женщина, это я отъ вашей красоты,—развязно отвѣтилъ онъ, и даже не удивился своей дерзости.—Ваши глаза пьянѣ вина, ваши остроты острѣ смерти... Выпьемте, очаровательная женщина...

Опять налили, и опять выпили. Вася чокался, и что-то говорилъ, и уже не слышалъ ни другихъ, ни себя. Только разъ передъ нимъ мелькнули незнакомые голубые глаза на блѣдномъ, серьезномъ, дѣвичьемъ личикѣ. Онъ не зналъ кто она, эта блѣд-

ная дѣвушка, но ему стало скучно, скучно и стыдно. Онъ всталъ, чтобы уйти и сердито бормоталъ:

— Къ чорту! Все къ чорту!

Его удержали. Голубые глаза потонули среди другихъ ненужныхъ лицъ. Онъ такъ и не зналъ, видѣлъ-ли онъ ихъ, или это, дѣйствительно, былъ только сонъ.

Ни разу больше Вася не пошелъ въ этотъ домъ и никуда не ходилъ, ни съ сестрой, ни одинъ. Но теперь въ его узкомъ книжномъ шкапу, который мать когда-то такъ любовно выбирала для него, всегда стояли бутылки, то съ краснымъ виномъ, то съ ромомъ. Онъ выпивалъ стаканъ, чувствовалъ какъ вино разливается по тѣлу, и легче, и быстрѣе шагаль по комнатамъ. Потомъ выпивалъ слѣдующій. Теплота и истома плыли къ мозгу, нѣжно приподымали тяжелый камень, лежавшій на сердцѣ. Блѣдныя щеки розовѣли, плотно сжатые губы разжимались, точно ждали чего-то.

Когда Елизавета Ивановна въ первый разъ поняла, что онъ пьянъ, она разсердилась тѣмъ несуразнымъ, недѣйствительнымъ гнѣвомъ, который иногда налетаетъ на кроткихъ людей.

— Вася, какъ тебѣ не стыдно? Какая гадость! Отъ тебя виномъ пахнетъ... Правда Тиночка говоритъ, что ты слабый и самъ виноватъ. Вѣдь ты ничего не дѣлаешь, въ университетъ не ходишь, экзаменовъ не сдаешь. Вѣдь это прямо стыдно.

— Мамошка, дорогая вы моя, — размягченнымъ, нѣжнымъ голосомъ отвѣтилъ Вася, и пьяная, но всетаки печальная, улыбка забродила по его лицу, — отчего вы встревожились? Зачѣмъ? Не надо тревожиться. Совсѣмъ не надо. Вѣдь для родителей что главное? Чтобы чадо было счастливо. Да-съ! Ну, а я счастливъ. Это мои вѣрные друзья, наивѣрнѣйшіе...

Онъ схватилъ изъ шкапа двѣ, наполовину уже пустыя, бутылки и, размахивая ими, кривляясь и гримасничая, продолжалъ:

— Красное вино, отъ него въ тѣлѣ нѣкоторая игра, въ мысляхъ плавность. Ну, а ромъ это другая статья. Я ромъ больше люблю. Отъ него сердце становится крѣпче, не скулить, не поеть. И все трень-трава... Отличная штука ромъ...

Онъ посмотрѣлъ на мать, торопливо поставилъ бутылки на столъ, взявъ ея руки и поочередно прижалъ ихъ къ еще мокрымъ отъ вина губамъ.

— Ты на меня такими глазами не смотри. Ни за что не смотри. Запрещается. Ты у меня добренькая, ты у меня слабенъкая, сама по тропинкѣ идешь и все оглядываешься. Хо-

рошая ты моя, любимая, никогда-то никому ничего запретить не умѣла. Вотъ жизнь тебѣ за это и отплатила, кругомъ тебя обанкротила,—онъ засмѣялся, потомъ вдругъ серьезно и вопросительно посмотрѣлъ на мать.—О чемъ это я? Да... Зачѣмъ ты меня коришь? Никогда никого не корила, а меня вонъ какъ глазами коришь. Не надо... Ой не надо... Несправедливо это...

Онъ придвинулся къ ней ближе и прошепталъ:

— Ты думаешь, это вино? Это не вино, это щить, дверь бронированная. Лѣзетъ она ко мнѣ костлявая, такъ и лѣзетъ. Въ окна заглянеть. Подъ кроватью хихикаетъ, въ дверь царапается... Боюсь я ее...

Онъ прижалъ къ вискамъ маленькія, слабыя руки матери и она слышала, какъ громко и неровно бьется кровь въ жилахъ сына. Страстная жалость къ нему охватила ея душу. Вѣдь она всегда знала, еще съ тѣхъ поръ, какъ онъ маленькимъ тихо игралъ у ея ногъ, что въ его душѣ, какъ червякъ, забравшійся въ еще безформенную завязь, живетъ тоска. Та самая тоска, во власть которой отдала она себя, она, его мать.

Приѣзжала Ольга Пѣнкина изъ Москвы. Елизавета Ивановна бросилась къ ней въ гостиницу и сбивчиво, путаясь и волнуясь, стала рассказывать про сына ища спасенія. И вдругъ увидала, что актриса украдкой смотритъ на маленькіе часики, вправленные въ браслетъ.

Тяжелая обида камнемъ упала на сердце матери. Она взглянула на сестру, и въ первый разъ замѣтила какое-то ищущее беспокойство въ сѣрыхъ, влажныхъ глазахъ, какую-то новую, далекую складку около полныхъ, ярко нарумяненныхъ губъ. И вдругъ вся она, ея парикъ, бѣлая шея съ тяжелой, потянувшейся отъ подбородка, складкой, обнаженные до локтя руки, начинающая полнѣть фигура, не въ мѣру туго затянутая въ замысловатое лиловое платье, все показалось старшей сестрѣ чужимъ, далекимъ и дѣланнымъ. Пахло крѣпкими духами, на бархатныхъ стульяхъ были разбросаны какіе-то кружева, лежала свѣтлая шляпа съ громадными алыми розами. На столѣ, въ высокой вазѣ, доцвѣтали живыя, уже увядающія и тоже красныя, розы, но всѣ эти мелочи тоже были точно не настоящія, и не смотря на нихъ большая, свѣтлая, чистая комната оставалась не истинной, точно это все было только на сценѣ.

Елизавета Ивановна встала.

— Что ты, Лиза, куда ты? Позавтракай со мной,—сказала Ольга Пѣнкина.



— Нѣтъ, мнѣ надо. Я ужъ пойду...—растерянно бормотала Елизавета Ивановна.

По голосу и по глазамъ сестры она увидала, что та задерживаетъ ее только изъ вѣжливости. Вѣрно ждетъ кого нибудь.

Елизавета Ивановна мучительно краснѣя и конфузясь, какъ будто сдѣлала что-то дурное, торопливо стала одѣваться.

— Нѣтъ, правда, Лиза, чего ты торопишься? Когда же придешь?—спрашивала Ольга, поправляя ей рукавъ и потомъ спохватилась. — Такъ какъ же съ Васей? А? Ужасно это все печально, эта нынѣшняя молодежь. Ты бы его хоть ко мнѣ прислала.

Теперь уже не обида, а острый гнѣвъ обуялъ ее. Сдвинувъ брови, вся загорѣвшись гордымъ желаніемъ отодвинуть и отъ себя, и отъ своего любимого мальчика эту разсѣянную, снисходительную жалость, она рѣзко сказала:

— Затѣмъ? Ужъ мы съ нимъ какъ-нибудь...

Клубокъ слезъ подкатился къ горлу. Неуклюже, втянувъ голову въ плечи, двинулась она къ дверямъ.

— Что съ тобой, Лиза? Подожди же,—укоризненно, даже съ досадою сказала сестра.

— Потомъ, потомъ, я еще приду...—не оборачиваясь, пробормотала Елизавета Ивановна и, задѣвая плечомъ за дверь, исчезла.

Ольга Пѣнкина подняла плечи, развела руками и подошла къ зеркалу. Она чувствовала себя виноватой и потому сердилась на сестру, и старалась заглушить подлинную жалость и къ ней, и къ Васѣ, которая закопошилась гдѣ-то глубоко въ сердцѣ.

Но напудренное, съ подведенными глазами лицо, которое она увидала въ зеркалѣ, вызвало въ ней другую тревогу, назойливую и тяжкую. Страхъ старости грызъ ее, и не знала она чѣмъ заслониться.

Черезъ нѣсколько дней сестры опять увидались. И не было между ними ссоры, но теперь Елизавета Ивановна знала, что никому на свѣтѣ не нужна ея боль, ея тревога. Точно захлопнулось окно, сквозь которое изрѣдка прокрадывался и къ ней лучъ солнца.

Почти каждый вечеръ сидѣли они съ Васей вдвоемъ въ столовой. Рябовъ и Тиночка чаще были гдѣ-то внѣ дома, среди людей, съ которыми имъ было, каждому по своему, легко и хо-

рошо. Въ темной, большой квартирѣ не раздавалось людскихъ шаговъ, не слышно было человѣческой рѣчи. Только порохи, непонятные, чаще всего недобрые, переходили изъ комнаты въ комнату и замирали около дверей въ столовую. Прилежно и холодно горѣли рожки электрической лампы, полуприкрытой темнозеленымъ шелковымъ заслономъ. Мать садилась напротивъ Васи. Передъ ней лежала раскрытая книга, но читать она не могла. Все дальше отходили вымышленные герои и героини, все меньше отогрѣвали они ея растерянную душу. Чувства, мысли, интересы, вниманіе, все поглощалось теперь Васей, все кружилось около его нервнаго лица, то вялаго и блѣднаго, то краснаго и возбужденнаго. И тѣ рѣчи, которыя онъ, не торопясь, отчетливо, точно нанося кому то удары, каждый вечеръ велъ передъ матерью, капля по каплѣ наполняли ея душу липкой черной смолой.

— Отлично этотъ сытенькій профессоръ доказывалъ сегодня за обѣдомъ, какая глупая штука самоубійство... Великолѣпно... Такъ великолѣпно, что хотѣлось взять молоточекъ и расковырять его залитый лобъ. Не можетъ быть, чтобы у него тамъ были настоящіе мозги, какъ у всѣхъ насъ грѣшныхъ... Навѣрное у него тамъ этакій усовершенствованный, нѣмецкій аппаратикъ: Тики-таки... Тики-таки... Мамашечка, вы какъ думаете?

Пьяный онъ всегда называлъ ее мамашечкой и говорилъ ей «вы». За этимъ шутливо мѣщанскимъ обращеніемъ она ясно читала его безпомощность, и безсильное состраданіе терзало ея слабую душу.

— Нѣтъ, Вася, ты ужъ очень строгъ. Вѣдь онъ правильно говорилъ. Дѣйствительно, кругомъ такъ много дѣла... такъ много несчастныхъ... Если бы эти люди, передъ тѣмъ какъ убивать себя, о другихъ подумали...

Она чувствовала на себѣ тяжелый, снисходительно насмѣшливый взглядъ сына и путалась, не находя словъ.

— О другихъ? Отлично. Съ нашимъ удовольствіемъ. Только какъ это сдѣлать? Другіе, они вѣдь далеко, бродятъ себѣ гдѣ-то тамъ на землѣ, а я самъ-то здѣсь, близко. Какъ же я могу о нихъ думать, когда мнѣ отъ себя никуда не уйти? Рука мнѣ своя противна, и нога, и брюхо, и даже голосъ. А ужъ о потрохахъ и говорить нечего. Протухли они всѣ у меня, сгнили. Говорятъ: ты еще молодъ, у тебя вся жизнь впереди,—со злобой передразнилъ Вася кого-то и вдругъ стукнулъ по столу кулакомъ, такъ что стаканъ подѣловался съ бутылкой.—Врете вы все, лицебрите. Какіе мы молодые, мы старики. Опустошили

намъ душу, растоптали, да еще издѣваются... Молодые... Молодые... А впрочемъ, не все ли равно...

Онъ ухмыльнулся сердито и криво, налилъ изъ одной бутылки красного вина, подбавилъ изъ другой рому, и продолжалъ:

— Въ концѣ концовъ это одна отговорка... Революція... потрясенія... наше поколѣніе... Эхъ, вздоръ все это... Просто удобный предлогъ... А на самомъ дѣлѣ въ каждомъ человѣкѣ живетъ затаенная жажда самоистребленія. Но люди трусы. На нихъ навѣсили всякія обязательства. Ты долженъ то, ты долженъ другое... Они и вѣрятъ... Ты долженъ бороться, ты долженъ жить... Вотъ они и стараются, кричатъ, мучаются, а все тянутъ, тянутъ... Ид-и-оты...

— Да какъ же иначе-то, Вася?—спрашивала мать и, подавившись впередъ, ждала отвѣта.

Странное омыненіе надвигалось и на нее отъ мрачныхъ, пьяныхъ словъ сына. Все это было давно, давно знакомое, все это тысячи разъ изо дня въ день, изъ ночи въ ночь переживала она. Только не умѣла она такъ ясно, такъ опредѣленно выразить словами то смутное отрицаніе жизни, которое ощущала и тогда, когда зачинала дѣтей, и тогда, когда опускала ихъ въ могилу, и тогда, когда, съ горькимъ ожиданіемъ неизбежнаго горя любовалась дѣтскими личиками Тиночки и Васи. Было больно и тяжело смотрѣть, какъ въ судорожномъ отчаяніи бьется ея мальчикъ, ожесточившійся и ослабѣвшій. Но его слова давали ей болѣзненное мучительное удовлетвореніе, мстили кому-то жестокому и сильному, кто раздробилъ ея сердце, ея желанія, ея смѣхъ.

— Какъ иначе? Очень просто какъ. Есть такая латинская поговорка: умереть имѣетъ право тотъ, кому жизнь не по нутру. *Mori licet cui vivere non placet...*

— Вася!

Материнство, напуганное, нѣжное, безсильное, встрепенулось и кричало, умоляя о пощадѣ. Сынъ черезъ столъ смотрѣлъ на нее долгимъ пьянымъ и строгимъ взглядомъ. Потомъ поднималъ бѣлую, съ плоскими, какъ у отца, ногтями, руку:

— Мамашечка, ни слова. Я вѣдь ничего... Я такъ... Я только дискуссію съ вами веду. Я вѣдь не рѣшилъ. Я вѣдь ничего еще не рѣшилъ. У меня вѣдь въ головѣ нѣтъ аккуратной нѣмецкой машинки, какъ у господина профессора. Тики-таки. Тики-таки... У меня мысли мечутся, и скачутъ, и дерутся, какъ одичав-

шія кошки. А я и не знаю, за которой гнаться? За бѣлой кошкой или за черной? Вы какъ думаете? А? Мамашечка?

— За бѣлой, — твердо сказала мать, и во взглядѣ ея горѣла и звала неугасимая, преданная любовь.

Изо дня въ день тянулись ихъ разговоры. Днемъ Вася валился на диванѣ и спалъ, къ обѣду выходилъ блѣдный и вялый, а къ вечеру опять сидѣлъ въ пустой, затихшей столовой и, глядя на мать, говорилъ и говорилъ, обо всемъ, что накопилось, обо всемъ, что, благодаря вину, онъ могъ облекать въ злыя, безнадежныя слова.

Мать сама весь день ходила, точно пьяная, окутанная, опутанная паутиной, застилавшей разбитую душу сына.

Все чаще казалось ей, что кромѣ нихъ двоихъ въ столовой есть еще третій, невидимый, насмѣшливый гость. Онъ стоитъ гдѣ-то въ углу и чего-то ждетъ, подстерегаетъ. Круто поворачивалась она, чтобы разглядѣть незнакомца, но никого не было. Только тишина подползала изъ пустыхъ комнатъ, да сѣрая тьма легко колыхалась вдоль желтоватыхъ стѣнъ...

— Я вотъ читалъ въ газетахъ, что какая-то барышня застрѣлилась, а въ письмѣ написала: «умираю, потому что въ жизни мало красоты». Читалъ и думалъ... Вотъ счастливая. Мало красоты... Значить она, эта красота, ей нужна?.. Ну, такъ и старайся, чтобы ее было больше... Это ужъ не шутка. Если бы только мнѣ что-нибудь было нужно, если бы я чего-нибудь захотѣлъ, да еще и побольше, — о, я бы досталъ, съ луны досталъ бы, если бы захотѣлось, — съ хвастливостью пьянаго, слабого чловѣка, говорилъ Вася. — Но я не могу хотѣть. Просто не могу... Вонъ Бросовскій сидѣлъ тутъ въ углу и боролся со злой волей міра. Помните, мамашечка? Величественная картина. Святой Георгій поражающій Змія. Удивительно! Прекрасно! Но, что же мнѣ дѣлать, если я даже въ Змія не вѣрю и въ злую волю міра не вѣрю, не ощущаю ея великолѣпнаго присутствія. Только одну подленькую глупость и пакостную мерзость ощущаю. Потому и полагаю, что хотѣть чего-нибудь стыдно. Просто стыдно... Ну, есть ли на свѣтѣ что-нибудь, чего стоитъ хотѣть по настоящему? Ну, мамашечка, скажите?..

Онъ вопросительно смотрѣлъ на мать своими темными разгоряченными и, въ тоже время, пустыми глазами.

Его возбужденіе всегда передавалось ей. У нея тоже на-



чинали горѣть щеки, губы приоткрывались, глаза блестѣли, и можно было подумать, что и она пила вино.

— Не знаю,—робко отвѣчала она.—Мало ли чего люди хотятъ. Ну путешествовать, ну, дѣлать что-нибудь... Работать. Наконецъ, Вася, вѣдь ты же ничего еще въ жизни не испыталь...

Ей было стыдно прямо сказать сыну, что онъ еще не любилъ, что онъ не зналъ еще женской ласки. При одной мысли объ этомъ вспоминалось темное, пропахшее табакомъ кушъ и неизвѣстный инженеръ, и весь связанный съ этимъ стыдъ. Казалось, что стоитъ ей сказать еще слово, и сынъ все пойметъ и оттолкнетъ ее отъ себя. Жуть холодкомъ бѣжала по спинѣ, лихорадочной дрожью отзывалась въ ногахъ.

— Ну, это ты оставь, — сурово говорилъ юноша. — Мнѣ этого не надо... Не тянеть... Вообще глупости...

Въ голосѣ, въ глазахъ сына, въ томъ, какъ вздрагивали его губы, она видѣла свою же цѣломудренную, непреодолимую застѣнчивость. Было тяжело говорить съ нимъ, но она пересилила себя:

— Вася... Конечно ты не ребенокъ... Но вѣдь многимъ любовь красить жизнь...

— Неужели? А ты это когда-нибудь видѣла, эту красу?—съ неожиданной грубостью перебилъ онъ ее.

— Ну какъ же... Посмотри у поэтовъ... И потомъ... Да вотъ хоть тетя Оля...—вдругъ обрадовалась она...

— Тетя Оля... Она какъ птица. Она ни о чемъ не думаетъ, у нее все и катится, точно колесо. Сомнѣнія ей недоступны,—категорически постановилъ Вася, и мать узнала въ его голосѣ высокомерныя отцовскія нотки. —Такъ жить, какъ живетъ тетя Оля—благодарю покорно.

— Ну, а наука?

— Глупости! Какая наука? Сегодня три нѣмца выдумаютъ, а завтра придетъ четвертый и скажетъ, что надо все сначала начать. Да и развѣ въ этомъ дѣло? — онъ нетерпѣливо поморщился, отхлебнулъ вина и продолжалъ.—Дѣло очень простое. Я, Василий Апполоничъ Рябовъ, студентъ петербургскаго университета, во всеуслышаніе заявляю госпожѣ жизни—ты скверное, распутное, неосмысленное животное. Я тебя знать не желаю. Убирайся къ чорту, къ чорту, къ чортовой матери... А я пойду туда, куда хочу...

Онъ захохоталъ и подмигнулъ матери. Она чувствовала, какъ холодѣютъ у нея руки, какъ мысли клубятся и путаются въ головѣ.

Конечно, надо его отговаривать, убѣждать, умолять, но какъ, какими словами? Вѣдь онъ же правъ, тысячу разъ правъ. Она сама отлично знаетъ, лучше его знаетъ, что жизнь скверный, бессмысленный звѣрь. Чей-то сухой голосъ тихо шепталъ за плечомъ:

— Звѣрь...

Елизавета Ивановна оборачивалась. Никого не было. Только тишина беззвучно смѣялась, да звякала бутылка о край стакана.

Дни тянулись, длинные, длинные. Тиночки почти никогда не было дома. Теперь она брала настоящіе уроки пѣнія. Елизавета Ивановна была довольна этимъ. Ей казалось, что отъ нея и отъ Васи исходить зараза, какая-то черная, засасывающая опасность. О мужѣ она не думала. Видѣла его каждый день, обѣдала съ нимъ за однимъ столомъ, спала рядомъ, но совершенно перестала его замѣчать. Такъ-же, какъ онъ самъ не замѣчалъ ее.

Разъ вечеромъ Елизавета Ивановна услышала изъ передней на лѣстницѣ голосъ Тины. Кто-то забылъ запереть дверь, и Лиза неслышно вышла навстрѣчу дочери на площадку.

— Нѣтъ, это невозможно. Это убьетъ маму,—донесся до нея на половину заглушенный голосъ молодой дѣвушки.

— А ты мнѣ дай ее уговорить,—настойчиво и властно произнесъ мужской голосъ, въ которомъ Елизавета Ивановна узнала голосъ московскаго адвоката, когда-то пріѣзжавшаго въ Руссу.— Или просто скажи, что ѣдешь къ подругѣ. Съ паспортомъ я устрою... Ты подумай, три недѣли въ Парижѣ! Вдвоемъ!

— Нѣтъ,—твердо и печально отвѣтила Тина.—Я не могу. У насъ не домъ, а кладбище, но я не могу оставить маму...

— Ну, милая, ну, не капризничай... Вѣдь я тебѣ тамъ концертъ устрою... И потомъ, просто я такъ хочу,—еще настойчивѣе произнесъ мужской голосъ, и мать услышала звукъ поцѣлуя.

Она быстро проскользнула назадъ, прошла въ спальню и легла на кровать. <Такъ вотъ что... не домъ, а кладбище... Ради нея... Но зачѣмъ же это, вѣдь она ничего не проситъ... Ей ничего не надо... Вѣдь она для нихъ, только для нихъ устраивала гнѣздо... Кладбище... А вѣдь правда... Вася уже мертвый, да и она сама развѣ живая... Но зачѣмъ же Тиночку держать на кладбищѣ. Ей жаль мать... Ахъ, эта проклятая, женская жалость...

Елизавета Ивановна поднялась на постели, услышала легкіе шаги дѣвушки и торопливо опять легла. Ей представилось широкое, веселое, самодовольное лицо адвоката. Онъ говорилъ Тиночкѣ

ты... Они цѣлуются. Ну, чтожъ, если онъ ей нравится, если при немъ солнце свѣтитъ ярче. Только больно, зачѣмъ они прячутся отъ нея. Вѣрно такъ всегда бываетъ. Когда-то она пряталась отъ матери, ни однимъ взглядомъ, ни однимъ словомъ не открыла ей доступъ въ свои дѣвичьи, въ свои женскія переживанія. Теперь ея дочь также таится отъ нея. Пускай... Только не надо жалости. Она тоже жалѣла свою мать и это дѣлало ее еще болѣе слабой, отдавало ее связанной по рукамъ и ногамъ тому, кого она, вопреки инстинкту, выбрала себѣ въ мужа.

Нѣтъ, пусть будетъ, что угодно, только чтобы ея дочь не пошла по той же дорогѣ покорности. Только бы Тиночка скорѣе ушла съ кладбища. Иначе и ее привяжетъ къ себѣ костлявая гостья, чьи шаги шелестятъ каждый вечеръ въ пустой квартирѣ, чей шопотъ подползаетъ къ столовой, слышится въ упрямыхъ рѣчахъ Васи.

Смерть здѣсь, она бродитъ, она ждетъ, она опять хочетъ жертвы. Давно она не заглядывала въ ихъ домъ. Ну что-жъ, если надо, такъ надо. Пусть не воображаетъ, что всѣ боятся ее. Вася правъ, ничего нѣтъ страшнаго въ собственной смерти, только чужая страшна. И потомъ, бояться могутъ только тѣ, которые живутъ. А развѣ она живетъ? Развѣ она когда-нибудь жила? Дѣти... Да, но что же она имъ дала? Не домъ... Кладбище...

Ни слова не сказала мать Тиночкѣ. Не могла и не умѣла, и не хотѣла преступить черту привычнаго замалчиванія. Только когда Тиночка, вся сіяя затаенной, сдержанной радостью, забѣжала къ ней и съ кокетливой ласковостью спросила: «Мамочка, хорошо я причесана?» мать взяла ее обѣими руками за обнаженную горячую нѣжную шею, притянула ее къ себѣ, крѣпко прижалась губами къ гладкому лбу и тихо сказала:

— Дѣвочка моя, маленькая, золотая моя птичка. Я такъ хочу, чтобы ты была счастлива, такъ...

Смутнымъ предчувствіемъ пахнуло отъ этой ласки, отъ этихъ словъ на дочь. Она отшатнулась и заглянула въ глаза матери. Они были печальные и любящіе... Какъ всегда... Но объ этомъ не хотѣлось сейчасъ думать. Послѣ. А теперь надо скорѣе внизъ. Она знаетъ, что за угломъ уже стоитъ автомобиль и ждетъ ее. Лихорадочное ожиданіе кипитъ въ ней, заслоняетъ все остальное, даже мать. Но все-таки Тина сдѣлала надъ собой усиліе. Прикалывая передъ зеркаломъ бархатную черную шляпу съ бѣлымъ пушистымъ перомъ, она спрашивала:

— Ты что это, мамочка? Тебя кто-то разстроилъ? Не надо.

Конечно я буду счастлива. Какъ же иначе? А ты мнѣ все-таки Расскажи, кто тебя разстроилъ? Завтра Расскажи... Сейчас я то-роплюсь на урокъ.

Вася, хмуро и пронически улыбаясь, смотрѣлъ на сестру.

Она мимоходомъ поймала его взглядъ, остановилась, взглянула на мать и, заглушая смутное угрызненіе, рѣшила, что это изъ-за Васи мамочка такая.

— Вася, а ты все дома киснешь. Хочешь, я опять тебя сведу къ Синягинымъ?

— Нисколько не хочу. Кривляки они. И вообще на шабашъ похоже. Даже козломъ пахнетъ.

— Какой вздоръ. Ты просто опустился и ничего не видишь. Конечно, они не монахи. И слава Богу!—вызывающе бросила она и вся загорѣлась, дерзкая и красивая, и было ясно, что защищаетъ она не Синягиныхъ, а себя, то, что поетъ и ликуетъ въ ней самой.

Исчезло бѣлое перо, напомнившее матери пушистое, тоже побѣдное колыханіе бѣлаго султана надъ смуглымъ увѣреннѣмъ женскимъ лицомъ тамъ, въ толпѣ, на вокзалѣ. Какой-то далекой, неизвѣданной женственности вѣяло на нее отъ этихъ горделивыхъ украшеній.

Захлопнулась за Тиночкой входная дверь. Елизавета Ивановна тяжело опустилась на стулъ. Въ желтоватой, большой столовой, съ грузнымъ буфетомъ, съ громоздкими, некрасивыми стульями, было темно.

— Довольно примитивное существо моя сестрица,—презрительно сказалъ Вася,—никакія сомнѣнія ее не обуреваютъ. Ни размысленій, ни жертвъ, живетъ себѣ припѣваячи.

— Почему ты знаешь, Вася?—укоризненно сказала мать.—Вѣдь ты съ сестрой никогда не разговариваешь.

— Да и не о чемъ,—равнодушно произнесъ Вася.—Знаешь, я кого сегодня встрѣтилъ? Вахрушина, старика.

— Неужели? Ну что же онъ?

— Да представь себѣ, какъ ни въ чемъ не бывало,—злобно сказалъ Вася, усаживаясь на привычное мѣсто, ставя передъ собой обѣ привычныя бутылки.—Вотъ какое подлое животное человѣкъ. Все забудетъ. Все перенесетъ. Когда мы хоронили его сына, я думалъ, что отецъ не переживетъ. А онъ опять какъ раньше, здоровый, даже не постарѣлъ и глаза смотреть ласково, какъ у теленка. Чортъ знаетъ что такое!

Вася налилъ себѣ рюмку, отхлебнулъ нѣсколько глотковъ, поморщился и продолжалъ:



— Рассказывает мнѣ, что устраиваетъ въ Москвѣ какой-то частный университетъ. Счастливъ и доволенъ. Я ему говорю: «А вашихъ студентовъ еще не всѣхъ перевѣшали»? Онъ не разсердился, только посмотрѣлъ на меня пристально, точно онъ докторъ, а я больной и говорить: «Вы, Рябовъ, конечно въ университетъ не ходите?» — Нѣтъ, конечно, не хожу». — «А что же вы дѣлаете?» — Лежу и думаю о великолѣпіи міра и благодати Творца». — Не понравилось это ему. Взялъ меня за руку и говорить: «Рябовъ, теперь многіе изъ васъ больны этой болѣзнію. Напрасно. Жизнь все-таки удивительная штука, и мнѣ васъ очень жаль». Меня взорвало... Радуется жизни, какъ дуракъ, а о сынѣ ни слова. Я ему: «А знаете, Александръ Александровичъ, если бы Гриша былъ живъ, пришлось бы вамъ навѣрное и его жалѣть». Все-таки пробрало. Принахмурился. «Не знаю... Думаю, что нѣтъ». Такъ и разошлись. Тошно мнѣ стало... Значить, помретъ человѣкъ и все заростетъ, даже у самыхъ близкихъ. Точно и не было его, точно и не обливали они его гробъ слезами...

— Да, умереть, точно его не было. Это и хорошо, — сурово сказала мать. — Такъ и надо забывать. Пускай живые живутъ, а мертвые... гниютъ.

Она вздрогнула отъ этого слова. Съ каждымъ мгновеніемъ чувствовала она себя дальше отъ живыхъ, ближе къ мертвымъ. Но Вася думалъ о себѣ, не о ней и ничего не замѣчалъ.

— Это вы, мамашечка, правильное слово сказали. Только есть ли живые, вотъ въ чемъ штука? Можетъ быть мы всѣ мертвые? Навѣрное даже такъ. Рано или поздно всѣ мы будемъ гнить, червяковъ собой кормить...

Елизавета Ивановна вздохнула, точно вскрикнула и провела рукой по глазамъ, а сынъ улыбался уже пьянбющей усмѣшкой и продолжалъ:

— Всенепремѣнно будемъ. Какъ же иначе? А если такъ, если каждая жизнь кончается червями, то какая же это жизнь? Стоитъ ли быть Эдиссономъ или Шекспиромъ или даже Лютеромъ, если все равно сдохнешь, совершенно такъ же сдохнешь, и будетъ отъ тебя вонять, точно ты не Лютеръ, не Эдиссонъ, не Шекспиръ, а самая послѣдняя драная кошка. Вънецъ природы, гордый человѣкъ, а въ мозгу червяки копошатся и тоже можетъ быть воображаютъ, что они вънецъ природы... Ха-ха-ха...

— Онъ остановился, отхлебнулъ вина, помолчалъ и другимъ голосомъ, довольнымъ и лукавымъ, продолжалъ:

— Впрочемъ нѣтъ-съ, извините... Я передъ червякомъ не

сдамся. Нѣтъ-съ. Есть одна штука, до которой ему не доползти, не дотянуться. Все-таки, человѣкъ—это звучитъ гордо.

— А почему?—съ внезапно затлѣвшей надеждой удѣшиться за что-то, спросила Елизавета Ивановна.

— Вотъ именно потому, мамашечка,—хитро подмигивая блестящими, тоскующими глазами отвѣтилъ сынъ,—потому что *morì licet cui vivere non placet*,—умереть можетъ тотъ, кому жизнь не по нутру. Червяково нутро, оно все пріемлетъ. Что ему природа пошлетъ, то оно и лопаешь. А мое человѣческое нутро можетъ вздыбиться. Суешь мнѣ жизнь кушаніе, а я носъ на сторону ворочу. Это что? Долгъ? А по какой причинѣ? А если я не желаю? Самоотверженіе? Скажите, пожалуйста. А во имя чего, смѣю васъ спросить? Борьба за существованіе? Вотъ еще, а если и существовать-то я не желаю? Вы меня-то забыли спросить, желаю я или нѣтъ? А? госпожа природа? Вы и правду повѣрили, что я червякъ? Поторопиться изволили, сударыня. Что тамъ у васъ еще... Семья? Близкіе?.. Ну знаете, эта приманочка давно протухла. Близкіе-то часто бываютъ дальше далекихъ, а отъ вашей хваленной семьи давно гнильцей пахиваетъ.

— Правда, Вася, правда,—вдругъ, съ истерическимъ смѣхомъ, воскликнула мать, и смѣхъ этотъ подстерегающимъ эхомъ раскатился по пустымъ комнатамъ.

Сынъ вздрогнулъ, нахмурился и съ недоумѣніемъ взглянулъ на мать. Какъ нѣсколько часовъ тому назадъ Тиночка, смутно почуявъ онъ что-то неладное въ голосѣ, въ словахъ, въ глазахъ матери. Но такъ былъ онъ охваченъ своей тоской, своимъ безсильнымъ негодованіемъ передъ непонятностью жизни и такъ мало привыкъ заглядывать въ душу матери, что отмахнулся отъ кольнувшей тревоги и продолжалъ:

— Вы, мамашечка, кажется разсердились. Конечно, вы всю жизнь около насъ, около дома, около семьи хлопчете. Цыпъ-цыпъ-цыпъ... Отлично это и очень даже трогательно,—онъ нарочно переставилъ удареніе, чтобы показать, что не можетъ въ серьезъ брать такого слова,—но все-таки семья, это вродѣ клѣтки или крѣпостного права... Конечно, я не о васъ.

— Оставь, не надо, Вася! Говори прямо, все говори, главное не жалѣй,—почти крикнула мать.

— Вотъ это правильно, молодецъ мамашечка,—обрадовался сынъ,—не къ чему мармеладничать. Я и госпожѣ жизни такъ скажу. Вы, сударыня, меня, пожалуйста, мармеладомъ не угощайте. Состраданіе тамъ, великая жалость, любовь къ ближнему, радость солидарности. Все это вздоръ, очковъ втираніе. Въ

каждомъ этомъ словѣ меньше правды, чѣмъ въ этомъ стаканѣ вина... А ужъ гордости—ни капли. Одна только есть у человѣка настоящая гордость: *magi licet*... Это уже не червяково, это ужъ мое, человѣческое, подлинное. Умереть имѣть право...

Онъ поднималъ голову и улыбкой, горящимъ взглядомъ негодующихъ глазъ, посылалъ кому-то вызовъ и проклятіе. Каждое слово глубоко, острыми гвоздями вбивалось въ усталое, изболѣвшее сердце матери, и торопило ее, и обязывало, и толкало въ сѣрую, холодную трещину, которая въ теченіе долгихъ, скучныхъ лѣтъ, медленно раскрывалась подъ ея ногами. Естественное отвращеніе къ смерти еще билось въ ней, но все сильнѣе, все побѣднѣе заглушала его жажда давно-жданнаго покоя, ядовитая и мертвящая сладость крѣпкаго, безпробуднаго сна. Но она хотѣла этой послѣдней сладости только для себя и искала путей, чтобы удержать сына на краю манившей его бездны. Навѣки уходя отъ дѣтей, хотѣлось матери вдохнуть въ любимаго малодушнаго мальчика все, что было въ ней когда-то, радостнаго, то простодушное ожиданіе невѣдомаго счастья, съ которымъ давно, давно вышла она на жизненный путь. Она взяла отъ него стаканъ, налила себѣ вина, выпила залпомъ и заговорила:

— Послушай, мальчикъ. Брось это. Вахрушинъ, вѣроятно, правъ. Жизнь удивительная штука... Что ты смотришь на меня съ удивленіемъ? Ну да, я не умѣла жить. Старалась, старалась, царапалась, царапалась и никогда ничего не выходило. Ни себѣ, ни другимъ. Я никогда въ жизни, ни одному человѣку не желала зла. Впрочемъ, нѣтъ, одному желала, даже смерти его часто желала. Но объ этомъ не стоитъ говорить. Такъ вотъ, всѣмъ желала добра, а никому ничего хорошаго не сдѣлала. Вспомнить нечего. Ты говоришь, я все для семьи. Это правда. Но что изъ этого вышло? Кладбище. Да, да, я знаю что у васъ не домъ, а мертвецкая. Вотъ отчего я и хочу...—она остановилась, удержалась отъ послѣдняго признанія и опять заговорила, охваченная страстной потребностью рассказать сыну всѣ свои ошибки, передать ему свой печальный опытъ.—Такъ вся жизнь прошла, какъ вода между пальцевъ. Ни себѣ, ни другимъ. Даже желать не научилась. Ничего не хотѣла, а дни мелькали и мелькали, а вотъ теперь поняла, что непременно надо хотѣть, для себя, для самого себя хотѣть. Слышишь Вася,—прикрикнула она.—Вотъ и ты... Ты слишкомъ мой сынъ. У тебя тоже нѣтъ желаній. Это проклятіе. Настоящее проклятіе. Я знаю, откуда оно взялось. Я знаю, кто на тебя наложилъ его, но развѣ, когда мы выходимъ замужъ, мы что нибудь понимаемъ?

Сынъ съ изумленіемъ смотрѣлъ на возбужденное, неузнаваемое лицо матери. Колыхалась передъ нимъ завѣса, отдѣлявшая ихъ, мелькали, выявлялись и опять спутывались обрывки тѣхъ материнскихъ переживаній, изъ которыхъ выросло, на которыхъ сложилось его собственное существованіе. Но онъ былъ еще слишкомъ молодъ, чтобы понять ихъ, еще собственный опытъ не придалъ его глазамъ ту остроту, безъ которой чужая жизнь всегда темна, хотя бы она протекла бокъ о бокъ съ нашей.

— Вася, я тебѣ одно скажу. Я понимаю, о, я отлично понимаю, что значить тоска. Я знаю, что значить, когда вокругъ все темно и ступить некуда. И холоды ползетъ. Но ты попробуй, только попробуй вырваться. Вѣдь это, — она не могла произнести слово смерть, — этотъ выходъ всегда у тебя останется. Не торопись. Попробуй жить. А главное уходи куда-нибудь подальше отъ нашего дома. Вѣдь есть мѣста, гдѣ солнце свѣтитъ, гдѣ люди умѣютъ смѣяться и радоваться другъ другу. Навѣрное есть. Сколько книгъ объ этомъ написано. Неужели же все это ложь, что написано?

— Не знаю, — неувѣренно отвѣтилъ сынъ.

Что-то въ словахъ матери взволновало его, задѣло, сдвинуло съ мертвой точки, на которой онъ стоялъ, поглощенный монотоннымъ плескомъ все тѣхъ же мыслей о смерти.

— Вотъ то-то и есть, что не знаешь! — страстно и настойчиво сказала она. — Ты уходи, уходи подальше отъ насъ, уходи, ищи, смотри, стучись. А то, что ты зовешь гордостью, это вѣдь не уйдетъ. Право не уйдетъ. Ну, общай мнѣ, что не будешь торопиться. Общаешь? Да?

Она подошла къ нему, повернула къ себѣ, положила руки на его плечи и пристально и любовно смотрѣла въ его глаза, добиваясь отвѣта. Еще никогда въ жизни не чувствовала она въ себѣ такого и мучительнаго, и окрыляющаго напряженія воли, такой потребности влить свое желаніе въ другого, подчинить его себѣ. Сознаніе того, что она сейчасъ должна совершить, придавала ей новую властность, властность человѣка, добровольно идущаго на жертву. Колебаясь, недоумѣвая, сынъ поддавался ей, точно это была не мать, слабая и кроткая, а какая-то новая, умѣющая повелѣвать, женщина.

— Ну, хорошо, ну, общаю, — смущенно отвѣтилъ онъ. — Только что — не понимаю.

— А то, что ты не будешь торопиться. Что ты дашь себѣ срокъ посмотрѣть на жизнь. А главное, главное постарайся



желать, хотѣть, стремиться. Безъ этого нельзя. Просто нельзя жить.

Голосъ у нея упалъ и вся она опустилась, затуманилась, опять стала не та. Понурившись, пошла она къ двери. Стоя на порогѣ, уже сливаясь съ темнотой сѣрой спальни, еще разъ обернулась, кивнула сыну головой и строго повторила:

— Такъ помни. Ты общалъ.

## XXI.

Теперь она знала, что надо спѣшить. Надо красной печатью закрѣпить обѣщаніе, которое ей далъ ея бѣдный, дорогой, малодушный, слишкомъ похожій на нее, мальчикъ. Она закрыла за собой дверь, повернула выключатель, при бѣломъ свѣтѣ электричества оглядѣла спальню, потомъ опустила шторы. И дѣлала все это аккуратно и безшумно, точно кто-то распоряжался ея движеніями, придавая имъ точность, которая бываетъ въ бреду или во снѣ. И въ душѣ все было тихо. Она вспомнила, что въ саду, на дачѣ въ Руссѣ, послѣдній вечеръ царила такая же мягкая, темная тишина. Изъ аллеи было слышно, какъ тикали въ столовой стѣнные часы. А теперь она слышитъ только, какъ тикаетъ ея сердце, ровно и сильно.

— Скоро перестанетъ. Отдохнетъ,—подумала она далекой мыслью, точно дѣло шло не объ ея собственномъ сердцѣ, а о птицѣ, которую чья-то рука мѣткимъ выстрѣломъ скоро собьетъ съ вѣтки.

Эту руку Елизавета Ивановна уже чувствовала на своемъ плечѣ и отдавалась ей. Она не знала и не хотѣла знать, другъ или врагъ стоитъ рядомъ, но смѣло и беззавѣтно шла къ нему навстрѣчу.

Съ послѣдней, прощальной отчетливостью смотрѣли на нее привычные предметы, среди которыхъ прожила она всю свою жизнь. Были тутъ любимые и нелюбимые, Рябовскіе и Крутиковскіе. Всѣмъ улыбнулась она блѣдной улыбкой. Такъ хорошо знать, что больше ничего не нужно, что больше никто ничего отъ нея не потребуетъ. Она все отдала, все... Теперь отдаетъ, послѣднее, что у нея осталось, собственную жизнь...

Изъ квартиры, изъ опустѣвшей столовой, изъ большой гостиной, гдѣ никогда никто не сидѣлъ, изъ кабинета мужа, всегда чужого ей, изъ передней, въ которую никто изъ живущихъ здѣсь

не входилъ съ радостнымъ и свѣтлымъ чувствомъ дома, доносились угрюмые шепоты предметовъ. Мысль ея, недружелюбно скользнувъ мимо нихъ, любовно заглянула въ розовую, чаще всего пустую комнату Тиночки, сверкнула нѣжностью и тихо перешла въ узкую комнату сына, гдѣ столько было пережито труднаго.

— Такъ надо... такъ надо, — вполголоса повторила мать, и хотѣлось ей протянуть руки и еще разъ обнять ихъ обонхъ, безцѣнныхъ, единственныхъ, милыхъ. Но она знала, что это малодушіе, что нельзя больше ни ждать, ни откладывать.

— То, что дѣлаешь, дѣлай скорѣе, — сказалъ какой-то голосъ, прозвучавшій прямо въ ея мозгу.

Она взяла бутылку, на которой, бѣлыми буквами на красной этикеткѣ, было написано: «Ядъ. Осторожно»... и припала къ ней губами... Пила и, взглянувъ на кровать мужа, на его ночную рубашку, лежавшую на отогнутой простынѣ, съ невольнымъ, мелкимъ злорадствомъ подумала:

«Вотъ обовлится-то»...

Отъ этой рабской, скверной мысли, что-то слабое и низменное заметалось въ душѣ. Страхъ на мгновеніе огнемъ обжегъ ее. Елизавета Ивановна справилась съ нимъ, отогнала усиліемъ воли, вернулась къ тѣмъ спутаннымъ, но важнымъ мыслямъ, которыя до краевъ наполняли ее. Но огонь все разливался и жегъ. Она поняла, что это уже не душа, а тѣло ранено, и покорно приняла страданія. Лежа на кровати, она стискивала зубы, чтобы не крикнуть, и удивлялась, почему не наступаетъ конецъ.

Боль все усиливалась, несла съ собой забытье, похожее на бредъ. Передъ открытыми глазами проносились чьи-то лица, знакомые и незнакомые, звучали голоса, слышался чей-то смѣхъ, стонъ. Кровать колыхалась, превращалась въ корабль, неслась по волнамъ. Нѣтъ, это не корабль, это вагонъ катится, и качается, и выстукиваетъ на ухо Лизы позорныя, заслуженныя обвиненія. Съ тихимъ стономъ хочетъ она вскочить и не можетъ, руки и ноги лежатъ, какъ плети, а Рябовъ стоитъ рядомъ и льетъ ей на грудь горячій свинецъ. Такъ и надо... такъ и надо стучать колеса вагоновъ.

— Что съ тобой, Лиза? Проснись! — кричитъ голосъ Рябова. Елизавета Ивановна не знаетъ на яву или во снѣ и хрипло стонетъ:

— Да, да, такъ и надо... Мертвые должны...

Что должны, — она не договариваетъ. Боль, злая, ползучая,

нестерпимая, разрывает ей грудь, животъ, мечется по всему тѣлу, какъ бѣшеный звѣрь.

— А-а-а!—дикимъ голосомъ кричить Елизавета Ивановна, и этотъ крикъ напоминаетъ ея мужу ту ночь, когда, жалкій, испуганный, подавленный, но все еще счастливый своей любовью къ ней, стоялъ онъ за дверью и мучался, и прислушивался, и всматривался въ озабоченное лицо пробѣгавшей мимо акушерки.

Давно неиспытанная, жалѣющая нѣжность къ женщиѣ, которую онъ когда то любилъ, рядомъ съ которой прожилъ долгіе, долгіе годы, маленькимъ огонькомъ затеплилась въ его сердцѣ. Онъ нагнулся къ ней, неловко прижался къ ея лбу, почувствовалъ, что онъ уже покрытъ холоднымъ потомъ и съ ужасомъ заметался.

— Господи... Лиза... Да что-же это... Да гдѣ же всѣ...

Онъ бросился въ комнату сына. Вася спалъ тяжелымъ, пьянымъ сномъ. Рябовъ не могъ его разбудить и побѣжалъ въ комнату дочери. Тамъ было пусто. Кровать стояла несмятая. Онъ на минуту опѣшилъ. Но думать было некогда. Изъ спальни по всему корридору плылъ все тотъ же дикій, острый стонъ.

— А-а-а!

Рябовъ опять побѣжалъ къ сыну.

— Вася, проснись... Что ты пьянъ, что-ли? Надо за докторомъ. Мать...

Не столько слова отца, сколько стонъ долетѣлъ наконецъ до сознанія сына. Онъ вскочилъ, сѣлъ на кровать и, глядя въ упоръ на отца, произнесъ:

— Такъ вотъ что...

— Что?—переспросилъ отецъ.

Вася уже овладѣлъ собой и угрюмо отвѣтилъ:

— Что? Ничего. Я-то почему знаю?.. Что же, поѣхать или по телефону доктора позвать?

Все, что происходило рядомъ съ Рябовымъ въ его домѣ, все, что переживалось женой и сыномъ было такъ далеко отъ него, что ему и въ голову не пришло настаивать или спрашивать. Онъ былъ увѣренъ, что Лиза просто заболѣла.

Раздалось осторожное щелканіе американскаго замка. Ти-ночка вошла, нарядная, душистая, усталая. Заглянула въ открытую дверь Васиной комнаты, увидала ихъ лица и сразу спросила:

— Что? Съ мамочкой что-нибудь?

Опять пронесся по корридору стонъ и, не дожидаясь отвѣта, молодая дѣвушка рванулась ему навстрѣчу. Зашуршала шелкъ

юбки, стукнули каблучки, колыхалось бѣлое перо. Тина вбѣжала въ спальню и увидала изсиня блѣдное, искаженное, обезображенное страданіями лицо матери, увидала бутылку на туалетѣ и сразу поняла:

— Господи, мамочка, а я-то...

Она упала на колѣни около кровати и съ трудомъ сдержалась, чтобы не отвѣтить звѣринымъ воємъ на стонъ матери. Безобразнымъ клубкомъ подкатывалась къ ея горлу ярость, налетающая на нее иногда въ дѣтствѣ. Хотѣлось и кричать, и вопить, и проклинать, хотѣлось вступить съ кѣмъ-то въ дикое единоборство, чтобы спасти любимую, отплатить кому-то за ея муку.

И съ острымъ раскаяніемъ, съ глубокимъ, нестерпимымъ отчаяніемъ увидала она себя, свою пустоту, и эгоизмъ, и скользящую, смѣлую жадность къ жизни. Судорожно, точно срываясь съ края обрыва, хваталась она за край простыни, не смѣя удержаться за синевагы, холодѣющія руки матери, и чувствовала, что нѣтъ у нея спасенія, что никто, никто на всемъ свѣтѣ не дастъ ей той прощающей, жалостливой любви, которая воплащалась въ умирающей.

Было раннее апрѣльское утро, когда санитары осторожно выкатили изъ кареты носилки и понесли больную во дворъ больницы. Она увидала надъ собой небо, далекое, блѣдное, милое. Узловато-черныя вѣтки тополей тянутся черезъ него. Свѣшиваются алыя, хорошенькія сережки. Отъ нихъ, заглушая мутное дыханіе города, пахнетъ чѣмъ то липкимъ, вкуснымъ, весеннимъ...

— Ее будутъ любить, такъ любить,—синими, потрескавшими губами беззвучно шепчетъ Елизавета Ивановна и улыбается.

— Что ты, мамочка?

Тина наклоняется и съ удивленіемъ видитъ улыбку.

— Ничего, ничего,—шепчетъ мать, а самой кажется, что это ужъ не она говоритъ, а кто-то другой, чужой, усталый и умирающій.

Съ кѣмъ это было? Когда это было? Гдѣ та розовая дѣвочка въ бархатномъ пальтишкѣ, которая бѣжала по Литейной, держась за мать, и вдругъ остановилась, впервые замѣтивъ надъ собою сіяніе небесной синевы? Неужели рука, безсильно протянутая вдоль терзаемаго болью тѣла, это та самая довѣрчивая ручка, на которой лежали пушистыя тополиныя сережки. Золотые, пряные, весенніе соки пробивались тогда сквозь розовую



дѣтскую ладошку, текли по маленькому дѣтскому тѣльцу, наполняя его весеннимъ волненіемъ, охватывающимъ каждую травинку, каждую букашку, все живое, все радующееся.

Кто же обманулъ, кто надругался надъ маленькой, слабой, довѣрчивой дѣвочкой? Кто заслонилъ отъ нея небо, очаровавшее въ тотъ ясный день широко раскрытые, черные, блестящіе, похожіе на спѣлыя вишни, глаза ребенка?

На похоронахъ Рябовъ шель между дѣтьми и часто бралъ за руку то Тиночку, то Васю. Онъ былъ испуганъ и потрясенъ, но всетаки замѣтилъ, кто изъ знакомыхъ пришелъ на похороны, кто нѣтъ.

Въ церкви Рябовъ подошелъ къ Птицыной, крѣпко и благодарно пожалъ ей руку и заплакалъ искренними слезами.

— Ужасно... Я прямо опомниться не могу... И ничего не понимаю.

У Птицыной на глазахъ блестѣли слезы сочувствія:

— Ваша жена даже записки, кажется, не оставила? — осторожно спросила она.

— Ничего. Рѣшительно ничего. Совершенно непонятно, — сказалъ Рябовъ размягченнымъ, жалкимъ голосомъ. — Повидимому, просто нѣчто вродѣ остраго психоза. Говорятъ у женщинъ въ ея возрастѣ это бываетъ. Больше ничѣмъ не могу объяснить.

Онъ тяжело всхлипнулъ. Птицына положила ему на рукавъ свою руку.

— Аполлонъ Максимычъ, будьте мужественны. Передъ вами столько обязанностей. Я понимаю, какъ вамъ тяжело. Но у васъ есть дѣти. И намъ всѣмъ вы такъ нужны.

Онъ глубоко вздохнулъ и крѣпко пожалъ ея руку. Онъ понялъ, что она напоминаетъ ему о выборахъ и о его возможной кандидатурѣ. Легкое, самолюбивое волненіе поднялось и затуманило печаль.

Вася съ Тиной, опустивъ головы, стояли около гроба рядомъ, каждый со своими отдѣльными, горькими думами.

— Сколько цвѣтовъ, — тихо сказалъ Вася сестрѣ, — она ихъ такъ любила. А когда была жива, мы не носили ей...

Тиночка кивнула головой. Слезы снова потекли по ея блѣдному, осунувшемуся лицу, украдкой подобрались въ уголокъ алаго, плотно сжатаго рта. Съ трудомъ сдерживая рыданія, она прибавила:

— Да, не носили. Я помню, разъ она мнѣ сказала: тамъ на Невскомъ въ окнѣ такія красивыя фіалки стоятъ... Больше

ничего не сказала. Даже не посмотрѣла на меня. Только улыбнулась, знаешь, тихо, какъ всегда... Вася, зачѣмъ я не пошла за фіалками...

Молодая дѣвушка схватила брата за руку и громко зарыдала...

Всѣ сочувственно посмотрѣли въ ея сторону. Отецъ подошелъ и обнялъ ее за плечи. Она не отодвинулась.

Та, которую звали Лизокъ, потомъ просто Лиза, потомъ Елизавета Ивановна Рябова, лежала передъ нимъ холодная, красивая, недоступная утѣшеніямъ, далекая и отъ земныхъ привязанностей и отъ земныхъ униженій.

Конецъ.

А. Тыркова.



## БЫВАЮТЪ МИНУТЫ...

Бываютъ минуты: въ тоскѣ горделивой  
Гляжу я на міръ, вѣчно мучимый зломъ,  
Обманутый вѣчной надеждою лживой  
И призрачнымъ, вѣчно искомымъ добромъ.

Я знаю: страданіе міра безмѣрно,  
Его не избыть, пока солнце горитъ.  
Одно только средство мгновенно и вѣрно  
Избавить насъ можетъ отъ мукъ и обидъ, —

Волею Властнаго Духа велѣтъ  
Солнцу потухнуть, Землѣ умереть:  
Солнце, сокройся,  
Сгинь навсегда!

Но вспомнишь внезапно: а красныя зори?..  
А лунныя ночи?.. А ласки весны?..  
А волны лазурнаго теплаго моря.  
И запахъ смолистый прибрежной сосны?..

Нахлынуть видѣнья, картины былого...  
Признанья... лобзанья... весь жизненный пиръ, —  
Душой къ нему тянешься снова и снова:  
Пусть адъ—но и рай на землѣ знаетъ міръ!  
И обреченный навѣки страдать,  
Буду я въ мукахъ предсмертныхъ кричать:  
Солнце, не гасни!  
Солнце, гори!

А. Луговой.



## НА РОДИНѢ.

Разсказъ.

### I.

За напечатанную въ толстомъ журналѣ большую статью «О вздорожаніи жизни въ Западной Европѣ» причиталось получить сто восемьдесятъ два рубля съ копѣйками. Рублей семьдесятъ набѣжало за газетныя замѣтки, да оставалось еще кое-что отъ университетской стипендіи. Рынди́нъ почувствовалъ себя обезпеченнымъ человѣкомъ и рѣшилъ вторую половину лѣта провести на родинѣ. Лѣтъ пять уже не видался съ матерью, а она—старуха, вотъ-вотъ помретъ. Всѣ матеріалы для диссертациі были уже собраны и обработаны, выводы сдѣланы. Оставалось только свести разрозненные части въ одно стройное цѣлое да набросить внѣшній литературный лоскъ, а это можно съ успѣхомъ продѣлать и въ глухомъ сѣверномъ городѣ, безъ библіотекъ и архивовъ.

Рынди́нъ ликвидировалъ свои столичныя обязательства къ квартирной хозяйкѣ и къ мелочной лавочкѣ, старательно уложилъ нужныя книги и рукописи и поѣхалъ. Пять сутокъ дышалъ вонючей нагрѣтой пылью въ вагонѣ третьяго класса, хлебалъ на большихъ станціяхъ тепловатыя щи, выпилъ съ дюжину бутылко́въ кислаго пива, раза три пересаживался изъ поѣзда въ поѣздъ и, наконецъ, на шестое утро добрался до дому. Мать не отважилась встрѣтить сына на вокзалѣ, который былъ выстроенъ за семь верстъ отъ города, но за то дома обильными слезами вымочила сыну жилетку и такъ разволновалась, что къ вечеру съ двумя крѣпкими, на газетной бумагѣ, горчичниками слегла въ постель.



Домикъ у старушки былъ собственный, доставшійся по наследству отъ мужа, соборнаго протодьякона. Стоялъ этотъ домикъ на самой окраинѣ города, рядышкомъ съ дремучимъ, заболоченнымъ сѣвернымъ лѣсомъ. Немножко покривился уже на бокъ и обросъ буроватымъ мхомъ по крутымъ скатамъ тесовой крыши, но въ общемъ держался еще крѣпко,—и весело посматривалъ квадратными окошечками съ бѣлыми, недавно подкрашенными ставнями.

Рындинъ, по старой памяти, облюбовалъ себѣ комнатку, въ которой жилъ гимназистомъ,—ту самую, что, отвернувшись отъ заросшей муравкой улицы, смотрѣла прямо въ лѣсъ. Комнатка зимой отапливалась не голландкой, а массивной русской печью съ широко отверзтымъ сводчатымъ жерломъ и потому была тѣсновата. За то здѣсь, послѣ сѣраго петербургскаго номерка съ безконечной кошащей лѣстницей, Рындинъ сразу почувствовалъ себя уютно и спокойно.

— Вотъ гдѣ поработаю-то!

Разложилъ на некрашенномъ деревянномъ столѣ всѣ свои пособія и матеріалы, собственноручно набилъ свѣжимъ сѣномъ сѣнникъ для кровати и сразу вошелъ въ курсъ новой жизни.

Въ этомъ городкѣ онъ родился и выросъ, но знакомыхъ у него теперь почти не было. Прежніе, школьные товарищи растворились гдѣ-то въ общей мірской толпѣ въ качествѣ чиновниковъ, врачей, инженеровъ и помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ. А у матери знакомые были свои, совсѣмъ особенные, такіе же ветхіе, какъ она сама, и отъ долгой безмятежной жизни почти утратившіе даръ слова. Пили они помногу чай съ калачами и шаньгами, часто и подолгу молились и дома, и въ церкви, и полсутокъ спали, раздѣляя сонъ на двѣ порціи: ночью и послѣ обѣда. Кое къ кому Рындинъ собирался было, все-таки, сходить съ привѣтственнымъ визитомъ, но скоро раздумалъ. Послѣ петербургской сутолоки и безтолковщины особенно было пріятно чувствовать себя одинокимъ и отчужденнымъ отъ міра.

Вставалъ Рындинъ рано, часовъ въ шесть и, въ растегнутой косовороткѣ и въ туфляхъ на босую ногу, отправлялся купаться. Рѣка—большая, тихая, съ мутноватой, холодной водой,—была неподалеку,—не больше полувѣрсты, если идти прямо черезъ пустырь. Мать, пока сынъ купался, суежилась въ кухнѣ, и къ возвращенію Рындина, по всѣмъ тремъ комнатамъ вкусно пахло уже горячимъ сливочнымъ масломъ и кислымъ тѣстомъ, а на чайномъ столѣ, у самовара, еще потрескивали масляными пухляками горячія лепешки. Рындинъ былъ добросовѣстно и со

вкусомъ, а мать сидѣла за самоваромъ, подперши локтемъ подбородокъ, и то тихо, про себя, улыбалась, то вздыхала.

Послѣ чаю—диссертация. Но, несмотря на довольно усидчивую работу, свободного времени оставалось почему-то чрезвычайно много. Рындинъ ходилъ гулять въ лѣсъ, катался на лодеѣ, разъ даже побывалъ вмѣстѣ съ матерью у всенощной въ темной и низкой, какъ склепъ, соборной церкви, гдѣ когда-то зычно возглашалъ ектенію его отецъ, протодьяконъ. Церковь построилась иждивеніемъ какого-то удѣльнаго князька чуть ли не въ началѣ пятнадцатаго вѣка, но городокъ съ того времени, должно быть, почти не выросъ: по крайней мѣрѣ, подъ низкими облупленными сводами богомольцы размѣщались съ большимъ просторомъ. Мать часто и истово крестилась и отбивала земные поклоны, прижимаясь лбомъ къ стертому каменному полу,—и осталась очень недовольна, когда замѣтила, что сынъ всю службу простоялъ истуканомъ. Сказала даже, на пути домой:

— Теперь вотъ все о массонахъ какихъ-то толкуютъ... Ужъ ты и самъ не изъ нихъ ли? Стыдно тебѣ, Семень. Ты, какъ ни какъ, исконнаго духовнаго званія. Не заучись.

Рындинъ выслушалъ—и ласково улыбнулся. Чѣмъ-то древнимъ, почти, какъ церковь, и немножко затхлымъ, но теплымъ повѣяло отъ этихъ словъ. Во избѣжаніе недоразумѣній, въ церковь ходить пересталъ, а за то время отъ времени, когда уже рѣшительно нечего было дѣлать, а отъ цифръ диссертации рябило въ глазахъ, посылалъ дѣвченку Юлку въ портерную за парой пива. Сидя у подоконника, пилъ лѣнивыми глотками, морщась отъ горечи, и блаженно думалъ.

Нынѣшней зимой защититъ диссертацию. А къ будущему учебному году обезпечена доцентура. Такъ что будущее, вообще, пока не беспокоило. Въ столицѣ немножко разстроилось было здоровье, но теперь, послѣ какой-нибудь недѣли мирнаго житія, всѣ изъязны уже загладились. Избытокъ физической бодрости рвался наружу и потому, должно быть, все чаще незвано и непрошено приходила мысль о женщинахъ. Мыслей такихъ Рындинъ обычно избѣгалъ, хотя и зналъ хорошо, что недуренъ собой. И на любовь смотрѣлъ до сихъ поръ не какъ на радость, а какъ на неизбежное зло.

Какъ-то въ субботу, подъ вечеръ, совсѣмъ изнемогъ и отъ мыслей, и отъ горькаго пива. День былъ жаркій, какъ на югѣ, и прозрачная мгла висѣла надъ пустыремъ, переливаясь мелкой струящейся рябью. Изъ лѣсу шелъ густой и крѣпкій запахъ смолы и прѣлой хвои. На соборной колокольнѣ бухалъ коло-

копѣ, медлительно и сонно, словно никакъ не могъ страхнуть съ себя вѣковую дремоту. Но въ этомъ мирномъ покоѣ что-то тревожно возбуждало, и кровь прилиwała къ вискамъ, а сердце было сладко и просительно. Рындинъ большими глотками прикончилъ бутылку, выкурилъ одну за другой, безъ перерыва, четыре папирсы и, такъ какъ отъ всѣхъ этихъ излишествъ рту сдѣлалось нестерпимо горько, сплюнулъ за окно и выругался. Потомъ натянулъ сохранившіеся еще отъ отца обильно смазанные ворванью высокіе сапоги и пошелъ на рѣку.

Рѣка тоже застыла. Лѣнливо и нехотя раздавалась безшумная волна передъ носомъ лодки. Рындинъ гребъ сильно, какъ на гонкахъ, размахисто закидывалъ весла и потомъ, разомъ выпрямляясь, подвигался впередъ большими бросками. Хотѣлъ побѣдить усталостью непрощенный избытокъ жизни,—и уже отошелъ далеко назадъ низменный болотистый берегъ, когда впереди, передъ самой лодкой, кто-то закричалъ тревожно:

— Эй, эй! Снасть порвете! Правѣе!

Рындинъ оглянулся на крикъ и сейчасъ же затормозилъ веслами, но лодка уже налетѣла на чей-то челнокъ, видомъ очень похожій на обыкновенную долбленную душегубку. Сидѣвшій въ челнокѣ человекъ проворно отпихнулся багромъ, но все же черпнулъ ведра два воды съ лѣваго борта.

— Простите, пожалуйста!—виновато заговорилъ Рындинъ и приподнял шляпу.—Немного увлекся, и не замѣтилъ.

Пострадавшій сидѣлъ на днѣ душегубки и, вычерпывая изъ подъ себя воду берестянымъ туяскомъ, успокоительно тряхнулъ лохматой головой.

— Ничего не значить. Если бы это еще кто-нибудь изъ мѣстныхъ жителей, то я счелъ бы такой поступокъ злонамѣреннымъ и могъ бы обидѣться. А ученому простительно.

«Вотъ оно что!»—съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ подумалъ Рындинъ.—«Шила въ мѣшкѣ, видно, не утаишь.» И присмотрѣлся къ лохматому съ удвоеннымъ интересомъ.

По костюму социальное положеніе лохматого опредѣлить не удалось, потому что костюмъ этотъ, видимо, специально былъ приспособленъ для рыбной лѣвли: грязные холщевые штаны и изодранный пиджакъ поверхъ линялой сарпинковой рубахи. Но лицо,—не мужицкое, и золотая оправка очковъ крѣпко сидитъ на горбатомъ носу.

— А почему именно вы думаете, что я... началъ было Рындинъ. Теченіемъ его лодку начало относить отъ челнока, но онъ взмахнулъ раза два веслами и опять поровнялся съ лохма-

тымъ. Тотъ отбросилъ туясокъ и вытеръ объ полу пиджака мокрыя руки.

— Какъ же не знать-то? Какъ только вы прѣхали, такъ сейчасъ же всё и узнали, что у насъ въ городѣ теперь собственный профессоръ имѣется. Ваша же матушка на базарѣ рассказывала. Да ужъ кстати, позвольте познакомиться: Гриневицъ, Спиридонъ Григорьевичъ. Бывшій земскій статистикъ. А теперь работаю по вольному найму въ городской комиссіи по переоцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ.

Рындинъ тоже называлъ себя и, какъ водится, прибавилъ:— «очень радъ!»—хотя пока еще особенной радости не испытывалъ. Случайнымъ знакомствамъ онъ не довѣрялъ и, по возможности, избѣгалъ ихъ. Впрочемъ, на этотъ разъ, пожалуй, можно было отступить отъ правила.

— Должно быть, очень ужъ усердно работаете?—справился статистикъ.—Нигдѣ не видно васъ. И, признаться, наша колонія въ нѣкоторой на васъ обидѣ. Люди мы хотя и маленькіе, но все-таки—зачѣмъ же пренебрегать? Мы вѣдь тоже не отстаемъ отъ вѣка. Журналы выписываемъ. Вотъ и ваша статейка на-дняхъ мнѣ попалась. Признаться, всю не прочелъ, —только просмотрѣлъ начало и конецъ,—но, кажется, написано дѣльно и вполне литературнымъ языкомъ.

— Благодарю васъ!—усмѣхнулся Рындинъ и опять было взялся за весла, чтобы переправиться, какъ задумалъ раньше, на тотъ берегъ, но новый знакомый нерѣшительно потерябилъ себя за перьяшливую бороду и потомъ сказалъ:

— Знаете... Ужъ разъ вы подѣхали... Не поможете ли вы мнѣ снасть вытащить? Якорь у перемета загло, понимаете... А у меня челнокъ верткій... Вамъ съ такою ладьею удобнѣе будетъ.

— Якорь?—переспросилъ Рындинъ. И сообразилъ неторопливо: чѣмъ шататься безцѣльно по рѣкѣ и топить чужіе челноки, лучше и въ самомъ дѣлѣ оказать услугу невинно пострадавшему.— Отчего же нѣтъ? Я съ удовольствіемъ.

Пока вытягивали якорь, у Риндина успѣла проснуться давно, съ дѣтства, дремавшая охотничья страсть. И, когда Гриневицъ собрался заводить свой переметъ на другое мѣсто, пониже по теченію, Рындинъ самъ уже предложилъ свои услуги.

— Если только вы не будете имѣть ничего противъ... Пріятно, видите, вспомнить старое время...

— И очень хорошо даже. Такъ я тогда тоже переберусь въ вашу ладью, а челнокъ на буксиръ возьмемъ. Правьте вонъ



туда, гдѣ вода рябитъ, за островкомъ. Самое будетъ стерляжье мѣсто.

Пока наживляли крючки и забрасывали длинную снасть, Гриневицъ успѣлъ рассказать многое. Рассказалъ, что интеллигенціи въ городѣ почти не имѣется, но зато есть мѣстная учащаяся молодежь, народъ свѣжій, живой и веселый. На каникулы пріѣзжаютъ также человѣкъ пять студентовъ, но тѣ—хуже. Уже тронуты столицей, нервничаютъ.

— А наши—прелестъ. Сырой матеріалъ, еще не подвергнутый никакой обработкѣ. Смотришь на нихъ—и иной разъ плакать хочется. Вотъ, если бы поставить ихъ въ другія, свободныя условія, предоставить возможность развить всѣ задатки... А то вѣдь что выйдетъ? Попадутъ все въ ту же мельницу, въ какой-нибудь годъ, другой будутъ уже искалѣчены, изломаны, перемолоты... Въ кружокъ самоубійцъ или въ какую-нибудь лигу сознательныхъ прохвостовъ поступать. А въ лучшемъ случаѣ—подъ замокъ. Право, до слезъ жалко. Они у насъ часто бываютъ,—молодежь эта самая. Я, вѣдь, женатъ. Женатъ, какъ же. Жена въ управѣ служить, работаетъ, но все-таки скучновато тутъ... Ужъ еслибъ только не молодежь... Нарочно и приручаю—для жены больше... А передайте-ка мнѣ еще червяковъ пригоршню..

Управились съ переметомъ какъ разъ къ закату и, не спѣша, поплыли домой по закрашившейся, огневой рѣкѣ. Четкими черными зубцами лѣса вырѣзался за огненной гладью берегъ. И факеломъ вспыхнула соборная колокольня. Рындинъ гребъ, а статистикъ сидѣлъ на кормѣ, полулежа, и курилъ. Челнокъ его тащился за лодкой на буксирѣ.

— Знаете, начинаю любить я сѣверъ. Прижился. Хотя родомъ—южанинъ, Херсонской губерніи. И съ материнской стороны чуть ли не цыганская кровь есть. Люблю я эту... умиротворенность, что ли. Тоску тихую. И вотъ въ такія времена, какъ сейчасъ, когда очень ужъ подла и непереносна жизнь—какъ то облегчаетъ и тишина эта, и просторъ, и бѣдность сѣверная. Немножко на огромное безкrestное кладбище похоже, но хорошо.

— Да, спокойно!—согласился Рындинъ.—Только опасно, по моему. Пожалуй нетрудно плѣсенью покрыться въ этой тишинѣ.

— Это ужъ что тамъ... Жизнь моя все равно идетъ подъ гору. Лишь бы скоротать какъ-нибудь. И все-таки интересно узнать—что будетъ дальше. Прежде былъ дѣйствующимъ лицомъ, хотя и на выходныхъ роляхъ, а теперь перешелъ въ публику.

Занимаю мѣстечко на галеркѣ и поглядываю на міровую сцену. Какъ-то, молъ, дальнѣйшая комедія развернется?

Бросилъ за бортъ окурокъ и выпрямился.

— Подѣзжаемъ, однако же... Вы у нижней пристани лодку держите? Ну и я тамъ же. Я, собственно, раза два встрѣчалъ васъ—только издали. Нѣтъ, вы ужъ обязательно должны побывать у насъ. Пускай молодежь на писателя настоящаго посмотреть. Ей тутъ въ диковинку. И вообще—проведемъ время. Водку пьете?

— Иногда.

— Ну и водки выпьемъ. У меня осетровая тешка есть. Жена хотя и не очень покровительствуетъ, но все же понимаетъ, что безъ этого никакъ невозможно. Приходите завтра же, а?

— Благодарю васъ. Если не задержитъ работа...

— Успѣете и съ работой.

Вышли на берегъ, привязали лодки. Рындинъ вспомнилъ, что впереди предстоитъ еще длинный, пустой и одинокій вечеръ,— и сдѣлалось жалко расставаться съ новымъ знакомымъ. Былъ онъ какой-то особенный, не похожій на застегнутыхъ на всѣ пуговицы жителей столицы. И хорошо также, что онъ такъ охотно и подробно рассказываетъ о себѣ и о своихъ близкихъ и въ то же время не залѣзаетъ съ непрошеннымъ допросомъ въ душу собесѣдника. Неожиданно для себя самого Рындинъ предложилъ:

— Пойдемте, пока что, ко мнѣ чай пить. Тутъ совсѣмъ близко. Или, если хотите, можно будетъ и за пивомъ послать. Гривевичъ даже замахалъ руками.

— Что вы... что вы... Въ такомъ-то видѣ? У васъ мамаша строгая. На порогъ не пуститъ. Она и вообще насчетъ нашего брата... Еще васъ же подъ непріятность подведу... Нѣтъ ужъ, лучше до завтра...

И ушелъ неровной, сбивчивой походкой, путаясь ногами въ широкихъ и насквозь промоченныхъ полотнянныхъ штанахъ. Рындинъ долго смотрѣлъ ему вслѣдъ, чему-то улыбнулся и, взваливъ на плечо весла, зашагалъ домой.

— Мать, навѣрное, ужъ ждетъ съ самоваромъ. И опять кормить будетъ. Утромъ—шаньги и лепешки, вечеромъ—яичница съ молокомъ. Тѣфу, чертъ,—прѣснота какая... Недурно бы и въ самомъ дѣлѣ тешки попробовать.

## II.

Два дня безъ перерыва шелъ дождь, — мелкій, ровный, холодный, — и запахло осенью, хотя былъ еще самый разгаръ лѣта. Прислушиваясь къ унылому дождевому шороху, Рындинъ работалъ до одури, составлялъ таблицы и диаграммы, щелкалъ на счетахъ и писалъ, пока не деревянѣли пальцы. Мать шмыгала изъ изъ кухни въ жилия каморки и обратно, ѣла поѣдомъ Юлку, потомъ принялась зачѣмъ-то перекладывать изъ сундука въ сундукъ «зимнія» вещи и задушила нафталиномъ.

— Матушка, вы бы хоть хорошей погоды дождались... Дышать нельзя.

— Въ хорошую погоду другое дѣло найдется... Юлка, ты это какъ воротникъ у салона складываешь?

Тряслась отъ старости и болѣзни, вся сморщенная и потемнѣвшая. Родила отъ протодьякона одиннадцать душъ, но выростила только одного — послѣдыша. И испытала въ жизни, должно быть, столько же горя, какъ и болѣзней, — но неожиданно сильны были еще скелетообразныя руки. Казалось, — такъ и не умереть никогда, не можетъ умереть. Потому что смерть никогда не найдеть удобнаго момента, чтобы подобраться и успокоить навѣки.

— А на обѣдъ, Сеничка, будетъ тебѣ сегодня разсолъникъ съ потрохами.

— Хорошо, матушка.

— Любишь разсолъникъ-то? Вотъ только соленые огурцы нынѣ плохи: перекисли ужъ очень. Я у писарихи заняла съ десяточекъ, — она въ колодцѣ держитъ. Крѣпкіе. Такъ любишь разсолъникъ-то?

— Да хорошо же...

— О, Господи... Все писать, да писать... Этакъ и испаться недолго. Меня и то писариха спрашивала: въ монахи что-ли твой-то готовится? Ни ему съ барышнями погулять, ни самому когда въ праздникъ по Московской пройти... Чистый старикъ. Да и старики еще которые бойчѣе. И то... А къ кому пойдешь-то?

— Есть тутъ одни знакомые... Вы не знаете.

— Шесть десятковъ невступно въ городъ прожила, да не знаю? Какъ стадо вечеромъ гонять, такъ корову или телушку всякую знаю, а не только-что человѣка... Развѣ что которые изъ забастовщиковъ? Такъ и тѣ всѣ наперечетъ.

И не унялась, пока не дозналась,—кто таковъ новый знакомый. Покачала головой и съ видомъ грустной покорности сложила руки подъ шалью.

— Ты ужъ, понятно, своимъ умомъ живешь и мать слушать не станешь. А только не ко двору это тебѣ. Самъ-то, прости Господи, все-таки благородный господинъ, а среди бѣла дня жиганомъ по городу ходить,—сущій пропойца. Какъ только и начальство терпитъ... А сама... Лучше и не говорить ужъ. Согрѣшишь. Какъ есть распутная женщина. Каждый мѣсяцъ по новому студенту. Кого хочешь спроси—всѣ знаютъ.

— Это, матушка, сплетни. Вы лучше и не говорите мнѣ. Не люблю.

Онъ вышелъ въ сѣни, нахлобучилъ шляпу, закутался въ вискатиновую накидку и, хотя дождь лилъ попрежнему, ушелъ изъ дому.

На улицахъ—ни души. Даже собаки попрятались по коурамъ и подворотнямъ. Только у ограды монастырскаго погоста съ грустной покорностью мокла рыжая, со сломаннымъ рогомъ, корова. Проводила Рындина задумчивыми, влажными глазами. Разставаясь на берегу, статистикъ Гриневичъ сообщил и свой адресъ. Жилъ онъ далеко, почти на другомъ концѣ города, но послѣ духоты низенькихъ комнатъ, нафталиновой вони и старческой воркотни, пріятно было шлепать по лужамъ, дышать густымъ, сырымъ воздухомъ и подставлять лицо подъ мелкую водяную пыль дождя.

Шелъ по тому направленію, гдѣ жили Гриневичи, но еще не рѣшилъ,—зайдетъ ли. Можетъ быть, просто такъ, прогуляется и вернется обратно. А впрочемъ—не сплетни же слушать, въ самомъ дѣлѣ. Во всякомъ случаѣ—люди интеллигентные, а понемножку начинаетъ ужъ грызть тоска по живому, культурному слову. И потомъ—эта молодежь,—свѣжая, нетронутая,—а у дѣвушекъ, навѣрное, щеки розовыя и покрытыя пушкомъ, какъ зрѣлый персикъ. Представилъ себѣ этотъ пушокъ на нѣжной дѣвичьей кожѣ и окончательно рѣшилъ:

— Зайду.

Домъ—какъ всѣ дома въ городкѣ: одноэтажный особнячекъ съ тесовой крышей и выступающимъ въ улицу крылечкомъ съ точеными колонками. У крылечка неторопливо умираетъ обѣденная телятами березка. Но въ окнахъ не видно неизбѣжныхъ кисейныхъ, съ кумачевыми перехватами, занавѣсокъ, а одно, крайнее отъ угла, наполовину загорожено широко распростертымъ номеромъ «Рѣчи».



Рындинъ по мокрымъ ступенькамъ взобрался на крылечко, дернулъ за ручку звонка. Ржавая проволока глухо скрипнула; помедливъ достаточно, дернулъ въ другой разъ и въ третій,—уже съ нѣкоторымъ ожесточеніемъ. И опять никакого отвѣта. Тогда толкнулъ ногой дверь, которая оказалась незапертой, и миновавъ холодный корридорчикъ, попалъ въ прихожую.

Въ прихожей, на длинномъ ларѣ у стѣны, лежали въ большомъ безпорядкѣ пальто, шали, соломенные съ бантами шляпки и новенькія студенческія фуражки. Пахло мокрымъ сукномъ и табачнымъ дымомъ, который струей тянулся изъ сосѣдней комнаты. Вмѣстѣ съ дымомъ въ прихожую проникалъ разноголосый говоръ и смѣхъ.

Чтобы обратить на себя вниманіе, Рындинъ громко кашлянулъ,—и сейчасъ же изъ сосѣдней комнаты выглянула круглая, какъ арбузъ, и коротко остриженная голова съ голубыми, словно чему-то удивляющимися, глазами.

— Вы что? Къ Гриневичамъ? Заходите, пожалуйста...

— А Спиридонъ Григорьевичъ дома?—осторожно осведомился Рындинъ.

— Нѣтъ, еще не вернулся. Да все равно, заходите. Вы вѣдь Рындинъ?

— Онъ самый.

— Ну, такъ васъ давно поджидаютъ. Глафира Антоновна, къ вамъ гость.

И голова исчезла, а Рындинъ, слегка сконфуженный, стянулъ съ себя вискатинку и калоши, вытеръ мокрое лицо платкомъ, и, шагнувъ впередъ, остановился на порогѣ,—присматриваясь, гдѣ хозяйка.

На большомъ кругломъ столѣ остывалъ зазеленѣвшій мѣдный самоваръ, окруженный остатками разныхъ закусокъ, разложенныхъ на клочкахъ промаслившейся бумаги. У стола сидѣли два студента и пили,—но не чай, а пиво, небольшой запасъ котораго ожидалъ еще подъ столомъ своей очереди. Третій мужчина, круглоголовый, оказавшійся тоже студентомъ, велъ бесѣду съ тремя барышнями, которыя втиснулись въ узенькій, на двоихъ, диванчикъ. Мрачный и запойнаго вида старикъ, стоя, отхлебывалъ чай изъ большой эмалированной кружки и курилъ сигару. Больше никого не было. Рындинъ сдѣлалъ еще одинъ шагъ впередъ и началъ:

— Извините за вторженіе, но я собственно...

— Э, милости просимъ!—въ одинъ голосъ перебили

студенты у круглаго стола.—Глафира Антоновна, да идите же поскорѣе!

Барышни не безъ усилій выбрались изъ тѣснаго диванчика и, краснѣя, поздоровались. Щеки у нихъ, дѣйствительно, были свѣжія, округлыя и съ пушкомъ. И хорошенькія ямки складывались отъ улыбокъ надъ уголками рта. Одна изъ барышень, высокая, сказала съ нарочитою развязностью:

— Здравствуйте... Вотъ и хорошо, что сегодня дождь. А то бы вы никого и не застали... Мы вѣдь на пикникъ собирались. Видите,—и закусокъ закупили. А сыны Поевы воспользовались случаемъ и все поѣли.

— Ну, да вы и сами помогли немало!—вступился круглоголовый.—Къ вареной колбасѣ я и не притрогивался, а гдѣ она? Одинъ хвостикъ. Все Нина съ Зиной уничтожили.

— А кто вамъ позволилъ пиво откупорить? Пиво и сохранить можно было до случая.

— Въ пивѣ—вина Іафета. Я и не пью никогда этой дряни... Слышишь, Іафетъ? На тебя слѣдуетъ наложить контрибуцію за растрату общественныхъ припасовъ.

Немножко оглушенный и сбитый съ толку, Рындинъ не замѣтилъ, какъ въ комнатѣ появился новый человѣкъ,—женщина лѣтъ тридцати, высокая, пышно сложенная, черноволосая. Брови—густыя, какъ у мужчины, но не портятъ красиваго и еще свѣжаго лица. Только рядомъ съ Ниной или Зиной оно замѣтно отлиываетъ желтизной.

Женщина протянула обѣ руки.

— Вотъ спасибо... Я такъ рада... Какъ это вамъ не стыдно было до сихъ поръ пренебрегать нами?

Отвѣтила на пожатіе Рындина крѣпко, тоже почти по-мужски. И смотрѣла ласково и просто, какъ на стараго и близкаго друга.

— Ну, садитесь же... Ъсть хотите? Тутъ еще осталось кое-что. Пейте пиво или чай... Впрочемъ, самоваръ остылъ уже... Сямъ, вы не подогрѣете ли самоваръ? У васъ сапоги высокіе.

— Ну, вотъ еще! Въ третій-то разъ! И такъ глаза дымомъ разѣхло... Пейте лучше пиво, Рындинъ. Полезнѣе.

Появился откуда-то стаканъ, липкій отъ сладкаго чая. Студентъ наполнилъ его пѣнистымъ, темнымъ напиткомъ и посоветовалъ:

— А теперь уже распоряжайтесь сами. Тутъ не угощаютъ... Вотъ, Впрочемъ, рекомендую сыръ: хорошій, со слезками и придающими остроту микробами.

Рындинъ машинально пилъ пиво, жеваль сыръ, похожій на мыло,—и присматривался.

Студентовъ всѣ звали не по фамиліямъ, а по кличкамъ: старшаго, бородатаго,—Симомъ, круглоголоваго—Хамомъ, а любителя пива—Іафетомъ. А старика съ сигарой, который самъ разсказаль сейчасъ же, что въ свое время двадцать лѣтъ пробыль въ университетѣ, звали: Ной. Сейчасъ онъ кончалъ долгосрочную ссылку и опять уже подумываль о зачисленіи на первый курсъ физико-математическаго факультета,—вмѣстѣ съ Хамомъ.

Барышни только въ нынѣшнемъ году кончили гимназію и ѣдутъ на курсы: Зина и Нина—на медицинскіе, Наташа—на высшіе.

Глафира Антоновна, стоя за стуломъ гостя, сообщила ему всѣ эти свѣдѣнія, потомъ вздохнула.

— Всѣ разъѣдутся осенью... Будутъ въ столицѣ, начнутъ осмысленную работу, съ головой уйдутъ въ новую жизнь,—а мы съ мужемъ все еще будемъ здѣсь, какъ прикованные...

Рындину неловко было разговаривать съ хозяйкой сидя. Нѣсколько разъ порывался встать, но Глафира Антоновна властно положила руку на его плечо и придержала.

— Сидите же... Мы тутъ—первобытные люди, отрицаемъ условности... И ужъ вы, пожалуйста, подчиняйтесь нашему уставу.

Хамъ съ барышнями продолжали давно начатый споръ. Говорили о социальныхъ реформахъ, проводимыхъ англійскимъ парламентомъ, и, кажется, всѣ четверо были довольно хорошо освѣдомлены въ вопросѣ. По крайней мѣрѣ, Рындинъ съ нѣкоторымъ угрызениемъ совѣсти долженъ былъ признаться самому себѣ, что работа надъ диссертацией нѣсколько оторвала его отъ текущей жизни. Еще, пожалуй, обратятся къ нему, какъ къ будущему профессору, за авторитетнымъ мнѣніемъ,—и придется признать свою неосвѣдомленность. Выручила Глафира Антоновна.

— Будетъ, господа... Голова уже болить отъ вашего парламента... У насъ—свѣжій человекъ, петербургскій, а вы другъ друга газетными передовицами глушите.

Симъ поддержаль:

— Правильно... Іафетъ, ты у насъ самый рѣчистый... Устраивай интервью...

И всѣ перестали спорить, сѣли чинно вокругъ стола, готовые внимательно слушать. Рындинъ покраснѣлъ,—и отъ смущенія, вызваннаго этимъ обостреннымъ вниманіемъ, и отъ боязни не удовлетворить слушателей. Но скоро оправился,

подтянулся и принялся рассказывать, ловко избѣгая вопросовъ, которыя могли бы оказаться для него подводными камнями. Увидѣвъ съ нѣкоторымъ удовлетвореніемъ, какъ глаза Нины, Зины и Наташи загораются радостнымъ блескомъ.

Наташа, сестра круглоголоваго Хама, была похожа на брата, какъ красивый оригиналъ на карикатуру. Только слишкомъ большой ротъ слегка портилъ лицо,—но во рту были зубы мелкіе и бѣлые, какъ жемчугъ. И какъ-то незамѣтно для себя самого Рындинъ началъ все чаще обращаться именно къ Наташѣ, ждалъ только ея репликъ и ея одобренія.

Часа полтора спустя, когда наступила среди разговора невольная пауза, Симъ, наконецъ, рѣшилъ:

— Довольно, господа! Продолженіе въ слѣдующемъ номерѣ. А то запугаемъ человѣка. Будетъ отъ насъ, какъ отъ огня, бѣгать. Пейте пиво, Рындинъ.

Рындинъ всталъ, прошелся по комнатѣ, чтобы размять ноги. У оставленнаго барышнями диванчика его остановила Глафира Антоновна.

— Удѣлите теперь и мнѣ минуту-другую... Садитесь вотъ сюда, рядомъ.

Рындинъ послушно сѣлъ, стараясь занимать какъ можно меньше мѣста. Но тѣсный диванчикъ заключилъ его въ свои коварныя объятія вмѣстѣ съ женщиной и эта, давно уже не испытанная, близость тревожно и почти непріятно волновала. Разсѣянно прислушиваясь къ тому, что говорила сосѣдка, Рындинъ думалъ:

«А духи у нея хорошіе... И вообще видно, что слѣдитъ за наружностью, не распускается... Вотъ и ногти какіе аккуратные... А у барышень—подъ ногтями трауръ».

Глафира Антоновна, повидимому, мало интересовалась политикой: спрашивала все больше о театрѣ, о беллетристическихъ новинкахъ. Во всемъ этомъ Рындинъ былъ не особенно силенъ и кое-что пришлось просто прилгать и сочинить. Чаше отдѣлывался общими фразами, но собесѣдницѣ, повидимому, и не такъ уже важна была сущность отвѣтовъ. Просто хотѣлось поговорить съ новымъ человѣкомъ, прислушиваться къ еще не надѣвшемуся голосу. Рындинъ понялъ это и осмѣлѣлъ, и уже не стѣсняясь смотрѣлъ на полную шею съ ямочкой, открытую вырѣзомъ блузки, на коротенькіе завитки волосъ за ушами.

«Конечно,—глупо было бы не познакомиться... А относительно студентовъ—грязная сплетня, это очевидно. Они—милые, наивные мальчики, а хозяйка—зрѣлая женщина и хорошо знаетъ



жизнь. Никто изъ этихъ юнцовъ не могъ бы ее увлечь. Несовмѣстимо».

Пришелъ съ вечернихъ занятій и самъ статистикъ, встрѣтился съ Рындинымъ, раскрывъ объятія, и даже поцѣловалъ въ обѣ щеки.

— Вотъ, чортъ меня возьми совсѣмъ, а я и не зналъ. Бросилъ бы все и прибѣжалъ бы... Ну, какъ же было не предупредить?

И все время былъ ласковъ и внимателенъ, но какъ-то слишкомъ суетливъ,—и часто поправлялъ очки заученнымъ движеніемъ нервныхъ пальцевъ съ обломанными ногтями.

Доѣли всѣ закуски и выпили все пиво,—и тогда отправились всей толпой, за исключеніемъ одной только Глафиры Антоновны, провожать Рындина. Когда разбирали въ передней пальто и шляпы, Гриневичь спросилъ нерѣшительно:

— Можетъ быть, и мнѣ остаться, Глаша? Одна заскучаешь, пожалуй?

Глафира Антоновна усмѣхнулась какъ-то нехорошо, скрививъ губы.

— А ты воображаешь, что можешь кому-нибудь служить развлеченіемъ? Иди ужъ...

Шумнымъ шествіемъ потревожили мирную тишину улицъ, и обозленные собаки залаяли изъ всѣхъ подворотень. Ночной сторожъ тревожно загрохоталъ колотушкой.

### 3.

Диссертация подвигалась впередъ не слишкомъ быстро, но аккуратно. И уже можно было надѣяться, что не больше, какъ черезъ мѣсяцъ, если все будетъ благополучно, толстая стопка мелко исписанной бумаги перестанетъ расти и на заключительной страницѣ появится размашистая, съ солиднымъ росчеркомъ, подпись. Самая скучная и неблагодарная работа,—копотливая разработка сырыхъ матеріаловъ,—вся цѣликомъ была уже позади.

Увѣренный, что успѣетъ къ сроку, Рындинъ работалъ теперь не такъ усидчиво и чаще отдыхалъ. Ѣздилъ съ Гриневичемъ на рыбную ловлю и одинъ разъ даже принесъ матери девятифунтовую щуку. Мать, впрочемъ, приняла рыбу безъ особаго удовольствія.

— Тоже невидаль, — жидовская рыба... Котлеты развѣ сдѣлать съ грибнымъ соусомъ...

Съ Глафирой Антоновной и съ тремя барышнями Рындинъ встрѣчался сравнительно рѣдко, — урывками. Барышни постоянно куда-то спѣшили, носились съ книгами и литографированными томами какихъ-то лекцій, а Графира Антоновна, совсѣмъ неожиданно для Рындина, начала, какъ будто, его чуждаться. Разговаривала мало и неохотно, а иногда просто ссылалась на головную боль и уходила въ спальню, оставляя гостя наединѣ со статистикомъ. Рындинъ думалъ съ напускнымъ пренебреженіемъ:

«Ну, и прекрасно... Не очень-то я нуждаюсь... Другое дѣло, напримѣръ, Наташа... Пушокъ, какъ на персикѣ, — и все такое...»

И съ удовольствіемъ вспоминалъ, что Наташа зимой будетъ жить въ Петербургѣ. Хорошо было бы имѣть современемъ такую жену: здоровую, свѣжую, не отравленную столицей. Думалъ объ этомъ такъ себѣ, вскользь, только чтобы освѣжить голову, обремененную шаткими законами финансоваго права, — но такія думы были пріятны.

Погода опять установилась теплая и веселая. Передъ вечеромъ, послѣ обѣда, солнце перебиралось къ окну, выходящему на лѣсную опушку, и тогда вся тѣсная комнатка переполнялась его лучами, золотилась старательно выбѣленная русская печь и сверкала, какъ алмазъ, стеклянная чернильница. Тогда хотѣлось бросить работу и уйти, брести безъ цѣли куда-нибудь далеко, свистѣть и смѣяться, передразнивая птичье щебетанье лѣса.

Грѣло солнце и сверкало въ чернильницѣ, а Рындинъ торопливо дописывалъ главу, когда вдругъ потемнѣло въ комнатѣ, словно густое облако набѣжало и погасило лучи. Рындинъ поднялъ глаза отъ рукописи и въ квадратномъ оконцѣ увидѣлъ не облако, а статистика Гриневича.

— Помѣшалъ?

— Нѣтъ, пожалуйста! — отозвался Рындинъ и не безъ чувства облегченія сунулъ перо въ стаканчикъ съ дробью. — Я, все равно, кончалъ уже...

— Вотъ и хорошо... А я шелъ по городу и вижу: матушка ваша направляется въ церковь. Стало быть, вы дома одинъ, и заглянуть къ вамъ можно безъ опаски.

— Почему это старушка моя такой страхъ на васъ наводитъ?

— Да вообще, знаете ли... Человѣкъ она очень уже строгій. И средними вѣками отъ нея пахнетъ. Не люблю я такихъ

людей, простите... И сейчас ужъ позвольте мнѣ къ вамъ черезъ окно пробраться. Такъ лучше: съ улицы не видно.

— Какъ хотите!—слегка удивился Рындинъ.—Тѣсно вато, пожалуй...

— Ничего... Брюха не нагулялъ еще.

Дѣйствительно,—пролѣзъ, хотя и не безъ нѣкотораго изъ-яна: зацѣпился за гвоздикъ и порвалъ полу пиджака.

— Не бѣда,—зашью. Я, вѣдь, на всѣ руки.

Рындинъ предложилъ гостю единственный стулъ, самъ сѣлъ на кровать. Статистикъ передвинулъ очки и безуспѣшно попытался пригладить всклокоченные волосы. Потомъ похлопалъ ладонью по рукописи.

— Ну, и бумаги же изводите... Давно начали эту работу?

— Да вотъ, скоро будетъ уже три года. Въ прошломъ году жилъ цѣлую зиму заграницей, копался тамъ въ библіотекахъ и архивахъ,—собиралъ матеріалы.

— Матеріалы?

— Да... Видите,—цѣлая гора лежитъ на печкѣ!—со смиренной гордостью кивнулъ головой въ сторону лежанки.—Это все—выписки изъ подлинныхъ документовъ, выкладки, таблицы. Труда порядочно было. Я ужъ и матушку просилъ, чтобы была поосторожнѣе съ огнемъ. Чтобы возстановить—опять надо было бы годы потратить.

— И не скучно было вамъ столько времени возиться?

— Нѣтъ, отчего же? Я люблю. Особенно разбираться въ документахъ, докапываться... Вотъ если бы, дѣйствительно, пришлось возстанавливать всю черновую работу—это, пожалуй, было бы скучно. А распахивать новъ—это я люблю.

— Дай вамъ Богъ. А вотъ я самъ—не могъ бы такъ. Настойчивости во мнѣ нѣту. И потомъ—исписали вотъ вы гору бумаги, а въ результатъ установите какую-нибудь маленькую истину, которая инкогнито существовала и прежде, и отъ установленія которой міръ ни на іоту не измѣнится. Да и знать то эту истину будетъ всего какая-нибудь сотня ученыхъ изъ соотвѣтствующаго вѣдомства. Мнѣ всегда хотѣлось что-нибудь очень крупное совершить,—такое, чтобы вся вселенная пришла въ восторгъ и изумленіе. Вотъ по этому самому, должно быть, ничего и не сдѣлалъ. Какъ былъ статистикомъ и ничтожнымъ человѣкомъ, такъ имъ и остался. А уже и сѣдина въ головѣ. Завидно мнѣ на васъ смотрѣть. Ей Богу, завидно...

Помолчалъ немного, осторожно перелисталъ нѣсколько страницъ рукописи.

— Когда отпечатаете—пришлите мнѣ экземплярчикъ. Прочсть, можетъ быть, и не прочту, но всетаки пріятная память о васъ останется.

— А когда же вы сами думаете отсюда выбратъся?

Гриневицъ сморщился, даже какъ-то съежился весь, словно наступили ему на любимую мозоль.

— Видите .. Во первыхъ—пока еще лишень права въѣзда въ столицы, хотя это, конечно, еще и можно бы какъ-нибудь уладить... А во вторыхъ—и это самой главное—боюсь.

— Бойтесь?—съ недоумѣніемъ переспросилъ Рындицъ.

— Да, вотъ просто такъ боюсь,—самымъ обыкновеннымъ, животнымъ страхомъ. Очень это сложная исторія,—сразу-то не толковать вамъ. И сложилась она больше изъ причинъ личныхъ, чѣмъ общественныхъ. Я, пожалуй, всетаки объясню вамъ.

— Если личное—такъ зачѣмъ же?

— Вамъ можно. Вы, во первыхъ, поймете и не осудите, а зачѣмъ—вы же не нашъ, не здѣшній. Заберете свои матеріалы подъ мышку—да только мы васъ и видѣли. А мнѣ и самому пріятно будетъ выяснить... Вѣдь кое чего я и самъ еще не понимаю. Знаете что? Пойдемте—ка мы въ трактиръ и по парѣ пива выпьемъ. Селянку рыбную заказать можно будетъ... Мнѣ жена выдала трешницу на рыболовныя снасти, но чортъ съ ними, со снастями. Подождутъ. Пойдемте, а?

Рындицу хотѣлось идти совсѣмъ не въ трактиръ, а въ поле, гдѣ свѣтитъ солнце, или покататься по прохладной рѣкѣ,—но гость смотрѣлъ такими просящими, почти умоляющими глазами, и, кромѣ того, манило любопытство. Не часто случается, что человѣкъ такъ себѣ, ни съ того, ни съ сего, вдругъ возьметъ да и откроетъ свою душу.

— Пойдемте... Только черезъ окно-то ужъ я не полѣзу, какъ хотите. У меня брюки—единственные и еще совсѣмъ новые.

— А матушка узнаетъ и будетъ намъ обоимъ непріятность..

— Да что вы въ самомъ дѣлѣ!—уже не на шутку разсердился Рындицъ. Мы съ вами, кажется, давно изъ младенческаго возраста вышли.

— Тутъ, въ городѣ, всѣ—младенцы. А если кто возомнитъ себя взрослымъ, то можетъ очень легко претерпѣть большія непріятности... Поймаетъ меня потомъ на улицѣ ваша мамаша, да и примется отчитывать. Разъ уже было вродѣ этого... А я въ такихъ случаяхъ—самый несчастный человѣкъ. Стою, какъ столбъ, и ничего возразить не умѣю... Но если опасаетъ



тесъ за брюки—согласенъ. И будущему профессору, пожалуй, не совсѣмъ прилично... Такъ ужъ и быть, пойдемте черезъ крылечко.

Трактиръ былъ плохенькій, похожій на третьеразрядные столичные рестораны, гдѣ по воскреснымъ днямъ прикащики и мелкіе чиновники напиваются до скучной одури. Скатерти—мятыя, съ полинявшими синими каемками, и рыжія олеографіи на стѣнахъ.

Въ общей залѣ было совсѣмъ пусто. Гриневицъ, какъ свой человѣкъ, привѣтливо поздоровался съ буфетчикомъ и сразу, не выбирая, занялъ самый удобный столикъ. Рындины помѣстился напротивъ, припоминая, когда онъ видѣлъ уже и этого буфетчика, и синія каемки, и рыжія олеографіи, изображавшія Босфорскій проливъ и швейцарскую деревню. Не безъ усилія вспомнилъ, что въ этомъ самомъ залѣ когда-то праздновали первый день своей свободы кончившіе курсъ гимназисты,—и удивился, какъ давно уже это было. Сначала, помнится, говорили горячія рѣчи, а потомъ перепились,—и многіе закончили вечеръ на одной изъ окраинныхъ улицъ съ двумя фонарями у каждого подъѣзда. И осадокъ отъ торжества остался не совсѣмъ хорошій: какъ будто давножданная свободная жизнь съ перваго же шага подарила только разочаровывающую и грязную пошлость.

Но то былъ—только первый шагъ. А потомъ все пошло хорошо, именно такъ, какъ хотѣлось. И Рындины снисходительно, сверху внизъ, посмотрѣлъ на статистика. Сами они виноваты въ своемъ несчастіи,—всѣ эти нытики, неврастеники, безталанные неудачники.

Захотѣлось чѣмъ-нибудь утѣшить Гриневица, и Рындины предложилъ первый:

— Можетъ быть, по рюмочкѣ водки выпьемъ для начала?

— Прекрасно. А селянку закажемъ на сковородѣ, по московски.

Выпивали и закусывали, бесѣдуя о достоинствахъ различныхъ сортовъ красной рыбы, и о томъ, что водка до монополіи была несравненно лучше, и о томъ, что старый Ной подалъ уже прошеніе въ университетъ.

Гриневицъ становился все оживленнѣе и разговорчивѣе, и, когда окончили съ селянкой и рѣшили перейти на пиво—вернулся опять къ тому, о чемъ заговорилъ еще въ комнаткѣ Рындина.

— Такъ вотъ, говорилъ я вамъ, что боюсь. Боюсь, по-

нимаете, уѣхать отсюда, даже когда будетъ къ этому полная возможность. Уѣхать—это значить опять начинать что-нибудь новое, а я уже знаю, что изъ этого новаго опять-таки ничего хорошаго не выйдетъ. Раньше, бывало, еще надѣялся: вотъ-вотъ, что-то такое переломится, треснетъ—и покатится жизнь по другимъ рельсамъ... Чертъ знаетъ, какое горькое пиво этотъ новый чехъ варить... Покатится, говорю, по другимъ рельсамъ. А теперь—нѣтъ. Если и было во мнѣ что-нибудь цѣнное, такъ теперь уже вывѣтрилось. И потомъ—прижился я здѣсь. Много ли мнѣ нужно? Журналы, газеты получаю. Значить, все-таки, не такъ уже отстаю отъ культуры. Работа у меня не обременительная и свободнаго времени достаточно. Лѣтомъ—на переметы, а зимой нацѣпишь лыжи, ружье за плечи... А будучи въ минорномъ настроеніи пью водку. Существованіе унылое, но все же сносное. Такъ, что лучше всего—сидѣть на мѣстѣ и не рипаться.

Рындинъ неопредѣленно мотнулъ головой, — не то соглашался, не то просто просилъ продолжать. А статистикъ снялъ затѣмъ-то очки и, часто моргая близорукими глазами, говорилъ, торопясь.

— Это—часть первая. Слишкомъ просто и страха не объясняетъ. Такъ вѣдь? Но вотъ что самое трудное, и сложное, и страшное: жена.

«Однако!»—съ легкой брезгливостью подумалъ Рындинъ.— «Начинаются интимности...»

И хотѣлъ было перевести разговоръ на другую тему, но статистикъ настойчиво придержалъ своего собесѣдника за рукавъ и повторилъ, напирая на слово:

— Жена.

Потомъ допилъ стаканъ и сейчасъ же наполнилъ снова. Размазалъ салфеткой пивную пѣну на усахъ.

— Дѣло въ томъ, что, по отношенію къ женщинамъ, я—одинъ изъ немногихъ. Я—однолюбецъ. Другіе только и дѣлаютъ всю жизнь, что сходятся да расходятся съ разными женщинами, и все это такъ легко и просто, какъ будто изношенную обувь мѣняють на новую, а я такъ не могу. Я только одинъ разъ полюбилъ и сейчасъ люблю—и это уже не переменится. И вы понимаете, что тутъ—драма. Потому что, какъ бы тамъ ни было, а я все же не имѣю никакой гарантіи, что любимый мною человѣкъ относится къ любви такъ же, какъ и я. И каждый день, каждый часъ могу ждать—и жду съ трепетомъ,—что любовь кончится... Тѣ, многолюбы—имъ хорошо. Охлажденіе въ худшемъ случаѣ задѣваетъ только ихъ самолюбіе. А для меня, если

эта любовь кончится, впереди уже не будетъ ничего. Понимаете: ничего. Темнота. Пустыня.

— Да, это бываетъ!—вѣжливо согласился Рындинъ, думая въ тоже время, какъ бы поскорѣе расплатиться и уйти, потому-что ему начинали крѣпко надобѣдать и грязноватый трактиръ, и статистикъ съ семейными откровенностями.—Но я думаю, что однолюбы всегда бываютъ счастливы въ любви. Женщины вѣдь не такъ нуждаются въ разнообразіи ощущеній, какъ мужчины. И если измѣняютъ, то, обычно, только тогда, когда уже охладѣлъ мужъ.

— Вы такъ думаете?—съ нѣкоторой ироніей переспросилъ Гриневичъ.

— Женщинъ-то вы знаете, должно быть, больше по книжкамъ. А я—по жизни. Прощель всю науку. И отъ этой науки даже и пить началъ, хотя Глафира моя пьяныхъ не любитъ и даже выгоняетъ изъ спальни, когда отъ меня виномъ пахнетъ... Любовь—это страданіе, хроническая болѣзнь. И у меня лично—болѣзнь неизлѣчимая... Но вотъ, что вы подѣлаете, если я не могу иначе? Хорошо знаю, что Глафиру теперь привязывается ко мнѣ только привычка, да, можетъ быть, еще хорошія воспоминанія о прошломъ, и, все-таки, при одной только мысли, что Глафира можетъ уйти,—душа холодѣетъ... И, конечно, по этой самой причинѣ я, главнымъ образомъ, и не хочу уѣзжать отсюда. Здѣсь безопаснѣе, потому-что здѣсь людей нѣтъ. Какіе это люди? Ничѣмъ не лучше и меня, грѣшнаго... И потому нѣтъ никакихъ основаній мѣнять меня на кого-нибудь другого...

— А скука, бездѣятельность? Развѣ это... не охлаждаетъ?

— Конечно, отчасти... Но, видите... Настоящая скука — только на первыхъ порахъ. Потомъ уже является привычка. А насчетъ бездѣятельности... Работа у нея есть. Скучная, мертвая, но все-таки работа. И, по правдѣ говоря, я думаю, что отъ какой-нибудь другой, болѣе отвѣтственной, работы Глафира уже и поотстала... Есть у нея, конечно, недовольство, глухое недовольство. Но чтобы оно вылилось въ опасныя для меня формы—нуженъ объектъ. Тутъ сплетничаютъ кое о чемъ... Вы, навѣрное, тоже знаете...

— Съ чего вы взяли? Я никогда не собираю сплетенъ...

— Э, чего тамъ... Очки втираете. Сплетничаютъ, будто бы Глафира разводитъ амуры съ зеленой молодежью, со студентами тамъ разными... Даже гимназиста приплетали... Но вѣдь это же не опасно... Этого я не боюсь. Даже предположимъ, что былъ, подъ вліяніемъ момента, случай измѣны... физической измѣны,

вы понимаете... Весна тамъ, мечтанія, травка зеленая... птички гнѣздышки вьютъ... Такъ вѣдь даже и это не слишкомъ страшно. Было и прошло,—и все тутъ. Я не дикарь, не индѣецъ какой-нибудь и не средневѣковый рыцарь. Конечно, больно, но можно простить и забыть. Нѣчто вродѣ громоотвода, въ концѣ концовъ... Но вы представьте себѣ,—гдѣ-нибудь въ большомъ городѣ, въ столицѣ. Она еще молода, недурна собой. И умѣетъ нравиться, а это главное... И на другой же день она уйдетъ отъ меня,—уйдетъ къ другому, лучшему, болѣе интересному, изъ тѣхъ, которые дѣлаютъ исторію, носятъ всегда свѣжіе англійскіе костюмы и пьютъ только бѣлое вино, да и то для пищеваренія, а не для того, чтобы заливать горе... Нѣтъ, не уйду.

— А не кажется вамъ, что это немножко жестоко?

— Жестоко—нѣтъ, а что эгоистично—я согласенъ. Тутъ ужъ ничего не подѣлаешь. Всякая любовь эгоистична. И потомъ... я не знаю, будетъ ли она счастливѣе съ кѣмъ-нибудь другимъ. На первыхъ порахъ, пожалуй... А потомъ пойдетъ все тоже самое. Такъ что и самоотреченіе мое было бы смѣшно и бесполезно. Для меня—конецъ, смерть. Для нея—только нѣсколько новыхъ пріятныхъ переживаній. Это не совсѣмъ уравнивается, по моему.

— Да, да, конечно!—опять вѣжливо согласился Рындинъ и, постукавъ ножикомъ по тарелкѣ, подозвалъ обшарпаннаго и насквозь промасленнаго официанта.—Сколько вамъ слѣдуетъ?

И опять Гриневицъ почти испуганно ухватился за его рукавъ.

— Подождите, голубчикъ! Нѣсколько минутъ еще... До самаго главнаго я вѣдь не дошелъ еще. Это все было только такъ, вродѣ предисловія. Чтобы вы не слишкомъ изумились и не сочли меня идиотомъ... Отойди, послѣ получишь...

Набралъ въ грудь воздуху, какъ будто собирался прыгнуть въ холодную воду и заговорилъ, торопясь:

— Я сейчасъ не совсѣмъ трезвъ, вы видите... Но это я тоже нарочно. Сказать вамъ то, что нужно, я твердо рѣшилъ еще совсѣмъ трезвый, а выпилъ для храбрости,—и чтобы языкъ развязнѣе дѣйствовалъ. Все-таки это—вопросъ интимный, и я долго къ вамъ присматривался, пока, наконецъ, не рѣшился. Я знаю, что вы поймете и не отнесетесь легкомысленно... Слушайте, не влюбляйте въ себя Глафиру. Я очень прошу васъ. Не влюбляйте. Если она вами увлечется—конецъ мнѣ.

— Но позвольте... — широко открылъ глаза Рындинъ и покраснѣлъ густо.—До сихъ поръ я, кажется, не давалъ вамъ никакого повода...



— Знаю, знаю! Только вы не оскорбляйтесь, дорогой мой, не надо. Ничего тутъ нѣтъ оскорбительнаго. Вѣдь это же такъ естественно: она васъ полюбитъ, вы не останетесь холоднымъ— и уѣдете вмѣстѣ въ Петербургъ. Она умѣетъ любить. Очень умѣетъ. Сами потомъ будете готовы честь свою отдать за ея ласки. А я погибну. Дорогой мой, я же знаю, что до сихъ поръ еще ничего, ровно ничего не было. Она даже, какъ будто, сторонится васъ немножко. Но все можетъ случиться и потому лучше предупредить.

— Это очень просто. Чтобы не нарушать вашего душевнаго спокойствія, я постараюсь не встрѣчаться больше съ Глафирой Антоновной.

— Нѣтъ, нѣтъ! Только не это... Бывайте у насъ, обязательно бывайте, и почаще. Вы и не представляете себѣ, какъ много ей даютъ эти ваши посѣщенія. И я совсѣмъ не хочу лишать ее даже такой маленькой радости... Если вы замѣтите, что въ ней пробудилось слишкомъ теплое чувство, — такъ не идите навстрѣчу. Я обращаюсь къ вамъ, просто, какъ къ честному человѣку. Вы скажете—самолюбія у меня нѣтъ, жалкій я человѣкъ; козявка, которую раздавить слѣдуетъ... Пускай. Я не отрицаю. Чтобы сохранить Глафиру, я готовъ былъ бы и на колѣняхъ передъ вами ползать. Вы—молодой, сильный. И женщинъ вы, конечно, еще встрѣтите болѣе достойныхъ, чѣмъ моя Глафира. Пренебрегите!

— «Вотъ что значитъ—предусмотрительность»!—подумалъ Рындинъ и посмотрѣлъ на статистика съ невольной брезгливой жалостью. Но въ то же время чувствовалъ себя немножко польщеннымъ. Вѣдь и въ самомъ дѣлѣ: захочетъ и измѣнить судьбу человѣка, перевернетъ чужую жизнь. И Рындинъ протянулъ руку, которую статистикъ схватилъ и пожалъ крѣпко.

— Понимаете вѣдь? И смѣяться не будете? Понимаете, что не смѣшно?

— Понимаю... Хотя въ первую минуту, признаться... А съ другой стороны даже хорошо, что вы преодолѣли предразсудокъ и рѣшили называть вещи ихъ именами. Относительно же... Глафиры Антоновны... будьте спокойны. Я чувствую къ ней только глубокое уваженіе — и такъ же будетъ и впредь. Но постараюсь, всетаки, видаться порѣже.

— Ужъ это тамъ увидимъ... Главное—положеніе выяснено. И я вамъ вѣрю. И даже хочу надѣяться, что послѣ этого нашего разговора вы не такъ ужъ очень презирать меня будете.

Расплатились, подѣливъ счетъ пополамъ, несмотря на нѣ-

которое сопротивление Рындина, и выбрались, наконецъ, изъ душной и вонючей комнаты на тихую вечернюю улицу. Длинные лиловые тѣни перекинулись черезъ дорогу.

Гриневичь сразу какъ-то раскисъ, осѣлъ,—и очки сползли съ переносицы на самую горбинку носа. А Рындинъ чувствовалъ себя свѣжимъ и бодрымъ, и шагаль широко, такъ что статистикъ едва поспѣвалъ за нимъ мелкими и неровными шажками. Когда разставались на перекресткѣ, Гриневичь вдругъ виновато всплеснулъ руками.

— Батюшки, вѣдь и забылъ совсѣмъ. У насъ завтра пикникъ учреждается: за рѣку, въ монастырскую рощу. И очень васъ просили къ девяти часамъ быть готовымъ.

Рындинъ нахмурился.

— Очень жалѣю, но не могу принять участія. Есть срочная работа.

— Нѣтъ, ужъ пожалуйста... Работа не убѣжитъ: только и всего, что отложите на день... Не согласитесь—три новыхъ сына силкомъ утащатъ. Съ примѣненіемъ насилія.

Понизивъ голосъ и тоже хмурясь, добавилъ:

— Если вы это... подъ вліяніемъ моей просьбы, такъ бросьте... Все должно остаться такъ, какъ было... Если не хотите очень меня обидѣть.

— Ну, я посмотрю еще!—неопредѣленно отозвался Рындинъ.—Можетъ быть...

У себя въ комнатѣ Рындинъ сѣлъ у открытаго оконца и взялся было за книгу, но скоро отложилъ ее въ сторону. Куриль, глядя на темнѣющую лѣсную опушку, и думалъ. Избытокъ жизненной силы попрежнему мѣшалъ сосредоточиться на чемъ-нибудь отвлеченномъ,—и чаще, чѣмъ когда либо, вставалъ передъ глазами образъ Глафиры и дразнилъ, соблазняя.

«Чортъ знаетъ, что... Хорошіе нравы. И еще говоритъ о себѣ самомъ: не дикарь. Но по своему, конечно, правъ. Хотя относительно Петербурга... Напрасно онъ воображаетъ, что я согласился бы уѣхать и жить съ нею вмѣстѣ».

Рындину казалось почему-то, что хорошей женой можетъ сдѣлаться только дѣвушка, еще мало любившая и не принадлежавшая никому другому.

«А изъ вторыхъ рукъ—нѣтъ, спасибо»...

Впрочемъ, сейчасъ его влекла къ себѣ не Глафира и не Наташа,—а женщина вообще, неопредѣленная, но тѣмъ самымъ еще болѣе привлекательная, общающаяся и дающая наслажденіе.

«Глупости... Надо будетъ, пожалуй, принимать по вечерамъ холодные души... Это отрезвляетъ».

Ночью спать плохо, видѣлъ во снѣ Глафиру и проснулся на утро съ головной болью. Мысли шевелились вяло и не хотѣлось даже подходить къ столу съ диссертацией.

Тогда рѣшилъ:

— Все равно, день пропалъ для работы. Поѣду...

И къ назначенному времени былъ уже у рѣки, на обычномъ сборномъ пунктѣ.

#### 4.

Собрался въ монастырскій лѣсъ все тотъ же дружный кружокъ: три студента, старый Ной, и барышни: Нина, Зина и Наташа. Глафира Антоновна запоздала, подошла уже позже Рындина. Самъ Гриневичъ, въ качествѣ начальника экспедиціи, съ ранняго утра копошился у лодокъ. Хама и Сима навьючили провизіей, а Іафета — котелкомъ и эмалированнымъ чайникомъ. Хамъ ворчалъ:

— Всѣ онѣ таковы, эти самыя феминистки и суффражистки... Ежели насчетъ подачи голосовъ—тутъ какъ тутъ, а понадобится карзину тащить—такъ сейчасъ же: помилуйте, мы не можемъ. Мы существа нѣжныя и слабыя.

Съ низовья тянулъ вѣтерокъ и гналъ по рѣкѣ быструю, веселую волну. Ярко, до боли въ глазахъ, играло на волнѣ солнце. Утренній тонкій туманъ уже растаялъ и обманчиво близкимъ казался противоположный берегъ.

Гриневичъ торопился.

— Да садитесь же! Хотите на весла, профессоръ?

— Обязательно.

Хотѣлось испытать простую физическую усталость, хорошенько натрудить, чтобы заняли сладко всѣ мускулы. Ной молчаливо пробрался въ маленькій челнокъ и хотѣлъ уже оттолкнуться отъ берега, когда Глафира удержала его:

— Подождите... Я съ вами.

Челнокъ съ трудомъ удержалъ на водѣ двоихъ и погрузился глубоко, почти до края смоленныхъ бортовъ. Ной, кажется, не совсѣмъ былъ доволенъ тѣмъ, что нарушили его одиночество, но покорился. Зато протестовалъ статистикъ.

— Что за выдумки, Глаша? Хватило бы мѣста и въ досчаникѣ. Поднимется волна и опрокинетесь.

— Ну, такъ что же? Я плаваю.

— Да Ной и грести не умѣетъ, какъ слѣдуетъ. Ему дай Богъ и одному переправиться.

Ной обидѣлся.

— Это положимъ... Не хуже вашего справлюсь. Только ужъ пускай Глафира Антоновна не вертится. Самъ потону, такъ и ее утяну за собой. На зло.

Въ большой лодкѣ студенты никакъ не могли размѣстить корзинки съ припасами и всякій другой скарбъ такъ, чтобы остались довольны дѣвицы.

— Симъ, что же яйца прямо мнѣ подъ ноги сунули?

— А мнѣ котелокъ въ спину упирается... Лафеть, переложите къ себѣ.

Хамъ пыхтѣлъ и ругался.

— А, чтобъ васъ... Суффражистки несчастныя... Вамъ бы, по вашимъ вкусамъ, цѣлый пароходъ занять.

Наконецъ, кое-какъ размѣстились и отчалили. Гриневичъ смотрѣлъ октябремъ, то и дѣло оглядываясь на оставшій челнокъ. И говорилъ Рындину, жалуясь:

— Не понимаю, зачѣмъ это нужно портить людямъ всякое удовольствіе. Капризы, словно у ребенка... Кажется, уже вышла изъ такого возраста.

Старшій студентъ, — Симъ, — усмѣхнулся.

— Это все потому, что вы не имѣете достаточнаго авторитета. Когда женюсь, буду держать жену въ строгомъ повиновеніи. Слышите, Нина?

— Нечего и слушать. Я давно знаю, что вы въ душѣ — ретроградъ. Дать бы вамъ волю... Навѣрное, кончите университетъ и по министерству внутреннихъ дѣлъ пойдете... Будущее превосходительство.

— Поднимайте выше... Дѣйствительный тайный. На меньшемъ не помирюсь.

Рындинъ повнимательнѣе присмотрѣлся къ студенту. Лицо — такъ себѣ, обыкновенное, но сильно развитъ крѣпкій подбородокъ, какъ у большинства людей съ сильной волей. Подумалось почему то:

Не съ этимъ ли... было у Глафиры?

Нѣтъ, конечно. До сихъ поръ нельзя было подмѣтить никакой подозрительной интимности въ отношеніяхъ Глафиры съ любимымъ изъ трехъ студентовъ. Если и было что-нибудь, то, во всякомъ случаѣ, ни съ однимъ изъ этихъ.

«Да и какое мнѣ дѣло?»



Благополучно переплыли рѣку и теперь спускались по теченію у самаго берега, выбирая для причала мѣстечко поудобнѣе. Берегъ здѣсь—высокій, сплошь заросшій вѣковымъ хвойнымъ лѣсомъ и песчаный обрывъ круто спускается къ самой водѣ. Запахло смолой.

— За мыскомъ есть небольшой заливчикъ! — объяснялъ статистикъ.— Тамъ найдется, гдѣ и костеръ развести,—у самой воды, на пескѣ. Въ лѣсу монахи не позволяютъ и еще штрафъ возьмутъ.

Должно быть, зналъ онъ рѣку не хуже любого лодчмана, потому-что за мыскомъ и въ самомъ дѣлѣ оказался совсѣмъ незамѣтный со стороны заливчикъ,—тихая заводь, поросшая ряской. Кверху, по кособогу, вилась крутая осыпавшаяся тропинка. Тамъ, наверху—монастырскій скитъ. Живутъ послушники подъ надзоромъ стараго монаха, заготавливаютъ дрова и лѣсъ для построекъ.

У самаго входа въ заливчикъ челнокъ едва не потерпѣлъ крушенія. Глафира неловко перемѣнила позу,—и низкій черный бортъ черпнулъ волну. Гриневичъ позеленѣлъ отъ тревоги.

— Къ берегу, Ной! Гребите прямо къ берегу...

Когда высадились, пришлось выжимать воду изъ подола Глафириной юбки, а Ной встряхивался, какъ искупавшаяся собака, и сокрушенно разсматривалъ промокшіе башмаки.

Кто-то посовѣтовалъ:

— Сними, да положи на солнышко. Вотъ тутъ, гдѣ вѣтерокъ.

— А вы мнѣ семь съ полтиной заплатите? Какіе же это будутъ сапоги, если ихъ на солнцѣ сушить? Покоробятся — не натянешь потомъ. Нѣтъ, ужъ я на ногахъ такъ и оставлю. Вотъ и вы напрасно разуваетесь, Глафира Антоновна.

Но Глафира сняла уже туфли и чулки,—длинные, вышитые стрѣлками, — ходила босикомъ по теплomu мягкому песку. Когда проходила мимо Рындина, тотъ, съ затаеннымъ любопытствомъ, опустилъ глаза внизъ. Ноги, — красивыя, маленькія, съ такими правильными пальцами, какъ будто никогда не знали обуви. Должно быть, и вся сложена такъ же хорошо.

Слегка покраснѣвъ и отошелъ къ Гриневичу, который уже налаживалъ удочки. Тутъ, у заводи, хорошо долженъ брать окунь.

— Будете ловить, профессоръ?

Рындинъ находилъ, что это совсѣмъ не такъ весело,—сидѣть на одномъ мѣстѣ и напряженно слѣдить за поплавкомъ.

Хотѣлось больше пойти въ лѣсъ, дышать тамъ разогрѣтой смолой и слушать, какъ шумятъ вѣтви. Но, чтобы наказать себя самого, взялъ удочку, старательно наживилъ крючки. Студенты съ барышнями уже лѣзли вверхъ по откосу. Съ ними—Глафира. Ноя оставили хозяйничать, но онъ дѣловито выбралъ на пескѣ мѣсто поудобнѣе, подложилъ подъ голову снятый пиджакъ и сейчасъ же уснулъ.

Гриневицъ, какъ истый рыбакъ, не любилъ разговоровъ съ удочкой въ рукахъ. И на заводъ вернулась тишина. Только многоголосое и протяжное эхо время отъ времени доносило перекликанія молодежи.

Поплавки слегка покачивались на незамѣтной для глазъ зыби. И видно было, какъ уходитъ отъ поплавокъ въ глубину тонкая линія лесы.

«Глупое это существо—рыба!» — сердито думалъ Рындинъ. — «Обманывается такой дурацкой выдумкой.»

И даже мирное всхрапываніе Ноя почему-то раздражало. Хотѣлось подойти, толкнуть его въ бокъ, чтобы проснулся. А солнце поднималось все выше и грѣло—такое ласковое и веселое.

Поплавокъ статистика вдругъ метнулся въ сторону, будя разбѣгающіеся круги, потомъ нырнулъ. Гриневицъ, высунувъ кончикъ языка, замеръ въ ожиданіи, — когда хорошо захватить,—и ловко подсекъ. Небольшой, меньше четверти, окунекъ, весь полосатый и съ ярко-красными перьями затрепыхался на берегу, пачкая въ пескѣ яркую чешую.

— Починъ есть! Смотрите, у васъ тоже поклевывается...

Но Рындинъ смотрѣлъ не на свой поплавокъ, а назадъ, на песчаный обрывъ, по которому спускалась къ лодкамъ Глафира. Статистикъ, наживлявшій крючки, замѣтилъ ее, только когда она подошла совсѣмъ вплотную,—и удивленно поднялъ брови.

— Ты что? Вернулась?

— Какъ видишь.

Спустилась къ самой водѣ, такъ близко отъ Рындина, что задѣла его по лицу своимъ платьемъ. И сказала, не обращая больше никакого вниманія на мужа:

— Охота вамъ торчать здѣсь. Знаете загадку про удочку: на одномъ концѣ червякъ, а на другомъ...

— Дуракъ! —удовлетворенно подсказалъ Рындинъ.

— Вотъ именно... Въ лѣсу гораздо лучше. Только боси-

комъ очень больно идти: колючки разныя, старыя шишки... Я потому и вернулась. Видите, — расцарапала въ кровь.

На слегка запыленной, но всетаки бѣлой, ступнѣ алѣла капелька крови. Статистикъ огорченно причмокнулъ.

— Ну вотъ, я и говорилъ уже: всегда какія-нибудь выдумки... Еще засоришь ранку и будетъ нагноеніе. У меня англійскій пластырь есть. Залѣпи.

— Отстань ты со своей аптекой. Тутъ воды — цѣлая рѣка, а онъ съ пластыремъ...

Подобрала юбку чуточку выше колѣнъ и вошла въ воду, осторожно ступая по мелкой отшлифованной галькѣ. Въ водѣ ноги сдѣлались совсѣмъ мраморными. Статистикъ нахмурился, но ничего не сказалъ, — только отошелъ со своей удочкой шаговъ на десять всторону.

— А вода совсѣмъ теплая. Непремѣнно буду купаться. Вы любите купаться, Семенъ Саввичъ?

— Люблю! — разсѣянно отозвался Рындинъ, стараясь оторвать взглядъ отъ розовыхъ колѣнъ. Сдѣлалось вдругъ очень жарко, до удушья.

— Сходимъ сначала въ скитъ, а потомъ — купаться. А ты, Спиридонъ, оставайся, — стереги Ноя. Его еще украдутъ въ сонномъ видѣ.

Гриневищъ отрѣзалъ сухо:

— Я и не собирался никуда. Я пріѣхалъ рыбу ловить, а не шлаться.

«Вотъ уже и совсѣмъ глупо!» — подумалъ Рындинъ, — и именно оттого, что статистикъ показался сейчасъ такимъ жалкимъ и неумнымъ, вдругъ сдѣлалось легче. — «Нельзя же ужъ такъ... демонстративно... Даже если и допустить маленькій флиртъ, такъ ничего тутъ не будетъ особеннаго. Это не значить, что я измѣню слову. Да и слово-то слишкомъ ужъ нелѣпое...»

Глафира покачала головой, — насмѣшливо, какъ фарфоровый болванчикъ.

— Спиридонъ, у тебя опять печень болить. И все это отъ пьянства. Осмотрѣть на тебя тошно, когда ты злишься.

— Ушла бы ты лучше. Только рыбу пугаешь.

— Уйду, уйду... Профессоръ, у васъ есть носовой платокъ?

— Есть, разумѣется. Я, всетаки, человекъ цивилизованный.

— Ну, вытрите мнѣ ноги. А потомъ я туфли надѣну.

Удивительно жарко грѣло солнце: потъ выступилъ на вискахъ у Рындина, а сердце расширилось въ груди и затрудненно

билось. Статистикъ отвернулся, дѣлалъ видъ, что весь поглощенъ ловлей.

Глафира вышла на берегъ и жемчужныя капельки заискрились на матовой кожѣ ея ногъ. Рындинъ, стоя на колѣняхъ, вытиралъ маленькія ступни. Чувствовалъ подъ пальцами упругое и прохладное тѣло и безумно хотѣлось припасть къ нему губами, согрѣть обжигающимъ безуміемъ поцѣлуевъ. Пожалуй, статистикъ имѣетъ полное право приходить въ дурное настроеніе, но разъ обстоятельства такъ складываются...

— Спасибо. Вы совершили христіанскій подвигъ. А платокъ развѣсьте на кустикъ, просохнетъ. И еще, пожалуйста, дайте мнѣ туфли. Онѣ тамъ около Ноя...

Туфли еще влажные и Глафира надѣла ихъ прямо на босыя ноги, безъ чулокъ.

— Не бѣда... Все таки, идти будетъ не больно. Ну, бросайте же вашу удочку...

Рындинъ притворно и очень неловко закашлялся, чтобы скрыть смущеніе. И, чувствуя, что Гриневиچъ жадно прислушивается, отвѣтилъ:

— Видите ли, мнѣ хотѣлось бы еще половить немного. Въ лѣсъ—успѣется, а рыба къ полудню перестанетъ клевать.

Глафира не настаивала. Бросила только, уходя:

— Какъ хотите.

Когда она скрылась уже за деревьями надъ обрывомъ, статистикъ перебрался на прежнее мѣсто и сказалъ полушопотомъ, какъ будто боялся, что сонный Ной услышитъ:

— А вы напрасно не пошли, право. Теперь Глафира будетъ злиться... Она не любитъ одиночества. Напрасно не пошли-то.

Рындинъ не нашелъ сразу, что отвѣтить, — и какъ разъ въ это время побѣжалъ восторону, разгоняя круги, поплавокъ.

Сидѣли молча, пока не подкрался полдень. Клевало плохо и на долю Рындина достались всего два маленькихъ ерша и средней величины окунекъ. Совсѣмъ сморила тоска и Рындинъ вздохнулъ облегченно, когда статистикъ, наконецъ, первый смоталъ удочку.

— Шабашъ... Теперь до вечера.

Попробовали растолкать Ноя, но тотъ отмахивался во снѣ и бормоталъ невнятно. Гриневиچъ махнулъ рукой.

— До водки не проснется. Это ужъ всегда такъ. Пора костеръ раскладывать, а молодежь исчезла.

Рындинъ предложилъ:

— Пойдемте въ лѣсъ, отыщемъ кого-нибудь.

— Нѣтъ, я останусь. Надо по хозяйству распорядиться. Придутъ голодные—сами же будутъ ругаться.

«Ну и чертъ съ тобой!»—почти вслухъ подумалъ Рындинъ и полѣзъ по откосу. Въ одномъ мѣстѣ на мелкомъ сыроватомъ пескѣ отпечатался слѣдъ босой женской ноги. Обошелъ его бережно, чтобы не разрушить.

Да, конечно. Лучше всего было бы просто оборвать знакомство, а не стѣснять себя въ угоду душевному спокойствію статистика. Вотъ, сейчасъ потерялъ цѣлое утро, которое можно было бы провести здѣсь, въ лѣсу, въ радостно волнующей близости съ красивой и, можетъ быть, не совсѣмъ недоступной женщиной. Рындинъ подумалъ отчетливо, словно записывалъ на память: «въ любви должны побѣждать сильные». И никогда сильный не уступитъ добровольно своихъ правъ слабѣйшему, если только онъ не слюнтяй и не идиотъ.

Толстымъ ковромъ лежала старая хвоя,—голубоватая въ тѣни и золотая въ солнечныхъ пятнахъ. Смолистый воздухъ, густой и прозрачный, замеръ, застылъ, и даже высоко, на макушкахъ сосенъ, не шевелились теперь вѣтви. На развѣсистой пихтѣ у самой тропинки притаилась бѣлка, смотрѣла блестящими, сторожкими глазами. Потомъ мелькнула хвостомъ и исчезла.

Тропинка, едва замѣтная, мѣстами терялась совсѣмъ и тогда нужно было угадывать чутьемъ,—куда идти. Не слышно голосовъ. Должно быть молодежь забрела куда-нибудь далеко.

Въ скиту Рындинъ бывалъ уже нѣсколько разъ,—и еще съ дѣтства помнилъ коричнево-сѣрый бревенчатый заборъ, мшистыя крыши келій и часовенку съ ржавымъ желѣзнымъ крестомъ на остроконечной крышѣ. И сейчасъ шелъ, почти не слѣдя за тропинкой, и чувствовалъ, какъ съ каждымъ шагомъ отступаетъ назадъ та тоска и злоба, что давила на берегу, въ обществѣ статистика. Молчаливъ и задумчиво-спокоенъ былъ лѣсъ,—и душа освобождалась изъ плѣна, потому что только здѣсь можно было дышать и любить свободно, какъ дышать и любить старые хозяева лѣса: звѣри и птицы, и пестрыя бабочки.

У воротъ скита грѣлся на солнышкѣ старый монахъ,—кривой на одинъ глазъ и весь какой-то согнутый на сторону. Кажется, что и монахъ все тотъ же, который помнился съ дѣтства, а борода у него—словно длинный сѣдой мохъ, волнистыми прядями вырастающій иногда на старыхъ умирающихъ соснахъ. Когда Рындинъ подошелъ—монахъ не шевельнулся. Только воззрился остро и внимательно одинокимъ глазомъ. Рындинъ спросилъ,—были ли городскіе.



— А какъ же, спаси Господь,—были. Молоко, никакъ, пили въ трапезной, спаси Господь. Да ужъ съ часъ времени, какъ ушли-то, или болѣ. Такъ тебѣ прямо вонъ по той тропчкѣ. На пески, должно. Не иначе, какъ на пески.

— Спасибо.

— Можетъ, кваску хотите? Квасъ у насъ, спаси Господь, хорошій, сухарный. Нарочно для господъ и готовимъ. А то молочка?

Рындинъ отказался. Хотѣлось поскорѣе найти—говорилъ себѣ: студентовъ и дѣвушекъ—а на самомъ дѣлѣ: Глафиру. Пошелъ по другой тропинкѣ, торной, убитой крѣпко, какъ городской асфальтъ. И все прислушивался: не зазвенятъ ли, приближаясь, молодые голоса.

Дорога пошла подъ гору. Зимой здѣсь свозятъ на берегъ лѣсъ, потому что береговой обрывъ здѣсь много ниже и не такъ крутъ, какъ у заводи. И у отлогой песчаной косы удобно купаться.

Въ просвѣтахъ между стволами виднѣлся городъ на томъ берегу, за блестящей, зыблющейся полосой рѣки. Тропинку обступилъ густой кустарникъ,—боярышникъ,—съ краснѣющими мелкими ягодами. И откуда-то снизу вдругъ вырвались, наконецъ, веселые женскіе крики. Вырвались такъ внезапно и близко, что Рындинъ невольно остановился, осматриваясь.

Впереди, передъ стѣной кустарника, загораживавшаго видъ на берегъ, разсмотрѣлъ что-то черное, скорченное. И, только сдѣлавъ еще нѣсколько шаговъ, разобралъ, что это черное—скитскій послушникъ въ подпоясанномъ ремешкомъ подрясникѣ. Послушникъ сидѣлъ на корточкахъ и сквозь вѣтви боярышника смотрѣлъ внизъ, туда, откуда поднимались женскіе голоса.

— Этакая гадина!

Вмѣстѣ съ негодованіемъ зашевелилось ревнивое чувство,—какъ будто кто-то чужой и грубый посягалъ на самую священную собственность. Осторожно, чтобы захватить врасплохъ, Рындинъ подошелъ вплотную къ послушнику, глянулъ черезъ его плечо. На песчаной косѣ свѣтлѣли тѣла. Глафира, стоя, выжимала узелъ мокрыхъ волосъ.

Послушникъ поднималъ загорѣлое безусое лицо, хихикнулъ, и это хихиканіе, словно брызги ледяной воды, вернуло сознание. Рындинъ схватилъ послушника за просаленный, покрытый перхотью, воротникъ и потащилъ прочь, приговаривая злымъ, захлебывающимся шопотомъ:

— Ага, каналья, подсматривать? Вотъ я тебѣ покажу, я покажу...

Послушникъ молча вырывался и пыхтѣлъ отъ напряженія и отъ страха.

— Вотъ я тебѣ покажу...

Но и самъ не зналъ, что дѣлать съ провинившимся подросткомъ. Не тащить же его съ жалобой въ скитъ, къ кривому монаху. Послушникъ воспользовался мгновениемъ нерѣшительности и ловко вырвался. Отбѣжалъ въ кусты и, чувствуя себя въ полной безопасности за колючей оградой частыхъ вѣтвей, повернулся къ своему преслѣдователю и показалъ языкъ.

— Самъ-то подлюга... Нѣмецкія ножки!

Этакая гадость! Хорошо еще, что тамъ, внизу, кажется, ничего не замѣтили. Тяжело переводя дыханіе, Рындинъ пошелъ въ ту сторону, гдѣ, по его предположенію, должны были находиться студенты.

Подумалъ о Глафирѣ съ неожиданной лаской и нѣжностью, какъ будто уже заранѣе благодарный за то счастье, которое она могла бы дать. И хотѣлось убѣдить себя самого, что это—не простое влеченіе плоти, а начало настоящей, красивой и трепетной любви.

Остановился и закрылъ глаза, стараясь привести въ порядокъ взволнованныя мысли.

— Значить—судьба. И я не виноватъ. Вѣдь онъ же самъ не захотѣлъ, чтобы я ушелъ совсѣмъ. И почему Глафира до сихъ поръ чуждалась меня, а теперь, какъ нарочно, перестала? Слѣдуетъ быть честнымъ, но нехорошо быть дуракомъ.

Подыскивалъ оправданія и въ то же время чувствовалъ, что они уже ненужны. Оправдывало само желаніе, простое и сильное.

Навстрѣчу шли студенты съ мокрыми послѣ купанія головами, на ходу застегивали рубахи. Встрѣтили дружными криками:

— Эхъ, что же вы? Гдѣ пропадали? А мы уже кормиться идемъ.

Хамъ приставилъ ко рту ладони, завопилъ, пугая эхо:

— Суффражистки! Какого вы чорта столько времени пощечетесь? Пора!

Потомъ пустились бѣгомъ по тропинкѣ,—кто первый добѣжитъ до намѣченнаго дерева. И Рындинъ тоже кричалъ и бѣгалъ, и валялся на хвойномъ коврѣ. Раздавилъ стекло у ча-

совъ, но нисколько не было жалко. Зато удалось во французской борьбѣ одолѣть Гафета.

— А что же Ной, господа? Вѣдь онъ долженъ былъ похлебку варить?

— Го-го-го... Суффражистки!..

## 5.

Статистикъ сварилъ въ котлѣ жидкую просяную кашу, добривъ ее лукомъ, картошкой и ломтиками сала. Называлось это кушанье «кулешъ» и заслужило общее одобреніе, хотя пахло дымомъ, а на зубахъ скрипѣлъ попавшій въ кашу песокъ.

Отставленный отъ хозяйства Ной философствовалъ:

— Давно извѣстно, что всѣ русскіе люди—непризнанные таланты. Ему бы поваромъ быть, а онъ статистикой завѣдуетъ.

— Охъ, патріархъ... Почему вы всегда говорите только о томъ, что давно всѣмъ извѣстно?

— А по привычкѣ, должно быть... Отъ долговременнаго изученія лекцій. Тамъ вѣдь тоже все старыя истины. Гдѣ у васъ водка, Хамъ?

Рындинъ выпилъ ходившую изъ рукъ въ руки серебряную чарку съ водкой, но отъ слѣдующей отказался. И такъ уже былъ пьянъ отъ солнца, отъ блеска рѣки, отъ смолистого запаха лѣса и отъ близости женщины, которая разбудила острое и цѣликомъ захватывающее чувство. Молодежь тоже пила мало, и почти полная бутылка досталась на долю Гриневича и Ноя. Рындинъ наблюдалъ украдкой, какъ быстро хмелѣетъ статистикъ, — и радовался, уже не стыдясь своихъ тайныхъ помысловъ.

А Глафира все еще, какъ будто, немножко стыдилась: мало и неохотно говорила съ Рындинымъ, и безъ умолку болтала со студентами.

Рядомъ съ Рындинымъ сидѣла на песокѣ, поджавъ ноги, Наташа. Рындинъ смотрѣлъ на безпорядочные завитки ея бѣлокурыхъ волосъ, на маленькое розовое ухо—и временами думалъ, что эта, почти дѣвочка, чистая, какъ весенній цвѣтокъ, можетъ привлекать, пожалуй, не меньше, чѣмъ искушенная въ любви женщина. Но въ мысляхъ о Глафирѣ было больше грубой страсти, а о Наташѣ—нѣжности.

Чтобы досадить Глафирѣ, преувеличенно ухаживалъ за Наташей. Разъ даже неожиданно поцѣловалъ ей руку, отчего дѣ-

вушка вся залилась румянцемъ, а студенты подняли дружный хохоть. Хамъ погрозилъ пальцемъ:

— Смотри, Наталья! Питерскіе — народъ опасный. Живо окрутятъ бѣдную провинціалку.

Наташа оправдывалась:

— Что за глупости. Да я вообще никогда и ни въ кого не влюблюсь. Любовь только мѣшаетъ общественной дѣятельности.

— Вы всѣ такъ говорите... пока на первомъ курсѣ.

— Нѣтъ, это серьезно. Мы всѣ трое дали клятву...

— Наташа, какъ ты смѣешь выдавать тайны?

— Такъ что же, если эти мальчишки пристають...

Гафетъ передъ началомъ трапезы спустилъ пивныя бутылки въ заливчикъ, чтобы охладилось пиво, и теперь вылавливалъ ихъ одну за другой, засучивъ выше локтя рукава синей рубахи.

— Почтенное собраніе, сознавайтесь, кто укралъ одну бутылку? Не хватаетъ.

Ной за утро хорошо выспался и теперь былъ пьянъ, но бодръ. Съ вдохновеннымъ видомъ рассказывалъ статистику, который совсѣмъ его не слушалъ, о старыхъ университетскихъ временахъ, расхваливалъ старыя добрыя традиціи и негодовалъ на нынѣшнія. Гриневицъ, не слушая, утвердительно кивалъ головой и даже подавалъ иногда удачныя реплики, потому-что давно уже и не одинъ разъ слышалъ отъ Ноя все то же самое.

Кто-то изъ молодежи предложилъ:

— А что, господа, если поѣтъ немного? Зина, начинайте.

У Зины — небольшой и, конечно, совсѣмъ не обработанный, но пріятный голосокъ. Не заставила просить долго — и скоро къ ея голосу присоединились другіе. Даже Ной бросилъ жаловаться и время отъ времени подтягивалъ, оглушительно рывкая, какъ испорченный тромбонъ.

Солнце уже спустилось низко, медленно ползло надъ самымъ горизонтомъ и пестрыя краски дня блекли въ надвигающихся сумеркахъ. Наташа казалась утомленной, поблѣднѣла. Статистикъ тащилъ Рындина къ удочкамъ, убѣждая непослушнымъ языкомъ:

— Къ закату дѣло. Клевать будетъ... Надо же еще половить-то... Ну, пойдемъ, душа! Право, пойдемъ...

Глафира посматривала на нихъ съ плохо скрытой насмѣшкой.

— Надо же на уху наловить!—не отставаль Гриневичъ.— Или, по крайней мѣрѣ, на заливное. Глашенька прекрасное заливное изъ окуней готовить.

— Да не хочу же я... Какая сейчасъ ловля? Да скоро уже и домой пора!—отбивался Рындинъ.

Тогда статистикъ ухватился за Ноя, — и одолѣлъ. Оба чинно сѣли на берегу заливчика съ удочками въ рукахъ.

Иафетъ управился съ пивомъ, зашвырнулъ далеко въ кусты послѣднюю пустую бутылку.

— Баста! А не прогуляться ли еще, господа? Что-то скучно становится... Да и напѣлись до хрипоты.

Лѣнивый Хамъ, вмѣсто отвѣта, растянулся на песокъ.

Глафира поднялась съ мѣста, не то вопросительно, не то насмѣшливо взглянула на Рындина. Тотъ поспѣшно шагнулъ ей навстрѣчу.

— Пройдемтесь немного? Въ лѣсу хорошо на закатѣ. Смотрите: сосны стоятъ совсѣмъ красныя.

— Пожалуй... — вяло протянула Глафира. — А рыболовство вы уже разлюбили?

— Какъ видите.

— Напрасно. Занятіе спокойное и не опасное ни для души, ни для тѣла. И особенно пригодно для васъ, какъ для мыслителя и будущаго ученаго мужа.

За цѣлый день участники пикника успѣли уже немножко надоесть другъ другу и теперь разбрелись въ разныя стороны, кто вдвоемъ, кто въ одиночку. Хамъ и Наташа остались съ рыбаками.

Когда вошли въ лѣсъ, Рындинъ слышалъ еще нѣкоторое время голоса Зины и Иафета, бродившихъ гдѣ-то по близости. Потомъ и эти голоса затихли. Какъ будто во всемъ монастырскомъ лѣсу былъ только онъ съ Глафирой.

Не вязался разговоръ. Слова все подвергались пустынѣ и ненужныя, слишкомъ ужъ не отвѣчали тому, о чемъ спрашивала душа. Какія тутъ слова? Вотъ, опуститься сейчасъ передъ нею на колѣни, обнимать ея ноги, изнемогая въ безмолвной молѣбѣ. Это было бы хорошо и правдиво, — но приходилось говорить объ установившейся хорошей погодѣ, объ университетѣ, о столичныхъ знакомствахъ.

«Это все потому, что я, всетаки, слишкомъ мало еще имѣлъ



дѣла съ женщинами!»—думалъ Рындинъ съ острой досадой.— «И не знаю, какъ ближе всего пройти къ цѣли».

Робѣлъ невольно, и сердясь на свою робость, дѣлался все менѣе находчивымъ. Глафира, должно быть, замѣтила это, обращалась съ нимъ почти какъ старшая—съ младшимъ.

— У васъ очень красивыя ноги!—неожиданно выговорилъ Рындинъ, мучительно краснѣя. — Очень красивыя. Совсѣмъ классическія.

— Да, говорить—спокойно согласилась Глафира.—Я и вообще недурно сложена. А вы какъ, —любитель всяческой красоты, или только по части тѣла?

— Но, видите...

Замаялся, не зная, какъ отвѣтить.

— А вы не стѣсняйтесь. Я вѣдь не ханжа и не пуританка. Но судя по вашему поведенію, мнѣ казалось, что вы—человѣкъ необычайно высокой нравственности.

Рындинъ обидѣлся и сказалъ сухо:

— Да, я не развратникъ.

— Зачѣмъ же такія крайности? И зачѣмъ такъ свирѣпо хмуриться? Я, можетъ быть, немножко наблюдательнѣе, чѣмъ вы думаете. И знаю кое-что изъ того, что вы считаете тайной.

Замолчала, наслаждаясь смущеніемъ спутника. Тотъ долго раскуривалъ папиросу, чтобы дать себѣ время оправиться и приготовиться къ бою. Потомъ отвѣтилъ съ подчеркнутымъ равнодушіемъ:

— У меня нѣтъ тайнъ, которыя касались бы... васъ.

— Полноте! А вчерашній договоръ?

— Что такое? Я не совсѣмъ понимаю...

— Ну, да. Когда Спиридонъ пьянъ, развѣ онъ можетъ что-нибудь скрыть? Я узнала о вашей бесѣдѣ въ трактирѣ еще минувшей ночью. Спиридонъ лилъ покаянныя слезы, цѣловалъ мнѣ руки и... ноги и во всемъ признался. И, ввидѣ компенсаціи, выражалъ готовность немедленно повѣситься. Но Спиридонъ глупъ и напрасно воображаетъ, что я могла бы вами увлечься. Я не люблю такихъ... цѣломудренныхъ юношей. И играть роль жены Пентефрія—не мое амплуа.

— Однако!—вслухъ протянулъ Рындинъ. И подумалъ: «Кто же виноватъ, если этотъ болванъ самъ себя топить?»

Чтобы оправдаться самому, приходилось поневолѣ защищать Гриневича.

— Мнѣ очень неприятно, что этотъ нелѣпый разговоръ... ну... сталъ вамъ извѣстенъ... Если бы я только могъ предпо-

лагать... Но во всякомъ случаѣ, напрасно вы относитесь къ этому такъ легко. Мнѣ показалось, что взявъ мужъ, дѣйствительно, переживаетъ очень тяжелую драму. И, чтобы успокоить его, я чувствовалъ себя вынужденнымъ... Я самъ предлагалъ ему просто прекратить знакомство, но онъ не согласился.

Глафира разсмѣялась, — нехорошо, злобно.

— Вотъ это мнѣ нравится! Вы, кажется, оба одинаково были увѣрены, что, если только не принять нѣкоторыхъ предупредительныхъ мѣръ, я такъ таки возьму да и брошусь къ вамъ въ объятія... прельщенная вашими столичными прелестями... Нѣтъ, дорогой мой. Сначала убейте медвѣдя. А потомъ можете уже и шкуру дѣлить.

— Но не виновать же я... — началъ было Рындинъ, но во время почувствовалъ, что чѣмъ больше теперь онъ будетъ оправдываться, тѣмъ безнадежнѣе сдѣлается его позиція. Лучше всего, дѣйствительно, отнестись, какъ къ шуткѣ, заставить забыть.

Разговаривая, незамѣтно дошли почти до самаго скита. Мелькнулъ уже за деревьями красный отъ зари крестъ надъ часовней. Глафира остановилась.

— Можетъ быть, пора вернуться?

— Зачѣмъ же? Вы устали?

— Нѣтъ, конечно... Но продолжительное уединеніе... Вы не находите, что это... нѣсколько противорѣчить условіямъ договора? И ваши нравственные устои подвергаются опасности.

Рындинъ нагнулся, поднялъ съ тропинки колючую, лопнувшую шишку. Когда выпрямился — дышалъ тяжело и смотрѣлъ всторону помутившимися, часто мигавшими глазами.

— Вы имѣли полное право говорить такъ, Глафира Антоновна. Но это не совсѣмъ благородно. Лежачаго не бьютъ.

— А вы уже сдались на капитуляцію?

Вмѣсто отвѣта, пошелъ дальше, робко поддерживая Глафиру подъ руку и о-чемъ-то умоляя ее затуманеннымъ взглядомъ. Глафира тоже замолчала, слегка закусил губу, сдерживая улыбку.

Кривой монахъ все еще сидѣлъ у калитки и, не вставая, одной головой, кивнулъ привѣтливо, какъ хорошій знакомый.

— Спаси Господь въ часъ добрый...

— Спасибо, дѣдушка! — отозвалась весело Глафира. — И не скучно тебѣ тутъ?

— Что скучно? — Пожевалъ мягкими, верблюжьими губами. — Всякому гвоздю, говорятъ, свое мѣсто. Вы погуляйте, а намъ и посидѣть пора.

И удовлетворенно сложилъ на животъ широкія ладони. Еще

не отошли прохожіе,—а уже задремалъ, склонилъ на бокъ голову въ рыжей скуфейкѣ.

Впереди длиннымъ коридоромъ вытянулась недавно прорубленная просѣка. Истекали смолой свѣжіе пни и срубленные, еще гибкія, вѣтви густо устилали землю. Глафира ступала осторожно, подобравъ платье.

— Вотъ ужъ это—гадость. Пожалуй, вырубятъ когда-нибудь весь лѣсъ дочиста. Не люблю монаховъ. Копятъ деньги, бездѣльничаютъ. И красота для нихъ—одно неудобство... А вы—вѣрующій, Семенъ Саввичъ?

— Какъ сказать? Какъ-то некогда думать обо всемъ этомъ. Но все же долженъ быть Богъ. Только онъ у меня какой-то языческій. Отъ него—вся земная красота и любовь. Въ Петербургѣ нечего дѣлать такому Богу. А здѣсь—опять, какъ будто, воскресъ онъ.

Глафира засмѣялась.

— Бросьте... Не идетъ вамъ. Поэзія, радостный Богъ лѣсовъ и полей—и финансовое право. Это вы къ спеціальному слушаю, можетъ быть?

— Почему вы настроены такъ враждебно, Глафира Антоновна?

— А почему вы думаете, что со мной можно, какъ съ епархіалкой?

Когда дошли до конца просѣки, гдѣ лежали еще неубранныя бревна, Глафира опять остановилась.

— Присядемте... Я устала.

Бревно было старое, мшистое и больше обхвата толщиной. Удобно сидѣть, какъ на скамьѣ. Глафира пристроилась на самомъ комлѣ, Рындинъ остановился поодаль. Ему было досадно до боли, что не налаживается никакъ то простое и хорошее, такъ ясно рисовавшееся въ мечтахъ. Но именно эта досада заставила понять:

«Да вѣдь я же дѣйствительно могу ее полюбить!»

Глафира поправила разстегнувшуюся пряжку на туфлѣ. Смахнула съ юбки приставшія къ ткани сухія былинки.

— Сядьте, пожалуйста. Я не выношу, когда кто-нибудь торчитъ передъ глазами.

— Ну, если это вамъ непріятно—мы квиты!—почти грубо отозвался Рындинъ.—Вы любите причинять маленькую боль, да? Колоть булавкой?

— Съ чего вы взяли? Я—добрая. Спросите Спиридона. А если вы насчетъ договора, такъ вѣдь это же глупости. Правда, немножко оскорбительно для меня—для женщины,—но я уже привыкла здѣсь... не оскорбляться... Да сядьте же!

Рындинъ сѣлъ на самый конецъ ствола, подальше отъ своей спутницы. Сморщился, словно у него внезапно заболѣлъ зубъ. И въ самомъ дѣлѣ, ощущение было непріятное, вродѣ зубной боли. Одно короткое мгновеніе хотѣлось просто, по звѣриному, броситься на Глафиру, смять ее въ своихъ объятіяхъ. Показать ей, что онъ силенъ и смѣлъ, и умѣетъ любить. Но вмѣсто этого только отковырнулъ отъ ствола кусокъ подгнившей коры, размялъ ее пальцами въ коричневатый влажный порошокъ.

— Глафира Антоновна, я прошу васъ... Конечно, это только ухудшаетъ мое положеніе, но все равно... Если можете— не относитесь ко мнѣ такъ... недружелюбно. Я большаго не прошу. Давайте, установимъ отношенія простыя и откровенныя. Хитрить и притворяться я не умѣю,—да и не хочу просто. И повѣрьте, что я буду говорить вамъ только правду...

Остановился и подумалъ:

«Вотъ и опять вышла глупость. Конечно, она сильнѣе меня. И если захочетъ, можетъ играть со мной, какъ кошка съ мышенкомъ».

— Сраженіе съ поднятыми забралами?

— Нѣтъ, только не сраженіе. Я хочу мира.

Пересѣлъ ближе къ Глафирѣ и, какъ то незамѣтно для себя самого, сжалъ ея руку въ своей. Глафира не отняла,— только приподняла брови слегка удивленно.

— Я хочу мира, вы понимаете?

— Худой миръ лучше доброй ссоры, да? Этакій вѣдь вы... прописной человѣкъ. Видно, что родились по сосѣдству съ требникомъ и воспитались на текстахъ воскресныхъ проповѣдей.

— Я очень далекъ отъ официальной религіи, но не вижу причинъ, чтобы такъ презирать духовенство. Даже если смотрѣть съ вашей точки зрѣнія—развѣ мало вышло изъ нашего брата, изъ кутейниковъ, борцовъ за право, за свободу, самыхъ стойкихъ и безкорыстныхъ?

— Гуси Римъ спасли? Вы лучше о себѣ расскажите. Вотъ вы, можетъ быть, и будущее свѣтило, и въ энциклопедическій словарь попадете, а чего-то не хватаетъ въ васъ. Словно вы уже лѣтъ двадцать назадъ кафедру получили,—и давно уже почилы на лаврахъ.

— Вотъ что... Ну, романтизмъ нынче не въ модѣ, Глафира Антоновна. Широкіе плащи, и кинжалъ у сердца. Плѣсенью пахнетъ. Кромѣ того, для романтизма требуется еще балконъ и шелковая лѣстница, а у насъ тутъ всѣ дома одноэтажныя.

Споря и негодуя, все крѣпче сжималъ руку,—и Глафирѣ, должно быть, было уже больно. Но она сидѣла попрежнему спокойно и смотрѣла съ любопытствомъ.

— Опять-таки—я не епархіалка, и широкій плащъ съ кинжаломъ меня не прельститъ. Но даже и въ самыя прозаическія времена мужчины, все-таки, должны оставаться мужчинами.

— Такъ чего же вы хотите, наконецъ?

Завладѣвъ и другой рукой, насильно притянулъ къ себѣ, потомъ обнялъ.

— Глафира Антоновна... Глафира...

Чувствовалъ, что сейчасъ способенъ на все, потому-что прошлое, какъ будто, не существовало больше. А настоящее все было соткано изъ одного только жгучаго желанія. Но Глафира легко, почти безъ усилій, освободилась и встала.

— Пора идти къ лодкѣ, Семенъ Саввичъ. Уже поздно.

Ни обиды, ни удивленія. Просто, какъ будто эта внезапная вспышка была только игрой разстроеннаго воображенія.

— Но, Глафира Антоновна, я...

Нелѣпо топтался на одномъ мѣстѣ, чувствуя, что опять становится смѣшонъ и почти жалокъ. Вотъ, опять не хватаетъ находчивости, — и игра проиграна, а кто-нибудь другой, болѣе предприимчивый, можетъ быть, уже торжествовалъ бы, какъ побѣдитель.

Глафира уже шла по тропинкѣ, неторопливо, слегка покачивалась туловищемъ на широкихъ бедрахъ. И это успокоило.

Ушла, не сдалась,—но и не сердится. Вѣдь если вдуматься хорошенько, то это—почти признаніе, почти согласіе.

Въ нѣсколько быстрыхъ прыжковъ Рындинъ нагналъ свою спутницу, взялъ ее подъ руку осторожно, но увѣренно. Не сердится, но, можетъ быть, уже готова презирать. И этому нужно помѣшать во что бы то ни стало.

Заговорилъ спокойно, дѣлая видъ такъ же, какъ и Глафира, что не случилось ничего особеннаго:

— Люди живутъ въ лѣсу. Бродятъ во тьмѣ, подъ деревьями, пробираются сквозъ колючій кустарникъ. И часто встрѣчаютъ, скитаясь, другихъ людей, — но не тѣхъ, кого ждутъ. И, пока бродятъ — натоскуются. И когда первый встрѣчный протянетъ руку — соглашаются идти вмѣстѣ, только чтобы не испытывать одиночества. Иные такъ вотъ и теряютъ всю жизнь,—а, можетъ быть, за нѣсколько шаговъ отъ нихъ такъ же тоскливо бродить другой, настоящій, избранникъ—и ждетъ. Вотъ вы, на примѣръ. Развѣ Гриневичъ—не случайный вашъ спутникъ. У васъ нѣтъ



ничего общаго. Развѣ только вѣйшее. Общія мелочные интересы, общая комната. А мнѣ вотъ кажется, что я знаю васъ уже давно, знаю всю. И развѣ мы виноваты, что не встрѣтились раньше?

Глафира взглянула на него, — какъ-то мелькомъ, вскользь.

— Полноте... Это все только фразы — и не новыя. Не лучше ли называть вещи ихъ настоящими именами? Это, можетъ быть, немножко труднѣе, но... благороднѣе. Причемъ тутъ сродство блуждающихъ душъ и прочее? Просто — встрѣтили, скучая, женщину еще не старую, не уroda и тоже скучающую — и немножко взволновались. Рѣшили заполнить пустоту... на каникулярное время. Я не осуждаю, совсѣмъ не осуждаю. Это же такъ законно и естественно. Гораздо естественнѣе вашихъ тропическихкихъ дебрей.

— Да, конечно, мнѣ очень трудно теперь убѣдить васъ, сломить ваше недовѣріе. Вы хотите, чтобы я не досаждалъ вамъ болѣе своимъ присутствіемъ, не правда ли?

— Нѣтъ, зачѣмъ же? Вѣдь я уже сказала вамъ, что мнѣ тоже скучно. И хотя мнѣ, повидимому, очень трудно будетъ принять размалеванную декорацию за дѣйствительную жизнь... Однимъ словомъ, мы еще увидимъ, что будетъ дальше. А пока — не слишкомъ торопитесь. Это грубо.

На берегу встрѣтилъ ихъ Гриневицъ, — попрежнему пьяный, но злой. Все уже было готово къ отъѣзду и ждали только двухъ запоздавшихъ. Спущенный на воду челнокъ колыхался рядомъ съ большой лодкой.

Хамъ предложилъ:

— Профессоръ, не хотите ли довѣрить свою судьбу душегубкѣ? Дѣло въ томъ, что патріархъ окончательно подмокъ и потому для спорта непригоденъ.

— Что же, я съ удовольствіемъ! — отозвался Рындинъ. Бодро шагнулъ въ зыбкій челнокъ. — Кто со мной, господа?

Глафира направилась было къ челноку, но статистикъ суетливо загородилъ дорогу.

— Нѣтъ ужъ, пожалуйста... Въ большой лодкѣ достаточно мѣста. Я и такъ уже достаточно страху натерпѣлся. Благодарю покорно.

Глафира остановилась, удивленная.

— Это еще что такое? Веди себя немного приличнѣе, пожалуйста... Здѣсь не кабакъ.

— Не учи!.. — свирѣпо огрызнулся Гриневицъ. — Покапризничали довольно. Пора и честь знать.

— Пусти же... пьяница...

Отстранила его легко, какъ ребенка, и присоединилась къ Рынди́ну. Гриневичъ хотѣлъ было сказать еще что-то, но только махнулъ рукой и отвернулся, мрачный, какъ осенняя туча. Рынди́ну было и весело, и непріятно. Весело—потому, что побѣдетъ вдвоемъ съ Глафи́рой и, стало быть, еще немного поговорить съ нею безъ помѣхи. А непріятно было потому, что никакъ нельзя было рѣшиться встрѣтиться взглядомъ съ глазами Гриневича.

Ной, сидя на днѣ большой лодки, пьяно смѣялся и выкрикнулъ:

— Горе побѣжденнымъ!

«Вотъ еще скотина-то!» — подумалъ Рынди́нъ, торопливо отгребая отъ берега.—А впрочемъ—что же, на дуэль меня вызоветь статистикъ? Такъ я, пожалуй, и на это согласенъ».

Ник. Олигеръ.

*(Окончаніе слѣдуетъ).*



---

## ИЗЪ „СТАРЫХЪ ПИСЕМЪ“.

---

Я снова прежній, снова здѣшній.  
Благоухающей черешни  
Вдыхаю жадно запахъ вешній,  
Дорожки мѣряю шагами,  
На старыхъ клумбахъ и во рву  
Цвѣты мечтательные рву  
И прикасаюсь къ нимъ устами.

Далекимъ пѣснямъ я и снамъ  
Душою пылкою отдался,  
Забылъ о всѣхъ... И даже Вамъ  
Черкнуть ни разу не собрался.  
Но Вашихъ писемъ милый ворохъ,  
При легкомъ трепетѣ огня,  
Когда слышишь каждый шорохъ,  
Я разбираю. И меня  
Нерѣдко первыми лучами  
Разсвѣтъ за чтеньемъ застаеъ.  
Окно открыто. Все поетъ...  
...И пахнетъ Вашими духами...

Я доктора вчера до дому  
Прогулки ради проводилъ.  
Онъ, улыбаясь, говорилъ,  
Что «нужно нашему больному  
Побольше писемъ получать,  
Но только тѣхъ, гдѣ есть печать,  
Знакомый вензель и корона».

Пишите чаще! У балкона  
Такъ много зелени, цвѣтовъ...  
Я всѣ ихъ съ радостью готовъ  
Вамъ переслать въ одномъ конвертѣ.  
Я снова прежній. И, повѣрьте,  
Влюбленъ и въ Васъ, и въ воздухъ  
здѣшній,

И въ этотъ хмельный запахъ вешній  
Благоухающихъ черешней.

Олегъ Леонидовъ.



## РЕЛИГИОЗНОСТЬ И ЕРЕСИ ВЪ XII— XIII ВѢКАХЪ.

Религіозность эпохи находитъ себѣ выраженіе и въ ортодоксальныхъ, и въ еретическихъ теченіяхъ; чтобы понять природу этой религіозности, надо прежде всего понять и установить взаимоотношенія тѣхъ и другихъ. Легко и соблазнительно разсматривать церковь какъ «гробъ повапленный», и, прельщаясь рѣющимъ надъ ересью «духомъ свободы», видѣть въ ученіяхъ, отвергаемыхъ церковью, истинное, живое проявленіе религіозности, начало, ведущее изъ мрака обмірщившагося католицизма къ забрезжившему разсвѣту очищеннаго, возвращеннаго къ основамъ своимъ христіанства. И этимъ прельщеніямъ поддаются многіе, а конфессіональная исключительность и впитанная съ молокомъ матери ненависть къ когда-то державшему въ своихъ рукахъ бразды міроуправленія Риму, обостряютъ противорѣчія, роютъ пропасть между католицизмомъ и ересью, жадно ищутъ во мглѣ вѣковъ «предшественниковъ Реформаціи», пытаются указать связь безвѣстныхъ или славныхъ еретиковъ другъ съ другомъ. Вальдъ и Арнольдъ Брешианскій оказываются предтечами Лютера; и длинный рядъ этихъ предтечъ поднимается вплоть до II—III вѣка. Часто трудно или невозможно даже предположительно указать какую-нибудь связь раздѣленныхъ вѣками движеній. Тогда прибѣгаютъ къ неопредѣленному понятію «духа реформы до Лютера» и, убѣжденные въ томъ, что римская церковь—блудница вавилонская, смѣло отнимаютъ у нея ея святыхъ, причисляя Франциска Ассизскаго къ лику тайныхъ еретиковъ или Бернарда Клервосскаго—къ свѣтлому хору предшественниковъ нѣмецкаго реформатора. Въ часто плодотворныхъ и необходимыхъ, но иногда тщет-



ныхъ поискахъ внутренней связи еретическихъ движеній между собою, видные ученые съ большими усиліемъ и остроуміемъ стараются вывести еретическія, а частью и ортодоксальныя—вліяніе ереси на католицизмъ признается охотно—движенія XII-XIII в. изъ проповѣди Арнольда Брешианскаго или изъ катаризма. Не находя реальныхъ основаній къ отождествленію вальденсовъ и возникшаго во второй половинѣ XII в. въ Миланѣ братства гумиліатовъ, довольствуются натянутымъ толкованіемъ какой-нибудь сомнительной по своему значенію грамматической частицы.

Всегда ли, однако, можно отыскать связь между отдѣльными еретическими движеніями? Правильно ли рѣзкое обособленіе религіозности ортодоксальной отъ религіозности еретической, съ необходимостью ведущее къ пониманію каждой изъ нихъ какъ чего-то самодовлѣющаго, замкнутаго въ себѣ, къ ихъ «субстанціализированію», а потомъ къ установленію связи между искусственными продуктами нашего анализа? Нельзя забывать ни на одну минуту о чисто служебномъ, вспомогательномъ значеніи этого анализа и тѣхъ рядовъ, къ которымъ онъ приводитъ. И, если историкъ не можетъ не быть вивиссекторомъ, онъ не долженъ забывать о томъ, что рѣжетъ живую ткань историческаго процесса, громко вопіющаго о своемъ единствѣ. Ересь — ученіе, отклоняющееся отъ ученія церкви и ею отвергнутое,—есть проявленіе религіозности эпохи, внутренне родственное религіозности ортодоксальной. Иначе и быть не можетъ. Ересь зарождается въ душѣ людей, выросшихъ въ церкви и церковью воспитанныхъ. Даже занесенная изъ чужой земли, она приспосабливается къ новымъ условіямъ, видоизмѣняется, если не хочетъ погибнуть. И немислимо, чтобы въ ней мы не нашли многого изъ того, что находимъ въ ортодоксальныхъ движеніяхъ эпохи, или въ послѣднихъ—того, что обрѣтаемъ въ ереси. Нельзя провести черту, рѣзко отдѣляющую вѣрныхъ сыновъ католической церкви отъ сочувствующихъ чаяніямъ еретиковъ, и указать, гдѣ кончается сочувствіе этимъ чаяніямъ и начинается уклонъ въ ересь. Въ эпоху отвердѣнія христіанской догмы противоборствующія теченія равноправно противостояли другъ другу: «ересь» Оригена немногимъ дальше отъ православія, чѣмъ правовѣріе Іоанна Дамаскина. Въ каролингскую эпоху Готшалкъ повторялъ слова и мысли блаж. Августина; между тѣмъ Августинъ—отецъ церкви, а Готшалкъ—еретикъ. Ересь и католическая догма—вѣтви одного и того же дерева, рѣки, истекающія изъ одного и того же источника. Каждый моментъ развитія религіозности выражается въ двухъ аспектахъ: ортодоксальномъ и еретическомъ.

Искать во что-бы то ни стало связи однихъ ересей съ другими все равно, что отыскивать взаимодействія между многими встрѣчающимися на данномъ пути рѣки водоворотами. Иногда такая связь несомнѣнна, особенно въ бурныя эпохи религіозныхъ броженій и исканій. Иногда однородныя религіозныя состоянія вызываютъ и однородныя ереси, независимыя другъ отъ друга, но близкія по религіозной природѣ. Сучья дерева связаны другъ съ другомъ только общимъ стволомъ, отъ котораго всѣ они отвѣтвляются въ разныя стороны и съ разною силой. Сознаніе родственности *всѣхъ* проявленій религіозности даннаго періода часто дѣлаетъ второстепеннымъ вопросъ о ихъ взаимныхъ вліяніяхъ. Не потому замѣтны черты сходства между вальденсами и гумиліатами, что первые повліяли на вторыхъ, а потому, что и тѣ, и другіе—дѣти одной эпохи. Не потому Францискъ говоритъ многое, напоминающее о Вальдѣ, что отецъ Франциска бывалъ во Франціи и, можетъ быть, слышалъ о вальденсахъ и рассказывалъ дома, въ присутствіи сына, о ихъ ученіи, а потому, что и Вальдъ, и Францискъ захвачены живыми религіозными теченіями эпохи. Если можно указать и доказать вліяніе катаровъ на вальденсовъ, это важно, но еще важнѣе понять, *отчего* повліяли именно данныя, а не многочисленныя иныя стороны катарскаго ученія, отчего *ихъ* выдвигали катары, *ихъ* восприняли вальденсы. Конечно—оттого, что въ нихъ выражались существеннѣйшія стороны религіозности. И рядомъ съ тѣмъ «симптоматическимъ» значеніемъ факта вліянія меркнетъ значеніе вопроса о происхожденіи частичныхъ измѣненій вальденской догмы. Невозможна исторія католической догмы, выкидывающая за бортъ еретическія движенія; совершенно немыслима и исторія ереси, пренебрегающая исторіей догмы. Возможна и необходима исторія религіозности, возвращающая и католицизмъ, и ересь къ ихъ общему источнику.

Прислушиваясь къ голосу источниковъ XII-XIII вѣка, мы поражаемся количествомъ и энергіей нападокъ на церковь, жизненностью мечты о церкви первобытной. Бернардъ Клервосскій тосковалъ, что «хорошій епископъ—рѣдкая птица», и съ горечью восклицалъ: «Кто дастъ мнѣ раньше, чѣмъ умру, увидѣть церковь Божью такою, какою была она въ древніе дни?». Пламенный, полный вѣры въ себя, Арнольдъ Брешианскій поднялся на защиту оскверненной грѣшными клириками, новыми книжниками и фарисеями, «невѣсты Христовой». Отступаясь отъ «презрѣвшаго небесное ради земного» папы, «мужа крови и гонителя невинности», онъ взлелѣвалъ несбыточный планъ о насильственномъ возвращеніи церкви къ правамъ и порядкамъ временъ апостоль-

скихъ. И его ученики, «ревнители воздержанія», властною рукою Барбароссы разсѣянные по Италіи, сѣяли идеи отца политическихъ схизматиковъ, противопоставляли Риму желанную церковь «безъ пятна и морщины». Странствуя по весямъ и градамъ блѣдные, изможденные постами и бдѣніями катары, ссылаясь на Священное Писаніе, издѣвались надъ богатствами клира, отвергали десятину. И катары, и арнольдисты, и вальденсы, нищіе и босые подражатели апостоловъ, живымъ укоромъ обмирщившемуся клиру по-двое бродили по міру, проповѣдуя покаяніе. Ваганты распѣвали веселыя пѣсенки о продажности римской куріи, производя слово «папа» отъ глагола «рауег». А какой-нибудь хронистъ, самъ монахъ, съ нескрываемымъ удовольствіемъ отмѣчалъ епископа-подагрика или клирика «большого питуха». Простые міряне гнѣвно отворачивались отъ священника прелюбодѣя, державшаго ласкавшими наложницу руками прикасаться къ священному тѣлу Христа.

Кажется, что мѣра пороковъ римской церкви превысила терпѣніе массъ, что «божескія уста папы» неразрывно сочетались съ «дьявольскими дѣлами его». И въ моральномъ паденіи церкви невольно усматриваются причины отпаденія отъ нея и ухода въ ересь. Не эта ли «распутница, опьяненная кровію святыхъ», заставивъ даже мало религіозныхъ людей задуматься надъ нравственными цѣлями жизни, ею проповѣдываемыми и ею же попираемыми, оттолкнула отъ себя массы, принудила ихъ искать истиннаго ученія не въ словахъ ея служителей, а въ Св. Писаніи? Не она ли, безсильная удержать охваченныхъ негодованіемъ и религіознымъ порывомъ, помогла неслыханному расцвѣту ереси? Можно думать, что пороки церкви отвращаютъ отъ нея и заставляютъ искать истину не у нея, а или въ Св. Писаніи, изъ котораго извлекается идеаль апостольскихъ временъ, или у живущихъ по Евангелію еретиковъ. Но не будетъ ли правильнѣе обратное предположеніе? Не потому повысились и обострились морально-религіозныя требованія, что обмирщеніе церкви оттолкнуло отъ нея, а оттого усилились нападки на церковь, что повысилась моральная требовательность массъ. И не пороки клира обратили взоры мірянъ къ плѣнительнымъ временамъ апостольской церкви, а идеаль ея, воспринятый широкими слоями общества, былъ признанъ непримиримымъ съ церковью современной, и грозные образы, явившіеся тайновидцу Іоанну, показались осуществившимся пророчествомъ. Церковь измѣрялась евангельскою мѣрою и, естественно, оказывалась погрязшею въ мірѣ, забывшею великіе завѣты Христа. И,

если бы она была несравненно лучше, она все-таки была бы очень далека отъ утопическаго идеала первыхъ вѣковъ христіанства,—идеала, вдругъ ожившаго и глубоко прочувствованнаго.

Невозможно объяснить, почему медленно, но непрерывно улучшавшаяся церковь вдругъ привлекла вниманіе моралистовъ, почему только въ XII-XIII в. отдѣльные протесты слились въ разъяренный вопль. Непонятно, отчего значительныя еретическія движенія, какъ вальденство, начинаются не съ борьбы противъ церкви, а со стремленія къ собственному спасенію и спасенію другихъ, лишь постепенно приводящаго къ отверженію Рима. Но нетрудно замѣтить, какъ подъ вліяніемъ самой же церкви, поднявшей миланскую Патарію и осуждавшей словами Христа священниковъ-симоніаковъ и прелюбодѣевъ, все яснѣе становится массамъ утопическій идеалъ ранняго христіанства, какъ растетъ въ нихъ стремленіе къ евангельскому и апостольскому идеалу, уже въ началѣ XII в. нашедшее себѣ конкретное выраженіе въ бродячихъ аскетахъ. Основывая общежитія клириковъ (каноникаты), церковь вѣрила и говорила, что каноники—тѣ же апостолы, потому что они подражаютъ жизни учениковъ Христа, и, какъ апостолы, проповѣдуютъ Его ученіе. Фактически каноникаты, однако, мало чѣмъ отличались отъ монастырей, а съ другой стороны неумудренныя хитросплетенія богослововъ массы иначе понимали слова церкви, чѣмъ сама церковь. Каноникъ считалъ себя наслѣдникомъ апостоловъ и умѣлъ, принявъ во вниманіе измѣнившіяся со времени смерти Христа обстоятельства, примирить спокойное существованіе въ своемъ общежитіи съ завѣтомъ Спасителя ученикамъ. А массы буквально понимали повелительный зовъ Христа отречься отъ міра и слѣдовать за Нимъ, и охваченный новымъ идеаломъ мірянинъ, босой и нищій, проповѣдуя бродилъ по міру. Онъ не зналъ, какъ понимаетъ церковь текстъ: «много званныхъ, но мало избранныхъ», или не хотѣлъ этого знать. Всѣмъ сердцемъ, наивно и просто повѣривъ въ то, что призывъ Спасителя обращенъ ко всякому желающему, онъ начиналъ считать себя ученикомъ Его и призывать другихъ мірянъ къ покаянію. И убѣдительная рѣчь прелата-прелюбодѣя не могла вытравить изъ сердца жажды новаго пути. Эта рѣчь казалась слѣдствіемъ желанія не упустить доходы съ паствы, противорѣчащія Евангелію. Ее встрѣчали недоувѣріемъ и отвѣчали на нее сопоставленіемъ клирика съ апостоломъ,—сопоставленіемъ, губительнымъ для перваго. И чѣмъ энергичнѣе выступала церковь противъ «незванныхъ проповѣдниковъ», тѣмъ сильнѣе росло недоувѣріе къ ней, тѣмъ раздраженнѣе

нападали на нее и, въ сознаніи внутренней своей правоты, легко доходили до полнаго ея отрицанія.

Итакъ, основною чертой религіозности XII—XIII в. является не отрицаніе церкви, а вызывающій его расцвѣтъ религіозно-моральнаго идеала. Прежде всего онъ выражается въ формахъ традиціонныхъ—въ монашествѣ, пустынножительствѣ и личной аскезѣ. Мірянинъ отказывается отъ міра и семьи, бѣжитъ въ лѣса или горы, живетъ, питаясь кореньями, смиряя свою плоть и славя Бога. И когда слухъ о его суровой жизни доходитъ до сосѣднихъ селеній и городовъ, около новаго святаго собираются самоотверженные ученики; возникаетъ «пустынь». Число спасающихся возрастаетъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ все настоятельнѣе становится потребность въ опредѣленной организаціи; по образцу старыхъ, испытанныхъ уставовъ составляется новый. Какъ въ X—XI в. дѣлали Ромуальдъ, Петръ Даміани и другіе, пустытники замыкаются каждый въ свою келью и въ одиночествѣ «творятъ дисциплину», т. е. смиряютъ плоть нещаднымъ самобичеваніемъ, сопровождаемымъ пѣніемъ псалмовъ. Аскеза ищетъ все болѣе необычныхъ формъ. Бывшій «жонглёръ», а потомъ основатель «пустыни», породившей цѣлый рядъ другихъ, Джъянбуоно «кается», стоя вверхъ ногами и опустивъ голову въ яму, вырытую имъ для этого въ своей кельѣ, или бросается на колючее «ложе покаянія», покрывающее его тѣло кровавыми ранами. Св. Лаврентій (ум. въ 1243 г.) облакался въ сѣтку, сплетенную изъ бичевокъ и терзавшую его тѣло узлами, и поверхъ нея надѣвалъ еще желѣзныя вериги. Руки, ноги, шею и животъ онъ стянулъ желѣзными обручами, опоясался тяжелою цѣпью и увѣнчалъ голову «желѣзной короной». Внутри этой короны крестъ на крестъ проходили двѣ желѣзныхъ полосы съ десятью заостренными гвоздями, вшивавшимися въ тѣло, такъ что отшельникъ не могъ безъ пораненія себя двигать головою. Онъ могъ спать только стоя и при малѣйшемъ движеніи пробуждался отъ боли. Все тѣло его было покрыто гнойными, вонючими ранами. И такая «жизнь покаянія» продолжалась 16 лѣтъ. Даже основная причина аскезы—спасеніе души—забывается ради самаго процесса самоистязанія, превращающагося въ своеобразный спортъ. Но не забывается и не ослабѣваетъ сознаніе необходимости борьбы со своимъ тѣломъ, убѣжденіе, что аскеза—лучшій путь къ Богу. Героизмъ фанатиковъ привлекаетъ вниманіе понимающей ихъ религіозность толпы, и неудивительно, что «неулыбающіеся» катары привлекаютъ взоры



всѣхъ. Жизнь ихъ свята. Не значить ли это, что истинно и ихъ ученіе?

За внѣшними проявленіями аскетизма, отъ самаго неистоваго самоистязанія до простаго поста мірянина, скрывается сложная совокупность воззрѣній и настроеній. Всѣ стремятся спасти свою душу. Ради этого оставляютъ міръ, дѣлаются пустынниками, бѣгутъ въ дикія пещеры. И дѣло спасенія души, грознымъ напоминаніемъ о которомъ является неодолимое владычество смерти,—сводится къ тяжелой борьбѣ съ могучими влеченіями плоти и соблазнами міра. Реальная сила плотскихъ вождѣній, «сила грѣха» чувствуется, какъ что-то личное и сознательное, понимается какъ воля хитраго врага—дьявола. Дьяволъ вселяется въ мышей и мѣшаетъ сну и молитвенному бдѣнію св. Франциска. Онъ пытается сбросить въ оврагъ святого отшельника Сильвестра. Чтобы одолѣть спасающуюся въ башнѣ родительскаго дома Гумиліану, дьяволъ «принимаетъ свой настоящій видъ, т. е. змѣинный, котораго особенно страшатся женщины», обвивается вокругъ ногъ Гумиліаны и приближаетъ свою отвратительную голову къ ея устамъ. Св. Беневенутъ онъ также «явился въ видѣ змѣя. Когда легла она тамъ, гдѣ обыкновенно спала, онъ потихоньку пробрался подъ одѣяло. А она, почувствовавъ его и признавъ, терпѣливо выждала, покуда весь онъ не вытянулся около нея. И былъ онъ такъ холоденъ, что она едва могла терпѣть. Быстро сбросивъ одѣяло, она схватила его рукой за середину тѣла и съ такой силой бросила на полъ, что по звуку казалось, будто онъ разбился». Вездѣ чувствуютъ присутствіе дьявола. За явленіями природы, за разрушительнымъ дѣйствіемъ стихій, уничтожающихъ жалкое жилище бѣдняка, угадывается его неистовая злоба. Бѣсноватые бродятъ отъ однихъ мощей къ другимъ. Родные и сосѣди насильно приводятъ ихъ къ могилѣ святого, и съ покрытыхъ пѣною устъ слышится дикая хула на Господа. Но не такъ страшна открытая борьба съ «врагомъ»; опаснѣе вкрадчивыя рѣчи «дѣтей антихриста», ужаснѣе мысль, что антихристъ уже живетъ и соблазняетъ неосторожныхъ. Неодолимы похоти рабыни дьявола—плоти. Жизнь спасающагося превращается въ войну съ дьяволомъ; слабый человѣкъ съ помощью Христа пытается принять участіе въ космической борьбѣ. Проповѣдники рассказываютъ о долгой распрѣ Бога и дьявола, «похищающаго сокровище нашей души», о спасительной хитрости благодатнаго Бога, обманувшей коварнаго врага. Въ яркихъ краскахъ живописуютъ они смятеніе небеснаго царства, когда пала царица его, Ева, радость ликовъ ангельскихъ, когда

Господь избралъ себѣ новую супругу-царицу, св. Марію. Проповѣдники строятъ родословіе человѣка и смѣло противопоставляютъ отцу его—Богу—другого отца: дьявола. Аскетическія настроенія и мысли приводятъ къ дуализму, скрываютъ его въ себѣ и служатъ его выраженіемъ. И неудивительно, что быстро растетъ число приверженцевъ дающаго дуалистическую систему катаризма, что вслѣдъ за «новоманихеями», подозрительный взглядъ религіознаго человѣка начинаетъ въ самой церкви видѣть «государство дьявола», что начинаютъ сомнѣваться въ Богѣ, «создавшемъ душу Искаріота» и пославшемъ на крестъ Спасителя, и считать Его, Бога Ветхаго Заѣта, злымъ Богомъ. Катаризмъ только дѣлаетъ выводы изъ основныхъ теченій религіозности эпохи, только выясняетъ уже принятое сердцемъ и умомъ.

Такова одна струя религіозности эпохи. Дуалистическій аскетизмъ мы видимъ въ возникновеніи и жизни новыхъ и старыхъ «пустынь» и монастырей, въ бурныхъ взрывахъ аскетизма, какъ флагелланство 1260 г., когда толпы полубожаженныхъ мірянъ шли по октябрьскому снѣгу, бичуя себя и распѣвая гимны, тысячами голосовъ взывая: «Мира и милосердія!» Въ видѣ стройной системы предстаетъ передъ нами дуализмъ въ ученіи катаровъ, не столь уже далекихъ отъ католической церкви, особенно если обратить вниманіе на тѣхъ изъ нихъ, которые «полагали одно начало міра», т. е. подчиняли злого бога доброму, приближая перваго по своему значенію къ христіанскому дьяволу. То же аскетическое настроеніе обнаруживается во всѣхъ религіозныхъ герояхъ эпохи, даже въ св. Францискѣ, бросавшемся ради усмиренія плоти въ снѣжную кучу, изнуравшемъ больше, чѣмъ своего «брата осла», собственное изможденное тѣло. Даже посты и бдѣнія, въ которыхъ прежде всего выражается ростъ религіозности мірянина, вызываются тѣмъ же аскетизмомъ. Отказъ отъ приманокъ земли — необходимое условіе спасенія. Человѣкъ ищетъ и жаждетъ страданія, въ страданіи старается отыскать новую радость. Зимой, на пути отъ Перуджіи въ Ассизи, братъ Левъ спросилъ Франциска, въ чемъ заключается «совершенная радость». И святой отвѣчалъ ему: «Придемъ мы насквозь промокшіе, застывшіе отъ холода, голодные и покрытые грязью къ церкви Св. Маріи и постучимъ въ дверь. А разгнѣванный привратникъ выйдетъ и скажетъ:—Кто вы?—Мы отвѣтимъ: «Мы изъ вашихъ братьевъ». А онъ отвѣтитъ:—Нѣтъ, вы два разбойника, бродящіе по міру и похищающіе милостыню у бѣдныхъ.—И не откроетъ намъ двери, но оставитъ насъ подъ снѣгомъ и

дождемъ, мучимыхъ голодомъ... Запиши, братъ Левъ, что если мы терпѣливо перенесемъ это и съ любовью, отъ всего сердца, примемъ обиды, то достигнемъ совершенной радости». Задачею спасающагося становится жизнь наперекоръ естественнымъ желаніямъ. Появляется болѣзненное стремленіе къ насилію надъ собою, къ отвратительному. Св. Францискъ ѣсть изъ одной чашки съ прокаженнымъ, гной съ пальцевъ котораго стекаетъ на пищу. Другой святой лижетъ «гнойный кусокъ мяса, свисающій съ поздравей прокаженного». Христіанское смиреніе превращается въ активное самоуничтоженіе, терпѣніе—въ жадные поиски страданія; послушаніе дѣлаетъ человѣка «бездыханнымъ тѣломъ».

Но тѣ же религіозно-моральныя потребности устремляются и къ другому идеалу. Евангельскіе тексты уже давно звали къ подражанію Христу и апостоламъ, къ «слѣдованію за Христомъ», и массы, какъ указано выше, буквально и наивно понимали призывы божественнаго Учителя. Черезъ головы апостоловъ Христосъ всѣмъ указывалъ на отреченіе отъ міра, болѣе полное, чѣмъ у монаховъ, соединенное со служеніемъ ближнимъ, съ проповѣдью покаянія и благовѣстіемъ. Всякій призванъ проповѣдывать «Царствіе Божіе»; «имѣющій уши слышать, да слышитъ». Апостолы оставили все и по-двое бродили по міру, подвергались гоненіямъ, но, бывшіе рыбаки, не оставляли своей дѣятельности уловленія душъ Господу. Такъ же должны поступать и всѣ желающіе быть истинными учениками Христа, всѣ сознающіе необходимость исполнить Его завітъ. И вотъ, въ Ліонѣ раздается голосъ покаявшагося грѣшника, Вальда; около него собираются мужчины и женщины, оставляющіе міръ, и зарождается братство «ліонскихъ бѣдняковъ», ведущихъ нищую жизнь по Евангелію и призывающихъ къ покаянію забывшій о Богѣ народъ. Катары съ гордостью указывали на апостольскій характеръ своей жизни и дѣятельности. Такими же апостолами, только чуждыми манихейской ереси, были вальденсы. И такими же апостолами были первые «ассизскіе бѣдняки», Францискъ и его любимые братья.

Въ ереси обвиняютъ первыхъ проповѣдниковъ новаго идеала, Катары—исконные враги церкви. Вальденсы насильственно отбрасываются въ станъ еретиковъ подозрительнымъ Римомъ, и, «впитавъ ихъ заблужденія», поднимаютъ гнѣвную руку на кормилицу-мать. Но скоро и сама церковь поддается чарующему вліянію новаго идеала или новаго пониманія идеи подражанія Христу, идеи, которую сама же она взращивала вѣками. Уже не только мечтаютъ о временахъ апостольскихъ, а умиляются до слезъ, глядя на бѣдныхъ учениковъ Франциска, жизнь и слова которыхъ

будять смутныя чаянія, всплывающія изъ глубинъ души. Кардиналы и князья церкви вступаютъ въ число членовъ новаго братства. Самъ папа Григорій IX въ стихахъ славить «Владычицу Бѣдность» и нѣжными заботами окружаетъ «серафическаго отца». Еще ранѣе суровый, старѣющій Иннокентій III открываетъ объятія возвращающимся въ церковь бывшимъ вальденсамъ, «католическимъ бѣднякамъ». Новая идея проникаетъ въ самыя твердыни аскетическаго идеала. «Пустынники» XIII-го вѣка настойчиво стремятся къ нищетѣ, хотятъ жить только милостынею, собранною ихъ же руками, хотятъ проповѣдывать массамъ. Религіозность эпохи окрашивается увлеченіемъ стремленіемъ къ апостольской жизни и дѣятельности. Холодный умъ Доминика въ поискахъ средствъ борьбы съ ересью находитъ вѣрнѣйшее орудіе—апостольскую жизнь, которая одна только можетъ придать моральную убѣдительность словомъ защитника церкви.

Не апостольствомъ своимъ влечетъ къ собѣ Францискъ историковъ и поэтовъ, а мягкостью своей природы, движущей горами любовью и нѣжнымъ мистицизмомъ. Но для современниковъ его не въ этомъ лежала сущность дѣла, совершеннаго «дурачкомъ Господа». Любовь къ людямъ, тварямъ Божиимъ и міру болѣе увлекала людей начитанныхъ въ церковной литературѣ, знакомыхъ съ традиціонной религіозностью массы затрагивались ею въ меньшей степени. То, что намъ теперь кажется какимъ-то обнаруженіемъ наивной религіозности, на самомъ дѣлѣ болѣе всего было литературнымъ теченіемъ, только къ концу XIII в. проникшимъ въ широкіе слои общества. Раньше, чѣмъ появились «Цвѣточки»—сборникъ наивныхъ и трогательныхъ разсказовъ о Францискѣ и его ученикахъ,—«новеллисты» эпохи—Цезарій Гейстербахскій, Стефанъ Бурбонскій и другіе, восхищались и восхищали настроеніями, которыя мы называемъ «францисканскими». Папа Григорій IX плакалъ отъ умиленія при видѣ нищей жизни миноритовъ; простой мірянинъ, глядя на нихъ, скорѣе поражался героизмомъ самоотреченія. Геніальная личность Франциска на бесплодной, казалось бы, почвѣ аскетизма возвращала нѣжныя лиліи пантеистической любви и окружала ихъ благоуханіемъ тихую мистику, переносимую въ міръ изъ уединенія монастырской ограды или дикаго, темнаго лѣса. Благодаря Франциску и наиболѣе родственнымъ ему по духу первымъ его ученикамъ, новыя настроенія вкоренились въ францисканствѣ и черезъ него стали переливаться въ массы. Но не ими обусловлена притягательная сила новаго ордена: массы ви-

дѣли въ немъ братство апостоловъ, и сочетали апостольство больше съ аскетизмомъ, чѣмъ съ мистикою и любовью.

На поверхность религіозности эпохи, легко поддающуюся наблюденію историка, всплываютъ крайнія проявленія религіозно-морального идеала: традиціонное аскетически-дуалистическое и новое евангелическое. Но и въ еретическія, и въ ортодоксальныя группы «совершенныхъ» могли вступать лишь тѣ, въ комъ порывъ или, ростъ религіозности разбивалъ оковы, связывавшія ихъ съ міромъ. Вступленію въ монастырь еретиковъ или нищенствующихъ монаховъ предшествовалъ героическій актъ разрыва съ міромъ. И не всѣ могли возложить на рамена свои это бремя неудобноносимое. Для многихъ, переоцѣнившихъ силу охватившаго ихъ влеченія, скоро приходили минуты охлажденія, а вмѣстѣ съ ними всплывали въ душѣ старыя навыки и, если увлеченный вступалъ въ группу приверженцевъ новаго идеала, традиціонныя воззрѣнія. И такіе «обращенные» — а ихъ вмѣстѣ съ успѣхами группы становилось все болѣе, — подсыкали крылья религіозному полету новообразованій, обмѣрщали и традиционализировали ихъ. Для большинства и самый разрывъ съ міромъ былъ психологически невозможенъ. А между тѣмъ религіозное развитіе увлекало съ собою и ихъ. Этимъ объясняется, что параллельно съ проявленіемъ крайнихъ идеаловъ росла, первоначально почти неуловимо для глаза изслѣдователя, средняя религіозность. Увеличивалось количество религіозно настроенныхъ мірянъ и повышалась напряженность ихъ религіозности; оживлялись ассоціаціи религіознаго характера, возникали новыя; усиливался религіозный моментъ въ ассоціаціяхъ мірскихъ.

Еще въ XII в. мелкіе ремесленники Милана въ цѣляхъ болѣе религіозной жизни сплотились въ братство и мало по малу получили наименованіе гумиліатовъ, «смирненныхъ». Они рѣшили собираться для религіозныхъ бесѣдъ и взаимныхъ наставленій въ вѣрѣ и христіанской жизни, помогать другъ другу матеріально и духовно. На зарѣ XIII в. это братство, вѣдлившее изъ себя рядъ замкнутыхъ конгрегацій, вмѣстѣ съ ними превратилось въ одинъ «трехчленный» орденъ, утвержденный Иннокентіемъ III. Причины появленія гумиліатовъ не вполне ясны; можетъ быть первый толчокъ былъ данъ проповѣдью Бернарда Клервоскаго. Но каждое новое религіозное движеніе волновало массы, и около отрекающихся отъ міра «совершенныхъ» (будь это катары или вальденсы, францисканцы или доминиканцы) спланивались «вѣрующіе», создавалась, по-



добная гумиліатской, терціарская организація. «Вѣрующіе» или «терціаріи» (послѣднее названіе укоренилось, когда «вѣрующіе» францисканцевъ стали составлять ассоціаціи и превратились въ орденъ, ставшій хронологически и по строгости жизни за первымъ и вторымъ—клариссами—основанными Францискомъ орденами) оставались въ міру, не покидали ни своей семьи, ни своихъ занятій. Они только стремились къ болѣе религіозной и болѣе моральной жизни, воздерживаясь отъ суетныхъ развлеченій, постясь, устраивая процессіи и молясь. Большинство такихъ организацій возникло въ связи съ новыми братствами и орденами, частью примыкая къ традиціонному, частью къ новому идеалу. И иногда эта связь отражается на природѣ данной терціарской группы. Такъ, терціаріевъ доминиканскихъ отличаетъ свойственное послѣднимъ боевое отношеніе къ ереси. Такъ, «вѣрующіе» еретиковъ, естественно не достигавшіе возможной лишь при покровительствѣ церкви развитой организаціи, симпатизируютъ еретическимъ догмамъ. Но по самому существу своему средній идеалъ чаще безличенъ, и трудно бываетъ уловить его внутреннее примковеніе къ тому, а не иному крайнему идеалу эпохи.

Указанныя черты религіозности эпохи проявляются и въ еретическихъ, и въ ортодоксальныхъ движеніяхъ; первыя отличаются отъ вторыхъ не природою своею, а чѣмъ-то другимъ. Это другое легко усмотрѣть въ той или иной степени ортодоксальности бѣгущихъ или отбрасываемыхъ въ ересь и остающихся въ церкви массъ. Но ортодоксальность вовсе не заключается въ сознательномъ исповѣданіи церковныхъ догмъ и во всякомъ случаѣ имъ не ограничивается. «Правовѣріе» коренится глубже: оно—не столько знаніе или вѣра, сколько неодолимая внутренняя привязанность къ церкви и ко всему съ нею связанному, подобная кровной связи дитяти съ матерью. Церковь давно уже проникла во всѣ сферы жизни. Мѣстная, городская церковь была символомъ патріотическихъ настроеній и идей, руководительницей, а потомъ покровомъ городской политики, реальнымъ единствомъ и центромъ жизни. Храмы и пышный культъ—предметъ гордости горожанъ; мѣстный святой—ихъ вождь и покровитель. Принадлежность къ церкви придавала индивидуальный обликъ всему западно-европейскому міру, противопоставляя его міру магометанскому. Культъ съ колыбели опутывалъ человѣка своими таинственными чарами, становился чѣмъ-то неразрывно съ нимъ связаннымъ. И въ отдѣльныхъ случаяхъ мы имѣемъ возможность наблюдать, какъ вмѣстѣ съ ростомъ

религіозности растетъ и любовь къ культу, какъ мистическое настроеніе святого оживляетъ каждый уголокъ храма и позволяетъ чувствовать присутствіе Божества, нисходящаго въ руки творящаго великое таинство священника. Суевѣрная боязнь міра, населеннаго демонами, стихаетъ подъ вліяніемъ магическихъ дѣйствій впитавшей и освятившей народную религію церкви.

Какъ бы ни раздраженъ былъ мірянинъ пороками клира, онъ не могъ убить въ себѣ свою внутреннюю ортодоксальность, о существованіи которой часто даже и не подозрѣвалъ. Слабость догматическаго развитія, расплывчатость и неопредѣленность вულгарной догмы не позволяли среднему человѣку узнать, въ какомъ ученіи истина; единственнымъ авторитетомъ для него могло быть мнѣніе церкви, признававшей еретиками однихъ, и благословлявшей другихъ. Но даже внѣшняя принадлежность къ лону церкви не всегда устраняла колебанія и сомнѣнія. Вѣдь и еретики считали себя истинною церковью, нападая на римскую, доказывая евангельскими текстами ея паденіе, уклоненіе отъ идеала апостольскихъ временъ. Гдѣ же правда? Гдѣ «Невѣста Христова»? Неужели эта невѣста—церковь римская, которую нельзя не осудить съ точки зрѣнія оживившихся и обострившихся морально-религіозныхъ идеаловъ? Богословское «міровоззрѣніе» массъ находилось въ совершенно хаотическомъ состояніи, и онѣ искали не «правды-истины», а «правды-справедливости». Тѣ, у кого относительно слаба была ортодоксальность, кого не пугали насмѣшки надъ Св. Дѣвою, бѣжали къ катарамъ, вступали въ число ихъ «вѣрующихъ», готовились принять спасительное «утѣшеніе». Но и они не утрачивали всей своей ортодоксальности; она продолжала жить въ нихъ, какъ жила въ самихъ катарскихъ «совершенныхъ», невольно приближавшихъ свое ученіе къ католическому.

Поучительна въ этомъ отношеніи судьба вальденсовъ. «Ліонскіе бѣдняки» не пришли съ Востока, какъ катары, а возникли въ лонѣ самой церкви. Они хотѣли, оставаясь вѣрными ея дѣтьми, вести апостольскую жизнь и, во исполненіе завѣта Христова, призывать мірянъ къ покаянію и болѣе праведной жизни. Церковь рѣшилась прекратить опасное новшество, и вальденсы съ болью сердечной пошли на разрывъ съ нею: «надо повиноваться Богу больше, чѣмъ людямъ». Въ ученикахъ Вальда, гонимыхъ Римомъ, быстро усилилось оппозиціонное настроеніе, раздались, гнѣвные возгласы о блудницѣ вавилонской, о «звѣрѣ» Апокалипсиса. Въ средѣ новыхъ еретиковъ выросла мечта о собственной церкви и стала создаваться легенда о связи этой церкви съ апо-

стольскою, отъ которой во время папы Сильвестра отдѣлилась римская. Но эти мечты были недолговременны. Внутренняя ортодоксальность вальденсовъ и ихъ «вѣрующихъ» мѣшала развитію идеи самостоятельной церкви, подсѣкала крылья гордой мечты. Со второй половины XIII в. вальденсы начинаютъ забывать о своей церкви, возвращаясь къ скромной роли исповѣдниковъ апостольскаго ученія и вновь укрѣпляя свою связь со все еще отвергающимъ ихъ Римомъ. Именно моментъ ортодоксальности позволяетъ правильно понять и оцѣнить колебанія еретическихъ догмъ и внутреннюю слабость еретическихъ организацій.

Остается объяснить еще тотъ, казалось бы, не подлежащій сомнѣнію фактъ, что первый періодъ разсматриваемаго нами религіознаго подъема проходитъ подъ знакомъ ереси, и только позже аналогичныя явленія обнаруживаются въ ортодоксальныхъ формахъ. Это легче всего сдѣлать, прослѣдивъ развитіе религіозности въ XII—XIII в.

Съ половины XII в.—это фактъ, отъ котораго я исхожу, и отъ объясненія котораго здѣсь воздерживаюсь—мы имѣемъ дѣло съ несомнѣннымъ религіознымъ подъемомъ, обнаруживающимъ вышеуказанныя особенности. Онъ сказывается въ быстро оживляющемъ и превлекающемъ массы ново-манихействѣ. Онъ же побуждаетъ мелкій миланскій людъ къ созданію гумиліатской организаціи, отражается на появленіи многочисленныхъ отшельниковъ и новыхъ пустынь. Но слѣдуетъ имѣть въ виду, что воздѣйствіе развивающейся религіозности на историческіе источники односторонне, и поэтому появляется опасность односторонне представить себѣ самый процессъ. Источники неохотно и скупо отмѣчаютъ проявленіе *ортодоксальной* религіозности: эти проявленія была столь обыкновенны и привычны, что часто совершенно не обращали на себя вниманіе лѣтописца,—новый монастырь возникалъ, расцвѣталъ и исчезалъ, не оставивъ по себѣ замѣтныхъ слѣдовъ. Наоборотъ, поразительный ростъ ереси, вызывая крайнее напряженіе силъ церкви, невольно привлекалъ къ себѣ вниманіе, вызывалъ любопытство, страхъ и сомнѣніе. Онъ незамѣченнымъ пройти не могъ. Вотъ почему мы мало, сравнительно, знаемъ о ростѣ настроеній аскетическаго и дуалистическаго (тѣмъ болѣе, что послѣднее, прикрытое мистическими формулами, не замѣчалось) въ церкви,—и богато осведомлены о томъ же въ ереси. Вотъ почему *кажется*, что подъемъ религіозности *прежде всего* выражается въ ереси.

Если мы обратимся къ судьбѣ новаго, евангелическаго

идеала, отношеніе ереси къ ортодоксіи предстанетъ нѣсколько въ иномъ свѣтѣ. Евангелическій, апостольскій идеаль давно уже развивался внутри церкви, проявляясь въ дѣятельности и проповѣди отдѣльных аскетовъ, въ измѣненіи характера монашества, въ расцвѣтѣ каноникатовъ, въ медленномъ преобразованіи религіознаго сознанія. Но когда тѣ же идеалы всколыхнули массы, когда простые міряне стали превращаться въ подражателей апостоловъ—вести нищую жизнь, проповѣдывать и претендовать на наслѣдіе апостольскихъ правъ,—церковь, сама лелѣвшая новыя настроенія и мысли, ужаснулась передъ дезорганизующей весь ея строй и грозящей опасностью ея ученіямъ дѣятельностью „незванныхъ проповѣдниковъ“. И то обстоятельство, что ростъ моральнаго идеала приводилъ къ нападкамъ на церковь, очевидные враги ея катары сочетали старое, аскетически-дуалистическое направленіе религіозности съ новымъ, только усиливало восторженное и насторожившееся чувство самосохраненія. Сама уже не чуждая новому идеалу, церковь стремилась положить предѣлъ религіозной инициативѣ мірянъ, ввести въ границы самозванныхъ соперниковъ клира. Принятая ею мѣры, первоначально весьма умѣренныя, не могли преодолѣть силы новыхъ теченій; наступаетъ изверженіе ослупниковъ изъ „вертограда Господня“, причисленіе ихъ къ сонму еретиковъ. Первые побѣги евангелическаго движенія одѣваются еретической листвою и отсѣкаются «пилою церковнаго различія». Стволъ, однако, продолжаетъ расти и крѣпнуть. Евангелическій идеаль усиливается въ массахъ и въ самой церкви, а ересь не уменьшается, черпая свою мощь въ народномъ сознаніи и въ то же время внутренне тяготя къ церкви. Новые еретики толпятся у вратъ «овчарни Христовой», жаждутъ примиренія и успокоенія на груди родительницы. Они осыпаютъ церковь упреками и бранью, но за клубами дыма сквозитъ неугасимое пламя любви. Міряне мечутся, какъ стадо безъ пастыря, не зная, остаться ли въ церкви, отказавшись отъ новаго дорогаго идеала, или искать его у еретиковъ цѣною разрыва съ Римомъ. А церковь, внутренне тяготящая къ тому же, ищетъ выхода. Можетъ быть, и не такъ уже страшны новыя движенія мірянъ; можетъ быть, можно овладѣть ими? Вѣдь упорство только увеличиваетъ толпы еретиковъ, и обезвредить ихъ нападки легче, противопоставивъ имъ такихъ же, какъ они, но католическихъ, вѣрныхъ церкви апостоловъ. И Иннокентій III благостно принимаетъ возвращающихся въ церковь вальденсовъ, съ заботливостью вѣжной матери и мудростью престарѣлаго отца оберегаетъ ихъ отъ ревниваго и подозрительнаго

клира, разрѣшаетъ имъ проповѣдь, стараясь въ то же время использовать ихъ, какъ орудіе для борьбы съ ересью. Сочувствіе встрѣчаетъ въ римской куріи планъ Доминика противопоставить проповѣди апостоловъ-еретиковъ проповѣди апостоловъ-католиковъ. Вліятельнѣйшіе кардиналы облегчаютъ первые шаги св. Франциска и его братьевъ. Явственные признаки этого перелома въ поведеніи церкви можно наблюдать въ концѣ перваго и въ началѣ второго десятилѣтія XIII вѣка.

Признаніе церковью евангелическаго идеала въ его новомъ (народномъ) пониманіи было для ереси ударомъ болѣе дѣйствительнымъ, чѣмъ альбигойская бойня. Ортодоксальность религіознаго уклада XIII в. сказалась въ полной мѣрѣ. Всѣ жаждавшіе новой жизни, но слишкомъ привязанные къ церкви, чтобы уйти въ ересь, устремились къ новымъ нищенствующимъ орденамъ. Колеблющіеся остановились на полпути и повернулись къ Риму. Мучимые внутреннимъ разладомъ покинули «блевотину ереси» и опять сдѣлались вѣрными католиками, обрѣтая возможность апостольства въ мирѣ съ церковью, въ самой церкви. Могучій потокъ измѣнилъ свое направленіе и пересталъ питать многочисленные, шумливые ручьи ереси. Рѣже стали раздаваться нападки на церковь, и даже вальденсы смягчили свою необузданную рѣчь.

Но это было только одною изъ причинъ замиранія ереси. Уже давно борьба «дѣтей антихриста» съ церковью вызывала негодованіе и протесты рѣзко-ортодоксальныхъ слоевъ. Борьба съ катарами придавала ортодоксальной религіозности боевой характеръ. А когда и въ церкви появились такіе же апостолы, какъ еретики, и, слѣдовательно, стали терять свою остроту и убѣдительность нападки на нее, а вѣрный католикъ пересталъ колебаться между ересью и Римомъ, боевой ортодоксализмъ могъ смѣло, въ сознаніи своей правоты, броситься на враговъ. Не только ученые «братья проповѣдники», а и простые міряне начинаютъ составлять «опроверженія» ереси и въ отвѣтъ на трактатъ «Stella» писать «Supra stella». Еще во время альбигойскихъ войнъ появились «Рыцари Іисуса Христа», «новые Маккавеи», поставившіе себѣ задачею такъ же истреблять еретиковъ, какъ рыцарствующіе ордена истребляли язычниковъ Востока. Въ городахъ Италіи стали распространяться «Славословцы бл. Дѣвы», поруганной катарами. Своими гимнами они пытались заглушить громкія хулы еретиковъ. Неустоимый Петръ Мартирь принялся организовывать «милицію» для борьбы съ врагами церкви и самъ во главѣ ихъ бросался въ рукопашныя схватки съ еретиками. Примѣру Петра послѣдовали другіе проповѣдники, сплавивая фанатическія массы. То тамъ, то здѣсь



городскія власти «какъ слѣдуетъ, жгли катаровъ»; всякій религіозный подъемъ сопровождался избіеніемъ враговъ церкви. Толпы, съ рыданіемъ вzywавшія: «Мира и милосердія», озарялись колеблющимся пламенемъ костровъ. Боевой духъ влекъ къ «собакамъ Господнимъ» — доминиканцамъ, вселяя мужество въ «безгласныхъ овецъ», пополняя новый орденъ фанатическими бойцами и сплачивалъ около него нетерпимыя массы. Даже братство любвеобильнаго Франциска не устояло передъ общимъ теченіемъ и преобразовало свою пассивную ортодоксальность въ активную. И когда къ 30-мъ годамъ XIII в. окончательно сформировалась инквизиція, она могла опереться на опредѣленные слои населенія, разчитывать на моральную поддержку массъ. Міряне шпионили за еретиками и доносили на нихъ; простыя женщины, въ согласіи съ инквизиторами, рѣшались лицемѣрно входить въ ряды еретиковъ, надѣвать личину ереси, чтобы лучше разузнать дѣло и облегчить задачу инквизитора. Не только холодный умъ папъ или инквизиторовъ, но и пламенный фанатизмъ массъ поднималъ тѣ жестокія гоненія, которыя доканали ересь.

Была еще одна причина, ослаблявшая ересь, а вмѣстѣ съ нею и крайнія *ортодоксальныя* теченія. Подъемъ религіозности выразился не только въ ростѣ крайнихъ идеаловъ (все равно, аскетическихъ или евангелическихъ, еретическихъ или ортодоксальныхъ), но и въ оживленіи религіозной жизни мірянъ, въ расцвѣтѣ средняго религіозно-моральнаго идеала. Одновременно съ распространеніемъ катаризма и первыми его успѣхами, въ Миланѣ появились міряне, задумавшіе вести болѣе религіозный образъ жизни, выполнять церковныя предписанія, молиться и религіозно воспитывать другъ друга. Это были гүмиліаты. А сколько такихъ мірскихъ движеній не оставило по себѣ слѣдовъ и погибло для историка! Какой подъемъ религіозности скрывается за лаконическими и безцвѣтными свидѣтельствами о появленіи новыхъ «братствъ» мірянъ, новыхъ «госпиталей» и храмовъ! Каждое еретическое или ортодоксальное движеніе тянуло къ себѣ мірянъ, сплачивало ихъ въ группы «вѣрующихъ» или, какъ назывались «вѣрующіе» ортодоксальныхъ орденовъ, «терціаріевъ». Уходъ въ ряды еретиковъ, помимо преодоленія ортодоксальности не для всякаго проходящій безъ тяжелой борьбы съ самимъ собою, требовалъ еще героическаго отреченія отъ міра, отъ любимой супруги и нѣжныхъ дѣтей. И такой же героизмъ, правда, не осложненный опасностями жизни еретика, требовался отъ мірянина, надѣвавшаго платье нищенствующаго брата или монаха. На подобныя героическія

рѣшенія были способны далеко не всѣ. Иные, разорвавъ съ міромъ, скоро понимали, что переоцѣнили свои силы, и, становясь лишнимъ балластомъ для той группы, въ которую вступали, неустанно влекли ее внизъ, «обмірщали» ее. А такъ какъ обыкновенныхъ людей было больше, чѣмъ героевъ, то всякая группа, братство или орденъ необходимо и быстро понижали свой религиозно-моральный уровень, естественно теряя во мнѣніи толпы. И въ ортодоксальныхъ кругахъ это замѣтилось, чѣмъ въ еретическихъ: непрекращающаяся борьба послѣднихъ съ церковью поддерживала въ ихъ средѣ напряженность чувства и спасала отъ паденія многихъ.

Но большинство и не думало о разрывѣ съ міромъ, ограничивая свои желанія возможно религиозною жизнью въ міру, т. е. терціарскимъ идеаломъ. Только въ центрѣ данной группы проявлялся въ относительной чистотѣ ея идеалъ; на периферіи ему соответствовали лишь слабыя колебанія религиозности. И чѣмъ шире распространялся религиозный подъемъ, чѣмъ глубже онъ уходилъ въ плотную толщу жизни, тѣмъ больше становилось терціаріевъ, тѣмъ популярнѣе дѣлался ихъ идеалъ, отвлекая вѣрующихъ отъ страшной для нихъ идеи разрыва съ міромъ. Спаситься можно и въ міру:—эта мысль все сильнѣе укоренялась въ религиозномъ сознаніи эпохи и вытѣсняла изъ него стремленіе къ крайнимъ формамъ аскезы и евангеличности. Представителей крайняго идеала становилось все менѣе, но неудержимо росло количество приверженцевъ умѣреннаго. Когда-то славныя братства и ордена обмірщались и костенѣли, а терціарскія организаціи множились и процвѣтали. И неудивительно, что меркнувшій въ глазахъ массъ евангелическій идеалъ терялъ свою притягательную силу, умирая и ассимилируясь традиціоннымъ, аскетическимъ идеаломъ въ церкви.

Къ концу XIII в. завершился кругъ религиознаго развитія. Выстраданные и выношенные героями второй половины XII и первой половины XIII в. новые идеалы внесли много новаго и свѣжаго въ религиозность Запада, нѣсколько измѣнили пониманіе христіанства, ожививъ представленіе о первыхъ его вѣкахъ. Они всколыхнули массу, подняли ея религиозность, явились выраженіемъ смутныхъ чаяній—и померкли. Религиозный подъемъ, захвативъ широкіе круги, традиционализировался, хотя и не вполне, и привелъ къ терціарскому идеалу. Религиозная жизнь опять пошла въ глубь, въ массы. Церковь одолѣла ересь и сдѣлала шагъ впередъ на пути христіанизации себя самой и своей паствы.

Л. КАРСАВИНЪ.



## „КОРНИ“ НАРОДНИЧЕСТВА СЕМИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

В. Я. Богучарскій, „Активное народничество семидесятыхъ годовъ“.

### I.

Освободительное движеніе 1904—5 годовъ имѣло, между прочимъ, послѣдствіемъ ликвидацію старыхъ счетовъ правительства съ революціонной дѣятельностью прежнихъ временъ, выразившуюся въ амнистіи еще живыхъ ея участниковъ, осужденныхъ за государственныя преступленія, и въ возможности говорить о многихъ замалчивавшихся явленіяхъ прошлаго. Это положило начало серьезному изученію того періода нашихъ общественныхъ движеній, который, въ видѣ исключительныхъ положеній, введенныхъ для борьбы съ революціонерами, тяготѣетъ надъ страной и до настоящаго момента.

Исторія движенія 70-хъ годовъ распадается на два періода, представляющіе существенныя различія въ отношеніи пріемовъ и трудности изслѣдованія — различій, отвѣчающихъ различію изучаемыхъ процессовъ: массоваго движенія съ цѣлью воздѣйствія на массы народа, находящіяся къ тому-же внѣ прямого нашего наблюденія и дѣятельности ограниченнаго числа лицъ, рассчитанной на вліяніе въ сравнительно узкой и находящейся на виду средѣ.

Въ «Народной Волѣ» принимало участіе немного лицъ, дѣятельность ея (терроръ) выражалась немногими актами, рассчитанными на опредѣленный эффектъ въ обществѣ и правительствахъ. Главнѣйшіе эпизоды, мотивы и ближайшія послѣдствія ея дѣятельности могутъ быть, поэтому, воспроизведены по литературѣ, по воспоминаніямъ участниковъ и свидѣтелей, по отчетамъ о

политическихъ процессахъ и по правительственнымъ мѣропріятіямъ. Наоборотъ, въ первомъ періодѣ движенія пропаганда велась въ народѣ сравнительно большимъ числомъ лицъ, далеко не солидарныхъ въ воззрѣніяхъ на ближайшія цѣли воздѣйствія на народъ и на его приемы, и приводила, поэтому, къ весьма неодинаковымъ результатамъ, оставляла далеко не одинаковые слѣды въ народныхъ массахъ. При исторической и политической оцѣнкѣ даннаго движенія, равно какъ и при изложеніи фактической его стороны, нельзя, поэтому, довольствоваться литературой того времени, политическими процессами, воспоминаніями его участниковъ, по необходимости немногочисленными, быть можетъ односторонними и подлежащими существеннымъ дополненіямъ послѣдующими, быть можетъ еще не написанными, воспоминаніями другихъ дѣятелей движенія. Для оцѣнки этого послѣдняго слѣдовало бы имѣть показанія не только активныхъ его участниковъ, но и лицъ, подвергавшихся пропагандѣ, и постороннихъ наблюдателей и дѣятельности пропагандистовъ, ея послѣдствій, успѣховъ и неудачъ, — а такія воспоминанія пока совершенно отсутствуютъ. Да и самыя предпосылки перваго и втораго періодовъ движенія 70-хъ годовъ существенно различны: насколько легко указать психологическіе и политическіе факторы, вызвавшіе дѣятельность «Народной Воли», настолько трудно уложить въ русло естественнаго историческаго процесса движеніе первой половины семидесятыхъ годовъ.

Послѣ всего сказаннаго читатель согласится, вѣроятно, съ заключеніемъ о сравнительной легкости и простотѣ изслѣдованія втораго періода движенія 70-хъ годовъ и о трудности выясненія причинъ, мотивовъ, теченія и послѣдствій дѣятельности народниковъ до выступленія «Народной Воли».

Эти соображенія, повидимому, совершенно чужды автору, специально занявшемуся изслѣдованіемъ народничества 70-хъ годовъ и издавшему два интересныхъ труда, посвященныхъ обоимъ періодамъ этого движенія. Мы говоримъ о В. Я. Богучарскомъ и двухъ его книгахъ: «Изъ исторіи политической борьбы въ 70-хъ и 80-хъ годахъ. Партія Народной Воли, ея происхожденіе, судьба и гибель» и «Активное народничество семидесятыхъ годовъ». Вторая его работа относится именно къ первому, труднѣйшему для изслѣдованія и пониманія періоду движенія; и хотя авторъ задался цѣлью не только фактического описанія послѣдняго, но и отвѣта на вопросъ, «откуда произошло то активно-народническое движеніе, которое въ той или иной мѣрѣ охватываетъ собой десятилѣтіе 1869—79 годовъ»,

и не скупится на пояснительныя и критическія замѣчанія относительно сущности движенія и его результатовъ, но въ дѣйствительности мы не выносимъ изъ его сочиненія ни разносторонней фактической картины движенія, ни правильного и полного представленія о его соціологическихъ основахъ, происхожденіи, историческомъ смыслѣ, ближайшихъ и отдаленнѣйшихъ его послѣдствіяхъ.

Въ трактованіи своего предмета г. Богучарскій слѣдовалъ не по пути наилучшаго его выясненія, а по линіи наименьшаго сопротивленія. И такъ какъ наиболѣе доступной стороною движенія 70-хъ годовъ служить его идеологія, представляющая благодарный матеріалъ для критической (не говоримъ — непременно правильной) оцѣнки движенія, то воззрѣнія, намѣренія и надежды народниковъ, насколько они выразились въ литературѣ того времени и въ *нѣкоторыхъ* (не *всѣхъ*) воспоминаніяхъ участниковъ движенія, и составляютъ главный предметъ изслѣдованія г. Богучарскаго.

Оперируя надъ этимъ матеріаломъ, авторъ, однако, упустилъ изъ виду, что народническая литература того времени и многіе кружковые дебаты по принципиальнымъ программнымъ вопросамъ не выражаютъ непременно средняго, такъ сказать, теченія и обыкновеннаго настроенія народнической мысли и что на страницы печатныхъ органовъ (тоже самое въ извѣстной мѣрѣ примѣнимо и къ устнымъ дебатамъ) попадали болѣе цѣльныя, систематизированныя воззрѣнія, крайніе лозунги; что разрабатывались они лицами, особенно ярко, такъ сказать, настроенными и склонными къ крайностямъ отвлеченнаго взгляда на вопросъ; что рисовать, на основаніи литературнаго обсужденія принципиальныхъ вопросовъ, картину настроенія рядовыхъ участниковъ движенія, значитъ не только слишкомъ упрощать послѣднее, но и составлять завѣдомо неправильное о немъ понятіе, быть можетъ — даже отклонять нить изслѣдованія отъ пути, способнаго привести къ лучшему пониманію явленія. Между тѣмъ, схематизація идеологіи движенія 70-хъ годовъ представляется очень соблазнительной, потому что этимъ какъ бы упрощается и дѣло изслѣдованія его, и его критическая оцѣнка. Стремленіе къ схематизаціи имѣетъ и другую неблагоприятную сторону: составленная на основаніи одностороннихъ данныхъ схема не остается безъ вліянія на дальнѣйшій подборъ матеріала и освѣщеніе явленій становится еще болѣе одностороннимъ.

Изъ сказаннаго нетрудно заключить, что характерными чертами книги г. Богучарскаго: «Активное народничество 70-хъ годовъ» мы считаемъ преобладаніе идеологической точки зрѣнія



надъ соціологической, упрощеніе и схематизацію изучаемаго имъ движенія. Результатомъ такого отношенія къ предмету является неполное и часто неправильное освѣщеніе движенія 70-хъ годовъ, выясненіе не столько сущности, сколько внѣшней его формы, и непониманіе историческаго его значенія.

Мы не имѣемъ возможности подробно разбирать здѣсь почтенный трудъ г. Богучарскаго. Мы остановимся лишь на двухъ вопросахъ, которымъ авторъ придаетъ особо важное значеніе, а предварительно приведемъ одинъ образецъ упрощенія, такъ сказать, стилизаціи вопросовъ, подлежащихъ его разсмотрѣнію.

В. Я. Богучарскій очень часто останавливается на анархизмѣ и социализмѣ, какъ главныхъ идеяхъ программы народниковъ 70-хъ годовъ. «Кардинальной идеей народничества семидесятыхъ годовъ былъ его анархизмъ», говоритъ онъ, напр., на стр. 18-ой своего труда. Собираясь двинуться въ народъ, «всѣ были проникнуты двумя основными идеями: то были социализмъ и анархія. Эти идеи и рѣшено было нести русской крестьянской массѣ» (стр. 167). Несоотвѣтствіемъ идей, съ которыми начали свой походъ народники 1874 г.» съ идеями самого народа г. Богучарскій объясняетъ неудачу движенія 70-хъ годовъ (стр. 197). «Государственность и анархизмъ» Бакунина были, по его словамъ, евангеліемъ русской революціонной молодежи (стр. 96). Такъ рисуется авторомъ идейная физіономія народника 70-хъ годовъ на основаніи литературы того времени и нѣкоторыхъ воспоминаній участниковъ движенія. Но даже въ бѣдной по содержанію мемуарной литературѣ относительно того времени г. Богучарскій могъ бы найти указанія, значительно ограничивающія его заключенія. Обратимся, напр., къ запискамъ Н. А. Морозова.

«Кто были люди, участвовавшіе въ движеніи семьдесятъ четвертаго года: социалисты, анархисты, коммунисты, народники или что-либо другое?» часто спрашивали Морозова его позднѣйшіе знакомые. И вотъ какой отвѣтъ имѣется у него на этотъ вопросъ: «Вся волна этого движенія, съ сотнями дѣятелей, прокатилась, въ буквальномъ смыслѣ, черезъ мою голову, и, оставаясь правдивымъ, я не могу причислить ихъ ни къ какой опредѣленной кличкѣ. Съ перваго же дня знакомства (съ народниками, въ числѣ коихъ находились и такія лица, какъ Кравчинскій и Шишко) я пробовалъ заводить объ этомъ разговоры, но мало получалъ опредѣленнаго въ отвѣтъ. Однажды, когда зашла рѣчь о заграничныхъ изданіяхъ, гдѣ бакунисты причисляли себя къ анархистамъ, а лавристы — къ простымъ социалистамъ, гдѣ ткачевцы называли себя якобинцами, а другіе — федералистами,

я задалъ въ присутствіи всей компаніи такой вопросъ: къ какой изъ этихъ партій должны причислить себя мы.—Мы—отвѣтила за всѣхъ Алексѣева, очевидно выражая настроеніе большинства—радикалы. И дѣйствительно, никто не называлъ себя при мнѣ въ это время никакой другой кличкой; а слова: «мы — радикалы» мнѣ постоянно приходилось слышать въ этотъ періодъ, и противопоставлялось это названіе слову «либераль», подъ которымъ принимались всѣ говорящіе о свободѣ... но не способные пожертвовать собою за свои убѣжденія, между тѣмъ какъ радикалами назывались всѣ люди дѣла». Анархическіе идеалы Прудона иногда дебатировались, но дѣло ограничивалось тѣмъ, что спорящіе «соглашались, что жить всѣмъ мирно и дружно, безъ чиновниковъ и полиціи, имѣя все общее и всѣмъ дѣлясь по братски, было бы очень хорошо». «Всѣ считали для себя обязательнымъ, какъ бы дѣломъ приличія, выражать сочувствіе социалистическимъ идеаламъ и къ социалистической литературѣ, но какъ только заходила рѣчь о деталяхъ будущаго общественнаго строя, всякое затрудненіе устранялось стереотипнымъ отвѣтомъ: мы ничего не хотимъ навязывать народу... мы вѣримъ, что когда онъ получитъ возможность распорядиться своими судьбами—онъ устроитъ все такъ хорошо, какъ мы и вообразить не можемъ»<sup>1)</sup>).

Эти показанія одного изъ участниковъ движенія 70-хъ годовъ должны бы убѣдить г. Богучарскаго въ томъ, какъ опасно на основаніи заявляемой, такъ сказать, офиціальной идеологіи какого-либо движенія рисовать картину возрѣвнй лицъ, къ нему примыкавшихъ, и какъ необходимо при характеристикѣ идейнаго содержанія народничества 70-хъ годовъ пользоваться показаніями возможно большаго числа участниковъ.

Послѣ этихъ вступительныхъ замѣчаній, перейдемъ къ ознакомленію со взглядами автора «Активнаго народничества семидесятыхъ годовъ» на нѣкоторые важнѣйшіе вопросы.

## II.

По формулировкѣ В. Я. Богучарскаго («Активное народничество», стр. 5) народничество семидесятыхъ годовъ можетъ быть характеризовано слѣдующими признаками: признаніемъ тактическаго начала «освобожденія народа посредствомъ народа», провозглашеніемъ идеаловъ социализма и анархіи, какъ лозунговъ

<sup>1)</sup> «Въ началѣ жизни», стр. 145—149.

предполагаемаго народнаго движенія и народолюбивымъ настроеніемъ вообще. Изъ только что цитированныхъ воспоминаній Н. А. Морозова видно, какое значеніе можно придавать пункту этой характеристики относительно социализма и анархїи. Оставимъ, однако, этотъ вопросъ въ сторонѣ, и замѣтимъ, что первые два признака характеристики относятся къ той категорїи народниковъ, къ которой г. Богучарскій прилагаетъ терминъ «активные». Но если принять во вниманіе, что народническое теченіе, по г. Богучарскому, родило не только революціонеровъ, но и категорію лицъ, шедшихъ въ народъ чтобы его узнать, «его учить», «у него учиться» и «на себѣ испытать всѣ его страданія», то можно найти болѣе общую черту для характеристики этого теченія: тягу къ народу, стремленіе сблизиться съ нимъ, войти въ его жизнь и приобщить его къ своей духовной и политической жизни.

Тяга къ народу и народолюбіе не составляютъ, вообще говоря, специальной принадлежности народничества 70-хъ годовъ. Въ той или другой мѣрѣ и въ томъ или другомъ отношеніи сочувствіе народу, вниманіе и тяготѣніе къ народу и народному характеру вообще русскую интеллигенцію. Семидесятые годы выдѣляются лишь интенсивностью и разнообразіемъ мотивовъ такого тяготѣнія и преобладаніемъ въ немъ мотивовъ социальнo-политическихъ. Изъ вышеприведенной характеристики, данной г. Богучарскимъ активному народничеству, слѣдуетъ, что задачей его было поднятіе «народа во имя идеаловъ социализма и анархїи». А если, согласно тому, что было указано выше, урѣзать значеніе, приписываемое авторомъ идеямъ социализма и анархїи, то характернѣйшей чертой народничества 70-хъ годовъ останется не программное, а тактическое начало: «освобожденіе народа посредствомъ народа». И оцѣниваемо это движеніе историкомъ должно быть прежде всего со стороны его тактическихъ, а не программныхъ лозунговъ.

Казалось бы, что въ нашъ демократическій вѣкъ, когда всюду народныя массы играютъ въ общественной жизни болѣе и болѣе активную роль, когда формула «освобожденіе народа посредствомъ народа» сдѣлалась лозунгомъ рабочаго движенія во всемъ цивилизованномъ мірѣ, когда значеніе народныхъ массъ для политической жизни такъ рѣзко выразилось въ дни свободъ и въ нашей странѣ, сравнительная неудача нашего освободительнаго движенія обусловлена, главнымъ образомъ, политической неподготовленностью этихъ массъ, а надежда на свѣтлое политическое будущее покоится всего болѣе на сознаніи, что

массы проснулись, наконецъ, отъ вѣкового политическаго сна — казалось бы, что при такихъ обстоятельствахъ народническое движеніе 70-хъ гг. должно привлечь къ себѣ особенный интересъ именно, какъ первое массовое проявленіе въ средѣ русской интеллигенціи сознанія необходимости опираться въ политической борьбѣ на народныя массы, и первая массовая попытка установить связь интеллигенціи и народа. Такое отношеніе къ предмету поставило бы передъ изслѣдователемъ интересные вопросы о томъ, почему данная тактическая идея оформилась именно въ такое-то время, какъ она постепенно выяснялась въ сознаніи интеллигенціи и почему первыя попытки практическаго ея осуществленія протекли подъ вліяніемъ опредѣленной идеологии. Такая постановка вопроса сразу бы указала на необходимость изслѣдованія не только идейной стороны явленія, но и его социологической основы; идеологическая сторона движенія была бы поставлена на подобающее мѣсто, приведена въ связь со всѣми обстоятельствами мѣста и времени, и въ результатѣ мы имѣли бы не только описаніе, но и объясненіе даннаго явленія.

Эта точка зрѣнія, однако, совсѣмъ не выдвинута авторомъ книги о народничествѣ 70-хъ гг. Онъ вправѣ, конечно, избрать для своего изслѣдованія именно ту, а не другую сторону предмета; фактическое изложеніе и самаго движенія 70-хъ годовъ, и исторіи основныхъ его идей естественно должно предшествовать выясненію социологическихъ его основъ. Но одно дѣло — заняться той или другой стороной вопроса, другое — поставить его правильно методологически. А этой-то предварительной принципиальной постановки вопроса объ изслѣдованіи народничества 70-хъ годовъ и не находится у нашего автора. Отсутствуютъ указанія на объемъ и границы изслѣдованія; нѣтъ мѣры для оцѣнки того, что сдѣлано уже въ данной области; и потому, хотя г. Богучарскій занимается въ своей книгѣ наглавнѣйшимъ образомъ одной идейной стороной движенія 70-хъ годовъ, но онъ счелъ возможнымъ давать такія разъясненія и произносить такіе оцѣнки и приговоры движенію, какъ будто оно цѣликомъ находится въ его рукахъ, изслѣдовано и осмотрѣно имъ со всѣхъ сторонъ.

Съ перваго взгляда, впрочемъ, можетъ показаться, что г. Богучарскій намѣренъ идти въ изслѣдованіи движенія 70-хъ годовъ по правильному пути, потому что задачей своей работы онъ считаетъ изложеніе фактической стороны движенія и объясненіе его происхожденія, т. е. отвѣтъ на вопросъ, «откуда оно произошло», «гдѣ лежатъ его идейные корни» (стр. 5). Отысканіе «идейныхъ

«корней» движенія направляетъ изслѣдователя въ область различныхъ идеологій; между тѣмъ, отвѣтъ на вопросъ, «откуда произошло» движеніе, требуетъ не только идеологическихъ, но и соціологическихъ изысканій. И еслибы авторъ сознательно формулировалъ приведенными выше выраженіями задачу своего труда, то мы могли бы ожидать увидѣть въ немъ разностороннее освѣщеніе даннаго явленія. Дальнѣйшее развитіе его мысли показываетъ, однако, что вопросъ о происхожденіи народничества, въ пониманіи г. Богучарскаго, не обнимаетъ соціологическихъ его основъ; вопросы «откуда произошло» и «гдѣ лежатъ идейные корни» движенія по содержанію кажутся ему однозначущими. По крайней мѣрѣ въ главѣ: «Источники идей и настроеній активнаго народничества» В. Я. Богучарскій вращается исключительно въ области идеологіи дѣйствительныхъ и предполагаемыхъ его родоначальниковъ. Что же касается внѣидеологическихъ его факторовъ, авторъ ссылается лишь на реакціонное направленіе и репрессіи правительства, естественно возбуждающія «духъ протеста противъ существующаго порядка», но не объясняющія ни народолюбія русской интеллигенціи, ни той тяги къ народу, которая такъ характерна для 70-хъ годовъ. И если не выходить за предѣлы толкованій г. Богучарскаго, то пришлось бы признать странный фактъ, что источниками всего народничества 70-хъ годовъ, кромѣ развѣ его протестантскаго настроенія, являются нѣкоторые старыя и новыя идеи, внутренняго и, такъ сказать, иноземнаго происхожденія.

### III.

Игнорируя вопросъ о соціологическихъ корняхъ движенія 70-хъ годовъ и приступивъ къ отысканію идейныхъ его корней, В. Я. Богучарскій примѣнилъ при этомъ такіе приемы изслѣдованія, которые значительно ограничивали возможность достиженія удовлетворительныхъ результатовъ и относительно этой стороны явленія.

Старшіе участники движенія 70-хъ годовъ принадлежали къ поколѣнію, развивавшемуся подъ вліяніемъ журналистики шестидесятыхъ годовъ. Уясненію идейной стороны народничества должно бы предшествовать, поэтому, изученіе русской литературы этого десятилѣтія. Молодежь того времени находилась, кромѣ того, подъ вліяніемъ соціалистической мысли Запада, и знакомство съ соотвѣствующими событіями въ Западной Ев-



ропѣ представляется тоже необходимымъ для пониманія движенія. Цензурныя условія, однако, крайне стѣсняли независимую работу мысли русскаго общества. Русская зарубежная печать во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ была очень скудна. Самостоятельная переработка получаемыхъ молодежью жизненныхъ впечатлѣній и литературныхъ матеріаловъ въ концѣ 60-хъ и началѣ 70-хъ годовъ сосредоточилась въ кружкахъ самообразованія и саморазвитія и въ болѣе крупныхъ нелегальныхъ собраніяхъ, гдѣ какъ бы подводились итоги работъ мысли радикально настроенной молодежи. Эта работа мысли не носила исключительно книжнаго характера. Молодежь пыталась, по мѣрѣ возможности, прилагать свои идеи на практикѣ, и получаемыя этимъ путемъ впечатлѣнія не оставались безъ вліянія на ея убѣжденія. Въ это время, напр., дѣлались попытки сближенія съ народомъ и нѣкотораго просвѣтительнаго на него воздѣйствія путемъ учебныхъ занятій съ рабочими, распространенія въ народѣ популярныхъ книгъ, изученія народнаго быта, бесѣдъ при разныхъ случаяхъ съ рабочими и крестьянами и т. д. Постепенно эти сношенія съ народомъ учащались и перешли, наконецъ, въ то движеніе «въ народъ», о которомъ повѣствуетъ книга В. Я. Богучарскаго.

Г. Богучарскій не могъ, конечно, использовать безъ предварительной специальной разработки всѣ эти источники идейнаго развитія молодежи 60—70-хъ годовъ, а для кружковой ея работы и попытокъ сближенія съ народомъ не имѣлъ, притомъ, и достаточныхъ матеріаловъ. Этимъ, однако, нисколько не уменьшается значеніе всѣхъ названныхъ источниковъ и формъ саморазвитія молодежи для подготовленія народническаго движенія 70-хъ годовъ. Этимъ именно путемъ зарождались и постепенно выяснялись главные идеи движенія, въ частности—та идея, что только въ союзѣ съ народомъ возможно достигнуть радикальнаго преобразованія Россіи. Къ этой идеѣ молодежь приводилась и работой чистой мысли, и вліяніями западной теоретической и практической социалистической мысли, и тѣми матеріалами, которые она получала отъ впечатлѣній русской дѣйствительности—со стороны тѣхъ задачъ, которыя въ ней возникали и тѣхъ политическихъ силъ, которыя въ ней оперировали. Работа мысли молодежи совершалась, слѣдовательно, подъ вліяніемъ разнаго рода идейныхъ и социальныхъ факторовъ.

В. Я. Богучарскій, повторяемъ, не пользовался (отчасти и не могъ пользоваться) всѣми тѣми данными, которыя необходимы для разрѣшенія даже вопроса объ идейныхъ корняхъ

народничества. Онъ не могъ, поэтому, слѣдить за постепенной эволюціей этихъ идей и, естественно, придалъ преувеличенное значеніе тѣмъ извѣстнымъ ему послѣднимъ, такъ сказать, каплямъ, которыми была окончательно наполнена чаша народническаго міросозерпанія, въ родѣ проповѣди Бакунина и социалистическихъ вліяній Запада. Авторъ, однако, сознавалъ невозможность удовольствоваться такимъ простымъ объясненіемъ происхожденія идеологіи народничества 70-хъ годовъ. Тогда онъ остановился на сходствѣ ея съ идеями, высказывавшимися раньше, и, идя назадъ отъ одного факта къ другому, дошелъ до славянофиловъ, голыя, немотивированныя идеи которыхъ были сходны съ идеями изучаемаго имъ направленія. Славянофиловъ онъ, затѣмъ, и обратилъ въ дѣйствительныхъ родоначальниковъ народничества, увидѣвъ въ послѣднемъ сочетаніе нѣкоторыхъ славянофильскихъ и социалистическихъ идей. Отъ славянофиловъ, по его мнѣнію, народники заимствовали два своихъ характерныхъ признака: идею объ особомъ пути развитія Россіи и вѣру въ народъ, съ Запада и отъ Бакунина—идею социальной революціи и анархіи, а сочетаніе этихъ заимствованій извнѣ «опредѣлило ихъ міросозерпаніе и ихъ настроеніе» (стр. 24). Активное народничество 70-хъ годовъ въ изображеніи г. Богучарскаго — это какъ бы отрывокъ славянофильской теоріи, «хотя и заправленной наиреволюціоннѣйшими дрожжами» (стр. 49).

Продѣланная г. Богучарскимъ процедура установленія идейныхъ корней народничества представляетъ то для него удобство, что даетъ отвѣтъ на вопросъ, какъ это народники—послѣдователи славянофиловъ—совершенно не интересовались сочиненіями своихъ родоначальниковъ и врядъ ли даже были сколько-нибудь обстоятельно знакомы съ ихъ воззрѣніями. Идеи славянофиловъ, по теоріи г. Богучарскаго, были усвоены народниками не непосредственно; онѣ сдѣлались сперва достояніемъ Герцена, затѣмъ—Добролюбова и Чернышевскаго, этихъ признанныхъ отцовъ народничества. Славянофилы обращены, такимъ образомъ, въ праотцевъ, оставшихся слишкомъ далеко позади для того, чтобы установилось прямое общеніе ихъ съ правнуками. Трудная задача выведенія народничества отъ славянофильства сведена къ болѣе легкой задачѣ установленія идейной связи съ славянофилами Добролюбова и Чернышевскаго, идейная связь съ коими народниковъ 70-хъ годовъ съ одной стороны и непосредственное знакомство коихъ съ сочиненіями славянофиловъ — съ другой не подвергается сомнѣнію.

На чемъ же основываетъ г. Богучарскій утвержденіе о сла-

вянофильскомъ характерѣ нѣкоторыхъ идей Добролюбова и Чернышевскаго?

Добролюбовъ, по его мнѣнію, высказалъ свои славянофильскія тенденціи въ статьѣ, въ которой онъ приглашалъ русскую литературу «обратиться къ свѣжимъ, здоровымъ росткамъ народной жизни, помочь ихъ правильному, успѣшному росту и цвѣту, предохранить отъ порчи ихъ прекрасные и обильные плоды» (стр. 29, 13). Что подразумѣвалъ Добролюбовъ подъ «свѣжими ростками народной жизни», «ихъ прекрасными и обильными плодами» — онъ не объясняетъ. Что заподозрилъ здѣсь г. Богучарскій, кромѣ общины, что убѣдило его въ славянофильскихъ тенденціяхъ Добролюбова — мы тоже сказать не можемъ. За то относительно Чернышевскаго дѣло яснѣе. Кромѣ открыто выраженной имъ приверженности къ общинному землевладѣнію въ Россіи, онъ не отнесся къ славянофиламъ безусловно отрицательно.

Хотя славянофилы считались Чернышевскимъ людьми заблуждающимися, говоритъ г. Богучарскій, но онъ находилъ у нихъ «элементы здоровые, вѣрные, заслуживающіе сочувствія». «Ихъ заблужденія», — писалъ Чернышевскій, — «съ избыткомъ (курсивъ г. Богучарскаго) вознаграждаются ихъ убѣжденіемъ, что общинное устройство нашихъ селъ должно остаться неприкосновеннымъ при всѣхъ перемѣнахъ въ экономическихъ отношеніяхъ».

Приведенныхъ выдержекъ изъ сочиненій Добролюбова и Чернышевскаго, съ подчеркнутымъ словомъ, оказалось достаточно для того, чтобы г. Богучарскій высказалъ слѣдующее категоричное заключеніе: «Изъ всего этого ясенъ источникъ социальноекономическихъ идей нашего народничества. Черезъ Герцена, Чернышевскаго и Добролюбова — истинныхъ отцевъ народничества — идеи эти влились въ него изъ того «новаго умственного движенія» (славянофильства), о которомъ писалъ Хомяковъ» (стр. 13).

Только и есть, спросить удивленный читатель? Вотъ всѣ основанія для зачисленія завѣдомыхъ западниковъ-соціалистовъ, Добролюбова и Чернышевскаго, въ славянофилы? Да! По крайней мѣрѣ другихъ основаній для этого не указано, хотя и дѣлаются какіе-то намеки. А если такъ, то стоитъ ли останавливаться далѣе на вопросѣ, большую-ли дозу славянофильства отцы народничества — даже если они внушили дѣтямъ расположеніе къ общинѣ — могли передать своимъ преемникамъ? Разрѣшеніе этого вопроса въ положительномъ смыслѣ лежитъ на обязанности автора, предполагающаго посредничество Добролю-

бова и Чернышевскаго между народниками 70-х годовъ и славянофилами. И пока этого не сдѣлано—мы не имѣемъ основаній обрывать творчество социальныхъ идей нашей интеллигенціи на славянофилахъ и должны допустить *à priori*, что самостоятельная работа социалистической мысли въ Россіи совершалась и въ шестидесятыхъ, и въ семидесятыхъ годахъ, что народническія идеи послѣдняго десятилѣтія, какъ и всякія новыя идеи, были результатомъ комбинаціи преемственной передачи отъ одного поколѣнія къ другому и самостоятельной работы мысли. Но допущеніе самостоятельнаго происхожденія народническихъ идей требовало бы изслѣдованія той почвы, на которой онѣ зародились, сѣмянъ, изъ которыхъ онѣ выросли, процесса ихъ постепеннаго развитія; а такое изслѣдованіе представляется и болѣе труднымъ, и болѣе разностороннимъ, основаннымъ на сочетаніи идеологическихъ изысканій съ социологическими, повидимому чуждыми г. Богучарскому. Онъ остановился, поэтому, на такой гипотезѣ о происхожденіи народничества, которая какъ будто освобождала его отъ социологическихъ изысканій и упрощала изслѣдованіе идеологии этого теченія. Воспользовавшись внѣшнимъ сходствомъ идей славянофиловъ и народниковъ и возможностью перебросить хотя бы хрупкій между ними мостъ, авторъ разрубилъ, а не развязалъ узелъ вопроса о происхожденіи того направленія нашей общественной мысли, которое составляетъ предметъ его изысканій.

На стр. 180 своего труда г. Богучарскій близокъ былъ къ тому, чтобы установить иное соотношеніе между народниками и славянофилами. «Религіозный» характеръ народничества 70-х годовъ, по его мнѣнію, служить «яркимъ свидѣтельствомъ *духовнаго родства* народничества съ славянофильствомъ». Не станемъ разбирать, правильно ли такое сближеніе по существу, но замѣтимъ, что духовное родство или сходство психологическихъ настроеній не предполагаетъ непременно единства идей и социально-политическихъ тенденцій. А насколько сходны между собой и послѣднія—это могло произойти помимо заимствованій, а вслѣдствіе сродства опредѣляющихъ моментовъ. Условія жизни и мысли могли выдвинуть на первый планъ идею о народѣ у славянофиловъ и народниковъ; вслѣдствіе одинаковаго (религіознаго) типа, у тѣхъ и другихъ эта идея осложнилась горячей вѣрой въ народъ. Но г. Богучарскому недостаточно этого сродства между двумя направленіями. Не пытаюсь даже утверждать, что общая атмосфера 70-х годовъ отвращала молодежь отъ народа, приводя, напротивъ того, много фактовъ, свидѣтель-

ствующихъ о силѣ демократическихъ вліяній того времени, онъ, однако, не хочетъ допустить самостоятельнаго возникновенія въ 60-хъ—70-хъ годахъ идеи, принявшей религіозный характеръ, а выводить эту идею изъ ученія славянофиловъ. «Послѣдніе, говоритъ онъ, выводили прямо изъ своихъ религіозныхъ воззрѣній вѣру въ русскій народъ; народники, *оборвавши* нити, которыми была прикрѣплена у славянофиловъ вѣра въ народъ, къ ихъ болѣе глубокимъ религіозно-философскимъ корнямъ, *сохранили* тѣмъ не менѣе *ихъ* вѣру въ самый народъ» (курсивъ нашъ).

Упорное стремленіе г. Богучарскаго вывести народничество изъ славянофильства наводитъ на одинъ вопросъ: какіе мотивы (кроме методологическаго удобства) руководили авторомъ, сознательно или бессознательно, въ его тенденціи—превознося народничество 70-хъ годовъ за его моральное настроеніе, отрицать самостоятельное творчество въ области его главныхъ идей, распространяя это отрицаніе не только на «дѣтей», коимъ и по чину полагается слѣдовать завѣтамъ родителей, но и на «отцовъ», и притомъ такихъ, какъ Добролюбовъ или Чернышевскій (къ нимъ г. Богучарскій съ тѣмъ же основаніемъ могъ бы причислить и Некрасова). Слѣдуетъ-ли это объяснить преклоненіемъ автора передъ гениемъ славянофиловъ, приниженіемъ интеллектуальныхъ ресурсовъ дѣтей и отцовъ народничества, или какими-либо другими мотивами? А такъ какъ намѣченная г. Богучарскимъ связь идей народничества и славянофильства спита на живую нитку, то наряду съ поставленнымъ вопросомъ возникаетъ еще одинъ: исключительно ли безстрастными научными соображеніями руководствовался г. Богучарскій, выводя народническія идеи изъ скомпрометированнаго въ глазахъ русскаго общества источника? Ставя этотъ вопросъ, мы предполагаемъ возможность, конечно, совершенно бессознательнаго пристрастія автора; а предположить такую возможность побуждаетъ насъ не только фактъ обращенія народничества въ отпрыскъ славянофильства. Тенденція умалить въ томъ или другомъ отношеніи идейное содержаніе и тактическую программу народничества проявляется въ разбираемой нами книгѣ и въ другихъ случаяхъ, и главнымъ образомъ—при оцѣнкѣ отношенія народничества къ крестьянамъ, какъ къ возможной политической силѣ, тогда какъ къ организаціонной работѣ народниковъ въ средѣ рабочаго класса г. Богучарскій относится по меньшей мѣрѣ снисходительно. Не объясняется ли такая бессознательная тенденція принадлежностью автора къ идейному теченію, заявившему себя рѣзкимъ противникомъ народничества?



## IV.

Пренебреженіе соціологической точкой зрѣнія особенно рельефно выразилось у г. Богучарскаго при объясненіи тактическаго принципа народничества о побужденіи народа къ соціально-политической борьбѣ, обоснованнаго, будто бы, вѣрой его въ народъ, артель, общину и т. п.

Это послѣднее явленіе, какъ и другія, г. Богучарскій пытается объяснить, почти не прибѣгая къ соціологическимъ факторамъ, и оно остается у него, поэтому, въ сущности не объясненнымъ, несмотря на то, что въ разныхъ частяхъ своей книги онъ наталкивался на обстоятельства, какъ бы указывавшія ему на надлежащій путь изслѣдованія.

Объясненію историка подлежитъ не только фактъ вѣры въ народъ, но и религіозный характеръ какъ этой вѣры, такъ и отношенія народниковъ къ прочимъ главнымъ идеямъ ихъ міросозерцанія. «Типъ пропагандиста 70-хъ годовъ—говоритъ Кравчинскій,—принадлежитъ къ тѣмъ, которые выдвигаются скорѣе религіозными движеніями: социализмъ былъ его вѣрой, народъ—его божествомъ... Онъ твердо вѣрилъ, что не сегодня-завтра произойдетъ революція» (стр. 170).

Народники заимствовали свою вѣру въ народъ изъ славянофильскаго источника — неоднократно заявляетъ авторъ. Но тогда какъ славянофилы выводили свою вѣру въ русскій народъ прямо изъ своихъ религіозныхъ воззрѣній,—народники оборвали нити, связывавшія вѣру въ народъ съ религіей, но сохранили *«ихъ вѣру въ самый народъ»* (курсивъ автора). Отличіе народниковъ отъ славянофиловъ заключается лишь въ томъ, что твердо держась тезиса: «безъ вѣры невозможно угодить Богу», славянофилы «далеко не съ такой твердостью слѣдовали другому положенію, что «вѣра безъ дѣлъ мертва», т. е. были въ этомъ отношеніи, какъ и вообще «отцы» сравнительно съ «дѣтьми», «менѣе всего борцами и бойцами». Народники-же, съ закаленнымъ обстоятельствами характеромъ, «пламенѣя той-же вѣрой въ народъ, что и славянофилы... бросились воплощать въ жизнь свои славянофильскія же вѣрованія въ общину, артель и другія «особенности» быта русскаго народа» (стр. 181).

Объясненіе г. Богучарскаго и вѣры людей 70-хъ годовъ въ народъ, и ихъ рѣшимости дѣйствовать въ его средѣ, имѣетъ совер-

шенно индивидуально-психологическій характеръ. Свою вѣру они получили отъ славянофиловъ, пламенное къ ней отношеніе составляетъ, нужно полагать, особенность ихъ психологіи, и только намеки на обстоятельства, «закалившія» ихъ характеръ, вводитъ въ данный процессъ вліяніе какихъ-то внѣшнихъ, соціологическихъ факторовъ. Это объясненіе не доставляетъ намъ матеріаловъ для самостоятельныхъ соображеній по этому вопросу. Поищемъ такихъ матеріаловъ въ другихъ частяхъ книги г. Богучарскаго.

Въ одномъ мѣстѣ этой книги г. Богучарскій приводитъ выдержки изъ статьи Добролюбова «Что такое обломовщина» и статьи Чернышевскаго «Русскій человѣкъ на rendez-vous», доказывающія отрицательное отношеніе этихъ писателей къ дѣеспособности нашего культурнаго общества, и соглашается съ вытекающимъ изъ того заключеніемъ, что «ставя на этомъ обществѣ «полный крестъ», Добролюбовъ и Чернышевскій «тѣмъ призываютъ обратиться непосредственно къ народу» (стр. 24). Такія статьи, какъ и вообще вся глубоко демократическая литературная дѣятельность названныхъ писателей, вызвала въ читателяхъ демократическое *настроеніе* (курсивъ автора), а сочетаясь съ славянофильскими идейными вліяніями, это послѣднее опредѣляло «основные штрихи интеллектуальной и моральной фizioноміи будущаго активнаго народника», создавало определенное, народническое *направленіе* (курсивъ автора).

Итакъ, демократическое настроеніе—отъ Добролюбова и Чернышевскаго, идейное содержаніе—отъ славянофиловъ, кое-какое, тоже идейное, вліяніе Запада—и вотъ, готовъ типъ народника-революціонера 70-хъ годовъ, руководящагося въ своей дѣятельности формулой «tout pour le peuple» и «tout par le peuple», высказанной уже Добролюбовымъ (ст. 27—28).

Въ выдержкахъ изъ статей Добролюбова и Чернышевскаго, приведенныхъ на стр. 24—27 книги г. Богучарскаго, развивается мысль о неспособности лицъ нашего культурнаго общества къ активной дѣятельности, и эта неспособность распространяется ими на все общество. Здѣсь г. Богучарскій сталкивается съ нѣкоторымъ предполагаемымъ общественнымъ фактомъ, естественно отвращающимъ дѣятельнаго человѣка отъ общества и побуждающимъ его обратить свои взоры на простой народъ. Авторъ встрѣчается, такимъ образомъ съ возможностью установленія нѣкоторыхъ соціологическихъ факторовъ развитія народничества семидесятыхъ годовъ. Онъ, однако, не остановился на этой сторонѣ явленія, а тотчасъ перешелъ на излюбленную имъ почву чистой идеологіи, и демократическое настроеніе народни-

ковъ семидесятыхъ годовъ приписалъ, какъ мы видѣли, ни чему иному, какъ «глубоко демократическому характеру статей Добролюбова и Чернышевскаго».

Но вѣдь демократическимъ характеромъ отличается не только публицистика Чернышевскаго и Добролюбова, настроеніе народничества и т. д. Демократическія, въ томъ или иномъ отношеніи, тенденціи присущи вообще русской прогрессивной интеллигенціи, до-народнической и по-народнической. Съ первой половиной формулы народниковъ: «все для народа»,—говоритъ г. Богучарскій—въ 70-хъ годахъ «соглашались и другія направленія» (стр. 28). Такой всеобщій фактъ естественно наводитъ на мысль, не находится ли это явленіе въ зависимости отъ какихъ-либо общихъ вліяній, и какихъ именно? Къ этому общему вопросу о причинахъ демократическаго характера русской интеллигенціи авторъ пришелъ бы и въ томъ случаѣ, если бы, не выходя за предѣлы прямого предмета своей рѣчи, задалъ вопросъ, дѣйствительно ли направленіе Добролюбова, Чернышевскаго и народничества семидесятыхъ годовъ «приглашало повернуться спиной къ образованному обществу» и формулу «все для народа» закруглить новымъ членомъ: «и самимъ народомъ»?

Этотъ вопросъ распадается на два другихъ: 1) можно-ли вообще ожидать, что привилегированное общество, интересы котораго во многомъ расходятся съ интересами народа, возьметъ на себя задачу осуществленія: начала «все для народа», и провозглашеніе такого программнаго принципа не должно-ли, поэтому, раньше или позже привести къ возвыщенію соотвѣтствующаго ему тактическаго начала; 2) обладало-ли русское общество достаточными средствами для осуществленія если не всѣхъ пожеланій народничества, то хотя-бы важнѣйшихъ очередныхъ реформъ, и умѣстно ли было-бы народничеству до поры до времени идти съ нимъ нога въ ногу?

Но, поставивъ серьезно вопросъ о нѣкоторыхъ чертахъ русскаго культурнаго общества, какъ объ одной изъ причинъ возникновенія политическаго, такъ сказать, тяготѣнія, къ простому народу, отцевъ и дѣтей народничества мы врядъ ли можемъ избѣжать предположенія, что тѣми же самыми, приблизительно, чертами объясняется съ одной стороны и соціально-философская тяга славянофиловъ къ народу и, пожалуй, литературное обращеніе Надеждина къ «народности», съ другой—соціально-культурный скептицизмъ Чаадаева (котораго г. Богучарскій тоже пытается связать съ народничествомъ) и политическій консерватизмъ если не Карамзина, то во всякомъ случаѣ такого народолюбиваго

прогрессиста александровской эпохи, какъ Н. И. Тургеневъ, и многіе другія явленія литературной и общественной мысли прошлаго и настоящаго.

Стоить только разъ остановиться на такомъ предположеніи — и вы найдете въ литературѣ множество характеристикъ съ отрицательной стороны социальнo-культурныхъ силъ привилегированнаго нашего общества. Вы услышите такіа характеристики и отъ Чадаева, и отъ Карамзина, и отъ Сперанскаго, и отъ другихъ старыхъ и новыхъ нашихъ писателей.

Мы не будемъ останавливаться здѣсь на характеристикѣ социальнo-творческихъ силъ русскаго общества, данной старыми нашими писателями, а перейдемъ къ оцѣнкѣ политическихъ его силъ въ новѣйшее время. Вотъ что мы находимъ на этотъ счетъ, напр., у покойнаго Вл. Соловьева. «Гдѣ въ нашемъ обществѣ правящій классъ, способный и привыкшій къ солидарному дѣйствію» — спрашиваетъ этотъ писатель. — Помимо официальной организаціи — государственной и церковной — въ Россіи нѣтъ «прочнаго союза свободныхъ индивидуальныхъ силъ, солидарно и сознательно дѣйствующихъ для улучшенія народной жизни, для національнаго прогресса... а слѣдовательно, нѣтъ и общества въ настоящемъ, положительномъ смыслѣ слова. Подъ именемъ общества существуетъ хаотическая, безформенная масса съ непрочною и случайною группировкою частей, съ отдѣльными, случайно возникающими и безслѣдно исчезающими центрами, съ разрозненною и бесплодно дѣятельностью» <sup>1)</sup>. А цитировавшая Соловьева «Русская Мысль», склонная, казалось бы, скорѣе преувеличивать, нежели преуменьшать политическія силы русскаго общества, какъ главной, если не единственной опорой ея конституціонныхъ стремленій, нѣсколько лишь смягчила его рѣзкій приговоръ, заявивъ, что русское общество «только на нашихъ глазахъ превращается изъ публики въ общество» <sup>2)</sup>.

Обратимся теперь къ вопросу о политической дѣеспособности русскаго общества собственно семидесятыхъ годовъ. Чего хотѣла передовая часть этого общества, какія мѣры принимала она для осуществленія своихъ цѣлей и какія надежды могла возбуждать въ лицахъ, горячо относившихся къ положенію народа и цѣлой страны? Отвѣтитъ намъ на это самъ В. Я. Богучарскій.

<sup>1)</sup> «Сѣверный Вѣстникъ», 1892 г., № 7.

<sup>2)</sup> «Русская Мысль», 1892 г., № 7. Подробнѣе о социальнo-культурныхъ силахъ русскаго общества и ихъ характеристикѣ нашими писателями мы говорили въ книгѣ: «Наши Направленія», (глава четвертая).

«Въ семидесятыхъ годахъ—говорить онъ:—въ нѣдрахъ русской интеллигенціи были два типа людей: одни, «либералы», ясно сознавали, что безъ политической свободы социализмъ не имѣетъ за собой рѣшительно никакого жизненнаго фундамента, и потому группа эта въ области пониманія социальна-политическихъ задачъ стояла несравненно выше другой группы интеллигенціи—социально-революціонной. Но въ то же время группа либеральная, за самыми небольшими исключеніями, въ противоположность группѣ социально-революціонной, отличалась полною немощью, разъ дѣло касалось вопросовъ борьбы за ея собственныя убѣжденія... Что, напр., предприняла она за все время своей дѣятельности въ разсматриваемую эпоху для отстаиванія столь дорогаго, столь необходимаго дѣла, какъ свобода печати?» За-границей издавался, правда, либеральный журналъ «Общее дѣло». «Но вѣдь за исключеніемъ Н. А. Бѣлоголоваго, вложившаго въ это изданіе много энергіи, кто изъ либераловъ смотрѣлъ на него, какъ на свое, родное, необходимое? И журналъ именно поэтому скоро принялъ обычную фیزیономію обычныхъ заграничныхъ революціонныхъ изданій... Точно такъ обстояло дѣло съ созданіемъ организациі внутри Россіи для борьбы за конституцію... Много ли было попытокъ организовать чисто конституціонныя, сколько-нибудь дѣйственныя группы?»<sup>1)</sup>

Въ другомъ мѣстѣ г. Богучарскій приводитъ такой отзывъ М. П. Драгоманова о либералахъ и ихъ единомышленникахъ. «Не могутъ либеральные земцы похвалиться своей энергіей и въ дѣлѣ организациі законно-либеральнаго движенія въ земскихъ и дворянскихъ собраніяхъ. Достаточно было правительству припугнуть земскій либерализмъ высылкою нѣсколькихъ человѣкъ... чтобы цѣлые планы о заявленіяхъ, напр., противъ даже административной ссылки оставались въ карманѣ» («Активное народничество», стр. 327).

Въ книгѣ г. Богучарскаго разсѣяно столько подобныхъ характеристикъ либеральнаго теченія 70-хъ годовъ, что можно только удивляться, какъ это онъ не остановился на вопросѣ о причинахъ того страннаго явленія, что «либеральная среда», «отличавшаяся гораздо бѣльшимъ реализмомъ сравнительно съ утопизмомъ народниковъ», была въ-общемъ средою «очень рыхлой и безхарактерной» (стр. 327), или, какъ онъ энергично выразился въ другомъ мѣстѣ, «отличалась полною немощью». Реализмъ и немошь, утопизмъ и энергичная дѣятельность!—не противоесте-

<sup>1)</sup> «Изъ исторіи политической борьбы», стр. 444—447.



ственные ли это сочетанія, невольно напрашивающіяся на объясненіе? Для активнаго настроенія народниковъ г. Богучарскій нашелъ объясненіе въ религіозномъ духѣ, который въ послѣднемъ счетѣ сводится имъ, нужно полагать, къ психологическимъ ихъ особенностямъ. «Народники были великой душевности», говоритъ онъ, «и пламенѣли той же вѣрой въ народъ, которой отличались и славянофилы» (стр. 180—1). Слѣдуя этому методу въ объясненіи бездѣтельности либераловъ, можно бы сказать, что либерализмъ объединялъ бездушныхъ и безвѣрныхъ людей. И чуть ли не это самое говоритъ г. Богучарскій, заявляя на стр. 177, что общество 70-хъ годовъ, «глубоко недовольное существующимъ строемъ», «*по малодушію* (курсивъ нашъ) не боролось съ невыносимыми условіями жизни». И такъ какъ авторъ не указываетъ внѣшнихъ причинъ, обусловившихъ малодушіе общества 70-хъ годовъ, то можно предположить, что и эта его черта, какъ и религіозное настроеніе народниковъ, считается имъ за первоначальное данное его психологіи. Такое, чисто психологическое, объясненіе характера направленія, быть можетъ, еще допустимо относительно небольшого числа основателей славянофильства, соединившихся для опредѣленнаго дѣла по сходству ихъ индивидуальныхъ психологическихъ типовъ. Но объяснять такимъ же случайнымъ подборомъ индивидуальностей широкое общественное теченіе—врядъ ли возможно. А если такъ, то причинъ и активности народниковъ, и бездѣтельности или «малодушія» либераловъ слѣдуетъ искать не въ психологическихъ лишь особенностяхъ тѣхъ и другихъ, а въ сочетаніи исповѣдываемыхъ ими идей и обстоятельствъ даннаго мѣста и времени, въ сочетаніи идейныхъ, психологическихъ и соціологическихъ факторовъ.

О причинахъ сочетанія активности съ идейнымъ утопизмомъ у насъ будетъ рѣчь ниже. Что же касается соціологическихъ «корней» бездѣтельности либераловъ, то ихъ нетрудно указать, если вспомнить, что очереднымъ шагомъ движенія впередъ Россіи они считали введеніе конституціи, т. е. ограниченіе власти существующаго правительства. Но что же они могли, какъ партія, предпринять для осуществленія этой задачи, какія средства находились въ ихъ распоряженіи не для разговоровъ или случайныхъ заявленій о конституціи, а для ея осуществленія? На это даетъ отвѣтъ, прежде всего, самъ В. Я. Богучарскій. Правительство «*было единственной* (курсивъ автора) силой въ государствѣ, которая могла идти по пути реформъ свободно и безостановочно, идти къ прямо и ясно поставленной цѣли—конституціи и политической свободѣ. И нѣтъ сомнѣнія, что мно-

жество молодыхъ силъ нашло бы себѣ въ такомъ случаѣ приложеніе въ освобожденномъ отъ административной опеки земствѣ, во всякихъ формахъ свободной, культурной, на пользу народа дѣятельности» (стр. 205—6). Это отвѣтъ вѣрно рисуетъ соотношеніе тѣхъ силъ, отъ которыхъ зависѣло направленіе нашего политическаго развитія, и съ выраженной въ немъ мыслью, конечно, были согласны и либералы, и народники, и всѣ здраво-мыслящіе люди того времени. Но, спрашивается, какія были основанія полагать, что правительство второй половины царствованія Александра II выступитъ на путь добровольнаго самоограниченія своей власти? И такимъ ли идиллическимъ путемъ происходить смѣна одной формы правленія другою? Если идиллія въ этихъ дѣлахъ не имѣетъ мѣста, если и вопросъ разрѣшается соотношеніемъ реальныхъ политическихъ силъ, а это соотношеніе для Россіи 70-хъ годовъ опредѣлилось такъ, какъ это только что выразилъ г. Богучарскій, то не очевидно ли, что у либераловъ не было никакой возможности бороться за конституцію, какъ за первый очередной шагъ прогрессивнаго развитія Россіи, что ихъ бездѣятельность объясняется не случайнымъ подборомъ подъ конституціонное знамя пассивныхъ людей, а несоотвѣтствіемъ выставленной ими задачи тѣмъ силамъ, на которыя естественно было полагаться при ея осуществленіи? Если такъ, то гдѣ же настоящій, такъ сказать, реальный реализмъ либераловъ, о которомъ заявляетъ г. Богучарскій? Будучи «реальной» съ абстрактной точки зрѣнія, не окажется ли программа либераловъ 70-хъ годовъ утопической, если на нее взглянуть при свѣтѣ социально-политическихъ отношеній того времени?

## V.

Итакъ, несомнѣннымъ представляется одно: политическія силы культурнаго общества 70-хъ годовъ были совершенно недостаточны для того, чтобы побудить правительство предпринять, помимо своего желанія, какія-либо рѣшительныя преобразованія. А если такъ, то что-же нужно было думать или дѣлать людямъ, которые съ одной стороны ясно видѣли политическое безсиліе и обусловленную имъ бездѣятельность русскаго общества, съ другой—имѣли горячее желаніе или понимали настоятельную необходимость радикальныхъ, хотя бы только однихъ политическихъ, преобразованій? Отвѣтъ ясенъ: имъ оставалось или ожидать движенія воды отъ правительства и содѣй-

ствовать ему въ преобразовательныхъ стремленіяхъ; или пытаться достигнуть своихъ цѣлей революціонной дѣятельностью активныхъ элементовъ общества; или обратить свои взоры къ народу и принимать тѣ или другія мѣры для вовлеченія его въ политическую борьбу. Такія именно настроенія радикальной части русскаго общества мы и наблюдаемъ съ того момента, когда, послѣ севастопольскаго разгрома, всѣми была признана необходимость рѣшительныхъ преобразованій.

Извѣстно, какъ Герценъ и Чернышевскій прославляли въ концѣ 50-хъ годовъ Александра II, гласно объявившаго о первыхъ шагахъ къ освобожденію крестьянъ. «Ты побѣдилъ, Галилеянинтъ!»—такъ озаглавилъ Герценъ статью «Колокола», посвященную этому предмету. «Возлюбилъ еси правду и возненавидѣлъ еси беззаконіе, сего ради помазалъ тя Богъ твой»—такой стихъ взять былъ Чернышевскимъ для эпиграфа къ статьѣ по поводу Высочайшихъ рескриптовъ 20 ноября и 24 декабря 1857 г.. А когда горячія надежды патріотовъ на правительство потерпѣли существенное ограниченіе, когда въ законахъ и въ дѣйствіяхъ власти ясно выразилось вліяніе реакціоннаго теченія—въ радикальныхъ кругахъ зарождается мысль о выполненіи очередныхъ задачъ независимо и отъ правительства, и отъ привилегированнаго общества, раздались призывы молодежи «въ народъ», для возбужденія его къ возстанію или для подготовки къ самостоятельной политической роли. И только группа «Великоросса» предприняла неудачную попытку побудить такъ называемое общество къ подачѣ адреса о государственныхъ преобразованіяхъ.

«Въ народѣ—писалъ въ подцензурномъ изданіи Добролюбовъ—слѣдуетъ строго различать послѣдствія внѣшняго гнета отъ его внутреннихъ и естественныхъ стремленій, которыя со-всѣмъ не заглохли, какъ это многіе думаютъ. Кто серьезно проникся этой мыслью, тотъ почувствуетъ болѣе довѣрія къ народу, болѣе охоты сблизиться съ нимъ... Съ такимъ довѣріемъ къ силамъ народа и надеждою на его доброе расположеніе, можно дѣйствовать на него прямо и непосредственно, чтобы вызвать въ немъ живыя и крѣпкія силы... Не пора ли намъ... обратиться къ свѣжимъ, здоровымъ росткамъ народной жизни, помочь ихъ правильному, успѣшному росту и цвѣту, предохранить отъ порчи ихъ прекрасные и обильные плоды. Событія зовутъ насъ къ этому пути, говоръ народной жизни доходитъ до насъ, и мы не должны пренебрегать никакимъ случаемъ прислушаться къ этому говору». «Въ народъ, къ народу!»—взы-

валъ Герценъ въ заграничномъ изданіи къ студентамъ, уволеннымъ за безпорядки 1861 г. «Вотъ ваше мѣсто, изгнанники науки. Покажите, что изъ васъ выйдутъ не подъячіе, а воины, но не безродные наемники, а воины русскаго народа» (цитировано по Богучарскому). «Вы, молодежь»,—писалъ М. Л. Михайловъ въ подпольномъ листкѣ, — «должны объяснить народу, что у него есть доброжелатели... Говорите чаще съ народомъ и солдатами, объясняйте имъ все, что мы хотимъ, и какъ легко всего этого достигнуть: насъ миллионы, а ихъ сотни». «Въ народъ», «къ народу»—на всѣ лады склоняла русская интеллигенція, начиная съ царствованія Александра II, и продолжаетъ такой призывъ до настоящаго момента.

Если бы г. Богучарскій отнесся къ настоятельнымъ указаніямъ на задачу единенія интеллигенціи и народа съ тѣмъ вниманіемъ, какого заслуживаютъ имена образованнѣйшихъ людей своего времени,—Герцена, Добролюбова, Чернышевскаго, Михайлова, Шелгунова,—а не успокоился на томъ предположеніи, что имъ, будто бы, найдены «идейные корни» призыва молодежи въ народъ и дано такимъ образомъ достаточное объясненіе этого явленія,—онъ, конечно, безъ затрудненія усмотрѣлъ бы *соціологическіе* корни даннаго возрѣнія въ противорѣчіи между задачами государственнаго преобразованія Россіи, какъ онѣ представлялись уже въ началѣ alexandrovскихъ реформъ и все болѣе выяснялись впослѣдствіи, и объемомъ наличныхъ для того силъ, которыя можно было тогда искать только въ политически несамостоятельныхъ привилегированныхъ слояхъ общества. И такъ какъ это противорѣчіе не было устранено въ послѣдующее время, и только уже въ наши дни мелькнула перспектива образованія въ народѣ самостоятельной политической силы, открывающей возможность систематической борьбы общества за необходимыя реформы, то само собой разумѣется, что идея единенія интеллигенціи и народа, какъ средства ускорить образованіе новой политической силы, идея, заявленная въ началѣ 60-хъ годовъ, должна была постоянно возникать въ сознаніи активной части общества. Благодарной задачей историческаго изслѣдованія (отчасти поставленной, повидимому, Н. А. Котляревскимъ) было бы, поэтому, объясненіе того, почему, или какимъ образомъ идея эта получила такую двигательную силу около середины 70-хъ годовъ и почему первое массовое проявленіе исторически необходимаго участія интеллигенціи въ подготовкѣ новой политической силы совершилось подъ знаменемъ идеологии и настроенія народничества 70-хъ годовъ?

Первые призывы «въ народъ», при описанныхъ условіяхъ, естественно обращались къ молодежи, а Добролюбовъ и Чернышевскій, кромѣ того, ясно сознавали, что воспитанное въ крѣпостной обстановкѣ, малообразованное, малоразвитое и политически совершенно невѣжественное общество не могло дать достаточные кадры для осуществленія этой идеи. Они возлагали, поэтому, надежду на «новыхъ людей», еще имѣющихъ только появиться (стр. 30). Литературная дѣятельность Добролюбова, Чернышевскаго, Писарева и другихъ менѣе замѣтныхъ журналистовъ шестидесятыхъ и послѣдующихъ годовъ была именно систематической подготовкой такихъ людей, содѣйствіемъ совершавшемуся въ жизни процессу перестройки традиціоннаго міросозерцанія русскаго общества—философскаго, моральнаго, социально-политическаго,—и уясненія его взглядовъ на социально-политическое положеніе страны и на средства содѣйствія прогрессивному ея развитію. Безъ такой предварительной просвѣтительной работы въ средѣ культурнаго общества невозможно было вообще движеніе впередъ. И если Чернышевскій, Добролюбовъ и другіе писатели, считавшіе народъ единственной надежной политической силой, посвящали все почти свое время на эту предварительную подготовку культурнаго общества, то ясно, кажется, и безъ прямого заявленія Добролюбова о нетерпѣливомъ *ожиданіи* обществомъ появленія новыхъ людей (стр. 30), что эти отцы народничества 70-хъ годовъ не рассчитывали на немедленное осуществленіе пропаганды интеллигенціи въ народѣ въ сколько-нибудь замѣтныхъ размѣрахъ.

Все это очень просто и ясно, и съ эволюціонной точки зрѣнія главный смыслъ работы журналистики 60 — 70-хъ годовъ заключается въ распространеніи въ отсталомъ и полуневѣжественномъ, только что избавившемся отъ николаевскихъ тисковъ русскомъ обществѣ передовыхъ западно-европейскихъ воззрѣній и въ формированіи общественнаго мнѣнія въ духъ болѣе или менѣе либеральныхъ и радикальныхъ идей. Что такъ именно понималось дѣло современниками—«учителями» и «учениками» безразлично—о томъ, кромѣ прямого заявленія первыхъ, свидѣтельствуешь хотя бы широко распространенный въ 60-хъ годахъ фактъ хвалебнаго или каррикатурнаго изображенія въ беллетристикѣ «новыхъ людей»—не революціонеровъ только, а людей, по новому, не традиціонно относящихся къ разнообразнымъ явленіямъ жизни и мысли. Съ этой точки зрѣнія Добролюбовъ и Писаревъ, несмотря на различіе ихъ социальныхъ взглядовъ, были сотрудниками въ общемъ дѣлѣ образованія въ средѣ



культурнаго общества критически «мыслящихъ реалистовъ» — сотрудниками, вносившими въ дѣло этой подготовки каждый особую струю и ослаблявшими тѣмъ самымъ опасность односторонности результатовъ.

Но г. Богучарскій чуждъ такому отношенію къ предмету. Онъ склоненъ замѣчать идеологическія, но не соціологическія связи и явленія. Найдя нужнымъ остановиться на дѣятельности не только Добролюбова, но и Писарева, онъ обратилъ вниманіе не на общій историческій смыслъ ихъ работы, а на антагонизмъ ихъ соціально-политическихъ воззрѣній — народническихъ у одного, антинародническихъ у другого. Онъ рисуетъ, къ тому же, этотъ антагонизмъ такими красками, что совершенно искажаетъ фیزیомію одной стороны. Въ воображаемой бесѣдѣ Чернышевскаго и Добролюбова съ Писаревымъ первые, по утвержденію г. Богучарскаго, «стали бы говорить» послѣднему «о коренныхъ началахъ» русскаго народа и «прочихъ китахъ», а по отношенію къ культурному обществу Добролюбовъ предложилъ бы «махнуть на него рукой и обратиться къ народу», тогда какъ Писаревъ настаивалъ бы на необходимости накопленія въ этомъ обществѣ «большаго и большаго количества мыслящихъ реалистовъ» (стр. 32). Составныя части воззрѣній обоихъ писателей приведены г. Богучарскимъ не съ надлежащей полнотой, размѣщены не въ надлежащемъ порядкѣ. На самомъ дѣлѣ отрицательно относились къ культурному обществу своего времени не только Добролюбовъ, но и Писаревъ; а подготовительную работу въ его средѣ для созданія новаго типа людей признавали необходимой не только Писаревъ, но и Добролюбовъ съ Чернышевскимъ.

Съ историко-соціологической точки зрѣнія, слѣдовательно, Добролюбовъ и Писаревъ — при всемъ различіи ихъ воззрѣній на окончательныя задачи интеллигенціи въ Россіи — не противодействовали другъ другу, какъ это можно предположить на основаніи сопоставленія г. Богучарскаго, а совершали одно и тоже дѣло: готовили къ сознательному участію въ жизни страны тѣ (культурные) слои общества, которые, по обстоятельствамъ времени, были единственно доступны ихъ вліянію. Окончательный соціальный результатъ работы обоихъ писателей — т. е. сбѣлаются ли въ практической жизни подготовленные ими кадры новыми людьми, въ смыслъ Добролюбова, мыслящими реалистами по Писареву, или займутъ какое-либо третье положеніе — долженъ былъ зависѣть не столько отъ проповѣди соціальныхъ и соціологическихъ воззрѣній, составленныхъ при опредѣленной

комбинаціи обстоятельствъ, сколько отъ вліянія болѣе глубокихъ соціологическихъ и политическихъ факторовъ, какъ они опредѣлились въ другое, позднѣйшее время.

Оттого-то, хотя младшее, по крайней мѣрѣ, поколѣніе народниковъ 70-хъ годовъ воспитывалось не на Добролюбовѣ, а на Писаревѣ, и готовилось стать «мыслящими реалистами, которые желаютъ жить во имя своего развитого эгоизма, низвергая всѣ авторитеты и ставя цѣлью свободную и счастливую жизнь» (Н. С. Русановъ), но достаточно было появиться «небольшой книжкѣ» («Историческія Письма»), говорившей, между прочимъ, о бѣдствіяхъ народа и долгѣ ему интеллигенціи, какъ «мыслящіе реалисты» измѣнили свои намѣренія и оказались въ рядахъ идеологическихъ противниковъ своего учителя. Г. Богучарскій сопровождаетъ этотъ разсказъ замѣчаніемъ, что молодежь, на которую произвели такое впечатлѣніе, въ духѣ народничества, «Историческія письма» Миртова т. е. Лаврова, «совершенно успѣла, значить, позабыть проповѣдь Добролюбова» (стр. 103). Если тѣмъ не менѣе она связала свою судьбу съ народническимъ движеніемъ 70-хъ годовъ, то не служить ли это лучшимъ доказательствомъ тому, что основная стихія этого движенія—тяга къ народу—покоилась на чемъ-то болѣе настоящемъ, чѣмъ вліяніе той или другой, тѣмъ болѣе славянофильской, идеологій, и настоящихъ причинъ движенія нужно искать въ области соціологическихъ, а не идеологическихъ факторовъ.

Нѣкоторыя иллюстраціи къ этому положенію можно найти и въ имѣющейсѣ уже, довольно бѣдной, говоря вообще, литературѣ. Укажемъ для примѣра на одного народника, Фесенко, считавшаго бреднями разсужденія Бакунина и Лаврова о «добродѣтеляхъ» русскаго крестьянина, и ставшаго тѣмъ не менѣе въ ряды революціонеровъ (стр. 114). Назовемъ еще Н. А. Морозова, дѣятельнаго пропагандиста, несмотря на то, что онъ «никогда не вѣрилъ въ тогдашняго крестьянина, а только жалѣлъ его» <sup>1)</sup>. У этого народника 70-хъ годовъ мы найдемъ и совершенно категорическое указаніе на не идеологическіе факторы движенія въ народъ.

Уже первыя столкновенія юноши-Морозова съ революціонерами 70-хъ годовъ наводили его на мысль, что корни революціоннаго движенія находились вовсе не въ однѣхъ соціалистическихъ идеяхъ, которыя дебатировались по временамъ среди его новыхъ знакомыхъ. «Чувствовалась какая-то другая

<sup>1)</sup> Въ началѣ жизни, стр. 151.

причина, которой они и сами не подозрѣвали». Въ движеніи 70-хъ годовъ Н. А. Морозовъ «болѣе всего склоненъ видѣть борьбу учащейся, полной жизненныхъ силъ интеллигенціи съ стѣсняющимъ ее правительственнымъ и административнымъ произволомъ». Студенты и другія солидарныя съ ними лица изъ общества «боролись за свою свободу, которую они сливали съ свободой всей страны, за свое будущее, за живую науку въ учебныхъ заведеніяхъ. Не чувствуя за собой достаточно силъ, они обратились за помощью къ простому народу, *подъ первымъ появившимся идеалистическимъ знаменемъ, и сдѣлали изъ крестьянина себя бога*» («Въ началѣ жизни», ст. 149—51; курсивъ нашъ).

Жаль, что г. Богучарскій не обратилъ на воспоминанія Н. А. Морозова того вниманія, какого они заслуживаютъ. Можетъ быть, указанія этого виднаго участника движенія 70-хъ годовъ навели бы автора на мысль объ односторонности его приѣма—искать сущность и исходную точку народничества 70-хъ годовъ въ идеологіи этого направленія,—если на него не произвели никакого впечатлѣнія заявленія въ этомъ смыслѣ общей нашей литературы <sup>1)</sup>.

Итакъ, соціологическіе моменты были главнымъ факторомъ, опредѣлившимъ практическую идею народничества 70-хъ годовъ, его тактическій лозунгъ—единеніе съ народомъ. Но не этими ли моментами обусловливались до извѣстной степени «утопическій» характеръ идеологіи и «религіозное» настроеніе молодежи 70-хъ годовъ?

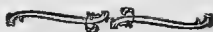
Какъ могли, спрашивается, народники взять на себя задачу политическаго пробужденія многомилліонной массы невѣжественнаго и совершенно имъ чуждаго населенія, при рѣзкомъ различіи міросозерцанія, положенія, правовъ и обычаевъ интеллигенціи и народа, при тѣхъ слабыхъ силахъ, какія могло дать для этого дѣла культурное общество того времени и при тѣхъ огромныхъ препятствіяхъ, какія должно было оно встрѣтить со стороны власти? Легко ли было рѣшиться на эту непосильную борьбу при обыкновенномъ, среднемъ моральномъ настроеніи, ради обыкновенныхъ текущихъ общественныхъ нуждъ, при ясномъ сознаніи того, что представляетъ изъ себя по міросозерцанію и политическому настроенію реальный русскій народъ? Не есте-

<sup>1)</sup> Мы говорили о народничествѣ 70-хъ годовъ въ книгѣ: «Отъ семидесятихъ годовъ къ девятисотымъ» (стр. 166—182) и въ «Политической Энциклопедіи» подъ редакціей Л. З. Слонимскаго («Народничество, какъ общественно-политическое направленіе и его историческіе корни»).

ственно ли психологически искать поддержки такому рѣшенію въ представленіи о грандіозности преслѣдуемой цѣли, о богатствѣ соціально-творческихъ силъ народа? Его надѣляли соответствующими чувствами, превозносили положительное значеніе тѣхъ формъ его быта, въ которыхъ можно видѣть зачатки новаго соціального устройства; преуменьшали трудности предстоявшей задачи, преувеличивали созвучную почву въ массахъ, тѣмъ болѣе, что для многихъ изъ этихъ представлений находилась поддержка въ работѣ родственной мысли на Западѣ. А продолжительное обращеніе мысли и чувства въ области такихъ возвышающихъ и воодушевляющихъ представлений, цѣлей и стремленій развѣ не могло настроить и самого человѣка на возвышенный, «религіозный» ладъ?

Не будетъ ли, поэтому, болѣе отвѣчающимъ и соціологіи, и человѣческой психологіи перевернуть построеніе В. Я. Богучарскаго о связи тактическихъ идей народничества съ его идеологіей, и вмѣсто того, чтобы мысль о революціонной дѣятельности въ народѣ и рѣшимости на этотъ шагъ выводить изъ идеологіи народниковъ, изъ ихъ религіознаго духа, закаленности ихъ характера и т. д.,—самыя соціальныя увлеченія, преувеличенія, «вѣру въ народъ» и душевный подъемъ народниковъ объяснить, хотя отчасти, свойствами поставленной передъ ними исторіей грандіозной задачи: политическаго объединенія интеллигенціи и народа?

В. В.



---

## ХУДОЖНИКЪ-ПЕЧАЛЬНИКЪ.

(В. М. Гаршинъ).

---

Очень высоко и съ рѣдкимъ единодушіемъ цѣнили Гаршина современники. Они его лелѣяли, какъ своего любимца, какъ свою лучшую надежду; они его искренно оплакали, когда онъ сошелъ въ раннюю могилу, 33 лѣтъ отъ роду, всего 10 лѣтъ проработавъ на литературной нивѣ <sup>1)</sup>.

Въ этомъ отношеніи — въ смыслѣ вниманія и симпатій — Гаршинъ былъ рѣдкимъ счастливцемъ. Онъ не зналъ многихъ изъ терній, какіе выпадаютъ на долю писателей. Онъ былъ знакомъ только съ тѣми муками-сомнѣніями, которыя неизбежны для каждаго художника на собственномъ, «вышемъ судѣ». Гаршина признали сразу, безъ всякихъ споровъ и колебаній, по первому же разсказу, написанному имъ въ турецкую войну.

Окружающіе какъ бы почувствовали въ Гаршинѣ избранника своей эпохи, ея выразителя. Словно невидимая рука все время охраняла его, помогала бороться съ недугомъ, съ тяжелыми впечатлѣніями жизни... но не уберегла.

Въ надгробныхъ рѣчахъ и поминальныхъ статьяхъ о Гаршинѣ — въ стихахъ и прозѣ — чувствуется эта прочная связь съ нимъ его современниковъ; звучать интимныя, непосредственныя ноты не только боли и сожалѣнія о немъ, но, какъ будто, и страха за себя. Очевидно, его роковой конецъ считался логически естественнымъ и возможнымъ для многихъ людей того времени.

...И содрогнулись безпечныя сердца  
Предъ этой новою открывшейся могилой...

---

<sup>1)</sup> Гаршинъ умеръ 24 марта 1888 года.



Какъ будто всѣ почувствовали вдругъ,  
 Что слишкомъ близки намъ его мученья,  
 И что недугъ его—для всѣхъ родной недугъ...<sup>1)</sup>.

И раньше, при жизни Гаршина, популярнѣйшій изъ критиковъ задавался въ своей статьѣ, характернымъ для того времени по трезвости и щепетильности, вопросомъ: за что мы полюбили Гаршина?—и отвѣчалъ на него съ полною опредѣленностью: за то, что онъ совсѣмъ нашъ—болѣетъ нашими муками, воплотилъ въ творчество самыя дорогія намъ чувства и мысли. Разбирая рассказы «Происшествіе» и «Трусъ», Михайловскій съ особеннымъ сочувствіемъ отмѣчаетъ въ герояхъ Гаршина ихъ протестъ противъ угнетенія личности. «Перечтите всѣ рассказы Гаршина,—говоритъ онъ:—вездѣ или почти вездѣ вы найдете, можетъ быть, не такъ ясно подчеркнутое, но все одно и то же: лучи все той же скорби о томъ специальномъ и высшемъ оскорбленіи, которое наносится человѣческому достоинству превращеніемъ человѣка въ тѣ или другіе клапаны, въ «пальцы отъ ноги». Вотъ за эту-то память о человѣческомъ достоинствѣ и за эту оригинальную, лично Гаршину принадлежащую, скорбь мы его и полюбили»...<sup>2)</sup>.

Случается, что такая популярность среди современниковъ и ихъ исключительная любовь создаютъ о писателѣ представленіе невѣрное, не соответствующее его настоящей цѣнности. Тогда при новомъ, трезвомъ взглядѣ, при «историческомъ освѣщеніи», ни отъ писателя, ни отъ его словъ не остается ничего.

О Гаршинѣ можно сказать какъ разъ обратное. Отъ такой объективной оцѣнки онъ долженъ только выиграть. Его подлинное, вѣчное содержаніе сложнѣе и шире того, какое внесла въ него жизнь. Выиграетъ онъ и какъ привлекательный, оригинальный художникъ. Тѣ немногія поэтическія страницы образцовой прозы, которыя оставилъ намъ Гаршинъ, пріобрѣтутъ при новомъ трезвомъ внимательномъ взглядѣ на нихъ, большую цѣнность, расцвѣтутъ своей настоящей, благоуханной красотой.

Какъ большой первосортный художникъ, какъ своеобразный талантъ, Гаршинъ недостаточно оцѣненъ, не смотря на всѣ хвалы и поклоненіе, которыми онъ былъ окруженъ. Неоцѣненъ и какъ новаторъ, этотъ старшій литературный братъ Чехова и нашего «молодого» Зайцева. А между тѣмъ, въ немъ—одно изъ тѣхъ естественныхъ звеньевъ, которыя соединяютъ новую литературу со старой...

<sup>1)</sup> Сборн. «Памяти Гаршина».

<sup>2)</sup> Сборн. «Памяти Гаршина», стр. 186.

Гаршинъ — лучший изъ учениковъ Тургенева и Толстого. Черезъ нихъ, да и помимо нихъ — непосредственной художнической интуиціей — онъ близокъ къ родоначальнику нашей прозы, Пушкину, имѣетъ нѣчто общее и съ лучшимъ ея мастеромъ — Лермонтовымъ. Но Гаршинъ замѣтно отличается отъ своихъ старшихъ собратьевъ. Онъ сознательно стремился къ новаторству, искалъ для себя путей и внесъ въ старый «реализмъ» нѣкоторыя ереси, сохранивъ, впрочемъ, все, что было непреходящаго въ прежнихъ литературныхъ устояхъ.

Тургеневъ раньше и тоньше другихъ угадалъ въ Гаршинѣ крупнаго художника. Это видно и изъ его внимательнаго, почти нѣжнаго отношенія къ начинающему писателю, и изъ его лестныхъ отзывовъ о немъ. Понялъ онъ, съ удивительнымъ предвидѣніемъ, и тѣ преграды, которыя могутъ вырасти на пути хрупкаго таланта. Въ 1882 г., вскорѣ послѣ того, какъ Гаршинъ оправился отъ особенно остраго припадка своей болѣзни, Тургеневъ писалъ ему: «Изъ всѣхъ нашихъ молодыхъ писателей, вы тотъ, который возбуждаетъ большія надежды. У васъ есть всѣ признаки настоящаго крупнаго таланта: художническій темпераментъ, тонкое и вѣрное пониманіе характерныхъ чертъ жизни — человѣческой и общей, чувство правды и мѣры — простота и красивость формы — и какъ результатъ всего — оригинальность. Я даже не вижу, какой бы совѣтъ вамъ преподать; — могу только выразить желаніе, чтобы жизнь вамъ не помѣшала, а, напротивъ, дала бы вашему созерцанію ширину, разнообразіе и спокойствіе, безъ котораго никакое творчество немислимо»... Чуткій старый писатель былъ правъ въ своихъ опасеніяхъ. Жизнь упорно мѣшала художественному развитію Гаршина — и его собственная жизнь, и окружающая — общественная. Она не дала ему вырасти и выразиться. О Гаршинѣ вполне уместно сказать, что онъ ушелъ изъ жизни, не успѣвши сдѣлать того, что могъ, и унесъ въ могилу богатые обѣщанія, даже въ буквальномъ смыслѣ — много намѣченныхъ литературныхъ плановъ и темъ. Несомнѣнно, онъ умеръ наканунѣ большихъ переменъ въ своемъ творствѣ и новыхъ художническихъ достижений.

---

Тревожная, ищущая эпоха 70-хъ годовъ не могла не оказать вліянія на впечатлительнаго Гаршина. Она отразилась въ его хрустальномъ творствѣ, какъ въ зеркалѣ. Запечатлѣлась не только ея большая романтическая душа, такъ рѣзко отличающая ее отъ бодрыхъ, трезвыхъ, немного раціоналистическихъ 60-хъ.

годовъ, но и всѣ фазы и оттѣнки ея переживаній. То было время общественнаго отлива и разныхъ провѣрокъ—нервное, рефлектирующее, совмѣщавшее въ себѣ такіа идейныя противорѣчія, какъ самоотверженное служеніе «долгу», самозакланіе во имя народа, и культъ личности, завѣщанный отцами... Конецъ 70-хъ годовъ окрасился еще однимъ осложненіемъ въ жизни интеллигенціи—переходомъ мирнаго, идиллическаго народничества къ активнымъ, боевымъ настроеніямъ. Порубежнымъ моментомъ былъ извѣстный выстрѣлъ Вѣры Засуличъ... Переходъ совершался съ большой ломкой для самихъ участниковъ движенія и оказалъ вліяніе на всю общественную атмосферу.

Такова была пища, которую могъ воспринимать Гаршинъ изъ окружающей жизни. Но едвали не важнѣе еще было то, *какъ* онъ ее воспринималъ.

Основная причина большой, тяжелой душевной драмы, пережитой Гаршинымъ на почвѣ наслѣдственной психической болѣзни,—больше всего въ немъ самомъ, въ особенностяхъ его природы. Это былъ человѣкъ необыкновенной чуткости и отзывчивости, одна изъ тѣхъ душъ, которыя сотканы изъ «лучшаго ээира»—природный печальникъ за человѣчество. Чужое страданіе находило въ его сердцѣ исключительно живой, жгучій откликъ. Онъ такъ былъ созданъ, что сильнѣе всего откликался именно на страданіе. Чтобъ жертвовать собой для другого, чтобы проявлять героизмъ, ему не нужно было искать опоры въ холодныхъ разсужденіяхъ о «долгѣ». Это у него было все свое—органическое, глубокое. Говорять, лицо Гаршина съ дѣтства носило отпечатокъ какой-то особенной, «неземной» красоты. Та же самая печать была на его внутреннемъ обликѣ и перешла на творчество.

Что главный источникъ гуманныхъ, героическихъ настроеній гаршинскаго творчества въ самомъ художникѣ, а не въ интеллигентскихъ идеяхъ того времени, можно видѣть въ коротенькомъ, но яркомъ разсказѣ «Сигналъ».

Здѣсь изображены не интеллигенты, а простые люди—два желѣзнодорожныхъ стрѣлочника, Семенъ и Василій. Оба они немало видѣли въ жизни всякихъ испытаній, утѣсненій и несправедливостей, но относятся къ этому различно. Кроткій, миролюбивый, созерцательный Семенъ больше склоненъ къ терпѣнію и къ ограниченію своихъ потребностей, чѣмъ къ борьбѣ. У него одно упованіе на Бога—чтобъ не затеряться въ жизни, не потонуть въ морѣ зла. Василій, напротивъ, по природѣ протестантъ, бунтарь и мститель. Для него «нѣтъ твари жесточе

человѣка». — Не знаю, возражаетъ на его философію Семень: — можетъ оно и такъ, а коли такъ, такъ ужъ есть на то отъ Бога положеніе... — Разсердился на такія слова Василій, не захотѣлъ и разговаривать. — Коли всякую скверность на Бога взваливать, а самому сидѣть да терпѣть, такъ это, братъ, не человѣкомъ быть, а скотомъ... — Расшевелить въ товарищѣ протестантскія чувства Василю не удалось, но самъ онъ излилъ ихъ при первомъ же случаѣ — отворотилъ рельсъ на пути пассажирскаго поѣзда. Тутъ-то и проявилась подлинная сущность Семена — зажглась бунтарствомъ и его мирная, кроткая душа. Онъ не боецъ, и по части принципиальныхъ протестовъ слабъ, но когда рѣчь идетъ о спасеніи погибающихъ, о защитѣ невинныхъ, онъ — смѣльчакъ и герой, не задумывающійся ни передъ какими жертвами и опасностями. Семену нечѣмъ было остановить приближающагося поѣзда, такъ онъ ранилъ себя и, окрасивъ своею кровью платокъ, на палкѣ поднялъ его надъ головой. Силы его слабѣли, онъ въ ужасѣ чувствовалъ, что флагъ его валится у него изъ рукъ. «Но не упало кровавое знамя на землю; чья-то рука подхватила его»... То былъ виновникъ всего происшедшаго, Василій, затѣмъ отдавшій себя въ руки правосудія. — Вяжите меня... я рельсъ отворотилъ.

У тенденціоннаго писателя и слабаго художника эта картина непременно вышла бы сантиментальной, отъ нея вѣяло бы ненужной идеализаціей и фальшью. А у Гаршина это одно изъ самыхъ сильныхъ мѣстъ, захватывающее подлиннымъ драматизмомъ. Тутъ не «торжество добродѣтели», а вспышка молніи, внезапное проявленіе той большой красоты, которую умѣлъ Гаршинъ извлекать изъ человѣческихъ душъ.

Разсказъ «Сигналъ» особенно интересенъ тѣмъ, что обнаруживаетъ самую сущность природы Гаршина, безъ интеллигентскаго налета. Это — стихійный гуманистъ; не теоретикъ-общественникъ, а исключительная моральная личность, одна изъ тѣхъ, которыя рождаются такъ же рѣдко, какъ пророки, какъ великіе духовные вожди массъ. Это — святые. Они одинаково далеки отъ всякихъ теорій: и отъ «непротивленія злу», и отъ систематической профессиональной борьбы съ насиліемъ посредствомъ насилія... Крылья ихъ, сила ихъ и неистовство, способность всецѣло отдаваться — отъ любви къ людямъ, а не отъ ненависти къ злу.

Когда стрѣлочникъ Семень совершаетъ свой сверхъ-естественный геройскій поступокъ, о его бытовомъ правдоподобіи какъ-то

не думается. Онъ покоряетъ своей внутренней правдой, правдой души Гаршина, того самаго Гаршина, который послѣ покушенія на Лорисъ-Меликова проникъ къ нему ночью и сталъ въ неистовствѣ умолять о прощеніи покушавшагося. Былъ ли онъ въ то время здоровъ или безуменъ? Кто возьмется рѣшать этотъ вопросъ, когда болѣзнь и здоровье такъ тѣсно соприкасались, переплетались въ жизни Гаршина, и раздѣляющую ихъ грань онъ такъ часто переступалъ? Здоровый, онъ всегда болѣлъ своей печалью-мукой за страдающее человѣчество, а больной—вѣренъ былъ тѣмъ мыслямъ и настроеніямъ, которыя заполняли его въ здоровомъ состояніи. Развѣ замѣчательная сказка о «Красномъ цвѣткѣ» не ярче всѣхъ другихъ произведеній говорить о Гаршинѣ, полностью раскрывая его «здоровый» душевный міръ?

Безумный герой Гаршина и въ сумасшедшемъ домѣ остается вѣренъ своей основной жизненной идеѣ: мечтаетъ объ искорененіи на землѣ зла. Последнее представляется ему воплощеннымъ въ цвѣтокъ мака, растущій въ больничномъ саду. Какъ только онъ увидѣлъ сквозь стеклянную дверь алые лепестки, такъ и понялъ, что долженъ дѣлать. «Цвѣтокъ въ его глазахъ олицетворялъ собой все зло; онъ впиталъ въ себя всю невинно пролитую кровь (оттого и былъ такъ красенъ), всѣ слезы, всю жёлчь человѣчества». Онъ почувствовалъ, что именно онъ призванъ сокрушить врага. Для того, чтобы сорвать цвѣтокъ, нужно большое мужество, такъ какъ онъ ядовитъ. Но нашъ герой и жаждетъ подвига. Онъ готовъ погибнуть ради человѣческаго счастья. Сорвавши страшный цвѣтокъ, безумецъ быстро и хитро—на глазахъ у больничнаго сторожа—спряталъ его у себя на груди. «Онъ надѣялся, что къ утру цвѣтокъ потеряетъ всю свою силу. Его зло перейдетъ въ его грудь, его душу, и тамъ будетъ побѣждено или побѣдितъ—тогда самъ онъ погибнетъ, умретъ, но умретъ, какъ честный боецъ и какъ первый боецъ человѣчества, потому что до сихъ поръ никто не осмѣливался бороться разомъ со всѣмъ зломъ»...

Въ этой больной, самоотверженной грезѣ полностью отразилась моральная психологія Гаршина. Не отдѣльные проявленія зла вызывали въ немъ протестъ и жажду борьбы, а самая идея зла, весь обликъ ненавистнаго Аримана, столь противоположный его душѣ, жаждущей добра. Какая борьба съ нимъ наиболѣе цѣлесообразна—скорѣе ведетъ къ цѣли? Эта задача всецѣло заполняла Гаршина и въ то время, когда онъ былъ здоровъ, и тогда, когда онъ переступалъ ту зыбкую, условную грань, которая отдѣляла его здоровье отъ болѣзни.



Безумный герой «краснаго цвѣтка» тѣсными узами духовнаго родства связанъ съ другими, «здоровыми», героями Гаршина, напр., съ художникомъ Рябининымъ, точно такимъ же подвижникомъ—мученикомъ идеи добра.

Рябининъ—общепризнанный молодой талантъ, лучшая надежда Академіи, художникъ, которому наибольше завидуютъ товарищи. Но его самого ничуть не радуютъ раскрывающіяся передъ нимъ блестящія перспективы. Онъ поглощенъ мыслями о жизни, жаждой служенія добру и не знаетъ, является ли искусство тѣмъ поприщемъ, на которомъ онъ сможетъ выполнить свое жизненное призваніе, осуществить свой долгъ. У Рябинина не даромъ было «несчастное», по мнѣнію художниковъ, пристрастіе къ «реалистическимъ сюжетамъ», разнымъ «лаптямъ», «онучамъ» да «полупубкамъ». Жизнь для него была важнѣе искусства, и она съ дѣтства ранила его душу своей жестокостью и несправедливостью. Какова связь съ нею искусства?.. Когда онъ слышалъ разговоры или читалъ книги, толкующія о значеніи искусства, въ немъ всегда шевелилась мысль: если оно его имѣетъ...

Подобно самому Гаршину, Рябининъ сознается, что пишетъ картины своими «нервами и кровью»... Работа для него въ одно и то же время рай и казнь. Картина—какъ монастырь. Въ нее можно уйти съ головой, забывши обо всѣхъ докучливыхъ вопросахъ. «Картина—міръ, въ которомъ живешь и передъ которымъ отвѣчаешь. Здѣсь исчезаетъ житейская нравственность; ты создаешь себѣ новую въ своемъ новомъ мірѣ и въ немъ чувствуешь свою правоту, достоинство или ничтожество и ложь, по своему, независимо отъ жизни»... Но вѣдь на картинѣ-то—сама жизнь, то страшное въ ней, что ранило его душу. И въ промежуткахъ между работой, во время отдыха, роковой вопросъ: «Зачѣмъ», оказывается, имѣетъ еще большую власть

Написалъ Рябининъ своего страшнаго «глухаря»—котельщика и самъ въ ужасѣ. «Это—не написанная картина, а созрѣвшая болѣзнь»... Онъ не знаетъ, чѣмъ эта болѣзнь кончится, но чувствуетъ, что больше писать картинъ не будетъ. Чужая мука вошла ему въ сердце, созданный имъ глухарь зоветъ его къ себѣ на помощь, отъ художественнаго созерцанія въ непосредственную жизнь. Какъ это осуществить? Рябининъ по цѣлымъ днямъ не можетъ оторвать глазъ отъ своего страшнаго созданія и даже слышитъ удары молота. Боясь сойти съ ума, онъ завѣсилъ картину, но не избавился отъ своей муки. Со-

зданный имъ, вызванный изъ «душнаго, темнаго котла» чловѣческій призракъ стоялъ передъ нимъ неотступно.

Переходъ отъ мученій совѣсти, отъ сомнѣній болѣзненно-чуткаго чловѣка къ бреду и галлюцинаціямъ переданъ Гаршинымъ очень естественно, съ большимъ художественнымъ мастерствомъ. Больной Рябининъ тѣсными узами связанъ съ здоровымъ. Болѣзнь обусловлена дѣйствительностью, но и дѣйствительность будетъ зависѣть отъ того, что пережито въ болѣзни. «Оцѣпенѣніе держитъ меня, и ужасъ охватываетъ меня, и я просыпаюсь весь въ жару. Просыпаюсь не совсѣмъ, а въ какой-то другой сонъ»... Ему кажется, что онъ опять на заводѣ, гораздо больше, чѣмъ тотъ, гдѣ онъ нашелъ своего глухаря. «И вотъ все сливается въ ревъ, и я вижу... Вижу: странное, безобразное существо корчится на землѣ отъ ударовъ, сыпавшихся на него со всѣхъ сторонъ. Цѣлая толпа бьетъ, кто чѣмъ попало. Тутъ всѣ мои знакомые съ остервенѣлыми лицами колотятъ молотами, ломami, палками, кулаками это существо, которому я не прибралъ названія. Я знаю, что это—все онъ же... Я кидаюсь впередъ, хочу крикнуть: «перестаньте! за что!» и вдругъ вижу блѣдное, искаженное, необыкновенно страшное лицо, страшное потому, что это мое лицо. Я вижу, какъ я самъ, другой я самъ, замахиваюсь молотомъ, чтобы нанести неистовый ударъ»...

Рябининъ послѣ болѣзни не вернулся къ искусству, а пошелъ въ народные учителя—спасать «глухаря». Жизнь или, вѣрнѣе, моральная рефлексія взяла въ немъ верхъ надъ художникомъ.

А въ самомъ Гаршинѣ, къ счастью, въ подобной борьбѣ часто побѣждалъ художникъ. Безпристрастный художникъ сказался въ Гаршинѣ и въ тѣхъ знаменательныхъ словахъ, которыми онъ закончилъ свой рассказъ: «Рябининъ, дѣйствительно, не преуспѣлъ»... Чтобы выполнить велѣніе «долга», альтруистическій герой Гаршина не останавливался ни передъ чѣмъ, даже передъ насиліемъ надъ собой. Жизнь не прощаетъ такого преступленія. Эта правда личности для Гаршина, какъ для художника, была священна. Поэтому-то онъ и не далъ своему Рябинину преуспѣть.

---

Отношеніе Гаршина къ своему «искусству» было аналогично рябининскому. Правда, онъ не сомнѣвался въ «значеніи», въ благотворномъ вліяніи литературы на жизнь. Онъ сомнѣвался только въ своихъ силахъ, въ талантѣ. Онъ мечталъ и упорно

готовилъ себя къ литературной дѣятельности еще въ гимназіи. Въ 1875 году, еще до литературнаго дебюта, онъ уже чувствовалъ себя связаннымъ съ этой мечтой неразрывными нитями. «Дѣло въ томъ» — писалъ онъ одному пріятелю: «что только на этомъ поприщѣ я буду работать изо всѣхъ силъ, стало быть, успѣхъ — вопросъ въ моихъ способностяхъ и вопросъ, имѣющій для меня значеніе вопроса жизни и смерти. *Вернуться я уже не могу.* Какъ вѣчному жиду голосъ говорить: «иди, иди», такъ и мнѣ что-то суесть перо въ руки и говорить: «пиши, пиши»...

Роковой рябининскій вопросъ: «Зачѣмъ»? (Зачѣмъ все — если нельзя общимъ ударомъ уничтожить все зло!...) по временамъ вставалъ передъ нимъ неотступно, мѣшалъ спокойно отдаваться призванію, создавалъ недовольство собой, а это въ свою очередь содѣйствовало росту сомнѣній въ литературномъ талантѣ — цѣлый заколдованный кругъ. Въ минуты, когда охватывали литературныя сомнѣнія, Гаршинъ чувствовалъ непреодолимую потребность немедленно вмѣшаться въ жизнь, отправиться на самый отвѣтственный и опасный пунктъ... Такимъ пунктомъ была въ то время война. Трудности походовъ и сраженій какъ нельзя лучше успокаивали его больную, мятущуюся совѣсть. «Никогда не было во мнѣ такого полного душевнаго спокойствія, мира съ самимъ собой и кроткаго отношенія къ жизни, какъ тогда, когда испытывалъ эти невзгоды и шелъ подъ пули убивать людей»... говорится въ «Воспоминаніяхъ рядового Иванова».

Несомнѣнно, военная служба была для Гаршина тѣмъ же моральнымъ выходомъ и лѣчебнымъ средствомъ, какъ для Рябинина его учительство. Но отношеніе Гаршина къ этому вопросу было сложнѣе, чѣмъ принято думать. Тутъ были всѣ элементы и импульсы, начиная съ весьма обыденной жажды военныхъ подвиговъ, которая, можетъ быть, зажглась въ его сердцѣ еще въ дѣтствѣ, когда онъ слушалъ рассказы о севастопольской оборонѣ. Четырехлѣтнимъ мальчикомъ онъ собирался на войну, — укладывалъ вещи и со слезами прощался съ нянькой... Конечно, гаршинскіе гуманисты, идя на войну, не думали, что они будутъ «убивать людей». Всѣ они, какъ герой «Четырехъ дней», больше воображали себѣ, какъ они подставятъ подъ пули свою собственную грудь. Но все-же подвиги военнаго мужества и отваги занимаютъ ихъ воображеніе. О самомъ Гаршинѣ, въ одномъ изъ донесеній о немъ, сказано, что онъ «примѣромъ личной храбрости увлекъ впередъ товарищей въ атаку, во время

чего онъ и раненъ въ ногу». Впослѣдствіи онъ за участіе въ этомъ дѣлѣ (при Аясларѣ) былъ представленъ къ Георгіевскому кресту и произведенъ въ офицеры. Въ «Воспоминаніяхъ рядового Иванова» передана интереснѣйшая гамма разныхъ характерно-военныхъ ощущеній, показывающихъ, что въ Гаршинѣ, на ряду съ рефлектирующимъ интеллигентомъ, жилъ непосредственный, простой русскій человѣкъ. Пожалуй, этотъ послѣдній даже преобладалъ. Поэтому-то такъ милы сердцу Гаршина наши солдатики. Ему такъ естественно было жить общою съ ними жизнью, писать имъ безчисленные письма на родину, отстаивать ихъ интересы. Въ его разсказѣ они изображены безъ того обсахариванья, которое свойственно писателямъ-народникамъ. Эти простые русскіе люди у него совсѣмъ живые, съ своей мужицкой правдой и мужицкими слабостями. Особенно великолѣпна въ «Воспоминаніяхъ» картина царскаго смотра, гдѣ интеллигентный рядовой въ чувствахъ къ войнѣ, къ Россіи и своему царю вполне сливается съ простыми солдатами.

Интеллигентская рефлексія Гаршина въ вопросѣ о войнѣ и вѣянїи общественности полнѣе всего выразились въ разсказѣ: «Трусь». Герой разсказа—все тотъ же гаршинскій alter ego, человѣкъ исключительной душевной чуткости, чистоты и гуманности, особенно остро реагирующій на чужое страданіе. Нервы у него «такъ устроены», что военныя телеграммы производятъ на него ошеломляющее дѣйствіе. Роковая цифра выбывшихъ изъ строя то «носится» передъ нимъ «въ видѣ знаковъ», «то растягивается безконечной лентой лежащихъ рядомъ труповъ»... Въ книгѣ передъ нимъ «вмѣсто буквъ, валящіяся ряды людей... перо кажется оружіемъ, наносящимъ бѣлой бумагѣ черныя раны»... А тутъ еще голосъ общественнаго мнѣнія, говорящій устами будущей сестры милосердія, Маріи Петровны. «Война есть общее горе, общее страданіе, и уклоняться отъ нея, можетъ быть, и позволительно, но мнѣ это не нравится»... Миролюбивый молодой человѣкъ, знавшій до сихъ поръ только свои книги да аудиторію, да семью, рѣшаетъ идти на войну. Но все живое въ немъ, его личность, горячо противъ этого протестуетъ. «Куда жъ дѣнется твое я?»—иронически спрашиваетъ онъ себя: «ты всѣмъ существомъ своимъ протестуешь противъ войны, а все-таки война заставитъ тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать»... Въ прощальную ночь передъ отъѣздомъ это настроеніе достигаетъ особенной силы.

«...Въ послѣдній разъ я пришелъ въ эту маленькую комнату и сѣлъ къ столу, освѣщенному знакомой низенькой лампой,

заваленному книгами и бумагой. Цѣлый мѣсяцъ я не прикасался къ нимъ. Въ послѣдній разъ я беру въ руки и рассматриваю начатую работу. Она оборвалась и лежитъ мертвая, недоношенная, бессмысленная. Вмѣсто того, чтобы кончать ее, ты идешь съ тысячами тебѣ подобныхъ, на край свѣта, потому что исторіи понадобились твои физическія силы. Объ умственныхъ—забудь: онѣ никому не нужны. Что до того, что многіе годы ты воспитывалъ ихъ, готовился куда-то примѣнить ихъ? Огромному, невѣдомому тебѣ организму, котораго ты составляешь ничтожную часть, захотѣлось отрѣзать тебя и бросить. И что можешь сдѣлать противъ такого желанія ты, ты—палецъ отъ ноги?»...

Послушный велѣнію «долга» не уклоняться отъ «общаго горя», кроткій молодой человѣкъ, кѣмъ-то заподозрѣнный въ трусости, идетъ на войну, но оставляетъ за собой право «имѣть объ этомъ свое собственное мнѣніе»... Въ разговорѣ съ товарищемъ раскрывается и его интимнѣйшее побужденіе рѣшить вопросъ объ участіи въ войнѣ утвердительно.—Совѣсть мучить не будетъ...

Любопытенъ контрастъ съ этой интеллигентской рефлексіей конкретной военной психологіи «пьянаго солдатака», одного изъ тѣхъ, которые не знаютъ, куда ихъ гонять воевать, въ Болгарію или Бухарію.

— Этого самого турку бить слѣдуетъ.

— Слѣдуетъ?—спросилъ я, невольно улыбнувшись увѣренности рѣшенія.

— Такъ точно, баринъ, чтобъ и званія его не осталось, поганяго. Потому, отъ его бунту сколько намъ всѣмъ муки принять нужно! Ежели бы онъ, напримѣръ, безъ бунту, чтобы благородно, смирно... былъ бы я теперь дома, при родителяхъ, въ лучшемъ видѣ. А-то онъ бунтуетъ, а намъ огорченіе...

Гаршинъ пошелъ на войну, какъ только она была объявлена—весной 1877 года, бросивши переходные экзамены въ Горномъ институтѣ; но оставался тамъ недолго и, вскорѣ послѣ полученной раны, сталъ хлопотать объ отставкѣ. Въ началѣ слѣдующаго года онъ уже былъ въ Петербургѣ. Однако, военные счеты далеко не были покончены. Мысль: «махнуть обратно въ свой Болховской полкъ»—посѣщала его не разъ. Она была особенно настойчива въ тѣ періоды, когда не клеилась у него литературная работа. Не только сомнѣнія въ своемъ талантѣ мѣшали ему, но и самый подвигъ творчества бывалъ ему не по силамъ, пугалъ его и отталкивалъ. Для него, какъ для Ряби-



нина, «каждая написанная картина» была «созрѣвшая болѣзнь», да и самый процесс писанія требовалъ слишкомъ дорогой платы. «Писать для меня теперь—значить начать старую сказку и черезъ три-четыре года снова попасть въ больницу для душевно-больныхъ. Богъ съ ней съ литературой; если она доводитъ до того, что хуже смерти», писалъ онъ пріятелю. Въ такія-то минуты, иногда непосредственно передъ припадкомъ душевной болѣзни, и являлась мысль о возвращеніи въ военную службу, казавшуюся ему спасительной.

Служба, особенно въ военное время, дѣйствовала на этого мученика въ самомъ дѣлѣ очень своеобразно, можетъ быть, и благотѣльно. Она не только исцѣляла, успокаивала его, а и заставляла жить болѣе непосредственною жизнью, пробуждала въ немъ стихійнаго человѣка. Война, въ которой участвовалъ Гаршинъ, по его словамъ, дала ему чрезвычайно много важныхъ впечатлѣній и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ раскрыла передъ нимъ новые горизонты. Тогда-то и сказывалась сущность его душевнаго склада, во многихъ отношеніяхъ его отличавшая отъ типичныхъ интеллигентовъ-общественниковъ. Сохранилось любопытное письмо Гаршина съ войны, свидѣтельствующее объ его розни съ радикальными интеллигентами. «Относительно «красноты» я пошелъ еще дальше въ прежнемъ направленіи,—пишетъ онъ матери. — Я ясно созналъ теперь громадность міра, съ которымъ пытается бороться кучка людей. И этотъ міръ знать ея не хочетъ. Я не могу возвести всего этого въ явленіе»... <sup>1)</sup> Не менѣе краснорѣчиво и письмо его на ту же тему къ матери, которая называетъ своего сына «не погибшимъ, а загубленнымъ» и обостреніе его болѣзни всецѣло приписываетъ общественнымъ настроеніямъ. «По своей добротѣ, честности, справедливости, онъ не могъ пристать ни къ одной сторонѣ и глубоко страдалъ за тѣхъ и другихъ. Но когда пошли насилія, убійства, покушенія, взрывъ Зимняго дворца, казни, его бѣдная голова не выдержала и въ началѣ марта 1880 г. онъ былъ уже вполнѣ сумасшедшимъ»... <sup>2)</sup> Чувствовать себя не бойцемъ и расходиться съ бойцами въ боевое время, при страстномъ желаніи принимать непосредственное участіе въ борьбѣ, это, конечно—большая трагедія, которая могла служить каплей, переполнившей чашу. Возможно, что ни болѣзнь Гаршина, ни его исключительно тонкая и хрупкая ор-

<sup>1)</sup> Русск. Обзор. 1895 г. кн. 2—4.

<sup>2)</sup> Русск. Обзор. 1895 г. кн. 2—4.

танизация моралиста-подвижника не привели бы его къ роковому концу, еслибы онъ жилъ въ другую, болѣе здоровую, спокойную и гармоничную эпоху...

Первый разсказъ Гаршина: «Четыре дня» <sup>1)</sup>, напечатанный въ 1877 г., въ «Отеч. Записк.», былъ встрѣченъ общимъ сочувствіемъ. Онъ заслуживалъ этого, не только по своему искреннему гуманному настроенію, но и по художественному выполнению. Его и теперь можно перечитывать съ удовольствіемъ,—такъ свѣжа и оригинальна его концепція,—а тогда онъ долженъ былъ поражать своей новой простотой и изобразительной выпуклостью. Эти коротенькія, яркія картинки, быстро смѣняющіяся, мелькающія, какъ на экранѣ, и живой, «импрессионистскій» — интимный и красочный — языкъ держатъ читателя въ постоянномъ напряженіи. Онъ не устаетъ отъ мрачнаго монотоннаго сюжета и даже не ждетъ съ нетерпѣніемъ развязки, а съ жадностью воспринимаетъ всѣ художественныя детали разсказа; хотя и захваченъ его основной музыкой, авторской психологіей... Особенно красиво и тонко, въ чрезвычайно быстромъ темпѣ, передана первая картина: стычка съ непріателемъ... Первая кровь — раненый молоденькій солдатикъ, обернувшійся съ «большими испуганными глазами»... огромный турокъ лицомъ къ лицу... убійство и собственная рана, послѣ чего вдругъ «все исчезло» — только мелькнуло надъ головой «что-то синее»...

Для новичка-дебютанта такой разсказъ — чудо. Въ немъ задатки гениальности. Къ сожалѣнію, Гаршинъ ихъ не осуществилъ. Все, написанное имъ послѣ, стоитъ ниже «Четырехъ дней», не отличается такой силой изобразительности, художественной стройностью и законченностью. Этотъ первый разсказъ, очевидно, долго назрѣвалъ и вынашивался — не въ смыслѣ сюжета, конечно, который, напротивъ, получилъ воплощеніе чрезвычайно быстро, а въ отношеніи творческаго настроенія. Это было первое литературное дѣтище, осуществленіе завѣтной мечты о писательствѣ. Жажда творчества, литературнаго проявленія, тутъ повидимому охватила Гаршина такъ сильно, что все другое, слишкомъ субъективное — разныя моральныя сомнѣнія и рефлексіи — отступило на второй планъ. Поводомъ для созданія разсказа послужили

1) Еще раньше «Четырехъ дней», въ 1876 г., Гаршинъ напечаталъ небольшой сатирическій очеркъ: «Подлинная исторія энкаго земскаго собранія». Но самъ Гаршинъ не придавалъ ему значенія и не включилъ въ собраніе своихъ разсказовъ. Поэтому правильнѣе считать литературнымъ дебютомъ «Четыре дня». Е. К.

два особыхъ момента: внѣшній фактъ—раненный, найденный послѣ сраженія среди труповъ, и собственная рана, полученная въ другомъ сраженіи. Эти моменты объединились и слились, личный элементъ звучитъ здѣсь не такъ болѣзненно и напряженно, какъ въ другихъ разсказахъ, собственные переживанія болѣе обыкновеннаго объективировались, чѣмъ отчасти и объясняется неожиданная зрѣлость этого первого разсказа.

По возвращеніи въ Петербургъ, Гаршинъ въ первую же зиму написалъ «Очень маленькій романъ», кой-чѣмъ въ тонѣ напоминающій «Бѣдныхъ людей» Достоевскаго, и «Происшествіе»—оба разсказа отъ первого лица. Въ «Происшествіи» впервые примѣнена та неудобная форма двухъ чередующихся дневниковъ, которая такъ тяготила внослѣдствіи самого Гаршина, но сдѣлалась для него обычной. На первый разъ онъ съ ней совсѣмъ не справился. Для развитія сюжета, дневниковъ оказалось недостаточно, и автору часто приходилось прибѣгать къ добавленіямъ и поясненіямъ, нарушающимъ стройность разсказа. Техническая беспомощность, однако, не помѣшала художнику намѣтить обаятельный образъ идеализированной проститутки. Въ «Происшествіи» есть глубоко драматичные моменты, напр., тотъ, когда Надежду Николаевну внезапно озарила мысль, что ея отвергнутый поклонникъ изъ-за нея «теперь стрѣляется»... и она спѣшитъ вернуться къ нему.

Уже въ первыхъ разсказахъ обнаружились всѣ привлекательныя свойства гаршинской прозы: ея особенная—изящная, отточенная простота и выразительность, сочетаніе интенсивности внутренняго настроенія съ благородной внѣшней сдержанностью. Въ однихъ воспоминаніяхъ о Гаршинѣ сказано, что онъ «говорилъ спокойно, безъ жестовъ. Чувствовалось, что его слова были вѣрнымъ отраженіемъ того, что онъ думалъ, безъ преувеличенія и безъ смягченія»... <sup>1)</sup>. Такъ и писалъ онъ—«безъ жестовъ», безъ расхолаживающей реторики, безъ утомительныхъ отступленій и прозаическаго протоколизма. Живописность изображенія достигалась у него немногими удачно выбранными, подлинно художественными штрихами, а не обстоятельнымъ описаніемъ. Каждое слово у него съ тютчевской точностью соотвѣтствуетъ своему значенію, употреблено въ своемъ настоящемъ смыслѣ. И пейзажи, и люди у Гаршина говорятъ сами за себя, авторскія изліянія не разбавляютъ впечатлѣнія, эмоциональность у него въ самомъ содержаніи, подлинная, глубокая, а не искус-

<sup>1)</sup> Сборникъ «Красный цвѣтокъ» стр. 19.

ственная, словесная. Въ первыхъ разсказахъ почувствовалось, что это живая, *новая* проза.

За «Проишествіемъ» послѣдовали: Трусъ», «Встрѣча», «Художники», сказка «Attalea princeps» и, наконецъ, «Ночь», написанная зимой 1879 г., незадолго до болѣзни. Каждое изъ гаршинскихъ произведеній въ большей или меньшей степени субъективно—носитъ на себѣ печать его индивидуальности, его большого, яркаго сердца, и его необыкновенной душевной красоты, неразрывно связанной съ печалью. Печаль, то явная, то подавленная, затаенная, почти никогда не покидала Гаршина. Но все-же едва-ли правильно называть его пессимистомъ. По взглядамъ на жизнь, по отношенію къ жизни онъ не былъ пессимистомъ. Въ одномъ изъ своихъ писемъ онъ самъ говоритъ, что мозги у него такъ устроены, что «Гартманъ не соблазняетъ». Вполнѣ соотвѣтствуетъ этимъ словамъ и характеристика Гаршина, сдѣланная его близкимъ другомъ, Фаусекомъ, который утверждаетъ, что въ промежуткахъ между приступами болѣзни Гаршинъ отличался даже жизнерадостностью.

«У него была огромная способность понимать и чувствовать счастье жизни. Его разносторонняя, впечатлительная, богато одаренная натура была крайне чутка ко всему доброму и хорошему въ мірѣ; всѣ источники радости и наслажденія въ человѣческой жизни были ему доступны и понятны. Страстный цѣнитель искусствъ, онъ всей душой любилъ поэзію, живопись и музыку, никогда не уставалъ ими наслаждаться. Знатокъ и любитель природы, онъ чрезвычайно чутко относился ко всѣмъ ея красотамъ, ко всѣмъ ея проявленіямъ; онъ любилъ небо и звѣзды, море и степь, звѣрей и растенія; книга-природа была для него великолѣпная книга. Онъ любилъ людей, былъ общительнаго характера и человѣческое общество ему, доброму, скромному и въ высшей степени терпимому человѣку всегда было пріятно, всегда доставляло удовольствіе. Онъ любилъ всякія физическія упражненія, всякій ручной трудъ и съ увлеченіемъ и радостью предавался имъ... Для него міръ былъ полонъ прекраснаго. Онъ не думалъ, что «жизнь міра есть грѣхъ и зло», онъ тѣмъ болѣе ненавидѣлъ зло, что оно было на его взглядъ чудовищнымъ контрастомъ съ той радостью и красотой, которую онъ видѣлъ въ мірѣ»<sup>1)</sup>.

Къ сожалѣнію, тѣ просвѣты, когда полностью могла проявляться эта жизнерадостность, были очень кратки. На вопросъ

1) Сб. «Памяти Гаршина», стр. 109.

какъ онъ поживаетъ, Гаршинъ отвѣчалъ въ письмахъ всегда приблизительно одно и тоже: «Скверно. Скверность исходитъ отъ меня, потому что внѣшнія обстоятельства благополучны»... Онъ доказывалъ, что люди отъ природы дѣлятся на два разряда: съ хорошимъ и дурнымъ самочувствіемъ. Онъ былъ увѣренъ, что пессимизмъ и оптимизмъ обуславливается не міросозерцаніемъ, а собственнымъ «устройствомъ»... Герои Гаршина, какъ и онъ самъ, меланхолики, люди съ дурнымъ самочувствіемъ. По сложнымъ причинамъ, они «не преуспѣваютъ», но они никогда не покушаются на отрицаніе жизни. Характерно, что самоубійство встрѣчается въ произведеніяхъ Гаршина чрезвычайно рѣдко, кажется, всего разъ: убиваетъ себя жалкій чиновникъ въ «Происшествіи»...

Не было пессимизма въ той эпохѣ, которая питала и творчество Гаршина. Сознаніе «бездорожья» и сопровождавшее его душевное уныніе стало просачиваться въ общественное сознаніе позже—въ срединѣ 80-хъ годовъ.

Въ разсказѣ «Ночь» дана типичная психологія средняго человѣка сложной, больной эпохи 70-хъ годовъ. Измученный интеллигентъ Алексѣй Петровичъ, задумавшій покончить съ собой—человѣкъ безъ крыльевъ, которому не подъ силу трудныя задачи, выдвинутыя его временемъ, и героизмъ. Постоянное рефлексированіе—борьба чувства съ долгомъ, эгоизма съ альтруизмомъ—утомили его и привели къ полному опустошенію его маленькой души. Этотъ несчастный человѣкъ и въ ночь «итоговъ» занимается самоѣдствомъ. Онъ чувствуетъ, что запутался, что ему нечѣмъ жить. Неожиданный звукъ колокола на мгновеніе вывелъ истерзаннаго человѣка изъ его замкнутыхъ, самоѣдскихъ настроеній, разбудилъ воспоминанія дѣтства. И сталъ онъ молить судьбу о ниспосланіи «хоть бы какого-нибудь настоящаго, неподдѣльнаго чувства, не умирающаго внутри моего я»...—Происходитъ поединокъ двухъ враждующихъ голосовъ: стараго, эгоистическаго, и новаго, общественнаго, убѣждающаго умертвить себялюбиваго божка, «отвергнуть себя». Побѣждаетъ этотъ послѣдній, зовущій отъ замкнутости въ большой, широкій міръ. Но истерзанное сердца героя не выдерживаетъ наплыва новыхъ чувствъ. Такъ судьба, взамѣнъ новой, спокойной жизни въ гармоніи съ самимъ собой, даритъ ему мирную, естественную смерть вмѣсто самоубійства.

Безцвѣтный, извѣрившійся въ любви герой «Ночи» не близокъ любвеобильному гаршинскому сердцу. Это самый чужой ему и самый надуманный изъ его героевъ. Поэтому и въ разсказѣ нѣтъ обычнаго лиризма. Но все-же по общему складу и тонкой художественной отдѣлкѣ, это типично гаршинскій разсказъ. Съ нимъ



произошла любопытная исторія. Михайловскій не понялъ его и въ отзывъ о немъ впалъ въ очень крупную ошибку относительно его конца. Онъ думалъ, что Алексѣй Петровичъ, «въ концѣ концовъ (послѣ наплыва жизнерадостныхъ чувствъ), все-таки застрѣлился»... Когда самъ Гаршинъ отмѣтилъ эту ошибку, Михайловскій пространно оправдывался и, какъ на одну изъ причинъ недоразумѣнія, указалъ на «слишкомъ тонкую—*кружевную* работу Гаршина»... «Я своевременно читалъ все, что Гаршинъ печаталъ, а принимаясь въ прошлый разъ писать о немъ, все вновь перечиталъ съ особенною спеціальною тщательностью, и, однако, впалъ въ вышеприведенную ошибку, потому что просмотрѣлъ буквально *одно* слово»... (что оружіе лежало *заряженнымъ*)...

Ошибка Михайловскаго, конечно—не отъ невниманія. И она тѣмъ болѣе любопытна, что ее, еще въ большей степени, повторилъ другой крупный человѣкъ того времени, тоже съ симпатіей слѣдившій за Гаршинымъ—Тургеневъ. По прочтеніи разсказа онъ написалъ Гаршину: «Зачѣмъ у васъ въ концѣ «Ночи» сказано: лежалъ «человѣческій трупъ»? «Вѣдь онъ себя не убилъ—да и не видно, чтобъ онъ умеръ отъ другихъ причинъ.»—Эта *неясность* производитъ въ читателѣ впечатлѣніе недоумѣнія, чего особенно слѣдуетъ избѣгать»...

Никакой неясности въ разсказѣ Гаршина, конечно, нѣтъ. Есть только нерасположеніе къ чрезмѣрной «договоренности», противъ которой такъ протестовалъ Чеховъ. Родство Гаршина съ его литературнымъ преемникомъ тутъ бросается въ глаза... Причина ошибки современниковъ не въ неясности заключительной картины и не въ пропущенномъ «одномъ словѣ», а въ непривычныхъ для нихъ приѣмахъ гаршинскаго творчества.

Сильно тяготѣя къ эстетической новизнѣ, Гаршинъ допускалъ ее въ своихъ разсказахъ осторожно, съ большимъ чувствомъ мѣры, отличавшимъ его во всемъ. Въ письмахъ Гаршина есть опредѣленные указанія на его упорныя художественныя исканія. По поводу своей «Надежды Николаевны», не удовлетворившей его самого, онъ писалъ: «Я заслужилъ за нее многіе и многіе упреки. Конечно, не съ той стороны, съ которой выругала критика. Что вещь вышла не «реальной», о томъ я не забочусь. Богъ съ нимъ, съ этимъ реализмомъ, натурализмомъ и прочимъ. Это теперь въ расцвѣтѣ или, вѣрнѣе, въ зрѣлости и плодъ внутри уже начинаетъ гнить. Я ни въ какомъ случаѣ не хочу дожевывать жвачку послѣднихъ пятидесяти—сорока лѣтъ и пусть лучше разобью себѣ лобъ въ попыткахъ создать себѣ что-

нибудь новое, чѣмъ идти въ хвостъ школы, которая изъ всѣхъ школъ, по моему мнѣнію, имѣла меньше всего вѣроятія утвердиться на долгіе годы» <sup>1)</sup>. Гаршинъ былъ очень строгъ къ себѣ, считая свои рассказы лишь этюдами. Онъ находилъ, что ему «нужно переучиваться сначала», жаловался на «старую манеру», которая «навязла въ перо», имѣя, очевидно, въ виду слишкомъ субъективный характеръ своихъ произведеній. «Для меня прошло время страшныхъ отрывочныхъ воплей, какихъ-то стиховъ въ прозѣ, какими я до сихъ поръ занимался, матеріалу у меня довольно и нужно изображать не свое «я», а большой, внѣшній міръ»,—писалъ онъ. «Надежда Николаевна»—первое воплощеніе этихъ стремленій къ широтѣ и объективности, «попытка ввести въ дѣйствіе нѣсколько лицъ»... Гаршинъ былъ ею недоволенъ, и критикамъ того времени она тоже не понравилась.

Это произведеніе, надъ замысломъ котораго, говорятъ, *рыдалъ* Гаршинъ—странное. Короленко совершенно справедливо отмѣтилъ двойственность тѣхъ чувствъ, которыя оно возбуждаетъ: «одновременно и чувство неудовлетворенности, и необыкновенную, незабываемую яркость впечатлѣнія»... Къ сильнымъ, наиболѣе удавшимся вещамъ Гаршина «Надежду Николаевну» отнести нельзя. Но это—самое лирическое изъ его произведеній. Нигдѣ изящное благородство души Гаршина не отразилось съ такой полнотой, какъ здѣсь. Тутъ отзвукъ самыхъ интимныхъ его переживаній и сокровенной поэтической мечты о любви. Совсѣмъ особенными, нѣжными красками, взятыми изъ сердца, написана эта повѣсть. Поэтому и оставляетъ она такую большую, «незабываемую» радость. Вы можете перечестъ эту трогательную и вмѣстѣ трагическую повѣсть нѣсколько разъ подъ-рядъ, вернуться къ ней черезъ нѣсколько лѣтъ,—она ничего не потеряетъ отъ своей поэзіи и красоты: однажды полученная радость вамъ не измѣнить...

И какъ сумѣлъ художникъ внести и соблюсти столько интимности въ рамкахъ своей шаблонной темы, уберечь свой рассказъ отъ банальности? Это можно объяснить только «новаторствомъ» «Надежды Николаевны». Ея бытовая сторона такъ ступевана, что надъ «правдоподобіемъ» героини, надъ степенью ея идеализаціи и исключительности, никто не задумывается: захватываетъ внутренняя правда чувствъ. Авторъ, въ лицѣ рассказчика, не разрушаетъ создающейся иллюзіи. Онъ тактично умалчиваетъ объ «исторіи» своей героини, какъ бы не хотеть тревожить ея

<sup>1)</sup> Сборн. «Памяти Гаршина», стр. 56.

милую тѣнь. И читатель вполне раздѣляетъ это настроеніе. Смутность, даже какъ будто умышленная сбивчивость внѣшнихъ контуровъ, отсутствіе бытового реализма, еще усиливаютъ внутреннюю ясность облика Надежды Николаевны. Она стоитъ, какъ живая, со своимъ «грустнымъ, будто чующимъ казнь взоромъ» и поэзіей женственности. Съ той же внутренней яркостью обрисованъ и обычный въ каждомъ разсказѣ авторскій alter ego, художникъ-моралистъ. «Я ни на минуту не забываю Надежду Николаевну и Безсонова: страшныя подробности послѣдняго дня вѣчно стоятъ передъ моимъ душевнымъ взоромъ, и какой-то голосъ, не переставая, нашептываетъ мнѣ на ухо о томъ, что я убилъ человѣка. Меня не судили... было признано, что я убилъ, защищаясь. Но для человѣческой совѣсти нѣтъ писанныхъ законовъ... и я несу за свое преступленіе казнь». Къ числу особенностей этой странной, покоряющей повѣсти нужно отнести и ея особенный—гибкій, какъ бы воздушный, внутренній языкъ.

Другія изъ позднѣйшихъ произведеній Гаршина показываютъ, что его талантъ къ концу жизни, несмотря на болѣзнь, развивался въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ. Въ спокойномъ, «эпическомъ» разсказѣ: «Изъ воспоминаній рядового Иванова» нѣтъ и слѣда тѣхъ «воплей» и «стиховъ въ прозѣ», которыми тяготился Гаршинъ. Въ общей картинѣ военной жизни чувствуется толстовская увѣренность кисти и широкій размахъ. Отдѣльныя лица необыкновенно рельефны и живы. Авторская моральная «тенденція» запрятана очень глубоко. По всей вѣроятности этотъ военный эпизодъ такъ же, какъ и другой очеркъ: «Деньщикъ и офицеръ», вошли бы въ составъ большого романа: «Люди и война», который задумалъ Гаршинъ, но не успѣлъ осуществить. Коротенькій, кажется, послѣдній, очень сильный разсказъ «Сигналъ» показываетъ, что Гаршину удалось уже преодолѣть и «навязшую въ перо» форму дневниковъ: онъ написанъ въ видѣ безыскусственнаго повѣствованія.

По этимъ позднѣйшимъ разсказамъ можно намѣтить тѣ пути, по которымъ пошло бы развитіе Гаршина, какъ художника, если бы ему «не помѣшала жизнь»... Но такова ужъ капризная судьба русскаго искусства: она иногда даритъ ему изысканные цвѣты — и сама вырываетъ ихъ съ корнемъ, не давши расцвѣсти.

Е. Колтоновская.



## Н. К. МИХАЙЛОВСКІЙ, КАКЪ СОЦІОЛОГЪ.

Я буду говорить о Н. К. Михайловскомъ не какъ о публицистѣ или критикѣ, а какъ о соціологѣ.

Михайловскій тѣмъ выдѣляется изъ плеяды русскихъ критиковъ, что въ большей степени, чѣмъ Бѣлинскій, Добролюбовъ, Аполлонъ Григорьевъ, Писаревъ, участвуетъ въ построительной работѣ той новой науки, о которой еще въ XVIII в. писалъ Вико и основы которой положены О. Контомъ. Если въ нашей средѣ довольно быстро исчезло то насмѣшливое отношеніе къ попыткамъ установить не законы, а эмпирическія обобщенія въ области обществознанія, то этимъ мы въ значительной степени обязаны тому подготовленію русскаго общества къ воспріятію, критикѣ и самостоятельному построенію соціологіи, въ которомъ Н. К. Михайловскому принадлежитъ несомнѣнно выдающаяся роль. На страницахъ двухъ журналовъ, въ которыхъ ему пришлось завѣдывать отдѣломъ критики, Михайловскій не только знакомилъ русскаго читателя съ соціологіей Спенсера, съ дарвинизмомъ въ области обществовѣдѣнія, съ экономическимъ материализмомъ и только намѣчавшимся въ его время теченіемъ неопозитивизма, но и давалъ самостоятельную оцѣнку этимъ не столько противорѣчащимъ, сколько взаимно-восполняющимъ другъ друга системамъ.

Во всѣ эти довольно обширныя по размѣру статьи онъ вносилъ и много знанія, и много творческой мысли, съ примѣсью того полемическаго жара, который, разумѣется, содѣйствовалъ привлеченію болѣе широкихъ круговъ читателей, но

вызывалъ въ то же время въ его оппонентахъ понятное раздраженіе и нерѣдко пристрастные нападки. Но, помимо критической работы, Михайловскій несомнѣнно сдѣлалъ попытку и самостоятельнаго построения не столько соціологіи, сколько соціальной психологіи. Я разумѣю его извѣстную, незаконченную статью: «Герой и толпа». Михайловскій придавалъ ей особенное значеніе. Когда она вышла отдѣльнымъ изданіемъ, онъ людямъ, даже не особенно съ нимъ близкимъ, но интересовавшимся тѣми же вопросами, что и онъ, считалъ нужнымъ послать свою книгу. Впослѣдствіи онъ не разъ признавался, что задача, принятая имъ на себя въ статьѣ «Герои и толпа», настолько обширна, что онъ отчаявается довести ее до конца.

Это не помѣшало ему возвращаться къ ней снова и снова, и въ «Научныхъ письмахъ», и въ такихъ статьяхъ, какъ «Еще о герояхъ» и «Еще о толпѣ». Въ предисловіи къ начавшему выходить при его жизни собранію статей, онъ пишетъ: «Когда-то я мечталъ переработать свои писанія въ одно цѣльное сочиненіе». Указывая на тѣ причины, которыя помѣшали ему осуществить это намѣреніе, онъ въ тоже время говоритъ о томъ, что внутреннее влеченіе часто тянуло его къ теоретической мысли. «Потребность теоретическаго творчества требовала себѣ удовлетворенія,—пишетъ онъ,—и въ результатѣ получалось философское обобщеніе или соціологическая теорема». Ничто не подходитъ въ болѣе степени къ этому послѣднему опредѣленію, какъ попытка Михайловскаго, въ 1882 г., выяснить то отношеніе, въ какое становится инициаторъ какого-либо умственного, религіознаго, нравственнаго, художественнаго или чисто практическаго теченія къ большому или меньшему кругу своихъ послѣдователей.

Михайловскій очень широко понимаетъ свою задачу, привлекая къ рѣшенію вопроса даже такія явленія, которыя, какъ мнѣ кажется, могли бы быть оставлены въ сторонѣ. Рядомъ съ фактами подражанія, его вниманіе приковываютъ къ себѣ явленія не только гипнотизма, но и мимичности, встрѣчающейся въ обществахъ животныхъ. Я объясняю такое чрезмѣрное усложненіе задачи тѣмъ обстоятельствомъ, что авторъ присоединился къ тѣмъ немногимъ истолкователямъ дарвинизма, которые, какъ Алленъ, не считаютъ возможнымъ объяснять эти явленія однимъ закономъ переживанія видовъ, наиболѣе приспособленныхъ къ борьбѣ за существованіе. «Если животное, — пишетъ Михайловскій, — подражая другому въ окраскѣ, расположеніи частей, образѣ жизни, тѣмъ самымъ спасается отъ угрожающихъ



ему бѣдѣ, то человѣкъ, подражающій палачу, казненному преступнику, безумному танцору, великому человѣку, капралу, взявшему палку, и проч., тѣмъ самымъ, наоборотъ, идетъ на бѣду и даже прямо на смерть. Читатель, привычный къ общимъ приемамъ и тезисамъ дарвинизма, быть можетъ, даже не признаетъ возможности свести къ одному знаменателю группы явленій, повидимому, столь рѣзко противоположныя. Но сами дарвинисты (разумѣется Алленъ) допускаютъ вліяніе нѣкоторыхъ внутреннихъ факторовъ въ дѣлѣ подражанія, называя ихъ то самостоятельной способностью «подражательности» (Уоллесъ), то зачаточнымъ эстетическимъ чувствомъ, склонностью къ созерцанію яркихъ красокъ (Алленъ). Если бы Алленъ въ своемъ объясненіи истолковалъ этотъ психическій факторъ не такъ двусмысленно и робко, какъ онъ это дѣлаетъ, то ему пришлось бы сказать просто слѣдующее: «Зрительное впечатлѣніе предмета или предметовъ, почему-либо обращающихъ на себя особенное вниманіе животнаго, вызываетъ такую группировку рефлексовъ, которая въ большей или меньшей степени уподобляетъ животное созерцаемому предмету. Это нисколько, разумѣется, не мѣшаетъ дѣятельности приспособленія и наслѣдственности, какъ факторовъ вторичныхъ, выступающихъ уже послѣ того, какъ подражательная форма готова»<sup>1)</sup>. «Теорія медленнаго, постепеннаго подбора, — говоритъ далѣе Михайловскій, — недостаточна для объясненія мимичности и односторонна».

Возвращаясь къ тому же вопросу въ своихъ «Научныхъ письмахъ», Михайловскій не столько критикуетъ, сколько высмѣиваетъ законъ подбора въ примѣненіи къ толкованію мимичности. «Вы спрашиваете дарвиниста, — пишетъ онъ, — отчего нашъ русакъ на зиму бѣлѣетъ? — Ахъ, это очень просто. Среди сѣрыхъ зайцевъ случайно родился одинъ бѣлый. И такъ какъ онъ благодаря этому бѣлому цвѣту былъ мало замѣтенъ на снѣгу для враговъ, то избѣгъ многихъ опасностей, которымъ подверглись его сѣрые родичи, и оставилъ потомство. А въ потомствѣ бѣлый цвѣтъ постепенно и утвердился. — Позвольте, однако, да вѣдь заяцъ-то на лѣто опять сѣрѣетъ. Это почему же? — Да все потому же: одинъ изъ потомковъ этого зайца лѣтомъ случайно посѣрѣлъ. И такъ какъ это было для него выгодно, то онъ избѣгъ многихъ опасностей и передалъ своему потомству способность мѣнять цвѣта сообразно обстановкѣ».

<sup>1)</sup> Сочиненія К. Н. Михайловскаго (изд. 1896 г.), т. II, стр. 137.

Михайловскій упрекаетъ дарвинистовъ въ томъ, что они злоупотребляютъ словомъ «случайность». «Случайность, по ихъ мнѣнію,—говоритъ онъ,—лежитъ въ основаніи чуть не каждой новой особенности, каждаго уклоненія отъ установившейся формы». Но что такое случайность, если не комбинація обстоятельствъ, связанная неизвѣстными намъ причинами? Я готовъ согласиться съ Михайловскимъ, что дарвинисты не въ состояніи рѣшить этого вопроса. Но развѣ положительное знаніе не ставитъ насъ постоянно лицомъ къ лицу съ проблемами, которыя въ данныхъ условіяхъ научной мысли, должны остаться безъ отвѣта? И не лучше ли не переступать этой грани, чѣмъ прибѣгать къ гипотезамъ, которыя въ концѣ концовъ только бесполезно осложняютъ нашу задачу, не проливая никакого опредѣленнаго свѣта на поставленную проблему?

Михайловскій выходитъ за предѣлы научнаго толкованія, когда, объясняя мимичность, говоритъ: «почему не предположить, что наряду съ вѣшними условіями, вліяющими на подражателя, играютъ нѣкоторую роль его собственныя безсознательныя усилія стать похожимъ на предметъ подражанія»?

Сближеніе явленій мимичности съ тѣмъ, на примѣръ, фактомъ, что сотни и тысячи людей идутъ за іеромонахомъ Иннокентіемъ, сосланнымъ на берега Онеги, потому что въ текстѣ писанія они нашли слова: «Азъ есмь Альфа и Омега», смѣшали Омегу съ Онегой и увѣровали, что Иннокентій—Христось, мнѣ кажется совершенно безцѣльнымъ. Всѣ тѣ явленія, о которыхъ въ концѣ своей статьи говоритъ Михайловскій: крестовые походы вообще и дѣтей въ частности, средневѣковые еврейскіе погромы, и т. д.,—подходятъ, именно къ группѣ тѣхъ, образцомъ которыхъ можно считать происшедшее на нашихъ глазахъ событіе—блужданіе тысячной толпы, неодѣтой и голодной, по замерзшей землѣ въ невѣдомую даль, въ увѣренности, что святость ихъ руководителя (іеромонаха Иннокентія) освободитъ ихъ отъ вліянія стужи и недостатка пищи.

Михайловскій сближаетъ также явленія мимичности съ такими фактами, какъ факты «стигматизаціи»; онъ приводитъ извѣстные примѣры Франциска Ассизскаго, Екатерины Сиенской и нѣкоторыхъ конвульсіонеровъ, принимавшихъ позу распятаго Христа, отчего на ступняхъ и рукахъ ихъ появлялись краснота и опухоль. «У Луизы Лато—пишетъ онъ,—являлись даже кровозліянія на тѣхъ именно мѣстахъ, гдѣ были раны у Христа». Ко всѣмъ этимъ даннымъ Михайловскій прибавляетъ еще слѣдующій случай, какъ онъ говоритъ, лично ему извѣстный:

«Женщина чрезвычайно безпокойнаго и раздражительнаго нрава, очень любившая животныхъ, ходила за коровой. Однажды, когда ея любимица должна была телиться, эта женщина провела въ величайшемъ волненіи ночь. А на утро въ грудяхъ у нея появилось молоко». «Здѣсь, прибавляетъ Михайловскій, мы уже имѣемъ случай, вплотную приближающійся къ стигматизаціи и въ своемъ родѣ не менѣе удивительный. И тамъ, и тутъ, мы видимъ чрезвычайную силу бессознательнаго подражанія».

Сопоставленія мимичности съ только что указанными фактами приводитъ Михайловскаго къ ряду выводовъ, которые могутъ быть изложены его же словами въ слѣдующемъ видѣ: «Нѣтъ ни надобности, ни даже возможности изолировать собранные дарвинистами факты и объяснять ихъ исключительно дѣйствіемъ медленнаго подбора и переживанія особей, одаренныхъ покровительственной окраской. Какъ только мы вводимъ въ кругъ нашего изслѣдованія факты изъ другихъ областей, такъ и явленія подбора освѣщаются съ иной, неожиданной стороны. Не медленный подборъ, а характеръ зрительныхъ впечатлѣній опредѣляетъ, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, приспособленіе животного къ цвѣту его обстановки и убѣжища. Заяцъ, горностаѣ, бѣлая куропатка, мѣняютъ свой цвѣтъ не только потому, что эту способность получили ихъ предки. Предки ее дѣйствительно получили, но не случайно получили, а благодаря вліянію необозримой снѣжной равнины на глазъ. И кромѣ наслѣдственной передачи эта способность получаетъ еще новый импульсъ въ каждую зиму».

Такова одна изъ гипотезъ, построенныхъ Михайловскимъ на основаніи сближенія мимичности съ фактами, какъ онъ выражается, бессознательнаго подражанія. Дальше идетъ сближеніе ея съ явленіями гипнотизма. Оно приводитъ Михайловскаго къ слѣдующему выводу. «Гипнотизированный субъектъ, является подражательнымъ автоматомъ, повторяющимъ тѣ изъ движеній, которыя связаны для него съ зрительнымъ или слуховымъ бессознательнымъ впечатлѣніемъ... Гипнотикъ, поставленный экспериментаторомъ въ условія крайне скудныхъ и однообразныхъ впечатлѣній, начинаетъ жить однообразною жизнью... Спрашивается, въ какой мѣрѣ можемъ мы обобщить этотъ выводъ? Въ какой мѣрѣ можно допустить, что и въ другихъ случаяхъ подражанія, самостоятельная жизнь индивида поѣдается скудостью и однообразіемъ впечатлѣній?» Михайловскій строитъ слѣдующую гипотезу: «Для вызова и обнаруженія склонности къ подражанію... нужно, по-видимому, одно изъ двухъ: или впечатлѣніе столь сильное, чтобы

оно временно задавило всѣ другія впечатлѣнія, или постоянная, хроническая скудость впечатлѣній. Соединеніе этихъ двухъ условий должно, понятное дѣло, еще усиливать эффектъ подражательности».

Во всей своей статьѣ Михайловскій останавливается только на такихъ фактахъ воспроизведенія толпою дѣйствій героя, которымъ недостаетъ сознательности. «Ошибка Адама Смита — говоритъ онъ, разумѣя его «Теорію нравственныхъ чувствъ», — лежитъ въ томъ, что онъ не усмотрѣлъ или недостаточно подчеркнул существенный рубежъ между подражательностью и симпатіей: элементы воли и сознанія, которые необходимо должны быть на лицо въ основаніи системы морали, столь же необходимо болѣе или менѣе подавлены въ явленіяхъ подражательности и нравственной заразы. Быть можетъ, даже вся задача изслѣдованія подражательности состоитъ въ опредѣленіи условий, способствующихъ тому подавленію элементовъ сознанія и воли, которое въ нихъ выражается».

Переходя къ разбору историческихъ явленій изъ эпохи средневѣковья, Михайловскій объясняетъ факты подражанія состояніями, близкими къ гипнотизму. «Всегда были и есть авантюристы, люди психически больные, люди, желающіе такъ или иначе высунуться впередъ. Такіе люди иногда вызываютъ подражателей и поклонниковъ, иногда — нѣтъ. И въ послѣднемъ случаѣ они немедленно погружаются въ море забвенія. Но въ средніе вѣка ни одна странность, какъ бы она ни была нелѣпа, ни одинъ починъ, какъ бы онъ ни былъ фантастиченъ, не оставались безъ болѣе или менѣе значительнаго числа подражателей». Почему — спрашиваетъ далѣе Михайловскій, — «именно на долю среднихъ вѣковъ выпало такое количество нравственныхъ эпидемій, какого ни до, ни послѣ, исторія не представляетъ?»

Отвѣтъ Михайловскаго, насколько можно судить при незаконченности его статьи, сводится къ тому, что «скудость, равномерность, однообразіе впечатлѣній вызываютъ неустойчивость, податливость средневѣковой толпы. Средневѣковая масса, представляла, можно сказать, идеальную толпу, лишенную всякой оригинальности и устойчивости. До послѣдней степени подавленная однообразіемъ впечатлѣній и скудостью личной жизни, она какъ бы находилась въ хроническомъ состояніи оживленія героя. Кто хочетъ властвовать надъ людьми, заставить ихъ подражать или повиноваться, тотъ долженъ поступать, какъ поступаетъ гипнотизеръ, дѣлающій гипнотическій опытъ. Онъ долженъ произвести моментально столь сильное впечатлѣніе на

людей, чтобы оно ими овладѣло всецѣло и, слѣдовательно, на время задавило всѣ остальные ощущенія и впечатлѣнія, чѣмъ и достигается односторонняя концентрація сознанія. Или же онъ долженъ поставить этихъ людей въ условія постоянныхъ однообразныхъ впечатлѣній. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ, онъ можетъ дѣлать чуть не чудеса... Бываютъ обстоятельства, когда этотъ эффектъ достигается личными усилями героя. И бываютъ другія обстоятельства, когда нѣтъ никакой надобности въ такихъ личныхъ усиляхъ и соотвѣтственныхъ имъ умственныхъ, нравственныхъ и физическихъ качествахъ. Тогда героемъ можетъ быть всякій, что мы и видимъ въ средніе вѣка... Сталь человекъ ни съ того ни съ сего плясать на улицѣ, и онъ — герой. Пошелъ освобождать гробъ Господень — герой. Сталь хлестать публично обнаженное тѣло — герой. Пошелъ бить жидовъ — герой и т. д.».

Резюмируя на разстояніи двухъ лѣтъ, въ своихъ «Научныхъ письмахъ» (1884), содержаніе и задачу своей незаконченной статьи, Михайловскій справедливо говоритъ, что въ ней была сдѣлана попытка объединить всѣ явленія автоматическаго характера, чрезвычайно многочисленныя и разнообразныя, имѣющія мѣсто во всѣхъ областяхъ жизни, какъ органической, такъ и общественной. При этомъ оказалось, что явленія автоматическаго подражанія и психической заразы находятся въ самой тѣсной связи съ явленіями повиновенія, покорности. Отмѣчая тотъ фактъ, что въ русской и въ европейской литературѣ, вопросъ, имъ затронутый, очень мало подвинулся впередъ къ своему разрѣшенію, Михайловскій тѣмъ не менѣе отмѣчаетъ нѣкоторыя недавнія работы, въ томъ числѣ работу Гальтона «о человѣческихъ способностяхъ и объ ихъ развитіи». Покойный Лесевичъ перевелъ для Михайловскаго одну главу этого сочиненія: «о стадныхъ и рабскихъ инстинктахъ». Какъ дарвинистъ, Гальтонъ объясняетъ развитіе этихъ инстинктовъ одинаково у животныхъ и дикарей потребностью взаимной помощи, которая, подъ вліяніемъ принципа подбора приспособленныхъ и вымиранія неприспособленныхъ, переходитъ въ общественный инстинктъ. Михайловскій не соглашается съ Гальтономъ, повторяя сказанное имъ раньше, а именно, что теорія естественнаго подбора, по самой сущности своей, можетъ разъяснить только укрѣпленіе и распространеніе какого-либо явленія — а никогда его происхожденія. Дѣйствительный отвѣтъ на вопросъ Михайловскій ищетъ въ тѣхъ соображеніяхъ, которыя



были высказаны имъ ранѣе въ статьѣ «Герои и толпа», гдѣ сближены имъ мимичность, гипнотизмъ и подражательные процессы, лишенные элемента сознанія.

Если мы въ настоящее время сопоставимъ основной тезисъ Михайловскаго съ основнымъ тезисомъ Тарда, автора «Законовъ подражанія», то мы не найдемъ между ними ничего общаго. Михайловскій сѣтуетъ на Тарда, что онъ мало обращается къ явленіямъ гипнотизма. Но Тарду и не приходится считаться съ ними, такъ какъ онъ имѣетъ дѣло съ сознательнымъ подражаніемъ. Вотъ подлинныя его слова: «Если мы подражаемъ съ разборомъ и обдуманно, если мы дѣлаемъ только то, что кажется особенно полезнымъ, если вѣримъ въ то, что кажется наиболѣе истиннымъ, то такъ-же поступали люди всегда при выборѣ мыслей и дѣйствій для подражанія».

Теорія Тарда, какъ я указалъ въ моей книгѣ: «Современныя соціологи», вся сводится къ тому, чтобы показать взаимодѣйствіе изобрѣтенія или открытія и подражанія. «Во всѣхъ общественныхъ измѣненіяхъ—пишетъ онъ—необходимо признать отправнымъ пунктомъ обновляющую мысль. Она приноситъ собою удовлетвореніе назрѣвшимъ потребностямъ. Она распространяется въ обществѣ путемъ обязательнаго или добровольнаго подражанія, наподобіе свѣтовой волны. Всѣ общественныя явленія обязаны своимъ возникновеніемъ взаимодѣйствію изобрѣтенія и подражанія. Послѣднія—своего рода рѣки, стекающія съ горъ, представляемыхъ открытіями».

Я не принадлежу къ числу тѣхъ, кто полагаетъ, что такъ называемая психологическая школа въ соціологіи, важнѣйшимъ представителемъ которой является Тардъ, даетъ ключъ къ рѣшенію всѣхъ существенныхъ вопросовъ общественной науки. Она безсильна, по моему, объяснить причину, по которой двѣ или нѣсколько гражданственностей, никогда не входившихъ въ культурное общеніе и не имѣющихъ общаго источника происхожденія, проходятъ одинаковыя ступени развитія.

Но въ настоящій моментъ моя задача—не опровергать Тарда или подвергать сомнѣнію всеобщность его законовъ подражанія, а только обосновать взглядъ, что между заданіями Михайловскаго и Тарда лежитъ цѣлая пропасть. О Михайловскомъ можно сказать, что онъ поставилъ себѣ вопросъ, который еще въ XVI в. интересовалъ французскихъ писателей: вопросъ объ источникѣ повинновенія. Ему посвящено разсужденіе Ла-Бюэси: «Доброволь-

ное рабство». Сочиненіе это, какъ доказываетъ новѣйшая критика, принадлежитъ на самомъ дѣлѣ великому Монтаню.

Монтанъ рѣшаетъ вопросъ объ источникѣ повиновенія въ иномъ направленіи, чѣмъ Михайловскій, съ тою простотою, какая мыслима при допущеніи, что всѣ человѣческіе поступки — продуктъ свободной воли. Начальствующіе держатся — думаетъ онъ, — добровольнымъ подчиненіемъ. Перестаньте только повиноваться имъ, и человѣческая свобода будетъ достигнута.

Михайловскій, идя въ уровень съ положительнымъ знаніемъ своего времени, очевидно не мирится съ идеей свободной воли и объясняетъ, поэтому, подчиненіе соображеніями, почерпнутыми изъ сравнительнаго изученія явленій мимичности, гипнотизма, нравственныхъ эпидемій. Статья его не закончена и потому въ ней не дано ближайшаго развитія той мысли, что вліянію гипнотизма, нравственной эпидеміи и безсознательнаго [подражанія, не въ равной степени подчиняются отдѣльныя личности. Иначе не было бы героевъ, или, по терминологіи Тарда, открывателей и изобрѣтателей; не было бы и поступательнаго развитія человѣчества.

Очевидно, что весь вопросъ лежитъ въ раскрытіи не причинъ подражанія, а причинъ открытія и изобрѣтенія. Михайловскій, въ своей статьѣ о Тардѣ, не прочь упрекнуть его за то, что онъ не занялся этимъ вопросомъ. Упрекъ не вполне справедливъ, такъ какъ и въ «Соціальной Логикѣ», и во «Всеобщемъ противодѣйствіи», Тардъ, признавая всю трудность вопроса, дѣлаетъ попытки опредѣлить условія, въ какихъ изобрѣтеніе становится возможнымъ. Нѣсколько далѣе въ томъ же направленіи пошелъ его пріятель Польганъ, въ своей небольшой книгѣ объ «Изобрѣтеніи». Но все сдѣланное въ этомъ направленіи далеко недостаточно, и вопросъ остается открытымъ во всей своей широтѣ, столь же открытымъ, какъ и вопросъ объ источникѣ безсознательнаго подражанія, ближе интересовавшій Михайловскаго.

Насколько можно судить на основаніи новѣйшихъ работъ по соціальной психологіи, въ числѣ другихъ — по книгѣ Макъ Дугласъ, подражаніе перестаютъ считать проявленіемъ природнаго инстинкта и приписываемыя ему явленія сводятъ къ двумъ факторамъ: къ симпатіи и къ тому, что французы и англичане одинаково обозначаютъ терминомъ Suggestion, — внушеніе. Макъ Дугласъ приводитъ на этотъ счетъ слѣдующія соображенія: «Когда — говоритъ онъ, — представленіе, идея или вѣрованіе опредѣленнаго агента вызываетъ одинаковое представленіе, идею и вѣрованіе въ другомъ или другихъ, то на лицо такъ называемая Suggestion. Когда аффективное или эмо-

ціональное возбужденіе въ опредѣленномъ агентѣ вызываетъ одно-характерное возбужденіе въ другомъ, мы имѣемъ дѣло съ симпатіей. Когда же послѣдствіемъ процесса воздѣйствія является уподобленіе тѣлесныхъ движеній одного или нѣсколькихъ субъектовъ движенію агента, тогда приходится говорить о подражаніи. Но чтобы оно воспослѣдовало, необходимо дѣйствіе одной или обѣихъ причинъ: зарожденіе въ насъ постороннимъ агентомъ извѣстныхъ мыслей и представленій или извѣстныхъ эмоцій и аффектовъ. Поэтому подражаніе есть не первоначальный факторъ, а производный». Очевидно, что все это относится лишь къ области сознательнаго подражанія.

Авторъ указываетъ на то, что случаи «внушенія» на первыхъ порахъ толковались одинаково съ феноменами гипнотизма, но въ настоящее время подъ «внушеніемъ» разумѣютъ процессъ принятія, съ убѣжденіемъ, чужого предложенія, при отсутствіи къ тому соотвѣствующихъ логическихъ основаній. Очевидно, что въ такое опредѣленіе войдутъ и несознательные случаи воспріятія чужихъ мыслей, допускающіе, поэтому, аналогію съ гипнотизмомъ. Большая или меньшая способность къ воспріятію обусловливается, во-первыхъ, ненормальнымъ состояніемъ мозговой дѣятельности: истеріей, сномъ, усталостью; во-вторыхъ, отсутствіемъ знаній и убѣжденій по вопросу, который служить предметомъ внушенія; въ-третьихъ, властнымъ характеромъ того источника, изъ котораго оно исходитъ и, въ-четвертыхъ, особенностями характера воспринимающаго его субъекта.

Что касается до вліянія самаго подражанія, столько же на организацію, сколько на ростъ общества, то въ этомъ отношеніи, какъ видно изъ признанія Макъ-Дугласа, коллективная психологія и въ наше время не идетъ далѣе обобщеній Тарда и повторяетъ въ общемъ его основную доктрину междуумственныхъ процессовъ; взаимодействія или изобрѣтенія—съ одной стороны, и подражанія—съ другой.

Полагаю, что всего сказаннаго достаточно для доказательства моей главной мысли, а именно той, что заданіе Михайловскаго совершенно отлично отъ заданія Тарда, какъ различно и выполненіе каждымъ намѣченной имъ программы. Тарду не суждено было познакомиться со статьей Михайловскаго «Герои и толпа», написанной годами ранѣе его «Законовъ подражанія». Михайловскому, въ сущности, не было основанія доказывать своего пріоритета, такъ какъ Тардъ нимало не повторяетъ его мыслей.

Остается вопросъ, чѣмъ вызванъ былъ интересъ Михайлов-

скаго къ безсознательному подражанію. Полемизируя съ г. Слонимскимъ, Михайловскій раскрываетъ намъ тѣ причины, которыя привели его къ написанію незаконченной статьи: «Герои и толпа», съ послѣдующими дополненіями въ «Научныхъ письмахъ» и въ новыхъ этюдахъ о герояхъ и о толпѣ въ отдѣльности. Онъ указываетъ на еврейскіе погромы, какъ на ближайшій мотивъ, заставившій его задуматься надъ вопросомъ о томъ, какими причинами обусловливается безсознательное или полубезсознательное подчиненіе толпы герою, понимаемому въ смыслѣ челоуѣка, «увлекающаго своимъ примѣромъ массу на хорошее или дурное, благороднѣйшее или подлѣйшее, разумное или безсмысленное дѣло».

Такимъ образомъ и въ своемъ этюдѣ, повидимому далеко стоящемъ отъ злободневности, Михайловскій пытается дать научное объясненіе глубоко волновавшимъ его фактамъ русской дѣйствительности. И на этотъ разъ вполне оправдывается то, что онъ говоритъ намъ о себѣ въ предисловіи къ собранію своихъ сочиненій и что ранѣе этого напечатано было имъ въ полемической статьѣ 1889 г.: «Правда-истина, разлученная съ Правдой-справедливостью, всегда оскорбляла меня... Я никогда не могъ повѣрить, и теперь не вѣрю, чтобы нельзя было найти такую точку зрѣнія, съ которой бы Правда-истина и Правда-справедливость являлись рука объ руку, одна другую пополняя. Безбоязненно смотрѣть въ глаза дѣйствительности и ея отраженію въ Правдѣ-истинѣ, правдѣ объективной, и въ то же время охранять и Правду-справедливость, правду субъективную, такова задача всей моей жизни». Авторъ прибавляетъ: «Нелегкая эта задача». Подтверженіе только что процитированнымъ словамъ можно найти, читая наиболѣе извѣстныя теоретическія статьи Михайловскаго, какъ напримѣръ: «Что такое прогрессъ», 1869 г., «Теорія Дарвина и общественная наука», 1870 г., «Аналогическій методъ въ общественной наукѣ», 1869 г. и «Борьба за индивидуальность», 1875 г.

Я, разумѣется, далека отъ мысли знакомить съ содержаніемъ этихъ статей, въ свое время будившихъ только что зарождавшуюся въ Россіи соціологическую мысль, статей, усвоенныхъ рядомъ поколѣній, пролившихъ яркій свѣтъ на европейскую науку объ обществѣ и породившихъ въ то же время не мало сомнѣній въ томъ, чтобы этой наукой сказано было послѣднее слово по такимъ основнымъ вопросамъ, какъ, напримѣръ: есть ли общество организмъ, можно ли свести прогрессъ къ простой борьбѣ за существованіе, заканчивающейся побѣдой тѣхъ, кто наиболѣе приспособ-

собрень къ условіямъ не только физической, но и общественной среды; возможно ли видѣть въ процессѣ общественной дифференціаціи главнѣйшее условіе поступательнаго развитія чело-вѣчества; наконецъ, какъ долженъ быть рѣшенъ вопросъ объ отношеніи общества и индивида, и не входитъ ли борьба за индивидуальность въ самое понятіе прогрессирующаго чело-вѣчества.

Я принужденъ ограничиться этимъ голымъ перечнемъ важнѣйшихъ заданій Михайловскаго, какъ соціолога, и разумѣется, воздержусь отъ всякой критики построенныхъ имъ теоремъ. Но такъ какъ моя задача, прежде всего, выяснить характерныя особенности разбираемаго мною писателя и указать на ихъ ближайшій источникъ, то я обращаю вниманіе читателя на то обстоятельство, что подъ вліяніемъ соціалистической литературы вообще и, въ частности, «Экономическихъ противорѣчій» Прудона, Михайловскій рано остановилъ свое вниманіе на томъ противорѣчьи, въ какомъ стоитъ техническій прогрессъ, происходящій отъ раздѣленія труда, съ тѣмъ регрессомъ, какой вытекающая отсюда спеціализація занятій вызываетъ въ умственномъ и нравственномъ укладѣ трудящихся массъ.

Въ одной изъ раннихъ своихъ статей, перепечатанныхъ въ недавно появившемся 10-мъ томѣ его сочиненій, Михайловскій приводитъ длинную цитату изъ «Экономическихъ противорѣчій», Прудона. Я разумѣю статью «Параллели и контрасты», напечатанную въ «Невскомъ сборникѣ». Цитата весьма характерна, такъ какъ въ ней указывается на противорѣчіе технического прогресса съ умственнымъ и нравственнымъ регрессомъ, происходящимъ отъ крайняго раздѣленія труда. Люди моего поколѣнія увлечены были блестящимъ раскрытіемъ Прудономъ тѣхъ анти-тезъ, какія представляетъ собою современное общество, и подготовлены были поэтому къ воспріятію мысли, которая краснорѣчиво проходитъ въ полемикѣ Михайловскаго съ Спенсеромъ и вообще со всѣми тѣми, кто, какъ это сдѣлалъ впоследствии Дюркгеймъ, связываютъ идею прогресса съ раздѣленіемъ труда...

Соглашаясь съ тѣмъ, что въ области біологіи оправдывается положеніе Бара: «законъ органическаго прогресса состоитъ въ переходѣ отъ простаго къ сложному, отъ однороднаго къ разнородному путемъ послѣдовательныхъ расчлененій и дифференцированій», Михайловскій высказываетъ сомнѣніе въ томъ, чтобы тотъ же законъ могъ быть цѣликомъ примѣненъ и къ чело-вѣческимъ обществамъ. Онъ полагаетъ, что послѣдствіемъ технического раздѣленія труда является, по отношенію къ каждому индивиду въ отдѣльности,



нѣчто какъ разъ обратное: не развитіе отдѣльных его функцій, а напротивъ того, атрофія ихъ, въ виду приспособленія труженника къ исполненію, нерѣдко пожизненному, а то и наслѣдственному, одной какой-нибудь работы. Михайловскій полагаетъ, что при установленіи понятія прогресса, надо принять во вниманіе и сумму человѣческаго счастья, которая, по его мнѣнію, едва ли въ настоящихъ условіяхъ превосходитъ ту, какая имѣлась въ первобытныхъ обществахъ. Въ этомъ онъ до нѣкоторой степени встрѣчается съ Руссо, какъ авторомъ «Разсужденій о неравенствѣ», а также съ Прудономъ, о которомъ въ статьѣ: «Что такое прогрессъ» сказано, что въ системѣ «Экономическихъ противорѣчій» антиномичность раздѣленія труда разработана съ обычной силой этого великаго мыслителя. Счастье есть прежде всего субъективное ощущеніе, которому можетъ и не отвѣчать дѣйствительность. Соціологу, какъ я полагаю, довольно трудно принять поэтому мѣриломъ прогресса самое это ощущеніе, а не одни внѣшнія условія, благопріятствующія его проявленію въ массахъ. Если стать на такую точку зрѣнія, то позволено будетъ высказать сомнѣніе въ томъ, чтобы слабо дифференцированная однородная среда, какую представляютъ собою не только первобытныя общества, но и общества варварскія (въ томъ числѣ ранняго средневѣковья), обладали тѣми элементарнѣйшими условіями счастья, какія даетъ увѣренность въ завтрашнемъ днѣ и свобода самоопредѣленія. Часто повторявшіяся голодовки, тѣсно связанныя, разумѣется, съ первобытными пріемами хозяйничанія и съ той экономической изолированностью, какую предполагаетъ самодовлѣющее или натуральное хозяйство, лишало общественные низы еще въ большей степени, чѣмъ современная пролетаризація массъ, элементарнѣйшаго изъ всѣхъ правъ: «права на жизнь». Съ другой стороны, обращеніе въ рабство или крѣпостничество массы производителей въ сферѣ сельскаго хозяйства и, въ меньшей степени, въ сферѣ обрабатывающей промышленности, отнимало у большинства населенія ту свободу самоопредѣленія, которую, разумѣется, не даетъ вполнѣ и современному пролетарію его экономическая зависимость отъ владѣльцевъ промышленнаго или торговаго капитала. Но если принять во вниманіе, что въ наши дни эта зависимость въ значительной степени ограничена такъ называемымъ «соціальнымъ» законодательствомъ (нормировкой рабочаго дня, защитой женскаго и дѣтскаго труда, страхованиемъ рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, болѣзней и старости), то все же придется допустить различіе въ степени, если не въ самой природѣ, той опеки, какая тяготѣетъ надъ массами производителей. Средневѣковый труженникъ связанъ былъ или съ личностью хозяина, или съ его землей.

Современный пролетарій не прикованъ къ опредѣленной фабрикѣ, заводу или лавкѣ. Онъ успѣшно добивается того, чтобы его отношенія къ предпринимателю опредѣлялись коллективнымъ договоромъ, исполненіе котораго обезпечено было бы хотя бы угрозой коллективнаго оставленія работы. Опека, тяготѣвшая и доселѣ тяготѣющая надъ человѣкомъ въ мало-расчлененныхъ обществахъ — опека скорѣе обычая, чѣмъ закона. Но отъ этого она не становится менѣе тягостной. Обычай проникаетъ во всѣ сферы личной, семейной и общественной жизни, мѣшая, напр., и свободному заключенію брака, и свободному общенію мужа съ женой (хевсуры до сихъ поръ могутъ проникать въ спальню своихъ женъ не иначе, какъ крадучись, укрываясь отъ посторонняго взора). Тотъ же обычай навязываетъ человѣку необходимость отщепенія всякаго рода обидъ (исключая словесныхъ), будутъ ли онѣ причинены ему самому, близкому или отдаленному родственнику. А что сказать о томъ вліяніи, какое на сокращеніе личной свободы имѣетъ народное суевѣріе, та область запретовъ («табу»), которая связана съ владычествомъ не столько религіи, сколько магіи? По всѣмъ вышеуказаннымъ причинамъ, не говоря уже о безграничности требованій, предъявляемыхъ къ индивиду столько же семейными, сколько родовыми властями, племенными старѣйшинами и зарождающейся жреческой властью, личность въ первобытномъ обществѣ по истинѣ порабощена. А потому писателю, выдвигающему на первый планъ необходимость борьбы за индивидуальность, порядки механической солидарности, какъ обозвалъ Дюркгеймъ тѣ, которые въ нерасчлененной однородной средѣ первобытнаго общества, уживаются съ отсутствіемъ почти всякаго раздѣленія труда, едва ли могутъ рисоваться воображенію болѣе обезпечивающими возможность счастья для всѣхъ, чѣмъ тѣ, какіе представляетъ современный строй, съ его обособленіемъ общественныхъ функцій и даже крайностями техническаго раздѣленія труда, ограниченнаго, однако, нормированіемъ рабочаго дня и созданіемъ, тѣмъ самымъ, необходимаго досуга для борьбы съ невыгодными послѣдствіями чрезмѣрной спеціализаціи.

Когда Михайловскій въ началѣ 60-хъ годовъ впервые задумывался надъ тѣми самыми вопросами, которымъ посвящена его статья о прогрессѣ, не только Россія, но и Европа, стояли еще на той ступени общественнаго сознанія, какую представляетъ извѣстная формула: «Laissez faire, laissez passer». Принималось было на вѣру, что полное невмѣшательство въ экономическую жизнь не только государства, но и классовыхъ корпоративныхъ организацій, оставляя поле открытымъ для свободной кон-

курении, необходимо ведетъ къ благосостоянію не однихъ только руководителей хозяйственной дѣятельности, но и простыхъ исполнителей труда. Ни для кого въ настоящее время не тайна, что вторая четверть XIX столѣтія и слѣдующее за ней десятилѣтіе должны быть признаны временемъ наибольшей эксплуатаціи труда капиталомъ. Последнее пятидесятилѣтіе, съ характеризующей его агитаціей въ пользу подъема матеріальнаго и нравственнаго благосостоянія народныхъ массъ и съ несовершенными еще попытками организаціи труда, внесло тѣмъ не менѣе существенныя измѣненія въ его отношенія къ капиталу. Оно содѣйствовало, поэтому, созданію внѣшнихъ условий, благопріятныхъ человѣческому счастью; повторяю—рѣчь идетъ о внѣшнихъ условіяхъ счастья, а не о субъективномъ ощущеніи довольства. Я далекъ отъ мысли, чтобы достигнутыя цѣною упорной борьбы улучшенія матеріальной и нравственной обстановки рабочаго класса не порождали въ немъ готовности къ новымъ усиліямъ и новымъ пожертвованіямъ для своей дальнѣйшей эмансипаціи; но эти усилія и достигнутыя ими пріобрѣтенія войдутъ составною частью въ то поступательное движеніе, какое мы обнимаемъ понятіемъ прогресса. Я, разумѣется, несогласенъ съ тою формулою, какую даетъ ему Спенсеръ, такъ какъ въ ней не отмѣченъ не устраняющій дифференціаціи и интеграціи, а идущій параллельно съ ними фактъ развитія человѣческой солидарности. Я полагаю также, что предлагаемая Михайловскимъ формула, безъ того комментарія, какой даетъ ей самъ авторъ, едва ли можетъ считаться достаточно выпуклой, чтобы навсегда запечатлѣться въ памяти. «Прогрессъ,—говоритъ онъ,—есть постепенное приближеніе къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми». И въ той, и въ другой формулѣ, не отмѣченъ тотъ существенный фактъ, что съ поступательнымъ развитіемъ человѣчества, въ значительной степени благодаря обособленію общественныхъ функцій, возникаетъ необходимость того мірового обмѣна, столько же матеріальными, сколько умственными и нравственными цѣнностями, послѣдствіемъ котораго является ростъ человѣческой солидарности. Дюркгеймъ, развивая мысль, ранѣе высказанную Контомъ, и комбинируя ее съ доктриной Спенсера о дифференціаціи общественныхъ функцій, предложилъ видѣть въ прогрессѣ переходъ отъ механической солидарности—къ солидарности, опира-

тощейся на раздѣленіи труда. Отправляясь отъ сравнительно-историческаго изученія роста общественныхъ и политическихъ учреждений, я, независимо отъ Дюркгейма и не настаивая на фактъ раздѣленія труда, счелъ возможнымъ отождествить прогрессъ съ ростомъ человѣческой солидарности. «Сожитіе съ другими—сказалъ я,—вызываетъ одновременно измѣненіе и ихъ, и насъ самихъ, создавая то, что мы называемъ солидарностью. Не будь порожденной ею связи между людьми, не было бы общества и порожденной имъ науки—соціологіи. Послѣдняя, такимъ образомъ, сводится въ моихъ глазахъ къ изученію условій и роста человѣческой солидарности. Эти условія представляютъ собою какъ измѣнчивыя, такъ и неизмѣнныя величины; они могутъ умножаться и сокращаться. Можно указать моменты прогресса и регресса солидарности; можно прослѣдить процессъ постепеннаго ея расширенія съ эпохи, когда объединенные дѣйствительнымъ или мнимымъ родствомъ и общностью культуры роды считали врагами всѣхъ, кто не входитъ въ ихъ составъ,—до переживаемой нами нынѣ стадіи, когда объединенныя политическою властью націи считаютъ братьями и союзниками единоплеменниковъ и единовѣрцевъ, и въ глазахъ многихъ возстаетъ уже образъ объединеннаго общностью культуры человѣчества».

Михайловскій, критикуя этотъ взглядъ, говоритъ, что «солидарность способна измѣняться не только въ томъ, такъ сказать, прямолинейномъ направленіи, широкую картину котораго Ковалевскій нарисовалъ въ нѣсколькихъ строкахъ; справедливо,—прибавляетъ онъ,—что на этомъ пути есть моменты прогресса, остановки и регресса, условія и причины которыхъ подлежатъ изученію: но въ то же время внутри отдѣльныхъ обществъ исторія отмѣчаетъ фактъ обособленія кастъ, сословій, классовъ, партій, вообще разнаго рода соціальныхъ группъ, при чемъ солидарность членовъ каждой изъ этихъ группъ возрастаетъ, тогда какъ солидарность группъ между собой или убываетъ, или, если и возрастаетъ, то принимаетъ совершенно новую форму и новый характеръ».

Я не могу согласиться съ тѣмъ, чтобы солидарность группъ между собою внутри государства убывала съ параллельнымъ ростомъ солидарности между государствами. Наоборотъ, мнѣ кажется, что одного чередованія кастъ, сословій и классовъ въ только что указанномъ историческомъ порядкѣ достаточно, чтобы подорвать это положеніе: очевидно, что обособленность кастъ—большая, чѣмъ менѣ замкнутыхъ сословій и совсѣмъ не замкну-

тыхъ классовъ. Съ другой стороны, замѣна рабства крѣпостничествомъ и крѣпостничества саларіатомъ, также говорить о паденіи, а не о развитіи разобщенности. Ростъ солидарности, такимъ образомъ, является столько же внутреннимъ процессомъ въ каждомъ политическомъ обществѣ, сколько и внѣшнимъ, регулирующимъ отношенія государствъ между собой. Если мы подымаемъ вопросъ о томъ, въ какой мѣрѣ въ каждомъ государствѣ въ отношеніяхъ власти къ подданнымъ проявляется ростъ той же солидарности, то достаточно будетъ напомнить, что замѣна договорными отношеніями прежней системы вѣлѣній, отдаваемыхъ свыше, и пассивнаго повиновенія снизу — также свидѣтельствуетъ въ пользу исчезновенія разобщенности. Когда въ текстахъ официальныхъ обращеній къ представителю верховной власти мы высказываемъ пожеланіе, чтобы онъ правилъ въ единеніи съ народомъ, то, очевидно, мы развиваемъ мысль, которая показалась бы преступной и Ксерксу, и Рамзесу, съ которыми подданные могли говорить только стоя на колѣняхъ, съ головою склоненной «долу». Единеніе всегда понималось въ смыслѣ установленія общности взглядовъ по текущимъ вопросамъ политики—а это, очевидно предполагаетъ соглашеніе, договоръ.

Наконецъ, переходя къ области экономическихъ отношеній, зависимость наиболѣе передовыхъ европейскихъ странъ, хотя бы въ отношеніи къ пропитанію собственнаго населенія, отъ мірового обмѣна—сама уже свидѣтельствуетъ о солидарности, выходящей за предѣлы не только отдѣльныхъ государствъ, но и цѣлыхъ материковъ. Недавно однимъ изъ членовъ общества Миръ сдѣланъ былъ подсчетъ тѣхъ послѣдствій, къ какимъ повело бы столкновеніе державъ Тройственного Союза и Тройственного Согласія и на основаніи этого подсчета высказано опирающееся на фактахъ предположеніе, что невозможность продолжительнаго перерыва міровыхъ обмѣновъ поставитъ государства, по преимуществу промышленныя и торговыя, въ необходимость скорѣйшаго окончанія войны. Такія же приблизительно заявленія, пришлось читать недавно и въ европейской печати.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что идея прогресса, какъ роста человѣческой солидарности, обнимаетъ собою и внутреннія, и внѣшнія явленія въ жизни политическихъ обществъ.

Но, скажутъ мнѣ, вы забываете разобщенность капитала съ трудомъ и происходящую между ними борьбу?—Разумѣется нѣтъ; но я полагаю, что эта разобщенность не растетъ, а уменьшается, и что борьба входитъ во все болѣе и болѣе опредѣленныя рамки. Эти рамки создаются развитіемъ внутренняго сознанія



солидарности гражданъ одного государства, солидарности, побуждающей къ осужденію какъ локаутовъ, производимыхъ синдикатами и трестами предпринимателей, такъ и всеобщихъ стачекъ, практическое осуществленіе которыхъ въ наиболѣе прогрессирующихъ экономически обществахъ становится все болѣе и болѣе затруднительнымъ. Оно сказывается и въ ростѣ социальнаго законодательства, въ которомъ на очередь уже поставленъ вопросъ о фиксированіи рабочаго дня и о коллективномъ договорѣ найма.

То тѣсное взаимоотношеніе общаго интереса съ частнымъ, которое писателями XVIII вѣка, съ Руссо во главѣ, совершенно отрицалось, съ каждымъ поколѣніемъ становится все болѣе и болѣе реальностью. Руссо считалъ оба интереса непримиримыми. Экономисты-теоретики XVIII вѣка выводили отсюда, что государство не должно терпѣть образованія въ своей средѣ свободныхъ союзовъ, какъ преслѣдующихъ частный, а не общій интересъ. Въ этомъ смыслѣ высказывались одинаково и Тюрго, и А. Смитъ. Законодатели, въ перечнѣ неотъемлемыхъ правъ человѣка и гражданина, считали возможнымъ обходить молчаніемъ самую свободу союзовъ. Кто въ настоящее время позволить себѣ утверждать, по крайней мѣрѣ за предѣлами нашего отечества, право свободно группироваться не только въ политическія партіи, но и въ союзы религіознаго, умственнаго, нравственнаго, экономическаго, литературнаго или художественнаго характера? Да и у насъ тѣ временные союзы рабочихъ, которые называются стачками, потеряли характеръ уголовного преступленія, еще недавно признававшійся за ними нашимъ «Уложеніемъ о наказаніяхъ». Я не отрицаю того, что въ моменты кризисовъ дѣятельность тѣхъ или иныхъ союзовъ или партій можетъ принять характеръ, враждебный общему интересу. Но на такія явленія приходится смотрѣть, какъ на исключеніе; при нормальномъ теченіи общественной жизни, столкновеніе интересовъ избѣгается соглашеніемъ, договоромъ, при которомъ руководящимъ началомъ всегда является идея солидарности всѣхъ гражданъ одного государства.

У меня нѣтъ основанія думать, чтобы въ послѣдніе годы своей жизни Михайловскій продолжалъ оставаться противникомъ идеи отождествленія прогресса съ ростомъ человѣческой солидарности. Его критика Дюркгейма, напр., направлена главнымъ образомъ къ доказательству той мысли, что «встрѣчаются явленія, несомнѣнно обязанныя своимъ происхож-

деніемъ общественному раздѣленію труда и тѣмъ не менѣе отнюдь не говорящія о солидарности». Михайловскій продолжаетъ настаивать на той мысли, что раздѣленіе труда не всегда является источникомъ и мѣриломъ солидарности. Такимъ образомъ, причины его несогласія съ Дюркгеймомъ сводятся къ тому, что въ формулѣ послѣдняго недостаточно приняты во вниманіе условія, благоприятныя развитію идеи солидарности.

При изложеніи взглядовъ Михайловскаго, какъ соціолога, мнѣ бы слѣдовало еще остановиться на его полемикѣ и съ представителями идеи экономического, историческаго или діалектическаго матеріализма и съ зарождавшимся тогда направленіемъ, такъ называемаго неопозитивизма. Но къ чему оживлять старую распрю? Она можетъ интересовать насъ лишь въ той степени, въ какой ею выясняется отношеніе Михайловскаго ко все еще незаконченному спору о томъ, чѣмъ опредѣляется ростъ человѣческихъ обществъ: накопленіемъ ли знаній или измѣненіемъ техники производства? Для тѣхъ, кто подобно мнѣ, полагаетъ, что оба явленія идутъ параллельно и кто, утверждая это, примыкаетъ къ мыслямъ О. Конта,—вопросъ этотъ далеко не является настолько острымъ, какимъ онъ рисовался воображенію русскихъ интеллигентныхъ круговъ конца прошлаго столѣтія. Въ этомъ спорѣ, не отрицая значенія экономического фактора, Михайловскій стоялъ болѣе на сторонѣ тѣхъ, кто, вмѣстѣ съ Паскалемъ, думаетъ, что «преемство человѣческихъ поколѣній является собою подобіе единого человѣка, постоянно пріобрѣтающаго все новыя и новыя знанія». Послѣ этого можетъ показаться страннымъ критическое отношеніе Михайловскаго къ нѣкоторымъ представителямъ направленія, общаго Дюркгейму, Морселли и Е. В. Де-Роберти.

Я показалъ, впрочемъ, на примѣрѣ Дюркгейма, что разногласія съ нимъ Михайловскаго были скорѣе не общаго, а частнаго характера. Что касается до Де-Роберти, то его теорія общественной психологіи, въ которой красной нитью проходитъ мысль о томъ, что въ творествѣ языка, какъ и въ творествѣ нравственности, инициаторомъ является общество, въ свою очередь слагающееся такъ или иначе подъ вліяніемъ роста знанія—далеко не являлась вполне сложившейся въ тотъ моментъ, когда изъ статей, напечатанныхъ въ «Обозрѣніи положительной философіи» Литтрэ и Вырубова, авторъ сдѣлалъ книгу, одновременно разошедшуюся въ большомъ количествѣ экземпляровъ на русскомъ и французскомъ языкахъ, подъ общимъ заглавіемъ «Соціологія». Оригинальныя стороны ученія Е. В. Де-Роберти осо-

бенно ясно выступили со времени изданія имъ «Организаціи Этики», «Новой программы соціологіи» и «Соціологіи дѣйствія». Все это сочиненія недавнія, которыхъ не могла коснуться критика Михайловскаго.

Мы, конечно, не исчерпали всего богатства содержанія тѣхъ статей Михайловскаго, которыя касаются вопросовъ коллективной психологіи и теоріи прогресса.

Можно было бы поднять вопросъ и о такъ называемомъ субъективномъ методѣ, если бы онъ не былъ общимъ Михайловскому, по крайней мѣрѣ, во второй половинѣ его жизни, съ Контомъ—авторомъ «Позитивной политики» и «Субъективнаго синтеза». Служеніе Правдѣ-Справедливости въ такой же, если не большей мѣрѣ, чѣмъ Правдѣ-Истинѣ, выражаясь языкомъ самого Михайловскаго, объясняетъ намъ въ значительной мѣрѣ причину, почему этотъ воспитатель цѣлаго ряда поколѣній въ идеяхъ общественной справедливости нерѣдко разсматривалъ и историческій процессъ развитія человѣчества подъ тѣмъ же, до нѣкоторой степени одностороннимъ угломъ зрѣнія. Быть можетъ, въ этомъ отношеніи вліяли на него и особенности нашего вѣкового развитія;—тотъ переломъ въ русской жизни, который произведенъ былъ реформой Петра, и совершился вторично, на глазахъ Михайловскаго, во второй половинѣ XIX-го вѣка. Такіе кризисы невольно вызываютъ въ умѣ преувеличенное понятіе о роли общественнаго или государственнаго творчества, о томъ, что эволюція нерѣдко уступаетъ мѣсто перевороту и что въ странахъ, отставшихъ, какъ наша, и потому сохранившихъ нѣкоторыя экономическіе и нравственные устои отдаленнаго прошлаго, возможно дальнѣйшее развитіе этихъ устоевъ, минуя всякія промежуточныя стадіи, въ направленіи, отвѣчающемъ современнымъ идеаламъ прогрессирующихъ обществъ. Михайловскій, подобно Герцену, дорожилъ и нашей сельской общиной, и русской артелью. Онъ не считалъ нужной ихъ искусственную ломку и, повидимому, не допускалъ мысли, чтобы борьба классовыхъ интересовъ могла сдѣлаться источникомъ ихъ разложенія. Онъ вѣрилъ въ возможность преобразованія ихъ въ своего рода кооперативныя сообщества, владѣющія на коллективныхъ началахъ землею и другими орудіями производства. Можетъ показаться, что новѣйшая исторія не оправдала этихъ ожиданій. Но сказано ли ею послѣднее слово? И можемъ ли мы съ полной увѣренностью утверждать, что Россіи необходимо пережить періодъ капитализма, со всѣми крайностями индивидуализаціи орудій

КАЛАСНИКОВАГО

О-ва Потребителей

производства и ничѣмъ не сдерживаемаго столкновѣнія капитала съ трудомъ? Такое положеніе мнѣ кажется отнюдь не доказаннымъ: социальная наука и, въ частности, теорія прогресса нимало не настаиваютъ на той мысли, которую образно и съ значительнымъ преувеличеніемъ передаетъ одно время популярное выраженіе о необходимости, «вывариться въ капиталистическомъ котлѣ».

Но не будемъ поднимать завѣсы надъ судьбою грядущихъ поколѣній и ограничимся признаніемъ, что въ своихъ социальныхъ вожденіяхъ Михайловскій-соціологъ служилъ главной задачѣ своей жизни—примиренію Правды - Справедливости съ Правдой-Истиной.

МАКСИМЪ КОВАЛЕВСКІЙ.



---

## ВЪ ГЛУБИНѢ ПРЕИСПОДНЕЙ.

---

(По замѣткамъ, писаннымъ въ ней самой).

### ГЛАВА I.

Словно во снѣ вспоминается мнѣ послѣдній день моей второй (шестилѣтней) жизни на свободѣ... Вотъ Артекъ... Вотъ аллея пирамидальныхъ кипарисовъ имѣнія М. въ Крыму, вотъ милыя, привѣтливыя лица нашихъ хозяевъ... Мы дружески бесѣдуемъ, тихо проходя по аллеѣ, обливаемой жгучими лучами южнаго солнца. А направо отъ насъ синѣетъ безпокойное Черное море и бьетъ своей неумолкающей зыбью въ груды прибрежныхъ сѣрыхъ валуновъ и въ подножья выступающихъ изъ него, подобно двумъ гигантскимъ зубамъ земли, огромныхъ, обрывистыхъ скалъ—Адаларовъ. Полосы бѣлой пѣны лежатъ внизу и извиваются вдоль по всему горному побережью Аю-Дага, заслоняющаго море налѣво, и Сукъ-Су у Адаларовъ направо, хотя въ воздухѣ и совершенно тихо.

Тихо идетъ и наша жизнь. Почти цѣлый мѣсяцъ живемъ мы на южномъ берегу Крыма. Ксана ужъ начала каждый день играть на піанино, я принялся понемногу изучать библейскихъ пророковъ для своей будущей историко-астрономической книги. Но лѣнь все еще беретъ свое... Почти каждое утро бѣгу я вмѣстѣ съ сосѣдомъ купаться въ морѣ. Вотъ мы раздѣты, грѣмся, лежа на своихъ простыняхъ, на солнцѣ и затѣмъ кидаемся въ выбрасывающійся съ грохотомъ на камни береговой валъ и, переплывъ черезъ него, качаясь, уплываемъ



вдалѣ. Тяжелая морская вода легко держитъ тѣло на своей поверхности; лежишь на ней почти безъ усилій и, поплававъ вволю, возвращаешься къ берегу, къ тому мѣсту, гдѣ качаются въ водѣ вереницы круглыхъ, прозрачныхъ медузъ, похожихъ на толстыя, стеклянныя чайныя блюдца подъ самой поверхностью прозрачной синеватой воды. Мы пробираемся къ тому мѣсту, гдѣ, поднявшись высоко, береговой валъ переворачивается, рассыпается на брызги бѣлой пѣны, затѣмъ выбрасывается на берегъ и струями сливается внизъ по береговымъ голышамъ навстрѣчу новому, уже поднимающемуся и пѣнящемуся, береговому валу. Какъ мощно ударяетъ по нашему тѣлу его вершина! Она перебрасывается черезъ нашу голову, стараясь повернуть насъ бокомъ и бросить на камни, но мы напрягаемъ послѣднія усилія, снова поворачиваемъ къ морю свои ноги, и новый валъ, поднявшись, какъ призракъ, у берега, подбрасываетъ насъ вверхъ и мы уже лежимъ, зарывшись руками въ голыши, стараясь удержаться на береговомъ откосѣ, чтобъ насъ не смыло съ него обратно сливающейся водой и не унесло снова въ море.

— Снимите насъ въ пѣнѣ! — кричимъ мы Б. В., сидящему еще на берегу. Онъ улыбается, нацѣливается на насъ. Кодакъ хлопаетъ, и мы съ А. В. запечатлѣны какъ два тюленя, выглядывающіе изъ морской пѣны. Невдалекѣ смуглые и тонкіе татарскіе мальчики прыгаютъ, поднимая руки вверхъ, въ прибой, какъ бѣсенята, подскакивая надъ каждой новой волной. А тамъ, далеко за ними, видно какъ наиболѣе смѣлыя изъ нашихъ дамъ стараются подражать имъ, и ихъ визгъ слабо доносится до насъ, сквозь мощный, ни на мигъ неумолкающій гулъ морскихъ валовъ.

Да, хороши были эти наши морскія купанья по утрамъ! А какъ прекрасны были темныя, южныя ночи, какъ ярко горѣлъ надъ безбрежнымъ моремъ, на голубомъ небѣ древній бѣлый небесный конь, планета Юпитеръ. Какъ сіяла вверху Вега, а внизу, у самаго Юпитера, глядѣлъ на насъ красный Антаресъ, среди красивой вереницы скорпионовыхъ звѣздочекъ.

— Какая это звѣзда? — спрашиваетъ кто-то, показывая въ небо передъ собой.

— Арктуръ! — отвѣчаетъ освѣдомленная еще въ прежніе годы Ксана. — Каждому и каждой хочется воспользоваться случаемъ узнать отъ насъ названія звѣздъ, которыя, какъ справедливо жалуются они, очень трудно разыскивать неопытному по картамъ.

А изъ чащи деревьевъ кругомъ несутся, то издали, то вблизи,

скрипучіе звуки древесныхъ лягушекъ и сливаются въ одну сплошную своеобразную музыку.

Тихо и тепло. Вотъ, послѣ вечерняго чая, мы идемъ среди зарослей кустарника въ глубокомъ мракѣ, по тропинкѣ, надъ крутыми обрывами горнаго склона. Впереди всѣхъ Ася, знающая съ дѣтства каждый камень на этой дорожкѣ, а мы за нею, держась одинъ за другого и ничего не видя во мракѣ безлунной ночи. На каждомъ шагу мы ощупываемъ ногами почву, прежде, чѣмъ опереться на нее, то тянемъ другъ друга за поясъ, то подталкиваемъ въ спину болѣе робкихъ.

— Здѣсь направо обрывъ!

— Здѣсь камень подъ ногами!

— Здѣсь протекаетъ ручеекъ!

— Здѣсь спускъ!

— Здѣсь крутой подъемъ!

Такъ раздаются предупреждающе голоса переднихъ. Но каждый день обходится всѣмъ благополучно, развѣ только кто нибудь попадетъ ногой въ маленькую оросительную канавку, идущую нѣкоторое время рядомъ съ нашей тропинкой между нею и поднимающейся на лѣво кручей.

Живо проносятся въ моемъ умѣ эти привѣтливыя картины въ тихомъ уединеніи новаго крѣпостного заключенія. Въ ухахъ звучитъ еще ежедневная музыка Ксаны, видится ея оживленное, привѣтливое личико, вспоминаются ея свѣтлыя мечты о нашей дальнѣйшей жизни, о новыхъ путешествіяхъ...

Осуществятся ли онѣ когда нибудь въ будущемъ, послѣ моего новаго выхода на свободу, или суровая дѣйствительность и тогда подсѣчетъ имъ крылья, какъ подсѣкла уже многимъ другимъ мечтамъ?—Новый годъ испытанія показываетъ, какъ не обезпечена ничѣмъ жизнь современнаго человѣка въ Россіи, если онъ не погрузился окончательно въ моральную и умственную спячку.

Но вотъ мысли снова возвращаются къ послѣднимъ днямъ моей жизни на свободѣ. Вдали изъ-за Адаларовъ показывается лодка со студентомъ и двумя мальчиками, одѣтыми въ матроскіе костюмы. Они сильные, загорѣлые, рѣшительные, приученные съ ранняго дѣтства къ морю и къ вѣтру, къ зною и къ дождю,—дѣти, какихъ хотѣлось бы пожелать и всѣмъ остальнымъ родителямъ. Ихъ лодка колышется по зыби и останавливается, качаясь, у самыхъ береговыхъ буруновъ... Пристать къ берегу невозможно; захлеснетъ лодку тотчасъ же волной и выброситъ ее на берегъ.

— Кидайте къ намъ ваше платье!—кричатъ мнѣ дѣти.—А затѣмъ, плывите и садитесь въ лодку. Въ ней и одѣнетесь!

Все это и было выполнено безъ затрудненій, хотя меня и окатило нѣсколько разъ соленой водой, когда, пользуясь моментами ухода волны, я подбѣжалъ поближе къ лодкѣ, чтобы бросить въ нее по частямъ свою одежду.

И вотъ мы закачались на волнахъ и отправились дальше, за устье ручья. Тамъ прибой былъ слабѣе; мы пробовали сначала выброситься съ лодкой на гребнѣ волны, на берегъ, чтобы доставить Ксанѣ возможность вскочить въ лодку между двумя валами и затѣмъ снова столкнуть лодку въ море... Но въ тотъ самый моментъ, когда она вскочила, нахлынула уже другая волна и наполовину повернула лодку бокомъ къ морю. Слѣдующая непременно захлеснула и перевернула бы ее, и вотъ, чтобы избѣгнуть всеобщаго купанья въ одеждѣ, студентъ, я и старшій мальчикъ выскочили изъ лодки въ море. Онъ, по поясъ въ водѣ, направилъ корму снова впередъ. Я и студентъ, уперлись изо всѣхъ силъ ногами въ камни и сдвинули съ береговыхъ голышей носовую часть. Старшій мальчикъ, весь мокрый, успѣлъ обратно вскочить въ лодку, младшій налегъ на весла. Лодка вновь качалась въ безопасности за береговымъ прибоемъ, а я, едва отскочивъ отъ новой волны, которая облила бы меня съ головой и принудила бы идти домой переодѣваться, убѣжалъ на берегъ, поплатившись только нижней частью своего костюма, который былъ притомъ же засученъ выше коленъ.

Подбѣхать въ этомъ мѣстѣ во второй разъ къ берегу лодкѣ не было никакой возможности, безъ того, чтобы не окатить водой Ксану въ ея лѣтнемъ платьѣ и шляпкѣ.

— Поѣжайте къ Сукъ-су! Тамъ тише!—крикнулъ студентъ.

Лодка поплыла вдали параллельно берегу, а мы пошли пѣшкомъ по слоямъ раскаленныхъ солнцемъ валуновъ голышей, которые жгли мнѣ ноги и больно давили на ихъ голыя подошвы, такъ какъ мои штиблеты съ носками остались въ лодкѣ.

Но, чѣмъ дальше мы шли, тѣмъ больше убѣждались, что относительная тишина тамъ, вдали, была лишь оптическимъ обманомъ. Мы прошли этимъ мучительнымъ для ногъ путемъ не менѣе полутора верстъ, почти до самаго Сукъ-Су, не встрѣтивъ ни разу мѣста, гдѣ бы можно было пристать лодкѣ. Наконецъ, у нѣсколькихъ огромныхъ камней, свалившихся въ историческія времена съ берега въ море, на которыхъ, какъ львиная шерсть, густо росли бурья водоросли, а изъ прозрачныхъ и глубокихъ водныхъ промежутковъ между камнями смотрѣли

на насъ нѣсколько широкихъ крабовъ, мы смогли съ трудомъ взобраться на носъ лодки и тотчасъ же отъѣхать за полосу прибоа. Качаясь, поплыли мы далѣе на веслахъ и, проплывъ у выбитыхъ волнами живописныхъ гротовъ мыса Сукъ-Су между берегомъ и ближайшимъ изъ морскихъ Адаларовъ, очутились вблизи живописнаго поселка Гурзуфъ. Высадившись здѣсь, мы направились по извилистымъ тропинкамъ на вершину известковаго холма, въ имѣнье нашихъ сосѣдей, мимо огромнаго отвѣснаго утеса Скалы Смерти, съ котораго въ старинныя времена, по преданію, сбрасывали присужденныхъ къ смертной казни.

— Когда глядишь снизу вверхъ,—сказала Ксана,—этотъ обрывъ совсѣмъ не такъ страшенъ, чѣмъ когда мы смотрѣли съ него внизъ въ прошлое посѣщеніе. Но я не могу уже имъ любоваться послѣ того, какъ мнѣ рассказали объ этихъ казняхъ. Мнѣ все представляются тѣ, которыхъ сталкивали съ него.

А у меня уже шевелились въ головѣ и другія мысли...

Все, что я здѣсь видѣлъ, показывало мнѣ, что не болѣе нѣсколькихъ тысячъ лѣтъ назадъ, можетъ быть даже въ началѣ нашей исторической эпохи, здѣсь было страшное землетрясеніе, отъ котораго эти горы внезапно подпрыгнули на своихъ основаніяхъ и ихъ южные слои разлетѣлись, какъ стекло, на груды мелкихъ, круглыхъ, а иногда даже огромныхъ, какъ гигантскія пирамиды, осколковъ, скатившихся затѣмъ со страшнымъ грохотомъ въ море и, вѣроятно, образовавшихъ эти живописныя береговыя скалы, вродѣ Адаларовъ у Гурзуфа, вродѣ Дивы и Монаха близъ Сименца или безконечный лабиринтъ скалъ близъ Алушты. Свѣжесть разломовъ у этихъ камней и отсутствіе замѣтныхъ слѣдовъ вывѣтриванія на ихъ поверхности, казалось мнѣ, достаточно обнаруживали, что катастрофа произошла совсѣмъ не такъ давно, считая въ геологическомъ масштабѣ. А повсемѣстность распространенія этихъ свѣжихъ обломковъ, видѣнныхъ мною по всему южному берегу Крыма, и очевидная одновременность ихъ образованія показала мнѣ, что это не были случайные обвалы отдѣльныхъ горъ отъ размыванія ихъ основаній просачивающеюся сверху водою, какъ многіе думаютъ въ настоящее время. Тогда осколки принадлежали бы къ разнымъ эпохамъ. Я поднялъ съ дороги нѣсколько голышей изъ мѣстныхъ глинистыхъ сланцевъ. Они явно были разбиты вдребезги когда еще лежали глубоко подъ землею, потому что ряды мелкихъ трещинъ, пересѣкавшихъ ихъ повсюду, были крѣпко и плотно сцементированы прослойкой

кристалической извести, просачивавшейся въ нихъ въ водномъ растворѣ подъ землей.

Какъ страшенъ долженъ былъ быть ударъ, вдребезги разбившій почти до основанія эти громадныя горы! Ничто живое не могло уцѣлѣть въ тотъ мигъ на южномъ берегу Крыма. Въ одинъ мигъ первобытная, цвѣтущая и, можетъ быть, густо населенная доисторическимъ народомъ, страна превратилась въ пустыню, а затѣмъ была смыта нахлынувшимъ моремъ! Никого не осталось разсказать о томъ, что произошло, и даже жители отдаленныхъ окрестностей въ ужасѣ разбѣжались кто куда могъ, крича, что боги разгнѣвались за грѣхи прибрежнаго населенія Крыма и уничтожили его...

Мнѣ припомнилась картина такого же и даже несравненно большаго, опустошенія, видѣннаго мною въ горахъ Апшеронскаго полуострова, въ полтора-два верстахъ отъ Баку, когда я проѣзжалъ туда изъ Тифлиса. Съ правой стороны отъ меня была песчаная степь, почти безъ всякаго признака растительности, за которой уходило въ сѣрую туманную даль Каспійское море, а налѣво поднималась за сотни верстъ отъ меня часть Кавказскаго хребта, весь верхній слой котораго былъ, казалось, только что сброшенъ могучимъ подземнымъ ударомъ и разсыпался у своего подножья въ груды гигантскихъ угловатыхъ камней.

Не были ли эти оба страшныя землетрясенія, о которыхъ некому было пересказать потомкамъ, одновременными?—думалось мнѣ, когда я шелъ подъ Скалою Смерти, оставъ отъ спутниковъ, предаваясь своимъ, обычнымъ для послѣднихъ лѣтъ, научнымъ мечтамъ и нисколько не предчувствуя той катастрофы, которая уже была заготовлена для меня самаго и уже гналась за мной по пятамъ на этой самой дорогѣ. Я догналъ своихъ спутниковъ, перегналъ ихъ, мы отдохнули на скамеечкѣ недалеко отъ дома, куда шли. Вдали, въ бесѣдкѣ, былъ уже сервированъ обѣдъ, но хозяйки еще не было дома. Она спѣшила сюда, какъ мнѣ сказали, изъ Сукъ-Су, куда ее вызвала въ это утро заболѣвшая знакомая. Въ ожиданіи ея возвращенія, виночерпій выставилъ намъ, для утоленія жажды, бутылки краснаго и бѣлаго вина собственнаго изготовленія, и, сидя подъ навѣсомъ около дома, мы утоляли ими свою жажду, подливая въ нихъ холодной воды изъ горнаго родника.

Вдругъ прислуга вызвала студента-гувернера, и черезъ минуту онъ возвратился совершенно встревоженный.

— Пришелъ урядникъ—говоритъ онъ мнѣ,—съ какой-то бумагой, которую долженъ вручить вамъ. Что ему сказать?



Я сразу почувствовалъ недоброе. Никогда еще не приходило ко мнѣ начальство съ чѣмъ-либо хорошимъ! Ксана поблѣднѣла. Дѣти тревожно смотрѣли по направленію ко входу въ усадьбу. Мнѣ ничего не оставалось дѣлать, какъ съ видимымъ спокойствіемъ пойти на встрѣчу предстоящей опасности, хотя я съ несравненно большей охотой встрѣтился бы съ медвѣдемъ въ лѣсу, чѣмъ со служителемъ современной нашей всемогущей бюрократіи, вооруженнымъ бумагой!.. И предчувствіе не обмануло меня.

— Я тотъ, кого вамъ нужно! — сказалъ я и принялъ бумагу.

Она была отъ прокурора Симферопольскаго, окружнаго суда въ Ялтинское полицейское управленіе и содержала приказъ о моемъ немедленномъ арестѣ и заключеніи въ тюрьму на годъ, по приговору Московской судебной палаты, осудившей меня за семь стихотвореній въ моей книжкѣ: «Звѣздныя пѣсни».

Въ одинъ мигъ разлетѣлись всѣ мои ближайшіе научные планы: осмотрѣть вершины Чатырь-Дага и Ай-Петри съ геологической точки зрѣнія и возвратиться на вторую половину лѣта къ себѣ въ Борокъ, чтобы пожить тамъ съ матерью и дописать, наконецъ, свое историко-астрономическое изслѣдованіе о библейскихъ пророкахъ, долженствующее доказать, что они представляютъ изъ себя подражаніе апокалипсису и написаны въ средніе вѣка. Все, казалось, вдругъ перевернулось передъ моими глазами. Это не было внезапное землетрясеніе въ природѣ, оно не приводило въ ужасъ всѣ окрестности, но для меня и близкихъ, мнѣ, это была несомнѣнная катастрофа.

Впереди была новая тюрьма. Какъ-то я перенесу ее? — приходило въ голову.

— Я долженъ препроводить васъ въ Гурзуфъ, къ представу! — сказалъ мнѣ урядникъ.

— Но какъ же, — протестовала Ксана, — прокуроръ Московской судебной палаты самъ отпустилъ насъ въ Крымъ для поправленія здоровья, да и приговоръ долженъ быть приведенъ въ исполненіе не здѣсь, а, какъ всегда дѣлаютъ, въ мѣстѣ постоянного нашего жительства, въ Ярославской губерніи.

— Ничего не знаю! — отвѣчалъ урядникъ. Мнѣ приказано доставить въ Гурзуфъ.

— Хорошо! — сказалъ я. — Но только подождите немного, пока возвратится хозяйка этого имѣнья, чтобы я могъ проститься.

— Слушаю-съ! — сказалъ урядникъ и отошелъ вдаль.

Мы снова сѣли за столъ, и я началъ допивать свой стаканъ. Нѣсколько минутъ продолжалось всеобщее молчаніе.

— Это какое-то издѣвательство! — произнесла, наконецъ, Ксана, обращаясь къ окружающимъ, и въ голосъ ея звучали раздраженіе и сдержанныя слезы. — Вѣдь насъ предупреждали въ Петербургѣ очень освѣдомленные лица, что приговоръ признанъ неправильнымъ, что онъ не будетъ исполненъ, и говорили это не только намъ, но и многимъ другимъ, и писателямъ, и общественнымъ дѣятелямъ. Когда мы справлялись, отпустить ли насъ въ Крымъ, намъ отвѣчали: «пустъ ѣдетъ куда угодно. Неужели все это было нарочно, чтобъ оттянуть время до лѣта, когда всѣ наши друзья разъѣдутся, и арестовать его здѣсь, въ Крыму, вдали отъ всѣхъ родныхъ и знакомыхъ?»

Негодующія слова Ксаны выражали также и мои мысли. Я старался объяснить себѣ, какъ же это могло случиться? Только что отпустили путешествовать и вдругъ арестуютъ въ дорогѣ. И всѣ странности въ моемъ процессѣ мгновенно пронеслись передъ моими глазами.

— Расскажите, въ чемъ же дѣло? — спросилъ меня съ участіемъ студентъ-репетиторъ. — По газетамъ я не ясно понималъ.

— Да очень просто! Слишкомъ два года тому назадъ, книгоиздательство Скорпіонъ, въ Москвѣ, приобрѣло у меня право изданія всѣхъ моихъ, возможныхъ для печати, при современныхъ условіяхъ, стихотвореній въ формѣ сборника. Я назвалъ его: «Звѣздныя пѣсни», такъ какъ въ большинствѣ этихъ стихотвореній, такъ или иначе, фигурируютъ небесныя свѣтила. Почти всѣ они, какъ написанныя на общіе сюжеты, ничего не говорящія о современной Россіи, не возбудили у издателя никакихъ опасеній. Единственное, относительно котораго возникъ у него вопросъ, было «Беззвѣздное стихотвореніе». Оно касалось явно современнаго и въ то время жгучаго вопроса. — Оно особенно опасно, такъ какъ направлено явно противъ Азефа и другихъ провокаторовъ охраннаго отдѣленія, а за Азефа уже осудили Лопухина — сказалъ мнѣ издатель. — Лучше исключить его со-всѣмъ! — Нѣтъ, ни за что! — отвѣчалъ я. — Оно единственное, за которое я буду стоять во что бы то ни стало. Каждый писатель долженъ выразить свое возмущеніе подобными людьми. И пока я этого не сдѣлалъ такъ или иначе, мнѣ будетъ казаться, что я не исполнилъ своего гражданскаго долга.

Такъ и вышли мои «Звѣздныя пѣсни». Я уѣхалъ въ деревню, а Ксана — въ Норвегію. И вдругъ, черезъ двѣ недѣли послѣ моего отъѣзда приходятъ ко мнѣ нумера московскихъ

газетъ съ извѣстіемъ, что комитетъ по дѣламъ печати привлекаетъ по поводу моей книжки издателя къ суду, за дерзостное неуваженіе къ верховной власти въ Россіи и за воззваніе къ ея ниспроверженію!

Мысль, что за мое произведеніе и, можетъ быть, благодаря моей настойчивости относительно «Безвѣднаго стихотворенія», будетъ посаженъ въ тюрьму издатель, не давала мнѣ покоя. Я написалъ въ московскій цензурный комитетъ, что «ужь если кто-нибудь долженъ поплатиться тюремнымъ заключеніемъ за свой оптимизмъ по отношенію къ существующимъ у насъ цензурнымъ порядкамъ—то пусть лучше я, а не издатель». Комитетъ сейчасъ же любезно согласился перенести обвиненіе съ издателя на меня и направилъ мое письмо въ Московскую судебную палату, оказавшуюся не менѣ предупредительной ко мнѣ. И вотъ, судъ, въ закрытомъ засѣданіи, осудилъ меня на годъ въ крѣпость...

Въ этотъ самый моментъ пришла хозяйка дома, пригласившая насъ обѣдать. Она была страшно встревожена. Я извинился передъ нею, какъ могъ, и мы съ Ксаной пошли внизъ вмѣстѣ съ урядникомъ.

— Нельзя ли намъ зайти домой, чтобы онъ могъ переодѣться и захватить съ собой бѣлье и платье?—сказала ему Ксана.

— Никакъ нѣтъ!—отвѣчалъ урядникъ.—Я долженъ представить ихъ немедленно приставу, для отправки въ Ялту съ первымъ пароходомъ.

И вотъ, я пошелъ съ нимъ въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ полчаса назадъ вскочилъ въ лодку послѣ своего купанья. На головѣ моей не было ничего, а штаны были до пояса мокры отъ морской воды, еще не обсохшей со времени нашихъ недавнихъ приключеній. Отправляясь обѣдать, мы смѣялись, что будетъ очень эффектно явиться къ богатой сосѣдкѣ въ такомъ видѣ, прямо изъ моря; но еще эффектнѣе было теперь войти такъ въ крѣпость для отбытія наказанія за стихи и по пути представляться всему начальству. Комическое перемежалось у меня въ душѣ съ трагическимъ во время этого пути. Въ одинъ моментъ чувствовалась со всей остротой рѣзкая перемена въ жизни, разлука съ Ксаной, переходъ отъ кипучей научно-литературной дѣятельности, которой я отдавался каждой фиброй души, за послѣднія шесть съ половиной лѣтъ моей жизни на свободѣ, къ типичнѣ и принужденному бездѣйствію темницы. Въ другой моментъ становилось смѣшно при взглядѣ на свою фигуру.

Прошло около часа. Урядникъ довелъ меня, все еще на половину мокраго, до Гурзуфа, гдѣ, предложивши мнѣ погулять съ Ксаной въ мѣстномъ паркѣ — отправился разыскивать по всему мѣстечку пристава. Цѣлыхъ полчаса пропадалъ онъ гдѣ-то, затѣмъ прошелъ обратно и, увидѣвъ насъ съ Ксаной на одной изъ скамеекъ парка, крикнулъ издали:

— Все не могу найти! Погуляйте еще! — и снова ушелъ. Это было очень трогательное довѣріе! — Не хочешь сидѣть — такъ уѣзжай! Но мнѣ это было совсѣмъ неподходящее дѣло. Мое бѣгство за границу было бы для моихъ враговъ самымъ лучшимъ средствомъ отъ меня отдѣлаться. Еще за нѣсколько недѣль до суда надо мною, пошелъ слухъ изъ судебной палаты въ мѣстную адвокатуру, что мое дѣло очень серьезно, что мнѣ предстоитъ не менѣе трехъ лѣтъ заключенія съ лишеніемъ правъ и немедленный арестъ послѣ суда, и нѣкоторые изъ друзей меня предупреждали объ этомъ. — Уѣзжайте немедленно за границу! — уговаривали меня они, — когда я пріѣхалъ въ Москву на судъ, за нѣсколько дней до судебного засѣданія. Но я тогда рѣшительно отказался. Уѣхать при данныхъ обстоятельствахъ для меня было немислимо. — Вѣдь я же самъ просилъ судить меня вмѣсто издателя! — возражалъ я. — Если я теперь убѣгу, то будутъ судить его, какъ это у нихъ полагается, и осудятъ, чтобы выставить меня въ самомъ непривлекательномъ свѣтѣ. Самъ же предложилъ, а какъ дошло до дѣла — струсилъ и бѣжалъ! Если бы мнѣ грозила даже смертная казнь, и тогда я не могъ-бы уклоняться отъ суда при подобныхъ условіяхъ.

Такъ думалось мнѣ и теперь. — Пусть будетъ, что будетъ. Пусть этотъ годъ разобьетъ мое здоровье, принесетъ крушеніе всѣмъ моимъ научнымъ замысламъ, пусть совершитъ даже то, что для меня всего страшнѣе: причинить непоправимое горе Ксанѣ — но и для нея горе будетъ легче, чѣмъ сознаніе, что она отдала свою любовь жалкому и недостойному ея трусу!

Паркъ былъ открытъ на все четыре стороны; недавнее наводненіе размыло и разрушило его ограды, публика ходитъ повсюду, да и я, уже арестованный, хожу среди нихъ куда хочу! А воспользоваться этимъ для бѣгства мнѣ нельзя!

Наконецъ урядникъ явился и повелъ меня къ приставу.

— Я долженъ былъ немедленно отправить Васъ въ Ялту, — сказалъ онъ, — въ тюрьму, но пароходъ уже ушелъ, а слѣдующій придетъ только черезъ четыре часа. Вамъ придется подождать.

— Нельзя ли намъ воспользоваться временемъ, чтобы съѣздить въ Артекъ, — сказала Ксана. — Вѣдь его арестовали при по-

вздкѣ въ лодкѣ по морю, всего мокраго, безъ шапки, безъ бѣлья. Ему нельзя такъ идти въ тюрьму.

Гурзуфскій приставъ пошелъ переговорить съ прїѣхавшимъ сюда на нѣсколько часовъ Ялтинскимъ исправникомъ и возвратился съ разрѣшеніемъ.

Мы поблагодарили его, и, нанявъ парнаго извозчика, помчались въ Артекъ, но, на половинѣ дороги, должны были оставить извозчика, такъ какъ буря съ ея бѣшенными потоками вырыла посреди дороги огромный оврагъ, и намъ пришлось идти далѣе пѣшкомъ.

Въ имѣньи насъ встрѣтили, взволнованные, наши друзья. Урядника пригласили уйти на кухню, что онъ сейчасъ-же и сдѣлалъ, а мы пошли въ комнаты и начали собирать свои пожитки.

— Уйдите куда-нибудь изъ усадьбы, а мы уже сплавимъ васъ потомъ!—уговаривали меня. Никому изъ артекцевъ и въ голову не приходило, что прокуратура, отпустивъ меня на мѣсяцъ въ Крымъ, тамъ же меня и арестуетъ, не дождавшись возвращенія на мое постоянное мѣстожительство.

Я долго успокаивалъ друзей.

— Ни въ какомъ случаѣ не убѣгу! И повѣрьте, что если-бы урядникъ явился въ Артекъ при мнѣ, я тотчасъ же вышелъ-бы къ нему, чтобы лично принять бумагу!

— Но вы не можете теперь садиться въ крѣпость!—сказалъ мнѣ докторъ. — Они не имѣютъ права арестовывать васъ, потому что вы больны, и серьезнѣе, чѣмъ думаете сами. У васъ расширение сердца и неврозъ. Я, какъ врачъ, уже писалъ отъ себя въ Московскую судебную палату, что ваша болѣзнь требуетъ продленія вашего пребыванія въ Крыму на мѣсяцъ и теперь же ѣду съ вами, чтобъ заявить это и ялтинскому исправнику.

Всѣ обрадовались такому средству продлить хоть на мѣсяцъ мое пребываніе на свободѣ, и мнѣ самому нѣкоторая отсрочка казалась привлекательной, чтобъ безъ стражи переѣхать на родной сѣверъ, гдѣ для Ксаны была бы возможность время отъ времени посѣщать меня.

Но, какъ только, вызвавъ съ кухни урядника, мы прїѣхали въ Гурзуфъ, а затѣмъ на пароходѣ въ Ялту, мѣстный исправникъ сказалъ моимъ докторамъ, что ничего не можетъ сдѣлать. Предписаніе о моемъ арестѣ помѣчено спѣшнымъ, и онъ могъ бы оставить его безъ приведенія въ исполненіе лишь въ томъ случаѣ, если бы урядникъ нашелъ меня лежащимъ въ постели.



Все это было такъ ново, сравнительно съ другими прецедентами, что оба доктора сначала взглянули другъ на друга въ недоумѣніи, а затѣмъ настаивали на томъ, чтобы теперь же имъ разрѣшили написать хоть свидѣтельство о моей болѣзни и направили его къ прокурору Симферопольскаго окружнаго суда, для пріостановки ареста.

Исправникъ согласился на это, заявивъ, что онъ оставитъ меня въ Ялтинской полицейской тюрьмѣ до полученія отвѣта.

— А если будетъ отказъ? — спросила Ксана.

— Тогда для отбытія наказанія я долженъ буду препроводить его въ Симферопольскую тюрьму!

Это было новымъ ударомъ для Ксаны и для всѣхъ моихъ друзей! У меня, какъ петербургскаго жителя, не было здѣсь ни одного знакомаго, за исключеніемъ пріѣхавшихъ въ Крымъ на лѣтніе мѣсяцы.

— Всю осень и зиму тебѣ назначили сидѣть за двѣ слишкомъ тысячи верстъ отъ всѣхъ родныхъ и знакомыхъ, которые не могли бы навѣстить тебя, еслибъ даже ты заболѣлъ и умиралъ! — воскликнула Ксана. — Это они нарочно сдѣлали! Нарочно тянули исполненіе приговора до лѣтнихъ мѣсяцевъ, когда всѣ наши вліятельные друзья въ Петербургѣ разъѣдутся, когда некому будетъ заступиться за тебя и нарочно дали тебѣ разрѣшеніе ѣхать въ Крымъ! Надо, чтобы тебя непременно перевели ближе къ Петербургу, въ Двинскую крѣпость, куда я могу всегда пріѣхать въ одну ночь, или въ Мологскую тюрьму.

Послѣдняя казалась удобной потому, что въ Мологѣ жили мои сестры, у которыхъ могла въ любое время остановиться Ксана. Въ зимнее время ей приходилось, какъ преподавательницѣ Народной консерваторіи, жить на нашей постоянной квартирѣ въ Біологической лабораторіи Лесгафта въ Петербургѣ, и потому она только временно могла бы навѣщать меня и заботиться обо мнѣ.

— Но какъ это сдѣлать, когда всѣ лица, на слова которыхъ въ министерствѣ обратили бы вниманіе, разъѣхались на каникулы изъ Петербурга?

— Государственный Совѣтъ еще, къ счастью, не распущенъ; надо немедленно же телеграфировать Максиму Максимовичу!

Но я не могъ ни въ этотъ день, ни въ слѣдующій узнать, что предпримутъ Ксана и сопровождавшіе ее друзья... Меня пригласили идти въ тюрьму, и Ксана успѣла только сказать мнѣ, чтобы я

не ждалъ ее завтра, такъ какъ она немедленно отправляется на автомобилѣ въ Симферополь, чтобъ лично хлопотать у прокурора о временномъ освобожденіи меня по болѣзни, и о разрѣшеніи возвратиться на мѣсто моего постоянного жительства, въ Мологу, гдѣ я могъ бы отбывать наказаніе по близости отъ нашего имѣнья и отъ полуслѣпой, больной матери, которая не въ состояніи пріѣзжать ко мнѣ такъ далеко на свиданье.

Желѣзные ворота отворились передо мною, затѣмъ на нѣкоторомъ разстояніи растворились другія, и я вошелъ на четырехугольный, продолговатый тюремный дворъ, залитый асфальтомъ, безъ одной травинки. Три высокія стѣны, сложенные изъ буроватыхъ известняковъ и вверху утыканныя осколками битого стекла, окружали его съ трехъ сторонъ, а четвертая сторона замыкалась тюремнымъ зданіемъ, длиннымъ и одноэтажнымъ. Какой то молодой, бѣлокурый человѣкъ въ сѣромъ пиджакѣ медленно шелъ по двору навѣро отъ меня, а на правой сторонѣ, сквозь рѣшетчатые окна, глядѣли въ окна съ рѣшетками головы нѣсколькихъ арестованныхъ.

## ГЛАВА II.

### Станный товарищъ.

Полицейскій приставъ, типическій армянинъ, завѣдывавшій этой небольшой тюрьмой и явно уже знавшій заранѣе о моемъ прибытіи, отвелъ меня въ крошечную, очень грязную, темную камеру, въ пять шаговъ длины и три ширины. Надъ дверью ея было написано: «Для политическихъ». Небольшое окно съ желѣзной рѣшеткой было высоко надъ ея поломъ, т. е. устроено по новому, убійственному для глазъ, тюремному образцу. Грязный деревянный столъ находился въ отдаленномъ, почти совсѣмъ темномъ концѣ, гдѣ не было никакой возможности что-либо читать или писать, не погубивъ своего зрѣнія, а сбоку, подъ окномъ, стояла голая желѣзная кровать.

— Принесите сюда тюфякъ!—сказалъ приставъ старшему унтеръ-офицеру.—Вотъ здѣсь придется вамъ жить до отправки далѣе!—добавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ.

Затѣмъ онъ велѣлъ не запираеть днемъ мою камеру и превъстникъ европы.—апрѣль. 1913.

доставлять мнѣ выходить изъ нея на дворикъ, когда хочу, за исключеніемъ времени прогулки уголовныхъ.

— Здѣсь есть для васъ и товарищъ! Тоже по литературному дѣлу! — прибавилъ онъ. — Пойдемте, я васъ познакомлю!

И, выйдя на асфальтовый дворъ, онъ представилъ меня тому самому невысокому молодому человѣку, съ бѣлокурыми волосами и бородкой, котораго я видѣлъ одиноко проходившимъ по двору. Раскланявшись затѣмъ съ нами обоими, онъ ушелъ.

Начиная отъ запыленнаго костюма и кончая тѣмъ недоувѣрчивымъ взглядомъ, напоминающимъ взглядъ загнаннаго волченка, который неизбѣжно вырабатывается въ нашихъ тюрьмахъ, гдѣ каждую минуту чувствуешь, что съ тобой могутъ сдѣлать все, что угодно, — все показывало, что мой случайный собесѣдникъ уже не первую недѣлю находится здѣсь.

— Меня осудила Московская палата на годъ въ крѣпость за книгу стиховъ: «Звѣздныя пѣсни», въ которыхъ усмотрѣли дерзостное неуваженіе къ верховной власти и воззваніе къ ея ниспроверженію — началъ я сообщать прежде всего о самомъ себѣ, зная по опыту, что это наилучшій способъ установить сразу же довѣрчивыя отношенія съ заключеннымъ, всегда склоннымъ заподозрить въ васъ подосланнаго шпіона, если вы будете прямо задавать ему вопросы о его дѣлѣ. — А вы за что?

— Я административный, на три мѣсяца, за статью противъ Петербургскаго градоначальника.

— Значитъ, вы редакторъ какой-нибудь газеты?

— Я временно редактировалъ «Грозу» — отвѣчалъ онъ съ едва замѣтнымъ колебаніемъ въ голосѣ, показывавшимъ, что онъ былъ неувѣренъ въ томъ, какъ я отнесусь къ его словамъ.

Временный редакторъ ультра-правой «Грозы», сторонницы іеромонаха Иліодора и гремѣвшаго когда-то противъ меня съ церковной кафедры епископа Гермогена! — промелькнуло въ одинъ мигъ у меня въ головѣ. Что же? Будемъ ли мы теперь, какъ два сектанта различныхъ толковъ, сжигаемые на одномъ кострѣ, переругиваться здѣсь другъ съ другомъ? — Нѣтъ! — мгновенно пронеслась въ головѣ мысль, всегда появлявшаяся у меня и ранѣе, въ Шлиссельбургской крѣпости, когда тамъ поднимались по временамъ фракціонные раздоры между товарищами по заключенію. — Нѣтъ! Въ мѣстѣ общаго страданія не должно быть вражды и борьбы. Отвратительна картина евангельскаго разбойника, ругавшагося на крестѣ! И я быстро, со смѣхомъ, отвѣтилъ, чтобъ сократить трудную, недоувѣрчивую минуту, которая

должна была сразу рѣшить характеръ нашихъ дальнѣйшихъ отношеній въ общемъ заключеніи:

— Что за удивительныя времена! Представьте только! Вы правый, я лѣвый! — а въ результатъ оказываемся товарищами въ одной и той же темницѣ!

— Чего добраго можно ожидать отъ бюрократіи?—отвѣтилъ онъ, послѣ нѣкотораго молчанія, произнося слово «бюрократія» съ явнымъ презрѣніемъ и все еще въ нерѣшительномъ топѣ, очевидно готовый уйти, если я отнесусь къ нему враждебно.

— А «Грозу», значить, очень преслѣдуютъ!—поспѣшно замѣтилъ я, чтобъ поддержать разговоръ.

— Почти не проходитъ недѣли, чтобъ не конфисковали номера и не оштрафовали.

— Бьютъ, значить, направо и налѣво!

Я сразу почувствовалъ, что на почвѣ общаго нерасположенія къ бюрократіи у насъ устанавливаются отношенія, при которыхъ мы будемъ облегчать одинъ другому заключеніе. Кошмарная, отвратительная картина двухъ сжигаемыхъ на кострѣ сектантовъ, ругающихся другъ съ другомъ до самой смерти, отступила отъ меня. Мнѣ стало даже интересно узнать изъ первоисточника желанія и стремленія этихъ демагоговъ справа, поднимающихся на нашъ современный государственный режимъ.

Однако въ этотъ день у насъ не было никакихъ принципиальныхъ разговоровъ. Вечеръ уже наступилъ. Насъ пригласили въ камеры, и вотъ я въ первый разъ очутился снова одинъ, снова въ тюремной кельѣ, еще болѣе темной и унылой, чѣмъ Шлиссельбургская.

То, чего я боялся болѣе всего, именно и случилось, черезъ какихъ нибудь полчаса одиночества, при тускломъ сіяніи крошечной жестяной керосиновой лампочки принесенной солдатомъ въ мою окончательно потемнѣвшую камеру. Опять нахлынули старыя воспоминанія. Шесть лѣтъ жизни на свободѣ, свѣтлая, поэтическия воспоминанія о первой встрѣчѣ съ Ксаной, о нашей взаимной любви и пятилѣтнемъ безоблачномъ счастьѣ среди кипучей, интенсивной работы, у меня—въ области науки, у нея—въ области искусства и музыки,—показались мнѣ свѣтлымъ сномъ, отъ котораго я теперь вдругъ пробудился къ своей тусклой, темничной дѣйствительности, захватившей половину моей жизни. И мнѣ стало болѣзненно жалко своего свѣтлаго сна!

Я взглянулъ на желѣзную рѣшетку въ окнѣ, посмотрѣлъ черезъ нее въ ночную тьму на небольшой дворикъ, на дверь съ четырехугольнымъ окошечкомъ въ ней, для наблюденія за

мною дежурнаго тюремщика, стоявшаго вдали и читавшаго, бормоча, какую то маленькую книжку. Потомъ, начавъ ходить попрежнему, какъ маятникъ, изъ угла въ уголъ своей камеры—четыре шага въ одну сторону и четыре обратно, съ крутымъ и рѣзкимъ поворотомъ на каблукъ въ каждомъ углу,—я задалъ себѣ вопросъ: способенъ ли я себѣ представить, что это не что иное, какъ продолженіе моей шлиссельбургской жизни, что мой выпускъ на свободу и все, что тамъ случилось, были только галлюцинаціи, результатъ моего временнаго помѣшательства въ Шлиссельбургѣ, въ который я снова возвратился?

Нѣтъ, при всѣхъ моихъ усилахъ, я не могъ себѣ этого представить! Шесть лѣтъ жизни провели ничѣмъ неизгладимую черту между моимъ прошлымъ и настоящимъ заточеніемъ. Даже заключенный вновь въ своей прежней Шлиссельбургской камерѣ — казалось мнѣ,—я едва ли забылъ бы о нихъ. Воспоминаніе о быломъ освобожденіи никогда не исчезало у меня, даже и во снѣ.

Странное, удивительное дѣло!—думалось мнѣ. Время отъ времени мнѣ снилось, что я гимназистъ и держу экзаменъ по латинскому языку и греческому, и все, что было со мной въ жизни послѣ періода юности, исчезало изъ памяти, уходило для меня снова въ невѣдомое будущее! А между тѣмъ, освобожденіе изъ Шлиссельбурга всегда мнѣ помнилось, даже и во снѣ. Я нерѣдко видѣлъ себя по ночамъ вновь въ его стѣнахъ, схваченнымъ гдѣ-то на улицѣ, невѣдомо ни для кого, и водвореннымъ обратно въ свою прежнюю камеру въ Шлиссельбургѣ, какъ человекъ лишь по ошибкѣ выпущенный на свободу и слишкомъ намозолившій послѣ этого глаза начальству; но никогда за всѣ шесть лѣтъ не видалъ я сна, въ которомъ отсутствовало бы воспоминаніе о моемъ бывшемъ освобожденіи, о Ксанѣ, о послѣдующей научной дѣятельности.

— Какъ-то буду я чувствовать себя теперь?—думалось мнѣ.—Вотъ и сбылся, хоть нѣсколько въ другой формѣ, мой зловѣщій сонъ о новомъ періодѣ неволи, который долженъ придти для меня.

Я попробовалъ лечь на принесенный мнѣ грязный, длинный мѣшокъ, набитый измельчившейся отъ времени и употребленія соломой, составлявшій мой матрацъ, и только тутъ замѣтилъ, что въ желѣзной кровати глубоко продавились всѣ тонкія продольныя желѣзныя полосы, и мнѣ приходилось спать лишь на четырехъ поперечныхъ, жесткихъ желѣзныхъ прутьяхъ, одинъ изъ которыхъ приходился подъ головой,



другой поперекъ моей спины, третій — подъ бедромъ, а на четвертомъ покоились мои колѣна. Все остальное пространство казалось совершенно провалившимся. Я посмотрѣлъ, нельзя ли положить мою постель, какъ я дѣлывалъ не разъ въ такихъ случаяхъ ранѣе, прямо на полъ. Но полъ былъ такъ невообразимо грязенъ и заплыванъ отдыхавшей здѣсь стражей, и всѣ эти плевки такъ свѣже размазаны шваброй, что я не рѣшился.

— Лучше ужъ какъ нибудь проваляюсь всю ночь на этомъ прокрустовомъ ложѣ! — подумалъ я, и началъ ждать разсвѣта.

Сердце сильно билось, въ вискахъ какъ будто стучали молотки; привычная мнѣ въ Шлиссельбургѣ тупая тяжесть въ мозгу снова начала овладѣвать мною къ разсвѣту. Я ворочался съ боку на бокъ, стараясь подставлять на желѣзные стержни, вмѣсто наболѣвшихъ, другія части своего тѣла и, пройдя всю возможную ихъ очередь, возвратиться къ прежнимъ, отдохнувшимъ мѣстамъ.

Въ окнѣ показалось первое синеватое сіяніе разсвѣта.

— Подымайтесь! Подымайтесь, говорю! — раздался внезапно въ корридорѣ спѣшный, сердитый крикъ, скорѣе ревъ, какъ будто случился пожаръ или землетрясеніе.

— Кого это будятъ? Вѣрно общую камеру, — подумалось мнѣ.

Такой же крикъ повторился въ другомъ мѣстѣ, очевидно — передъ дверью женской камеры. Я ждалъ, что теперь подойдутъ ко мнѣ, но ничего подобнаго не случилось.

— Ну, не валадайся, подымайся скорѣе! — доносились вновь до меня тѣ же спѣшные крики.

Я посмотрѣлъ на часы. Было половина пятого. Вотъ раздался грохотъ желѣзныхъ запоровъ, скрипъ отворяемой желѣзной двери...

— Стройся, ровняйся! — заоралъ опять тотъ же спѣшный, на этотъ разъ даже какъ будто испуганный, голосъ.

— Здраю желаю!! — слышался крикъ нѣсколькихъ мужскихъ голосовъ.

Очевидно, это кричали арестованные. Я подумалъ, что произошло неожиданное ночное визитъ высшаго начальства.

— Не ко мнѣ ли? — мелькнуло у меня въ головѣ. — Не отправляютъ ли меня неожиданно въ Симферопольскую тюрьму?

Я лежалъ неподвижно на своихъ стержняхъ, дѣлая видъ, что сплю и ничего не слышу. Скоро все затихло; ко мнѣ только посмотрѣли въ дверное окошечко, но не зашли.

Эта предразсвѣтная тревога сильно подѣйствовала на мои

нервы. Мнѣ припомнилось, какъ во время дознанія въ Петропавловской крѣпости, чтобы расшатать мои нервы, ко мнѣ врывалась по временамъ, часа въ три ночи, когда я крѣпко спалъ, цѣлая толпа тюремныхъ сторожей вмѣстѣ со смотрителемъ. Они съ грохотомъ отворяли тяжелые желѣзные запоры, рванувъ, раскрывали мою дверь, бѣгомъ окружали мою постель и съ грубымъ окрикомъ: «одѣвайтесь!» совали мнѣ мою куртку и штаны, а затѣмъ бѣгомъ вели меня куда-то внизъ по корридорамъ, какъ будто въ застѣнокъ для пытки. Потомъ, поднявшись снова вверхъ, они вводили меня въ другую камеру и также крикнувъ: «раздѣвайтесь!» забирали съ собой всю мою одежду и съ шумомъ уходили, предоставивъ мнѣ оканчивать ночь въ новомъ мѣстѣ.

— Неужели и здѣсь выработались такіе же способы для разрушенія нервовъ?—подумалось мнѣ,—и, вставши рано утромъ, я вышелъ изъ своей камеры и спросилъ объ этомъ своего, гуляшаго уже, оригинальнаго товарища по заключенію. Ему уже давно не запирали на ночь камеру, сочувствуя ему какъ «правому», а по его примѣру, не запирали теперь и мнѣ.

— Это все грубый старшій унтеръ здѣшняго караула! Онъ ко всему придирается, подчиненные тюремщики боятся его, какъ огня, а потому и сами орутъ, и при первой возможности, уходя отсюда на другое мѣсто. Рѣдко кто изъ нихъ остается здѣсь болѣе двухъ-трехъ мѣсяцевъ. Но съ вами, и со всякимъ, у кого есть деньги, онъ будетъ верхъ любезности, а за нимъ и всѣ его подчиненные.

Такъ и случилось потомъ на дѣлѣ, особенно послѣ того какъ Ксана и знакомые, приходившіе ко мнѣ на свиданіе, завели обыкновеніе, уходя, совать привратникамъ въ руку по серебряной монетѣ.

Мой товарищъ по заключенію теперь сильно заинтересовалъ меня, несмотря на возбужденные нервы и утомленіе безсонной ночью. Еще раньше, чѣмъ я вышелъ, я слышалъ изъ своей комнаты его разговоръ съ дежурнымъ.

— Привели, кажется, новую женщину?

— Да.

— Есть у нея чай и сахаръ?

— Ничего нѣтъ!

— Такъ дайте моего чаю и также сахару. Вотъ!

— Не могу! Старшій изживетъ меня со свѣту. И прошлый разъ была мнѣ чистая бѣда, когда онъ увидалъ, что я передалъ отъ васъ.

— Нельзя же человѣка оставлять голоднымъ! Передайте! — повелительно окончилъ мой «правый» товарищъ.

Значить, добрый человѣкъ! — подумалось мнѣ.

— Что, вамъ очень скучно было за эти полтора мѣсяца? спросилъ я его, подходя.

— Да, особенно первый мѣсяцъ. Только тотъ, кто побывалъ въ тюрьмѣ, можетъ понять, какое счастье жить на свободѣ! Я совсѣмъ не могу себѣ представить, какъ вы, высидѣвъ двадцать восемь лѣтъ, могли сохраниться. Вамъ теперь должно быть тяжелѣе, чѣмъ кому другому, снова попасть въ заключеніе!

— Да, это правда, особенно когда чувствуешь, что ни за что, какъ я теперь. А вотъ нѣкоторые, не бывшіе въ заключеніи, говорятъ обо мнѣ: «что ему лишній годъ тюрьмы? Онъ уже привыкъ!». И не понимаютъ, что къ этому блюду нельзя привыкнуть. Чѣмъ больше имъ кормятъ, тѣмъ отвратительнѣе кажется оно, и даже при одной мысли о возможности его повторенія у меня на свободѣ по временамъ шевелились волосы на головѣ. Но, конечно, человѣкъ, желающій быть достойнымъ довѣрія другихъ, долженъ смотрѣть прямо въ глаза всякой опасности и не колебаться идти ей навстрѣчу, когда нужно. Несомнѣнно, я выдержу и этотъ двадцать девятый годъ, въ какія условія ни помѣстили бы меня. Знаю, что не безъ вреда, но объ этомъ не стоить думать. А вы все время здѣсь и въ одиночествѣ?

— Я уѣхалъ въ Ялту изъ Петербурга, какъ только меня предупредили, что градоначальникъ назначилъ мнѣ три мѣсяца ареста за возбужденіе населенія противъ властей.

— Вы хотѣли отбывать здѣсь?

— Да! Градоначальникъ требовалъ, чтобы меня отправили въ тюрьму въ Петербургъ, но генералъ не хотѣлъ меня выдавать и настоялъ на томъ, чтобы я отбывалъ наказаніе у него здѣсь.

— Какой генералъ?

— Думбадзе.

— И все время у васъ не было политическихъ товарищей?

— Я былъ здѣсь одинъ все время, за исключеніемъ пяти дней, на которые были посажены сюда подъ арестъ мѣстные литераторы. Съ ними очень весело прошло время, а послѣ стало еще тоскливѣе.

Значить и мѣстные литераторы — подумалось мнѣ, — пришли къ заключенію, что въ темницѣ надо быть безъ партій! И эта мысль была мнѣ отрадна.

Мнѣ очень хотѣлось узнать здѣсь изъ перваго источника,

въ чемъ же заключаются стремленія этихъ «революціонеровъ справа», какъ ихъ называютъ, и я спросилъ его.

— Судить о насъ по нашимъ думскимъ представителямъ— значитъ ошибаться! Всѣ они уже съ душкомъ, уже пахнутъ бюрократически, а мы хотимъ, чтобы между царемъ и народомъ не было никакихъ преградъ, ни бюрократическихъ, ни парламентарныхъ.

— Но какъ же вы достигнете этого? Въ древнія времена, когда государства были крошечныя, каждый обиженный судомъ или мелкой властью, конечно, могъ явиться къ своему монарху и просить его лично разобрать дѣло. Но когда въ государствѣ полтора-милліона жителей! Представьте, что за годъ будетъ обиженъ, или сочтетъ себя обиженнымъ, хоть одинъ изъ десяти тысячъ жителей и станетъ апеллировать! Вѣдь будетъ по 40 апелляцій, въ день! И ихъ никакъ нельзя откладывать, потому что если отложить хоть на недѣлю, то къ концу ея будетъ уже 280 неразобранныхъ дѣлъ, и съ каждой новой недѣлей будетъ прибавляться по столько же! Вотъ Левъ Толстой, хотя и не монархъ, и не милліардеръ, получалъ по нѣскольку просьбъ въ день объ однихъ денежныхъ пособіяхъ, такъ что наконецъ заявилъ въ газетахъ, что онъ никому не выдаетъ пособій... И онъ совершенно правильно поступилъ, потому что на такое количество просьбъ никакихъ милліардовъ не хватитъ! Что же будетъ съ вашимъ, доступнымъ для всѣхъ монархомъ! Вотъ когда-то князь Николай въ Черногоріи, говорятъ, каждую недѣлю сидѣлъ подъ какимъ-то дубомъ и лично судилъ своихъ поссорившихся подданныхъ. Но теперь, съ развитіемъ путей сообщенія, и у него пошла голова кругомъ отъ судовъ, и онъ устроилъ у себя бюрократію, рассматривающую дѣла вмѣсто него! Теперь въ Черногоріи ругаютъ его за это, а по моему, другого выхода тамъ и не было, какъ монархическая бюрократія или народное представительство. Форма правленія, годная для крошечныхъ, первобытныхъ народовъ, совершенно негодна для крупныхъ, и потому, волей или неволей, они переходятъ къ чисто представительному образу правленія!

— Конечно, это сложный вопросъ—отвѣчалъ мой собесѣдникъ.—Никто не можетъ требовать, чтобы монархъ лично разбиралъ каждую ссору, лично рѣшалъ всякую выдачу пособій; но пусть онъ назначаетъ безкорыстныхъ людей, преданныхъ народу, и прогонитъ тѣхъ, какіе его окружаютъ теперь.

— А какъ же узнать безкорыстныхъ? Вѣдь каждый плутъ разыгрываетъ изъ себя честнаго человѣка, и даже особенно

часто говорить о своей честности, чтобы лучше обмануть!..

Онъ что-то возражалъ, но очень вяло и неохотно, и мнѣ видно было, что не этотъ предметъ заставилъ его войти сначала въ «Грозу» и, наконецъ, сюда въ тюрьму.

— Я хочу вѣрить, — говорилъ онъ далѣе, — какъ православный, не смущаясь никакими сомнѣніями. Православіе сохраняло Россію въ продолженіе тысячи лѣтъ, и безъ него она погибнетъ.

— Но почему же не гибнуть безъ него Японія, Германія и другія неправославныя государства? И что вы называете православіемъ?

— Быть православнымъ, значить вѣрить, что каждое слово библіи и евангелія — божественно.

— Но наша православная библія не оригиналъ. Она переведена съ еврейскаго и греческаго языковъ, и притомъ переведена не всегда правильно. Значить, каждому слову такихъ переводовъ нельзя вѣрить.

— Я допускаю ихъ поправки по подлинникамъ.

— Но подлинниковъ библіи и евангелія нѣтъ, и въ различныхъ средневѣковыхъ рукописяхъ ихъ находится, по изслѣдованіямъ англійскихъ и американскихъ теологовъ, до 10,000 варіантовъ, очевидно принадлежащихъ переписчикамъ... Какой изъ этихъ варіантовъ вѣренъ? Кромѣ того, нѣкоторыя книги, напимѣръ, третья книга Ездры, книги Маккавеевъ прямо признаются не подлинными, даже теологами. Та слѣпая вѣра, о которой вы говорите, была возможна лишь въ наивныя времена, когда первобытному, мало развитому читателю казалось, что библейскія книги написаны Богомъ прямо по славянски, или, что всѣ дошедшіе до насъ источники и переводы сходятся другъ съ другомъ до послѣдней запятой. Теперь этой вѣры быть не можетъ. Хотите, я вамъ дамъ имѣющуюся у меня здѣсь книжку американскаго унитаріанскаго пастора Сэндерленда въ русскомъ переводѣ, въ которой прекрасно описано, какъ дошли до насъ библейскія и евангельскія рукописи?

— Нѣтъ, лучше не надо! — сказалъ онъ съ нѣкоторой нерѣшительностью. — Зачѣмъ смущать свою вѣру?

— Я понимаю такое настроеніе у человѣка живущаго индивидуальной жизнью, но вы — журналистъ. Вѣдь если вамъ придется писать по этому вопросу, то васъ осмѣютъ, увидавъ, что вы не знаете научной литературы своего сюжета.

Онъ поколебался и на другой день взялъ у меня книгу.



Какое впечатлѣніе произвела она на него, онъ мнѣ не рассказывалъ, потѣмъ, но и безъ того мнѣ было ясно, что не вѣра въ непогрѣшимость православія привела его въ лагерь правыхъ. Слѣпая вѣра въ догму—это характеристика періода глубокаго невѣжества массъ, полной спячки мысли въ человѣкѣ. Какъ только мысль пробуждается, человѣкъ начинаетъ спрашивать: а какъ же узнали истину тѣ, которые мнѣ ее сообщили и которыми я вѣрю? Вопросъ этотъ еще не является критикой вѣры, внушенной въ дѣтствѣ; онъ является только естественнымъ стремленіемъ всякаго начавшаго мыслить человѣка дополнить, округлить кругозоръ своей первоначальной наивной вѣры. И если, какъ въ современномъ естествознаніи, этотъ вопросъ удовлетворяется учителями охотно и вполне, то наша *вѣра* въ сообщенное намъ, становится совершенной и мы называемъ ее другимъ именемъ—*знаніемъ*. Мы уже не говоримъ, что *вѣримъ*, на примѣръ, во вращеніе земли. Мы говоримъ, что знаемъ это, убѣдились въ этомъ нашимъ личнымъ размышленіемъ, а не слѣпой вѣрой въ слова нашихъ родителей и учителей. Вотъ почему въ нашъ вѣкъ, когда элементарная школа и даже простое чтеніе самыхъ дешевыхъ книжекъ пробудили мысль народовъ отъ многовѣковой спячки въ царствѣ безграмотности, попытка удержать авторитетъ слѣпой вѣры въ каждое слово библіи, съ забвеніемъ даже того, что это книга переводная (какъ постоянно забывали старовѣры, отстаивавшіе каждую запятую славянскаго перевода) является напрасно потраченнымъ трудомъ.

Всѣ эти мысли проносились у меня въ головѣ одна за другой во время нашего разговора, мнѣ даже было больно, что онъ мнѣ мало возражаетъ, что говорить приходится почти исключительно мнѣ. Конечно, я не могъ не видѣть, что здѣсь было огромное преимущество на моей сторонѣ. Я пришелъ къ нему прямо съ воли, съ еще свѣжей головой, съ привычкой къ разговору, а онъ, сидя болѣе полутора мѣсяца одинъ, уже разучивался связно говорить, какъ когда-то, въ такихъ же условіяхъ, разучился я и при встрѣчѣ съ товарищемъ на прогулкѣ не знать, что сказать. Очевидно, и у него въ головѣ—думалъ я—та же тупая тяжесть, какая давила почти тридцать лѣтъ и мою голову. Сколько разныхъ убѣжденій въ человѣческомъ родѣ,—думалось мнѣ,—но душа у всѣхъ искреннихъ людей одна и та же! Да и у всѣхъ плутовъ и лицемеровъ она тоже одна, но другого рода. И на всѣхъ людей одинаково дѣйствуютъ одинаковыя условія...

Его сдержанность въ отвѣтахъ возбуждала у меня къ нему особенную симпатію. Другой спорщикъ, видя, что съ выставляемыми мною положеніями трудно справиться честно, сейчасъ же перешелъ бы на личности, началъ бы ругать своихъ противниковъ, въ надеждѣ, что я подниму брошенную мнѣ перчатку и заберусь вмѣстѣ съ нимъ въ топкое болото, изъ котораго успѣшно выкарабкается не тотъ, кто честнѣе и справедливѣе въ спорѣ, а тотъ, кто лживѣе, нахальнѣе, крикливѣе и безцеремоннѣе. Но онъ не бросилъ мнѣ такой обычной удочки, на которую съ древнихъ временъ навѣрняка уловляются идейными плутами всѣ мелочно-самолюбивые противники, всѣ нервные, прямолинейные и умственно-ограниченные люди.

Итакъ, что же, наконецъ, повело его «направо» — снова помалъ я себѣ голову. — И вотъ, путемъ исключенія, я пришелъ къ выводу, что привести его въ «союзъ» могъ только націонализмъ, т. е. стремленіе сохранить господство и могущество великорусской расы, хотя онъ по фамиліи и по мѣсту рожденія и былъ бѣлоруссъ. И патріархальная власть, и наивное православіе, очевидно, являлись для него лишь воображаемымъ средствомъ къ достиженію послѣдней цѣли. За нихъ онъ будетъ держаться лишь до тѣхъ поръ, пока у него не пошатнулась внушенная ему увѣренность, что остальные современные теченія русской общественной жизни подкапываются подъ мощь русской національности. Какъ было разувѣрить его въ этомъ?

— Я, какъ и всѣ правые, нахожу прежде всего, что Россія для русскихъ! — сказалъ онъ наконецъ, какъ бы угадывая мою мысль.

— Но вѣдь не хотите же вы избить, или изгнать съ современной русской территоріи всѣхъ инородцевъ, которые живутъ здѣсь испоконъ вѣковъ?

— Они должны принимать русскій языкъ, русскую культуру, должны сливаться съ русскими, а не обособляться отъ Россіи, не стремиться господствовать надъ нею, какъ, напримеръ, евреи въ западномъ краѣ.

— Но вѣдь это господство естественно создается тамъ нашимъ правительствомъ, которое замкнуло евреевъ въ одной территоріи, такъ что во многихъ городахъ ихъ оказывается большинство. Всякое большинство, конечно, стремится быть господствующимъ въ своей мѣстности, и оно естественно ассимилируетъ меньшинство. Вотъ хоть бы дѣти русскихъ эмигрантовъ: родившіеся и выросшіе въ Парижѣ — совсѣмъ парижане, выросшіе въ

Англіи—типическіе англичане, Россія имъ уже кажется чужой. Также и иностранцы у насъ: сколько въ глубинѣ Россіи семействъ съ нѣмецкими, французскими, англійскими фамиліями, считающихъ себя и считаемыхъ всѣми окружающими за коренныхъ русскихъ? Такъ и въ западномъ краѣ, гдѣ искусственно поддерживается въ городахъ еврейское большинство. А уничтожьте исключительные законы, и евреи быстро разсѣются по всей Россіи, позабудутъ свой нѣмецкій жаргонъ, и будутъ уже не національностью, а простыми русскими иновѣрцами, пока не сольются, при отбѣнѣ религіозныхъ ограниченій для смѣшанныхъ браковъ, и въ этомъ отношеніи.

— Ну, нѣтъ! — возражалъ мой компаніонъ. — Это крѣпкая нація.

— Точно ли нація, а не простая религія, какъ и всѣ остальные вѣроисповѣданія? Вотъ знаменитый французскій антропологъ Брока изслѣдовалъ тысячи еврейскихъ череповъ изъ разныхъ странъ—и пришелъ къ заключенію, что всѣ европейскіе евреи вовсе не малоазіатскіе семиты, а представляютъ смѣсь различныхъ европейскихъ національностей, принявшихъ въ первые вѣка іудейскую вѣру. Значитъ, евреи не раса, а вѣроисповѣданіе, вродѣ молоканъ, изъ которыхъ тоже у насъ пытались сдѣлать, религіозными гоненіями, особую національность, устроивъ для нихъ тоже спеціальныя территоріи.

— Мнѣ все равно, откуда евреи произошли, — отвѣчалъ онъ, — но ни я, ни вы не можете не видѣть, что это люди солидарные другъ съ другомъ, чрезвычайно предприимчивые, энергичные. Нашъ простодушный, довѣрчивый русскій народъ сейчасъ же попадетъ къ нимъ въ кабалу, если только ихъ пустить въ его мѣстность.

— Вотъ здѣсь я буду очень спорить съ вами, — возразилъ я, съ нѣкоторой горячностью. — Я самъ русскій и буду защищать передъ вами свой народъ. Вы и ваша партія безсознательно возвеличиваете еврея, будь онъ простой иновѣрецъ или инородецъ, и унижаете русскаго. Вашимъ опасеніемъ вы заранѣе предполагаете, что русскій народъ — это раса слабая, глупая, лѣнивая, пьяная, нежизнеспособная, однимъ словомъ, ни на что не годная, надъ которой кто хочетъ, тотъ и будетъ господствовать, которую надо опекать. А я говорю, что мы, русскіе, никому не уступимъ ни въ чемъ! Русскій крестьянинъ вовсе не такъ глупъ, чтобъ отдаваться сразу въ кабалу пришедшему къ нимъ иностранцу или иновѣрцу! Одно названіе—кацапъ,—которое даютъ ему малороссы, показываетъ совсѣмъ обратное.

И странная это вещь! Тѣ, которые называютъ себя націоналистами, говорятъ, будто гордятся тѣмъ, что они русскіе, надѣляются, на самомъ дѣлѣ, русскихъ самыми непривлекательными качествами, а на еврея или нѣмца, въ глубинѣ души, смотрять какъ на высшее существо! Я такъ не смотрю! Я увѣренъ, что русскій народъ никому не дастся въ обиду и потому не вижу причинъ отгораживать его ни отъ евреевъ, ни отъ какихъ другихъ людей будто бы высшей энергіи и культуры. Составивъ въ немъ меньшинство, они сольются съ нимъ во второмъ или третьемъ поколѣннѣи и не принесутъ ему ничего, кромѣ пользы.

— Однако населеніе многихъ русскихъ губерній уже подавало адреса противъ допущенныхъ къ нимъ евреевъ, — воскликнулъ онъ.

— Но вы же знаете, что подавали такіе адреса, главнымъ образомъ, мелкіе торговцы, которые получаютъ теперь по восьмисотъ процентовъ въ годъ на свои обороты; они боятся, что появленіе евреевъ, какъ конкурентовъ, помѣшаетъ имъ брать съ населенія за свои гнилые товары въ три-дорога! Все остальное населеніе въ глубинѣ Россіи, за исключеніемъ полунинтеллигенціи, воспринявшей безъ критики враждебное отношеніе торговцевъ къ евреямъ, совершенно не понимаетъ, почему еврей не можетъ поселиться въ любой деревнѣ.

Нашъ споръ былъ внезапно прерванъ появленіемъ Ксаны съ нашими друзьями на нашемъ, обожженномъ солнцемъ, коробочномъ дворикѣ. Ксана бросилась ко мнѣ въ объятія съ тысячами распросовъ о томъ, какъ я провелъ эту ночь, хорошо ли мое помѣщеніе и т. д. Десятокъ бумажныхъ пакетиковъ и коробочекъ съ фруктами, вареньемъ, кондитерскимъ печеньемъ и другими съѣстными припасами, въ количествѣ достаточномъ для цѣлой роты солдатъ, были нагляднымъ проявленіемъ ея тревоги и заботливости обо мнѣ и трогали меня до глубины души. Въ одну ночь она поблѣднѣла, осунулась. Въ каждой чертѣ ея лица чувствовалось нервное возбужденіе, но ни одного унылаго слова не сорвалось съ ея губъ. Наоборотъ, каждое ея слово было ободряющимъ. Она была готова къ дѣйствию для меня. Казалось, она совершенно забыла о тѣхъ лишеніяхъ, какими должно будетъ отозваться на ней мое заключеніе, о крушеніи всѣхъ своихъ артистическихъ плановъ на будущую зиму, и думала только обо мнѣ, стараясь ободрить, облегчить меня. Какъ часто казалась она мнѣ въ прежнее время слабымъ растеніемъ, которое сломится подъ первой большой грозой! И вдругъ, когда на насъ, теперь въ далекихъ краяхъ,

налетѣлъ ураганъ и понесъ меня куда-то въ нѣдры преисподней—она, оставшаяся одинокой, держалась сильно и крѣпко и находила въ себѣ энергію дѣйствовать. Какъ хорошо было чувствовать около себя вѣрнаго, любящаго друга, связавшаго свою судьбу съ моею на жизнь и смерть, на радость и на горе!

— Знаешь,—говорила она мнѣ,—мы сейчасъ же, послѣ ухода отъ тебя, составили домашній совѣтъ и рѣшили, что прежде всего надо добиться отсрочки ареста. А это можно только черезъ симферопольскаго прокурора, который далъ здѣсь распоряженіе о твоёмъ арестѣ. Я послала ему вчера же телеграмму, что ты боленъ, просила освидѣтельствовать и отсрочить на мѣсяцъ твое заключеніе. Онъ долженъ это сдѣлать. Для всѣхъ другихъ это дѣлаютъ!

— Но все же на этомъ не надо успокаиваться,—прибавилъ Б. В.—Всегда важно переговорить лично, и вотъ мы рѣшили, что Ксенія Алексѣевна вмѣстѣ съ О. В. сегодня же поѣдутъ на автомобилѣ въ Симферополь и, заручившись тамъ содѣйствіемъ \* \*, очень симпатичной дамы, начать хлопотать у прокурора, чтобы онъ теперь же отпустилъ васъ на мѣсяцъ. И мы еще покупаемся съ вами въ Черномъ морѣ!

— Да, ужъ прости, пожалуйста. Завтра и послѣзавтра не приду—говорила мнѣ Ксана.—Ранѣе я не могу возвратиться изъ—Симферополя. Теперь надо дѣйствовать или будетъ поздно.

Съ этимъ нельзя было не согласиться.

Я повелъ ихъ, въ свою камеру. Ксана, видѣвшая внутренность тюрьмы въ первый разъ въ жизни, пришла въ настоящій ужасъ.

— Да тутъ невозможно жить!.. — чуть не заплакала она, видя мою грязную, темную каморку и желѣзные прутья кровати.

— Мы пришлемъ вамъ кровать, матрацъ и стулъ—сказалъ Б. В., у котораго былъ свой домъ.—Я сейчасъ же пойду въ канцелярію хлопотать объ этомъ.

Посидѣвъ у меня полчаса и переговоривъ о всѣхъ своихъ планахъ дальнѣйшихъ дѣйствій, мои друзья ушли. Я остался опять одинъ и снова началъ безъ конца ходить взадъ и впередъ по тюремному дворику—коробочкѣ. Мой товарищъ по невзгодѣ въ это время спалъ или занимался у себя, да мнѣ и не хотѣлось болѣе спорить съ нимъ. Я чувствовалъ, что если я не измучу себя физически до полного изнеможенія, то не буду въ состояніи заснуть и въ эту ночь, несмотря на перспективу мягкой посели и ровной кровати. А для того, чтобы устать, надо было ходить, ходить безъ конца. И



вотъ я ходилъ и ходилъ подъ полящими лучами солнца, отражавшимися отъ голыхъ стѣнъ и асфальтоваго пола моего двора. Въ головѣ было тупо и тяжело, и нервы были сильно напряжены отъ этой рѣзкой и неожиданной перемѣны въ моей жизни. Каждая минута, какъ ночью во время болѣзни, казалась нескончаемой. Я взглядывалъ вверхъ, въ голубое небо. Тамъ быстро неслись и кружились въ высотѣ, какъ когда-то надъ моимъ Шлиссельбургскимъ дворикомъ, стрижи и ласточки. И воспоминанье унесло меня обратно туда, гдѣ они и теперь кружатся надъ новыми заключенными, одинъ изъ которыхъ гуляетъ теперь тамъ, гдѣ когда-то гулялъ я. Сердце сжалось при мысли о моихъ теперешнихъ преемникахъ. Когда же все это прекратится—невольно говорилъ я,—и свободная Россія покончить разъ навсегда съ политическими тюрьмами и гоненіями! Когда же человѣкъ, желающій добра и счастья своему народу, не будетъ изнемогать подъ страхомъ ежеминутной возможности попасть подъ судъ, въ родѣ того, который осудилъ теперь меня?

Съ трехъ сторонъ, за высокими каменными стѣнами, окружающими меня, видѣлись крыши домовъ и между ними, группами, вершины пирамидальныхъ тополей. Съ четвертой стороны, вдали, открывался чудный видъ на горный хребетъ Яйлу, какъ скатертью покрытый бѣлыми облаками. Я всматривался въ его извилистыя очертанія, въ лѣса и голые обрывы его крутыхъ склоновъ.

— Какъ хорошо быть тамъ, вдали отъ всякаго начальства, вдали отъ всего этого міра своекорыстія, вѣчнаго стремленія перескочить одному черезъ голову другого, создать свою карьеру въ ущербъ чужому счастью и чужой жизни!

Мои глаза разболѣлись отъ жгучихъ лучей солнца и, невольно щуря ихъ, я прошелся нѣсколько разъ въ тѣни тюремной ограды.

Я сдѣлалъ въ этотъ день взаль и впередъ не менѣе тридцати верстъ, по самому умѣренному подсчету часовъ моего хожденія. Ноги болѣли и едва двигались, но общей физической усталости и соотвѣтствующаго ей успокоенія души все еще не было. Голубоватая вечерняя мгла начала окутывать вершину Яйлы на западъ; всѣ детали обращеннаго ко мнѣ ея склона стали исчезать, ступивъ въ одномъ общемъ громадномъ контурѣ. Прямо надъ крышей моей тюрьмы, на югѣ, заблестала яркая звѣздочка.

Это былъ Юпитеръ. Я радостно поздоровался съ нимъ, какъ и всегда по вечерамъ съ первой звѣздой, и его по-

явленіе надъ моей кельей показалось мнѣ хорошимъ предзнаменованіемъ.

— Пора идти въ камеру! — обратился ко мнѣ вошедшій на дворъ «старшій».

Я простился съ Юпитеромъ и вошелъ въ темныя сѣни своей тюрьмы, а изъ нихъ повернулъ въ закоулокъ направо, гдѣ находилась въ углу зданія моя комната, освѣщенная уже тусклой жестяной лампочкой. Вспомнивъ, какъ когда-то въ Шлиссельбургѣ я совершалъ, борясь за свою жизнь, каждый вечеръ нѣсколько взмаховъ руками, головой и поясицей, чтобы привести въ порядокъ кровообращеніе, я сдѣлалъ это и теперь.

Надо возвратиться къ старому, уже испытанному режиму, чтобы пережить этотъ тяжелый годъ и выйти на свободу безъ большого увѣчья, подумалъ я и легъ въ постель.

Но, несмотря на предыдущую бессонную ночь и на сильную усталость въ ногахъ, я все же долго никакъ не могъ заснуть. Вновь прихлынули воспоминанія о только что минувшихъ годахъ. Вновь вспомнилась Ксана, несущаяся теперь для меня на автомобилѣ въ Симферополь... Вспомнилось, какъ каждый вечеръ мы передавали передъ сномъ другъ другу всѣ свои впечатлѣнія за день... Вѣдь почти цѣлый день намъ приходилось проводить врозь. Я сидѣлъ за работой въ своемъ кабинетѣ Біологической лабораторіи Лесгафта, она за своими музыкальными упражненіями и уроками, и только утромъ, за обѣдомъ и вечеромъ мы бывали вмѣстѣ. Вспомнились мои полеты на аэропланахъ и воздушныхъ шарахъ. Прямо съ неба, да въ нѣдра преисподней! — думалось мнѣ. Вспоминалось, какъ сторожа заперли меня съ Ксаной послѣ концерта на темной лѣсницѣ въ Тенишевскомъ училищѣ.

— Да, насталъ для насъ черный годъ! — сказалъ я невольно вслухъ, снова переворачиваясь въ постели и не находя себѣ удобнаго мѣста.

И вдругъ прояснилась предо мною и другая сторона моего положенія. Вспомнилось, какъ больно, какъ стыдно было мнѣ жить въ послѣдніе годы не преслѣдуемымъ, на свободѣ, въ то время, какъ разражалась буря надъ Московскимъ университетомъ и Кіевскимъ политехникумомъ, какъ принуждены были, чтобы не потерять къ себѣ уваженія, оставить кафедры самые талантливые профессора, большею частью мои друзья или знакомые, какъ одинъ за другимъ осуждались и шли въ тюрьмы мои товарищи по литературѣ, лучшіе изъ нашихъ писателей, а

учащаяся молодежь продолжала пить ту же горькую чашу, какую пила она и въ моей юности... Нѣтъ! Лучше тюрьма, чѣмъ такая жизнь!—думалось мнѣ.—Въ природѣ ничто не пропадаетъ безслѣдно! Не пропадетъ и каждая капля горечи страдающихъ теперь за убѣжденія, но отзовется какими-то невидимыми путями на будущемъ. А ты теперь даже много счастливѣе, чѣмъ другіе, потому что твои новыя страданія болѣе чѣмъ многія другія будутъ способствовать осуществленію твоихъ общественныхъ идеаловъ. Когда сажаютъ на много лѣтъ въ тюрьму юношу-студента, которому это особенно губительно, такъ какъ вся жизнь его еще впереди, тогда, можетъ быть, безслѣдно и безвозвратно губится въ немъ великій геній, гордость и слава человѣчества; но о немъ никто не пишетъ, о немъ никто не жалѣетъ, кромѣ нѣсколькихъ челоѣкъ—его родныхъ и друзей... А о твоёмъ осужденіи, раньше чѣмъ ты попалъ сюда, уже писали и сожалѣли почти во всѣхъ газетахъ, тебя заочно знаютъ, любятъ и жалѣютъ сотни, можетъ быть, даже тысячи людей по всей Россіи, твое заключеніе на годъ дѣлается теперь, въ смыслѣ обращенія общественнаго вниманія на происходящее на твоей родинѣ, равноцѣннымъ заключенію въ тюрьму нѣсколькихъ десятковъ другихъ людей. Если гоненія рано или поздно губятъ гонителей, то гоненіе на тебя имъ принесетъ особенно много вреда... Если не теперь, то въ предстоящемъ будущемъ! Ты уже не тотъ, невѣдомый никому узникъ, о которомъ никто не жалѣлъ, кромѣ родныхъ и друзей, цѣлыхъ двадцать восемь лѣтъ заключенія! Какъ должна быть легка тебѣ теперь эта новая неволя, когда сотни горячихъ сердецъ бьются въ униссонъ съ твоимъ, страдаютъ за тебя... Всѣ эти разнородныя ощущенія быстро смѣнялись въ моей душѣ другъ друга. То овладѣвала тоска о недавнемъ прошломъ,—то охватывало умиленіе предъ предстоящей чашей новаго страданія за людей! Иногда хотѣлось плакать, а затѣмъ вдругъ откуда то изъ глубины души поднималось радостное чувство, и я тихо повторялъ стихи моего давнишняго товарища по заключенію, Волховскаго:

О братство святое, святая свобода!  
Въ вину не поставьте мнѣ жалобъ моихъ,  
Я слабъ, челоѣкъ я, и въ мигъ, какъ невзгода  
Сжимаешь въ желѣзныхъ объятыхъ своихъ,  
Напраснаго стона не въ силахъ сдержать я—  
Ужасны тюрьмы и неволи объятія!  
Но быстро минутная слабость проходитъ,  
И снова свѣтлѣютъ и сердце, и умъ,

Гнетущее чувство далеко уходитъ,  
И рой благодатныхъ и радостныхъ думъ  
Мнѣ въ душу низводитъ лучъ тихаго свѣта:  
Мнѣ чудится звукъ мірового привѣта!

— Только бы не ослѣпнуть въ темнотѣ, — думалъ я, —  
только бы пережить какъ нибудь этотъ годъ!

— И всетаки выживу, выживу на зло всѣмъ вамъ! — обращался я мысленно къ своимъ врагамъ, брыкаясь ногами подъ одѣяломъ и подскакивая всѣмъ тѣломъ въ постели отъ внезапнаго приступа энергіи.

Такъ, въ первомъ возбужденіи, взволнованный внезапнымъ крушеніемъ всѣхъ своихъ плановъ, быстро переходя отъ одного настроенія къ другому, я провалился въ своей постели почти до разсвѣта. Наконецъ я забылся тяжелымъ полусномъ, съ постоянными пробужденіями и кошмарными снами, такъ памятные мнѣ въ Шлиссельбургѣ и Петропавловской крѣпости. Я тутъ же записалъ ихъ на лоскуткѣ бумаги, какъ записалъ потомъ и все послѣдующее, рассказанное здѣсь и переданное Ксанѣ, передъ тѣмъ, какъ меня увезли изъ Ялты. Мнѣ снилось въ эту ночь, что мы съ Ксаной, спасаясь отъ преслѣдованія властей, вышли зимой изъ какого-то деревяннаго дома черезъ заднюю калитку и она, несмотря на мои просьбы идти обходной тропинкой, пошла у самого забора, гдѣ снѣгъ былъ наметенъ гребнемъ, особенно высоко, а подъ нимъ можно было подозрѣвать существованіе глубокой проточной канавы. Разсердившись, что она меня не слушаетъ, я хотѣлъ сначала идти отдѣльно отъ нея, обходомъ, но, пройдя нѣсколько шаговъ, остановился въ нерѣшительности, такъ какъ было страшно за нее.

— Пройдетъ она или провалится? — думалось мнѣ.

И вотъ она сразу провалилась и исчезла въ глубинѣ снѣга. Я бросился къ ней, но въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея самъ провалился по плечи, и только широко распростертыми руками поддерживалъ надъ снѣгомъ свою голову, чувствуя подъ ногами пустоту. Я хотѣлъ кричать, но мой голосъ оказался какой-то сиплый, совсѣмъ не звонкій... Я могъ только произносить слова шепотомъ, а кричать не могъ.

Вдали показалась какая-то фигура, но прошла мимо, не замѣтивъ меня. Тусклый зимній день превратился въ вечеръ, все потемнѣло въ моемъ сознаніи, а затѣмъ, когда я вновь очнулся,

я оказался ѣдущимъ въ узкой гоночной лодкѣ по большому безбрежному озеру, даль котораго была закутана туманомъ.

Вмѣстѣ со мной ѣхали Ксана, Б. В. и С. И., сидѣвшій верхомъ на самомъ носу лодки, а гребъ незнакомый лодочникъ. Я глядѣлъ впередъ, въ туманную даль и вдругъ, обернувшись, увидѣлъ, что Б. В. и С. И. барахтаются въ водѣ далеко за лодкой. Я схватился за весла гребца, но онъ ихъ не отдавалъ, онъ былъ сильнѣе меня, и самъ повернулъ къ нимъ лодку. Оказалось, что они держатся за бортъ своей лодки, затонувшей до бортовъ и полной водою, а какъ они очутились въ другой лодкѣ, когда передъ тѣмъ ѣхали въ моей, и откуда явилась она, мнѣ даже и въ голову не пришло спросить: это казалось совершенно естественнымъ. Нашъ гребецъ подѣвжалъ къ нимъ очень неловко, все какими-то кругами, разгоняя сильно лодку и каждый разъ проѣзжая по инерціи далеко отъ нихъ. Но вотъ, когда онъ проѣхалъ болѣе близко, я вытянулся изъ своей на сколько могъ, болѣе чѣмъ на половину и, съ рискомъ опрокинуться въ воду, схватилъ ихъ затонувшую лодку за носовую часть и повлекъ ее за нашей. Но ихъ руки оторвались отъ ея бортовъ и они оба исчезли въ глубинѣ. Я спустилъ въ озеро руку, поймалъ тамъ чью то другую и вытащилъ на поверхность цѣлый пучекъ переплетшихся между собою рукъ. Я потащилъ одного утонувшаго къ себѣ на бортъ, другого потащилъ гребецъ. Наша лодка сильно качалась, почти зачерпывая воду, но они оба были вытащены и положены на дно, и мы поѣхали къ откуда-то появившемуся въ туманѣ низкому берегу, съ какими-то нето арсеналами, нето крѣпостными зданіями, возвышающимися здѣсь и тамъ.

Такъ неслись снова въ моемъ умѣ, какъ и въ былыя ночи въ подобныхъ же обстоятельствахъ, безсвязныхъ, кошмарныхъ сновидѣній, быстро смѣняя одно другое и оставляя послѣ себя тупую тяжесть надо лбомъ и жаръ въ затылкѣ. Вдругъ въ коридорѣ вновь раздался уже знакомый мнѣ сердитый, спѣшный, какъ будто случился пожаръ, крикъ передъ камерой пересыльных заключенныхъ:

— Вставай! Вставай, говорю!..

Послышался такой же крикъ передъ женской пересыльной камерой и повторилось:

— Стройся, равняйся!

— Здраю желаю!

Я ужъ зналъ, что утренній крикъ ко мнѣ не относится,



что это высылаемые на родину изъ Ялты кричатъ нашему старшему, пришедшему къ нимъ со словами:

— Здорово, ребята!

Но эта недужная муштровка, это разыгрываніе нашимъ старшимъ унтеромъ роли военного начальника надъ совѣмъ не военными людьми, которыхъ только что перепугали во снѣ громкимъ окрикомъ, возмущало меня до глубины души. Я чувствовалъ, какъ утренніе крики русской тюрьмы, новой формации постепенно портили мнѣ нервы. Я закрывался отъ нихъ съ головой въ одѣяло, прижавъ одно ухо къ подушкѣ, другое затыкала пальцемъ, чтобы не слышать, но они проникали въ мой мозгъ сквозь всѣ затычки. И когда тѣ же самые сторожа и старшій тюремщикъ черезъ нѣсколько часовъ любезно здоровались со мной, когда я, вставъ, выходилъ изъ своей незапертой камеры, мнѣ стоило большого усилія отвѣчать на ихъ вѣжливость тоже вѣжливо и не сказать:

— Знаю, какъ вы обошлись бы со мною, еслибы не было вамъ приказано генераломъ быть вѣжливыми, еслибы вы не ожидали новыхъ двугривенныхъ отъ приходящихъ ко мнѣ Ксаны и друзей, да и отъ меня не ожидали бы врученія «на команду» при увозѣ!

Однимъ словомъ, воспитательное дѣйствіе на меня новаго приговора сказывалось въ полной мѣрѣ. На второй же день своего заключенія я былъ уже полонъ всякаго зложелательства по отношенію къ нашей бюрократіи. Нѣтъ неудачи, нѣтъ посямленія, котораго я снова не желалъ бы ей отъ всей души, тогда какъ на свободѣ, весь отдаваясь естественнымъ наукамъ, въ которыхъ я видѣлъ главное орудіе умственного, а вмѣстѣ съ нимъ и гражданскаго освобожденія человѣчества, я не имѣлъ даже и времени для подобныхъ мыслей.

Быстро и безъ всякой охоты выпивъ чай, я снова вышелъ на свой дворикъ-коробочку и снова началъ быстро ходить по нему взадъ и впередъ, подъ жгучими лучами солнца. На лоскутѣ бумажки, сохранившемся у меня, въ этотъ день было написано:

«Ходить, ходить до тѣхъ поръ, пока не измучишь себя физически, иначе не будешь спать. Крѣпкій сонъ въ твоёмъ положеніи—единственное спасенье для тебя».

Мнѣ было особенно грустно въ это утро. Мой товарищъ по заключенію спалъ, Ксана и О. В. уѣхали въ Симферополь хлопотать объ отсрочкѣ моего заточенія, остальные друзья по необходимости уѣхали въ Артекъ. Я въ этотъ день никого не ждалъ и, почувствовавъ временное подкрѣпленіе силъ послѣ

утренняго чаю, началъ понемногу, какъ и въ прежнія времена, отдаваться мечтамъ.

— Пустякъ, — говорилъ я самъ себѣ; — вообрази, что ты отправился въ далекое и трудное путешествіе на годъ. Въ твоей коморкѣ ты, какъ въ вагонѣ третьяго класса на желѣзной дорогѣ. Этотъ дворикъ — платформа станціи, на которую ты выходишь погулять, тебѣ остались еще 363 остановки и, наконецъ, большая станція — Россія — конечный пунктъ твоего назначенія! И все будетъ кончено! И ты вновь будешь съ Ксаной и со всѣми твоими родными и друзьями, и вновь начнешь прерванную работу. Кто знаетъ, можетъ быть, даже хорошо для тебя поволноваться немного!

И вдругъ сильные перебои сердца почувствовались мною въ груди, какъ рѣзкое возраженіе противъ такой мысли.

Я пошелъ посидѣть въ свою полутемную коморку и написалъ тамъ на новомъ лоскутѣ:

«У меня нервное состояніе, но я его не стыжусь. Я никогда не былъ и не хочу быть безчувственнымъ истуканомъ. Я хочу всегда сильно чувствовать и радость, и горе. И пусть теперь сердце сжимается и трепещетъ! Я знаю, что справлюсь съ нимъ, когда будетъ нужно, или упаду мертвымъ. Когда свободолюбивому человѣку приходится войти въ тюрьму, онъ не можетъ не испытывать сильнаго возбужденія нервовъ. Только рабъ или истуканъ относится равнодушно къ лишенію свободы. Вотъ почему и я чувствую теперь горечь этой чаши каждой фиброй своей души. Теперь передо мною новый годъ страданія и тоски. Вспомнить ли обо мнѣ добрымъ словомъ кто-нибудь изъ моихъ товарищей, писателей, въ газетахъ и журналахъ? Вспомнить ли кто-нибудь изъ моихъ друзей среди профессоровъ о моихъ только что изданныхъ научныхъ книгахъ? Написать ли кто-нибудь теперь мой некрологъ? Срочное заточеніе — вѣдь это смертная казнь на опредѣленный срокъ. Убивается не вся жизнь, а только ея опредѣленная доля. Вотъ у меня теперь будетъ убито въ суммѣ уже двадцать девять лѣтъ жизни... Вся лучшая пора ея смыта, и то, что было суждено мнѣ сдѣлать для науки и человѣчества, осталось не оконченнымъ. Насталъ моментъ, когда обнаружатся всѣ мои истинные друзья, а объ остальныхъ можно будетъ сказать, какъ въ евангеліи: «Когда я былъ нагъ, вы не одѣли меня, когда я былъ въ темницѣ, вы не посѣтили меня».

И вотъ, какъ бы въ отвѣтъ на эту пессимистическую замѣтку карандашомъ на лоскутѣ бумаги, у воротъ раздался звонокъ. Бросивъ писать, я вышелъ на дворикъ, на солнце,

посмотрѣть, и увидѣлъ быстро идущаго ко мнѣ отъ воротъ молодого человѣка. Сначала я его не узналъ.

— Вы, видно не помните меня—сказалъ онъ. Моя фамилія—Ш-инъ. Мы видѣлись на второмъ Менделѣевскомъ съѣздѣ, когда вы дѣлали свой докладъ объ эволюціи вещества небесныхъ свѣтилъ, а кромѣ того я у васъ былъ одинъ разъ съ товарищемъ, справляться объ одномъ молодомъ рабочемъ, котораго мы считали провокаторомъ. Я узналъ изъ газетъ, что вы тутъ и поспѣшилъ принести вамъ привѣтъ и сочувствіе отъ здѣшней молодежи.

Это было такъ радостно, такъ неожиданно!

Вотъ—думалось мнѣ,—молодежь всегда вѣрный, надежный другъ! Она не будетъ сидѣть и думать: «а не выйдетъ ли мнѣ или ему изъ этого какой непріятности»? Молодежь немедленно дѣйствуетъ каждый разъ, когда моральное чувство долга или дружба диктуетъ ей какой-нибудь поступокъ. И вотъ доказательство: первый привѣтъ со стороны я получаю здѣсь отъ молодежи!

Мы сразу отдались воспоминаніямъ.

— Какъ-же, какъ-же!—воскликнулъ я,—отлично помню, когда вы приходили и даже очень беспокоили меня.

Мнѣ живо вспомнился тотъ подозрительный рабочий, который явился ко мнѣ три года назадъ, наканунѣ моего отъѣзда въ деревню на лѣто, назвавъ себя соціалъ-демократомъ, только что выпущеннымъ изъ крѣпости и оставшимся безъ всякихъ матеріальныхъ средствъ. Онъ представилъ мнѣ рекомендательную записочку отъ лицъ, уже уѣхавшихъ изъ Петербурга, такъ что я не могъ справиться. Я далъ ему на выкупъ изъ залога его воображаемаго станка десять рублей и извинился, что не могу дать болѣе. А онъ потомъ, послѣ моего отъѣзда, развѣдавъ расположеніе моей квартиры, заказалъ гдѣ-то визитныя карточки съ моимъ именемъ и адресомъ и показывалъ ихъ моимъ, оставшимся въ Петербургѣ, знакомымъ, какъ данныя ему мною.

Онъ точно описывалъ имъ картины на стѣнахъ моихъ комнатъ, и потому у нихъ не было сомнѣнія, что это человѣкъ, хорошо со мной знакомый. Одинъ художникъ далъ ему свою почти новую мѣховую шубу, въ которой потомъ и видѣлъ его осенью, плывущимъ съ набережной въ Неву. У моихъ сосѣдокъ въ квартирѣ Лесгафта надарили ему всякаго бѣлья и нѣсколько десятковъ рублей деньгами. И все это жульничество разъяснилось лишь потомъ, когда, наконецъ, одинъ мой пріятель,

которому онъ слишкомъ надоѣлъ, обратился ко мнѣ съ просьбой болѣе не присылать его къ нему.

— Къ намъ онъ явился тогда—сказалъ мнѣ Ш-инъ—тоже съ вашей карточкой, и видъ у него былъ такой привѣтливый, сѣрые красивые глаза... Мы долго содержали и кормили его и собирали деньги на выкупъ его легендарнаго верстака, который будто бы былъ заложенъ имъ товарищу за шестьдесятъ рублей и потому онъ не могъ взяться за работу. Особенное участіе приняли въ немъ тогда три юныя курсистки, которыхъ онъ просилъ достать ему для чтенія партійныя изданія... И вдругъ, когда онъ гдѣ то раздобыли ему нѣсколько социаль-демократическихъ брошюръ—ихъ арестовали и выслали. Тутъ только мы хвятились, что кромѣ вашей визитной карточки, которую всякій можетъ отпечатать, у насъ не было никакого удостовѣренія, что онъ вашъ знакомый, и мы побѣжали къ вамъ за провѣркой. А по внѣшности какой симпатичный!

— Онъ былъ,—отвѣтилъ я,—у меня и послѣ васъ, съ просьбой добавить ему еще пятнадцать рублей, будто бы недостающихъ до выкупа его верстака, однако я уже имѣлъ тогда свѣдѣнія о немъ и потому началъ стыдить его, а онъ въ отвѣтъ сказалъ безстыдно: «такъ возвратите мнѣ хотя двадцать копѣекъ, которыя мнѣ пришлось потратить на трамвай, чтобы ѣхать къ вамъ такую даль!»

А вотъ былъ у меня другой, хулиганскаго вида, тоже будто бы рабочій, только что выпущенный по политическому дѣлу изъ темницы. Пришелъ онъ осенью, въ башмакахъ, у которыхъ на половину оборваны подошвы и просить дать ему, какъ товарищу по убѣжденіямъ, какіе-либо старые сапоги. У меня не бываетъ никогда двухъ паръ цѣльныхъ штиблетъ, и я поневолѣ отказалъ ему. «Ну, такъ дайте шляпу!»—говорить.—У меня оставалась отъ прошлаго года мягкая старая шляпа и я, думая, что и въ самомъ дѣлѣ онъ пострадавшій, даю ему ее. Онъ повертѣлъ ее съ неудовольствіемъ и говорить: «лучше дайте мнѣ бѣлья!»—У меня нѣтъ, говорю, ничего лишняго!—«Такъ дайте денегъ!»—А самъ все забирается въ глубь комнаты и смотритъ. Я далъ ему полтинникъ.—«И вамъ не стыдно, говорить, давать такую мелочь рабочему?».—Тогда, сказалъ я, беря у него съ ладони монету, я лучше дамъ вамъ дѣйствительно бѣлья, которое есть у моихъ сосѣдокъ въ квартирѣ Лесгафта; ихъ дверь прямо противъ моей!—И я пошелъ изъ квартиры на лѣстницу. Онъ недовѣрчиво послѣдовалъ за мной, а я, только что мы вышли на лѣстницу, вернулся назадъ въ квартиру и заперъ за собою дверь со словами: «не хотѣли

брать того, что есть, такъ и уходите просто»!—Я еще раньше этого почувствовалъ, что у него изо рта пахнетъ водкой, и окончательно убѣдился, что онъ плутъ или соглядатай. Если бы вы могли представить, что за звонъ поднялъ онъ вслѣдъ за мной! Если бы у меня былъ не электрическій звонокъ, то онъ былъ бы непременно оборванъ! Когда, наконецъ, все утихло, я подошелъ случайно посмотреть, нѣтъ ли писемъ въ моемъ дверномъ ящикѣ, и нашелъ тамъ листокъ изящной, дорогой бумаги, на которомъ карандашемъ было написано: «Помни, что тебѣ не жить! будемъ мстить рабочими!» Но конечно, я только посмѣялся надъ этой пустой угрозой! Очевидно, что это былъ простой хулиганъ и на честныхъ рабочихъ не могъ имѣть никакого вліянія.

— А много ихъ бываетъ у васъ?

— Безъ конца! Это главная язва моей петербургской жизни. Одни изъ нихъ выдаютъ себя за студентовъ, схваченныхъ охраннымъ отдѣленіемъ и только что выпущенныхъ на свободу, другіе—за провинціальныхъ артистовъ, обманутыхъ антрепренеромъ, третьи—за собратьевъ-писателей. Одинъ даже назвался моимъ однофамильцемъ, дальнимъ родственникомъ, другой козырнулъ тѣмъ, что онъ писатель, убѣжденный вегетаріанецъ, очутившійся въ безвыходномъ положеніи изъ-за своихъ вегетаріанскихъ принциповъ и показавъ въ доказательство письмо отъ одного извѣстнаго писателя, котораго очевидно надулъ. Изъ десяти незнакомыхъ посѣтителей девять ко мнѣ обыкновенно приходили за деньгами, а потому и на десятого невольно смотришь сначала съ этимъ же ожиданіемъ, и какъ бываешь радъ потомъ, если ошибешься!

— А знаете,—прервалъ меня Ш—инъ, вѣдь, мы встрѣтились съ вами еще разъ. Помните въ 1906 году, осенью, литературный вечеръ въ Политехническомъ институтѣ. Помните, какъ залъ былъ неожиданно окруженъ полиціей, какъ вы, съ вашей невѣстой, были арестованы и отведены въ участокъ? Я былъ одинъ изъ сопровождавшихъ васъ туда!

Какъ живо припомнились мнѣ всѣ детали того страннаго, живо памятнаго мнѣ приключенія. Ш—инъ сталъ послѣ этихъ словъ въ моихъ глазахъ не просто случайнымъ знакомымъ, вспомиравшимъ обо мнѣ въ несчастіи, а давнишнимъ другомъ, нить жизни котораго не разъ переплеталась съ моей, невѣдомо для меня. Былъ ли мой арестъ на томъ вечерѣ простой случайностью, или это была провокаціонная ловушка дѣйствовавшего тогда Азефа? До сихъ поръ я не былъ въ состояніи разобраться въ этомъ. За нѣсколько дней до того вечера ко мнѣ явилась стройная дѣвушка, полная дивной, одухотворенной красоты. Потомъ по фотографіи



я узналъ, что это была казненная черезъ нѣсколько мѣсяцевъ за пропаганду среди матросовъ слушательница высшихъ женскихъ курсовъ, Стуре. Зная ея непреодолимое обаяніе, Азефъ посылалъ ее тогда повсюду, а затѣмъ, когда она инстинктивно почувствовала его двойную игру, онъ же и устроилъ ея гибель, чтобы сохранить самого себя... Повидимому, подозрѣніе, что въ ея партіи было не все ладно, существовало у нея еще и тогда. — Вотъ вы меня зовете, — сказала я ей — читать стихи на студенческой литературный вечеръ; а не приходитъ вамъ въ голову, что такимъ пустячнымъ дѣломъ воспользуются въ охранномъ отдѣленіи, чтобы меня выслать изъ Петербурга? Вѣдь тогда рушится рядъ научныхъ работъ, которыя мнѣ необходимо окончить и напечатать! — Но увѣряю васъ, что никому ничего не будетъ за это! — сказала она, улыбаясь. — Вечеринка официально разрѣшена директоромъ института. — Вѣдь не похожа же я на шпионку? — прибавила она, улыбаясь. — Вы — нѣтъ! — безъ колебаній отвѣтима, хотя она явилась ко мнѣ не знакомая, не назвала себя и не принесла никакихъ рекомендацій. — И разъ вы говорите, что все оформлено хорошо — я приду и прочту нѣкоторые изъ моихъ стиховъ. Такъ мы и расстались друзьями.

Въ это время Ксана только, что сдѣлалась моей невѣстой и, узнавъ о таинственномъ приглашеніи, непременно хотѣла сопровождать меня туда. Мы пришли. Я началъ читать стихи. Раньше, чѣмъ я кончилъ, кто-то вбѣжалъ въ двери, крича: «Господа, полиція окружаетъ солдатами институтъ». Одни завоновались и бросились къ выходу. Другіе кричали мнѣ: «Кончайте, кончайте!» Я кончилъ все, что мнѣ полагалось прочесть; мы съ Ксаной направились къ выходу и вслѣдъ за этимъ были отведены въ Лѣсной участокъ, гдѣ насъ и продержали до утра, а потомъ переписавъ наши фамиліи,пустили.

Чувствуя инстинктомъ, что если въ сдѣланномъ мнѣ приглашеніи была ловушка, чтобы найти поводъ выселить меня изъ Петербурга, то самое лучшее средство противодействовать этому — тотчасъ же описать все событіе въ юмористическомъ видѣ въ газетахъ, раньше чѣмъ успѣютъ потихоньку наклеветать на меня. Я такъ и сдѣлалъ, написалъ въ въ тотъ же день фельетонъ: «Именины въ участкѣ» и, очень можетъ быть, только благодаря ему и не былъ отправленъ въ провинцію... Потомъ я узналъ, что организація вечера принадлежала Азефу и, повидимому, онъ же послалъ ко мнѣ Стуре. Каково было ея состояніе, когда она, удержанная отъ присутствія на вечеринкѣ тѣмъ же Азефомъ, которому она

еще была нужна, узнала ее конецъ и почувствовала, что послѣ него я и въ самомъ дѣлѣ могу принять ее за провокаторшу? Мнѣ страшно хотѣлось разыскать ее и успокоить, но я не зналъ ее фамиліи, и она для меня съ тѣхъ поръ какъ въ воду канула. Не было ли это событіе однимъ изъ тѣхъ немногихъ, которыя способствовали разсѣянію тумана, заволокшаго въ то время ее молодую жизнь и приведшаго ее къ ужасной смерти? По словамъ очевидцевъ, она шла на нее, какъ на праздникъ.

Такъ каждое слово Ш—ина будило во мнѣ рядъ воспоминаній о четвертомъ періодѣ жизни на свободѣ, закончившемся для меня теперь.

— А вы, — спросилъ я его, — что съ вами было въ эти годы?

— Я вскорѣ долженъ былъ оставить Политехническій институтъ...

У наружныхъ воротъ тюремнаго дворика вновь раздался звонокъ и вслѣдъ затѣмъ показались пожилой, полный человѣкъ съ черной подстриженной бородкой, въ соломенной шляпѣ, и пожилая дама. Они направились прямо къ намъ.

— Да это Г-шины! воскликнулъ я, бросаясь къ нимъ навстрѣчу и снова думая: Нѣтъ! Не всѣ меня забыли въ несчастіи. Напрасно я такъ унывалъ!

И стало радостно на душѣ и вновь почувствовался въ ней какъ бы «отзвукъ мірового» привѣта. Это былъ братъ одного извѣстнаго, теперь уже покойнаго, писателя, устроившій мнѣ когда-то публичную лекцію въ Таганрогѣ, самъ писатель и извѣстный педагогъ, пользующійся огромнымъ уваженіемъ въ своихъ сферахъ. Мы обнялись и расцѣловались.

— Какъ вы обо мнѣ узнали?

— Изъ газетъ, — отвѣчалъ онъ.

— Васъ легко сюда пропустили?

— Конечно; хотя я и не ялтинскій житель, но я здѣшній гласный и почетный мировой судья. Не надо-ли вамъ чего-нибудь? Есть-ли у васъ деньги?

— Денегъ пока достаточно.

— А если не хватитъ, непременно возьмите у меня. Я сюда пріѣхалъ въ отпускъ для поправленія здоровья и буду жить по близости, въ Гурзуфѣ. Сегодня я и жена свободны, а завтра не будемъ имѣть возможности побывать у васъ, такъ какъ надо пріискать въ Гурзуфѣ квартиру... Зато какъ все устроимъ, будемъ пріѣзжать къ вамъ, по возможности, каждый день.

Все это было чрезвычайно трогательно. Когда, наконецъ,

всѣ они ушли и я остался одинъ, я не могъ не сказать въ глубинѣ своей души:

— Какъ не похоже мое новое заключеніе на предыдущее, когда во всемъ широкомъ мірѣ никому не было до меня дѣла, кромѣ нѣсколькихъ близкихъ родныхъ да товарищей, большею частью тоже томившихся уже въ заключеніи, или ежеминутно рисковавшихъ въ него попасть!

Перебирая мои ежедневные карандашные наброски для памяти о моихъ переживаніяхъ, нахожу тамъ въ этотъ день такія строки: «Да, только бы пережить, не умереть, не ослѣпнуть отъ полумрака нашихъ одиночныхъ темницъ новаго образца, съ ихъ окнами подъ потолкомъ и мракомъ внизу, какъ въ подвалѣ. И я употребляю всѣ усилія для этого. Я не хочу быть какъ тѣ жалкіе, малодушные молодые самоубійцы, словно испугавшіеся своего будущаго, добровольно бѣжавшіе изъ жизни, какъ трусы съ поля битвы. Огорченіе ихъ малодушіемъ заглушаетъ во мнѣ сегодня чувство горести о ихъ безвременномъ концѣ; мнѣ жалко было не ихъ, а тѣхъ, кто любилъ ихъ, кто теперь страдаетъ и убивается надъ ихъ могилами; мнѣ жалко было своей родины, которую они оставляютъ ради покоя могилы... Вѣдь даже въ моей темной комнатѣ съ рѣшеткой въ окнѣ, за этими замками, можно любить, можно думать и работать для людей, или готовиться умственно къ будущей работѣ. Мнѣ чувствуется и здѣсь, что я исполняю въ общечеловѣческой жизни какое-то, предопредѣленное мнѣ, назначеніе... Пусть я теряюсь въ безконечной вселенной, какъ невидимый атомъ ея вѣчной жизни, но все же я въ ней необходимъ, какъ и всякій другой атомъ. Что значить одинъ кирпичъ въ зданіяхъ огромнаго города? Кажется, можно было бы обойтись безъ него, вынуть изъ стѣны и бросить вонъ безъ вреда и для зданія, и для города. Но это неправда, съ абсолютной точки зрѣнія, потому, что подобное же разсужденіе можно приложить и къ каждому другому камню, а что осталось-бы отъ города безъ нихъ? Такъ же точно зачѣмъ-то необходима въ вѣчной и безконечной вселенной моя крошечная и мгновенная жизнь, и я не откажусь отъ нея несмотря ни на какія страданія. Цѣль всякой дѣятельной жизни (а бездѣятельная жизнь—не жизнь) преодолевать препятствія, и потому, какъ ни тяжела теперь будетъ предстоящая мнѣ ноша, я не уклонюсь отъ нея. Моя жизнь состоитъ какъ-бы изъ двухъ жизней, совершенно непохожихъ одна на другую; каждая изъ нихъ черезъ долгій или короткій періодъ смѣняла другую. Такъ, вѣрно, будетъ до конца обѣихъ. Четыре раза меня заточали въ одиночество и

три раза выбрасывали на волю. Черезъ годъ, вѣроятно, выбросятъ и въ четвертый разъ... Надолго-ли? Не знаю. Мой послѣдній процессъ съ новымъ заточеніемъ на годъ наглядно показалъ мнѣ, какъ не обезпечена жизнь современаго труженника въ области науки и литературы. Вотъ хоть бы мои «Звѣздныя пѣсни»... Думалъ-ли я, заботливо очищая ихъ передъ новымъ изданіемъ отъ всего, что я считалъ хоть немного подходящимъ подъ статьи нашихъ политическихъ законовъ, что меня потомъ осудятъ именно по этимъ статьямъ? Нѣтъ! Ни мнѣ, ни издателю, пріобрѣтшему мои стихи, даже и въ голову этого не приходило... Вотъ что значить коронный судъ при закрытыхъ дверяхъ! Ничего подобного не могло бы быть при открытыхъ, а еслибъ и произошло, то подняло бы такой взрывъ негодованія во всемъ грамотномъ обществѣ, что дѣло поневолѣ пришлось бы пересмотрѣть. А здѣсь—судъ тайный, двери закрыты, за что человѣкъ осужденъ—предполагается никому, кромѣ судей, неизвѣстнымъ и никто не смѣетъ, поэтому, говорить объ обвиненіи по существу! И все же мой судъ повредилъ больше всего тѣмъ, кого думалъ защищать! И все же, благодаря газетнымъ извѣстіямъ и телеграммамъ обо мнѣ, тысячи сердецъ болѣютъ теперь за меня и бьются въ униссонъ съ моимъ. Вотъ уже два посланника извнѣ—одинъ отъ молодежи, другой отъ научно-общественныхъ дѣятелей, навѣстили меня здѣсь и выразили свое сочувствіе, а сколько другихъ не сдѣлали того-же только потому, что находятся далеко!..»

Осматривая вновь свою крошечную, грязную, полутемную комнатку, надъ дверью которой было снаружи написано: «Для политическихъ», я вспомнилъ о своихъ предшественникахъ въ ней:

— «Комнатка бѣдная, келья святая,  
Дѣвственныхъ думъ и завѣтныхъ трудовъ!»

началь—было я мысленно стихотвореніе Надсона, но, дойдя до послѣднихъ строкъ:

«Дай тебѣ, Боже, отчизна родная,  
Больше такихъ уголковъ!»—

невольно вмѣсто «больше» поставилъ «меньше» и почувствовалъ, что стихотвореніе совсѣмъ не подходитъ къ моему случаю.

Но нервно-радостное, навѣянное посѣтителями, настроеніе скоро смѣнилось у меня другимъ. Мнѣ подали обѣдъ «на мой счетъ, изъ кухмистерской», такъ какъ Ксана въ первый же день

заказала мнѣ тамъ обѣдовъ на цѣлую недѣлю впередъ. Ъсть не хотѣлось, и я ѣлъ насильно, потому что нужно было поддерживать свои силы.

Въ самомъ началѣ обѣда повѣяли ко мнѣ, вмѣстѣ съ вѣтромъ изъ коридора, черезъ дверное окошечко, трудно выносимыя для носа испаренія, несущіяся изъ находящагося тамъ отдѣльнаго чулана. Испаренія эти были по истинѣ тошнотворны.

«Стараюсь мужественно встрѣчать эти вѣянья нашего времени» — написалъ я снова на листкѣ, — «стараюсь продолжать обѣдъ, не зажимая носа! — Не считай нечистымъ, что Богъ очистилъ» «вспомнился мнѣ почему то голосъ съ неба, прозвучавшій апостолу Петру, когда къ нему спустилась оттуда скатерть со змѣями и всякими другими пресмыкающимися и земноводными и велѣно было все это съѣсть. — Въ самомъ дѣлѣ, что такое несущіяся ко мнѣ теперь запахи? Результатъ химическихъ реакцій!.. При лабораторныхъ занятіяхъ мнѣ приходилось вдыхать и болѣе ѣдкіе и вредные для здоровья газы. Для развлеченія я могу даже анализировать ихъ носомъ. Вотъ несется по мнѣ смѣсь амміачныхъ соединеній съ меркаптанами, сѣроводородомъ и другими органическими газообразными веществами... Для мухъ и многихъ другихъ насѣкомыхъ они пахнутъ лучше самыхъ душистыхъ розъ и влекутъ ихъ къ себѣ неопреодолимо... Значить, все на свѣтѣ условно! не считай же и ты нечистымъ, что Богъ очистилъ, и продолжай, какъ можешь, свой обѣдъ»..

Такъ проводилъ я первые безконечно длинные дни моего новаго заточенія, переходя отъ одного настроенія къ другому, стараясь каждый день измучить себя физически безконечнымъ хожденіемъ по двору, чтобъ ослабить напряженіе нервовъ и обезпечить себѣ хорошій аппетитъ и крѣпкій сонъ ночью... Но все ничего не выходило! Приходъ друзей и приносимыя ими всякій разъ разнообразныя газеты съ сообщеніями о подробностяхъ моего новаго заключенія доставляли мнѣ невыразимое облегченіе. — «Значить эта новая жертва моей жизнью и дѣятельностью» — записалъ я — не пропадаетъ безслѣдно для развитія русскаго гражданскаго самосознанія; и потому она будетъ для меня легка, какъ только привыкну къ перемѣнѣ.

На слѣдующій день — это было, кажется, 18 іюня — появился ко мнѣ еще новый гость, бывшій пулковскій астрономъ, тоже пріѣхавшій въ Крымъ для поправленія своего здоровья. Онъ тоже узналъ обо мнѣ изъ газетъ и нарочно для меня остался въ Ялтѣ на нѣсколько дней. Какъ трогательно было все это участіе, сколько воспоминаній врывалось свѣжей струей



при каждомъ новомъ визитѣ въ мою монотонную сѣрую обстановку! На этотъ разъ ворвались ко мнѣ вмѣстѣ съ нимъ любимыя астрономическія воспоминанія. Вскорѣ пришла ко мнѣ уже цѣлая толпа друзей — пріѣхали изъ Гурзуфа всѣ мои артекскіе друзья. Воспользовавшись удобнымъ моментомъ, сдѣлали съ меня моментальный снимокъ подъ рѣшетчатымъ окномъ моей темницы. Явилась передо мной эта толпа въ самый разгаръ моего нервознаго состоянія, особенно сильно даваго себя знать на второй, третій и четвертый дни, когда свѣжи еще были всѣ мои замыслы на предстоящее лѣто, съ сотнями научныхъ, литературныхъ и воздухоплавательныхъ плановъ, которые страстно хотѣлось осуществить, а между тѣмъ руки оказались скованными. Такъ бываетъ, вѣроятно, съ птицей, которую поймали. Ей уже связали крылья, но она вся еще трепещетъ, стараясь вырваться и улетѣть въ высоту. У меня уже теперь крылья были связаны не только стѣнами, но и сознаніемъ внутренней безвыходности моего положенія. Помимо всего другого, побѣгъ и жизнь въ эмиграціи разбили бы мои завѣтные планы будущихъ работъ и занятій, а съ ними — и планы Ксаны. И вотъ, смѣсь изъ ощущеній моего безсилія и изъ еще не увядшей свѣжести самихъ плановъ и размотали мнѣ нервы въ первые четыре дня до того, что въ ту самую минуту, когда пришла изъ Артека вся эта толпа пожилыхъ и молодыхъ друзей — и отцы, и дѣти, — выразить мнѣ свое сочувствіе, у меня даже руки нервно дрожали и я не могъ преодолѣть ихъ дрожи, прекратить ее усиленіемъ воли. Это было также невозможно для меня, какъ остановить біеніе пульса. Но за то черты моего лица отлично поддавались волѣ и я могъ весело броситься на встрѣчу моимъ друзьямъ и расцѣловать ихъ, хотя на вопросъ: «Какъ вы себя чувствуете?» я уже и не былъ въ состояніи дать какого-либо удачно импровизированнаго веселаго отвѣта. Гордость мѣшала мнѣ показать, что атака враговъ на меня подѣйствовала, и потому я воспользовался уже готовымъ восклицаніемъ: — Живъ курилка, не умеръ!

Какимъ образомъ у насъ въ нужные моменты жизни всплываютъ изъ глубины бессознательнаго подобныя, уже готовые фразы?

Эта сохранилась у меня, — я зналъ, — изъ сказки Вагнера, содержаніе которой я почти забылъ. Ксана, которую я спросилъ потомъ, напомнила мнѣ, что Курилка былъ игрушечный, гутаперчивый человѣчекъ, котораго дѣти называли почему-то такимъ именемъ. Онъ много разъ забрасывался ими на крыши, попадалъ въ подземныя водосточныя трубы, но всегда выходилъ невре-

димъ изъ самыхъ опасныхъ приключеній, и дѣти, вновь найдя его, радостно показывали другъ другу, сопровождая свою находку вышеприведеннымъ восклицаніемъ.

Въ этотъ же день случилось со мной новое и необычное событіе. Меня вызвали въ канцелярію, гдѣ представили полицейскому врачу, внимательно осмотрѣвшему меня и составившему протоколъ о состояніи моего здоровья. Окончивъ писать, онъ прочелъ его въ полголоса, но такъ, что я все слышалъ:

«Найдено увеличеніе сердца, анемія желудка и сильное нервное состояніе, которое дѣлаетъ желательнымъ отсрочку заключенія на четыре или пять недѣль».

— Я пошлю это сегодня же симферопольскому прокурору, — сказалъ ему исправникъ.

Затѣмъ со мною любезно простились и отвели обратно на мой тюремный дворикъ-коробочку.

— Неужели и въ самомъ дѣлѣ мнѣ дадутъ отсрочку? — подумалъ я.

Я зналъ, что въ другихъ случаяхъ, по литературнымъ и даже политическимъ дѣламъ, это обязательно дѣлается.

Но въ моемъ дѣлѣ — пришло мнѣ въ голову — все такъ необычно, что положительно не знаешь, что и подумать. Какія-то судороги, какъ будто обнаруживающія скрытую борьбу двухъ теченій въ администраціи за меня и противъ меня. Которое изъ этихъ теченій возьметъ верхъ? Да и стоитъ ли хлопотать объ отсрочкѣ, разъ все равно меня обязательно посадятъ и мнѣ, черезъ мѣсяцъ плохо проведенной жизни на свободѣ, вновь придется переживать весь этотъ хаосъ разнообразныхъ внутреннихъ ощущеній, неизбежныхъ въ первые дни неволи?

Черезъ нѣсколько часовъ послѣ этого вбѣжала ко мнѣ Ксана, возвратившаяся изъ Симферополя. Она старалась казаться въ самомъ оптимистическомъ настроеніи, но смотрѣла съ явной внутренней тревогой.

— Была у симферопольскаго прокурора. Онъ говоритъ, что не хочетъ сажать тебя въ Симферополь, такъ какъ тамъ плохо. Онъ хочетъ сбыть тебя въ севастопольскую тюрьму, взамѣнъ севастопольской крѣпости, въ которую не берутъ не-военныхъ. Мы съ О. В. напомнили ему о двухъ докторскихъ свидѣтельствахъ, о невозможности для тебя идти въ настоящее время въ заключеніе, и онъ распорядился по телефону объ освидѣтельствovanіи тебя полицейскимъ врачомъ и о составленіи протокола осмотра. Онъ обѣщалъ немедленно послать все это въ Москов-

скую судебную палату, откуда будетъ отвѣтъ не раньше, какъ черезъ недѣлю.

— Но во всѣхъ обыкновенныхъ случаяхъ освобождаетъ, по болѣзни, самъ мѣстный прокуроръ, и въ оправданіе своей отсрочки, только посылаетъ въ палату свидѣтельство полицейскаго врача.

— Онъ говоритъ, что не можетъ принять этого на свою отвѣтственность, такъ какъ въ присланной ему изъ Москвы бумагѣ написано: «спѣшно», и потому онъ долженъ арестовать тебя немедленно.

— Но когда же было послано распоряженіе изъ Москвы? Дѣйствительно ли ранѣе окончанія моего отпуска въ Крымъ?

— Оказалось, что очень скоро. Мы выѣхали изъ Петербурга сюда, съ разрѣшенія прокурора палаты, 15 мая, на мѣсяцъ, а 22 мая тѣмъ же прокуроромъ уже послано было въ Симферополь распоряженіе о твоёмъ арестѣ въ Крыму, и оно пришло сюда черезъ три недѣли только потому, что залежалось въ промежуточныхъ окружныхъ судахъ, да и въ Симферополь лежало долго, потому что буря передъ тѣмъ испортила пути сообщенія и вся казенная корреспонденція пріостановилась.

Ксана сильно волновалась; она очень загорѣла отъ быстрого пути подъ жгучимъ крымскимъ солнцемъ и отъ встрѣчнаго вѣтра при быстромъ движеніи автомобиля. Она уже нѣсколько похудѣла, но была еще въ пароксизмѣ энергіи и дѣятельности.

— Но, къ счастью—продолжала Ксана—Государственный Совѣтъ еще не распущенъ. Я тотчасъ же телеграфировала Максиму Максимовичу о томъ, что тебя хотятъ посадить въ Севастопольскую тюрьму, и что я прошу хлопотать о разрѣшеніи тебѣ отбывать заключеніе по мѣсту нашего деревенскаго жительства, въ Мологѣ, или, если нельзя, то въ Двинской крѣпости. Я уже получила отъ него отвѣтъ: «Завтра будутъ говорить съ министромъ юстиціи». Еслибъ Московская палата не поторопилась и отложила арестъ хоть на недѣлю, то и Государственный Совѣтъ былъ бы распущенъ на каникулы и ты оказался бы совершенно безпомощенъ и попалъ бы въ Севастопольскую каторжную тюрьму. Заступиться до осени было бы некому и ты могъ бы ослѣпнуть въ темныхъ помѣщеніяхъ. Но теперь выйдетъ иначе...

Черезъ два дня Ксана уже получила лаконическую телеграмму отъ Максима Максимовича.

— «Сдѣлано распоряженіе перевести Двинскъ».

Мы уже знали, что въ Двинскѣ было то, что для моихъ,

не выносящихъ полумрака, глазъ, являлось самымъ необходимымъ: свѣтлыя комнаты и притомъ просторныя, гдѣ можно было походить изъ угла въ уголъ, не поворачиваясь на каблучкахъ черезъ каждые четыре шага, какъ въ нашихъ большихъ тюрьмахъ новѣйшей конструкціи. Вѣсть эта была поистинѣ радостная для всѣхъ моихъ друзей, тѣмъ болѣе, что отъ Петербурга до Двинска одна ночь пути и при экстренной нуждѣ или въ случаѣ моей острой болѣзни, они ко мнѣ всегда могли тотчасъ же пріѣхать.

Кромѣ того Ксана принесла мнѣ въ этотъ день и другую радостную вѣсть: полную корректуру нѣмецкаго перевода моего «Откровенія въ Грозѣ и Бурѣ».

Итакъ, моя книжка уже набрана по-нѣмецки и скоро выйдетъ въ продажу! Идеи, возникшія у меня въ шлиссельбургскомъ заточеніи, пойдутъ, наконецъ, по широкому вольному свѣту въ то самое время, когда я вновь буду томиться въ заточеніи! Мнѣ показалось, что въ этомъ совпаденіи заключается что-то удивительное, все выходитъ, какъ будто въ романѣ! Ахъ, какъ мнѣ захотѣлось сейчасъ же приняться за мою слѣдующую книгу: «О пророкахъ», гдѣ идеи, заключенныя въ «Откровеніи», должны получить свое окончательное завершеніе и произвести переворотъ въ нашихъ представленіяхъ объ умственной и общественной жизни среднихъ вѣковъ, разсѣявъ черную тучу, окутывавшую человѣческую мысль въ продолженіе полутора тысячъ лѣтъ!

— Да, наконецъ-то и моя книга перешагнула нашу границу!—думалъ я, бѣгая по своему залитому солнцемъ дворику, когда мои друзья ушли.

И я вновь возвратился къ своей постоянной, съ юности преслѣдовавшей меня мысли: какое великое горе для народовъ имѣть свои особенные языки, какъ китайской стѣной огораживающіе ихъ отъ остального міра! Чѣмъ меньше народъ, тѣмъ большее несчастье для него имѣть свой особый языкъ. Для чего нуженъ намъ языкъ? Вовсе не для одного пѣнія, какъ птицамъ, а для сношенія съ себѣ подобными, которые разсѣлены по всему земному шару. Значитъ, тотъ, языкъ, который больше всего распространенъ по земной поверхности и въ которомъ есть первоклассная научно-художественная литература и долженъ быть международнымъ для своего времени, а не какой-нибудь искусственно выдуманный исключительно для того, чтобы удовлетворить зависти менѣ развитыхъ народовъ и не дать человѣчеству говорить понятно для какой-нибудь ино-

странной націи, хотя бы она имѣла всѣ права на это. Какъ я жалѣлъ все время моей жизни, что могу свободно писать только по русски, а не по англійски! Еслибъ я могъ писать на этомъ великомъ языкѣ, то каждую мою книгу, тотчасъ же послѣ ея выхода, могъ бы читать весь цивилизованный міръ! А написанная по русски, она долго плаваетъ по одной русской территоріи, не находя себѣ изъ нея выхода, какъ рыба въ Каспійскомъ морѣ, отдѣленномъ горами и степями отъ мірового океана.

Теперь,—думалъ я въ своемъ одиночествѣ—уже вторая моя книга, переведенная на нѣмецкій языкъ, наконецъ, вырвалась въ международный океанъ и мои «Пророки», благодаря ей, уже сразу выйдутъ и на русскомъ, и на нѣмецкомъ языкахъ.

И вотъ, въ самое горячее время я вновь долженъ сидѣть въ темницѣ, со связанными руками... Только что начатая мною окончательная обработка «Пророковъ» насильственно прекращена. И когда я получу возможность снова работать надъ ними?

И радость отъ появленія моей книги на нѣмецкомъ языкѣ быстро превратилась въ источникъ новой печали и въ раздраженіе на тѣхъ, кто меня поставилъ въ такое положеніе. Постепенно ускоряя свои шаги, я непроизвольно началъ бѣгать по своему дворику, весь взволнованный и нетерпѣливый, и не было зла и несчастья, какого въ этотъ вечеръ я не пожелалъ бы нашей бюрократіи.

Мнѣ уже не разъ знакомо было подобное темничное настроеніе зложелательства къ своимъ тюремщикамъ, судьямъ и всему высшему и низшему начальству. Оно охватываетъ въ первыя недѣли всякаго политическаго заключеннаго, вѣщающаго въ справедливость своихъ идеаловъ и не побросавшаго ихъ, во имя трусости, въ дни опасности за бортъ своей души. Въ первыя недѣли одиночнаго заточенія обнаруживаются только двѣ варіаціи внутренняго «я» у человѣка.

Трусливый, честолюбивый, неискренній, желавшій въ своей дѣятельности только казаться героемъ, а не быть такимъ на самомъ дѣлѣ, для самого себя,—послѣ перваго потрясенія отъ происшедшей перемѣны, начинаетъ винить въ своей гибели не себя (хотя бы это и было такъ), а своихъ товарищей. Порывъ зложелательства обращается у него на нихъ, а не на прямыхъ враговъ, отъ которыхъ онъ теперь, наоборотъ, начинаетъ искать снисхожденія и мягкости къ нему, какъ къ случайно попавшему въ недостойную его среду. Начавъ такимъ образомъ кривить душой изъ эгоистическихъ цѣлей, онъ, въ худшемъ случаѣ, кончаетъ предательствомъ, а въ лучшемъ, если его спасаетъ гор-



дось, постепенно дѣлается циникомъ, неспособнымъ видѣть ни въ комъ изъ своихъ товарищей ничего хорошаго.... Въ другой же варіаціи человѣческой души, характеризующейся искреннимъ стремленіемъ къ добру и идеалу, происходитъ въ одиночномъ заключеніи совершенно обратная эволюція. Чѣмъ дальше сидятъ такіе люди, тѣмъ дороже становятся для нихъ ихъ высокіе идеалы и ихъ уцѣлѣвшіе и гибнущіе товарищи, и тѣмъ ненавистнѣе враги ихъ идей. Въ случаѣ долгаго народнаго и общественнаго безучастія, какъ было, напримѣръ, съ нами всѣми въ Шлиссельбургѣ послѣ гибели Народной Воли, первоначально возникающая ненависть и зложелательство къ правительству непроизвольно переходятъ и на подчиняющееся ему безмолвное населеніе. Начинается гибель прирожденнаго патріотизма; возникаетъ желаніе, чтобы хоть внѣшній врагъ какимъ нибудь могучимъ ударомъ встряхнулъ царящій застой. Возбужденное воображеніе начинаетъ рисовать политическому узнику яркую картину того, какъ въ разгаръ всеобщаго разрушенія, когда народъ увидитъ, наконецъ, куда привелъ его деспотизмъ, онъ и его товарищи выйдутъ на свободу, поправятъ своей энергической борьбой съ внѣшнимъ и внутреннимъ врагомъ все дѣло и восстановятъ родину въ небываломъ величіи и красотѣ, какъ французскіе республиканцы великой революціи, не только защитившіе Францію отъ напавшей на нее коалиціи монархическихъ государствъ, но и сами перешедшіе въ наступленіе. Затѣмъ, если убійственный тюремный режимъ и одиночество продолжаются слишкомъ много лѣтъ, появляется стремленіе совсѣмъ бросить родину и навѣкъ бѣжать изъ нея въ какую нибудь другую страну, которой и отдать всю свою любовь, всѣ свои силы, всю энергію. Эти стадіи я уже прошелъ въ Шлиссельбургѣ. Тамъ въ концѣ концовъ я только и мечталъ уѣхать навсегда въ Великую Британію, и представлялъ въ своемъ воображеніи всевозможные героическіи подвиги, какіе совершу я для нея, перешедшей въ моемъ воображеніи уже къ республиканской федераціи всѣхъ своихъ странъ! Это была цѣлая серія не записанныхъ мною фантастическихъ романовъ. Въ нихъ я улетаю для своей новой родины даже въ небеса и открывалъ ей колоніи на Венерѣ, Марсѣ, Лунѣ и другихъ небесныхъ свѣтилахъ! Въ моей душѣ мало по малу перегорѣло тогда негодованіе и на свое правительство, и на свою молчащую родину, и всѣ силы направились на желаніе отдать себя другой странѣ, наименѣе похожей на мою по общественному строю. Потомъ, когда волна 1905-го года выбросила меня изъ Шлиссельбурга, ураганъ дѣйствительной

жизни сразу выдулъ изъ моей головы фантастическій міръ, въ которомъ я жилъ послѣдніе годы въ Шлиссельбургѣ, и я весь отдался научной работѣ и активной жизни на родной территоріи, забывъ, казалось, навсегда все зло, которое мнѣ было сдѣлано въ прошломъ....

И вотъ теперь, когда я вновь попалъ въ одиночное заключеніе за свои убѣжденія, весь циклъ давно пережитыхъ мною настроеній началъ повторяться снова, сначала, какъ и всегда, еще въ довольно добродушной формѣ. Переваливаясь съ боку на бокъ въ постели въ эту ночь и въ отчаянны, что я не могу теперь, когда мое «Откровеніе въ Грозѣ и Бурѣ» появилась помѣстечки, тотчасъ же приняться за «Пророковъ», я вновь перешелъ въ темный, уже забытый міръ тюремныхъ мечтаній и воображеніе вновь стало рисовать мнѣ фантастическія картины.

Вотъ я изобрѣлъ такой костюмъ, въ которомъ меня никто не можетъ видѣть и пошелъ въ немъ къ моимъ судьямъ. Они представлялись въ это время министру. Подойдя сзади къ председателю суда, я толкаю его въ спину такъ, что тотъ неожиданно бросается на своего шефа.

— Онъ съ ума сошелъ! — кричатъ его товарищи, мои бывшіе судьи, и бѣгутъ схватить его, но я каждого толкаю въ спину, и каждый производитъ свой прыжокъ, въ томъ числѣ и обвинявшій меня прокуроръ. Тоже самое я дѣлаю и въ Комитетѣ по дѣламъ печати, такъ что по всему міру несутся телеграммы: «русская бюрократія обнаружила необыкновенный родъ умопомѣшательства: ни одинъ подчиненный чиновникъ не можетъ видѣть своего начальника, не бросившись неожиданно на него».

Началось что то въ родѣ перемежающейся лихорадки воображенія, особенно усилившейся послѣ пятого дня неволи. Настроенное на зложелательный ладъ, оно такъ ярко рисовало мнѣ всевозможныя комическія сцены, представлявшія моихъ политическихъ враговъ въ нелѣпномъ видѣ, что призраки моего ума казались мнѣ какъ бы дѣйствительностью и я, по временамъ, не могъ удержать порывовъ смѣха на своей койкѣ. Если бы часовой прислушался въ коридорѣ, то онъ, навѣрное, пришелъ бы къ заключенію, что я сошелъ съ ума.

Но я чувствовалъ, что это для меня лишь начало цѣлаго цикла душевныхъ настроеній, уже пройденнаго мною два раза при двухъ моихъ прежнихъ заключеніяхъ. Фантастическій міръ сталъ снова смѣнять для меня реальность и рисовать мнѣ воображаемыя картины еще добродушной мести. Но я зналъ, что потомъ, если условія заключенія будутъ какъ прежде тяжелыми,

эти картины смѣнятся постепенно болѣе жестокими по отноше-  
нію къ моимъ врагамъ, и что затѣмъ, если на всей широкой  
Руси опять никому не будетъ до меня дѣла, то мое негодованіе  
перегоритъ на своемъ собственномъ огнѣ, какъ нѣкогда въ  
Шлиссельбургѣ, и смѣнится стремленіемъ навѣки бѣжать въ  
Англію, сказавъ ей, какъ въ библии: «твой богъ будетъ моимъ  
богомъ, твой народъ—моимъ народомъ».

Однако, я чувствовалъ, что теперь моя душевная эволюція  
уже не дойдетъ до своего третьяго цикла. Въ этотъ день Ксана  
принесла мнѣ нѣсколько газетъ съ новыми сочувственными из-  
вѣстіями о моемъ заточеніи... Значить, друзья на волѣ не за-  
были меня!—радостно думалъ я при каждомъ такомъ извѣстіи.

— Какъ не похоже по своему содержанію — сказалъ я  
Ксанѣ—это мое заключеніе сравнительно съ прежнимъ безсроч-  
нымъ и по своему существу безнадежнымъ! Правда, я и тогда  
надѣялся, что такъ или иначе вырвусь на свободу, но это была  
надежда исключительно на самого себя!

На лоскутѣ бумаги, переданномъ Ксанѣ, на слѣдующее  
утро было написано:

«Думалъ о бюрократическомъ режимѣ. Представлялъ его  
себѣ въ видѣ человѣка, лишеннаго памяти, который каждый день  
забываетъ то, что дѣлалъ вчера и во всѣ прежніе дни. Запо-  
мнить центральной власти всѣхъ дѣлъ нельзя, да, кромѣ того,  
министры и сановники смѣняютъ одинъ другого, и преемникъ не  
можетъ знать того, что зналъ его предшественникъ. Отсюда  
отсутствіе послѣдовательности, судорожность дѣйствій, отсутствіе  
человѣчности, неизбежное думанье лишь о своей собственной  
карьерѣ и смотрѣніе на всѣ общественныя и государственныя  
дѣла лишь съ узко эгоистической точки зрѣнія. Тутъ даже че-  
ловѣкъ, задающійся широкими цѣлями, придетъ къ заключенію,  
что все на свѣтѣ пустяки, кромѣ его личныхъ успѣховъ! И ка-  
кое удивительное превращеніе можетъ сдѣлать въ человѣкѣ въ  
нѣсколько дней бюрократическое правительство! Вотъ хоть бы  
со мною. Все, чѣмъ была полна моя голова послѣднія шесть  
лѣтъ—химія, физика, математика, астрономія, воздухоплаванье—  
все сразу вычищено изъ нея! Въ ней снова одна «внутренняя  
политика» и зложелательство къ власти! Нѣтъ такихъ бѣдствій  
и напастей, какихъ не пожелалъ бы я ей за это время, совсѣмъ  
какъ при первомъ заключеніи! Да, самовластная бюрократія по-  
истинѣ великій революціонеръ, и ея бессознательная агитаціонная,  
антимонархическая дѣятельность много интенсивнѣе, чѣмъ прямые  
призывы къ борьбѣ. Партіи часто ведутъ не туда, куда хотятъ,

а совсѣмъ въ обратную сторону. Вотъ у многихъ дѣятелей нашего аграрнаго террора были добрыя намѣренія, а привели только къ гибели ихъ, и всегда къ ней приведутъ, потому что горе той партіи, которая въ періодъ борьбы съ правительственнымъ самовластіемъ начнетъ возбуждать вражду между отдѣльными классами общества: она лишь доставитъ торжество самовластію и первая будетъ уничтожена имъ. Какъ часто предостерегалъ я въ этомъ отношеніи, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, руководителей различныхъ передовыхъ партій!

Вечеромъ этого дня я во второй разъ увидѣлъ на потемнѣвшемъ небѣ, раньше чѣмъ меня увезли въ тюрьму, ярко-свѣтащагося Юпитера. Онъ снова горѣлъ прямо надъ моей камерой и казался добрымъ предзнаменованіемъ.

— Когда то увижу я его и всѣ звѣзды снова?—думалось мнѣ.

Я долго и грустно сидѣлъ на своей постели, мнѣ не хотѣлось спать. Вспоминалась Ксана и ея судьба, и было очень больно думать, что ей такъ и не удастся отдохнуть въ это лѣто отъ зимнихъ трудовъ.

«Очень тронуло меня,—записалъ я въ ту ночь—безпокойство Ксаны, какъ бы О. В. «не забыла взять съ собою въ Петербургъ ту чудную, большую перламутровую раковину», которую она купила мнѣ въ подарокъ.—Она была бы такъ красива на стѣнѣ нашей квартиры!—говорила мнѣ сегодня Ксана.—Только въ женскомъ умѣ малая неожиданная радость можетъ заглушать на время большое горе».

А затѣмъ, тутъ же на лоскутѣ, нѣсколькими часами позднѣе, у меня было прибавлено:

«Замѣтка ночью въ постели. Сейчасъ снова почувствовалъ, какъ не разъ раньше, что какъ въ моменты умственного перепутья, когда кажется, что въ головѣ нѣтъ никакихъ мыслей, такъ и въ моментъ самыхъ отвлеченныхъ размышленій, я повторяю безсознательно, какъ вѣчный аккомпаниментъ къ моей жизни, какіе-нибудь стихи. Вотъ и теперь, прислушавшись къ самому себѣ, я вдругъ замѣтилъ, что можетъ быть уже въ сотый разъ повторяю, пришедшее мнѣ въ голову въ первые дни заточенія, стихотвореніе—О, братство святое, святая свобода! Въ вину не поставьте мнѣ жалобъ моихъ!—и безъ конца твержу про себя эти двѣ строки.

Благодаря такой моей привычкѣ я всегда живу и думаю какъ бы подъ музыку. Вліяетъ ли это на форму моихъ мыслей? Повидимому, да! Аккомпаниментъ лирическихъ стиховъ даетъ, можетъ быть, даже и направленіе моимъ мыслямъ, хотя я большею

частью и не сознаю внутри себя никакого аккомпанимента, а только какъ нибудь вдругъ, на моментъ, поймаю его въ себѣ, какъ сегодня».

*(Продолженіе слѣдуетъ).*

Н. МОРОЗОВЪ.





## КЛЯТВА СТЕФАНА ГУЛЛЕРА.

Романъ Феликса Голлендера.

(Продолженіе) <sup>1)</sup>.

Стефану казалось, что онъ выздоравливаетъ послѣ тяжелой умственной болѣзни—теперь, когда мракъ, окутавшій его душу, разсѣялся, онъ понялъ, что онъ ходилъ по краю пропасти, и ему жутко было оглянуться назадъ. Онъ способенъ былъ, не подавая голоса, смотрѣть, какъ рушится зданіе, которое онъ строилъ съ такимъ трудомъ, какъ гибнетъ его семейный очагъ и самая жизнь его.

Болѣзнь тѣла происходитъ отъ физической слабости; болѣзнь духа—отъ усталости воли. Куда же дѣвалась его энергія?—онъ покорно позволялъ бурѣ гнать и трепать себя, не оказывая ей никакого сопротивлѣнія; хуже того, онъ малодушно бросилъ руль и обрекъ свою ладью на погибель. Онъ самъ себя не могъ понять и раздумывалъ—въ чемъ тутъ дѣло: не въ слабости ли его душевныхъ силъ, противъ которой ужъ бесполезно бороться? Свой семейный очагъ—Гаизу, себя, онъ все поставилъ на карту. Поистинѣ, ставка была слишкомъ уже высока.

Философъ однажды сказалъ ему: «Кто не умѣетъ энергично отстаивать самого себя и свое дѣло, тотъ принадлежитъ къ тѣмъ загадочнымъ натурамъ, которыя, по словамъ Гете, не умѣютъ приспособиться ни къ какому положенію въ жизни». И совершенно серьезно прибавилъ, что человѣкъ съ желѣзной волей *не можетъ* хворать, что въ его власти даже продлить срокъ своей жизни, ибо нѣтъ такой силы, которая бы заставила его

<sup>1)</sup> См. Мартъ, стр. 219.

умереть, пока въ немъ есть воля къ жизни. Каждый человѣкъ, въ зависимости отъ его энергій, можетъ повысить свою жизненную силу и продолжительность своей жизни. При первомъ натискѣ погибають только слабые».

Въ отвѣтъ на эти слова Стефанъ только недовѣрчиво качалъ головой, но позѣтъ всецѣло поддерживалъ своего друга и съ тонкой улыбкой замѣтилъ: «Мы, бѣдныя дѣти земли, сами не знаемъ, сколько таинственныхъ возможностей мы носимъ въ себѣ, сколько первобытной силы кроется въ нашей душѣ. У насъ нѣтъ воли, нѣтъ мужества взять собственное достояніе; мы все ждемъ толчка и помощи извнѣ. Мы лѣнны и тупы; необходимо, чтобы кто-нибудь другой пришелъ и встряхнулъ насъ».

Развѣ исторія его болѣзни не подходитъ подъ это опредѣленіе? Развѣ онъ не поддался безвольно навязчивой мысли, что его жизнь—или, точнѣе формулируя—его вина передъ покойнымъ отцомъ можетъ быть оправдана только рожденіемъ ребенка, котораго они оба ждали съ такимъ несказаннымъ счастьемъ, и развѣ это само по себѣ не было ложнымъ выводомъ. Развѣ это стремленіе переложить бремя отвѣтственности на чужія плечи не свидѣтельствовало о малодушіи, о трусости сердца? И развѣ это не значило эгоистически ограничивать свободу ребенка еще до его рожденія, распространяя и на него обязательства, лежащія на отцѣ?

Ибо его нравственное міровоззрѣніе признавало свободу воли и возможность для каждаго преодолевать себя или воспитывать и усовершенствовать.

И это одно должно было быть цѣлью и смысломъ жизни для каждаго, претендовавшаго на названіе человѣка...

Ему было стыдно... Но сознаніе своего паденія должно было помочь ему выковывать оружіе защиты для будущаго и закалить свою волю. Никогда онъ не склоненъ былъ обманывать себя—даже когда другіе и признавали цѣнность сдѣланнаго имъ, самъ онъ продолжалъ относиться къ себѣ недовѣрчиво.

Въ немъ глубоко сидѣло убѣжденіе, что не надо стараться казаться больше того, что ты есть. Онъ зналъ свои силы и зналъ предѣлы, ихъ и, если онъ выработалъ себѣ извѣстную самоувѣренность и уравновѣшенность, это было результатомъ его скромности и взгляда на жизнь, требовавшаго, чтобы человѣкъ умѣлъ разбираться въ себѣ, былъ самъ для себя строгимъ судьей, зорко и строго слѣдилъ за собой, держа себя, что называется, въ ежовыхъ рукавицахъ.

Къ разряду великихъ и, тѣмъ болѣе, гениальныхъ людей, онъ

разумѣтся, себя не причислялъ, но ему хотѣлось бы быть численнымъ къ представителямъ идеальной середины, которая подготавливаетъ почву для будущаго, вносить свою лепту въ дѣло сохраненія и развитія расы.

Прошло, однако, довольно много времени, прежде чѣмъ онъ обрѣлъ душевное равновѣсіе—душевныя страданія, пережитыя имъ въ эти дни, были слишкомъ тяжки и сильны.

Все это видѣла и сознавала Гаиза и съ несказанной нѣжностью и осторожностью, не докучая мужу ни вопросами, ни взглядами, слѣдила за процессомъ его душевнаго выздоровленія.

Она знала, что между ею и имъ стоитъ Фридрихъ Гуллеръ, отецъ, съ судьбой, жизнью и смертью котораго Стефанъ чувствуетъ себя неразрывно связаннымъ, и бывали минуты, когда душа ея переполнялась гнѣвомъ противъ этого мертвеца, который передъ смертью отравилъ жизнь любимаго ею человѣка. Но она понимала, что Стефанъ не долженъ и подозрѣвать этого—память отца была для него священной.

Она не хотѣла касаться этой его святыни. Она на колѣняхъ благодарила Бога за то, что Онъ опять даровалъ жизнь имъ обоимъ, и когда, однажды вечеромъ, самъ того не сознавая, Стефанъ засмѣялся, и она опять услышала этотъ тихій, счастливый, захлебывающійся смѣхъ, Гаиза отвернулась—она была взволнована до слезъ. Только теперь Стефанъ выздоровѣлъ вполне—полоса мрака уже лежала позади него.

Выздоровѣлъ вполне. Вполнѣ-ли?—тихонько спросила она себя, и ей стало стыдно.

Стефанъ всегда былъ сдержанъ и щепетилень; такова ужъ была его натура. Гаиза знала это и отъ этого не меньше любила его. Но въ интимной близости съ ней, изъ глубины всего его существа въ немъ расцвѣтала яркимъ цвѣткомъ пламенная страсть, которая чаровала и пьянила ее—можетъ быть, и потому еще, что кромѣ нея, ни одинъ человѣкъ не подозрѣвалъ, сколько жизненной силы таить въ себѣ Стефанъ Гуллеръ.

Но теперь, при всей его любви и нѣжности къ ней, онъ переживалъ полосу аскетическихъ настроеній. Его забота и доброты трогали ее, но его воздержность немного пугала, какъ бѣгство отъ жизни.

Но, хоть она и страдала отъ этого отчужденія, все же считала долгомъ уважать его настроеніе.

И, съ чуткостью любящей женщины, старалась понять его, приспособиться къ нему.

Ты отстраняешься отъ меня, милый. Хорошо, я буду еще

скромный, еще сдержанный тебя. А когда въ тебѣ проснется снова жажда жизни и любви, ужъ ты у меня побарахтаешься въ той сѣти, которую самъ себѣ связалъ.

Такъ думала Гаиза и со страхомъ и тревогой ждала часа избавленія.

А такъ какъ помимо этого, она ни на что пожаловаться не могла—мужъ обращался съ ней такъ бережно и любовно, какъ будто она была хрупкой, фарфоровой фигуркой, которую онъ боялся разбить—она несла свою участь терпѣливо и съ достоинствомъ, тѣмъ болѣе, что настроеніе Стефана на глазахъ ея съ каждымъ днемъ становилось болѣе устойчивымъ, спокойнымъ и веселымъ.

Правда, часъ избавленія все не наступалъ, и лицо Стефана принимало выраженіе все болѣе одухотворенное—какой-то монашеской отрѣшенности отъ міра. Втайнѣ наблюдая за нимъ, Гаиза сознавалась себѣ, что это выраженіе не портитъ его и даже краситъ; но на сердцѣ у нея становилось холодно отъ этой святости, и всѣ ея строгіе принципы таяли, какъ снѣгъ подъ весенимъ солнышкомъ. Порою она бросала страстные взгляды на мужа, но онъ не замѣчалъ ихъ; пробовала прильнуть къ нему, прижаться и съ испугомъ замѣчала, что онъ уклоняется отъ такой близости; ей хотѣлось объясниться съ нимъ на чистоту, но какой-то таинственный страхъ удерживалъ ее: она робѣла и слова не шли у нея съ языка.

Каждое ея желаніе, которое Стефану удавалось прочесть въ ея глазахъ, онъ спѣшилъ исполнить; не проходило дня, чтобъ онъ не принесъ ей цвѣтовъ или не оказалъ какого нибудь другого знака вниманія; и тѣмъ не менѣе, между ними продолжала стоять перегородка, раздѣлявшая ихъ.

— Боже мой, да что же это?—думала Гаиза.—Неужели же онъ станетъ мнѣ совсѣмъ чужимъ?

Онъ правъ: всѣ эти бѣды начались съ появленіемъ матери—она принесла несчастье къ нимъ въ домъ; еслибъ не мать, у нея былъ бы теперь на рукахъ маленькій ангелочекъ и всѣхъ этихъ ужасовъ не случилось бы вовсе. Гаиза стискивала зубы, чтобъ не роптать на Бога—она не хотѣла грѣшить.

Еслибъ можно было хоть поговорить съ кѣмъ нибудь по душѣ! Но отецъ былъ слишкомъ старъ, чтобъ понять ее—и мастеръ тоже—а Иоганнесъ фонъ деръ Эвигкейтъ и философъ жили въ такомъ мірѣ, гдѣ не мѣсто ея женскому горю; да и тутъ огромная разница лѣтъ создавала пропасть, черезъ которую нельзя

перекинуть мостика. Всего охотнѣе—она довѣрилась бы поэту... Поэтъ долженъ понять ее...

Но нѣтъ, она никому не можетъ довѣриться—никто не можетъ помочь ей... Ея единственнымъ утѣшеніемъ оставалась Марія, передъ которой она въ темныя ночи изливала свое сердце. Ибо страданіе женскаго сердца понятны одной только Дѣвѣ Маріи.

Такъ шла жизнь въ домѣ Стефана Гуллера.

Миновало нѣсколько мѣсяцевъ.

Вслѣдъ за суровой зимой, когда отъ холода промерзали даже картофель въ погребѣ, а бѣдняки и воробьи не знали, куда укрыться отъ стужи, наступила мягкая, теплая весна...

Солнце не жалѣло ласковыхъ, благотворныхъ лучей, будило поцѣлуемъ лѣса и поля и въ нѣдрахъ матери-земли таинственно зарождалась и зрѣла новая жизнь. Деревья выгоняли почки, пускали новые ростки и вѣточки; весь міръ наполнялся дивнымъ весеннимъ благоуханіемъ.

Юная фрау Гаиза, поднявшись рано утромъ и нарядившись въ огромный синій передникъ, грубая матерія котораго такъ не шла къ ея тоненькой фигуркѣ, поднялась на цыпочки, чтобъ поцѣловать Стефана, который собирался идти на фабрику.

— Милый,—попросила она, — подари мнѣ еще минутку!

И съ ласковой настойчивостью она увлекла его за собой на террасу. Тамъ стояли большіе ящики съ цвѣтами и красно-коричневые горшки, до краевъ наполненные влажной черной землей; а на маленькомъ столикѣ разноцвѣтные пестрые свертки съ различными сортами цвѣточныхъ сѣмянъ.

Старикъ Мессенджеръ, сѣменя ножками, осторожно перебѣгалъ отъ одного цвѣточнаго ящика къ другому, вскидывалъ на носъ золотое пенснэ, сортировалъ сѣмена и въ чемъ-то убѣждалъ садовника, который только что распаковалъ свертокъ съ разсадой.

— Вотъ взгляни на все это, потому что тебѣ придется заплатить за это довольно много денегъ. Но ты не раскиснешь въ этомъ, потому что скоро здѣсь выростутъ для тебя сады Семирамиды.

Она посмотрѣла на него добрыми глазами, тихонько пожимая его руку, и онъ отвѣчалъ ей нѣжнымъ пожатіемъ. Потому что и въ домѣ Стефана Гуллера вошла весна и, хотя пережитыя страданія и оставили свой слѣдъ въ его душѣ, все же въ немъ постепенно просыпалось жизнеощущеніе и радость жизни, и снова въ тихихъ комнатахъ звучали музыка и смѣхъ, хоть и не такой звонкій, какъ прежде.



— Сады Семирамиды?—повторилъ онъ и, смѣясь, погрозилъ ей пальцемъ.—Мнѣ были бы милѣй сады Гаизы.

Молодая женщина покраснѣла и немного смутилась.

— Я слишкомъ мало знаю объ этой госпожѣ, чтобы понять твой намекъ. Я думала только, что она построила Вавилонъ, взрывая для этого скалы и пробивая горы, и создала знаменитые висячіе сады, которые, такъ сказать, дали ей право на званіе первой садовницы всѣхъ временъ и народовъ.

— Да, маленькая Гаиза, но это—одна только сторона ея загадочнаго существованія. Жизнь Семирамиды тѣсно связана съ жизнью Вавилона, и уже это одно должно отпугивать отъ нея осмотрительныхъ людей, ибо Вавилонъ всегда былъ опаснымъ городомъ. Что же касается самой Семирамиды, подъ покровительство которой ты ставишь свой садъ, то она и сама давала достаточно пищи злословію: въ ея садахъ устраивались самыя безпутныя оргіи, на которыхъ она заманивала въ свои сѣти приглашенныхъ ей красавцевъ и затѣмъ приказывала тайно умерщвлять ихъ. Правда, и сама она погибла злою смертью, хотя послѣ смерти ее и возвели въ богини. Какъ видишь, для роли ангеля-хранителя она не очень годится,—закончилъ онъ съ легкой насмѣшкой.

Гаиза выслушала его серьезно и даже немножко огорчилась.

— Это жаль,—выговорила она.—*Сады Семирамиды*—это звучитъ такъ красиво. Ты правъ, конечно, къ нашей террасѣ это названіе не подходитъ—надо будетъ придумать что нибудь другое—но все-таки жаль...

— Ну полно,—успокаивалъ онъ, невольно смѣясь при видѣ ея огорченія,—не принимай этого такъ трагически. Вѣдь, въ дѣйствительности, этой госпожи, кажется, и не было вовсе на свѣтѣ.

— Ты хочешь утѣшить меня? Напрасно, слишкомъ поздно. Царица свергнута съ престола.

— Ну, такъ поцѣлуй меня скорѣе—мнѣ давно пора идти.

Она обвила руками его шею, но сейчасъ же отпустила, всегда помятуя о томъ, что ея любовь не должна быть ему въ тягость.

Вскорѣ затѣмъ она услышала знакомые тяжелые шаги на лѣстницѣ и еще долго прислушивалась, задумавшись и немножко сердясь въ душѣ на то, что Стефанъ своими неприятными словами о Семирамидѣ отнял у нея красивую иллюзію. И сердилась сама на себя. Вѣдь она такъ старательно слѣдила за собой,

избѣгая всякаго неосторожнаго слова, которое могло бы навести его на непріятныя мысли и воспоминанія. Но тутъ ей вспомнился счастливый смѣхъ Стефана и она успокоилась.

— Ну-съ, теперь мы можемъ начать, — прервалъ ея размышленія старикъ отецъ.

Она смотрѣла на ящики, наполненные жирной черной землей, на отца, съ его развѣвающимися, какъ пухъ, сѣдыми кудрями, который взвѣшивалъ на рукѣ пакетикъ сѣмянъ, и на лицѣ ея появилось выраженіе какой-то разсѣянности.

— Ты знаешь, папочка, мнѣ какъ-то страшно — такая тяжесть почему-то во всемъ тѣлѣ; земля такая черная, строгая и смотреть на меня какъ-будто съ угрозой, какъ-будто не хочетъ, чтобы я ее трогала.

Старикъ подошелъ къ ней ближе и какъ-то особенно улыбнулся.

— Земли на бойся, дитя мое. Земли бояться нечего. Она добра къ человѣку и при жизни, и послѣ смерти.

Гаиза покачала головой, словно не вѣря.

— Я боюсь смерти, — тихо сказала она. — Папочка, скажи, мамѣ очень тяжело было умирать?

— О, дитя мое, твоя мама никогда не думала о смерти. Даже когда ея лампада совсѣмъ уже угасала, она все еще мечтала и о зеленыхъ, и о золотыхъ лаврахъ, собиралась иѣть и въ Берлинѣ, и въ Лондонѣ, и въ Парижѣ, собиралась ѣхать за море, чтобы разбогатѣть — для тебя. А затѣмъ пришла смерть и такъ осторожно унесла ее, что она даже и не замѣтила. Впрочемъ, вѣдь она и была легкой, какъ пушечъ, твоя мама — она только вздохнула тихонько — и ушла — какъ-будто замечталась и не замѣтила, какъ перенеслась на небо. Я думаю, что земля для нея была слишкомъ тяжела.

— Вотъ видишь, папочка, ты самъ проговорился, что для иныхъ земля слишкомъ тяжела и темна.

— Ахъ, маленькая Гаиза, не будемъ говорить о такихъ грустныхъ вещахъ. Если тебѣ не хочется сажать и сѣять, такъ я займусь этимъ, хотя, по моему, для этого нужны болѣе молодыя руки.

И онъ съ серьезнымъ видомъ сталъ засучивать рукава, готовясь садовничать.

Дочь растроганно смотрѣла на него: старикъ и темное царство земли слились для нея въ одно цѣлое.

— Знаешь, — прервалъ онъ вдругъ свою работу, — мнѣ даже жутко иной разъ передъ этой мощью Іоганна Себастіана Баха. Всякій разъ, когда берешься за него, какъ бы созерцаешь чудо —

бездны—глубины неисчерпаемыя—онъ есть и останется *Pri-tius optum*. Что только долженъ былъ переживать этотъ человекъ, когда онъ писалъ Страсти Господни по Маттею. Мнѣ кажется, что у такихъ людей совсѣмъ иное отношеніе къ Богу, чѣмъ у простыхъ смертныхъ.—Богъ открывается имъ явственнѣе; у нихъ слухъ тоньше—они отчетливѣе слышать Его голосъ.

— Ты въ самомъ дѣлѣ думаешь, отецъ, что можно слышать голосъ Божій?

— Да, дитя мое, въ этомъ я твердо убѣжденъ.

— И вѣришь въ предчувствія и видѣнія?

— Почему ты объ этомъ спрашиваешь, маленькая Гаиза?

— Потому, что у меня самой иногда бываетъ такое чувство, какъ-будто я все предвижу и знаю заранѣе.

— Ахъ, дитя, гони ты отъ себя такія мысли. Ты человекъ молодой, тебѣ надо стоять обѣими ногами на твердой землѣ... Предчувствія, видѣнія—Богъ ты мой, сколько объ этомъ слышишь, а, начнешь докапываться до сути, очень ужъ мало получается. И все же я не говорю ни да, ни нѣтъ. Какъ Гамлетъ говорилъ: «есть много между небомъ и землею, что и не снилось нашимъ мудрецамъ». Почему и не допустить, что существуютъ люди, которые стоятъ ближе къ природѣ и къ ея еще не изслѣдованнымъ силамъ, чѣмъ другіе, сдѣланные изъ болѣе грубаго матеріала,—какъ, по моему, Бахъ и Бетховенъ были ближе къ Богу, чѣмъ—ну скажемъ, Брамсъ и Брукнеръ, хотя и въ ушахъ этихъ несомнѣнно звучалъ голосъ Божій.

Старикъ разгорячился, говоря это; глаза его сіяли восторгомъ и упоеніемъ.

Онъ шагнулъ къ ней ближе, поднялъ указательный палецъ и торжественно продолжалъ: «Всѣ люди до извѣстной степени ищутъ Бога, но находятъ Его одинъ изъ милліона—геній—и прежде всего геній музыкальный, ибо Бога постичь можно только чувствомъ, а не разумомъ. Чутьемъ угадываетъ Бога, тянется къ нему каждый человекъ, но постигаетъ Его не каждый, какъ и въ Священномъ писаніи сказано: «Много званыхъ—но мало избранныхъ».

— Папочка, это ты хорошо сказалъ; это я приму къ свѣдѣнію. И, когда Іоганнесъ фонъ деръ Эвигкейтъ придетъ къ намъ, я поговорю съ нимъ объ этомъ.

— Лучше не надо. Ты знаешь, поэты всѣ немножко полумные и втайнѣ завидуютъ музыкантамъ—они не хотятъ по-

вѣрить, что въ жизни музыка—единственное искусство и самое важное.

— Нѣтъ, папочка, самое важное въ мірѣ—любовь.

— Конечно, дѣтка, съ этимъ я согласенъ. Но вѣдь музыка и любовь—одно. И для того, и для другого разумъ не находитъ словъ—изображенія—формулы—назови, какъ хочешь. Музыка есть музыка и любовь есть любовь—и кончено—и сверхъ этого самый первый умникъ ничего тебѣ не скажетъ. Разумѣется, это должна быть настоящая музыка и настоящая любовь.

— Какая же по твоему «настоящая» любовь, папочка?

— О! это тайна, о которой не надо говорить; если ты поставишь тотъ же вопросъ относительно музыки, мнѣ легче будетъ тебѣ отвѣтить. Новомодная музыка—не настоящая. Черезъ пятьдесятъ лѣтъ все это забудется, скорѣе даже, чѣмъ забыли покойнаго Мейербера. А вотъ музыка Баха, Бетховена—это настоящая; эта музыка вѣчная.

— Можетъ быть, ты и правъ, папочка,—отвѣтила она и блѣлое личико ея приняло задумчивое выраженіе.—Впрочемъ, относительно Иоганнеса фонъ деръ Эвигкейтъ ты ошибаешься. Онъ мнѣ разъ сказалъ очень хорошія слова, которыя, навѣрное, тебѣ понравятся, такъ какъ они подтверждаютъ твое ученіе. У меня они записаны въ книжкѣ. Вотъ погоди; я сейчасъ принесу.

Она убѣжала и моментально вернулась, неся въ рукахъ тоненькую тетрадку.

— Вотъ,—читала она взволнованнымъ голосомъ,—«любовь есть высшее выраженіе музыки—глубочайшее созвучіе—сильнѣйшій ритмъ бытія. Любовь есть превосходная степень музыки, перенесенная на тѣло и душу человѣка. Богъ и ритмъ, въ конечномъ счетѣ, одно и то-же...

Мессенджеръ подождалъ немного, словно смакуя вкусъ этихъ словъ и наслаждаясь имъ, и затѣмъ отъ восторга захлопалъ въ ладоши, восклицая:

— Это изумительно сказано! Нѣтъ, вашъ Иоганнесъ хоть и чудакъ, во, дѣйствительно, на рѣдкость тонкій умъ—вотъ была бы папа Бюлову!—какая жалость, что имъ не удалось сойтись и помѣряться силами. Бюлову нравились такіе типы—ахъ, дитя! повѣрь мнѣ: онъ былъ дѣйствительно великій человѣкъ. Такихъ ужъ нѣтъ теперь...

Онъ со вздохомъ повернулся къ ящику съ землей и снова принялся разрыхлять пальцами землю и сажать въ нее сѣмена.

А Гаиза тихонько ускользнула въ свою комнату...

Возвращаясь домой со службы въ этотъ день, Стефанъ Гуллеръ стоялъ на площадкѣ вагона электрическаго трамвая и тихонько насвистывалъ.

У него было хорошо и весело на душѣ, потому что и онъ чувствовалъ съ весною притокъ новыхъ силъ, и въ ушахъ его звучала мелодія жизни. Онъ дышалъ глубоко, полной грудью, и чувствовалъ себя совсѣмъ здоровымъ.

До послѣдней остановки, на которой онъ долженъ былъ сойти, оставалось всего лишь нѣсколько минутъ, когда на площадку вагона, на полномъ ходу, попробовалъ вскочить молодой человѣкъ, тонкій и гибкій, темноглазый, съ волосами янтарно-желтаго цвѣта и безбородымъ лицомъ; подъ мышкой у него былъ футляръ со скрипкой.

Молодой человѣкъ потерялъ равновѣсіе, оборвался и чуть было не попалъ подъ колеса; въ теченіе нѣсколькихъ секундъ вагонъ тащилъ его за собою, пока Стефанъ Гуллеръ сильной рукой не поднялъ его и не поставилъ на площадку. Молодой человѣкъ былъ блѣденъ, безъ кровинки въ лицѣ и едва держался на ногахъ. Онъ пытался пролепетать нѣсколько словъ благодарности, но лицо его, вмѣсто этого, исказилось болѣзненною гримасой.

Нѣсколько пассажировъ вознегодовали и принялись довольно грубо отчитывать неосторожнаго, попытка котораго могла кончиться плохо.

— Вамъ нехорошо?—спросилъ Стефанъ.

— Боюсь, что я вывихнулъ себѣ ногу, чего добраго, еще и сломалъ, — черезъ силу выговорилъ онъ и прикусилъ себѣ губы, чтобъ не вскрикнуть отъ боли.

— Вы далеко отсюда живете?

— У меня совсѣмъ нѣтъ квартиры; я только собирался нанять себѣ каморку гдѣ-нибудь здѣсь, въ этихъ мѣстахъ. И надо же было этому случиться какъ разъ сегодня, — жалобно простоналъ онъ.

— А вы не могли бы еще денька два прожить на старой квартирѣ?

— Нѣтъ, моя комната уже сегодня утромъ слана. Кстати, позвольте представиться: меня зовутъ Джіакомо Спинетти, — я студентъ медикъ и, кромѣ того, скрипачъ. Даю уроки на скрипкѣ.

— А меня зовутъ Стефанъ Гуллеръ.

— О, я навѣрное что-нибудь повредилъ себѣ—такая адская боль!..

Въ это мгновеніе вагонъ остановился на томъ мѣстѣ, гдѣ



Стефану надо было сходить. И онъ вдругъ, неожиданно для самого себя, предложилъ:

— Сойдемте вмѣстѣ; вѣдь все равно вамъ не зачѣмъ ѣхать дальше; а тамъ видно будетъ, что предпринять.

Молодому человѣку видимо эта мысль показалась удачной.

— *Tiens... Tiens*, — выговорилъ онъ, пытаясь улыбнуться; потомъ, безъ дальнѣйшихъ разговоровъ, позволилъ Стефану взять у себя скрипку и тяжело оперся на его руку.

— Чортъ побери! я совсѣмъ не могу идти. — И онъ такъ здорово выругался по-итальянски, что Стефанъ невольно улыбнулся.

— Вы знаете по-итальянски, сударь?

— Немножко... Но теперь вотъ что: я хочу сдѣлать вамъ практическое предложеніе. Я живу здѣсь по близости, рукой подать, и, если вамъ трудно идти, мы можемъ взять извозчика. Заѣзжайте ко мнѣ; мы пошлемъ за врачомъ — пусть онъ изслѣдуетъ васъ; тогда видно будетъ, что дѣлать дальше.

Спинетти на минуту задумался.

— Это большая любезность съ вашей стороны...

— Значить, вы согласны? — перебилъ его Стефанъ и знакомъ подозвалъ извозчика.

Ѣхать было недалеко и по пути они почти не разговаривали. Стефанъ улыбался про себя, думая о томъ, что скажутъ Гаиза и ея отецъ, когда онъ имъ преподнесетъ этотъ неожиданный сюрпризъ. И въ то-же время испытующе вглядывался въ молодого человѣка, который снялъ мягкую сѣрую войлочную шляпу и вытиралъ вспотѣвшій лобъ.

Желтые, какъ янтарь, волосы студента, зачесанные гладко кверху безъ пробора, представляли странный контрастъ съ его темными глазами. Черты его лица, при всей ихъ неправильности, нравились Стефану, потому что говорили объ умѣ и энергіи. Правда, доброты въ этомъ лицѣ не чувствовалось — скорѣе эгоизмъ и смѣлая до дерзости жажда жизни.

— Глупости все это. Какъ это такъ сразу разгадать незнакомое, чужое лицо, да еще въ тотъ моментъ, когда оно искажено болью.

Извозчикъ остановился передъ домомъ.

— Если хотите, я снесу васъ наверхъ — мнѣ не трудно.

— Спасибо большое — но дайте мнѣ, по крайней мѣрѣ, попробовать, не смогу ли я самъ добраться — вѣдь одна нога у меня здорова.

— Какъ вамъ будетъ угодно.

Стефанъ несъ скрипку, а Джіакомо Спинетти, не наступая на больную ногу, здорово перепрыгивалъ со ступеньки на ступеньку, держась правой рукой за перила.

Это былъ стройный юноша, хорошаго роста, развѣ только на голову ниже Стефана.

— Нѣтъ—дальше не могу, — вяло выговорилъ онъ, весь поблѣвѣвъ, и пошатнулся.

Стефанъ Гуллеръ во время подхватилъ больного на руки и безъ всякаго усилія снесъ его наверхъ.

Мессенджеръ, стоявшій въ коридорѣ, вскрикнулъ отъ изумленія при этомъ неожиданномъ зрѣлищѣ.

— Тссъ,—сказалъ Стефанъ и съ многозначительной улыбкой тихонько добавилъ:—Я принесъ тебѣ коллегу.

Но такъ какъ старый Мессенджеръ только качалъ сѣдой головой, видимо не понимая зятя, тотъ сказалъ ему:

— Помоги же мнѣ, папа. Давай снесемъ его въ комнату для гостей—ты видишь, онъ въ обморокѣ.

Юношу уложили на широкій диванъ; Мессенджеръ принесъ о-де-колону и натиралъ ему лобъ и виски до тѣхъ поръ, пока онъ не открылъ глазъ; а, открывъ ихъ, изумленно оглядѣлся вокругъ и испуганно вскрикнулъ:—А гдѣ же моя скрипка?

Стефанъ немножко испугался: замѣтивъ, что Спинетти лишается чувствъ, онъ оставилъ скрипку на лѣстницѣ и позабылъ о ней:

— Лежите смирно—я вамъ сейчасъ принесу ее.

И онъ постѣпиль внизь, во второй этажъ. Къ счастью, скрипка лежала на прежнемъ мѣстѣ: ея никто не тронулъ. Въ дверяхъ своей квартиры онъ встрѣтилъ Гаизу. Она была замѣтно встревожена.

Смѣясь, но нѣсколько смущенный, онъ привлекъ ее къ себѣ.

— Да, да, я принесъ тебѣ гостя, котораго подобралъ на улицѣ.—И онъ въ двухъ словахъ разсказалъ ей о случившемся.—Теперь онъ лежитъ въ комнатѣ № 5 — правда, она предназначалась для другого гостя...

При этихъ словахъ лицо его омрачилось, да и Гаиза поблѣднѣла — въ сердцахъ обоихъ воскресли тяжелыя воспоминанія.

Молодая женщина молча потушила и пропустила мужа мимо себя.

Тѣмъ временемъ Мессенджеръ уже подружился съ неожиданнымъ гостемъ и, когда Стефанъ вошелъ со скрипкой, они уже

оживленно болтали между собой, хотя каждое движеніе больной ноги, съ которой Джакомо Спинетти уже снялъ сапогъ, причиняло ему жестокую боль.

— Какъ это глупо, что я не вспомнилъ во время!..— сказалъ студентъ.— Совсѣмъ близко отсюда живетъ тайный совѣтникъ Гоффа; конечно, умнѣ всего было бы направиться прямо къ нему. Разъ ужъ вы сжалились надо мной, можетъ быть, вы окажете мнѣ и еще одну услугу—пошлете къ нему человѣка съ запиской?

— Захочетъ ли онъ прійти?—вѣдь онъ большой баринъ,—скептически замѣтилъ Мессенджеръ.

— Посмотримъ—попытаюсь, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ. Цѣлую жизнь хромать мнѣ вовсе не охота, а на Гоффа, по крайней мѣрѣ, можно положиться, онъ сумѣетъ вправить всякій вывихъ.

— Пишите письмо; я сейчасъ же отправлю его. Вотъ вамъ одѣяло. Устраивайтесь поудобнѣе.

Въ это мгновеніе въ комнату вошла Гаиза.

Студентъ растерянно уставился на нее и смущенно провелъ рукой по своимъ янтарно-желтымъ волосамъ.

— Это г. Джакомо Спинетти, а это моя жена,—отрекомендовалъ Стефанъ.

— Добро пожаловать,—сказала она своимъ мелодическимъ голосомъ.— Не могу ли я вамъ быть полезной? Помнится, въ такихъ случаяхъ компрессы изъ уксусно-кислаго глинозема...

— Оставь свое докторство,—смѣясь прервалъ ее отецъ,—онъ самъ медикъ, да еще и скрипачъ вдобавокъ; обойдемся и безъ тебя.

Джакомо Спинетти съ трудомъ приподнялся на локтѣ.

— Я и медикъ, и скрипачъ не настоящій,—возразилъ онъ, весь вспыхнувъ.— Прошу прощенія сударыня, что я такимъ образомъ вторгаюсь въ вашъ домъ, но мое печальное положеніе и доброта вашего супруга до нѣкоторой степени служить мнѣ оправданіемъ.

— Вамъ не въ чемъ оправдываться,—возразила она.— Я всегда рада гостямъ моего мужа.

Онъ отвѣтилъ граціознымъ наклоненіемъ головы.

Она съ удивленіемъ посмотрѣла на него, потомъ сказала:— А теперь вы на время извините насъ: мой мужъ усталъ и проголодался, да, вѣроятно, и вы не откажетесь отъ тарелки супу.

— Очень вамъ признателенъ, но мнѣ пока лучше ничего

не ёсть; я бы только попросилъ листикъ почтовой бумаги и конвертъ.

Оставшись одинъ, Спинетти долгое время задумчиво смотрѣлъ въ пространство. Потомъ сталъ писать записочку извѣстному хирургу Гоффа, но поминутно останавливался—онъ совершенно не могъ собрать мыслей. Горько усмѣхаясь, онъ думалъ объ этомъ дивномъ видѣннѣ, которое такъ неожиданно стало передъ нимъ, нѣжномъ, какъ еще не распустившійся цвѣтокъ, съ лучистыми, бездонными глазами—даже некрасивомъ въ обычномъ смыслѣ этого слова, но такомъ особенномъ—ничего подобнаго онъ не видалъ—словно занесенномъ сюда изъ какой-то другой страны. И углы рта его вздрагивали и темные глаза горѣли—восторгомъ или... кто знаетъ?

Онъ закрылъ глаза и желтые волосы прямыми прядями упали ему на лобъ.

— Tiens... Tiens,—тихонько бормоталъ онъ про себя.

— Нѣтъ, вѣдь этакіе ловкачи стали нынче доктора!—говорилъ камервиртуозъ,—настоящіе колдуны. Не смѣйтесь, сударь,—продолжалъ онъ, замѣтивъ, что ротъ Джіакомо Спинетти кривится въ усмѣшку.—Какъ вспомнишь мое время, Боже ты мой! Если вывихнешь ногу, недѣли четыре, по крайней мѣрѣ, лежишь въ гипсовой повязкѣ. И это еще немного считалось. А теперь является этакій колдунъ профессоръ, накладываетъ повязку изъ битаго стекла, или я ужъ не знаю изъ чего, и объявляетъ: «Готово, почтеннѣйшій—теперь можете хоть танцевать». Понятно, колдовство, какъ же это назвать иначе?.. А все-таки, прибавилъ онъ, неожиданно перескакивая совсѣмъ на другое,—Бетховена вы играть не можете; я остаюсь при своемъ мнѣннѣ.

— Возможно, что вы и правы, г. Мессенджеръ, но только возможно. Быть можетъ, когда-нибудь я вамъ докажу противное.

— Не докажете, сударь мой, — никогда не докажете Я знаю, что вы мнѣ отвѣтите—что вы дилеттантъ, что вы никогда по настоящему не учились и т. д. и т. д. Пусть такъ, но это не имѣетъ никакого отношенія къ занимающему насъ вопросу. Вы знаете, я васъ считаю выдающимся, талантливымъ скрипачемъ; я думаю, что, если бы вы годикъ поработали, какъ слѣдуетъ, вы могли бы производить фуроръ въ концертахъ. Вы играли бы Паганини, какъ никто—но не Бетховена; нѣтъ, сударь мой, не

Бетховена. Между нами говоря, играть Бетховена, это вопросъ не только техники, но и сердца.

Старикъ неожиданно усмѣхнулся, какъ-то странно, почти злорадно.

— Видите ли, въ Бетховенѣ мягкость есть, а въ Паганини — жесткость... Нѣтъ, погодите, вы не перетолковывайте моихъ словъ. Въ Бетховенѣ есть и героизмъ, и задушевность, а въ Паганини — что-то дьявольское. Это не значитъ, что я не умѣю цѣнить его — я только устанавливаю принципиальную разницу. Вы не обижайтесь, сударь мой; вашей игрой я восхищаюсь. Я уже старый человѣкъ, но у меня никогда не было и четвертой доли вашего таланта и вашей техники.

— Слѣдовательно, если я правильно понялъ смыслъ вашей рѣчи, вы считаете меня человѣкомъ неглубокимъ, неспособнымъ понять и оцѣнить Бетховена — итальянцемъ, слишкомъ легкомысленнымъ и легковѣснымъ для того, чтобы рискнуть взяться за великаго нѣмецкаго маэстро?

— Вы немножко рѣзко и неправильно формулируете это, сударь мой. Но что касается самой сути, *Punctum saliens*, какъ говорятъ латины, вы правильно поняли мою мысль. Въ области искусства фразами не отдѣлаешься, сударь мой. Знаете, что Фаустъ говоритъ: «Жизнь коротка, — искусство вѣчно».

— И, все-таки, я вамъ когда-нибудь докажу, г. камер-виртуозъ, что вы безусловно ошибаетесь. Я вамъ такъ сыграю Бетховена, что вы заплачете отъ радости.

Мессенджеръ благодушно улыбнулся.

— Врядъ ли я доживу до этого.

— И пожалуйста, вы не припикивайте меня къ латинской расѣ. Я, правда, зовусь, Спинетти, по матери — мать моя была итальянкой. Но вѣдь я родился и выросъ въ Германіи. Мой отецъ былъ нѣмецкій врачъ, который поѣхалъ путешествовать по Италіи и вывезъ оттуда мою мать. И, если бы не аппендицитъ, неожиданно уложившій его въ могилу — я тогда еще не успѣлъ родиться, — онъ, можетъ быть, женился бы на моей матери и звали бы меня теперь Фридрихомъ Рейссеромъ, а не Джіакомо Спинетти и былъ бы я не медикомъ, а скрипачемъ. Вѣдь это моя мамаша настояла на томъ, чтобы я изучалъ медицину: она страшная фанатичка и считала это своимъ долгомъ передъ памятью моего покойнаго отца. Я думаю, она изъ-за этого только и осталась жить въ Германіи.

— Странно, чрезвычайно странно, — вставилъ камер-виртуозъ.



— И все же гораздо естественнѣе, чѣмъ кажется. Потому что я, несомнѣнно, унаслѣдовалъ отъ отца склонность къ естественнымъ наукамъ, благодаря которой мнѣ не слишкомъ трудно было исполнить желаніе матери, подѣ условіемъ, что мнѣ не будутъ препятствовать заниматься и музыкой, которую я люблю больше всего на свѣтѣ. Вы спросите, зачѣмъ я вамъ все это рассказываю?

Онъ сдѣлалъ маленькую паузу и откинулъ рукою назадъ сохлба непослушные желтые волосы.

— Для того, чтобы доказать вамъ всю абсурдность вашихъ предвзятыхъ теорій. Спинетти—такая же нѣмецкая фамилія, какъ и Мессенджеръ. Достаточно взглянуть на мои волосы, чтобы убѣдиться въ моемъ нѣмецкомъ происхожденіи. И, вообще, мнѣ кажется смѣшнымъ въ области искусства противопоставлять одну другой различныя расы. Нѣмцы, молъ, развѣ навсегда присвоили себѣ глубокомысліе, а итальянцы — легкомысліе. Къ чорту эти дешевыя опредѣленія! А какъ же Данте, какъ Микель Анджело?

Старый музыкантъ расхохотался громко и весело.

— Превосходно, сударь мой. Вы мнѣ нравитесь. У васъ есть темпераментъ? Въ вашихъ жилахъ течетъ кровь артиста. Вдобавокъ, вы образованный и чертовски умный господинъ. А я—Боже ты мой! что же я такое въ сравненіи съ вами?—совсѣмъ мелюзга, маленькій оркестровый музыкантъ,—хотя положимъ,—онъ выпрямился и глаза его заблестѣли,—я игралъ въ оркестрѣ, которымъ дирижировалъ Бюловъ; и на первомъ представленіи вагнеровской оперы въ Байрейтѣ я игралъ первую скрипку. И все-таки, я позволю себѣ возразить. Вы какъ будто и вѣрно говорите, а въ сущности все же невѣрно: все-таки нѣмецкая музыка *большая*, а итальянская *маленькая*. Другихъ искусствъ я не касаюсь, я въ нихъ мало понимаю. Я только утверждаю, что Бетховена и Вагнера нельзя ставить на одну доску съ Верди и Спонтини, хотя я и Верди цѣню и не умаляю его заслугъ. Долженъ признать и то, что Бетховена никто никогда не игралъ лучше Іоахима, а Іоахимъ, какъ извѣстно, былъ венгерскій еврей. Какъ видите, въ вопросѣ о расовыхъ особенностяхъ я уже до извѣстной степени иду назадъ.

— Итакъ, вы думаете, что мнѣ не достаетъ сердечной теплоты души?

— Сударь мой, зачѣмъ ставить такіе щекотливые вопросы? Вы талантъ. Вы кончите скрипачемъ, а не врачомъ. Мало вамъ этого? Вы качаете головой—хорошо—скажу вамъ прямо. У васъ больше мозга, чѣмъ души—вотъ какъ я васъ понимаю, сударь мой, прости мнѣ Боже.

— Tiens... Tiens. Вотъ это-то мнѣ и желательно было знать. Qui vivra—verra, г. Мессенджеръ!

— Ну, вотъ вы и разсердились, сударь мой. И вотъ награда за...

— Вы очень ошибаетесь. Вы очень сильно заблуждаетесь, если думаете — pardon, я не имѣю въ виду лично васъ — если думаете, что въ оцѣнкѣ моей личности на меня можетъ повліять—или взволновать и огорчить меня — чье бы то ни было сужденіе. При всемъ уваженіи къ вамъ лично, я считаю васъ нѣсколько устарѣлымъ, разумѣется, въ музыкальномъ смыслѣ; голова ваша набита предрасудками и отъ этого вы судите и вкривь, и вкосъ. Простите за откровенность — я не могу иначе.

— Ну что жъ, значить, мы квиты, почтеннѣйшій. Что касается откровенности, вы, дѣйствительно, рубите напрямикъ. Но мнѣ это нравится, сударь мой, — ради Бога, вы не извиняйтесь; а что касается вашей самооцѣнки, дай Богъ, чтобъ вамъ удалось навсегда сохранить о себѣ такое же высокое мнѣніе и не страдать отъ подзатыльниковъ, на которые... ахъ, это ты, Гаиза! — перебилъ онъ себя. Ты пришла какъ разъ кстати, чтобъ продолжать мой споръ съ этимъ упрямымъ — съ меня на сегодняшний день довольно.

И хитро подмигнувъ обоимъ, онъ вышелъ изъ комнаты.

— О чемъ это вы опять препирались съ моимъ отцомъ?

— Почему вы не поставите вопроса иначе? — а, можетъ быть, это отецъ вашъ препирался со мной.

— Мой отецъ никого не способенъ обидѣть — это вы его вѣчно дразните и волнуете. Вы не уважаете даже сѣдинъ — вы ничего не уважаете.

— Вы ошибаетесь: передъ вашими темными волосами я склоняюсь съ глубокимъ почтеніемъ.

— Нельзя ли не касаться моей личности?

— Нѣтъ, этого никакъ нельзя; этого я не могу.

Она строго посмотрѣла на него.

— Значить, вы хотите, чтобъ я ушла отсюда?

Лицо его омрачилось.

— Я исполню ваше желаніе. Повинуюсь вамъ изъ эгоизма. Мнѣ хотѣлось бы насладиться этими послѣдними часами.

— Сударь, я не вполнѣ понимаю васъ.

— А между тѣмъ это очень просто; завтра я надѣваю чулки и сапоги, беру извозчика и иду, т. е., вѣрнѣе, ѣду искать себѣ квартиру.

— Этого вы не сдѣлаете. Вы должны подождать, пока вы совсѣмъ оправитесь.

— Я съ каждымъ днемъ чувствую себя все хуже; и потомъ, по какому же это праву я буду пользоваться вашимъ гостепріимствомъ?

— Зачѣмъ вы говорите такой вздоръ?

— Это совсѣмъ не вздоръ—вы сами знаете.

Она повернулась къ нему спиною и сѣла за рояль. Пальцы ея скользили по клавишамъ. Она запѣла въ полголоса «Колыбельную» Моцарта.

Когда она подняла глаза, онъ закрылъ рукою лицо, которое все нервно передергивалось.

— *Tiens... Tiens*,—выговорилъ онъ, безпомощно улыбаясь. — У васъ такой тембръ голоса, который... Простите, если я увлекся... Скажите пожалуйста, зачѣмъ вы не развиваете своего голоса?

— Къ чему? Отецъ уже пробовалъ все возможное.

— Вашъ отецъ курьезный человѣкъ.

— Вы опять хотите разсердить меня?—Она грозно сдвинула брови.

— Ради Бога, не надо!—взмолился онъ, и лицо его выразило такой испугъ, что она невольно громко разсмѣялась.

— Сколько лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ умеръ Бюловъ? — 15, 20 — я не знаю — знаю только, что для вашего батюшки этотъ день былъ днемъ кончины міра. Можетъ быть, это очень трогательно—а, можетъ быть, это ребячество—ахъ, пожалуйста, не сердитесь: я хочу только сказать, что искусство пѣнія и развитія голоса съ тѣхъ поръ довольно далеко ушло впередъ—теперь есть учителя...

— Ахъ, да будетъ же объ этомъ! Годъ тому назадъ, когда я не знала Стефана, это, можетъ быть, еще могло произвести на меня впечатлѣніе.

— Вы до такой степени любите его?

— Да, я *такъ* люблю его,—отвѣтила она и глаза ея засіяли, а бѣлое личико словно озарилось солнечнымъ лучемъ.

— О, это я понимаю—это я очень хорошо понимаю.

Его упрямое лицо еще больше поблѣднѣло и стало вдругъ жалкимъ и смиреннымъ.

— Почему вы такой беспокойный?—неожиданно спросила она, пытливо вглядываясь въ это лицо.

— А вы сами развѣ всегда такая спокойная и ясная, что тревога другихъ васъ удивляетъ?

— Вы отвѣчаете вопросомъ на вопросъ, вмѣсто того, чтобъ дать отвѣтъ. Если я васъ обидѣла, прошу прощенія.

— Вы не обидѣли меня. Отъ васъ я ничего не утаю. Нѣтъ у меня въ душѣ покоя. Я вѣчно преслѣдую, ловлю, гоняюсь — за самимъ собою. Ищу себя—самъ себя подстерегаю. Вамъ это непонятно? Я самъ не знаю, что изъ меня выйдетъ: скрипачъ или медикъ. Вдобавокъ, я лѣнивъ — для меня всего пріятнѣе лежать въ растяжку и дремать или мечтать. Я не понимаю людей, которые способны все время работать. И эта вѣчная бѣготня по урокамъ изъ-за куска хлѣба... Онъ вдругъ расхохотался.—Что это я расхныкался, какъ старая баба! Все это чистѣйшій вздоръ. Я люблю жизнь—нахожу ее дивно прекрасной. И современемъ, я буду купаться въ золотѣ—и сыпать золото вокругъ себя.

— Какъ же вы этого добьетесь?

— О! это моя тайна. А пока—имѣйте въ виду, прекрасная дама, что съ такими мятущимися душами надо обходиться бережно. Онѣ болѣе хрупки, чѣмъ даже паутина или крылья бабочки.

— Почему вы не выбросите вашихъ книгъ и не займетесь просто музыкой?

— *Tiens... tiens, madame*, это не такъ то просто!

Онъ вынулъ изъ кармана коротенькую англійскую трубочку и закурилъ ее. И, только уже выпустивъ первый клубъ дыма, спросилъ:—Вы разрѣшите?

— Видите ли,—продолжалъ онъ,—вашъ папаша хоть и комикъ, а въ концѣ концовъ онъ правъ. Я хоть и талантливъ, но, можетъ быть, у меня дѣйствительно слишкомъ много мозга для того, чтобы въ качествѣ скрипача...—и затѣмъ, сударыня моя, искусствомъ слѣдуетъ заниматься только для самого себя. Вы взгляните на эти руки. Я думаю, что я могъ бы этими руками вырѣзать у человѣка сердце—не пугайтесь, барынька, эти руки созданы для оперированія—я увѣренъ, что мнѣ удавались бы самыя трудныя, самыя рискованныя операціи—и это было бы счастьемъ для меня, можетъ быть, даже спасеніемъ, потому что во мнѣ,—голосъ его упалъ и звучалъ хрипло,—во мнѣ сидитъ хищный звѣрь. Можетъ быть, я прирожденный преступникъ, который только такимъ манеромъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, я не хочу это слушать. Зачѣмъ вы мучаете себя такими ужасными мыслями?

— Да вы присмотритесь только къ моимъ рукамъ. Развѣ вамъ не кажется, что въ нихъ есть несказанная жестокость?

— Вы создаете себѣ призраки...

— О нѣтъ, вы ошибаетесь. Я только не прячусь отъ самого себя. Я признаюсь самъ себѣ въ моихъ наклонностяхъ; а большинство людей лгутъ самимъ себѣ. Я же смотрю правдѣ прямо въ глаза. И потомъ—его лицо одѣлалось вдругъ такимъ кроткимъ и стыдливымъ, что Гаиза съ удивленіемъ смотрѣла на него,—развѣ это не красиво, изъ своей злобы, изъ своихъ врожденныхъ, низкихъ и подлыхъ инстинктовъ создать нѣчто такое, что на практикѣ можетъ приносить пользу людямъ.

— Но, вѣдь, разъ человѣкъ созналъ въ себѣ дурное, это уже значить, что онъ сталъ лучше. Развѣ вы съ этимъ несогласны?—допытывалась Гаиза, чувствуя, что она начинаетъ дрожать.

— Нѣтъ, съ этимъ я согласиться не могу. Въ основѣ человѣкъ остается тѣмъ же, и, въ конечномъ счетѣ, ничѣмъ не лучше обыкновеннаго преступника, отличаясь отъ него развѣ только тѣмъ, что онъ кое-чему научился, немножко поумнѣлъ и умѣетъ самъ для себя создавать предохранительные клапаны. Иными словами, сталъ слишкомъ интеллигентенъ или слишкомъ трусливъ, чтобъ такъ, безъ размышленія, отдаться въ руки палача.

— Я вамъ не вѣрю, и никогда не повѣрю, что вы такой.

— Я иду даже дальше,—медленно выговорилъ онъ.—Я утверждаю, что та порода людей, къ которой я принадлежу, является какъ бы экстрактомъ человѣческой воли. Потому что мы дѣйствительно живемъ всѣми нашими чувствами, а другіе только проходятъ мимо жизни.

— Я думала до сихъ поръ,—возразила она, и ея лучистые глаза расширились,—что помимо этой жизни чувствъ, мы живемъ иной, духовной жизнью.

— Это ошибка, барынька, грубая ошибка. Очень сожалѣю о вашемъ заблужденіи.

— О, вы не разубѣдите меня, тутъ ужъ никто не вырветъ у меня почвы изъ подъ ногъ.

— Я совсѣмъ не этого добиваюсь; наоборотъ, я хотѣлъ бы дать вамъ надежную точку опоры, потому что я боюсь, что вы парите между небомъ и землею. Кто же богаче—тотъ, кто видитъ воочию весну и воды, и горы, или же тотъ, кто идетъ ощупью, въ темнотѣ? И еслибъ ухо ваше не различало звуковъ, еслибъ ни голосъ любимаго человѣка, ни звуки 9-й симфоніи не доходили до вашего слуха, развѣ вы не чувствовали бы себя безконечно несчастной? Вотъ видите, какой бѣсъ гордыни вселился въ человѣка—онъ уже отрицаетъ чувственную



жизнь, во имя бредовой идеи, которую онъ зоветъ бытіемъ души. А отсюда, въ свою очередь, вытекаетъ то, что зовется совѣстью, и есть не что иное, какъ тупой страхъ, какъ лѣнь и вялость мыслей. А между тѣмъ, что значить зрѣніе и слухъ въ сравненіи съ тѣмъ чувствомъ, которое испытываютъ мужчина и женщина, наслаждаясь взаимной любовью? Есть только одно земное бытіе, которое мы воспринимаемъ нашими органами чувствъ—все остальное надувательство.

— Вы все сказали?

— Да.

— Ну, такъ я вамъ скажу: мнѣ жаль васъ, душевно жаль—и мой чудакъ отецъ трижды правъ, когда онъ говоритъ, что Бетховенъ для васъ—закрытая книга за семью печатами.

Она звонко разсмѣялась и глаза ея заблестѣли.

— Что изъ того, г. Джакомо Спинетти, что вы играете Бетховена съ листа, а *prima vista*—когда онъ не звучитъ въ вашей душѣ? Что въ томъ, что вы видите вѣчный снѣгъ на горахъ, когда отъ этого не дрогнетъ ваше сердце? А что касается слуха—вы только вспомните, что Бетховенъ уже глухимъ писалъ свою 9-ю симфонію. Эти небесныя мысли расцвѣтали въ его душѣ; его ухо не слышало этихъ звуковъ, но въ его могучей душѣ они звучали сильнѣй, чѣмъ шумъ прибоя, чѣмъ всѣ органы міра.

— Дай вамъ Богъ сохранить эту вѣру!

— Аминь!—выговорила она съ глубокой серьезностью.

И, видя, что губы его кривитъ насмѣшливая улыбка, она съ дрожью въ голосъ выговорила:

— Не смѣйтесь надо мною. Я не выношу этого, когда дѣло идетъ о самомъ святомъ для меня.

— Самое святое—это наша земная жизнь, мадамъ,—холодно возразилъ онъ,—а что касается Бетховена, онъ никогда не написалъ бы этой симфоніи, еслибъ родился на свѣтъ глухимъ. Когда онъ оглохъ, онъ уже носилъ въ себѣ звуки и сочетанія звуковъ, какъ свое неотъемлемое достояніе. Вотъ какъ это надо понимать, а не иначе. Извините, сударыня, но тутъ я ничѣмъ поступиться не могу. И та земля, на которой я стою, священная земля—она освящена успѣхами знанія.—А теперь мнѣ, пожалуй, лучше удалиться; боюсь, что моя болтовня дѣйствуетъ вамъ на нервы.

Онъ низко поклонился; она ни словомъ не отвѣтила и только надменно кивнула головой.

— Вотъ чудакъ-то! — говорилъ Стефанъ Гуллеръ, осторожно вкладывая обратно въ конвертъ письмо Джакомо Спинетти и откладывая въ сторону конвертъ. — Побылъ у насъ два дня и уже исчезъ, словно его вихремъ унесло, и прощается письменно, на клочкѣ бумаги. Правда, онъ пишетъ, что лично явится къ намъ поблагодарить, какъ только устроится на новой квартирѣ.

Онъ добродушно разсмѣлся.

— Все это такъ напыщенно, какъ будто за написаннымъ кроется еще другой смыслъ. Ну да Богъ съ нимъ! пусть дѣлаетъ, какъ знаетъ.

— Онъ все-таки итальянецъ, не смотря на его свѣтлые волосы, и, хоть десять разъ отрекись онъ отъ этого, все-таки онъ итальянецъ, — замѣтилъ камервиртуозъ. — А талантъ у него огромный — этого я не отрицаю.

— Ахъ, папа, — поморщившись, сказала Гаиза, — что же ты собственно этимъ хочешь сказать?

— А то, что его надо остерегаться — ничего больше. Эта порода людей мнѣ знакома. Пыль пускаютъ въ глаза; снаружи блескъ, а внутри пустота — знаете, такіе орѣхи бываютъ — свищи.

Стефанъ Гуллеръ положилъ руку на плечо старика.

— Не надо быть несправедливымъ, папаша. А для меня въ этомъ человѣкѣ есть что-то привлекательное. Я даже не о его музыкѣ говорю — въ этомъ я слишкомъ мало понимаю, — а такъ, я чувствую, что у него внутри идетъ какая-то работа. Тошно ему въ собственной кожѣ. Человѣкъ, переживающій внутренній кризисъ, уже тѣмъ самымъ отличается отъ прочихъ будничныхъ людей. Богъ мой! я самъ въ первую минуту разсердился на него — кто же такъ поступаетъ? — но, очевидно, у него были свои причины исчезнуть не прощаясь — зачѣмъ же стричь всѣхъ подъ одну гребенку? Глупо же вѣчно быть только торгошникомъ и предъ-являть счета. Оказали гостепріимство, такъ ужъ непременно и танцуй по нашей дудкѣ. Ну, есть ли въ этомъ какойнибудь смыслъ?

Старикъ Мессенджеръ широко раскрылъ глаза.

— Никакъ не могу съ тобой согласиться, — отвѣтилъ онъ сердито. — Ты говоришь, какъ Іисусъ Христосъ, и все стараешься понять и простить — но, милый мой, вѣдь и Христосъ умѣлъ сердиться. — Выгналъ же онъ изъ храма мѣняль.

Стефанъ Гуллеръ вдругъ сдѣлался очень серьезнымъ.

— Ты совершенно невѣрно судишь обо мнѣ, и эти шутки

ты оставь—я терпѣть не могу, когда меня изображаютъ въ ложномъ свѣтѣ. Не обижайся на меня, папаша. Ты вотъ ее спроси—онъ указаль на Гаизу, которая смотрѣла на него, не отрывая глазъ,—какимъ я иногда бываю нетерпимымъ.

— Не говори такъ, Стефанъ. Ты лучший человѣкъ, какого я знаю.

— Ахъ, дѣти, не портите вы мнѣ моего хорошаго настроенія!—ни одинъ человѣкъ не знаетъ, какъ слѣдуетъ, другого. Я не имѣю ни малѣйшаго желанія отягощать васъ бременемъ своихъ грѣховъ. Поди сюда, маленькая Гаиза, и поцѣлуй меня. Что намъ до этого Спинетти!

Какъ шаловливый мальчикъ, онъ поднялъ ее на руки и началъ носить по комнатѣ.

Она не противилась и закрыла глаза, словно для того, чтобы полнѣе насладиться своимъ счастьемъ,—или, можетъ быть, отъ испуга.

Затѣмъ онъ положилъ ее, какъ ребенка, на диванъ и самъ сѣлъ рядомъ, говоря:

— Ахъ, у меня сегодня такъ хорошо на душѣ!—Онъ гладилъ руку жены и смѣялся своимъ груднымъ, глубокимъ смѣхомъ.—Я все мечтаю о разныхъ хорошихъ вещахъ. Я мечтаю, что черезъ пять лѣтъ, а, можетъ быть, и раньше, у насъ будетъ свое собственное маленькое имѣнiе, и поля, и лѣса, и вода; и мы будемъ сидѣть на собственной землѣ и кататься на саняхъ мимо покрытыхъ снѣгомъ елей. А вечеромъ, когда мы, озябшіе, вернемся домой, въ каминѣ будутъ трещать полѣнья и мы будемъ сидѣть, грѣя у огня холодныя руки, и наслаждаться—видишь, о чемъ я мечтаю.... Да ты слушаешь-ли, Гаиза.

— Я слушаю, Стефанъ.

— И самое лучшее въ этомъ то, что мечта эта можетъ и должна превратиться въ дѣйствительность. Должно же прійти время, когда я буду свободенъ и самъ себѣ господиномъ. Вѣдь этакъ можно пройти мимо жизни, когда изо дня въ день дѣлаешь одну и ту же утомительную работу, когда вынужденъ вѣчно думать о добываніи и пріобрѣтеніи, а все лучшее и самое хорошее у себя отодвигать на второй планъ. У купца такъ легко притупляются всѣ ощущенія, и когда, наконецъ, онъ дожидется отдыха, у него, пожалуй, ужъ не только виски будутъ сѣдые, но и душа увянетъ и засохнетъ, и уже не въ состояніи будетъ ничего предпринимать. Отъ этого избави Боже!

— Ну, съ тобой этого не можетъ случиться. Я ужъ знаю,—возразила Гаиза.

— Ахъ, дѣтка, духъ бодръ, плоть же немощна.

— Да, но въ тебѣ сидитъ воля, которая не перестанетъ работать. Въ тебѣ такая сила, Стефанъ, что, знаешь, я иногда даже боюсь ее.

Онъ хотѣлъ что-то возразить, но въ эту минуту раздался громкій звонокъ и тотчасъ же вслѣдъ затѣмъ въ комнату вошелъ, ковыляя и опираясь на палку, Джакомо Спинетти.

— Простите, господа; это было некрасиво съ моей стороны — такъ тихонько удрать, — выговорилъ онъ смущенно. — Я только потомъ сообразилъ. Прошу извиненія, господа.

— Мы ужъ тутъ учинили судъ надъ вами по поводу вашего исчезновенія, — весело сказалъ Стефанъ, — садитесь и выслушайте приговоръ.

Студентъ вопросительно посмотрѣлъ на Гаизу, но она не сказала ни слова — у нея рябило въ глазахъ и голова кружилась.

— Да садитесь же.

И Стефанъ придвинулъ гостю стулъ.

Итакъ, приговоръ гласитъ: Вы обязаны три раза въ недѣлю по часу заниматься музыкой съ Гаизой. Согласны?

— *Tiens... tiens*, — пробормоталъ Спинетти и кивнулъ головой.

Гаиза вся вспыхнула до корней волосъ и хотѣла что-то рѣзко возразить, но изъ сдавленнаго горла не вырвалось ни звука.

— А на послѣзавтра вечеромъ, — продолжалъ Стефанъ, — вы имѣете торжественное приглашеніе, — я хочу познакомить васъ съ нашими друзьями — послѣ завтра они собираются у насъ.

Спинетти поднялся.

— Мнѣ очень совѣстно, г. Гуллеръ. Съ благодарностью принимаю приглашеніе — разумѣется, я буду. Но теперь не рѣшаюсь больше задерживать васъ — мнѣ кажется, что барынькѣ какъ будто нездоровится.

— Что съ тобой, дѣтка? — испуганно вскричалъ Стефанъ, — ты въ самомъ дѣлѣ что-то блѣдна. Въ такомъ случаѣ, я дѣйствительно извиняюсь — итакъ, до свиданія, г. Спинетти.

Студентъ протянулъ руку Гаизѣ: она машинально подала свою. На одно мгновеніе онъ крѣпко, какъ клещами, сжалъ ея тоненькіе пальчики, потомъ взялъ свою палку и вышелъ изъ комнаты.

— Тебѣ въ самомъ дѣлѣ нехорошо, дѣточка?

Сильной рукой Стефанъ обнялъ жену и озабоченно заглядывалъ ей въ лицо.

— Зачѣмъ ты это сдѣлалъ? — дрожа отвѣтила она.

— Изъ состраданія—только изъ состраданія. Я вижу метущуюся, тревожную душу и пытаюсь помочь—кто самъ пережилъ нѣчто подобное, тотъ видитъ муки другихъ. Этотъ человѣкъ нуждается въ насъ и никогда мнѣ такъ не хотѣлось помочь, какъ теперь; потому что, видишь ли,—прибавилъ онъ таинственно,—мнѣ хотѣлось бы уплатить свой долгъ признательности передъ Богомъ. Помнишь ты это?

— Да,—отвѣтила она беззвучно.

— Не давай отцу возстановлять себя противъ него,—выговорилъ онъ, понизивъ голосъ.— Ты знаешь, какой онъ бываетъ чудной, когда ему не понравится какой нибудь музыкантъ.

— А тебѣ онъ нравится?—пугливо спросила Гаиза.

— Нравится, потому что онъ ищущій...

Онъ тихонько улыбнулся про себя; она тихонько вздохнула.

---

Никогда еще не чувствовалъ себя Стефанъ такимъ веселымъ, радостнымъ, беззаботно, по дѣтски счастливымъ, какъ въ эти дни; никогда онъ такъ часто не смѣялся своимъ радостнымъ груднымъ смѣхомъ—и никогда Гаиза не чувствовала себя такой усталой, измученной и разбитой, какъ именно въ эти дни.

---

Гаиза Шарлотта пѣла, а студентъ Джакомо Спинетти сидѣлъ за роялемъ и аккомпанировалъ ей.

Затѣмъ, оба вернулись молча на свои мѣста въ кругу друзей.

Студентъ былъ желтъ, какъ воскъ; личико Гаизы Шарлотты было блѣсно, какъ всегда, и лишь тонкія поздри ея все время вздрагивали.

Свѣчи, въ старинныхъ серебрянныхъ канделябрахъ, бросали теплый, мерцающій свѣтъ на людей, сидѣвшихъ за круглымъ столомъ.

Свѣтло-голубые глаза Стефана Гуллера сіяли и блестали, какъ брилліанты чистѣйшей воды. Онъ снова наполнилъ стаканы виномъ и гости поднялись, чтобы чокнуться съ Гаизой. Вино сверкало въ граненыхъ бокалахъ. Тихонько звенѣло стекло.

Стефанъ Гуллеръ поцѣловалъ Гаизу въ лобъ такъ бережно и осторожно, словно этотъ лобъ былъ такимъ же хрупкимъ, какъ стекло бокаловъ. И затѣмъ направился прямо къ студенту.



— Ваше здоровье, г. Спинетти — этот стаканъ я пью за ваше здоровье.

— *Tiens... Tiens*, благодарствуйте, г. Гуллеръ, очень вамъ признателенъ!

При этомъ онъ сверкнулъ глазами на Гаизу, которая сидѣла сложивъ руки на колѣняхъ и не поднимая глазъ. Темныя брови ея совсѣмъ почти сошлись и между бровями легла тоненькая, но глубокая складочка.

— Все — игра, — выговорилъ философъ, какъ будто безъ всякой связи съ предыдущимъ и откинулъ назадъ свою красивую голову съ сѣдыми кудрями. Его безбородое лицо въ эту минуту казалось совсѣмъ молодымъ. Этого шестидесятилѣтняго старика можно было принять за юношу. Граціознымъ движеніемъ онъ поправилъ свой узенькій бѣлый галстухъ.

Тогда заговорилъ поэтъ:

— Онъ шелъ черезъ темный лѣсъ. И, когда солнечный свѣтъ яркими бликами упалъ на старые стволы, для него раскрылась тайна жизни. И эту тайну онъ въ моемъ плащѣ принесъ домой и снесъ ее императору японскому.

Студентъ съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на говорившаго.

— Что это?—бредъ больного?—думалъ онъ про себя.

Но Иоганнесъ, не смущаясь, продолжалъ.

— Это было за придворнымъ обѣдомъ въ Токио. Императоръ молча и внимательно выслушалъ. И не сказалъ ни слова.

— Этотъ человѣкъ помѣшанъ, — пробормоталъ себѣ подъ носъ студентъ. Никто его не услышалъ. Онъ старался поймать взглядъ Гаизы, но та, не отрываясь, глядѣла на Иоганнеса, на его ушныя раковины, изсиня-бѣлыя, какъ выбѣленное полотно, и прозрачныя, какъ кристалль. Въ его кудлатой, темно-рыжей бородѣ и густыхъ, спутанныхъ волосахъ уже бѣлѣло несчетное множество серебряныхъ нитей. Словно изъ дремучаго, дѣвственнаго лѣса пришелъ Иоганнесъ фонъ-деръ-Эвигкейтъ и самъ онъ былъ частицей этого лѣса.

Гаизѣ вспоминались слова Иоганнеса, повторенныя ею Стефану: «Поэты слышатъ, какъ трава растетъ, проникаютъ взоромъ и въ глубь морскую, и въ бездны души человѣческой, до самого дна...»

— Ваши слова поразили меня, — обратился Спинетти къ философу. — Не скажете ли вы яснѣй и понятнѣе? Что такое вы вообще понимаете подъ словомъ: игра?

Въ голосѣ его звучало почти раздраженіе; въ выраженіи

лица было что-то инквизиторское. Въ немъ проснулась любопытность медика.

— Игра—отвѣчалъ философъ, чуть замѣтно подтягивая свою тонкую нижнюю губу—это нѣчто такое, что совершенно свободно и чуждо всякой цѣли.

— Это мнѣ ничего не объясняетъ.

— О нѣтъ, молодой человѣкъ, вы ошибаетесь, вы очень ошибаетесь.

Философъ выговорилъ это съ той скромностью, дѣтски-трогательной, которая невольно внушаетъ уваженіе:

— Почитайте Іакова Гримма. На старинномъ нѣмецкомъ языкѣ *spilon* означаетъ собственно: находиться въ состояніи вздрагивающаго, трепетнаго движенія—сіять, сверкать, мерцать. Теперь вы начинаете понимать, уважаемый?

Студентъ покачалъ головой.

— Для меня это пустыя слова.

— Тогда разрѣшите мнѣ продолжать, быть можетъ, мнѣ удастся лучше выразить свою мысль—о нѣтъ, не мою мысль—это дерзость съ моей стороны такъ говорить, а идею, присутствующую человѣку отъ рожденія. Вы—скрипачъ—хорошо: развѣ въ то время, когда вы играете, у васъ никогда не бываетъ чувства отрѣшенности отъ бытія, безсознательности, высшей радости и глубочайшей скорби? Навѣрное, бываетъ; вы не станете отрицать этого. Я же утверждаю, что и радость, и горе, сами по себѣ, плоски и безвкусны, если въ нихъ нѣтъ дрожи, трепета, мерцанія, блеска, игры. Не даромъ по-нѣмецки комедія и трагедія зовутся *веселой игрой* и *печальной игрой*<sup>1)</sup>. Это не случайно, г. студентъ, въ этомъ есть глубокий смыслъ. Искусство—высшая ступень игры; оно освобождаетъ насъ отъ житейской грязи. Никогда человѣкъ не бываетъ чище, невиннѣе, прекраснѣе, какъ когда онъ отворачивается отъ земного и отдается игрѣ. Въ конечномъ счетѣ, Христосъ именно потому и благословлялъ дѣтей, что они безсознательны, что они въ невинности и простотѣ сердечной не живутъ, а только играютъ. Недаромъ современные философы намъ говорятъ, что въ дѣтскихъ играхъ кроется глубокий смыслъ. О, пожалуйста, не улыбайтесь. Я вижу по вашему лицу, что эти мысли кажутся вамъ глупыми, а между тѣмъ, это не брошенные на вѣтеръ слова; они глубоко продуманы. Люди играютъ, потому что ихъ тянетъ къ игрѣ, къ движенію, потому что они чисты сердцемъ и оттого могутъ быть

1) Lustspiel—Trauerspiel.

счастливыми. Ибо, теперь я перехожу къ тому съ чего я началъ и что для меня, собственно, самое важное: всѣ мы рождаемся съ потребностью играть—а затѣмъ на насъ, какъ хищный волкъ, набрасывается жизнь и наровить сожрать въ насъ то, что въ насъ есть самаго лучшаго. И кто поддастся этой вражьей силѣ, тотъ ожесточитъ и погубитъ свою собственную душу. Человѣкъ, не умѣющій согласовать свою потребность въ игрѣ съ дѣломъ своей жизни, проходитъ мимо жизни, мимо самого себя, ведетъ призрачное существованіе. Самъ Богъ, — продолжалъ онъ, граціозно проводя по воздуху своей тонкой, бѣлой рукой, — самъ Богъ позаботился о томъ, чтобы мы во всѣ эпохи нашего временнаго бытія, отъ пеленокъ и до могилы, могли проявлять такъ или иначе эту потребность въ игрѣ. Кто никогда не ставилъ на карту свою жизнь, тотъ не жилъ, какъ ни странно это звучитъ; надо быть ежеминутно готовымъ растратить, отдать, проиграть себя для того, чтобы сохранить себя ради своей жизненной цѣли. Ахъ, голубчикъ, да вы только посмотрите, не закрывая глазъ, на природу. Если вы представляете себѣ міръ въ видѣ картофельнаго поля и ничего больше, вы отнимаете у него всѣ краски, всѣ благоуханія. Тогда и жить не стоитъ. Ибо съ виду излишнее—годное только для игры—да оно намъ чуть ли не нужнѣе, чѣмъ необходимое. Это понималъ и Творецъ, когда Онъ бросилъ въ воздухъ пестрыхъ мотыльковъ и въ чашечки цвѣтовъ капли росы, сверкающія на солнцѣ, когда Онъ создалъ шумящіе водопады... Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!—перебилъ онъ себя. — Вы правы, г. Спинетти, что смѣтается надо мной. Я слишкомъ увлекаюсь своими фантазіями...

— Или, по крайней мѣрѣ, отжившими понятіями и пасторалями,—возразилъ студентъ.—Вы уже добрались до Бога—не достаётъ только проповѣди.

— Простите, но о Богѣ мнѣ не хотѣлось бы съ вами пререкаться. Кантъ и Дарвинъ въ концѣ концовъ пришли къ Богу. Это—фактъ, который напрасно забываютъ и затушевываютъ господа естествоиспытатели. Впрочемъ, я вообще не любитель спорить,—смирненно выговорилъ онъ.

— Мой другъ,—вмѣшался поэтъ и задумчивое лицо его оживилось,—мой другъ желалъ бы построить нашу жизнь на философіи и игрѣ. Выражаясь проще, онъ хочетъ сказать, что кто никогда не пускался въ плаваніе по морю фантазіи, тотъ никогда не увидитъ Бога и небесъ. Мой другъ правъ. Далѣе онъ говоритъ: мы всѣ рождаемся на свѣтъ фантазерами—каждый разъ, какъ мы рождаемся—потому что вѣдь мы рождаемся по нѣскольку разъ,—

прибавилъ онъ, понизивъ голосъ.—А затѣмъ, приходитъ палацъ-жизнь и убиваетъ фантазію, и слабодушные такъ и живутъ, и работаютъ до самой смерти, между тѣмъ, какъ для смѣлыхъ, от-важныхъ, будь то изслѣдователи, купцы или поэты,—словомъ для тѣхъ, кто умѣетъ летать,—работа становится игрой. Играючи они находятъ самое важное, самое нужное для жизни, пробиваютъ темныя двери бытія. Мой другъ говоритъ: излишнее и есть необходимое; кто играетъ, тотъ принадлежитъ вѣчности, ибо онъ чеканитъ слова, которыя остаются. Чѣмъ были бы нѣмцы безъ Баха и Гете, голландцы безъ Рембрандта, итальянцы безъ Данте и Микель Анджело, англичане безъ Шекспира? Исторія человѣчества, по мнѣнію моего друга, есть исторія причудливой игры. Для меня лично все это слишкомъ разумно, слишкомъ справедливо, — слишкомъ мірское, человѣческое, — заключилъ онъ съ какой-то мечтательной улыбкой.—Ибо мой міръ не отъ міра сего; у него нѣтъ ничего общаго съ голой дѣйствительностью.

— Я понимаю все это, я чувствую это, только не умѣю выразить,—послѣ долгой паузы замѣтилъ Стефанъ Гуллеръ и лицо его приняло горестное настроеніе.—Мы проходимъ мимо жизни и душа наша покрывается ржавчиной. Гаиза, развѣ я не говорилъ этого тебѣ еще недавно?

Она вздрогнула, словно отъ холода.

— Да, Стефанъ, ты говорилъ это.

Словно не слыша ея отвѣта, онъ продолжалъ:

— Дѣйствительность, за которой мы гонимся—только обманъ, миражъ: что внѣ души нашей, того не существуетъ.

Студентъ съ насмѣшливой улыбкой посмотрѣлъ на говорившаго.—Что это? Ужъ не попалъ ли я въ сумасшедшій домъ?—спрашивалъ онъ себя, барабани тонкими, гибкими пальцами по доскѣ стола.

Гаиза слышала этотъ стукъ и, какъ она внутренно ни возмущалась этимъ—невольно все время смотрѣла на его руки—на эти суровыя, жесткія руки.

— Я думаю,—продолжалъ Стефанъ Гуллеръ,—что люди гораздо красивѣе, когда ихъ оторвешь отъ ихъ обычныхъ занятій, отъ того, въ чемъ другіе видятъ ихъ жизнь, и перенесешь ихъ въ настоящую жизнь, въ область духа. Только тутъ они расцвѣтаютъ. Это я узналъ отъ тебя и черезъ тебя, Иоганнесъ—все земное подвержено перемѣнамъ; неизмѣнно только духовное.

— Люди, которые обращаютъ взоръ свой внутрь, обладаютъ дивной нѣжностью и несказанной красотой—каждый изъ нихъ полонъ непредвидѣнныхъ возможностей,—замѣтилъ поэтъ.

Студентъ захохоталъ грубо и рѣзко.

— Извините, господа, я никакъ не могу съ вами согласиться,—заявилъ онъ, съ побѣдоноснымъ видомъ.—Вы все опрокидываете: и міръ, и вещи, и людей, и на мѣсто человѣка и міра ставите игру воображенія. Я не знаю, какую жизнь ведете вы, но съ дѣйствительностью созданная вами картина міра не имѣетъ ничего общаго. И я считаю себя обязаннымъ высказать вамъ это напрямикъ, безъ обиняковъ.

— Благодарю васъ,—кратко сказалъ Іоганнесь, и эта кротость, въ которой чувствовалось отношеніе сверху внизъ, была для студента кровной обидой.

— Вопросъ даже не въ томъ,—продолжалъ Іоганнесь,—таковъ ли на самомъ дѣлѣ человѣкъ, какимъ я вижу его своими любящими глазами, а въ томъ, что онъ *можетъ* быть такимъ. А въ этой возможности порукой мнѣ моя способность видѣть человѣка во всемъ его блескѣ, освобожденнымъ отъ коры и грязи. Быть можетъ, г. студентъ, вы сами отчасти виноваты въ томъ, что мы не понимаемъ другъ друга; можетъ быть, вашъ скрутокъ сдѣланъ изъ слишкомъ простой и грубой матеріи. А вы бы попробовали когда-нибудь надѣть вотъ этотъ волшебный плащъ. Мой другъ подтвердитъ, что онъ обладаетъ особыми свойствами: когда одѣнешь его, становишься ясновидцемъ и прозорливцемъ.

Студентъ слушалъ съ напряженнымъ вниманіемъ.—Ага!—подумалъ онъ торжествуя,—теперь онъ самъ попался въ свои сѣти. Несомнѣнно, все это умалишенные—волшебный плащъ... японскій императоръ... какая-то сумасшедшая философія игры... надо теперь приняться за другого чудака, изобрѣтателя этой самой философіи.

— Простите,—обратился онъ опять къ философу,—если я не ошибаюсь, вы раньше говорили, если только я правильно васъ понялъ, что мы во всѣ періоды нашей жизни испытываемъ и проявляемъ потребность въ игрѣ.

— Да, сударь, я, кажется, такъ и выразился: отъ пеленокъ и до могилы. Припомните: въ первые два-три года своей жизни вы шутя, играя, усваиваете больше знаній, чѣмъ за всю свою остальную жизнь. Развѣ вамъ никогда не казалось чудомъ, что младенецъ, который скачетъ, играетъ, ползаетъ на четверенькахъ, совершенно незамѣтно выучивается говорить? Я бы даже сказалъ, что человѣкъ въ эти первые годы своей жизни исчерпываетъ все содержаніе жизни—погружаетъ въ глубокіе колодцы невидимыхъ ведра и своей маленькой, дѣтской рученкой, безъ всякаго труда,



вытаскиваетъ ихъ обратно. Чего стоятъ въ сравненіи съ этимъ тѣ крупницы знаній и свѣдѣній, которыя онъ съ трудомъ, напрягая всѣ свои силы, пріобрѣтаетъ въ позднѣйшіе годы своей жизни? Видите ли, г. студіозъ, — игра — это состояніе безсознательности, но изъ нея вырастаютъ всѣ волшебные цвѣты нашей жизни. Вотъ вы попробуйте когда-нибудь осмыслить, что должно происходить въ вашемъ мозгу для того, чтобъ онъ управлялъ, ну, хотя бы процессомъ ходьбы. Предположимъ даже, что вы выяснили себѣ всѣ соотвѣтствующія функціи вашего мозга и вознамѣрились не дѣлать ни одного безсознательнаго движенія. Какъ вы полагаете, что произойдетъ? — онъ весело разсмѣялся — я увѣренъ, что вы на первыхъ же шагахъ переломаете себѣ ноги, если не шею. Ходьба — это очень фокусная штука, и очень рискованная, а ребенокъ усваиваетъ себѣ это искусство играючи. Странно, въ высшей степени странно и удивительно!..

Губы студента искривились въ насмѣшливую гримасу, но никто не замѣтилъ этого, кромѣ Гаизы.

— Такъ вы это называете *чудомъ*, а не наслѣдственностью, приспособленіемъ, привычкой?

— Называйте, какъ хотите — отъ этого ничего не измѣнится, — отвѣтилъ философъ. — А затѣмъ, — продолжалъ онъ, — наступаетъ время, когда въ ребенкѣ, постепенно убиваютъ его фантазію, его мечтательную безсознательность — наступаетъ крестный путь школьнаго обученія. Какой-нибудь убогій магистръ-преподаватель, можетъ быть, и не догадывается, что это очаровательное своимъ дерзновеніемъ маленькое существо несравненно богаче его. О, эти тупицы, которымъ недоступно пониманіе чуда, которые хищнически распоряжаются такими богатствами! О, разбойники!

Онъ глубоко вздохнулъ, но тотчасъ же огорченное лицо его прояснилось и приняло почти плутовское выраженіе.

— Одно только хорошо: человѣкъ такъ прочно спитъ, что, хоть ты его топоромъ руби — ничего съ нимъ не подѣлаешь. Потребность въ игрѣ въ немъ неискоренима. Придетъ время и начнется новая игра между мужчиной и женщиной, причемъ тутъ уже припутываются и музыка, и танцы и всѣ прочія искусства. Любось — та же игра — въ ней блескъ, сіяніе, движеніе — и отъ этой игры поетъ, смѣется, плачетъ кровь. Ахъ, г. студіозъ, не дѣлайте такого высокомернаго лица — посмотрите, что сказано у Готтфрида Страссбургскаго въ «Тристанъ и Изольдъ» стихъ 12612. — «Die wile auch sie zwie lagen, des Bettespiesle pflagen.

— *Tiens... tiens*, — перебилъ его студентъ и глаза его заблестѣли злорадствомъ фанатика. — Позвольте, вы опредѣляете игру, какъ нѣчто совершенно безцѣльное?

— Несомнѣнно.

— А теперь вы говорите, что игра и любовь — одно и то же. Это уже передержка. Извините меня, если я поставлю точки надъ *i* — вы сами меня вынуждаете къ этому. Любовь — я ненавижу это сантиментальное слово, но все же пока останемся при немъ — любовь — не безцѣльная самодовлѣющая игра; она имѣетъ конечную цѣль...

Философъ прижалъ руки къ вискамъ; взглядъ его сталъ печальнымъ.

— Боюсь, что мы съ вами говоримъ на разныхъ языкахъ, — выговорилъ онъ усталымъ голосомъ, — до сихъ поръ я всегда думалъ, что именно изъ безцѣльности вырастаетъ высшая цѣль и глубочайшій смыслъ бытія, точно такъ же какъ изъ игры, съ виду безцѣльной и праздной... — Ахъ молодой человекъ, не профессора совершали кругосвѣтныя путешествія и открывали Америку, а тѣ, которые не боялись пуститься въ открытое море, отдавая себя на волю волнъ. Работаютъ сапожники, но будущее провидать только творцы. Ихъ гѣній играючи извлекаетъ идею изъ ихъ бессознательнаго «я» и тогда только они принимаются за работу. Они — визионеры, какъ и поэты.

Джіакомо Спинетти неожиданно всталъ и молча откланялся. Онъ слышалъ достаточно. Эти поэтъ и философъ несомнѣнно находятся на границѣ помѣшательства, а его милѣйшій хозяинъ и благодѣтель — ихъ ученикъ и послѣдователь.

— Не уходите еще, — сказалъ Стефанъ Гуллеръ. — Вечеръ не конченъ — онъ начался музыкой и кончиться долженъ музыкой же, ибо друзья наши того мнѣнія, что изъ всѣхъ игръ музыка — высшая и самая лучшая.

Студентъ поблѣднѣлъ, какъ смерть. Его темные горящіе глаза сверкали, какъ раскаленные угли, на бѣломъ, какъ мѣль, лицѣ, представляя такой странный контрастъ съ янтарно-желтыми волосами.

— *Tiens—tiens*, г. Гуллеръ, — выговорилъ онъ, усиленно — стараясь побороть свое волненіе, — я сегодня слышалъ такъ много новаго, что... — онъ не закончилъ. Что это — повернулась ли у него больная нога — или просто голова закружилась?... — эти люди, кажется, потѣшаются надъ нимъ, заставляютъ его валять дурака...

Онъ широко раскрытыми глазами обвелъ всѣхъ присут-

ствующихъ, дольше всѣхъ остановивъ взглядъ на Гаизѣ, пытливо взглядываясь въ ея глаза. Неужели и она противъ него?

Прошло всего нѣсколько минутъ, но студенту они показались вѣчностью. Его напряженное состояніе разрѣшилось отрывистымъ смѣхомъ, скорѣе хихиканіемъ. Онъ неожиданно вскочилъ на стулъ. И стоялъ передъ ними прямой, какъ свѣча. Пусть видятъ, что человѣкъ съ желѣзной волей можетъ все, хотя бы онъ при этомъ рисковалъ сломать себѣ шею.

— Хорошо, я остаюсь, — крикнулъ онъ, точно съ кафедры. — Пусть никто не думаетъ, что я боюсь. Меня не согнешь въ бараній рогъ. Я вамъ напрямикъ говорю: вы страдаете навязчивыми идеями. Сами добровольно обратились снова въ дѣтство. Вы думаете, господа, что вы глашатаи новыхъ истинъ? Вздоръ! никакихъ истинъ нѣтъ! Ничего нѣтъ вѣчнаго. Ничего нѣтъ правдиваго. Ничего нѣтъ новаго на свѣтѣ. Земля вертится вокругъ солнца, а человѣкъ, пока не свалится, вертится вокругъ человѣка. Нечего высмѣивать меня — теперь слово принадлежитъ мнѣ. Ничего нѣтъ новаго на этомъ свѣтѣ: каждая мысль уже несчетное число разъ было продумана — каждое стихотвореніе, каждая пѣсня сочинены несчетное число разъ. Жизнь человѣчества проходить въ процессѣ нескончаемаго пережевыванія уже проглоченнаго...

Онъ остановился, чтобы перевести духъ. Затѣмъ поднялъ указательный палецъ и выговорилъ съ потрясающей серьезностью:

— Свободы воли не существуетъ — мы, какъ псы, прикованные къ цѣпи; все — движеніе — игра — пусть такъ — и мы качаемся, какъ на качеляхъ, вмѣстѣ со всѣмъ остальнымъ, хотимъ мы этого или нѣтъ.

Онъ снова остановился. И Стефанъ Гуллеръ, сердце котораго билось, какъ молотъ въ груди, надѣялся, что онъ этимъ и кончитъ. Но студентъ тихонько и насмѣшливо засмѣялся, точно про себя, и продолжалъ:

— Перехожу къ вашей потребности въ игрѣ, г. философъ. Я согласенъ: жизнь старая — престарая комедія съ жалкими устарѣлыми ролями. Но кто не въ состояніи играть этой комедіи, пусть идетъ и покупаетъ веревку... Еще минуту, г. Гуллеръ, я сейчасъ кончу.

А про себя онъ думалъ:

— Господи! только бы не упасть со стула! Вотъ было бы скандальное заключеніе рѣчи.

Онъ провелъ рукой по лбу, въ которомъ начиналъ чувствовать острую боль.

— Милостивые государи и милостивая государыня. Я берусь опять за прерванную нить. Поступками людей управляетъ желѣзный вѣчный законъ. Снова и снова они переплавляютъ старый металлъ. И, когда вылиютъ изъ тигеля сплавъ и начеканятъ изъ него снова монеты, воображаютъ, будто изобрѣли новыя цѣнности. Да вѣдь въ этомъ-то, господа, и комизмъ. Въ этомъ-то и связанность хилаго человѣческаго духа. Говоря проще: мы совершенно напрасно мучаемся, выжимая изъ себя идеи. Всѣ наши мысли, боли, страсти—все это уже пережито. Люди *до насъ* чувствовали такъ же, какъ мы; люди *послѣ насъ* будутъ бѣгать, или пресмыкаться подъ тѣмъ же знакомъ. Отъ начала до конца этой планеты на ней будетъ происходить все тотъ же круговоротъ—хоть бы скорѣй насталъ этотъ конецъ!

У него такъ пересохло во рту, что онъ не могъ говорить. Но все же, собравъ послѣдніе остатки силъ, докончилъ.

— Человѣкъ—отъ рожденія душевно-больной. Онъ усвоилъ себѣ извращенную идею, которую и передаетъ по наслѣдству своимъ дѣтямъ и внукамъ. Онъ воображаетъ себѣ, будто у него своя собственная душа, свои собственные желанія и свои собственные страданія. Да это курамъ на смѣхъ. Я, милая барынька, человѣкъ науки, естественникъ; и я утверждаю: привидѣнія существуютъ. Наши мысли—это привидѣнія, которыя являются при свѣтѣ дня!—Сотни, даже тысячи лѣтъ они истлѣвали подъ землею. Всѣ думали, что отъ нихъ уже ничего не осталось; и вдругъ, они встаютъ изъ могилы, оживаютъ, какъ настоящіе призраки, и мы пляшемъ съ этими скелетами танецъ мертвыхъ. Господа, да отъ этого плакать хочется!

И студентъ-медикъ,—онъ же и скрипачъ—Джіакомо Спинетти въ самомъ дѣлѣ тихонько заплакалъ, въ полномъ изнеможеніи слѣзая со стула.

— Вы, должно быть, страшно устали,—сказалъ Іоганнесъ фонъ-деръ-Эвигкейтъ, и лицо его озарилось небесной кротостью.

Нѣкоторое время было совсѣмъ тихо въ гостинной Гуллеровъ—свѣчи въ старыхъ серебрянныхъ канделябрахъ почти догорѣли и, мерцая, лишь слабо свѣтили во мракѣ, едва озаряя блѣдныя лица людей и алое искрающееся вино въ граненыхъ бокалахъ.

Среди всеобщей тишины раздался голосъ поэта:

— Человѣкъ, душа котораго страдаетъ, носить въ себѣ красоту; человѣкъ, въ которомъ пылаетъ священный гнѣвъ,

носить въ душѣ своей бездны морскія. Ахъ, г. студентъ, не отрекайтесь же отъ собственной своей глубины и красоты—вы дитя Божье и Вѣчности. Все—движеніе, говорите вы—самъ Богъ гласитъ вашими устами. Вѣдь вы протягиваете намъ руку: игра и движеніе одно и то-же. Все на свѣтѣ—движеніе, ритмъ; все проходить и возвращается.—Г. Джакомо Спинетти, вы правы—но возвращается не въ прежнемъ видѣ, а въ иномъ—не подъ знакомъ тожества. Тутъ есть тонкая разница, сударь мой, недоступная нашему потухшему взору. Все возвращается до тѣхъ поръ, пока не отоляется въ свою послѣднюю кристалльно ясную форму, пока не пройдетъ крестный путь и не достигнетъ вѣчности. Ибо мы пришли изъ вѣчности и уходимъ въ вѣчность—и въ движеніи мы вѣчны. И много воротъ приходится намъ проходить на нашемъ пути. И, если путь кажется вамъ слишкомъ медленнымъ—я и въ этомъ согласенъ съ вами—наши ошибки, желанія, похоти, преступленія—все это призраки, которымъ нужно много времени, чтобъ успокоиться въ гробѣ. Но, можетъ быть, вы позволите предложить вамъ вопросъ: Что значатъ столѣтія, тысячелѣтія въ сравненіи съ вѣчностью...

— Доброй ночи,—сказалъ Спинетти.—Нѣтъ, вы меня не поймаете. Я не позволю вамъ толковать мои слова въ вашемъ смыслѣ. Я вижу, вы опытный птицеловъ—постараюсь не попасться въ ваши сѣти.

Не успѣлъ онъ выговорить этихъ словъ, какъ свѣчи всѣ разомъ погасли, и въ комнатѣ воцарилась глубокая тьма.

Подъ покровомъ этой непроницаемой тьмы Джакомо Спинетти подошелъ къ Гаизѣ и поцѣловалъ ее въ лобъ. Никто этого не замѣтилъ.

Стефанъ Гуллеръ вышелъ и вернулся съ зажженной лампою.

Гости поднялись и стали прощаться.

— Пора спать,—сказалъ Іоганнесъ и тонкія губы его искривила насмѣшливая улыбка.—Теперь часъ, когда просыпаются ночныя птицы, боящіяся свѣта.

Никто не понялъ его, кромѣ Гаизы Шарлотты.

---

— Замѣчательный вечеръ,—сказалъ Стефанъ Гуллеръ, оставшись наединѣ съ женой, въ своей спальнѣ.—Хотя, можетъ быть, и не слѣдовало сводить г. Спинетти съ нашими друзьями. Огонь и вода всегда во враждѣ.



Гаиза Шарлотта смотрѣла на него большими глазами и молчала.

— Гдѣ же это папаша-то былъ цѣлый вечеръ? Онъ и не показывался.

— Папа чувствовалъ себя очень утомленнымъ, — дрожа отвѣтила Гаиза.

— Ахъ, дѣтка, у меня голову ломить отъ всѣхъ этихъ разговоровъ—боюсь, что они путаютъ правду съ бреднями—т. е. философъ и г. Спинетти. Рѣчь Иоганнеса была для меня какъ бы чистымъ звукомъ среди диссонансовъ. Для меня она звучала евангельской проповѣдью.—Онъ смутился и умолкъ. Потомъ снова заговорилъ:—Мнѣ думается, что за игрой должны стоять глубокая серьезность и неустанный трудъ—для того, чтобы она не осталась только игрой, а привела бы къ искусству. Не бойся, душа моя, я не играю съ тѣмъ, что для меня свято—а сонъ для меня святъ. Одно только еще:—никогда я не забуду смертельно грустнаго выраженія лица этого студента, когда онъ держалъ намъ рѣчь со стула и...

— Стефанъ! Стефанъ!—неожиданно воскликнула Гаиза, вся дрожа отъ рыданій и прижимаясь къ мужу. Онъ изумленно и испуганно воззрился на нее.

— Стефанъ!—рыдала она.—Люби меня!—Слышишь? люби меня!

— Гаиза, дѣтка моя маленькая!—взволнованно шептала онъ, цѣлуя ея лобъ, губы, глаза. Потомъ раздѣлъ ее и, какъ ребенка, на рукахъ, отнесъ въ постель.

Всю ночь она не выпускала изъ своихъ рукъ его руки и даже во снѣ не переставала стонать.

---

Разбитая, съ тяжелой головой, поднялась утромъ Гаиза Шарлотта. Бросила робкій взглядъ на Стефана, еще крѣпко спавшаго, вскочила съ постели, всунула ножки въ хорошенькія туфельки, вышитыя золотомъ, и на ципочкахъ вышла изъ спальни. Въ кухнѣ уже гремѣла посудой прислуга, но молодая женщина прошла не въ кухню, а на террасу, усѣлась въ кресло подъ цвѣтами, которые уже успѣли пышно разростись, и тревожно заломила руки. Кругомъ была тишина. Надъ ней—безоблачное, ясное небо. Солнце смѣялось, цвѣты благоухали—а она тихонько плакала. О чемъ?

Чужой человѣкъ, какъ тать въ ночи, напалъ на нее—не-

слышно подкрался къ ней во мракѣ и поцѣловалъ ее—и она не вскрикнула, не тронулась съ мѣста.

Почему же она не вскрикнула, не зарыдала, не позвала: «Стефанъ, защити меня отъ этого человѣка, который въ твоёмъ собственномъ домѣ осмѣливается набрасываться на меня, какъ будто я первая встрѣчная»!..

Она думала, думала, ломала себѣ голову—и не находила отвѣта. Что удержало ее? Состраданіе къ этому полоумному? Быть можетъ, его измученное лицо тронуло ея сердце и дрожащія губы заглушили крикъ гнѣва? Но почему же тогда потомъ, когда они остались наединѣ со Стефаномъ, она не подошла къ нему и не сказала:—«Слушай, вотъ что случилось; этотъ вечеръ и безъ того былъ тревожный: я не хотѣла вносить въ него новой тревоги и потому молчала, пока не ушли гости—и еще потому, что мнѣ казалось неудобнымъ судить человѣка, который вдругъ какъ будто лишился разсудка. Ну вотъ, теперь тебѣ все извѣстно—дѣлай, что сочтешь нужнымъ».—Почему же она этого не сдѣлала и сама запуталась въ собственныхъ сѣтяхъ?

Или, можетъ быть, это началось уже давно? Можетъ быть, она сама соблазняла его сіяніемъ глазъ, украдкой брошеннымъ взоромъ, тихими жестами, несказанными словами и замирающими звуками голоса. Быть можетъ, этотъ человѣкъ разбудилъ въ ея душѣ такое, чего и нельзя сказать?..

Она содрогнулась.—Нѣтъ, и трижды нѣтъ! Каждое біеніе ея пульса, каждый порывъ ея души принадлежать одному человѣку—Стефану Гуллеру. Вся ея вѣра, чистота, страсть отданы ему и безвозвратно.

О чемъ тутъ думать? Она просто, напросто пожалѣла утопающаго. Если это грѣхъ—ну, значить, она согрѣшила. И кто же мѣшаетъ ей сейчасъ подойти къ постели мужа, смѣясь, обвить руками его шею и сказать ему: Милый, я не хотѣла лишить тебя отдыха и сна—и потому ничего не сказала вчера.—Но теперь я должна высказаться:—скажи этому молодому человѣку, чтобъ онъ больше не переступалъ нашего порога, потому что онъ поступилъ нечестно и безнравственно, и домъ нашъ—не пристанище для авантюристовъ».

Она поднялась и, высоко неся голову, пошла въ спальню. Стефанъ еще спалъ; грудь его мѣрно вздымалась и опускалась, на лицѣ его лежала печать глубокой серьезности, взволновавшей и тронувшей Гайзу.

Повинуясь неудержимому порыву, она нагнулась и крѣпко поцѣловала его.

Онъ раскрылъ глаза,

— Милая!—онъ привлекъ ее къ себѣ,—до конца жизни я хотѣлъ бы, чтобъ такъ меня будили.

— Нѣтъ, нѣтъ,—смущенно пролепетала она,—не смѣй такъ говорить.—И, запинаясь, прибавила:—Одѣвайся поскорѣе и давай завтракать на террасѣ—день чудный—я сейчасъ скажу папочкѣ...—И, не дождавшись его отвѣта, она, съ пугливой улыбкой, снова выпорхнула изъ комнаты.

Въ коридорѣ она остановилась, тяжело дыша. Крѣпко стиснула алыя, какъ вишня, губы, такъ что по угламъ носа легли глубокія складки, и тихо прошептала:—Не могу—не могу!..

А про себя думала: зачѣмъ вносить въ его душу тревогу и сомнѣніе? зачѣмъ лишать его покоя душевнаго, который ему нужнѣй, чѣмъ хлѣбъ насущный? Я больше не приму этого человѣка и, если это грѣхъ съ моей стороны, я искуплю его любовью.

На террасѣ стоялъ г. Мессенджеръ въ бархатной курткѣ и усердно поливалъ цвѣты.

— Посмотри-ка, какъ разросся крессъ и красные бобы, какъ пышно зацвѣли герани и петунии—прямо сердце радуется глядѣть.

Гаиза задумчиво смотрѣла на отца, не отвѣчая на вопросъ.

Старикъ тотчасъ же испугался и поставилъ лейку.

— Что съ тобою, дѣтка? Ты огорчена чѣмъ-нибудь?

— Ничего, папочка,—поспѣшно отвѣтила она, но губы ея дрожали и тѣни подъ глазами свидѣтельствовали о томъ, что она говорить неправду.

Старикъ покачалъ головой.

— Удивительный народъ вы, женщины! Ты хочешь провести своего старика-отца, дитя. Это тебѣ не удастся. Ну, выкладывай правду. Въ чемъ дѣло?

— Папа, не мучь меня!

— Развѣ я тебя мучу?

Маленькіе глазки широко раскрылись.—Богъ свидѣтель, я вовсе не хочу тебя мучить. Ахъ, маленькая Гаиза, какъ ты мнѣ напоминаешь твою мать. Вотъ и у покойницы становилось точъ въ точъ такое же лицо, когда ее бывало погладишь противъ шерсти.

Гаиза слушала съ напряженнымъ вниманіемъ.

— Нѣтъ, правда, мама была такая же, какъ я?—т. е., похожа на меня?—выговорила медленно и съ трудомъ.

— Ты съ каждымъ днемъ становишься все болѣе похожа

на нее; иной разъ я прямо вздрагиваю отъ испуга, когда ты сдѣлаешь какое-нибудь движеніе, словно скопированное съ нея—вѣдь ты даже не видала ея.

— Развѣ и мама была такая же капризница, какъ я?

— Капризница! Какъ ты можешь употреблять такія некрасивыя слова!—Мама была человѣкъ настроеній—какъ всякая артистическая натура; у нея были тонкіе нервы, которые трепетали отъ каждаго прикосновенія, какъ струны скрипки. Она была—ну, словомъ, она была вся соткана изъ музыки—какъ и ты, маленькая Гаиза—какъ же тутъ можно говорить о капризахъ?

Молодая женщина пристально смотрѣла на отца; съ ней творилось что-то странное: въ нее вдругъ какъ будто вселилась душа матери—она чувствовала, какъ заколотилось вдругъ ея сердце, такъ что она отчетливо слышала его бѣненіе—какъ странную, причудливую, пугающую музыку, отъ которой захватывало дыханіе. Лицо ея приняло суровое выраженіе; ей хотѣлось предложить отцу вопросъ—роковой вопросъ, который помогъ бы ей разрѣшить загадку ея собственной природы—но съ губъ ея не сорвалось ни звука.

А старикъ вдругъ оробѣлъ, испугался—въ лицѣ его появилось что-то неопредѣленное, загадочное. Словно бѣдный грѣшникъ, пойманный на мѣстѣ преступленія, стоялъ онъ передъ дочерью, и ей казалось невѣроятно грубымъ и жестокимъ насильно проникнуть въ тайну его жизни.

И вдругъ старикъ закашлялъ, словно подавившись рыбьей костью.

Въ это мгновеніе на террасу вышелъ Стефанъ.

— Что съ тобой, папа?—озабоченно сказалъ онъ, похлопывая старика по спинѣ.

Тотъ моментально овладѣлъ собой.

— Ахъ Боже мой, со мною ровно ничего, — проворчалъ онъ,—а вотъ дѣвочка наша сегодня не въ своей тарелкѣ; должно быть, лѣвой ногой съ постели встала, и не хочетъ сказать, что съ ней.

Говоря это, онъ, чтобъ не смотрѣть на Гаизу, повернулся снова къ своимъ цвѣтамъ.

Стефанъ скользнулъ взглядомъ по лицу жены и снова засмѣялся своимъ глубокимъ груднымъ смѣхомъ, потомъ ласково погладилъ спустившіеся волосы молодой женщины и поцѣловалъ ея глаза. Она вдругъ расплакалась.

— Ну вотъ, начинается исторія! — воскликнулъ старикъ

Мессенджеръ, сердито ставя лейку на землю.—Надо полѣчить ее немного—ваннами, что-ли—навѣрное, это у нея отъ печени.

— Тссъ!—сказалъ Стефанъ и своей широкой, прохладной ладонью успокоительно провелъ по ея бѣлому лобику.

И отъ этой ласки Гаиза мигомъ успокоилась. Мужъ не предлагалъ ей никакихъ вопросовъ, только бережно, словно она была хрупкой фарфоровой куколкой, усадилъ ее въ кресло-качалку и поправилъ подушки.

Служанка принесла дымящійся кофе. Гаиза поднялась съ кресла, чтобы разлить его по чашкамъ, но руки ея дрожали. За завтракомъ никто не произнесъ ни слова. Стефанъ поднялся первый—ему пора было идти на фабрику.

Гаиза крѣпко прижалась къ нему.

— Милый, добрый мой!—едва слышно шепнула она.

Онъ едва замѣтно усмѣхнулся про себя, словно чувствуя, что надо прятать свое счастье, зарыть его поглубже въ землю, чтобъ его не видѣли людскіе взоры. Потомъ склонилъ голову немного на бокъ, кивнулъ тестю, подмигнувъ ему при этомъ, и поспѣшно вышелъ—но всю дорогу думалъ объ этихъ внезапныхъ слезахъ, о грустномъ выраженіи лица Гаизы.

— Съ чего это она вдругъ? Что такое съ ней творится?

Онъ шелъ, понутивъ голову—на него снова вдругъ нашло глубокое уныніе и та скорбная серьезность, печатью которой судьба сызмальства отмѣтила его лицо.

Въ виду показалась фабрика, стоявшая совсѣмъ за городомъ—длинное, голое, скучное зданіе, совершенно изолированное отъ другихъ, такъ какъ по близости не было домовъ.

Стефанъ провелъ рукою по своимъ густымъ волосамъ, какъ бы отгоняя раздумье—въ рабочіе, дневные часы мозгъ его принадлежалъ фабрикѣ—не ему. А фабрикой управлялъ законъ чиселъ—сердцу и чувству тутъ не было мѣста.

Стефанъ тихонько вздохнулъ, подвинутилъ себя и вошелъ. На гвоздикъ висѣла его рабочая куртка—онъ снялъ ее и надѣлъ, вмѣсто пиджака. На его конторкѣ лежала груда писемъ—онъ скользнулъ по нимъ бѣглымъ взглядомъ и, не распечатывая ихъ, поспѣшилъ на фабрику. Одна изъ машинъ наканунѣ испортилась—надо было удостовѣриться, что поврежденіе исправлено.

Но, прежде чѣмъ дойти до цѣли, онъ на каждомъ шагу останавливался, тамъ бросалъ отрывистый вопросъ, здѣсь испытующій взглядъ, провѣряя, все ли въ порядкѣ. Всѣ на фабрикѣ знали, что отъ этихъ зоркихъ, ясныхъ глазъ ничто не скроется. Съ рабочими у него отношенія были хорошія; они подчинялись



его желѣзной волѣ и уважали его требованія, чувствуя, что подѣ его вѣншей строгостью и замкнутостью кроется участіе и забота о нихъ, серьезное вдумчивое отношеніе, пониманіе ихъ положенія, ихъ нуждъ и потребностей.

Онъ началъ съ низшихъ ступеней, какъ и они—онъ возвысился, но не забылъ, что вышелъ изъ ихъ рядовъ. И рабочіе не сомнѣвались, что узы, соединявшія его съ ними, крѣпки—что въ случаѣ надобности онъ пойдетъ за нихъ въ огонь и воду. Въ отрывистомъ, но дружелюбномъ: «Доброе утро!» которымъ онъ никогда не забывалъ привѣтствовать ихъ, и на которое они отвѣчали тѣмъ же, было что-то товарищеское. Онъ понималъ и жалѣлъ ихъ—онъ зналъ, что трудъ ихъ тяжекъ и суровъ—и, когда у нихъ выходили конфликты съ работодателемъ, Гуллеръ выступалъ добросовѣстнымъ посредникомъ, которому до сихъ поръ всегда удавалось примирять враждующія стороны.

Въ его положеніи была та особенность, что ему приходилось дѣлить себя между конторой и фабричнымъ производствомъ. Ему всюду нужно было поспѣть—все видѣть и знать: и книги, въ которыя вписывались заказы, и склады, гдѣ хранился закупленный матеріалъ; побывать и въ машинномъ отдѣленіи, и возлѣ котловъ, и въ кладовой, куда складывали уголь. Потому что все было на учетѣ, и каждая ошибка могла имѣть тяжелыя послѣдствія.

И снова Стефанъ сидѣлъ въ конторѣ передъ своимъ письменнымъ столомъ, погруженный въ чтеніе писемъ—по крайней мѣрѣ пробовалъ читать ихъ, но поминутно передъ глазами его вставала Гаиза и смотрѣла на него грустными, полными слезъ, глазами, и онъ становился безпомощнымъ, какъ ребенокъ и опускалъ голову, чтобъ избѣгать ея взгляда—а не то вдругъ ему представлялся Иоганнесъ фонъ-деръ-Эвигкейтъ, съ его мечтательной улыбкой и загадочными словами: «Все игра».

Онъ едва замѣтно вздрогнулъ—слуха его коснулся стукъ подъѣзжающаго экипажа; экипажъ остановился у подъѣзда фабрики и изъ него вышла изящно одѣтая дама. Стефанъ посмотрѣлъ въ окно, узналъ жену директора и видѣлъ, какъ лакей спрыгнулъ съ козелъ, чтобы помочь дамѣ выйти изъ экипажа.

На ней была надѣта большая плоская шляпа съ нѣжными, бѣлыми перьями цапли и платье изъ свѣтлой че-су-чи; на узенькія плечики ниспадалъ тонкій темнозеленый вуаль, доходившій до колѣнъ. Мигъ—и дама уже стояла въ его конторѣ. Въ рукахъ у нея былъ зонтикъ антука изъ того же шелка, какъ и костюмъ. Съ милой, веселой улыбкой она подала ему руку.

— Ахъ, г. Гуллеръ, здравствуйте. Какая сегодня чудная погода, не правда ли? Какъ вы поживаете, г. Гуллеръ, и что подѣлываетъ прекрасная ффрау Гаиза? Всѣ говорятъ о ней — только я одна до сихъ поръ и въ глаза ее не видала. Вы знаете, что онъ говоритъ?—Она указала на дверь директорскаго кабинета, — что ффрау Гаиза совершенно необыкновенное существо и что съ нею не можетъ сравниться никакая другая женщина. Я нахожу это возмутительнымъ — говорить подобныя вещи въ глаза собственной своей женѣ! Я начинаю ревновать, г. Гуллеръ, когда слышу такія слова. И не только своего мужа — нѣтъ, всѣхъ мужчинъ. Это прямо возмутительно, что на свѣтѣ есть такія красавицы. Возмутительно! Онѣ — постоянная опасность для другихъ женщинъ. — И не замѣтишь, какъ очутишься за бортомъ. Красивая женщина опаснѣй дьявола. — Да что же это вы ничего не говорите? — перебила она себя. — Я все болтаю, а вы даже и не слушаете,

— Простите, сударыня, вы ошибаетесь.

— О, я знаю, знаю! моя теорія безошибочна. — И ффрау Гаиза... — вѣдь ее зовутъ Гаизой?

Стефанъ молча кивнулъ головой.

— Да, ффрау Гаизѣ надо быть очень осторожной. А какое это милое имя, — такое нѣжное, такое гибкое — въ немъ есть что-то загадочное, какъ будто за нимъ кроется тайна...

Кровь хлынула въ лицо Стефана и залила все его лицо до корней волосъ темной краской. Дама отступила на шагъ назадъ.

— Простите, я огорчила васъ? Какъ это глупо! Въ концѣ концовъ докторъ правъ — она указала на дверь кабинета, которая въ этотъ же моментъ отворилась.

Показалась голова директора, и Стефанъ вздохнулъ свободнѣе.

— Куда же ты запропастилась, Лоттхенъ? Я слышалъ стукъ экипажа, — слышу твой голосъ — а тебя не видать.

— Если-бъ ты догадался подойти къ этой двери минутой раньше — на моей душѣ было бы одной глупостью меньше. Но вы, мужчины, всегда ужъ такіе — у васъ нѣтъ чутья къ надлежащему моменту. Вы всегда приходите или слишкомъ рано, или слишкомъ поздно — и пропускаете самое лучшее — а другимъ отъ этого приходится скверно. — Г. Гуллеръ, я очень прошу у васъ извиненія. — Это онъ виноватъ.

— Сударыня, вы ничѣмъ меня не обидѣли — вамъ не въ чемъ извиняться.

— Поди сюда, Лоттхенъ. Не мѣшай г. Гуллеру.

Директоръ взялъ жену за руку и хотѣлъ увлечь ее съ собой въ кабинетъ.

— Сударыня, мнѣ право совѣстно...

— Можетъ быть, но я требую этого ради самой себя. У меня весь день былъ бы испорченъ, еслибъ я знала, что за моей спиной кто-то ворчить. А вы ужъ будете ворчать. Я это чувствую. Чувствую совершенно ясно. Итакъ, прошу...

Стефанъ протянулъ ей руку.

— Ну, вотъ—спасибо. И, пожалуйста, передайте мой привѣтъ вашей женѣ. Я была бы очень рада, еслибъ она когда-нибудь навѣстила меня—надо же мнѣ ее увидеть—я стораю отъ любопытства.

Директоръ начиналъ уже раздражаться: въ своей рабочей курткѣ, не болѣе нарядной, чѣмъ у Стефана, онъ имѣлъ странный видъ рядомъ со своей элегантной женой.

— Ну-ну, не морщись—иду, иду!

— Скажите, г. Гуллеръ, и вамъ такъ же трудно приходится?..

Онъ наскоро кивнулъ головой Стефану—и дверь захлопнулась за обоими. Тотчасъ же изъ за двери донесся шаловливый смѣхъ и голосъ директора,—всегда такой звонкій и радостный, когда къ нему приходила жена.

— Странно, странно!—бормоталъ про себя Стефанъ, распечатывая письма, которыя почта приносила на фабрику со всѣхъ концовъ свѣта.—Что ей, собственно, нужно отъ Гаизы? И что значать эти легкомысленныя рѣчи?—Нѣтъ, конечно, она не хотѣла его огорчить—но въ теперешнемъ настроеніи Стефана слова директорши звучали для него почти угрозою.

— Боже мой, какъ мужчина всегда зависитъ отъ женщины!—и въ мысляхъ своихъ—и въ работѣ—и въ поступкахъ. Вотъ взять хоть бы директора. Вѣдь онъ становится совсѣмъ другимъ человѣкомъ, когда возлѣ него смѣется его шаловливая жена...—Да и самъ онъ—вѣдь, для него вся жизнь въ Гаизѣ, какъ для ея отца—въ ея покойной матери... Не надо думать объ этомъ... Онъ снова углубился въ письма, но никакъ не могъ собрать мыслей. А вѣдь, обыкновенно, онъ весь уходилъ въ работу, не давалъ разбѣгаться мыслямъ—что же такое случилось съ нимъ теперь? Вся его работа въ этой конторѣ показалась ему вдругъ такой пустой, ничтожной, черствой и безвкусной.

На почтовыхъ штемпеляхъ конвертовъ стояло: Лондонъ, Амстердамъ, Стокгольмъ, Лиссабонъ, Миланъ, Вашингтонъ, Рио-де-Жанейро, Каиръ, Москва—весь міръ соприкасался съ этой ком-

натой. Въ письмахъ рѣчь шла все объ одномъ и томъ же: о кабеляхъ, о мѣди, объ оловѣ и резинѣ. Тамъ, за стѣной, былъ цѣлый міръ съ флорой и фауной, съ другими нравами и обычаями—уже самое имя чужого города будило фантазію—вызывало въ воображеніи пестрыя картины. А сюда, на эту конторку, выпадали изъ этого обширнаго міра только числа—только сухой остовъ человѣческой жизни и дѣятельности. И въ Калькуттѣ, и Бомбеѣ, въ Нью-Йоркѣ, въ Буэнос-Айресѣ, въ Іоганнесбургѣ, въ Мадридѣ, на Явѣ и въ Пекинѣ—каждое изъ этихъ загадочныхъ словъ вызывало въ немъ сладкую дрожь—на такомъ же высокомъ табуретѣ, нагнувшись надъ черною книгою, сидѣлъ такой же, какъ онъ, бѣдный служащій—и высчитывалъ, складывалъ, вычиталъ и умножалъ до самаго вечера, пока не смеркнется, пока солнце не разольетъ по поверхности земли жидкаго золота своихъ закатныхъ лучей.

Стефану стало жутко передъ этой неустанной работой, которую трудно даже контролировать одному человѣку и которую онъ покорно выполнялъ, какъ упряжная лошадь. Вся жизнь шла по часамъ. День и ночь, въ тотъ же часъ, въ ту же минуту, раздавались свистки локомотивовъ, съ грохотомъ и лязгомъ трогались поѣзда—кондуктора входили въ купѣ и спрашивали билеты. На каждой станціи стоялъ человѣкъ въ красной или синей, или желтой, или зеленой фуражкѣ, принимавшій поѣздъ и снова отправлявшій его. Та же пунктуальность царила и въ гаваняхъ: приходили и уходили пассажирскія и грузовыя суда—нагружали и разгружали мѣшки и тюки. . Всюду, всюду онъ видѣлъ за работой двуногое вьючное животное—человѣка. День и ночь писали, штемпелевали и отправляли письма; принимали и передавали дальше по кабелю телеграммы—все для того, чтобъ дѣльцы могли дѣлать дѣла. День и ночь непрерывно работали желѣзныя дороги и телефоны для того, чтобы міръ не стоялъ на мѣстѣ, для того, чтобъ процвѣтала торговля. Изъ сотенъ тысячъ людей едва ли одинъ не принималъ участія въ этой сумятицѣ—не обращалъ на нее вниманія.

И во всей этой дѣловой суетѣ, какъ и въ черныхъ фоліантахъ—такихъ же, какъ и тотъ, что лежалъ передъ нимъ на столѣ—царило сѣрое однообразіе, мертвящая машинальность, отъ которой стыла кровь и гасла жизнь. Рабочая толча и душу человѣческую размалывала, размельчала, растирала въ порошокъ.

Стефанъ вынулъ часы и испугался; потомъ невольно улыбнулся—онъ позволилъ себѣ помечтать—какъ-то онъ теперь сумѣетъ наверстать потерянное время? И онъ опять, на этотъ разъ

уже внимательно, углубился въ чтеніе писемъ, снабжая инныя краткими помѣтками на поляхъ.

Одно изъ писемъ удивило его и заставило задуматься.

Если эти вѣсти изъ Копенгагена подтвердятся, значить, на мѣдномъ рынкѣ произошелъ полный переворотъ; тогда нужно будетъ отмѣнить всѣ прежнія распоряженія и замѣнить ихъ новыми.

Надо пойти сказать директору. Стефанъ постучался, услыхалъ: «войдите!», и—остановился на порогѣ.

— Я не мѣшаю? Дѣло идетъ о...

— Нѣтъ, нѣтъ, вы не мѣшаете—мой мужъ уже давно гонитъ меня отсюда. Итакъ—еще разъ сердечный привѣтъ фрау Гаизѣ.

Директорша кивнула головкой и выпорхнула изъ комнаты.

— Вотъ тутъ совершенно неожиданныя вѣсти изъ Копенгагена,—сказалъ Стефанъ, подавая директору письмо.

Тотъ прочелъ и наморщилъ лобъ:

— Вотъ такъ славно! нечего сказать—что же мы теперь будемъ дѣлать?

— Я полагаю, надо сейчасъ же телеграфировать Арендсону и К°, прося навести справки—если это извѣстіе подтвердится, тамъ дальше видно будетъ.

Директоръ кивнулъ головой, и Стефанъ хотѣлъ было уже вернуться къ своей работѣ, но директоръ удержалъ его.

— Погодите минутку—присядьте. Я хотѣлъ бы кое о чемъ спросить васъ.

Стефанъ сѣлъ. Нѣкоторое время директоръ молчалъ и только пытливо смотрѣлъ на него.

— Мнѣ хотѣлось бы кое о чемъ разспросить васъ, г. Гуллеръ. Но только вы, пожалуйста, не перетолковывайте моихъ словъ въ дурную сторону, — или же—какъ вмѣшательство въ вашу личную жизнь. Я чувствую, что вы чѣмъ-то озабочены—и жена моя тоже это почувствовала—несмотря на ея ребячливость и болтливость, она хорошо знаетъ людей. Не могу ли я чѣмъ-нибудь быть вамъ полезенъ?

Въ его добромъ взглядѣ, выражавшемъ уваженіе и доброжелательство, не было ничего оскорбительнаго. Тѣмъ не менѣе, лицо Стефана Гуллера омрачилось. Неужели онъ такъ распустилъ себя, что и посторонніе могутъ заглядывать ему въ душу?

— Г. докторъ,—возразилъ онъ, по привычкѣ, склоняя голову немного на бокъ,—физически я здоровъ и нужды не терплю—это вы знаете. Если я иногда кажусь вамъ удрученнымъ, и самъ чувствую себя удрученнымъ, это, должно быть, оттого, что я по натурѣ человѣкъ тяжелый, гонимый судьбой, съ которой



мнѣ, пожалуй, и до конца жизни не справиться. Это мой крестъ, который приходится нести вмѣстѣ со мной и моимъ близкимъ... Нѣтъ, нѣтъ,—перебилъ онъ себя,—объ этомъ здѣсь не мѣсто говорить. Простите, что я такъ вдругъ разболтался.

Оба встали. Директоръ вплотную подошелъ къ Стефану.

— Дорогой Гуллеръ, я хотѣлъ только сказать вамъ, что если васъ что-нибудь удручаетъ—или если у васъ явится потребность высказаться—я всегда въ вашемъ распоряженіи—радъ служить вамъ и совѣтомъ, и дѣломъ. При нашихъ отношеніяхъ это, конечно, само собою разумѣется, но все же мнѣ хотѣлось напомнить вамъ объ этомъ. А сегодня вечеромъ вы, пожалуйста, вмѣстѣ съ вашей супругой пріѣзжайте къ намъ въ ложу послушать «Мейстерзингеровъ». Вотъ вамъ билеты; вотъ либретто. Это придумала моя жена—она увѣряетъ, что музыка—лучшій способъ разогнать дурное настроеніе.

— Благодарю васъ, г. докторъ; большое вамъ спасибо.

Стефанъ протянулъ ему руку, которую тотъ на минуту удержалъ въ своихъ.

— Не надо относиться къ жизни такъ серьезно, Гуллеръ—она слишкомъ коротка; повѣрьте мнѣ, смысла жизни вамъ все равно не разгадать, сколько бы вы ни ломали себѣ голову.

Губы его искривились при этихъ словахъ, какъ показалось Стефану, скорбно-иронической усмѣшкой.

Гуллеръ поклонился и вышелъ изъ комнаты.

— Пусть Гаиза съ папашей ѣдетъ въ оперу,—думалъ онъ про себя,—можетъ быть, ее это и развлечетъ. При мысли о томъ, что для жены его это можетъ быть пріятнымъ сюрпризомъ, серьезное лицо молодого инженера озарилось улыбкой.

— Милая маленькая Гаиза!—прошепталъ онъ беззвучно, и сразу при этомъ имени сердце его забилося быстрее и радостнее. Нѣтъ, онъ пойдетъ съ нею, будетъ сидѣть рядомъ съ нею и молча смотрѣть на нее, когда она вся уйдетъ въ музыку.

Въ этотъ день онъ больше обыкновеннаго торопился и раньше вернулся домой, волнуемый мыслью, не случилось ли чего съ Гаизой. Она стояла въ коридорѣ и ждала его. Едва онъ показался въ дверяхъ, она кинулась ему на шею, прижалась губами къ его уху и прошептала: «Дорогой мой, люби, люби меня!»

Глубоко взволнованный, самъ не зная почему, онъ отвѣтилъ: «До послѣдняго вздоха, маленькая Гаиза»...

---

Они сидѣли въ ложѣ перваго яруса, абонированной директоромъ; ихъ окружали элегантные мужчины и дамы; серебрился бѣлый шелкъ; мягко стлался зеленый бархатъ; сверкали самоцвѣтные каменья; загадочно шелестѣли шелковыя юбки дамъ; порою раздавался шаловливый смѣхъ, звонкій или же, наоборотъ, мягкій, вкрадчивый, и почему-то смѣхъ этотъ раздражалъ Стефана. Занавѣсъ еще не подымался, но всѣ уже приставили къ глазамъ бинокли и Гаиза шептала мужу: «Смотри, какіе они всѣ смѣшные съ этими черными стеклами—какъ будто маска на лицѣ»!

Что многіе бинокли были обращены на нее, этого она не замѣчала. Но Стефанъ чувствовалъ это и украдкой поглядывалъ на нее.

Нѣтъ,—ни одна изъ этихъ женщинъ не можетъ сравниться съ ней. Она—точно принцесса изъ волшебной сказки. Въ ея мечтательномъ взорѣ нездѣшнѣйшій огонь; ея бѣлая кожа отсвѣчиваетъ какъ зеркало водѣ, когда въ немъ дрожитъ солнечный свѣтъ.—Ему вдругъ вспомнилась Марга Террекъ; вмѣстѣ съ нею ожило давно забытое прошлое, и отъ этого ему стало еще больше не по себѣ.—Затѣмъ онъ здѣсь, среди этихъ расфранченныхъ людей?..

И еще одно угнетало его. На такой же эстрадѣ когда-то стоялъ и онъ—вмѣстѣ съ отцомъ и матерью—и всѣ трое они продѣлывали головоломные кунштюки на потѣху толпѣ, каждый вечеръ рискуя жизнью.

— Тѣфу,—пробормоталъ онъ про себя—уйти бы сейчасъ, до начала представленія, и Гаизу увести. Онъ въ первый разъ былъ въ театрѣ, какъ зритель—и смутный страхъ давилъ ему горло.

Онъ только что хотѣлъ нагнуться къ женѣ и шепнуть ей: «Если любишь меня—уйдемъ»,—какъ вдругъ почувствовалъ, что Гаиза взяла его руку и ласкаетъ, и гладитъ ее. И отъ этого ласковаго прикосновенія всѣ его страхи разсѣялись и какая-то сладостная дрожь пробѣжала по тѣлу.

Раздался троекратный стукъ—свѣтъ погасъ—заиграла музыка. Волны звуковъ хлынули ему въ уши, погасили сознаніе, перенесли его въ какую-то невѣдомую страну. Въ головѣ у него все спуталось. Въ это время поднялся занавѣсъ—со сцены хлынулъ потокъ свѣта; онъ видѣлъ передъ собой пестроту красокъ, человѣческія фигуры въ причудливыхъ одѣяніяхъ—голосовъ онъ не слышалъ: оркестръ заглушалъ ихъ—но вотъ, изъ хаоса звуковъ выдвинулась пѣсня, могучая, властная, и у него захватило дыханіе—казалось, нѣтъ силъ больше смотрѣть и слушать.

Онъ укрдкой взглянулъ на Гаизу, но она какъ будто ушла далеко-далеко, забывъ обо всемъ на свѣтѣ, въ томъ числѣ и о мужѣ.

По временамъ Стефанъ закрывалъ глаза, чтобъ уйти отъ этихъ, слишкомъ властныхъ, мучительныхъ чаръ. Онъ почти не видѣлъ, что творилось на сценѣ. Звуки не приносили ему радости—наоборотъ, скорѣе вызывали болѣзненные ощущенія.

Господи ты Боже мой! чего только не можетъ сдѣлать человѣкъ!—думалъ онъ почти съ испугомъ; и его собственная жизнь казалась ему такой пустой, полной столькохъ неиспользованныхъ возможностей. Если эта жизнь вдругъ оборвется—что останется?—живешь какой-то бессознательной жизнью, и годы проходятъ мимо, безслѣдно, какъ облака, гонимыя бурей.

— Да вѣдь это же вздоръ, чистѣйшій вздоръ,—шепталъ онъ самъ себѣ—какъ же безслѣдно? Наоборотъ, каждый годъ оставляетъ слѣдъ въ жизни—это-то и обидно, что никогда нельзя отдѣлаться отъ прошлаго. Ахъ, какое это заблужденіе, будто человѣкъ только въ старости, вмѣстѣ съ сѣдыми волосами, достигаетъ полного развитія своихъ духовныхъ силъ. Надо залпомъ осушить свою чашу; надо, чтобъ жизнь была короткой, но яркой.

Сквозь эту шумную музыку какъ будто звучалъ далекій серебристый голосокъ и передъ его закрытыми глазами вставалъ образъ маленькой Эльфриды, самоотверженной, сторѣвшей отъ любви. Полная смиренія, всѣми любимая, она уже на зарѣ жизни познала всю нѣжность, всю пылкость любви и религіозный трепетъ, и всю смѣну душевныхъ настроеній... За краткіе годы своего отрочества она исчерпала цѣлую жизнь... Но и образъ Эльфриды исчезъ, ступевался—Стефанъ снова смотрѣлъ на сцену и слушалъ пѣсню Ганса Закса, о томъ, какую роль въ жизни человѣка играетъ сонъ, мечта—и невольно вспоминалъ Іоганнеса.

— Ты слышишь, маленькая Гаиза?—спросилъ онъ взволнованнымъ голосомъ...

Жена посмотрѣла на него большими глазами и ничего не отвѣтила—она, видимо, не поняла вопроса.

— Ну, хорошо, хорошо, я тебѣ потомъ скажу.—И онъ сталъ торопливо перелистывать либретто, отыскивая текстъ пѣсни.

Толпа хлынула къ выходу. Гаиза крѣпко прижалась къ мужу...

— Добрый вечеръ, сударыня, добрый вечеръ, г. Гуллеръ.

Передъ ними стоялъ Спинетти съ приподнятой шляпой, низко кланяясь, и пристально смотрѣлъ на Гаизу.

Стефанъ протянулъ ему руку.

— Вотъ это я называю сюрпризомъ,—сказалъ онъ, и жизнь показалась ему въ это мгновеніе такъ странно запутанной, что онъ даже не обратилъ вниманія на смертельную блѣдность Гаизы.

— Хотите поужинать съ нами?—спросилъ онъ.

Студентъ не сразу отвѣтилъ. Онъ снова пристально, испытующе смотрѣлъ на Гаизу большими, широко раскрытыми глазами. Ей хотѣлось нагнуться къ уху Стефана и молить его, чтобы, вмѣсто ужина, онъ сейчасъ вѣхалъ съ нею домой, но съ устъ ея не сорвалось ни звука.

— Если позволите,—сказалъ Спинетти и прибавилъ:— Мнѣ и во снѣ не снилось встрѣтить васъ на «Мейстерзингерахъ». *Tiens-tiens...* куда же вы думаете отправиться?

— Вотъ сейчасъ придумаемъ,—отвѣчалъ Гуллеръ и, обратившись къ Гаизѣ, спросилъ:— Тебѣ холодно, дитя мое? Ты вся дрожишь.

Она молча кивнула головой.

Передъ рестораномъ Кабеля Гуллеръ остановился.

Студентъ замѣтилъ, что онъ не при деньгахъ, и предпочелъ бы болѣе дешевый ресторанъ.

— Позвольте мнѣ распоряжаться; сегодня вы мой гость.

— Развѣ я у васъ въ гостяхъ?

Стефанъ бросилъ на него бѣглый взглядъ.

— Стоить ли объ этомъ разговаривать? Я сегодня въ первый разъ былъ въ оперѣ—разрѣшаю вамъ сколько угодно вышучивать меня по этому поводу—и хочу отпраздновать этотъ вечеръ.

— Я и не думаю вышучивать васъ.

— Тѣмъ лучше.

Они сидѣли въ маленькой нишѣ, передъ накрытымъ бѣлой скатертью столомъ; стоячая электрическая лампочка съ краснымъ абажуромъ бросала розоватый свѣтъ на лица—изъ сосѣднихъ нишъ доносились веселыя рѣчи и сдержанный смѣхъ.

Студентъ поднялъ стаканъ и сказалъ:

— Пью за здоровье госпожи Гуллеръ.

— Благодарю васъ, г. Спинетти.—И я пью за то, чтобы Господь всегда былъ милостивъ къ ней.

— Онъ чокнулся сперва съ Гаизой; рука ея дрожала и глаза вдругъ какъ будто ввалились.

— Ваше здоровье, г. Спинетти.

Звенѣли стаканы; вино искрилось въ нихъ, какъ жидкое, свѣтлое золото.

Внесли горячія купанія подъ крышками, изъ подъ которыхъ шелъ ароматный паръ, но Гаиза, несмотря на всѣ уго-

воры, ничего не хотѣла ѣсть, увѣряя, что она слишкомъ подѣ впечатлѣніемъ музыки и прямо не въ состояніи проглотить ни кусочка; по угламъ ея носа образовались знакомыя Стефану упрямые складочки. Разговоръ велъ преимущественно студентъ, разспрашивавшій Стефана, какъ на него подѣйствовалъ Вагнеръ.

Стефанъ качалъ головой и увѣрялъ, что на это онъ не можетъ дать отвѣта—онъ и самъ не знаетъ—все время онъ ощущалъ въ затылкѣ тупую боль, и когда оркестръ игралъ очень громко, волны звуковъ хлестали его, какъ настоящія волны, такъ что онъ буквально ничего не могъ видѣть и слышать.

— *Tiens-tiens...*—это очень интересно, что даже и въ наше время этотъ волшебникъ можетъ дѣйствовать такъ на неиспорченного человѣка.

— Скажите, пожалуйста,—неожиданно вмѣшалась Гаиза, и въ голосѣ ея чувствовалась какая-то странная дрожь,—какъ же онъ дѣйствуетъ на испорченного человѣка?

Студентъ забарабанилъ по столу узкими, бѣлыми пальцами.

— Сударыня, на небольшую кучку людей, которые съ факелами идутъ впереди и указываютъ дорогу другимъ, Вагнеръ, за исключеніемъ «Мейстерзингеровъ», вообще, больше уже не дѣйствуетъ—въ его музыкѣ они видятъ величайшій bluff нашего вѣка, а въ немъ самомъ—отравителя колодцевъ—безумца, превратившаго лирическую оперу въ музыкальную драму,—балаганнаго крикуна, спекулирующаго...

— Довольно, пожалуйста!—перебила его Гаиза, и лицо ея болѣзненно искривилось.

— Какъ прикажете, сударыня.—Вы спросили, я отвѣтилъ.

Мимо нихъ прошелъ какой-то господинъ и поздоровался съ Стефаномъ.

— Извините меня, на минутку,—сказалъ Стефанъ и отошелъ отъ столика.

Моментально студентъ нагнулся къ Гаизѣ и хотѣлъ что-то шепнуть ей, но она посмотрѣла на него съ такой угрозой, что онъ сразу отодвинулся, и лицо его выразило огорченіе.

Не обращая вниманія на его огорченное лицо, она сказала: «Вы—низкій человѣкъ; вы сейчасъ уйдете отсюда и никогда больше не будете искать со мною встрѣчи».

Онъ поблѣднѣлъ немного, но его красиво очерченный ротъ улыбался нѣжной улыбкой, придававшей его суровому, изрытому морщинами лицу что-то ребяческое, мальчишеское.

— Ну, знаете, такого общанія я вамъ не дамъ. Да и вы



не можете серьезно требовать этого отъ меня. Я всегда буду слѣдовать за вами—какъ сегодня. *Tiens... tiens...* однако! какъ вы умѣете смотрѣть. Чортъ побори! Ну, хорошо—я не отрицаю: я караулил васъ. Я пошелъ вслѣдъ за вами. Разумѣется, мы не случайно встрѣтились сегодня на «Мейстерзингерахъ».

Гаиза поднялась съ мѣста; у нея въ головѣ было одно: бѣжать, бѣжать отсюда подальше.... Глаза ея безпомощно блуждали вокругъ, отыскивая Стефана.

— Ради Бога, не уходите!—умолялъ Спинетти,—если вы уйдете теперь, что-то во мнѣ умретъ,—выговорилъ онъ едва слышно и, прежде чѣмъ она успѣла опомниться, сжалъ ея руку, но тотчасъ же отпустилъ ее; судорога свела все его тѣло—на губахъ выступила бѣлая пѣна.

Быстрымъ движеніемъ онъ отвернулся отъ нея и прижалъ къ лицу носовой платокъ.

Какъ ни быстро произошло все это, внезапная переменъ въ его лицѣ не ускользнула отъ вниманія Гаизы. Ей вдругъ показалось, что она заглянула въ зеркало и увидала тамъ свое собственное измученное лицо.

— Вотъ, выпейте,—сказала она, протягивая ему стаканъ.

— Благодарю васъ,—отвѣтилъ онъ уже совсѣмъ другимъ тономъ и снова уставился на нее довѣрчивыми, широко раскрытыми глазами.

— Не тревожьтесь, пожалуйста; уже прошло.

Съ ледяною улыбкой онъ низко склонился передъ нею.

— Что нужно отъ меня этому человѣку?—тихо спрашивала себя Гаиза и беззвучно молилась: «Боже, помоги мнѣ! Молю Тебя, помоги мнѣ».

Въ это время вернулся Стефанъ.

— Ахъ, милые мои, не сердитесь на меня,—меня задержалъ знакомый, по дѣлу, и не отпуская.

Онъ снова налилъ всѣмъ вина и сказалъ:

— Какъ мнѣ хотѣлось бы все это отбросить прочь: мѣдъ, олово, резину, кабеля. Въ сущности, я плохой купецъ—у меня нѣтъ жажды приобрѣтенія, жажды наживать, зарабатывать все больше и больше денегъ. Если у меня и есть стремленіе, то только одно: гдѣ нибудь въ Шлезвигѣ купить себѣ кусочекъ земли и хозяйничать на немъ.

Студентъ усмѣхнулся, какъ показалось Гуллеру, довольно высококомѣрно.

— Вы смѣтаетесь надо мной?

— Боже избави! Мнѣ только кажется забавнымъ, что

каждый нѣмецъ въ глубинѣ своего сердца лелѣетъ мечту самому сажать картофель на собственномъ полѣ. Впрочемъ, это и называется «нѣмецкимъ идеализмомъ».

— Да вѣдь выше ничего и нѣтъ насвѣтѣ.

Студентъ злобно расхохотался.

— Ахъ, вы молоды, вамъ хорошо смѣяться, — сказалъ Стефанъ. — Можетъ быть, и вы когда-нибудь убѣдитесь въ томъ, что болѣе чистаго занятія нѣтъ у человѣка. Взрывая тяжелую, черную землю, чувствуешь свою неразрывную связь съ нею, чувствуешь, что въ нѣдрахъ земли, какъ и въ человѣкѣ, работаетъ творческое начало, то самое, которое творить чудеса, которое выше и нашихъ силъ, и нашей воли.

— Развѣ ты вѣришь въ чудеса, Стефанъ?

— Ахъ, милая Гаиза, чудо — дитя вѣры; чудо — это нѣчто необъяснимое, не подлежащее истолкованію; оно творится само собой, помимо нашей воли.

— *Tiens-tiens*, — сказалъ студентъ и, понизивъ голосъ, прибавилъ: — я не зналъ, г. Гуллеръ, что мы такъ близки, если когда-нибудь — онъ сдѣлалъ маленькую паузу и прищуренными глазами посмотрѣлъ на Стефана — если когда-нибудь между нами возникнетъ разногласіе, я вамъ напомню объ этихъ словахъ. Фрау Гаиза, пожалуйста, разрѣшите чокнуться съ вами.

— Къ сожалѣнію... — сказала она и провела рукой по влажному лбу, словно стараясь выиграть время и собраться съ духомъ. — Къ сожалѣнію, — не могу. — Она повернулась къ Стефану и взволнованно молвила: — Развѣ ты не замѣчаешь, что папаша правъ, — что за всѣми его словами кроется что-то застенное и злобное?

Гуллеръ засмѣялся своимъ глубокимъ, груднымъ смѣхомъ; ему вдругъ стало весело, страхи, удручавшіе его весь этотъ день, сразу разсѣялись. И то, что Гаиза сердилась, забавляло его.

— Должно быть, хорошія вещи говорить обо мнѣ г. камервиртуозъ...

— Оставьте, пожалуйста, — возразила Гаиза, — папа ничего не говоритъ о васъ за вашей спиной, чего онъ не могъ бы сказать вамъ въ лицо — папа разгадалъ васъ...

— Это рискованное утвержденіе, барынька — разгадалъ, разгадалъ!.. это большое слово — дерзкое слово. И въ Библии говорится о *познаніи*, а подразумѣвается...

— Что же подразумѣвается?

— Это я вамъ скажу какъ-нибудь въ другой разъ. Впро-

чемъ, это дѣло вашего супруга. Прошу извиненія, г. Гуллеръ.

— Ахъ дѣти, изъ-за чего вы ссоритесь—чокнитесь и будьте друзьями.—А знаете, г. Спинетти, у насъ дѣйствительно съ вами есть нѣчто общее—я иногда думаю, что и вы, какъ я, родились не подъ счастливою звѣздой. Мнѣ кажется, намъ обоимъ приходится прилагать не мало усилій, чтобы справляться съ жизнью. Какъ вы думаете?

Студентъ съ изумленіемъ посмотрѣлъ на него.

— Быть можетъ, вы и правы, г. Гуллеръ. Быть можетъ...

Онъ поднялъ стаканъ.

— Не дружись съ нимъ, Стефанъ. Онъ злой человѣкъ.— Посмотри только ему въ глаза.

— За наши добрыя, товарищескія отношенія! — сказалъ Гуллеръ и чокнулся со студентомъ.

Гаиза потупила глаза.

— А вы не хотите со мною чокнуться?

Она пристально посмотрѣла на него.

— Нѣтъ, я не стану съ вами чокаться. Стефанъ, я страшно устала, поѣдемъ домой.

— Да, дѣтка, сейчасъ. Я только расплачусь.

Онъ позвалъ кельнера и уплатилъ по счету.

Тѣмъ временемъ студентъ поднялся, взялъ манто Гаизы и держалъ его наготовѣ, чтобы подать ей, когда она захочетъ одѣться.

Она прикусила губы, принимая отъ него эту услугу, и посмотрѣла на него сурово и злобно.

Спинетти высоко поднялъ воротникъ ея манто и при этомъ коснулся пальцами ея шеи—она отчетливо почувствовала короткое, твердое прикосновеніе его пальцевъ, закрыла глаза и не рѣшилась вскрикнуть.

Все это было дѣломъ нѣсколькихъ секундъ.

Тотчасъ же вслѣдъ затѣмъ студентъ откланялся.

Гуллеръ подозвалъ закрытый экипажъ и помогъ сѣсть женѣ. Нѣкоторое время они сидѣли рядомъ молча.

Было темно и глазъ Гаизы онъ не видѣлъ.

— Почему ты такъ неласкова съ нимъ? — неожиданно спросилъ Стефанъ.

Вмѣсто отвѣта она спросила:

— А ты почему приближаешь его къ себѣ?

— Онъ борется съ жизнью, какъ и я. Жизнь для него тя-

желое бремя, какъ и для меня—я это чувствую; но, помимо этого, онъ еще гениаленъ, а я нѣтъ. Это я тоже чувствую.

— Это гений зла,—тихо отвѣтила она, какъ бы про себя. Лицо ея при этихъ словахъ приняло мрачное, загадочное выраженіе, котораго онъ въ темнотѣ не могъ разглядѣть; но слова ея онъ слышалъ.

— Маленькая Гаиза, зачѣмъ ты такъ сурово судишь людей? Всѣ мы—бѣдные грѣшники—помоги намъ Боже!..

— Ему Богъ не поможетъ—онъ въ союзѣ съ дьяволомъ,—возразила Гаиза, едва сдерживая слезы.

Стефанъ разсмѣялся такъ громко, что молодая женщина вздрогнула, закрыла лицо руками и тихонько застонала.

— Малютка, что съ тобой? Да скажи же!

Онъ говорилъ такъ мягко, съ такою добротою, такъ нѣжно обнималъ ее, что ей хотѣлось разрыдаться. Но она подавила слезы и, крѣпко держа его руку, простонала:

— Мнѣ такъ холодно, Стефанъ, такъ страшно холодно! Согрѣй меня.

Онъ взялъ ее на руки и гладилъ, и ласкалъ, и осторожно цѣловалъ въ лобъ, въ щеки, въ глаза; и постепенно она болѣе или менѣе успокоилась.

Когда экипажъ остановился, онъ на рукахъ внесъ ее въ домъ, раздѣлъ, какъ маленькую дѣвочку, и уложилъ въ постель.

Она не противилась, только порой смотрѣла на него печальнымъ взоромъ, въ которомъ были и страхъ, и смущеніе.

Стефанъ сѣлъ возлѣ нея на кровать и озабоченно нагнулся надъ нею:

— Спи крошка, спи!..

Она слабо улыбнулась и протянула къ нему руки, словно ища опоры.

— Ложись и ты, Стефанъ. Слышишь? и ты лягъ возлѣ меня. Мнѣ страшно, мнѣ такъ страшно! Да скорѣе же, Стефанъ,—жалобно просила она, какъ больной ребенокъ.

Онъ поспѣшно раздѣлся, погасилъ свѣчу, въ темнотѣ нащупалъ ея руку и крѣпко сжалъ ее.

Онъ слышалъ бѣненіе сердца жены и чувствовалъ ея тревогу.

Уже разсвѣтъ заглядывалъ въ окно, когда она, наконецъ, успокоилась.

Мужъ смотрѣлъ въ ея блѣдное, разстроенное лицо; поблѣднѣвшія губы и во снѣ тревожно вздрагивали.

— Маленькая, глупенькая Гаиза! — шепталъ онъ, нѣжно приглаживая ея блестящіе, черные волосы, упавшіе на лобъ.

Потомъ закрылъ глаза, но, несмотря на усталость не могъ уснуть.

И снова, и снова смотрѣлъ на жену — которая тихонько стонала и всхлипывала во снѣ. Что ей снится? Какая тревога владѣетъ ея душой?..

Нѣтъ, сонъ и грезы — достояніе только спящаго, его тайна, которой никто другой не смѣетъ касаться. Ни отецъ, ни мать, ни братъ, ни сестра, ни мужъ, ни жена. Фантастическая, загадочная игра чувствъ раскрываетъ человѣку во снѣ его собственную душу. — Но въ эту душу никто другой не смѣетъ заглядывать.

— Какъ, бишь, это говорилъ тотъ сапожникъ въ оперѣ?.. Онъ хотѣлъ припомнить и не могъ. Осторожно онъ поднялся съ кровати, вынулъ изъ кармана сюртука тоненькую тетрадку-либретто и подошелъ къ окну. И долго перелистывалъ, пока нашелъ нужное мѣсто:

Повѣрь мнѣ, правда, человѣку  
Открыться можетъ лишь во снѣ.

Стефанъ склонилъ голову на бокъ и долго съ глубокой нѣжностью смотрѣлъ на жену.

Потомъ улегся снова, и только тогда уснулъ.

Съ нѣм. пер. З. Журавская.

*(Окончаніе слѣдуетъ).*





## Р. ПУАНКАРЭ.

Письмо изъ Парижа. (Политическая характеристика).

Темой настоящаго письма я дѣлаю Раймона Пуанкарэ не потому, что онъ выбранъ президентомъ французской республики. Можно занимать постъ «перваго магистрата» Франціи, и быть блѣдною и неинтересною фигурой. Сороколѣтняя исторія третьей республики дала этому немало примѣровъ. Къ ихъ числу Пуанкарэ не принадлежитъ. Но и не одни только личныя достоинства дѣлаютъ его достойнымъ вниманія. Какъ бы ни были они превозносимы поклонниками новаго президента, во Франціи немало политическихъ дѣятелей болѣе яркихъ и талантливыхъ, напр., Клемансо, Брианъ, Жоресъ,—не менѣе уважаемыхъ, честныхъ и дѣльных — гр. Дю-Манъ, Леонъ Буржуа, Бюиссонъ. Тѣмъ не менѣе во Франціи нѣтъ въ настоящее время никого, кто могъ бы конкурировать съ Пуанкарэ въ популярности. Онъ истинный «герой» настоящаго момента; онъ отвѣчаетъ представленію громаднaго числа французовъ о безупречномъ политическомъ дѣятелѣ; его государственныя воззрѣнія, его программа отвѣчаютъ настроенію, сложившемуся во Франціи въ теченіе послѣднихъ лѣтъ. Онъ, такимъ образомъ, не только крупный человекъ самъ по себѣ, но еще и человекъ момента — момента крайне интереснаго въ жизни великой страны. Потому-то Пуанкарэ и достоинъ вниманія. Знакомство съ нимъ позволитъ намъ лучше понять и оцѣнить моментъ. Съ другой стороны, при свѣтѣ господствующихъ въ современной Франціи настроеній намъ станетъ понятнѣе государственная карьера человека, который въ иной средѣ, въ иной обстановкѣ не пошелъ бы,—послѣ короткой и неясной министерской карьеры,—дальше почетнаго положенія въ первыхъ рядахъ адвокатовъ-цивилистовъ.

Пуанкаре родился въ сорокъ. Онъ родился въ Лотарингіи, но въ той ея части, которая осталась за Франціей. Онъ родился въ зажиточной, интеллигентной буржуазной семьѣ, занимавшей почетное положеніе въ своей округѣ. Многіе ея члены и по мужской, и по женской линіи играли извѣстную роль въ политической жизни Франціи. Его прапрадѣдъ съ материнской стороны, Жильонъ, былъ членомъ,—правда, мало замѣтнымъ,—конвента; его прадѣдъ, другой Жильонъ, былъ депутатомъ во время Іюльской монархіи. Во время франко-прусской войны отецъ Пуанкаре былъ командиромъ франкентиреровъ—добровольцевъ, поставленныхъ маасскимъ департаментомъ. Молодой Пуанкаре принадлежалъ, такимъ образомъ, къ «хорошей» семьѣ, въ которой соединились умственная культура, добрыя буржуазныя традиціи, интересъ къ общественнымъ дѣламъ, чтобы сформировать будущаго государственнаго человѣка. Трудно разграничить роль, которую въ формированіи человѣка играютъ природныя, органическіе задатки, съ одной стороны, вліяніе общественной среды, и семьи въ томъ числѣ—съ другой. Часто эти два рода вліяній находятся въ противорѣчіи. Пуанкаре былъ такъ счастливъ, что избѣжалъ этого противорѣчія: онъ съ дѣтства жилъ въ атмосферѣ интеллектуальныхъ интересовъ, въ средѣ зажиточной, бережливой и дѣловой.

Такова вообще французская буржуазія—наслѣдница великихъ культурныхъ завоеваній и обладательница почтенныхъ состояній, преумножающая ихъ просвѣщеннымъ и осторожнымъ хозяйничаніемъ. Это типъ недостаточно знакомый въ Россіи, гдѣ интеллигенція бѣдна, а зажиточные слои населенія сравнительно мало интеллигентны и недостаточно культурны. Другое дѣло во Франціи. Здѣсь все прошлое буржуазіи, ея великая историческая побѣда, ея расцвѣтъ, ея настоящее господство покоятся на громадномъ интеллектуальномъ усилии и на упорномъ трудѣ. Съ давнихъ поръ ея лозунгами стали образованіе и трудъ. Съ практическимъ приложеніемъ этихъ лозунговъ въ жизни можно познакомиться здѣсь, между прочимъ, и въ той школѣ, которую создала для своихъ дѣтей французская буржуазія—въ коллежахъ и лицеяхъ, пройти черезъ которые, до послѣдняго времени, было необходимо, чтобы попасть въ высшія учебныя заведенія,—а также и въ этихъ послѣднихъ. Характерными особенностями и среднихъ, и высшихъ школъ Франціи, монополизированныхъ буржуазіей, является вѣрность классической образовательной традиціи. Чрезвычайная обремененность программъ требуетъ отъ учащихся напряженнѣйшаго труда. У насъ въ Россіи, если какой-либо общественной группѣ — напр., служилой знати, дворянству вообще,—удается создать для себя привилегиро-

ванное заведеніе, оно отличается низкимъ образовательнымъ уровнемъ. Привилегія понимается, такимъ образомъ, какъ право на малую и одностороннюю культурность. Французская буржуазія, закрывая фактически доступъ къ среднему и высшему образованію дѣтямъ бѣднѣйшихъ классовъ, создавая себѣ фактическую привилегію образованія и культуры, двигалась другими соображеніями. Она разсматривала образованіе, какъ могучую силу, и рѣшила воспользоваться имъ въ полной мѣрѣ. Оттого-то она и сдѣлала его монопольнымъ, оттого-то и заставила своихъ дѣтей трудиться въ школахъ со всей возможной интенсивностью.

Богатыя естественныя способности молодого Пуанкарэ, подвергнутыя этой интенсивной интеллектуальной культурѣ, развились очень рано. Совершенно молодымъ человѣкомъ, двадцати одного года, окончивъ университетъ, онъ поступилъ въ помощники къ знаменитому адвокату Дю-Бюи, и въ то же время началъ свои первые литературные опыты. Карьера его, какъ журналиста, была непродолжительна и особыхъ лавровъ ему не принесла, если не считать шитыхъ золотомъ пальмовыхъ вѣтвей на зеленомъ мундирѣ члена института. Онъ обнаруживаетъ разностороннюю образованность дилетанта, хорошій стиль и ясный умъ, но лишентъ тѣхъ достоинствъ, которыя дѣлаютъ писателей бессмертными. «Бессмертнымъ» въ ковычкахъ Пуанкарэ сталъ потому, что институтъ, инкорпорируя въ свой составъ того или иного писателя, руководствуется, по изстари заведенной привычкѣ, не только литературно-научными, но и политическими соображеніями. У Пуанкарэ имѣются и научныя заслуги: его докторская диссертация представляетъ небольшое изслѣдованіе о владѣніи движимостью по римскому праву. Но посвятить себя наукѣ ему помѣшали практическая складка его ума и господство практическихъ интересовъ въ окружавшей его средѣ. Онъ отдалъ, поэтому, большую часть своихъ усилій сначала практической юриспруденціи—адвокатурѣ, потомъ политикѣ, потомъ опять адвокатурѣ, опять политикѣ—и, чередуя эти двѣ профессіи, достигъ теперешняго положенія.

Какъ адвокатъ, Пуанкарэ пользуется репутаціей «перваго пивилиста» Франціи. Въ трудныхъ и тонкихъ дѣлахъ тяжущіеся счастливы, если ему удастся заручиться содѣйствіемъ Пуанкарэ. «Большіе», а слѣдовательно и «дорогіе» процессы, составляющіе обычное достояніе «свѣтилъ адвокатуры», почти всегда давали Пуанкарэ поводъ надѣвать тогу адвоката. Какъ ораторъ, онъ имѣетъ много достоинствъ: чрезвычайную ясность и чистоту рѣчи, логичность, полное знаніе дѣла, отсутствіе всякой шумихи и театральщины, столь обычныхъ французскимъ ораторамъ, точность и лите-

ратурную законченность фразы, скромность жестовъ. Когда Пуанкаре выступилъ въ судѣ съ своей первой рѣчью больше чѣмъ тридцать лѣтъ тому назадъ, Анри Барбу, старшина адвокатской корпораціи, былъ и растроганъ, и восхищенъ. Онъ былъ пораженъ въ особенности тѣмъ, что встрѣтилъ въ такомъ молодомъ человѣкѣ «гармоническое сочетаніе достоинствъ, которыя рѣдки сами по себѣ, и еще рѣже встрѣчаются въ такомъ счастливомъ сочетаніи»<sup>1)</sup>.

Политическая карьера Пуанкаре началась въ 1886-мъ году. Ему было тогда всего 26 лѣтъ, но онъ пользовался репутаціей молодого человѣка съ блестящими дарованіями, да и у его семьи были прекрасныя связи. Поэтому неудивительно, что министръ земледѣлія въ кабинетѣ Жана Дюшюи, Жюль Девель, бывшій депутатомъ отъ маасскаго департамента, гдѣ родные Пуанкаре, были вліятельными избирателями, пригласилъ его на должность начальника своего кабинета. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ провелъ его въ генеральный совѣтъ департамента. Еще черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, въ 1887-мъ году, Пуанкаре прошелъ отъ того же департамента республиканскимъ депутатомъ въ палату. Своимъ выборомъ въ палату Пуанкаре былъ обязанъ исключительно республиканскимъ связямъ своей семьи и поддержкѣ министра. Но попавъ въ парламентъ, такъ сказать, по протекціи, онъ завоевалъ въ немъ почетное мѣсто, во-первыхъ—своими дарованіями, во-вторыхъ—тѣмъ, что занялъ въ немъ опредѣленную политическую и моральную позицію и остался вѣренъ ей до настоящаго времени. Пуанкаре принадлежитъ къ очень небольшому числу политическихъ дѣятелей, имѣющихъ строго опредѣленное *лицо*, опредѣленно очерченную и неизмѣнчивую индивидуальность.

Для ознакомленія съ нею возьмемъ первый циркуляръ, съ которымъ онъ обратился къ избирателямъ, когда поставилъ свою кандидатуру въ парламентъ.

«...Подобно большинству избирателей департамента, я — республиканецъ и прогрессистъ, рѣшительный сторонникъ учреждений свободно установленныхъ для себя Франціей, противникъ реакціи и попятныхъ движеній, и не менѣйшій врагъ неподвижности и застоя.

«Я твердо намѣренъ защищать республиканскую конституцію противъ такъ называемыхъ консерваторовъ, стремящихся вновь надѣть на Францію ярмо монархіи и клерикализма.

«Республика дала намъ всѣ существенныя свободы, которыми мы пользуемся тоже свободно; но я не допускаю злоупотребленія

<sup>1)</sup> Henri Barboux, «Revue hebdomadaire», Мартъ, 1909.

свободой, и буду съ величайшей энергіей бороться противъ всѣхъ нарушителей порядка.

«По мѣрѣ своихъ силъ я приму участіе въ подготовкѣ необходимыхъ реформъ, но я хочу реформъ зрѣлыхъ, старательно выработанныхъ, а не реформъ необдуманныхъ и спѣшныхъ.

«Отдѣленіе церкви отъ государства я считаю преждевременнымъ: оно пошло бы на пользу преимущественно духовенству, которое получило бы, вмѣстѣ съ независимостью, опасную власть.

«Существеннымъ и главнымъ вопросомъ современности я считаю вопросъ финансовый: онъ требуетъ незамедлительнаго разрѣшенія. Бюджетъ долженъ быть приведенъ въ равновѣсіе, прежде всего—съ помощью экономіи.

«Наша административная машина, имѣющая вѣковую давность, не всегда соответствуетъ требованіямъ современной жизни. Ее нужно упростить, съ соблюденіемъ, однако, дѣйствующихъ правъ и обязанностей.

«Значительныя экономіи могутъ быть осуществлены сокращеніемъ расходовъ «большихъ» министерствъ. Устраненіе злоупотребленій, я надѣюсь, обезпечитъ бюджетное равновѣсіе.

«Желательно, чтобы налоговое обложеніе было измѣнено въ демократическомъ духѣ. Земельный налогъ распределенъ неравномѣрно. Департаментъ Мааса принадлежитъ къ числу наиболѣе обремененныхъ. Я постараюсь положить конецъ этой несправедливости.

«Торговые договоры, заключенные еще имперіей, помѣшаютъ намъ, къ сожалѣнію, до истеченія 1891 г. принять мѣры для защиты торговли и промышленности противъ иностранной конкуренціи. Я потребую, чтобы наша свобода въ будущемъ ничѣмъ не была стѣснена.

«Я употребляю по мѣрѣ моихъ силъ все стараніе, чтобы удовлетворить законныя пожеланія рабочаго класса, въ особенности въ томъ, что касается организаціи рабочихъ пенсій и развитія кооперации и взаимопомощи.

«Въ качествѣ начальника кабинета министра земледѣлія я имѣлъ возможность изучить законопроекты, интересующіе нашихъ земледѣльцевъ — объ уменьшеніи черезполосицы, о меліораціяхъ, о земельномъ кодексѣ, о земледѣльческомъ кредитѣ. Я постараюсь ускорить проведеніе ихъ въ жизнь.

«По вопросамъ внѣшней политики я являюсь единомышленникомъ всѣхъ лотарингцевъ. Наша внѣшняя политика не должна быть агрессивной. Она должна быть осторожной и твердой, полной достоинства и сдержанности. Ничего для нападенія. Все для защиты.

«Вотъ, дорогіе мои сограждане, основныя линіи моей про-



граммы. Вы будете судить меня по моимъ дѣйствіямъ. Меня упрекаютъ за мою молодость. Она позволить мнѣ, по крайней мѣрѣ, отдать на службу вамъ всю мою силу и всю мою активность. Если же она является все-таки въ вашихъ глазахъ недостаткомъ,—я буду имѣть удовольствіе понемногу освобождаться отъ него съ каждымъ прожитымъ днемъ».

Чтобы по достоинству оцѣнить этотъ немножко скучный документъ, надо имѣть въ виду, что онъ составленъ 27-лѣтнимъ молодымъ человѣкомъ, который только изъ чувства своеобразнаго кокетства закончилъ его шутивымъ общаніемъ съ каждымъ днемъ становится старше. Очевидно, что онъ уже въ молодости обладалъ всѣми добродѣтелями преклоннаго возраста,—умѣренностью, осторожностью, дѣловитостью и готовностью медленно спѣшить. Ни увлеченія, ни страсти, ни энтузіазма, ни широкихъ идей. Все прикинуто философіей малыхъ, но полезныхъ дѣлъ и здравымъ смысломъ. И сказано яснымъ и простымъ, всѣмъ доступнымъ и всѣмъ понятнымъ языкомъ. Прочитавъ этотъ циркуляръ, начинаешь понимать, почему республиканцы маасскаго департамента включили Пуанкаре въ свой списокъ. Протекція протекціей, но надо же имѣть и личныя достоинства. И главное достоинство Пуанкаре, оцѣненное сначала республиканскимъ комитетомъ, а потомъ избирателями, состояло въ томъ, что онъ сумѣлъ стать выразителемъ взглядовъ всего своего класса—просвѣщенной, зажиточной, консервативной въ предѣлахъ разумаго и прогрессивной въ предѣлахъ необходимаго буржуазіи,—той буржуазіи, которая всего достигла, всѣмъ по существу довольна и допускаетъ въ «существующемъ строѣ» только легкую ретушь, но не ломку, не безпорядокъ и не своеволіе.

Избранный депутатомъ, Пуанкаре не вступилъ ни въ одну изъ парламентскихъ группъ, оставаясь «дикимъ» республиканцемъ. Войти въ составъ партіи, принять участіе въ партійной борьбѣ—значило рисковать своимъ положеніемъ, это не входило въ его расчеты. Вообще парламентская трибуна и ораторскіе успѣхи не манили его, хотя ораторомъ онъ былъ прекраснымъ. Пуанкаре весь ушелъ въ невидную работу въ комиссіяхъ, и здѣсь былъ очень скоро замѣченъ и оцѣненъ. Проработавъ два года въ комиссіяхъ и ни разу не выступая на трибунѣ, Пуанкаре вновь предсталъ передъ избирателями. Выборы на этотъ разъ шли по округамъ, и онъ снова былъ избранъ, какъ избирался и далѣе вплоть до 1903 г., когда перешелъ въ Сенатъ, членомъ котораго оставался до избранія въ президенты республики. Избиратели оставались ему вѣрными, несмотря на то, что въ маасскомъ департаментѣ какъ во всѣхъ вообще восточныхъ департаментахъ, съ особой силой свирѣпствовалъ булан-

жизнь въ 1889-мъ году и націонализмъ послѣ дѣла Дрейфуса. Пуанкарэ никогда не былъ ни буланжистомъ, ни націоналистомъ; онъ всегда оставался умѣренно-консервативнымъ республиканцемъ, и тѣмъ не менѣе всегда торжествовалъ. Сила его заключалась въ простотѣ и убѣдительности его рѣчи, въ его дѣловитости, личной безупречности, и еще въ томъ, что онъ не связывалъ себя ни съ одной изъ борющихся партій и не участвовалъ въ тѣхъ ожесточенныхъ схваткахъ, которыя потрясали Францію во времена буланжизма, дѣла Дрейфуса, разрыва съ церковью. Онъ мудро устранился, отходилъ въ тѣнь, занимался «дѣломъ» въ комиссіяхъ, занимался «дѣлами» въ судѣ, являя примѣръ той буржуазной *mentalité*, которая низко цѣнитъ политическую суету и политическую свару, но высоко цѣнитъ порядокъ и трудъ.

Это систематическое устраненіе отъ политическихъ битвъ и бурь не помѣшало Пуанкарэ быстро дѣлать парламентскую карьеру. Тридцати лѣтъ онъ былъ уже докладчикомъ бюджетной комиссіи и, по общему признанію—блестящимъ докладчикомъ. Тридцатитрехъ лѣтъ онъ былъ министромъ народнаго просвѣщенія въ умѣренномъ кабинетѣ Шарля Дюпюи. Въ 1894 г. онъ взялъ портфель министра финансовъ во второмъ кабинетѣ Дюпюи, въ 1895 г. — снова портфель министра народнаго просвѣщенія въ кабинетѣ Рибо. Съ 1895 до 1906 г. Пуанкарэ не вступалъ ни въ одно изъ многочисленныхъ министерствъ, хотя при каждой смѣнѣ кабинета ему предлагали то портфель, то постъ президента совѣта министровъ. Въ 1906 г. онъ согласился взять портфель министра финансовъ въ кабинетѣ Сарьена, но затѣмъ опять упорно устранился отъ власти и отъ публичной дѣятельности, вплоть до 1912 г., т. е. до времени образованія имъ «великаго національнаго министерства».

Чѣмъ объяснить это частое и упорное устраненіе отъ руководящихъ политическихъ ролей? Вѣдь онъ имѣлъ на нихъ несомнѣнное право, и очевидно не былъ равнодушенъ ни къ политикѣ, ни къ политическому вліянію.

Оставимъ въ сторонѣ первые два года депутатства Пуанкарэ: онъ тогда съ одной стороны приглядывался къ парламентской средѣ, съ другой—зарекомендовывалъ себя. Выбранный во второй разъ депутатомъ, Пуанкарэ быстро началъ продвигаться къ министерскому портфелю и занялъ мѣсто министра въ то время, когда власть находилась въ рукахъ умѣренныхъ республиканцевъ, владѣвшихъ въ палатѣ абсолютнымъ большинствомъ. Это абсолютное большинство позволяло кабинету Дюпюи держаться обычной для умѣренныхъ политики «умиротворенія»—знаменитаго *apaisement*—отцомъ

которой должно считать Рувье. Политика умиротворенія всегда являлась политикой оближенія съ консерваторами, съ правыми, въ цѣляхъ борьбы съ лѣвымъ, радикальнымъ крыломъ республиканцевъ и съ социалистами. Она отвѣчала требованіямъ, взглядамъ и нуждамъ буржуазіи, значительная часть которой держалась строго консервативныхъ и католическихъ воззрѣній и опасалась социального реформаторства и неумѣренныхъ требованій социализма. Правда, умѣренные республиканцы не всегда могли практиковать эту политику умиротворенія. Ихъ интимные союзники справа часто держали себя слишкомъ воинственно, нападая на самый принципъ республики. Тогда, отчасти подъ вліяніемъ преданности «существующему строю», отчасти подъ давленіемъ общественнаго мнѣнія умѣренные сближались съ радикалами, и политику умиротворенія замѣняла политика «республиканской концентрации», съ явнымъ уклономъ налѣво. Въ теченіе послѣднихъ тридцати лѣтъ французская политическая жизнь представляетъ борьбу и смѣну этихъ двухъ политическихъ системъ. То власть находится въ рукахъ умѣренныхъ—и тогда замѣчается склонъ направо и радикалы переходятъ въ глухую или открытую оппозицію; то вырастаетъ вліяніе радикаловъ, и умѣренные поневолѣ тянутся за ними, «концентрируясь» на защитѣ республиканскихъ учрежденій. Пуанкарэ взялъ въ первый разъ портфель министра въ кабинетѣ Дююи, имѣвшемъ уклонъ вправо. Онъ былъ вновь министромъ во второмъ кабинетѣ Дююи, и изъ него перешелъ въ кабинетъ тоже умѣреннаго Рибо. Въ радикальномъ министерствѣ Буржуа мы его не видимъ: это понятно. Его нѣтъ и въ кабинетѣ умѣреннаго Мелина—это уже менѣе естественно; его нѣтъ ни въ третьемъ кабинетѣ Дююи, смѣнившемъ кабинетъ Бриссона, ни въ кабинетѣ Вальдекъ-Руссо, ни въ слѣдовавшемъ за Комбомъ министерствѣ Рувье. И Мелинъ, и Дююи, и Вальдекъ, и Рувье усердно приглашали Пуанкарэ,—онъ отказывался. Почему?

Біографы Пуанкарэ, Анри Вижэ и Ренэ Лорэ, бѣгло отвѣчая на этотъ вопросъ, говорятъ: «можно думать, что онъ берегъ себя». Это очень темный отвѣтъ, но онъ станетъ для насъ яснымъ, если мы вспомнимъ, какое это было время. Между 1895 и 1906 годами всю Францію всколыхнуло дѣло Дрейфуса, и, подъ вліяніемъ общаго республиканскаго — вѣрнѣе, радикально-республиканскаго — подъема былъ, наконецъ, разорванъ конкордатъ. Происходила ожесточенная борьба. Принять въ ней участіе на лѣвой сторонѣ Пуанкарэ не могъ: этому мѣшали его умѣренныя воззрѣнія, его антипатія къ «реформамъ необдуманнѣйшимъ и слѣпымъ». Принять участіе въ борьбѣ, помѣстившись въ рядахъ правыхъ, было бы неблагогра-

зумно. Во первыхъ, здѣсь компрометировало сосѣдство открытыхъ реакціонеровъ; во вторыхъ, для зоркаго и проникательнаго взгляда должно было быть ясно, что правые будутъ побиты, что страна противъ нихъ, что масса, охваченная «лихорадкой радикализма», идетъ на поводу у лѣвыхъ. Бороться противъ теченія? Но не лучше ли подождать, пока радикальная волна уляжется сама собою? Вѣдь она должна улечься; за приливомъ долженъ послѣдовать отливъ. И Пуанкарэ рѣшилъ ждать. Онъ устранился отъ власти, изъ палаты депутатовъ ушелъ въ судъ, ушелъ въ сенатъ, и упорно отвѣчалъ отказомъ на приглашенія и слишкомъ лѣвыхъ для него пріятелей, и несвоевременно бравшихся за государственнѣйшій руль умѣренныхъ друзей.

Одинъ разъ онъ сдѣлалъ пробу—не настало ли его время? Это было тогда, когда былъ опрокинутъ Комбъ, и разорванъ блокъ съ социалистами. Въ этихъ условіяхъ кабинетъ республиканской концентраціи, образованный Саръеномъ, могъ, по закону реакціи, передвинуться въ своей политикѣ очень далеко направо, тѣмъ болѣе, что въ странѣ все громче раздавались голоса, протестовавшіе противъ «сектантовъ» и «блокистовъ». И Пуанкарэ вошелъ въ составъ кабинета Саръена. Его расчетъ оказался и правильнымъ, и ошибочнымъ. Кабинетъ Саръена дѣйствительно знаменовалъ собою поворотъ страны направо,—но поворотъ этотъ только намѣчался и не опредѣлился съ достаточной силой. Для того, чтобы доктрина о необходимости «умиротворенія»—*de l'apaisement*—стала официальной, нужно было пережить еще министерство Клемансо и рядъ кратковременныхъ безпринципныхъ кабинетовъ—Мониса, Кайо. Это были послѣднія попытки утратившаго цѣльность и принципиальность радикальнаго крыла овладѣть положеніемъ. И когда радикальная партія истощила въ нихъ свои силы и потеряла кредитъ въ странѣ, тогда пробилъ давно ожидаемый часъ Пуанкарэ, въ теченіе шести лѣтъ устранившагося отъ власти. Пробилъ часъ Пуанкарэ—и онъ явился почти какъ спаситель отечества, во главѣ «великаго» и «національнаго» министерства, чтобы черезъ годъ стать во главѣ республики.

Въ окончательномъ счетѣ политическая фізіономія Пуанкарэ опредѣляется двумя моментами: его добровольнымъ устраниеніемъ съ политической арены во время той исключительной по напряженности борьбы, которая загорѣлась вокругъ дѣла Дрейфуса—и его энергичнымъ выступленіемъ на политическую авансцену, когда крушеніе радикальной партіи и радикальныхъ тенденцій въ странѣ достигло своего апогея. Остановимся на минуту на этихъ моментахъ.

Въ исторіи современной Франціи «дѣло Дрейфуса» сыграло гро-

мадную роль, далеко вышедшую за предѣлы спора о виновности или невинности «узника Чортова острова». Въ глазахъ общественнаго мнѣнія вмѣстѣ и одновременно съ Дрейфусомъ судили тотъ режимъ, въ условіяхъ котораго возможно было осужденіе невиннаго, судили военную бюрократію, судили націоналистическую и милитаристическую реакцію, свившую себѣ гнѣздо въ арміи и на верхахъ республики, судили всю пропитанную реакціоннымъ духомъ квазиреспублику. Ей противопоставили идею республики дѣйствительно демократической, гдѣ свобода, равенство и братство—не только надписи на фронтонахъ казенныхъ армій, но жизненные и дѣятельные принципы, гдѣ царствуетъ «справедливость», которой требовалъ Золя въ «J'accuse!» Поэтому дѣло Дрейфуса и стало исходной точкой громаднаго умственного движенія, глубоко проникшаго въ народныя массы, исходной точкой критики политическихъ и общественныхъ группъ, учреждений, принциповъ. И такъ какъ за критикой всегда слѣдуютъ попытки творческой работы, дѣло это стало отправной точкой демократической эволюціи отчасти республиканскихъ учреждений, но еще въ большей мѣрѣ общественно-политическихъ идей и нравовъ. Это была буря, но буря творческая, очистившая политическую атмосферу. И вотъ, въ ней то Пуанкарэ участія не принялъ. Онъ не поставилъ своего имени рядомъ съ именами Шереръ-Кестнера и Золя. Никто изъ націоналистовъ и роялистовъ не назвалъ его ни разу «дрейфусаромъ». Тонкій юристъ, хорошо понимавшій всю юридическую, моральную и политическую несостоятельность обвиненія Дрейфуса, онъ не поддержалъ «дрейфусаровъ» своимъ вѣскимъ словомъ. Онъ уклонился, хотя быть можетъ менѣе чѣмъ кто-либо имѣлъ на то право, такъ какъ дѣло Дрейфуса возникло именно въ то время, когда онъ былъ министромъ въ первомъ кабинетѣ Дюкло, возбудившемъ преслѣдованіе противъ Дрейфуса. Для всей французской демократіи защита Дрейфуса — одна изъ славнѣйшихъ страницъ исторіи третьей республики, на которой записана прекрасная побѣда надъ силами прошлаго. Для Пуанкарэ—это только «несчастное дѣло»: этимъ именемъ характеризуетъ онъ его въ «Исповѣданіи вѣры», представленномъ имъ въ 1912 г. своимъ избирателямъ. «La malheureuse Affaire», «Crise lamentable»—онъ не находитъ другихъ словъ для его обозначенія. И заканчиваетъ онъ свое объясненіе словами: «Это дѣло слишкомъ долго смущало общественное мнѣніе; оно закончено, и вмѣстѣ съ громаднымъ большинствомъ палаты я вотировалъ порядокъ дня, выражающій формальное пожеланіе, чтобы оно болѣе не поднималось».

Такое отношеніе къ дрейфусовскому дѣлу служить лишнимъ



подтвержденіемъ нашего взгляда на Пуанкарэ, какъ на точнаго и вѣрнаго выразителя политическихъ тенденцій буржуазныхъ верховъ. Французская буржуазія слишкомъ культурна и честна, чтобы строить свое благополучіе на осужденіи невинныхъ; злобное преслѣдованіе Дрейфуса она предоставила, поэтому, реакціонерамъ. Но и ростъ демократизма ей не былъ на руку; она съ тревогой и враждой смотрѣла на ту демократическую волну, которая поднялась изъ-за защиты невинно-осужденнаго и грозила передвинуть далеко налѣво политическую мысль страны. Естественно, что она квалифицировала всю эту исторію терминами «malheureux» и «lamentable», и горячо желала возможно скорѣе и возможно глубже похоронить и позабыть ее. И тѣми же чувствами былъ полонъ ея представитель.

Торжество радикальной демократіи загородило Пуанкарэ дорогу къ власти. Крушеніе радикальной демократіи открыло ему ее вновь. Исторія этого крушенія извѣстна. Радикальная демократія, въ союзѣ съ социалистами, сдѣлала послѣдній шагъ въ области социальнаго законодательства. Палата вотировала законопроекты о рабочихъ пенсіяхъ, о подоходномъ налогѣ, о воскресномъ отдыхѣ и т. п. Съ секуляризацией государства буржуазія или, вѣрнѣе, ея свободомыслящая часть помирилась, хотя и безъ особаго увлеченія. Но социальное законодательство возбудило въ ней и опасенія, и сопротивленіе. Законопроектъ о рабочихъ пенсіяхъ, хотя и съ большими треніями, но прошелъ черезъ сенатъ; законопроектъ о воскресномъ отдыхѣ также прошелъ черезъ сенатъ, но встрѣтилъ множество камней преткновенія въ жизни. Законопроектъ о подоходномъ налогѣ застрялъ въ сенатѣ и вызвалъ въ буржуазныхъ кругахъ бурю негодованія, оказавшую моральное давленіе на радикаловъ и остановившую ихъ реформаторскій пылъ. Съ другой стороны, ростъ социализма и синдикализма, возрастающая требовательность и воинственность социальной демократіи вызвали среди нихъ реакцію. Понемногу начала стираться демаркаціонная линія, отдѣляющая радикальную буржуазію отъ умѣренной; понемногу начала вырастать баррикада, отдѣляющая социально-консервативную буржуазію отъ революціоннаго прелетаріата. Расколовшись на социальномъ вопросѣ, радикалы потеряли въ удѣльномъ вѣсѣ; ихъ авторитетъ палъ, и вслѣдъ за тѣмъ пала и дисциплина, безъ того традиціонно слабая въ ихъ средѣ. И немедленно подняла голову умѣренная буржуазія. Она обвинила радикаловъ въ заигрываніи съ рабочимъ классомъ, и потребовала болѣе энергичной защиты «порядка»; она обвинила ихъ въ недостаточномъ уваженіи къ интересамъ собственности, и потребовала, чтобы изъ законопроекта о подоходномъ налогѣ были исключены всѣ «инквизиціон-

ные» приемы исчисления дохода, т. е., попросту говоря, всякій государственный контроль; она обвинила ихъ въ сектантствѣ, т. е. въ преслѣдованіи католическихъ и консервативныхъ группъ республиканской буржуазіи. Въ общемъ она выставила требованіе «успокоенія», требованіе старое, составлявшее сущность политики всѣхъ умѣренныхъ кабинетовъ, начиная съ Рувье, но приобрѣвшее новую силу и новое содержаніе въ виду требовательности социальныхъ низовъ и роста ихъ силы и организаціи.

Буржуазія нашла талантливаго и гибкаго государственнаго человѣка, взявшаго на себя осуществленіе этого требованія, претвореніе его въ основу всей политики—Бріана, несомнѣнно самаго крупнаго и самаго одареннаго изъ современныхъ государственныхъ дѣятелей Франціи. Но Бріанъ—человѣкъ съ недостаточно респектабельнымъ прошлымъ, вызывающій слишкомъ страстное къ себѣ отношеніе, граничащее съ ненавистью, среди бывшихъ его единомышленниковъ. Онъ на мѣстѣ, какъ боевой генералъ; но вождемъ респектабельной буржуазіи долженъ быть человѣкъ безупречный и пользующійся общимъ уваженіемъ, человѣкъ надежный, никому не измѣнявшій, всегда хранившій вѣрность себѣ и своимъ избирателямъ. Всѣ эти качества, отсутствіемъ которыхъ блещетъ Бріанъ, мы находимъ у Пуанкаре: естественно, что онъ и занялъ мѣсто буржуазнаго лидера, а затѣмъ и главы государства. Буржуазія знаетъ, что онъ останется вѣренъ ей до конца и что по всѣмъ основнымъ вопросамъ политической жизни онъ стоитъ на вѣрномъ пути—вѣрномъ, конечно, съ ея точки зрѣнія.

Это станетъ очевиднымъ, если мы ближе присмотримся къ государственнымъ идеямъ Пуанкаре, насколько онъ обнаружилъ ихъ въ качествѣ министра народнаго просвѣщенія, финансовъ, иностранныхъ дѣлъ, премьера и, наконецъ, президента республики.

Пуанкаре прежде всего горячій патріотъ. Патріотизмъ его, какъ и вообще патріотизмъ просвѣщенной буржуазіи, свободенъ отъ агрессивности и націоналистической шумихи. Это патріотизмъ культурный и, такъ сказать, охранительный. Источники его разнообразны: мы встрѣчаемъ среди нихъ и законную гордость славнымъ прошлымъ Франціи, и преданность «французской культурѣ», которую надо сохранить, и сознаніе связи между процвѣтаніемъ родины и успѣшной защитой матеріальныхъ интересовъ буржуазіи. Идея родины, чувство патріотизма представляется не одному Пуанкаре единственной основой, на которой можетъ прочно укрѣпиться третья республика, единственной истинно консервативной, охранительной силой въ обществѣ, разрываемомъ противоположными интересами и доктринами. Поэтому, будучи министромъ

народнаго просвѣщенія, онъ не уставалъ заявлять въ парламентѣ и внушать учителямъ, что школа должна быть прежде всего разсадникомъ патріотизма, что воспитаніе должно быть прежде всего патріотическимъ.

— «Вы спрашиваете меня,—говорилъ онъ въ палатѣ въ февралѣ 1895-го года,—въ чемъ состоятъ опорные пункты морали, преподаваемой въ нашихъ школахъ? Я вамъ отвѣчу. Это—совѣсть и понятія о добрѣ и злѣ. Моральное воспитаніе, которое мы даемъ, заключается во всестороннемъ развитіи, въ методической культурѣ совѣсти, въ укрѣпленіи воли, въ освобожденіи личности, въ укрѣпленіи чувства долга и отвѣтственности; оно состоитъ также въ воспитаніи привычки и способности къ труду, въ уваженіи ко всему тому, что является послѣдствіемъ труда—т. е. въ уваженіи къ собственности, той собственности, о которой говорятъ, будто она переживаетъ кризисъ въ современномъ обществѣ и будто она исчезнетъ (*обращаясь къ социалистамъ*) подъ, не знаю какими, развалинами, въ томъ обществѣ, о которомъ вы мечтаете. Скажите же мнѣ въ свою очередь вы, на чемъ хотите вы выстроить мораль? Вы только что издѣвались надъ векселями, которые выдаются на неизвѣстное, на безконечное, на чудесное. А что же дѣлаете вы, какъ не выдаете ежечасно векселя на какой-то недостижимый земной рай, являющийся порожденіемъ вашей пылкой фантазіи? Нѣтъ, господа: существуетъ иное основаніе для той морали, которую мы преподаемъ и будемъ преподавать дѣтямъ Франціи—и состоитъ оно въ любви къ родинѣ. Она является принципомъ, сущностью, душою нашего воспитанія. И кто поручится, что если когда-либо, паче чаянія, восторжествуютъ доктрины коллективизма, не угаснетъ эта прекрасная любовь? Это было бы великимъ несчастіемъ».

Этотъ отрывокъ изъ министерской рѣчи Пуанкарэ вполне вскрываетъ социальное-консервативный характеръ его патріотизма. Можно думать, что любовь къ родинѣ, практикуемая и проповѣдуемая въ интересахъ сохраненія наличныхъ социальныхъ отношеній, искажаетъ и умаляетъ самую идею родины и самую цѣнность патріотизма. Но очевидно, что такой порядокъ мыслей чуждъ тому классу, противъ котораго ведетъ свой приступъ социальная демократія. Въ буржуазной средѣ именно социальное-консервативный характеръ патріотизма Пуанкарэ всегда находилъ сочувственный откликъ и дѣлалъ будущаго президента республики точнымъ выразителемъ буржуазнаго строя чувствъ и мыслей.

И въ области финансовой политики Пуанкарэ всегда оставался вѣренъ тенденціямъ своей среды. Мы ознакомились выше со взгля-

дами Пуанкаре на задачи финансовой политики, съ которыми онъ вступилъ на политическую арену: бюджетное равновѣсіе, экономія въ расходахъ, уравненіе налогового бремени. Въ своей дѣятельности въ качествѣ докладчика бюджетной коммисіи онъ не выходилъ изъ указанныхъ рамокъ. Въ качествѣ министра финансовъ онъ, правда, реформировалъ налогъ на наслѣдства, установивъ нѣкоторую прогрессивность обложенія. Сдѣлалъ онъ это, однако, не потому, что онъ былъ сторонникомъ принципа прогрессивности, а по чисто практическимъ соображеніямъ. Предстояло пополнить бюджетный дефицитъ въ 35 милліоновъ и не предвидѣлось другого источника, кромѣ повышенія нормы обложенія наслѣдствъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ было очевидно, что повышеніе ея при обложеніи мелкихъ наслѣдствъ вызоветъ ропотъ среди слишкомъ большого числа лицъ, наслѣдующихъ мелкія суммы. Было, поѣтому, признано цѣлесообразнымъ понизить обложеніе мелкихъ наслѣдствъ и повысить обложеніе крупныхъ. Защищая эту мѣру, Пуанкаре показалъ себя не финансистомъ-новаторомъ, а ловкимъ политикомъ, понимающимъ, что раздражать избирателя не слѣдуетъ. Вопросы о подоходномъ налогѣ Пуанкаре не поднималъ, ни будучи министромъ финансовъ въ кабинетѣ Рибо, ни одиннадцать лѣтъ спустя, въ кабинетѣ Саррена. Этотъ вопросъ онъ предоставлялъ радикаламъ.

Всего больше Пуанкаре прославился—особенно за границей—въ качествѣ министра-пацифиста. Онъ, дѣйствительно, дѣятельно хлопоталъ о сохраненіи мира въ Европѣ, и если дѣятельность и инициатива его и оказались безплодными, насколько онѣ касались балканскаго полуострова, онѣ сыграли опредѣленную роль въ сохраненіи мира между великими державами. Дѣло, однако, не въ этихъ практическихъ результатахъ, мало зависящихъ отъ воли того или другого лица, а въ самой позиціи, занятой министромъ-президентомъ Франціи—позиціи рѣшительно миролюбивой и въ то же время спокойной, твердой, сдержанной, лишенной признаковъ робости и колебаній. И здѣсь Пуанкаре отвѣтилъ интересамъ и взглядамъ французской буржуазіи, глубоко миролюбивой, по причинамъ какъ культурнаго, такъ и матеріальнаго свойства.

Но для внутренней жизни страны гораздо большее значеніе имѣетъ другая тенденція Пуанкаре: стремленіе поднять авторитетъ власти, правительственный авторитетъ, очень пошатнувшійся во Франціи подъ вліяніемъ кумулятивнаго дѣйствія множества причинъ, среди которыхъ главное мѣсто занимаетъ ростъ демократическаго чувства въ массахъ. Эта деградация значенія правительственной власти давно уже обратила на себя вниманіе Пуанкаре и нашла въ немъ открытаго, смѣлаго противника и очень ѣдкаго обличителя.

Въ рѣчи, произнесенной въ разгаръ Дрейфусовскаго дѣла, въ то время, когда демократія вела приступъ противъ правительственныхъ верховъ, тормозившихъ пересмотръ, Пуанкарэ произнесъ въ Коммерси въ августѣ 1896 г.—рѣчь, въ которой говорилъ:

«Мы дошли незамѣтно до такого искаженія парламентскаго режима, что не министры уже, а депутаты управляютъ, назначаютъ, прикрываясь министерскою подписью, множество должностныхъ лицъ и совмѣщаютъ въ себѣ, такимъ образомъ, множество функцій, совмѣщеніе которыхъ гибельно и для порядка, и для свободы... Подъ вѣломъ парламентаризма у насъ возстановился порядокъ, господствовавшій при конвентѣ». Продолжая и углубляя критику дѣйствующихъ политическихъ нравовъ и установившихся отношеній между парламентомъ и правительствомъ, Пуанкарэ выдвигаетъ еще другое, гораздо болѣе серьезное обвиненіе: «Революція постановила, что верховная власть, принадлежащая народу, не можетъ быть присвоена ниѣмъ, ни отдѣльной личностью, ни какой-либо общественной группой. Между тѣмъ, нѣсколько сотенъ людей—депутатовъ,—присвоили себѣ ее безъ церемоніи,—и каждый изъ нихъ, навѣрное, глядясь въ свое зеркало, полагаетъ, что видитъ въ немъ отраженіе самой націи!» Протестуя противъ захвата парламентомъ непринадлежащей ему власти, Пуанкарэ упрекаетъ его еще за то, что въ своей собственной области—законодательной—онъ не стоитъ на должной высотѣ. Онъ больше времени отдаетъ «платоническимъ резолюціямъ, безцѣльнымъ манифестаціямъ, скороспѣлымъ и необдуманымъ рѣшеніямъ, чѣмъ дѣльнымъ и благонамѣреннымъ законамъ (*des lois bien intentionnées*)». По его мнѣнію низкое качество парламентской работы вытекаетъ изъ ряда условій, среди которыхъ онъ съ особой силой отмѣчаетъ отсутствіе метода въ работѣ, развращающую депутатовъ атмосферу палаты, отчужденность ихъ отъ избирателей, отъ націи. Депутаты, по его мнѣнію, «превращаютъ полномочія, данныя имъ народомъ, въ своего рода профессію... Представительство становится занятіемъ, ремесломъ, службой, вмѣсто того чтобы оставаться лояльнымъ контрактомъ между избирателями и избранными,—и мы, можетъ быть, приближаемся къ тому моменту, когда депутатство станетъ, за рѣдкими исключеніями, или привилегіей богатства, или источникомъ дохода для политикановъ и авантюристовъ».

Современный французскій парламентаризмъ, по мнѣнію Пуанкарэ, тяжело боленъ. Чтобы излѣчить его, онъ предлагаетъ рядъ мѣръ. Надо, во-первыхъ, увеличить устойчивость министерствъ—и съ этой цѣлью измѣнить внутренній регламентъ палаты, «ограничивъ право интерпелляцій, резолюцій и мотивированныхъ переходовъ».



къ порядку дня, которыми перемежается обсужденіе финансовыхъ, экономическихъ и другихъ проектовъ»; надо «ограничить право вносить поправки къ законопроектамъ, извращающія ихъ и разрушающія связь различныхъ частей ихъ между собою». Надо установить правильный методъ въ парламентской работѣ, такъ распредѣливъ различныя законодательныя работы между комиссіями, чтобы всегда одни и тѣ же депутаты были заняты проверкой законопроектовъ одной и той же категоріи. Надо уменьшить число депутатовъ. «Численность собраній находится всегда въ обратномъ отношеніи съ ихъ доброкачественностью; всякое многочисленное собраніе становится толпой». Необходимо сократить продолжительность и число сессій. «Промышленники, коммерсанты, сельскіе хозяева, ученые, юрисконсульты, то-есть всѣ тѣ, кто всего больше имѣетъ право говорить во имя матеріальныхъ и моральныхъ интересовъ страны, но не можетъ оставлять на цѣлые годы своихъ дѣлъ и занятій, получили бы тогда возможность брать на себя депутатскія полномочія».

Эта замѣчательная рѣчь <sup>1)</sup>, сказанная Пуанкаре послѣ того какъ онъ три раза былъ министромъ и достигъ полной политической зрѣлости, вполне характеризуетъ его, какъ государственнаго чловека. Онъ желалъ бы видѣть во Франціи сильную и прочную исполнительную власть и парламентъ, состоящій изъ «промышленниковъ, коммерсантовъ, сельскихъ хозяевъ, ученыхъ и юрисконсультовъ», собирающихся въ короткія дѣловыя сессіи, посвященныя исключительно методической законодательной работѣ. Перечисляя категоріи гражданъ, «всего болѣе имѣющихъ право говорить во имя матеріальныхъ и духовныхъ интересовъ страны», Пуанкаре не упоминаетъ о пролетаріатѣ, о рабочемъ классѣ—безпокойномъ, требовательномъ, мечтательномъ, революціонномъ. Если это умолчаніе и не преднамѣренно, оно характерно, какъ выраженіе антагонизма, существующаго между консервативнымъ, дѣловымъ буржуа и революціоннымъ, мечтательнымъ пролетаріатомъ.

Своей государственной концепціи Пуанкаре былъ строго вѣренъ въ продолженіи всей своей долгой политической карьеры. Онъ всегда много и методически работалъ, уклонялся отъ политической свары и политическихъ интригъ, не политиканствовалъ, не занимался ненужными словоизвѣніями, имѣлъ въ сторонѣ отъ парламента свое личное большое и серьезное дѣло, не смотрѣлъ на депутатство ни какъ на ремесло, ни какъ на источникъ дохода, не

<sup>1)</sup> Она приведена у René Lauret, панегириста Пуанкаре, въ его брошюрѣ: «Raymond Poincaré. L'homme. Sa Vie. Les idées».

подрывалъ авторитета законной власти. Становясь министромъ, онъ защищалъ хорошо обдуманнѣе и хорошо разработанные законопроекты; ставъ премьеромъ, постарался создать правительство сильное, энергично стоящее на стражѣ порядка и мира. Не удивительно, что онъ внушилъ дѣловой, миролюбивой и социальнo-консервативной буржуазіи безграничное довѣріе. Она признала въ немъ плоть отъ плоти своей, кость отъ кости, своего полного выразителя, своего лучшаго сына,—и воспользовалась первымъ случаемъ, чтобы вознести его возможно высоко, на постъ главы и представителя Франціи. Сдѣлать это она оказалась въ силахъ, потому что, вслѣдствіе стеченія различныхъ обстоятельствъ, именно она явилась хозяиномъ положенія.

Франція на консервативномъ наклонѣ—и потому имѣетъ своимъ президентомъ Пуанкаре. Пуанкаре—популярнѣйшій человекъ Франціи—и это громко свидѣтельствуетъ о томъ поворотѣ общественной мысли направо, который составляетъ содержаніе французской эволюціи послѣднихъ лѣтъ.

Бѣлоруссовъ.



## ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ВЫСТАВКИ ВЪ МОСКВѢ.

Свобода формы—результатъ исканій и достиженій многихъ поколѣній—открыла современному искусству область совершенно неизвѣданныхъ ощущеній, небывалыхъ и непровѣренныхъ еще ничѣмъ опытомъ средствъ выраженія. Умудренная историческимъ опытомъ, освѣдомленная часть публики уже давно оставила громоздкія эстетическія теоріи съ ихъ прямолинейными директивами, навязывавшими искусству, наперекоръ естественному ходу вещей, цѣли, задачи, чуть ли не обязательства. Давно уже перестали ломать копы изъ-за исключительнаго преобладанія того или иного направленія и считаются съ воображаемымъ дѣленіемъ всей области искусства на реальное, идеалистическое и прочія направленія—дѣленіе, придуманное идеологами искусства для облегченія классификаціи и въ видахъ пропаганды.

Мы привыкли смотрѣть на искусство, какъ на совершенно автономную область человѣческаго творчества, жизнь которой про-

ходить по совершенно непредопределеннымъ путямъ, по направленію къ абсолютной свободѣ выраженія и въ тѣснѣйшей связи съ идейной жизнью всего человѣчества. Странно было бы, если бы при современномъ состояніи нашей техники передъ нами былъ закрытъ путь къ этой свободѣ. Художникъ — не философъ, но, живя въ атмосферѣ современности, онъ проникается какимъ-то флюидомъ индивидуализма, и, съ какимъ бы содержаніемъ онъ ни подходилъ къ искусству, онъ идетъ по пути самоопредѣленія. На этомъ пути онъ находитъ много новыхъ, еще никѣмъ не познанныхъ цѣнностей, но онъ рискуетъ порвать часть нитей, которыми онъ связанъ со средой.

Деятнадцатое столѣтіе знаменуется такого рода разрывомъ между художникомъ и зрителемъ, воспитаннымъ на привычныхъ формахъ. Со времени нарожденія новыхъ направленій конфликтъ съ каждымъ годомъ все обострялся — и въ наши дни между художникомъ и публикой существуетъ почти непроходимая пропасть.

Уже на склонѣ дѣятельности, ушедшій безъ оглядки отъ привычныхъ нормъ, Сезаннъ не разъ пытался объяснить эту отчужденность и, въ концѣ концовъ, причину нашелъ въ самомъ художникѣ. «Я не прочь былъ бы попасть въ Салонъ», — говорилъ онъ — «но главная причина, почему меня не принимаютъ, лежитъ въ томъ, что я безсиленъ выразить себя во всей полнотѣ; мое особенное, индивидуальное отношеніе къ природѣ здѣсь ни при чемъ».

Мы преклоняемся передъ мужествомъ художника, фанатика работы, беззаветно преданнаго своему искусству, на старости лѣтъ признающагося передъ лицомъ всего міра въ своей слабости и берущаго всю вину на себя. Но мы не можемъ согласиться съ нимъ вполне. Извѣстно, какъ работалъ Сезаннъ. Онъ рѣдко оставался доволенъ своей работой, но и не вымучивалъ картинъ. Онъ начиналъ тамъ, гдѣ другіе кончали, переписывалъ и перекраивалъ, пока ни нападалъ на *свою* линію, *свой* тонъ, пока ни доводилъ свою живопись до высшей степени лаконичности и выразительности. Именно наиболѣе законченныя и наименѣе компромиссныя его творенія послѣдняго періода вызвали всего болѣе нападокъ со стороны критики и публики. Дѣло, очевидно, не въ несовершенствѣ средствъ художника, а скорѣе въ неподготовленности массъ къ необычному языку Сезанна.

Вѣдь пріемлетъ же публика все привычное, уже подернутое плѣсенью и завязшее въ зубахъ. Не взирая на расплывчатость образовъ, на приблизительность формы, на безпомощность въ средствахъ, на безграмотность рисунка и невыносимую какофонію красокъ, публика поддерживаетъ своими симпатіями все что есть не-

зрѣлаго и рутиннаго въ искусствѣ прежнихъ лѣтъ. Достаточно эффекта, рассчитаннаго на инстинкты толпы, на поддержку официальныхъ охранителей искусства—и картинѣ обезпечено безсмертіе въ стѣнахъ національнаго музея. Не случайно имена Моне, Дегаза, Родена до недавняго времени служили жупеломъ для любителей художествъ.

Примѣняя строгій критерій, мы придемъ къ выводу, что среди современныхъ намъ художниковъ немного такихъ, которые умѣютъ вылить свой внутренній міръ съ достаточной полнотою. Рѣдкій художникъ не расплескиваетъ своего содержанія по пути отъ возникновенія образа къ его выполненію. Источникъ, въ началѣ чистый и обильный, въ преодолѣніи препятствій матеріала и формы теряетъ свою стремительность и мутнѣетъ, пройдя рядъ условностей, преграждающихъ прямой путь къ абсолютной формѣ. Художниковъ въ потенціи—сколько угодно, но творцовъ, создающихъ живыя, самодовлѣющія формы изъ мертваго матеріала, умѣющихъ обратить себѣ на службу самую трудности, встрѣчающуюся на ихъ пути—можно во всемъ мірѣ пересчитать по пальцамъ.

Больше всего это относится къ русскому художнику. Русскій художникъ, въ надеждѣ на всеильное нутро, игнорируетъ знаніе матеріала и формы. Талантовъ у насъ было немало, но мастеровъ, исчерпавшихъ свою форму такъ, чтобы дальше идти было некуда, какъ это сдѣлалъ гр. О. П. Толстой—такихъ мастеровъ у насъ почти не было. Мы какъ-то такъ подходили къ предмету, что мастерству не оставалось мѣста; для насъ достаточно было дилетантизма. Мы не прошли хорошей школы серьезной работы и зрительныхъ упражненій; мы до сихъ поръ остаемся рабами нашего неумѣнія и косноязычія. До яркихъ проявленій намъ еще далеко.

Но именно къ этой сторонѣ дѣла публика проявляетъ поразительное равнодушіе, показывая, такимъ образомъ, насколько ей чуждъ языкъ формъ. Она жаждетъ сентиментовъ и легкихъ восторговъ, и горе художнику не счумѣвшему пойти ей навстрѣчу: публика навстрѣчу ему не пойдетъ, требуя всего отъ художника, а отъ себя—ничего.

Безчисленныя выставки, наводнившія въ этомъ году Москву, въ общемъ оставили публику неудовлетворенной. У нея нашлось достаточно снисхожденія къ убогимъ, какъ никогда, передвижникамъ, нѣсколько словъ одобренія для «Союза», но зато ея вердиктъ въ отношеніи другихъ былъ крайне суровъ. Добровольные охранители изъ журналистовъ вели себя, какъ накануне пришествія Антихри-

ста. — Погибаемъ! — слышалось въ ихъ возбужденныхъ статьяхъ; насталь вѣкъ «Бубновыхъ валетовъ!»

Мы далеки отъ восхищенія передъ всѣмъ тѣмъ, что намъ пришлось осматрѣть на московскихъ выставкахъ, но въ этомъ крикѣ тревоги и въ мрачныхъ прогнозахъ на счетъ грядущаго русскаго искусства намъ послышалась прежде всего нетерпимость публики, безсильной разобратся, за неподготовленностью, въ свѣтахъ и тѣняхъ современнаго искусства, инстинктивно ненавидящей все ей непривычное и выходящее за кругъ ея понятій. Эта растерянность вымѣщается на художникахъ, невольно и безъ разбора, при чемъ не бываетъ пощады и тому, что при нашемъ художественномъ безвременьи не должно было бы оставаться незамѣченнымъ.

Наиболѣе замѣтной группой, отличающейся извѣстною полнотой жизни и красочностью, не смотря на обиліе отмирающихъ элементовъ, до сихъ поръ остается «Союзъ». Въ средѣ «Союза» мы не находимъ подающихъ крупныя надежды, но намъ симпатична атмосфера бодрого настроенія и часто встрѣчающіяся слѣды упорныхъ исканій. Намъ симпатична группа «левитановцевъ», ужъ ничего не обѣщающихъ впереди, но остающихся на высотѣ серьезныхъ требованій. Жуковский, правда, повторяется и подчасъ впадаетъ въ вылощенную ремесленность. Повторяется и Виноградовъ, выставившій, однако, хорошія вещи. Юонъ сталъ чрезвычайно плодотворитъ и какъ будто утратилъ чувство колорита и равновѣсія въ красочныхъ пятнахъ. К. Коровинъ ничуть не утерять своей прежней виртуозности, но остался при старомъ: его *impressions* мало убѣдительны, черны и холодны, жестки и непріятны красочной поверхностью. Лучше прочихъ въ смыслѣ воздушности и красочности у него ночныя розы. Много лестнаго было сказано о Туржанскомъ, дѣйствительно отличающемся ловкимъ веденіемъ кисти и остающемся въ предѣлахъ масляной живописи. Его живопись—такого же «московского» пошиба, какъ у покойнаго С. Никифорова, но она не такъ чиста и колоритна. Антиподъ Туржанскому—А. Кравченко. Его импрессионизмъ граничитъ съ декоративностью; у него много нотъ прекрасныхъ и звучныхъ, но недостаточно углубленныхъ и длительныхъ, свойственныхъ скорѣе темперѣ, чѣмъ маслу. Самаго интереснаго Кравченка мы видѣли въ нынѣшнемъ году на выставкѣ «Современной живописи», объединившей не мало способной молодежи. Тамъ его небольшіе пейзажи блистали рѣдкими декоративными достоинствами и затѣйливой игрой пятенъ. Въ небольшихъ его реалистическихъ картинкахъ много свѣжей, подлинной поэзіи. Совершенно иного темперамента, но не менѣе интересенъ Бродскій. У него нѣтъ легкости и переливчатости



Кравченко; замѣнь этого—какое-то неторопливое, даже усидчивое исканіе стилистичности. «Италія»—быть можетъ самая продуманная картина «Союза» этого года. Мы рѣдко встрѣчали такой интересный, любовный подходъ къ южному пейзажу, столь истасканному во всѣхъ родахъ живописи. Художникъ стремился дать Италію во всей полнотѣ и насыщенности формъ, полнозвучности красокъ и декоративной силѣ. Смуглыя женщины и дѣвушки—торговки плодами и кораллами—сидятъ среди заманчиво разложеннаго товара. У нихъ надъ головами нависли спѣлыя гроздья; плоды круглятся и рдѣютъ, связанные въ пышныя гирлянды. Въ этихъ гирляндахъ всего больше сказанъ декоративный геній Италіи: гирлянды Помпеи, Мантеньи, Кривелли, Джованни да Удине наслѣдственно связаны въ одну драгоценную, непрерывную цѣпь.

Бѣдная русская скульптура имѣетъ въ рядахъ «Союза» единственнаго крупнаго представителя—Коненкова. Скульптура слабо прививалась къ русскому искусству; въ лицѣ Коненкова мы привѣтствуемъ *первый* примѣръ трактовки ея въ духѣ матеріала и пластической формы. Мы видимъ у него величайшую экономію въ плоскостяхъ и нерасчлененность поверхности, позволяющую художнику сохранить рельефъ и полноту формы. Мы привѣтствуемъ увлеченіе Коненкова архаикой—единственной школой, дающей всѣ преимущества синтетическаго, монументальнаго стиля. Намъ часто не симпатичны одутловатыя и скотскія лица его фигуръ, но въ тоже время насъ въ нихъ подкупаетъ безупречная нетронутость поверхности.

Московское товарищество—филиальное отдѣленіе «Союза»; это тотъ же «Союзъ», но блѣднѣе и эклектичнѣе, вызывающій на каждомъ шагѣ реминисценціи. Въ декоративныхъ эскизахъ Браиловскаго сказались и Брангвинъ, и «Шехеразада» Бакста. Въ рисункахъ Шперлинга мы находимъ второе изданіе Фернанда Кнопфа, во многихъ отношеніяхъ не уступающее оригиналу: та же гамма эффектовъ—миниатюрность отдѣлки, прозрачность тоновъ, освобождающая отъ всякой тѣлесности потустороннія и безплотныя видѣнія художника. На выставкѣ товарищества преобладаетъ отдѣлъ графики и декоративной скульптуры. Голубкина придерживается архаистическихъ формъ, что нѣсколькоближаетъ ее съ Коненковымъ; но она не имѣетъ его простоты и сжатости. Интересенъ анималистъ Ватагинъ, умѣющій сочетать въ своихъ скульптурахъ реальность съ декоративностью.

Большая часть обществъ, устроившихъ въ нынѣшнемъ году свои выставки, не является коллективами, объединившимися во имя какой-нибудь главенствующей идеи, а исповѣдуетъ лишь принципы

непротивленія и пріемлемости всего. Этимъ обществамъ, по всей вѣроятности, суждено исчезнуть во всевозможныхъ перетасовкахъ. Мы не беремся въ короткой формулѣ охарактеризовать ихъ дѣятельность. Мы можемъ лишь сказать, что въ средѣ этихъ обществъ, среди случайныхъ элементовъ, есть и интересные.

Изъ не менѣ случайныхъ элементовъ образовался «Бубновый валетъ», и если его члены и объединены какой-либо связью, такъ это неистовствомъ, съ которымъ они проводятъ въ жизнь формулу наименьшаго сопротивленія и безотвѣтственности передъ искусствомъ. Въ средѣ «Бубновыхъ валетовъ» есть несомнѣнные таланты, не немногіе изъ нихъ прошли путь эволюціи, ведущей отъ старыхъ идеаловъ къ абсолютной свободѣ выраженія; большинство вышло на новый путь съ пустыми руками, въ расчетѣ на безплатность перехода. Скороспѣлость и сырье—вотъ что проявляется прежде всего на подобныхъ выставкахъ. Намъ жалко молодежи, бросившейся безъ оглядки въ этотъ міръ кошачьихъ концертовъ и хаотическихъ какофоній—отнюдь не диссонансовъ,—не испытавъ своихъ силъ въ линіи и краскѣ. Прошедшіе искусъ борьбы съ формой—на голову выше остальныхъ на этой же выставкѣ. Но даже въ области «Аллегорическихъ изображеній Отечественной войны» наши *indépendants* ухитряются отличаться отъ иностранцевъ своей чудовищностью и доморощенностью. У болѣе культурныхъ мы видимъ лабораторные, головные эксперименты, выходящіе за предѣлы живописи. Вообще же дѣло пошло на чистоту. Перекричать всякое возможное *dernier cri* — вотъ символъ вѣры большинства причастныхъ къ «Бубновому валету».

На ряду съ попытками еще не познавшихъ жизни мы имѣли поучительный примѣръ полного развала неприемлющихъ ее. Художество передвижниковъ въ этомъ годѣ еще болѣе «Бубновыхъ валетовъ» далеко отъ всякой логики. Здѣсь нѣтъ никакой надежды: полное отсутствіе центровъ и омертвѣніе конечностей и при этомъ еще попытки молодиться. Вотъ ужъ подлинно—старая гвардія сдается, но не умираетъ!

Эммануиль Хусидъ.



## ПРОЕКТЪ ПРАВИЛЪ О ПРОДАЖѢ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХЪ УЧАСТКОВЪ.

(Письмо изъ Сибири).

Не годъ и не два говорятъ о кризисѣ переселенческаго дѣла, и говорятъ не зря, а на основаніи фактовъ. Общественная мысль, въ частности—сибирская, отмѣчаетъ острую необходимость его переустройства въ смыслѣ допущенія общественныхъ силъ для преслѣдованія преимущественно культурно-экономическихъ задачъ. Только руководящее вѣдомство глухо къ этому. Несмотря на указанія жизни и общества, оно упорно идетъ своею дорогой, связанной съ правительственной аграрной политикой, возвращенной еще покойнымъ Столыпинымъ. Вотъ и послѣдній законопроектъ, составленный переселенческимъ управленіемъ и перешедшій по наслѣдству къ четвертой Гос. Думѣ, дышитъ «духомъ и истиной» покойнаго премьера. Даже больше: этимъ законопроектомъ какъ будто исполняютъ его завѣщаніе, выраженное въ запискѣ о поѣздкѣ въ Сибирь въ 1910-мъ году. Въ ней покойный премьеръ совместно съ главноуправляющимъ земледѣліемъ и землеустройствомъ, г. Кривошеинымъ, писали: «Нельзя по всей Азіатской Россіи раздавать землю даромъ, на однихъ и тѣхъ же условіяхъ, не различая лучшей земли отъ худшей. При такомъ положеніи вещей никто не пойдетъ на худшія земли. Въ Семирѣчьи, на Алтаѣ, въ лучшихъ киргизскихъ волостяхъ землю, имѣющую здѣсь уже теперь значительную цѣнность, безусловно слѣдуетъ не давать, а продавать переселенцамъ». Авторы приводятъ въ примѣръ Саройскую волость и продолжаютъ: «Разумѣется, продажа переселенческихъ участковъ за деньги не можетъ быть повсемѣстнымъ и общимъ правиломъ: при бѣдности переселенцевъ это слишкомъ затрудняло бы переселеніе, и безъ того связанное съ затратами на переѣздъ, разработку участковъ и обзаведеніе хозяйствомъ на новомъ мѣстѣ. Въ глухихъ урманахъ, въ бездорожной тайгѣ или въ полосѣ скудныхъ, безводныхъ степныхъ пастбищъ, за многія сотни верстъ отъ желѣзной дороги, на многіе участки не нашлось бы и покупателей. Но въ лучшихъ переселенческихъ районахъ переходъ къ продажѣ земель является вполне своевременнымъ». Мѣра эта требуетъ законода-

тельнаго утвержденія, такъ какъ Высочайшій указъ отъ 27 авг. 1906 г. о порядкѣ продажи крестьянамъ казенныхъ земель не коснулся Азіатской Россіи». «Основныя начала указа 27 авг. 1906 г., воспроизводящія въ сущности практику Крестьянскаго Банка, могутъ быть сохранены и для Сибири, и лишь обязанности землеустроительныхъ комиссій перейдутъ при этомъ къ переселенческимъ учрежденіямъ».

Вотъ канва. По ней и вышты самыя «Правила». Обоснованіе ихъ состоитъ лишь изъ буквального повторенія этого мѣста записки. Сначала они заключали въ себѣ 11 статей. Послѣ въ Совѣтѣ министровъ прибавили еще одну.

Остановимся прежде всего на вопросѣ, насколько этотъ проектъ отвѣчаетъ жизненнымъ условіямъ. Есть ли, въ самомъ дѣлѣ, покупатели?

Покупка земли переселенцами въ предѣлахъ Сибири наблюдается, большею частью, въ замаскированномъ видѣ. Приписку къ старожильческимъ обществамъ иначе и нельзя разсматривать, какъ своеобразную покупку. Приписывающіеся нерѣдко платятъ обществамъ по нѣсколько сотъ рублей. Въ теченіе 1911-го года посредствомъ такихъ уплатъ приписалось 242 ходока, записавъ землю на 882 души своихъ довѣрителей. Это—ходоки легальные. Кромѣ нихъ были еще ходоки безъ установленныхъ документовъ. 590 изъ нихъ взяли приѣмные приговоры на 1824 души. Помимо этого купили и арендовали землю 386 легальныхъ ходоковъ и 1173 «бездокументныхъ». Всего, значить, прибѣгло къ покупке въ той или иной формѣ 2187 ходоковъ изъ 26644. Въ переводѣ на проценты получаемъ 8,2. Въ тѣхъ же мѣстностяхъ, на которыя предполагается распространить эти правила, этотъ процентъ еще ниже. Въ Тобольской губерніи приписались по приѣмнымъ приговорамъ 81 ходокъ, купило и арендовало 14—всего 95 изъ 2091 или 4,06% на всѣхъ посѣтившихъ губернію; въ Акмолинской области—10 и 129, всего 139 изъ 3342 или 4,19%; въ Семирѣченской по приѣмнымъ приговорамъ не приписывались, только 4 ходока изъ 452 купили и арендовали (0,2%).

Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ 1912-го года, съ 1 февраля по 1 апрѣля, изъ 2592 приписалось 96, купило и арендовало 73, итого 169 или 6,5%.

Около трети этихъ 169 даютъ 7 малороссійскихъ губерній, входящихъ въ составъ Южно-Русской Обл. Земск. Пересел. Организациі. Изъ 369 ходоковъ этихъ губерній 54 (14,6%) воспользовались припиской и покупкой: 23 приписались, 31 купили и арендовали.

Официозные писатели изъ «Вопросовъ Колонизаціи» въ нѣсколькихъ статьяхъ доказывали наличность мобилизаціи земель въ Западной Сибири. Мы думаемъ, достаточно и тѣхъ цифровыхъ данныхъ, которыя приведены выше; и изъ нихъ ясно, что земельная мобилизація существуетъ.

Важно, кто ее создалъ. Создало ее само переселенческое вѣдомство всей своей политикой, въ частности—лихорадочнымъ заготовленіемъ на-спѣхъ переселенческихъ участковъ безъ достаточнаго культурнаго оборудованія, въ глухихъ таежныхъ мѣстностяхъ. Доказательства этому можно встрѣтить ежедневно въ сибирскихъ газетахъ.

Косвенно это явствуетъ даже изъ цифръ самого переселенческаго вѣдомства. Не даромъ же у него прошлогодняя ходаческая кампанія окончилась такъ неудачно: свыше 59 проц. всѣхъ ходокъ вернулись, не зачисливши доли.

Съ введеніемъ въ дѣйствіе правилъ о продажѣ этотъ процентъ будетъ еще выше. Въ продажу пойдутъ лучшіе участки (степные и черноземные). Бесплатно будутъ отводиться таежные въ Восточной Сибири, наиболѣе трудные, гдѣ переселенцы чуть не въ лоскъ разоряются. Именно въ этихъ мѣстахъ и нужны состоятельные переселенцы, а не въ Зап. Сибири, гдѣ все-таки дешевле поднимать хозяйство, чѣмъ въ Восточной.

Наличность покупки и аренды земель переселенцами въ прошломъ врядъ ли можетъ служить обоснованіемъ такого мѣропріятія, какъ продажа казенныхъ участковъ въ будущемъ.

Не экономическая мощь, а *экономическая необходимость*, созданная самимъ переселенческимъ вѣдомствомъ, заставляла (а въ будущемъ тѣмъ паче заставлять будетъ) прибѣгать къ покупке земель, хотя бы даже и казенныхъ. Въ теченіе 1907—1911 г.г. въ Сибирь прошло 2.665.000 переселенцевъ. Изъ нихъ обратно вернулось 257 тысячъ. Осталось, значитъ, не менѣе 2408 тыс. Водворено за это время 2281 тысяча. Остается 127 тысячъ. Возможно, что они и не зарегистрированные самовольцы принуждены были осѣсть на купленную или арендованную землю. Но вѣдь на это ихъ толкнуло не что иное, какъ недостаточная заготовка участковъ въ началѣ пятилѣтія и недоброкачественность заготовленныхъ въ концѣ.

Для 1911-го года мы имѣемъ иллюстрацію къ этому по Кустайскому уѣзду (въ немъ теперь будутъ продаваться участки). Изъ числа опрошенныхъ агентомъ Лось-Рощковскимъ <sup>1)</sup> ходокъ

1) „Свободное хозяйство“, въ № 52 „Изв. Южно-Русской Областной Земской Переселенческой Организациіи.“



64,1% не зачислило долей въ виду отдаленности отъ желѣзной дороги, плохой почвы и т. п. Въ это же время «слухи о предположеніи правительства продавать нѣкоторые участки чрезвычайно быстро распространились среди ходоковъ; многіе прямо заявили, что осматривать участки они не пойдутъ, такъ какъ все хорошее пойдетъ на продажу, а никуда негодное имъ не нужно. Нѣкоторые просили указать имъ для ознакомленія ту мѣстность, гдѣ предполагается наръзка продажныхъ участковъ, собираясь купить. Такихъ было около 1/6 ходаческой массы.

Что же, это были богачи?—Нѣтъ: это просто охваченные жаждой хорошей земли. Въ томъ-то и дѣло, что богачей среди переселенческой массы нѣтъ. Въ томъ же 1911-мъ году въ своей Омской конторѣ агенты областной (южно-русской) земской пересел. орг. опросили 884 ходока, по скольку понесутъ на новые мѣста ихъ довѣрители. Оказалось, что только 3% поѣдутъ съ суммами свыше 2000 р. При цѣнности земель въ Зап. Сибири, опредѣляемой даже офиціозными изслѣдователями «Вопросовъ Колонизаціи» въ среднемъ въ 50 р. за десятину, съ меньшей суммой и соваться рискованно.

Правда, покупателямъ-переселенцамъ, согласно 9-ой статьѣ правилъ, будетъ приходиться на помощь Крестьянскій Банкъ. «Уплата причитающихся за проданную землю денегъ, по ходатайствамъ покупателей, можетъ быть разсрочена полностью или въ части, на 20 лѣтъ, безъ начисленія % %, равными частями». Порядокъ взысканія разсроченныхъ платежей, а также, въ случаѣ надобности, льготы въ ихъ взносѣ устанавливаются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ для лицъ, приобретающихъ землю при помощи Крестьянскаго Банка.

Сравнительно съ Европейской Россіей правила въ нѣкоторой степени и снисходительны, и строги. Не начисляется %, но за то разсрочка короче по крайней мѣрѣ въ 2 раза. Порядокъ взысканія тотъ же, что и въ Россіи. Значить, дѣло грозитъ тѣми же фактами отобранія и отдачи въ аренду, какъ и въ Европ. Россіи.

Рядовая, выше средней состоятельности, семья возьметъ, скажемъ, участокъ въ 25 десятинъ. Сразу она должна внести не менѣе 40% стоимости, значить 500 р. Рублей 500 у нея останется на домообзаводство. До неурожая она еще какъ-нибудь пробьется, но первый же неурожай ее въ доскъ разорить.

## II.

Сибирскіе старожилы давно ужъ замѣчаютъ, что «обрастается» Сибирь, т. е. въ массѣ ея населеніе становится такъ же бѣдно и

такъ же ему становится жить непривольно, какъ и по ту сторону Урала. «Золотое дно» сибирскаго житья-бытья давнымъ давно стало достояніемъ преданія.

«Вотъ набралось этой самоходни и пошло утѣшеніе». Дѣйствительно, сибирское утѣшеніе, выражающееся преимущественно въ «пристрастномъ» землеустройствѣ старожилаго населенія, совпадаетъ съ широкимъ переселенческимъ движеніемъ. Ради переселенцевъ переселенческое вѣдомство уѣкаетъ площадь старожильского землевладѣнія и землепользованія. Въ этомъ, конечно, переселенцы нисколько не виноваты, но въ минуты раздраженія не всякій способенъ видѣть истинныхъ виновниковъ. Такъ и здѣсь.

Преслѣдуя свои цѣли, не лишены охранительныхъ задачъ, переселенческое вѣдомство ради количества нисколько не стѣсняется разными нравственными и законническими соображеніями. Дитя Столыпинскаго духа, вѣтвь общей аграрной политики, переселенческое управленіе дѣйствуетъ почти вездѣ по тому широкому началу, которое выражено пословицей: своя рука—владыка.

Эта «своя рука—владыка» чувствуется въ каждой строкѣ разбираемаго законопроекта прямо съ первой же статьи. Мѣстности съ продажными участками ежегодно опредѣляются главноуправляющимъ земледѣлія и землеустройства въ Западной Сибири единолично, а въ средне-азиатскихъ владѣніяхъ—по соглашенію съ туркестанскимъ генераль-губернаторомъ.

Можетъ быть планъ продажи не съ вѣтру взять, не одна голая выдумка, а имѣетъ свои корни въ дѣйствующихъ узаконеніяхъ и является только дальнѣйшимъ ихъ развитіемъ?

Въ первой статьѣ есть ссылка на статьи 124—154 и 180-181 правилъ о переселеніи. Образованные въ порядкѣ ихъ переселенческіе участки къ продажѣ предназначаются.

Эти статьи говорятъ только вообще объ образованіи переселенческихъ участковъ безъ ущерба старожиламъ и тому подобныхъ красивыхъ, но отошедшихъ въ область воспоминаній условій. Въ нихъ только нѣтъ главнаго: *ни единой строчки о продажности образованныхъ участковъ.*

«Безъ ущерба старожиламъ». Какой стариной звучитъ теперь это выраженіе въ Сибири!

Можетъ быть это было когда-то... Только не помнимъ когда!—могутъ сказать теперь сибирскіе старожилы—крестьяне. Именно ущербъ-то и наносится имъ изъ года въ годъ. Старожилъ ужъ давно находится въ хроническомъ загонѣ у землеустроителей-практиковъ и у землеустроителей-законодателей. Послѣдніе даже обходятъ его тѣми благами частной собственности, о насущности которыхъ они

такъ громко говорить на всѣхъ путяхъ и распутяхъ своей аграрной политики.

3-ья статья устанавливаетъ, что «участки могутъ быть продаваемы на основаніи настоящаго закона *переселяющимся* изъ Европейской Россіи крестьянамъ и земледѣльцамъ другихъ сословій, по быту своему не отличающимся отъ крестьянъ, *за исключеніемъ лицъ*, получившихъ поземельное устройство и подлежащихъ таковому въ порядкѣ законовъ 23 мая 1896 г., 31 мая 1899 г. и 5 іюня 1900 г., съ дополнительными къ нимъ узаконеніями (особ. прилож. зак. о сост., кн. VI, изд. 1902 г., и продолж. 1906 г.) и при соблюденіи въ предѣлахъ Самаркандской, Сыръ-Дарьинской и Ферганской областей постановленій ст. 5 правилъ о переселеніи на казенныя земли (Особ. пр. зак. о сост., кн. VIII). Законами, на которые здѣсь сдѣлана ссылка, предусмотрѣно все старожилое населеніе Тобольской и Томской губ., Степного Края, Восточной Сибири и Средне-Азиатскихъ. Оно выкинуто изъ числа приобретающихъ куплей образуемые казенные продажные участки. Почему? Законы объ ихъ поземельномъ устройствѣ не заключаютъ въ себѣ ни одного мѣста, въ которомъ бы говорилось о запрещеніи имъ покупать хотя бы и казенную землю.

Можетъ быть они лишаются этого права въ виду своей полной обезпеченности?—И этого нѣтъ. У поземельно-устроеннаго старожилаго крестьянства встрѣчаются надѣлы по 6—4 десятины. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ощущается малоземелье. Въ Сибири существуетъ внутреннее переселеніе. Даже по свѣдѣніямъ самого переселенческаго управленія—въ отчетѣ за 1911-ый годъ—въ общероссійскомъ переселеніи оно занимаетъ свыше 10%.

Зачѣмъ-же ихъ выбрасываютъ?

Если такъ расправляются авторы правилъ вообще съ старожилами, то выкидывать инородцевъ «и Богъ велѣлъ», какъ говорится. Статья 4-я гласитъ: «Инородцы, туземцы Туркестанскаго края и иностранные подданные не могутъ приобретать указанныхъ въ ст. 1 участковъ ни отъ казны, ни при послѣдующихъ переходахъ отъ ихъ собственниковъ». Обнаруженные сдѣлки съ такими лицами будутъ признаваться недействительными и расторгаться по искамъ въ порядкѣ дѣлъ казеннаго управленія. Иного, послѣ ст. 3 и націоналистическаго курса, нельзя было и ожидать. Въ этомъ есть хотя и нецѣлесообразная, но своя собственная логичность», «логичность» чиновниковъ и курса...

«Логичность» эта, конечно, не соответствуетъ жизненнымъ требованіямъ. Офиціозные писатели вѣдомства указывали, что инородцы и не нуждаются въ землѣ. Это «не нуждаются», скромно говоря,

«на водѣ вилами писано». Въ Акмолинской области есть же киргизы, арендующіе казачьи земли въ такъ наз. десятиверстной прииртышской полосѣ. Занятые киргизами офицерскіе участки составляютъ 144 тыс. десятинъ. Еще въ 1905 г. на нихъ кочевало 3.902 кибитки. Эти данныя сообщаются не гдѣ-нибудь, а въ № 10 «Вопросовъ Колонизаціи» (стр. 50—51).

Если бы мы видѣли полное, естественное отмирание скотоводческаго хозяйства у сибирскихъ инородцевъ и естественный переходъ ихъ къ земледѣлію, то такъ или иначе можно было бы, съ тѣми или иными ограниченіями и исключеніями, признать ихъ земельно-обеспеченными. Но мы видимъ обратное. Инородческое скотоводство погибаетъ неестественной смертію изъ-за сокращенія площадей инородческаго землепользованія. Это сокращеніе, напр. въ Восточной Сибири, грозитъ не очень хорошими послѣдствіями даже въ политическомъ отношеніи. Оно ставитъ Иркутскую губ. въ зависимость отъ Монгольскихъ скотоводовъ. При нынѣшнихъ тревожныхъ отношеніяхъ на Востокъ эта зависимость очень нежелательна.

Защитники нынѣшней переселенческой политики обосновываютъ земельное утѣшеніе инородцевъ тѣмъ, что десятина пашни приноситъ больше, чѣмъ десятина, идущая на удовлетвореніе нуждъ скотоводства.

Святая истина!.. Но вѣдь Сибири и мясо нужно. И не надо забывать, что не всякая десятина годна для пашни, а до «стойловаго содержанія скота» надо прожить еще не одно десятилѣтіе.

Эти двѣ статьи—3-я и 4-ая—бьютъ и выбрасываютъ не однихъ коренныхъ сибиряковъ. Удара ихъ не избѣгаютъ и обжившіеся переселенцы. Правда, они точно не указаны въ исключеніяхъ, но вѣдь ихъ можно подразумѣвать. Въ 3-ей статьѣ ясно сказано: «участки могутъ быть продаваемы... переселяющимся изъ Европейской Россіи крестьянамъ и земледѣльцамъ другихъ сословій, по быту своему не отличающимся отъ крестьянъ». Тотъ слой переселенцевъ, который мы имѣемъ въ виду, не упомянуть, да и многіе изъ него получили нѣчто въ родѣ землеустройства.

Въ концѣ концовъ будутъ происходить такія «исторіи». «Разживется» какой-нибудь Иркутскій новосель—да и надумаетъ въ Зап. Сибири чернозему купить. Явится, а ему могутъ отказать!

Въ связи съ этими же статьями нельзя не отмѣтить статью 2-ю. Она внесена Совѣтомъ министровъ. Полный текстъ ея таковъ: «Настоящія правила не распространяются на земли орошенныя въ Семирѣченской, Самаркандской, Сыръ-Дарьинской и Ферганской областяхъ изъ средствъ Государственнаго казначейства, отводъ которыхъ частнымъ лицамъ опредѣляется особыми правилами».

Такимъ образомъ, самыя лучшія земли, на которыя казна затратила «особыя» средства, подъ дѣйствіе правилъ не подойдутъ. Возникаетъ вопросъ: какія же земли будутъ продавать на основаніи правилъ? Богарныя (не поливныя) не очень-то хороши.

Какъ видно изъ официальной записки, земли, упомянутыя въ ст. 2, желательно сдавать во временную аренду предпринимателямъ, чтобы они вполне оросили ихъ. Съ теченіемъ времени, приведенныя въ вполне культурное состояніе, онѣ должны возвратиться опять въ казну... А тамъ, вѣроятно, опять будутъ сдаваться въ аренду крупнымъ предпринимателямъ.

При подробномъ ознакомленіи съ законопроектомъ оказывается, что авторы правилъ даже и самихъ-то покупателей «угостили такимъ «благодѣяніемъ», что «хочешь стой, хочешь падай».

Статья 5-ая гласитъ (привожу полностью): «Указанные въ статьѣ первой участки продаются какъ отдѣльнымъ домохозяевамъ, такъ и товариществамъ домохозяевъ. Товарищества эти образуются примѣнительно къ правиламъ установленнымъ для крестьянскихъ товариществъ, приобретающихъ земли при содѣйствіи Крест. Банка (т. XI ч. 2 св. зак., уст. кред., прил. къ ст. 45, примѣч.), съ непремѣннымъ, при этомъ, опредѣленіемъ земельного пая каждаго участника товарищества *и съ правомъ производить хозяйственныя распоряженія, общее по товариществу разверстаніе и выдѣлы отдѣльныхъ паявъ по постановленіямъ не менѣе половины всѣхъ членовъ товарищества. По истеченіи 3-хъ лѣтъ со времени образованія товарищества выдѣлы могутъ быть, по требованію не менѣе  $\frac{1}{5}$  части членовъ товарищества, производимы и обязательны.*

Производство дѣлъ по такимъ требованіямъ, укрѣпленіе и выдача документовъ на укрѣпляемые участки относится къ обязанностямъ крестьянскихъ учреждений, а въ предѣлахъ Семирѣченской, Сыръ-Дарьинской и Ферганской областей—къ обязанностямъ состоящихъ въ главномъ управленіи землеустройства и земледѣлія лицъ и учреждений, вѣдающихъ переселеніе на мѣстахъ, *примѣнительно къ порядку, установленному закономъ 14 іюня 1910 года.*

Мы подчеркнули самое оригинальное и вмѣстѣ съ тѣмъ противорѣчащее существующимъ узаконеніямъ примѣненіе началъ 14 іюня 1910 года.

До сихъ поръ дѣйствіе закона 14 іюня, распространялось только на 48 губерній Евр. Россіи. Сибирь на время отъ него была спасена. Правда, общиноборство и въ ней существуетъ, но не въ такихъ предѣлахъ, какъ по этому закону. Еще покойный Столыпинъ, совместно съ г. Кривошеиннымъ, послѣ своей поѣздки по Сибири, писалъ о необходимости распространенія сферы дѣйствія этого закона



на всю Сибирь и Средне-Азіатскія владѣнія. Примѣнительно къ этому указанію выработанъ былъ и законопроектъ о землеустройствѣ въ Сибири. Онъ не былъ утвержденъ и даже рассмотрѣнъ третьей Государственной Думой.

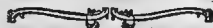
Поэтому вѣдомство, пока что, повело свое общиноборство путемъ массы циркуляровъ, заимствуя для нихъ законное основаніе только изъ одного источника: изъ ст. 12 Общ. Положенія о крестьянахъ, которая несомнѣнно не даетъ того, что законъ 14 іюня.

Разбираемая статья 5-ая проектируемыхъ правилъ въ сущности вводитъ въ Сибирь основныя начала этого закона.

Съ самого начала устанавливается въ товариществахъ размѣрная. Вѣроятно, чтобы затруднить возникновеніе передѣловъ. Паи можно выдѣлять по требованію половины товарищества; а не большинства. Черезъ три года выдѣлы уже могутъ быть производимы по требованію меньшинства:  $\frac{1}{5}$  всѣхъ товарищей.

Какъ видно изъ текста вышеприведенной статьи, приобрѣтеніе участковъ товариществами должно совершаться «примѣнительно къ правиламъ, установленнымъ для крестьянскихъ товариществъ, приобрѣтающихъ земли при содѣйствіи Крестьянскаго Поземельнаго Банка». Въ скобкахъ есть и ссылка на существующія узаконенія. Между тѣмъ, именно приложеніе къ ст. 45 Устава Крест. Банка въ самомъ началѣ ясно и точно устанавливаетъ: «Товарищества крестьянъ, приобрѣтающія земли при содѣйствіи Крестьянскаго Поземельнаго Банка, владѣютъ означенными землями съ соблюденіемъ условій заключеннаго товариществами при покупкѣ земли договора». А по ст. 5-ой эти условія диктуетъ продавецъ (казна). Насильственность въ аграрныхъ мѣропріятіяхъ ввелъ въ систему покойный Столыпинъ. Нынѣшніе землеустроители поступаютъ по его завѣщанію.

СЕРГѢЙ КРАЙСКІЙ.



## ЗАМѢЧАТЕЛЬНОЕ ИЗСЛѢДОВАНИЕ.

— Однодневная перепись начальныхъ школъ въ Имперіи, произведенная 18-го янв. 1911 года. Вып. I. С.-Петерб. учебный округъ. Ред. В. И. Покровскаго. Спб., 1913.

Съ того великаго момента, когда Россія пріобрѣла представительныя учрежденія, у насъ почувствовался недостатокъ точныхъ, достаточно обильныхъ статистическихъ свѣдѣній по всѣмъ сторонамъ государственнаго быта. Примѣромъ тому можетъ служить область народнаго образованія, столь важная для страны, вступающей, наконецъ, въ цѣль благоустроенныхъ европейскихъ государствъ. Хотя у насъ и были попытки, напр. въ 1880 году, школьныхъ переписей, но безъ соблюденія главнѣйшаго статистическаго правила—*однодневности* переписи. Въ министерствѣ А. Н. Шварца былъ выработанъ проектъ всероссійской однодневной переписи, которая и была произведена 18 марта 1911 г.

Въ настоящее время, послѣ старательной и быстрой разработки, подъ руководствомъ нашего извѣстнаго статистика В. И. Покровскаго, появилась первая ласточка этой новой эпохи нашего начальнаго народнаго просвѣщенія. Первый выпускъ переписи заключается въ себѣ *шесть губерній* С.-Петербургскаго учебнаго округа (Архангельская, Вологодская, Новгородская, Олонецкая, Псковская и Петербургская). Перепись удалась вполнѣ, несмотря на новизну и другія многочисленныя затрудненія новаго дѣла. Запрошенныя свѣдѣнія были получены отъ всѣхъ мѣстныхъ инспекцій начальныхъ училищъ. Изъ восьми съ половиною тысячъ опрошенныхъ школъ округа не прислали никакихъ свѣдѣній только всего *три школы*—ничтожное число, которое, конечно, не измѣняетъ цѣнности изслѣдованія.

Первыя школьныя переписи, какъ всѣ серьезные статистическіе труды, представляютъ собою такую огромную массу голыхъ цифръ, что обыкновенному читателю въ высшей степени трудно уяснить себѣ ихъ содержаніе и получить должные выводы. Этой-то дѣли мы и хотимъ посильно содѣйствовать въ настоящемъ краткомъ очеркѣ.

Изъ разсмотрѣнія краткихъ историко-статистическихъ свѣдѣній,

составляющихъ введеніе къ новому труду, мы прежде всего усматриваемъ быстрый ходъ распространенія грамотности въ народѣ. Въ шести губерніяхъ округа въ 1880-мъ году насчитывалось всего лишь 1.598 начальныхъ губерній, съ 61.922 учащимися, съ незначительнымъ расходомъ на нихъ—немного больше *полумилліона* рублей. Всего черезъ 14 лѣтъ картина сильно измѣнилась: къ 1894-му году число сельскихъ училищъ въ предѣлахъ С.-Петербургскаго учебнаго округа увеличилось на 70%, число учащихся—еще больше: всего на 95, мальчиковъ—на 80, а дѣвочекъ—даже на 141%.

Наибольшимъ подъемомъ школьнаго дѣла отличается послѣднее пятилѣтіе, когда въ округѣ было открыто 1.983 новыя начальныхъ школы, т. е. по 396 школъ слишкомъ въ годъ. Очевидно, какъ ни медленно мы двигаемся въ своемъ образованіи, но въ этой части его,—по крайней мѣрѣ въ Петербургскомъ округѣ,—сдѣланъ крупный шагъ впередъ, хотя въ то же время число самыхъ элементарныхъ и несовершенныхъ, такъ называемыхъ «школъ грамоты», сократилось во всѣхъ безъ исключенія губерніяхъ округа болѣе, чѣмъ въ четыре раза: онѣ ежегодно вытѣсняются болѣе совершенными типами школьнаго образованія.

Учащихся насчитывается нынѣ 306.000, т. е. въ *пять разъ* болѣе сравнительно съ 1880-мъ годомъ.

Соотвѣтственно выросло число учителей и особенно учительницъ. Въмѣсто 1.623 лицъ учащаго персонала въ 1880 г., нынѣ число ихъ достигло 8.961 (изъ нихъ учительницъ 5.577).

Подводя итоги ко всѣмъ указаннымъ даннымъ, мы получаемъ слѣдующія внушительныя цифры:

	Число школъ.	Законо- учителей.	Учите- лей.	Учитель- ницъ.
Всего въ 6 губ. округа	8.304	6.837	3.948	7.742
въ томъ { въ городахъ	1.070	1.098	438	2.092
числѣ { въ селеніяхъ	7.234	5.739	3.510	5.644

Въ то же время зарегистрировано учащихся во всѣхъ начальныхъ училищахъ шести губерній 246.568 мальчиковъ и 143.059 дѣвочекъ.

Весьма важно, въ интересахъ народнаго просвѣщенія, чтобы наличное число школъ вмѣщало всѣхъ дѣтей, желающихъ учиться. Къ сожалѣнію, въ этомъ отношеніи, народныя желанія опередили дѣйствительность; мы встрѣчаемъ повсюду печальный фактъ постоянныхъ и многочисленныхъ отказовъ въ пріемъ дѣтей въ школу: въ одномъ 1910-мъ году было отказано въ пріемъ 25.514

дѣтямъ, въ томъ числѣ 15.087 мальчикамъ и 10.427 дѣвочкамъ. Отказы мальчикамъ составляли почти 6%, дѣвочкамъ — почти 7% школьнаго состава.

Рядомъ съ этимъ крупнымъ недостаткомъ имѣется другой, еще болѣе важный, который едва ли удастся скоро побѣдить даже при введеніи закона объ обязательномъ обученіи. Мы разумѣемъ оставленіе школы дѣтьми или обратное взятіе ихъ до окончанія курса, что, конечно, обусловливается массой разныхъ причинъ, во многомъ случайныхъ. Несмотря на всю ревность къ опредѣленію дѣтей въ школу, обнаруживаемую числомъ отказовъ въ пріемъ по недостатку мѣста, далеко не всѣ дѣти кончаютъ курсъ ученія. Изъ 407.146 учащихся въ 1910-мъ году окончили курсъ начальной школы лишь 12,3%, въ томъ числѣ 34.375 мальчиковъ и 15.898 дѣвочекъ. Въ то же самое время гораздо большее число дѣтей, почти до 17% всѣхъ учащихся, оставили школу по неизвѣстнымъ причинамъ, въ томъ числѣ 40.325 мальчиковъ и 27.917 дѣвочекъ. Очевидно, у насъ для дѣвочекъ цѣнится обученіе очень мало: подучить немножко грамотѣ — и будетъ. Число оставившихъ школу у насъ на 35% больше, чѣмъ окончившихъ; между тѣмъ, школьные расходы черезъ это нисколько не уменьшаются и, слѣдовательно, значительная ихъ часть пропадаетъ даромъ, что при нашей бѣдности чрезвычайно важно.

Какими способами и какъ уменьшить это зло — это должны рѣшить педагоги; могу лишь въ утѣшеніе разсказать, что это зло въ большей или меньшей степени встрѣчается и во всѣхъ странахъ съ обязательнымъ школьнымъ обученіемъ. Моя жена, Е. Н. Янжуль, разсказывала мнѣ, что она слышала много разъ о томъ же явленіи въ Америкѣ. Въ школахъ Чикаго, напр., при объясненіи того факта, что старшіе классы показываютъ всегда гораздо меньшую наличность учащихся, чѣмъ классы младшіе, учительницы объясняли, что онѣ не въ состояніи бороться съ этимъ постояннымъ зломъ: родителямъ свойственно брать ребенка изъ школы какъ только онъ становится постарше, а общественное мнѣніе въ Америкѣ не благопріятствуетъ строгому примѣненію закона объ обязательномъ обученіи. Съ другой стороны, мнѣ припоминается, что въ Англіи, гдѣ, обратно съ Америкой, законы соблюдаются очень строго, отчеты фабричныхъ инспекторовъ испещрены перечисленіемъ многочисленныхъ случаевъ штрафовъ на родителей, наложенныхъ мировыми судьями за непосылку дѣтей въ школу. Очевидно, эти штрафы и тамъ мало помогаютъ дѣлу.

Справедливыя жалобы у насъ повсюду вызываетъ краткая продолжительность нашего учебнаго года. Новая перепись приноситъ по этому предмету новыя интересныя данныя: оказывается, что въ горо-

дахъ продолжительность ученя, за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней и вакаціоннаго времени, составляла 174 дня въ году, а въ селеніяхъ—всего лишь 152 дня, съ нѣкоторой разностью для школъ отдѣльных мѣстностей и вѣдомствъ. Минимумъ продолжительности занятій опускается, напр., въ школахъ православнаго исповѣданія даже до 150 дней въ году; максимумъ, встрѣчаемый иногда въ школахъ мин. нар. пр., не превышаетъ 174 дней. Наиболѣе прилежными изъ городскихъ училищъ оказываются школы въ губерніяхъ Петербургской, Архангельской и Вологодской, наименѣе—въ губ. Новгородской и Олонецкой. Очевидно, причины явленія лежатъ не въ холодномъ климатѣ, какъ можно было бы съ перваго раза подумать.

Само собою разумѣется, что успѣхъ школьныхъ занятій въ значительной степени зависитъ отъ удобства школьныхъ помѣщеній, о которыхъ также собраны новыя данныя переписью 18-го января 1911 года. Оказывается, что въ Петербургскомъ учебномъ округѣ почти четыре тысячи начальныхъ школъ (3.914) пользуются собственными или даровыми помѣщеніями, *болѣе четырехъ тысячъ* (4.360)—наемными. Этотъ фактъ кладетъ печать на удобства школьнаго помѣщенія. Нѣтъ сомнѣнія въ необходимости постепенно перейти къ школамъ съ 4-мя отдѣленіями, но недостатокъ школьныхъ помѣщеній служитъ однимъ изъ важнѣйшихъ къ тому препятствій. Кромѣ того, какъ правило, число желающихъ учиться растетъ быстрѣе, чѣмъ число и просторъ школьныхъ помѣщеній.

Наибольшее число школъ съ наибольшимъ кубическимъ содержаніемъ помѣщеній встрѣчается въ Олонецкой, Петербургской и въ Вологодской губерніяхъ. Всего лучше, повидимому, помѣщенія желѣзнодорожныхъ училищъ, которыя зато часто такъ многолюдны и переполнены, что для каждаго учащагося все же приходится мало мѣста и воздуха.

Значительное мѣсто въ отчетѣ о переписи занимаютъ данныя объ учащихся и учащихся, начиная съ ихъ возраста. Вообще, замѣчается тенденція все большаго и большаго преобладанія между учащими лицъ женскаго пола. Учащихъ по общеобразовательнымъ предметамъ оказалось въ годъ переписи 11.594, изъ коихъ учителей 3.901 или нѣсколько больше 33%, а учительницъ 7.693, т. е. свыше 66%. Всего болѣе женскій преподавательскій персоналъ преобладаетъ въ Псковской (72%) и Вологодской (71%) губерніяхъ.

И между учителями, и между учительницами очень много лицъ отъ 21 до 25 лѣтъ (болѣе 42%). Пожилыхъ и, тѣмъ болѣе, старыхъ—очень немного.

Очень сложный вопросъ—семейное положеніе учебнаго персонала въ Европѣ.—апрѣль. 1913.



сонала, къ которому въ разныхъ мѣстахъ относятся различно. Любопытно, что между женщинами-преподавательницами—одинаково и въ городахъ, и въ селеніяхъ—замѣчается совершенно одинаковое отношеніе къ браку (можетъ-быть, вслѣдствіе препятствій къ нему): только 11,5% персонала—замужнія, между тѣмъ какъ очень многіе учителя (свыше 64% въ городахъ и 43% въ селеніяхъ) состоятъ въ бракѣ.

Еще важнѣе возраста для преподавательскаго персонала, конечно, образовательный цензъ. Здѣсь рѣшительное преимущество и превосходство—на сторонѣ женщинъ. Лицъ съ высшимъ образованіемъ, учительствующихъ въ начальныхъ школахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія даннаго округа, мужчинъ 10, женщинъ—695; съ гимназическимъ образованіемъ учителей въ этомъ вѣдомствѣ состояло всего 12 человѣкъ, а женщинъ—1.318. Конечно, персоналъ болѣе образованный встрѣчается въ школахъ городскихъ и желѣзнодорожныхъ, и притомъ преимущественно въ Петербургской губерніи. Процентъ учителей съ цензомъ ниже средняго называется наименьшимъ въ губерніи Петербургской, а наибольшимъ—въ Архангельской.

Весьма важнымъ условіемъ для успѣшнаго хода школьной организаціи является продолжительность преподавательской работы на одномъ и томъ-же мѣстѣ. По этому вопросу перепись 18-го января 1911 года также до нѣкоторой степени освѣщаетъ дѣло. Перепись застала преподавателей, проработавшихъ болѣе 20 лѣтъ въ городскихъ общественныхъ школахъ: учителей—почти 77%, учительницъ 26,5%. Вообще, преподавательскія силы стремятся преимущественно въ городъ: въ училищахъ всѣхъ типовъ учителей, долго живущихъ на одномъ мѣстѣ 35%, а учительницъ болѣе 23%. Слабѣе всего держатся за учительскія мѣста или чаще мѣняють ихъ учащіе въ сельскихъ училищахъ, особенно одноклассныхъ (5%), въ церковно-приходскихъ, даже двухклассныхъ, (не болѣе 4%), и въ «школахъ грамоты» (только всего 3,5%). Вообще, слѣдовательно, зависимость продолжительности преподавательской дѣятельности отъ матеріальныхъ и культурныхъ условій не можетъ подлежать никакому сомнѣнію; училища лучше обставленныя всего болѣе удерживаютъ у себя учащихся.

На первомъ мѣстѣ стоитъ здѣсь вопросъ о вознагражденіи учительскаго труда. Въ свои данныя новая перепись совершенно правильно внесла не только обычное жалованье, но также наградныя деньги, періодическія прибавки и разныя временныя получки за случайное преподаваніе специальныхъ предметовъ (напр., временно, Закона Божьяго). Въ общемъ, средній годовой заработокъ

учащихъ представляется въ слѣдующемъ видѣ: для учителей—отъ 367 рублей въ сельскихъ училищахъ до 592 р. въ городскихъ школахъ, для учительницъ—отъ 347 р. до 674 р., что объясняется, вѣроятно, высшимъ образовательнымъ цензомъ женскаго учительскаго персонала.

Всего лучше оплачивается преподавательскій трудъ въ Петербургской губерніи, гдѣ учителя получаютъ, въ среднемъ, по 422 р., учительницы—по 626 р. За Петербургскою въ нисходящемъ порядкѣ слѣдуютъ Олонецкая и прочія губернія округа. Въ городскихъ общественныхъ школахъ Петербурга среднее вознагражденіе учительскаго труда доходитъ для мужчинъ до 1014 р., для женщинъ—до 934 р.; нѣкоторымъ учащимъ предоставлена, сверхъ того, даровая квартира. Ниже всего вознагражденіе преподавательскаго персонала, конечно, въ наиболѣе элементарныхъ школахъ; ниже средняго оно въ церковно-приходскихъ школахъ и особенно въ «школахъ грамоты» (отъ 127 до 130 р. въ годъ).

Кромѣ жалованья, учащіе имѣютъ обыкновенно готовую квартиру при училищѣ (въ 7.708 школахъ, изъ общаго числа 11.255 училищъ, доставившихъ свѣдѣнія по этому предмету). Примѣрно, третья часть учителей имѣетъ квартиру на сторонѣ (3.547) и, наконецъ, въ нѣкоторыхъ—сравнительно рѣдкихъ—случаяхъ получаютъ квартирныя деньги.

По заведенному у насъ порядку, Законъ Божій преподается въ православныхъ школахъ спеціально духовенствомъ, особыми законоучителями. Встрѣчаются и исключенія: на 6.837 человекъ законоучителей приходится 1.696 учителей и учительницъ, которые, преподавая «свѣтскіе предметы», учатъ каждый въ своей школѣ и Законъ Божій.

Въ племенномъ составѣ учащихся шести губерній русскій элементъ занимаетъ, въ общемъ, отъ 87% до 92%; православную вѣру исповѣдуютъ въ свѣтскихъ школахъ 90%, въ церковно-приходскихъ—97,5%. Меньшинство составляютъ главнымъ образомъ лютеране и реформаты, которыхъ въ нѣкоторыхъ школахъ болѣе 6,5%.

Само собою разумѣется, что въ начальныхъ школахъ большая часть учащихся принадлежитъ къ крестьянскому сословію.

Продолжительность школьнаго ученія весьма разнообразна, но въ общемъ невелика: одинъ годъ—въ 42% или 43% всѣхъ училищъ, 2 — 3 года — отъ 47% до 49%, а свыше — лишь въ видѣ исключенія.

Послѣдняя глава введенія въ перепись посвящена чисто-финансовому вопросу—доходу и расходу училищъ. Здѣсь больше всего заслуживаетъ вниманія огромный прогрессъ, совершившійся въ

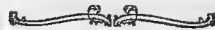
послѣдніе годы. По переписи 1880-го года въ шести губерніяхъ Петербургскаго Округа сумма всѣхъ школьныхъ доходовъ изъ всѣхъ источниковъ составляла немного больше *полумилліона* (583.827) рублей. Въ настоящее время, по переписи 1911-го года, эта цифра уже перешагнула *пять милліоновъ* рублей, т.-е. увеличилась почти въ десять разъ (5.093.086 р.).

Мы извлекли изъ перваго отчета по нашей первой однодневной переписи данныя, которыя показались намъ наиболѣе любопытными. Къ отчету приложены еще дополнительные данныя по Петербургскому округу, куда входятъ очень сжатые свѣдѣнія о школьныхъ бібліотекахъ, расходахъ на учебныя пособия, преподаваніе специальныхъ предметовъ, повторительныя занятія для взрослыхъ, чтенія для народа и устройство такъ назыв. общежитій и ночлежныхъ пріютовъ. Потребность въ послѣднихъ обусловливается разбросанностью селеній на нашемъ сѣверѣ и отдаленностью школы отъ дома для многихъ дѣтей. Ночлежные пріюты по новой статистикѣ существовали въ 1911 г. при 700 школахъ и ими пользовалось по всѣмъ главнымъ вѣдомствамъ около 15.000 дѣтей. Расходъ былъ значителенъ только по вѣдомству мин. нар. просв. (болѣе 17.000 р.). Болѣе всего этими оригинальными пріютами пользовались дѣти Псковской, Вологодской и Новгородской губерній, наименѣе, какъ и слѣдуетъ ожидать при болѣе густомъ населеніи—въ Петербургской.

Заканчивая наше бѣглое знакомство съ этимъ первымъ русскимъ опытомъ правильной переписи начальнаго образованія, мы не можемъ не пожелать отъ души, чтобы почтенному инициатору и руководителю переписи, извѣстному статистику нашему В. И. Покровскому, хватило силъ и здоровья благополучно довести дѣло до конца.

Нѣтъ сомнѣнія, что это многотрудное и благородное предпріятіе послужитъ на пользу нашего просвѣщенія, если только указанія переписи получатъ должное вниманіе у нашихъ законодателей и правителей.

Иванъ Янжуль.



## ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ 1909-мъ году въ «Русской Старинѣ» и затѣмъ въ первомъ томѣ книги «На жизненномъ пути», изданной въ 1912 году, помѣщены «воспоминанія судебнаго дѣателя» (А. О. Кони) о такъ называемыхъ уніатскихъ дѣлахъ. Въ нихъ послѣдовательно изложена исторія призрачнаго воссоединенія уніатовъ въ 1873—74 годахъ, сопровождавшагося для многихъ изъ нихъ весьма не призрачными карательными послѣдствіями въ видѣ ссылки однихъ изъ «упорствующихъ» въ прежней вѣрѣ—и публичной продажи имущества другихъ изъ нихъ для взноса наложеннаго, постепенно возрастающаго штрафа;—приведены Высочайше одобренныя постановленія совѣщаній и сущность переписки министровъ по вопросу о характерѣ мѣръ наказанія «упорствующихъ», и сообщены данныя о дѣятельности мѣстныхъ мировыхъ учрежденій по несогласному со смысломъ 29 ст. устава о наказаніяхъ преслѣдованію уніатовъ въ судебномъ порядкѣ. Подробно останавливаясь на дѣлахъ о такъ называемыхъ «краковскихъ бракахъ», по которымъ, вопреки разуму 37 ст. 1 ч. X т. св. зак. гражд., супруги, не согласившіеся подвергнуться разлученію отъ «купножительства», подвергались, какъ за неисполненіе законныхъ требованій власти, штрафу въ 50 рублей каждый или двумъ мѣсяцамъ ареста, разорявшимъ ихъ хозяйство и оставлявшимъ ихъ дѣтей на произволъ судьбы,—авторъ «воспоминаній» пишетъ о вызовѣ министромъ юстиціи Манасеинымъ, по его просьбѣ, въ Петербургъ предсѣдателя Сѣдлецкаго мирового съѣзда 2-го округа (въ которомъ сосредоточивалось большинство уніатскихъ дѣлъ), сдѣлавшаго докладъ о различныхъ видахъ уголовныхъ дѣлъ противъ «упорствующихъ», при чемъ министръ, выслушавъ затѣмъ подробный разборъ и оцѣнку юридическихъ основаній для такихъ преслѣдованій, далъ этому предсѣдателю соотвѣтствующія указанія и поручилъ, чтобы впредь такіа преслѣдованія, роняющія достоинство судебной власти и лишеныя законнаго основанія, не возбуждались. На ряду съ этимъ изложены тѣ объясненія, которыя имѣлъ по этимъ дѣламъ оберъ-прокуроръ уголовного кассационнаго департамента съ К. П. Побѣдоносцевымъ, согласившимся, въ концѣ концовъ, съ незаконностью практиковавшихся преслѣдованій «упорствующихъ»,—и съ Варшавскимъ генералъ-губернаторомъ І. В. Гурко, выразившимъ

глубокое несочувствіе уніатской эпопеѣ. Въ заключеніи «воспоминаній» указывается, что, несмотря на рѣшеніе сената, положившее конецъ судебному производству дѣлъ о «краковскихъ бракахъ», бывшіе уніаты стали привлекаться къ отвѣтственности по той же 29 ст. уст. о наказ. за непредставленіе дѣтскихъ метрикъ лицамъ, ведущимъ акты гражданскаго состоянія, что не составляетъ, однако, проступка, караемаго уголовными законами, почему дѣла и этого рода были прекращены, согласно рѣшенію сената.

Нынѣ бывшій предсѣдатель мирового съѣзда Н. А. Логановъ издалъ брошюру: *«Уніатскія дѣла въ воспоминаніяхъ А. О. Кони и въ дѣйствительности»*. Характеризуя въ ней отношеніе бывшихъ уніатовъ къ совершившемуся воссоединенію, онъ признаетъ, что первоначально послѣднее совершилось, повидимому, довольно благополучно, и лишь меньшинство приходовъ присоединилось формально подъ административнымъ давленіемъ; онъ находитъ, что тамъ, гдѣ Россія являлась только властной государственностью въ формѣ войскъ и правящаго чиновнаго класса, дѣло вѣры, предоставленное лишь собственному теченію, не могло не уклониться отъ даннаго государствомъ формальнаго направленія. Поэтому необходимо было дѣйствовать тѣмъ, что единственно было въ распоряженіи правительства, т. е. мѣрами государственными, но при осуществленіи преслѣдованій никакого давленія на чью-либо совѣсть или на религиозное убѣжденіе ни у кого изъ властей не было, а отъ «упорствующихъ» требовалось лишь исполненіе общегосударственнаго вышшняго порядка, по соблюденію котораго они, по мнѣнію автора, обвинявшись въ православной церкви или же окрестивъ своего ребенка по православному обряду, и представивъ по принадлежности метрику о томъ, оставались затѣмъ на полной религиозной свободѣ. Очертивъ съ этой точки зрѣнія происхожденіе дѣлъ объ «упорствующихъ», г. Логановъ стремится опровергнуть вышеприведенныя «воспоминанія», какъ несогласныя съ дѣйствительностью, утверждая, что, приглашенный, по желанію К. П. Побѣдоносцева, на совѣщаніе у министра юстиціи объ этихъ дѣлахъ, онъ *никакого доклада о нихъ не дѣлалъ*, что, наоборотъ, оберъ-прокуроръ А. О. Кони въ своемъ докладѣ часто указывалъ на неправильныя дѣйствія мирового съѣзда и кетати и некстати упорно повторялъ, что предсѣдатель и члены съѣзда сенатомъ будутъ *преданы* суду; что генералъ Гурко не только не относился *отрицательно* къ уніатскимъ дѣламъ, но, интересуясь ими, желалъ сохранить установившуюся по нимъ практику; что никакихъ указаній онъ, Логановъ, отъ министра юстиціи *не получалъ* и что, наконецъ, при уходѣ отъ министра, оберъ-прокуроръ уже на лѣстницѣ, на его вопросъ о



примѣненіи 29 статьи къ непредставленію метрикъ, призналъ такое примѣненіе согласнымъ съ закономъ. Въ подтвержденіе всего этого г. Логановъ ссылается, какъ на свидѣтеля, на одного изъ насъ, а именно на Е. Ф. Турау, занимавшаго въ то время должность прокурора Варшавской судебной палаты и приглашеннаго министромъ на совѣщаніе.

Къ сожалѣнію, въ интересахъ истины, мы считаемъ своимъ долгомъ заявить, что всѣ эти утвержденія Н. А. Логанова представляются несоотвѣтствующими дѣйствительности.

*Во-первыхъ*,—вызванный министромъ юстиціи одновременно съ прокуроромъ Варшавской судебной палаты для представленія подробнаго доклада о всѣхъ видахъ примѣненія 29-ой ст. уст. о наказ. къ «упорствующимъ», Н. А. Логановъ участвовалъ въ совѣщаніи у министра, и лишь послѣ его доклада оберъ-прокуроръ изложилъ свои соображенія по каждому изъ пунктовъ послѣдняго. *Во-вторыхъ*,—никакихъ указаній на преданіе суду кого бы то ни было на совѣщаніи никѣмъ не было сдѣлано уже потому, что отмѣна въ кассационномъ порядкѣ рѣшенія по неправильному толкованію закона отнюдь не связана съ преданіемъ суду, которое, притомъ, отъ уголовного кассационнаго департамента вовсе и не зависитъ. *Въ-третьихъ*,—на заявленіе Н. А. Логанова, что поводомъ для преслѣдованій по 29-ой статьѣ считается и непредставленіе упорствующими метрикъ, ему было указано, въ присутствіи членовъ совѣщанія, что для признанія въ подобныхъ случаяхъ законности требованій полицейской власти необходимо ближайшее ознакомленіе съ правилами о составленіи и веденіи книгъ народонаселенія въ Царствѣ Польскомъ, изъ коихъ можетъ явствовать, насколько представленіе метрикъ по требованію магистрата является обязательнымъ. *Въ-четвертыхъ*,—Н. А. Логановъ по окончаніи совѣщанія получилъ отъ министра юстиціи категорическія и руководящія указанія въ той именно формѣ, въ какой они изложены въ «воспоминаніяхъ судебного дѣятеля». *Въ-пятыхъ*,—отрицательное отношеніе І. В. Гурко къ преслѣдованіямъ «упорствующихъ», о которомъ упоминается въ «воспоминаніяхъ», подтверждается и неоднократными личными наблюденіями тогдашняго прокурора Варшавской судебной палаты. *Въ-шестыхъ*,—когда состоялось рѣшеніе Сената по первому дошедшему до него изъ Люблинскаго сѣзда 2-го округа дѣлу по обвиненію «упорствующихъ» въ непредставленіи метрикъ, которымъ приговоръ сѣзда былъ сенатомъ отмѣненъ за неправильнымъ примѣненіемъ 29-ой статьи уст. о наказ., то въ отвѣтъ на письмо Н. А. Логанова оберъ-прокуроръ сообщилъ ему объ этомъ рѣшеніи и привелъ мотивы такового, основанные на соображеніи спеціальныхъ правилъ,стребо-

ванныхъ отъ Варшавскаго губернатора, со свѣдѣніями отъ другихъ губернаторовъ о способѣ осуществленія этихъ правилъ.

Авторъ «уніатскихъ дѣлъ» считаетъ, что указаніе «воспоминаній» на «неуловимаго столоначальника», который «не дремалъ» въ изысканіи основаній для преслѣдованій упорствующихъ, относится *къ нему лично*. Онъ ошибается. Въ ставшихъ историческими словахъ императора Николая I: «Россіей управляютъ столоначальники» разумѣлись, конечно, не тѣ или другія опредѣленные физическія лица, а общій бюрократическій духъ, выражающійся въ привязанности къ рутинѣ и въ упорномъ нежеланіи отрѣшиться отъ сдѣлавшихся привычными взглядовъ и пріемовъ. Употребленное въ этомъ именно смыслѣ въ «воспоминаніяхъ судебного дѣателя» слово «столоначальникъ» никакъ не можетъ быть отнесено лично и исключительно къ Н. А. Логанову, ибо, хотя гминными судами 2-го округа Сѣдлецкой губерніи и было составлено по дѣламъ о непредставленіи метрикъ около ста обвинительныхъ приговоровъ, но въ постановкѣ послѣднихъ онъ, по закону, участія принимать не могъ. По поступленіи же тѣхъ изъ этихъ приговоровъ, которые были обжалованы осужденными, Сѣздъ подъ предсѣдательствомъ Н. А. Логанова, руководясь сообщеннымъ въ письмѣ оберъ-прокурора рѣшеніемъ Сената, постановилъ объ оправданіи послѣднихъ.

Говоря объ отношеніи «Петербурга» къ дѣламъ объ «упорствующихъ», авторъ брошюры «уніатскія дѣла въ дѣйствительности» находитъ, что дымка красивыхъ фразъ и общихъ мѣстъ, въ родѣ указанія на то, что «вѣра порождается исключительно благодатью Господней, поученіемъ, кротостью и добрыми примѣрами», затягиваетъ типичность и настойчивость фактовъ, касающихся этихъ дѣлъ. Дозволительно, однако, думать, что приводимое *общее мѣсто* не безъ основанія помѣщено въ 70 ст. XIV т. Св. Зак., въ раздѣлѣ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій противъ вѣры — и не даромъ повторено въ Высочайшемъ указѣ Правительствующему Сенату отъ 17 апрѣля 1905 года о вѣротерпимости, — и что *дымка* этой красивой фразы не можетъ затянуть такого типическаго факта, какъ дарованіе въ 1904-мъ году помилованія 192 бывшимъ уніатамъ, сосланнымъ, въ качествѣ упорствующихъ, административно, въ числѣ 47 семействъ изъ Сѣдлецкой въ Оренбургскую губернію.

14 Марта 1913 г.

А. Ф. Кони.  
Е. Ф. Турау.



## ПРОВИНЦІАЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Съѣздъ правыхъ дворянъ.—Разслоенія праваго дворянства.—Кошмары и страхи дворянства.—Страхъ предъ хулиганствомъ и надежды на репрессіи.—Ожиданіе погромовъ и вознагражденія за нихъ.—Призраки революціи.—Ненависть и страхъ предъ прогрессивной печатью.—Убогое и безсильное хватанье праваго дворянства за колесо исторіи.

Съѣздъ правыхъ дворянъ въ Петербургѣ, несомнѣнно, выявилъ частицу подлиннаго настроенія провинціи. Конечно, настроеніе это весьма узкое и специальное. Съѣздъ, въ сущности, не имѣлъ права говорить не только отъ имени провинціи, но даже отъ имени дворянства, такъ какъ неумолимая жизнь весьма сжала и сократила кучку упрямо-правыхъ дворянъ. Не говоря ужъ о кадетахъ и прогрессистахъ, куда, къ счастью, давно отошелъ лучшій цвѣтъ русскаго дворянства, за послѣдніе годы въ этой кучкѣ, видимо, произошла дальнѣйшая отслойка. Еще въ 1907 и въ 1908 г.г., на двухъ правыхъ земскихъ съѣздахъ въ Москвѣ, во главѣ правыхъ дворянъ и слитно съ ихъ настроеніемъ шли г.г. Родзянко, Крупенскій и другіе видные октябристы и націоналисты. Теперь и они отошли. И въ этомъ, хотя и скудный, но несомнѣнный плюсъ русской политической жизни. Третья Дума все-же втянула въ парламентскую работу нѣкоторую часть ретрограднаго дворянства, постепенно привила ему новые навыки и заставила какъ будто устыдиться прежняго реакціоннаго тона, въ которомъ продолжаетъ допѣвать безсильную воинственную пѣснь порѣдѣвшая кучка правыхъ дворянъ.

И все-же нельзя не признать, что въ этой кучкѣ звучатъ подлинныя голоса изъ провинціи. Какъ ни какъ, правые дворяне вкраплены въ глубокіе и чувствительные слои внутренней жизни. Все еще не распутаны, не развязаны и не разрублены узлы, плотно связавшіе экономическіе интересы земельного дворянства съ крестьянствомъ. Какъ ни какъ, правые дворянскіе голоса все еще вліятельно раздаются во многихъ нынѣшнихъ земствахъ (а нѣкоторыя злосчастныя земства, въ родѣ курскаго, всецѣло находятся во власти праваго дворянства). Какъ ни какъ, не исчезло еще вліяніе правыхъ дворянъ и на руководящія правительственныя сферы. Съ изу-

мленіемъ, на примѣръ, пришлось убѣдиться, что недавняя неудачная бесѣда министра внутреннихъ дѣлъ, съ иностраннымъ корреспондентомъ, коснувшаяся предположенныхъ мѣръ воздѣйствія на печать, оказалась совпавшей во многихъ пунктахъ съ проектомъ правыхъ дворянъ относительно печати.

Не излишне, поэтому, прислушаться къ голосамъ, идущимъ съ такой легкостью и безпрепятственностью отъ корней жизни къ верхушкамъ власти.

На сѣздѣ мнѣ пришлось присутствовать при обсужденіи трехъ главныхъ докладовъ: о хулиганствѣ, о вознагражденіи пострадавшихъ отъ аграрныхъ безпорядковъ и о печати. Настроеніе сѣзда и отдѣльныхъ дворянъ при этихъ преніяхъ опредѣлилось достаточно выпукло. Впереди всего шель страхъ. Страхъ передъ хулиганами, которые якобы звѣрьемъ рыщутъ вокругъ дворянскихъ усадьбъ, ненависть къ аграрнымъ бунтарямъ, отъ которыхъ уже пылали дворянскія гнѣзда и могутъ якобы запылать еще ярче въ неопредѣленно-близкомъ будущемъ, ненависть къ печати, которая якобы открыто и невозбранно подкармливаетъ и дразнитъ гидру революціи.

Любопытно и тягостно было наблюдать этихъ дворянъ, сѣхавшихся изъ 27-ми, кажется, губерній. Какую нужно испытывать оторванность отъ жизни страны, какое пужно чувствовать къ ней недовѣріе, боязнь, вражду, чтобы довести себя до такихъ кошмаровъ на яву!

Съ этими тревожными кошмарами, видимо, живутъ правые дворяне изо дня въ день, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ въ своихъ усадьбахъ и съ ними-же они пріѣхали въ Петербургъ. Чего-же можно ждать въ видѣ послѣдствій отъ подобнаго настроенія? Конечно, только воплей о помощи. Страхъ и ненависть могутъ диктовать только мольбу о репрессіяхъ, репрессіяхъ, репрессіяхъ...

Въ этомъ отношеніи настроеніе правыхъ дворянъ на сѣздѣ было слитнымъ и почти единодушнымъ. Съ горячимъ одобреніемъ принимались рѣчи ораторовъ, призывавшихъ къ обузданіямъ, карамъ и всякимъ репрессивнымъ воздѣйствіямъ на внутреннюю жизнь страны—и, наоборотъ, съ неудовольствіемъ, пожиманіемъ плечъ и саркастическими восклицаніями выслушивались болѣе мирныя рѣчи.

Когда В. І. Гурко, который почему-то пробовалъ на сѣздѣ брать ноты, похожія на прогрессивныя (можетъ быть, работа въ тверскомъ земствѣ съ его твердыми, прогрессивными традиціями все же положила нѣкоторый новый налетъ на взгляды этого представителя бюрократическихъ верховъ?), старался доказать довольно простую мысль, что разсадникомъ хулиганства являются города, а въ деревнѣ хулиганство замѣчается въ слабой, ничтожной степени

и что во всякомъ случаѣ нельзя предлагать для борьбы съ этимъ зломъ однѣ репрессивныя мѣры, а лучше бы подумать о просвѣтительныхъ средствахъ для оздоровленія нравовъ въ низахъ населенія,—члены собранія съ осужденіемъ качали головой, а всѣхъ многочисленныхъ возражателей г-ну Гурко провожали бурными аплодисментами.

Ропотъ общаго неудовольствія вызвалъ и кн. Ухтомскій (изъ Казанской губерніи), когда, зачинаясь, пробовалъ было сказать нѣсколько вразумляющихъ словъ о преувеличенномъ страхѣ дворянъ передъ хулиганствомъ.

— Мнѣ кажется все же преувеличеннымъ,—торопливо и скомканно говорилъ онъ, безпокойно поглядывая на несочувствующее собраніе,—будто бы хулиганство разрослось по всей Россіи и будто бы даже вся жизнь отъ него прекратилась. Въ нашей губерніи, на примѣръ, о хулиганахъ мало слышно. Я въ своемъ участкѣ ни одного хулигана не видѣлъ. Попадаются иногда пьяные, но...

Собраніе негодующе загудѣло:

— Вотъ какой счастливый! Скажите, пожалуйста! Пожили бы въ нашихъ мѣстахъ!...

Кн. Ухтомскій сконфузился и, бросивъ защиту невыгодной позиціи, быстро заговорилъ о мѣрахъ борьбы съ хулиганствомъ: объ ускореніи правосудія («а то буяновъ судятъ черезъ два года послѣ проступка»), о вознагражденіи буянами за вредъ, причиненный потерпѣвшимъ обывателямъ, объ обязательномъ трудѣ при отбываніи наказанія.

Но и эту часть рѣчи собраніе выслушало холодно, не наградивъ оратора ни однимъ хлопкомъ. Все это было слишкомъ мягко. Собраніе жаждало крѣпкаго, такъ сказать, зашенія деревни, которая представлялась дворянамъ сплошь хулиганствующей. Съ аплодисментами и одобрительными восклицаніями выслушивалась рѣчь докладчика А. И. Мосолова, который, защищая противъ г. Гурко свой докладъ (перечислявшій длинный рядъ мѣръ противъ хулиганства, начиная съ тѣлеснаго наказанія), съ увлеченіемъ и страстностью говорилъ:—Совершенно невѣрно, будто бы нѣтъ хулиганства въ деревнѣ. Главный бичъ деревни—хулиганство.

— Правильно! Вѣрно!—одобряетъ собраніе.

— И нельзя въ такое острое время,—продолжаетъ г. Мосоловъ,—говорить о какихъ-то воспитательныхъ мѣрахъ. Пока солнце взойдетъ, роса очи выѣстъ...

— Bravo! Вѣрно!...

— Хулиганство разлилось грязной волной по всей Россіи. Нельзя допускать, чтобы оно всосалось во всѣ поры населенія. Нуж-



ны экстренныя и рѣшительныя мѣры. Нельзя ждать 20—30 лѣтъ, пока просвѣщеніе окажетъ дѣйствіе.

И при шумныхъ одобреніяхъ собранія докладчикъ перечисляетъ карательныя и репрессивныя мѣры, которыя нужно стремительно обрушить на подозрительные элементы деревни.

Другіе ораторы съ увлеченіемъ изыскивали и высказывали, при явномъ сочувствіи собранія, всякія дополнительныя кары и разные виды острастки для деревни. Дворянинъ Шамшинъ предложилъ своего рода закрѣпощеніе деревенскаго населенія къ одному мѣсту.

— Большое упущеніе,—говорилъ онъ,—безконтрольная выдача паспортовъ. Это способствуетъ бродяжничеству. А бороться съ бродягами путемъ обязательныхъ постановленій—пустое дѣло. Штрафъ въ 500 рублей—вздоръ. Какъ его взыщешь съ человѣка, у котораго и рубля въ карманѣ не найдешь? Тюрьма на два—на три мѣсяца для такого молодца, какъ дача для чиновника средней руки. Это наказаніе не страшное.

И ораторъ предложилъ наказаніе посерьезнѣе:

— Самое страшное для хулигановъ—работа. Надо установить принудительный трудъ, въ видѣ ли краткосрочной каторги или въ видѣ особыхъ учрежденій для этого. А сверхъ того необходимо принимать и болѣе крутыя мѣры для непокорныхъ звѣрей. Эта гангрена заражаетъ всю деревню.

Собраніе покрыло злобныя слова оратора шумными аплодисментами.

Дворянинъ Офросимовъ попробовалъ скрыть жало противъ деревни въ quasi-отеческомъ тонѣ.

— Кому-же, какъ не дворянству высказаться объ этомъ злѣ—о хулиганствѣ въ деревнѣ?—гладко и патетически говорилъ онъ.—Города не подлежатъ вѣдѣнію дворянства. Но деревня принадлежитъ дворянству, какъ земскому, передовому сословію. Мы должны высказаться за крестьянство, какъ за младшаго брата, который не можетъ самъ высказаться.

И отеческая рѣчь развернулась дальше въ такомъ видѣ:

— Хулиганство разъѣдаетъ деревню. Дворянскія гнѣзда будутъ разорены, если оставить дѣло въ такомъ видѣ. Уже и теперь страшно выѣхать, напримѣръ, на земское собраніе, къ своему общественному долгу, и оставить однихъ жену и дѣтей, потому что ихъ могутъ оскорбить словомъ и дѣйствіемъ. Развился грабежъ, поджоги, убійства...

— Bravo!—не совсѣмъ кстати раздались одобрительныя восклицанія.

— Жить въ такомъ положеніи совершенно невозможно,—воз-

бужденно продолжалъ ораторъ.—Дворянскій съѣздъ долженъ постановить, что хулиганство развилось въ такое зло, отъ котораго вся жизнь остановилась. Нужно учредить такой законъ, чтобы въ борьбѣ съ этимъ зломъ не останавливаться предъ самыми суровыми мѣрами, какъ, на примѣръ, физическое воздѣйствіе. Это дѣлается въ такихъ просвѣщенныхъ странахъ, какъ Франція и Бельгія.

Большое удовольствіе доставило собранію краткое слово г. Пуришкевича.

— Въ этомъ вопросѣ,—мягко и спокойно, какъ бы высказывая самую безобидную и заурядную мысль, говорилъ онъ,—нужно разбирать слѣдствіе и причину. Хулиганство—слѣдствіе. А причина: печать и школа. Нужно бороться съ разнузданной печатью и съ разнузданными учебниками въ школѣ. А бороться съ хулиганствомъ, какъ уже мы рѣшили, нужно путемъ розги.

Предсѣдатель какъ будто сконфузился такой неприкрытости мнѣнія и попробовалъ возразить:

— Мы не постановляли, что бороться съ хулиганствомъ слѣдуетъ исключительно путемъ розги. Эта мѣра была указана въ числѣ многихъ другихъ мѣръ....

Однако, съѣздъ призналъ это одной изъ главныхъ мѣръ!—довольно настойчиво сказалъ г. Пуришкевичъ съ мѣста, подъ одобрительный гулъ собранія.

— Ну, да,—уклончиво, полусоглашаясь, отвѣтилъ предсѣдатель,—а все-же изъ этой залы не слѣдуетъ особо подчеркивать какія-либо мѣры. Это дѣло правительства.

— А обязательныя постановленія губернаторовъ?—воскликнулъ нетерпѣливый голосъ. Нужно отмѣтить, что съѣздъ отнесся къ нимъ съ одобреніемъ.

— Въ первую голову будетъ отмѣчено,—успокоилъ предсѣдатель.

И затѣмъ собраніе въ полномъ согласіи утвердило длинный рядъ карательныхъ воздѣйствій на «младшаго брата»—крестьянство, заподозрѣннаго въ сплошномъ хулиганствѣ.

Уже на вопросѣ о хулиганствѣ чувствовалось, что правые дворяне вкладываютъ въ это явленіе, преувеличенное страхомъ, больше чѣмъ борьбу съ озорствомъ отдѣльныхъ лицъ. Глубина страха раскрылась яснѣе при обсужденіи втораго вопроса: о вознагражденіи лицъ, пострадавшихъ отъ крестьянскихъ погромовъ. Изъ построения доклада, а главное—изъ преній выяснилось, что правые дворяне не столько вспоминаютъ о бывшихъ погромахъ и объ убыткахъ отъ нихъ, сколько тревожатся неотвязной и разрастающейся боязнью грядущихъ возможныхъ погромовъ. И явнымъ

дѣлалось, что имъ мерещится сгущенная и все сгущающаяся ненависть деревни вокругъ дворянскихъ усадебъ, и напуганное воображеніе рисуется: вотъ-вотъ блеснутъ красные языки пожаровъ... А собственный страхъ и собственная ненависть подсказывали имъ опять все тѣ-же первобытныя мѣры: кары, штрафы, запугиванья, репрессіи.

Изъ всѣхъ воздѣйствій особенно понравилась собранію кара, налагаемая на все село или всю общину за проступокъ отдѣльныхъ лицъ. Объ этой драконовской мѣрѣ съ увлеченіемъ говорили многіе ораторы.

— Послѣ погромовъ въ Харьковской и Полтавской губерніяхъ, — доказывалъ, напримѣръ, дворянинъ Кованько, — когда правительство немедленно выдало убытки помѣщикамъ и взыскало ихъ затѣмъ съ общества, не было ни одной попытки къ погромамъ. И въ 1905-мъ году нельзя было поднять эти селенья. Это вполне понятно. Общество всегда виновно, когда въ немъ есть погромщики. Тамъ, гдѣ общество не сочувствуетъ погромамъ, не беспокойтесь, ихъ не будетъ. А тамъ, гдѣ погромы случаются, если все общество не участвуетъ, то сочувствуетъ.

И на основаніи этой логики ораторъ предлагалъ настойчиво требовать отъ правительства такихъ же воздѣйствій на безпокойныя села, какъ въ Полтавской и Харьковской губерніяхъ, гдѣ, какъ извѣстно, производились не только взысканія штрафовъ, но и «физическія воздѣйствія», говоря языкомъ правыхъ дворянъ.

Съ хорошими манерами европейца и съ легкимъ акцентомъ говорилъ на ту-же тему дворянинъ Новицкій, вкладывая въ корректныя, закругленныя фразы недвусмысленно-азиатскія предложенія.

— Все это хорошо, — говорилъ онъ, — требовать суда, полагаться на правосудіе. Но если вы имѣете дѣло съ иллюминаторами и съ подстрекателями, единственное и лучшее средство — это то, которое примѣнялось на Кавказѣ: наложить на все общество штрафъ, и оно выдастъ виновныхъ. Это и жизненно, и своевременно. Сначала будетъ наказано все общество, а потомъ уже будутъ искать виновныхъ. Пусть знаютъ, что чужое имущество нельзя трогать, потому что мы будемъ васъ карать.

Собраніе наградило энергичнаго оратора шумными аплодисментами.

Но другіе ораторы пошли еще дальше. Они находили, что виновниѣ всего въ попустительствѣ аграрныхъ безпорядковъ... правительство, и что поэтому оно должно немедленно уплачивать убытки потерпѣвшимъ, а затѣмъ уже искать виновныхъ и взыскивать убытки съ кого угодно.

— Въ нашей Курской губерніи,—говорилъ двор. Кривцовъ,—почти во всѣхъ уѣздахъ были иллюминаціи и погромы, за исключеніемъ нашего уѣзда. Мы были окружены кольцомъ возстаній, но у насъ было тихо. Почему? Потому, что революція шла не снизу, а сверху. У насъ была хорошая полиція. Бездѣйствіе власти и потакательство революціи—вотъ причина погромовъ. Поэтому и отвѣтственность за убытки должно нести казначейство.

Другой курскій дворянинъ, Шечковъ, также съ жаромъ доказывалъ, что правительство вполнѣ въ состояніи не допустить погромовъ, а если погромы происходятъ, то отвѣтственность за нихъ прежде всего должна нести казна. Съ сочувствіемъ отнесся г. Шечковъ и къ азіатско-кавказскому способу обрушиваться карами на цѣлое общество за проступки отдѣльных, неумовимыхъ его сочленовъ. И затѣмъ курскій патріотъ указалъ еще на одно зло, которое способствуетъ процвѣтанію погромовъ.

— Это—суды,—съ убѣжденіемъ говорилъ онъ,—судовъ у насъ нѣтъ. Въ аграрныхъ дѣлахъ суды бездѣйствуютъ. Составъ суда у насъ, напимѣръ, въ Курской губерніи дѣйствуетъ такой, что онъ покрываетъ погромы.

Возмущеннымъ тономъ г. Шечковъ разсказалъ нѣсколько случаевъ, гдѣ предсѣдатель и члены суда отнеслись внимательно и сочувственно къ обвиняемымъ крестьянамъ, и закончилъ предложеніемъ обратить вниманіе правительства на неблагонадежный составъ нашихъ судовъ.

Московский адвокатъ Шмаковъ, кажется, превзошелъ всѣхъ ораторовъ въ ясной обрисовкѣ дворянскаго страха.

— Вопросъ идетъ о спасеніи страны,—зловѣще говорилъ онъ, при напряженномъ вниманіи собранія и гулъ одобреній.—Соціальная революція дремлетъ, но она опять можетъ появиться. Береженого Богъ бережетъ. Это дѣло прозорливости самой элементарной.

И онъ пространно доказывалъ, что, какъ при крушеніяхъ и убыткахъ на желѣзной дорогѣ нѣтъ отдѣльных виновныхъ, а несетъ отвѣтственность дорога, такъ и при народныхъ безпорядкахъ нѣтъ возможности искать виновныхъ, а должно отвѣтить правительство. О судахъ-же и говорить нечего. Суды по самому своему медлительному механизму не приспособлены къ такой цѣли. Нужны мѣры быстрыя и цѣлесообразныя.

И долго собраніе обсуждало и выискивало всевозможныя карательныя и устрашающія мѣры, которыя должны запугать и пріостановить подкрадывающіеся къ правымъ дворянамъ призраки революціи. А ужъ если бѣда случится, то нужно заранѣе выторговать у правительства

(въ рукахъ котораго казначейство) немедленную и полную уплату убытковъ...

Откровенный страхъ предъ деревней, предъ Россіей, предъ призраками революціи снова выступилъ при обсужденіи пространнаго доклада о печати.

Въ рѣчахъ гг. Пуришкевича, Шмакова и многихъ другихъ ораторовъ печать рисовалась въ пугающихъ чертахъ какого-то сто-рукаго агитатора, который бросаетъ огненные сѣмена безпокойства на взрывчатую почву всероссійской жизни.

— У насъ нѣтъ свободы печати. У насъ есть свобода пропаганды, — восклицалъ г. Пуришкевичъ, возсѣвъ на любимаго конька. — Печать наша почти вся перешла въ руки евреевъ. Благородное передовое дворянство должно добиться, чтобы русская печать стала дѣйствительно русской, чтобы она не была въ рукахъ отбросовъ. Мы должны надѣть намордникъ на ослушниковъ закона. Мы должны сказать правительству: «Мы живы! Выбирайте: или мы, или они». Если мы не примемъ рѣшительныхъ мѣръ, если не дадимъ отпора, то черезъ два-три года, черезъ пять, черезъ десять лѣтъ желтая революція затопитъ всѣхъ насъ.

Собраніе устроило длительную овацію этому комико-трагическому оратору.

И съ большимъ стѣсненіемъ и смущеніемъ вышелъ послѣ него на каеэдру кн. Ухтомскій. Явно было, что собраніе совершенно не расположено слушать рѣчи другого тона, но какое-то смутное чувство долга, видимо, подсказывало кн. Ухтомскому, что хоть кое-какъ, хоть въ странной формѣ и поспѣшно лепеча, въ безнадежной обстановкѣ, но нужно высказать свои возраженія.

— Утвержденія о необходимой связи печати съ революціей, — торопливо говорилъ кн. Ухтомскій, — очень странны и едва ли вѣрны. Можно ли допустить, чтобы небольшая кучка плохо одѣтыхъ людей-журналистовъ могла готовить революціонные перевороты? Это пагубное заблужденіе.

Собраніе неодобрительно зашумѣло.

— Что-съ? — тревожно откликнулся кн. Ухтомскій на отдѣльные голоса. — Я сейчасъ кончу...

И скомканно, быстро продолжалъ:

— Мѣры противъ печати скорѣе приводятъ къ революціи. Онѣ будятъ недовольство. Обузданіе печати предшествовало всѣмъ европейскимъ революціямъ. Печать отражаетъ состояніе общества, а не создаетъ его. Революціи бываютъ отъ глубокихъ причинъ. Были у насъ смуты и бунты при Пугачевѣ, при Стенькѣ Разинѣ, — развѣ была тогда печать, были евреи? Репрессіями вы только со-



здадите изъ журналистовъ мучениковъ за правду и усилите ихъ вліяніе. Зачѣмъ изъ печати дѣлать какое-то пугало, въ родѣ китайскаго дракона? И такъ уже о дворянахъ говорятъ, что мы гнетемъ печать, что мы боимся ея. Никого мы не гнетемъ, никого мы не боимся. Много есть вопросовъ болѣе важныхъ. Повѣрьте, что лучше оставить печать въ покоѣ. Никто газетъ въ деревняхъ не читаетъ. Вотъ развѣ въ одномъ только печати имѣетъ вѣсь: она говоритъ о нуждахъ народа. Но ужъ это наша вина: пусть говоритъ объ этомъ правая печать, заставьте ее.

Наростающій гулъ негодованія почти заглушалъ торопливую рѣчь оратора, и онъ, какъ бы сметаемый съ кафедры общимъ возмущеніемъ, прокричалъ:

— Я кончаю, господа! Скажу только еще одно: нигдѣ нѣтъ такой свободной печати, какъ въ Англіи, и нигдѣ нѣтъ такихъ вѣрноподданныхъ, какъ въ Англіи!

Онъ поспѣшно юркнулъ съ кафедры, а собраніе проводило его тлухимъ, сердитымъ урчаніемъ.

Впрочемъ, рѣчь эта была настолько единична и исключительна, что на нее прочіе ораторы почти и не возражали. Всѣ были увлечены дружнымъ и согласнымъ перечисленіемъ опасныхъ свойствъ прогрессивной печати, описаніемъ ея растущей тлетворной мощи и напряженнымъ изысканіемъ всевозможныхъ каръ для нея. Наперывъ другъ передъ другомъ, подъ рукоплесканія собранія, ораторы предлагали разныя мѣры обузданія печати: особые суды, штрафы, воспрещеніе объявленій, привлеченіе къ штрафамъ и суду не только редактора, автора и издателя, но и владѣльца типографіи, воспрещеніе розничной продажи, превращеніе частныхъ объявленій въ казенную монополію, возстановленіе цензуры въ новомъ видѣ, конфискаціи и т. д.

Въ этомъ вопросѣ, какъ и въ двухъ предыдущихъ, правые дворяне свои совѣты правительству свели исключительно къ репрессіямъ. Репрессіи и кары, кары и репрессіи—дальше этого узкаго круга государственнй смыслъ праваго дворянства продвинуться не смогъ.

И жалка была эта кучка людей, надменно именующихъ себя «передовымъ, сословіемъ», съ своей оголенностью примитивныхъ аппетитовъ и явной убогостью духа. Жалка была и эта ненависть съ неприкрытымъ страхомъ предъ всѣмъ, что готовитъ новыя, неизбѣжныя формы жизни.

Непродуманъ былъ и этотъ искренній или лицемерный страхъ предъ революціей. Если по настоящему бояться стихійнаго бѣдствія,

то такъ-ли, съ такой-ли первобытной наивною нужно отклонять бѣду!

Можно-ли серьезно думать, что какіе-то отдѣльные люди, чуть-ли не играя въ революцію, способны зажечь ее въ странѣ. Революція стихійно вырастаетъ изъ глубокихъ социальныхъ и всенародныхъ накопленій недовольства. И здѣсь какъ разъ все то чрезвычайно вредно, что выработали въ качествѣ предупредительныхъ мѣръ правые дворяне. Опасны и вредны всяческія репрессіи и кары, всяческія озлобленія и ожесточенія народнаго настроенія. Если бы, по ужасной исторической ошибкѣ, нашъ государственный корабль поплылъ какъ разъ по тому курсу, который разработанъ съѣздомъ правыхъ дворянъ, то его понесло бы съ чрезвычайной скоростью на тѣ грозные рифы, которые мерещатся напуганному воображенію правыхъ дворянъ, и то, что сейчасъ является только въ видѣ призраковъ въ рѣчахъ праваго дворянства, могло бы оказаться неожиданной и потрясающей дѣйствительностью.

Къ счастью, хотя голоса правыхъ дворянъ и звучатъ изъ глубины многихъ губерній, но жизнь все суживаетъ, уменьшаетъ и обезсиливаетъ эту кучку «передового сословія», старающагося дать колесу нашей исторіи попятное движеніе. Направленіе русской жизни все явственнѣе даютъ иныя силы населенія.

И. Жилкинъ.



#### ЧЕТВЕРТАЯ ДУМА И ВОПРОСЪ О ВСЕОБЩЕМЪ ИЗБИРАТЕЛЬНОМЪ ПРАВѢ.

Періоды застоя законодательной дѣятельности, застоя ея даже въ тѣхъ сферахъ, гдѣ все созрѣло для коренной перемѣны, всегда тяжело переживаются страной, угнетая и вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждая общественное мнѣніе. Болѣзненно отзываясь въ сердцахъ сознаніе, что закрыты или искусственно заграждены пути, ведущіе впередъ, что не предвидится конца политическимъ буднямъ, какъ бы они ни шли въ разрѣзъ съ далеко не будничнымъ настроеніемъ широкихъ круговъ общества и народа. Все располагаетъ, въ такіе моменты, или къ раздраженію, или къ унынію. При извѣстныхъ условіяхъ одинаково бесплодно и то, и другое: первое—потому что

ему недостает средствъ выраженія, второе—потому что отъ него только одинъ шагъ до примиренія съ неизбежнымъ и неотвратимымъ. Мы привѣтствуемъ, поэтому, всякую попытку раскрыть то новое, что вошло или входить въ народную жизнь, выяснить реальное соотношеніе силъ, отъ которыхъ зависитъ будущее. Такою попыткой является, въ нашихъ глазахъ, внесеніе въ четвертую Думу законодательныхъ предположеній о свободахъ и о всеобщемъ избирательномъ правѣ. На ближайшій, непосредственный ихъ успѣхъ едва ли рассчитывали сами ихъ составители. Нетрудно было предвидѣть, что имъ суждена гибель либо на порогѣ законодательной процедуры, либо въ думскихъ комиссіяхъ, либо—въ лучшемъ случаѣ—передъ непреступной твердыней верхней палаты. И всетаки ихъ слѣдовало пустить въ ходъ, и не только по велѣнію чувства долга. Нужно было показать еще разъ, что вытекаетъ логически изъ обѣщаній манифеста 17-го октября и изъ смысла основныхъ законовъ; нужно было углубить демаркаціонную черту между настоящими и мнимыми приверженцами новаго строя; нужно было, въ особенности, освѣтить хоть сколько-нибудь умственную работу, происходящую въ глубинѣ народныхъ массъ. На сколько достигнута эта цѣль—о томъ всего лучше можно судить по дебатамъ, которые вызвало законодательное предположеніе о всеобщемъ избирательномъ правѣ.

Главнымъ противникомъ этого предположенія выступилъ деп. Шидловскій 1-й, говорившій отъ имени и по уполномочію фракціи октябристовъ. По истинѣ поразительно, прежде всего, противорѣчіе, въ которое онъ впалъ съ самимъ собою. Онъ выражаетъ готовность признать всеобщее избирательное право «какъ лозунгъ, какъ директиву, какъ отвлеченный принципъ», знаменующій необходимость дальнѣйшаго роста числа избирателей—и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ упорно противится учрежденію особой комиссіи для пересмотра положенія о выборахъ въ Государственную Думу. Прецеденты, свидѣтельствующіе о возможности передачи вопроса на разсмотрѣніе комиссіи, хотя бы и не была предварительно принята Думой канва для его разработки, не убѣждаютъ г. Шидловскаго; онъ настаиваетъ на томъ, что отклоненіе Думой проекта, внесеннаго партіей народной свободы, должно считаться равносильнымъ отказу войти въ разсмотрѣніе дѣйствующихъ постановленій о выборахъ. А между тѣмъ именно ему, какъ октябристу, слѣдовало бы вспомнить знаменательныя слова манифеста 17-го октября, предоставлявшія «дальнѣйшее развитіе начала общаго избирательнаго права вновь установленному законодательному порядку». Вступивъ на путь, поперекъ котораго столь рѣшительно сталъ г. Шидловскій, Дума сдѣлала бы именно то, что ожидалось отъ законодательныхъ учрежденій въ критическій моментъ

русской государственной жизни. Правда, положеніе 3-го іюня направило ходъ событій въ противоположную сторону; но, какъ мѣра по самому своему существу временная, оно не можетъ и не должно считаться препятствіемъ къ возвращенію на старую, единственно нормальную дорогу. Скажемъ болѣе: именно въ виду коренныхъ недостатковъ этого положенія особенно важно было бы предпринять, не откладывая въ долгій ящикъ, пересмотръ существующаго избирательнаго права.

Несвободны отъ внутренняго противорѣчія и тѣ аргументы, которыми г. Шидловскій доказывалъ непригодность и нецѣлесообразность всеобщей подачи голосовъ. Допустивъ ее какъ бы въ видѣ путевой звѣзды, онъ оставилъ ее введенію такими условіями, которыя дѣлаютъ ее немислимою не только въ настоящемъ, но и въ весьма отдаленномъ будущемъ и, слѣдовательно, лишаютъ всеобщее избирательное право только что признаннаго за нимъ значенія «лозунга» или «директивы». Практически осуществимымъ оно было бы, по его словамъ, лишь тогда, когда можно было бы «удостоверить съ точностью, что въ громадномъ большинствѣ случаевъ, въ видѣ массоваго явленія, каждый избиратель, достигшій 21-лѣтняго возраста, совершенно правильно разбирается въ нуждахъ своей страны, совершенно правильно умѣетъ ихъ себѣ выяснить и совершенно правильно можетъ избрать человѣка, который является представителемъ его взглядовъ». Не говоримъ уже о томъ, что средствъ для «точного удостовѣренія» въ наличности такого «массоваго явленія» нѣтъ и быть не можетъ; не говоримъ и о томъ, что «совершенно правильное» съ одной точки зрѣнія можетъ быть совершенно неправильнымъ съ другой, а общеобязательнаго, безошибочнаго критерія для оцѣнки противоположныхъ мнѣній еще не придумано. Ограничимся двумя вопросами: примѣнимъ ли пробный камень, предлагаемый г. Шидловскимъ, хотя бы къ одной изъ тѣхъ странъ, гдѣ уже дѣйствуетъ всеобщее избирательное право—и примѣнимъ ли онъ, *mutatis mutandis*, ко всемъ тѣмъ, кто, въ другихъ странахъ, пользуется избирательнымъ правомъ подъ условіемъ имущественнаго или какого-либо иного ценза? Отвѣтъ на оба вопроса можетъ быть только отрицательный. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что и во Франціи, и въ германской имперіи далеко не всѣ избиратели выдержали бы, даже теперь, экзаменъ, намѣчаемый г. Шидловскимъ; еще меньше, конечно, было между ними «зрѣлыхъ» нѣсколько десятилѣтій тому назадъ, когда только что вводилась всеобщая подача голосовъ. Важно не то, чтобы всѣ избиратели подходили подъ одинъ и тотъ же, сравнительно вы-

сокій уровень: важно то, чтобы число подходящихъ подъ него постоянно и быстро расло и чтобы для всѣхъ одинаково была открыта возможность ориентироваться въ политикѣ, получать недостающія свѣдѣнія, находить желанное руководство и поддержку. Всему этому способствуетъ всеобщая подача голосовъ—и въ этомъ ея неопѣнимое и незамѣнимое достоинство. Всѣхъ привлекая къ активному участию въ политической жизни, она тѣмъ самымъ возбуждаетъ въ каждомъ потребность и желаніе узнать нужды страны и выяснить свое отношеніе къ нимъ. И въ тоже время она облегчаетъ для каждого достиженіе этой цѣли, потому что логически приводитъ къ росту, въ ширь и въ глубь, народнаго образованія, къ развитію свободныхъ учреждений, къ усиленному общенію и взаимодействию отдѣльных лицъ, общественныхъ группъ и организацій. Бываютъ, конечно, періоды временного застоя или регресса и тамъ, гдѣ введена всеобщая подача голосовъ—но не она является тому причиной; болѣе чѣмъ странно, на примѣръ, было бы связывать съ нею судьбы Франціи при Наполеонѣ III-мъ. Съ другой стороны, вѣрнымъ признакомъ тѣхъ «умѣній», о которыхъ говоритъ г. Шидловскій, цензъ, какой бы онъ ни былъ, служить не можетъ; предположенія, на немъ основываемыя, сплошь и рядомъ оказываются несостоятельными. Избиратели, плохо «разбирающіеся въ нуждахъ страны», возможны при всякой избирательной системѣ—и умноженію ихъ числа содѣйствуютъ именно избирательные порядки, весьма далекие отъ всеобщей подачи голосовъ. Право голоса, имѣющее характеръ привилегіи, столь же легко можетъ стать гасителемъ интереса къ общему дѣлу, какъ и его будальникомъ; оно благопріятствуетъ успокоенію на лаврахъ, политическому квіетизму—тому квіетизму, за который такой дорогой цѣной расплатилась французская буржуазія сороковыхъ годовъ... Неужели г. Шидловскій полагаетъ, что умѣнье «совершенно правильно разбираться въ нуждахъ страны» и сообразно съ этимъ пользоваться своимъ правомъ свойственно, какъ «массовое явленіе», избирателямъ, дѣйствующимъ на основаніи положенія 3-го іюня? Неужели онъ «точно удостовѣрился», что между ними, на всѣхъ ступеняхъ сложной избирательной лѣстницы, нѣтъ людей съ неуставившимися взглядами, съ нетвердой волей? Неужели онъ рѣшится утверждать, что ихъ нѣтъ хотя бы въ послѣдней избирательной инстанціи—въ губернскихъ избирательныхъ собраніяхъ? Неужели онъ не видитъ, что всѣ его доводы разбиваются въдребезги много разъ повторявшимся фактомъ превращенія кандидатовъ-реакціонеровъ въ депутатовъ, не очень далекихъ отъ либерализма? Развѣ это было бы возможно, еслибы троекратно повторенная г.



Шидловскимъ формула: *совершенно правильно* была примѣнима къ *массѣ* избирателей, функционирующихъ на основаніи положенія 3-го іюня?

Безусловное препятствіе къ введенію въ Россіи всеобщей подачи голосовъ г. Шидловскій видитъ въ томъ, что у насъ нѣтъ общихъ для всѣхъ обывателей гражданскихъ правъ, и громадная часть населенія «существуетъ на основаніи какихъ-то совершенно особливыхъ гражданскихъ законовъ». Господство начала сословности кажется ему «совершенно несомѣстимымъ съ началами общаго избирательнаго права». Къ той формѣ, въ которую вылилась у насъ сословность, г. Шидловскій относится «совершенно отрицательно». Казалось бы, поэтому, что ходъ его разсужденія долженъ былъ быть совершенно иной: высказываясь противъ сословности, какою мы ее теперь у насъ видимъ, онъ долженъ былъ высказаться за всеобщее избирательное право именно потому, что оно съ сословностью несомѣстимо. Онъ пошелъ другимъ путемъ, упустивъ изъ виду, что при конфликтѣ между двумя принципами—отжившимъ и еще не жившимъ,—слѣдуетъ жертвовать первымъ, а не послѣднимъ. Самая несомѣстимость сословности и всеобщаго избирательнаго права имѣетъ не тотъ смыслъ, что введенію послѣдняго должна непременно предшествовать отмѣна первой, а тотъ, что съ всеобщимъ избирательнымъ правомъ сословность, *à la longue*, ужиться не можетъ, какъ не могутъ ужиться съ нимъ и «какіе-то совершенно особливые гражданскіе законы», регулирующие бытъ громадной части населенія. Замѣтимъ, въ добавокъ, что и нынѣ дѣйствующая у насъ избирательная система построена на сословности только отчасти. По признаку сословности выдѣлена лишь часть избирателей — крестьянство, да и то не все: въ уѣздныхъ землевладѣльческихъ сѣздахъ крестьяне участвуютъ на ряду съ дворянами. Въ городскихъ куріяхъ дворяне не отдѣлены отъ другихъ сословій, да и вообще особую избирательную курію дворянство образуетъ только при выборахъ въ Государственный Совѣтъ, а не въ Государственную Думу. *Spiritus movens* дѣйствующей у насъ избирательной системы—не сословное, а классовое начало; сословность чувствуется въ ней лишь на столько, на сколько интересы сословія совпадаютъ съ интересами класса. Если защитники *status quo* хотятъ быть послѣдовательными и откровенными, они должны строить свою аргументацію не на сословномъ, а на классовомъ принципѣ; но они неохотно выдвигаютъ его на первый планъ, какъ недостаточно «самобытный», недостаточно «національный». На почвѣ классовой

розни борьба ведется вѣдь и въ тѣхъ странахъ, гдѣ дѣйствуетъ всеобщее избирательное право.

Послѣдній доводъ, выдвигаемый г. Шидловскимъ—какъ и правыми ораторами—противъ всеобщаго избирательнаго права, заключается въ невозможности согласовать его съ основнымъ стремленіемъ крестьянства, направленнымъ къ сохраненію и усиленію крестьянскаго представительства въ Государственной Думѣ. Указывается на то, что въ западно-европейскихъ парламентахъ крестьянъ нѣтъ почти вовсе—а у насъ въ Думѣ ихъ засѣдаетъ немало и, по мнѣнію ихъ самихъ, должно засѣдать еще больше. При этомъ упускаются изъ вида два существенно важныя обстоятельства: ни въ одной изъ западно-европейскихъ странъ крестьянство не составляетъ такой значительной части населенія, какъ въ Россіи—и ни въ одной изъ нихъ не имѣетъ столь рѣзко выраженныхъ особыхъ интересовъ. Если по ту сторону нашей границы крестьянскіе голоса не вступаютъ въ борьбу съ некрестьянскими, то это объясняется либо тѣмъ, что на сторонѣ первыхъ нѣтъ крупнаго численнаго перевѣса, либо тѣмъ, что достаточную защиту различныя группы крестьянъ находятъ въ избранникахъ тѣхъ партій, къ которымъ онѣ примыкаютъ. Для избирателей, какъ не-крестьянъ, такъ и крестьянъ, общее направленіе кандидата несравненно важнѣе, нежели принадлежность его къ той или другой части населенія. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что нѣсколько иную картину примѣненіе всеобщей подачи голосовъ представило бы у насъ въ Россіи. Недовѣріе къ высшимъ сословіямъ, воспитанное вѣками крѣпостнаго права, во многихъ случаяхъ располагало бы широкіе слои крестьянства къ поддержкѣ специфически крестьянскихъ кандидатуръ—и успѣхъ послѣднихъ становился бы возможнымъ именно благодаря всеобщей подачѣ голосовъ, увеличивающей вліяніе массы на исходъ выборовъ. Защитники существующихъ избирательныхъ порядковъ не видятъ—или не хотятъ видѣть,—что крестьяне-члены Думы далеко не всѣ служатъ истинными представителями крестьянства; при дѣйствіи положенія 3-го іюня многіе изъ нихъ съ большимъ основаніемъ могутъ быть названы представителями помѣщичьяго класса. Въ губернскихъ избирательныхъ собраніяхъ большинство голосовъ фактически принадлежитъ, сплошь и рядомъ, крупному землевладѣнію, ставленикамъ котораго и являются крестьяне, обязательно избираемые собраніемъ. Только этимъ и можетъ быть объяснена принадлежность извѣстнаго числа крестьянъ къ крайнимъ правымъ и къ націоналистамъ, т. е. къ партіямъ, задачи которыхъ во многомъ противоположны стремленіямъ крестьянства.

Къ концу дѣятельности третьей Думы у многихъ «правыхъ» крестьянъ стали раскрываться глаза; хотя и поздно, но они стали понимать своихъ мнимыхъ союзниковъ. Въ четвертой Думѣ этотъ процессъ прозрѣнія начался, къ счастью, очень скоро и выразился, между прочимъ, именно во время преній о всеобщей подачѣ голо-совъ. На этомъ любопытномъ явленіи стоитъ остановиться нѣсколько подробнѣе.

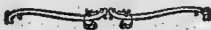
Типичнымъ отголоскомъ извнѣ навѣяннаго настроенія можетъ служить маленькая рѣчь, произнесенная членомъ Думы отъ Подольской губерніи, крестьяниномъ Ковалемъ. Измѣненія избирательнаго права хотятъ, по его словамъ, «крестьяне въ галстучкахъ и сюртучкахъ» <sup>1)</sup>, а не крестьяне-землеробы, прекрасно знающіе, что если ихъ теперь въ Думѣ восемьдесятъ человѣкъ, то тогда не будетъ ни одного». Совершенно иначе смотрятъ на измѣненіе избирательнаго права крестьяне, успѣвшіе уже стать на ноги или принеся съ собою въ Думу самостоятельно выработанные взгляды. Не соглашаясь съ проектомъ, внесеннымъ партіею народной свободы, они ясно сознаютъ необходимость коренной реформы избирательнаго права. И это сознаніе проникло въ широкіе круги крестьянъ; его усвоила себѣ, какъ видно изъ сказаннаго депутатами Евсѣевымъ и Дуровымъ, такъ называемая «крестьянская группа», обнимающая собою три четверти депутатовъ-крестьянъ. Отъ имени этой группы депутатъ Макогонъ внесъ формулу перехода къ очереднымъ дѣламъ, признающую желательнымъ «пересмотръ положенія 3-го іюня въ смыслѣ расширенія избирательнаго права и обезпеченія свободы выборовъ отъ административнаго воздѣйствія». Эта формула принята большинствомъ 166 голосовъ противъ 130. Невольно возникаетъ вопросъ, почему же, послѣ отклоненія законопроекта о всеобщей подачѣ голо-совъ, не составилось большинства въ пользу учрежденія комиссіи, которая могла бы немедленно приступить къ исполненію желанія, выраженнаго въ крестьянской формулѣ? Неужели мысль о пересмотрѣ избирательнаго закона допускается центромъ Государственной Думы только до тѣхъ поръ, пока она виситъ на воздухѣ, пока не предпринимается ни одного шага къ ея практическому осуществленію?... Дѣло, впрочемъ, только отложено, но не потеряно. Нерѣшительныхъ или неискреннихъ сторонниковъ реформы нужно преслѣдовать въ ихъ послѣднемъ укрѣпленіи: нужно составить та-

<sup>1)</sup> Этотъ намекъ на крестьянина Евсѣева прямо заимствованъ изъ рѣчей заправиль правой стороны. Чтобы судить о степени развитія крестьянъ, остающихся въ плѣну у правыхъ, достаточно прочесть сказанное членомъ Думы отъ Волынской губерніи, Бурмичемъ, въ засѣданіи Думы 8-го марта.

кой проект избирательнаго закона, которому г. Шидловскій и его товарищи не могли бы противопоставить *fin de non recesvoir*, который они вынуждены были бы подвергнуть подробному обсужденію сначала въ комиссіи, потомъ въ общемъ собраніи Думы. Составленіе этого проекта могла бы взять на себя, думается намъ, либо крестьянская группа, либо фракція прогрессистовъ.

Къ чему, однако—могутъ сказать намъ—приведетъ составленіе, обсужденіе, даже принятіе Думой проекта новаго избирательнаго закона, разъ что онъ навѣрное будетъ отвергнутъ правительствомъ и отклоненъ Государственнымъ Совѣтомъ? Отвѣтомъ на это служить все сказанное нами выше. Важно то, что вниманіе общества и народа вновь будетъ привлечено къ одной изъ самыхъ слабыхъ сторонъ нашего государственнаго строя; важно то, что выяснится отношеніе къ ней представителей крестьянства, голосъ котораго не можетъ и не долженъ звучать напрасно; важно то, что окончательно упадутъ покровы, маскирующіе глубокую рознь между привилегированнымъ меньшинствомъ и массой населенія. Даже теперь, когда дѣло остановилось на полъ-дорогѣ, нельзя уже отстаивать положеніе 3-го іюня фикціей согласія его съ народной мыслью.

К. АРСЕНЬЕВЪ.



### ФРАНЦУЗСКІЙ ЗАЩИТНИКЪ „УМИРАЮЩЕЙ ТУРЦІИ“.

— Pierre Loti. *Turquie agonisante*. Пар., 1913.

Извѣстный поклонникъ и знатокъ Востока, авторъ изящныхъ описаній разныхъ отдаленныхъ странъ и народовъ, французскій академикъ Пьеръ Лоти выступилъ съ краснорѣчивой защитой «умирающей Турціи» и съ рѣзкими обвиненіями противъ ея счастливыхъ побѣдителей, балканскихъ союзниковъ. «Бѣдные турки!»—восклицаетъ онъ.—«Европа отреклась отъ нихъ, вопреки всѣмъ своимъ обѣщаніямъ и обязательствамъ; бывшіе друзья и покровители равнодушно смотрятъ, какъ набросились хищники на безобидное, величаво-спокойное, вѣрующее по старинному мусульманство, съ цѣлью завладѣть его достояніемъ и его территоріею». Старинныя черты патріархальной турецкой жизни, по мнѣнію Лоти, все болѣе разлагаются подъ вліяніемъ тлетворнаго культурно-промышленнаго

духа Запада, съ его «угольной копотью и фабричнымъ шумомъ»; но нравственный характеръ турокъ, ихъ душевныя качества, ихъ добросердечіе и гуманность сохранились въ полной неприкосновенности, хотя и помрачались неоднократно въ моменты національнаго или религіознаго возбужденія.

Лоти старается доказать, что турки гораздо лучше и симпатичнѣе своихъ противниковъ и обвинителей, что они заслуживаютъ всякаго сочувствія въ своихъ новѣйшихъ бѣдствіяхъ и испытаніяхъ; при этомъ онъ какъ будто умышленно упускаетъ изъ виду самую сущность вѣкового спора между турками и туземными христіанскими народностями Балканскаго полуострова. Никто не мѣшаетъ османлисамъ жить по своему и предаваться мечтательному благодушію, вдали отъ суетныхъ иноземныхъ воздѣйствій; враждебныя чувства вызываются лишь упорными притязаніями ихъ на власть надъ чуждыми имъ племенами, издавна стремящимися къ освобожденію отъ принудительнаго турецкаго гнета. Какъ ни хороши турки сами по себѣ, но владычество ихъ невыносимо для балканскихъ славянъ и грековъ. Личныя и національныя достоинства мусульманъ не имѣютъ никакого отношенія къ той системѣ насилія и безправія, которая дѣлала имя Турціи ненавистнымъ для подвластныхъ ей христіанъ. Борьба на Балканскомъ полуостровѣ происходитъ изъ за-того, что турки хотятъ сохранить свое положеніе завоевателей относительно туземныхъ народностей, а послѣднія добиваются самостоятельности и свободы. Въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій мусульманство располагало подавляющимъ перевѣсомъ силы и могло безпощадно истреблять иновѣрцевъ огнемъ и мечомъ; всѣ протесты Европы противъ этихъ варварскихъ массовыхъ избиеній и погромовъ были безплодны до новѣйшаго времени. А теперь, когда турки ослабѣли и не въ состояніи уже справиться съ возставшими народами, они находятъ сантиментальныхъ друзей, которые жалѣютъ и оправдываютъ ихъ. Турки расплачиваются за прошлые грѣхи, и странно выставятъ ихъ жертвами вопіющей несправедливости, какъ это дѣлаетъ Пьеръ Лоти.

Къ какимъ ошибочнымъ заключеніямъ приводятъ личныя симпатіи къ туркамъ, при игнорированіи ихъ политическихъ и государственныхъ неурядицъ и обычаевъ, можно видѣть изъ исторіи денежныхъ сборовъ въ пользу погорѣльцевъ, пострадавшихъ отъ страшнаго пожара въ Константинополѣ лѣтомъ 1911-го года. Первый изъ очерковъ Лоти, напечатанный первоначально въ газетѣ «Figaro», заключаетъ въ себѣ подробно мотивированное воззваніе къ пожертвованіямъ для спасенія отъ нищеты и голода «тридцати



тысячъ бѣдныхъ жителей Стамбула, оставшихся безъ крова, безъ одежды, подъ холоднымъ дождемъ». «Дѣти, трясущіяся отъ холода, старыя согбенныя женщины, безпомощные старцы, мелкіе труженники и торговцы чисто-мусульманской расы, всѣ эти скромные люди, столь покорные, честные и достойные, жившіе изо дня въ день, счастливые въ своихъ маленькихъ деревянныхъ домикахъ, — говорить Лоти, — не имѣютъ ничего общаго съ турками новаго типа, но принадлежать къ тѣмъ, которые отправлялись въ мечеть при пѣніи муэззина и своими живописными группами оживляли тихія площади, гдѣ курятъ наргиле подъ тѣнью платановъ». Лоти приглашалъ французскую публику оказать помощь бѣднякамъ черезъ посредство министерства иностранныхъ дѣлъ, по адресу супруги посланника Бомпара въ Константинополь — а мѣсяць спустя онъ съ грустью заявляетъ, что на его призывъ откликнулись въ Парижѣ всего три французенки и одна англичанка. Въ дѣйствительности финалъ былъ совершенно другой, гораздо болѣе печальный, какого со-всѣмъ не предвидѣлъ Лоти. Пожертвованій собрано было среди богатыхъ коммерсантовъ Стамбула на сумму около восьмидесяти тысячъ турецкихъ фунтовъ — т. е. до восьмисотъ тысячъ рублей на наши деньги; эта сумма передана была правительству для распре-дѣленія между погорѣльцами, а правительство, какъ обнаружилось въ началѣ текущаго года, употребило ее на собственные надобности или на нужды младотурецкаго комитета «Единеніе и прогрессъ». Несчастливымъ бѣднякамъ ничего не досталось, и всѣ при-зывы къ состраданію послужили лишь на пользу хищнымъ дѣтелямъ администраціи, привыкшей не стѣсняться съ чужими правами и интересами. Стоило ли, слѣдовательно, хлопотать о пожертвованіяхъ для турецкихъ погорѣльцевъ? Не правы ли были тѣ французы, ко-торые отнеслись равнодушно къ сантиментальнымъ воззваніямъ Пьера Лоти и его единомышленниковъ?

Книга Лоти состоитъ изъ ряда писемъ и дополнительныхъ замѣтокъ, касающихся итальянско-турецкой войны и позднѣйшихъ балканскихъ событій. Авторъ относится отрицательно ко всякимъ вообще военнымъ предпріятіямъ и рѣшительно осуждаетъ Италію за напа-деніе ея на турецкія области въ сѣверной Африкѣ. Въ отвѣтъ на просьбу какого-то итальянскаго патріота высказать мнѣніе о «слав-ной» итальянской экспедиціи, онъ пишетъ: «Слава, какъ и доброе право, находится всецѣло на сторонѣ геройскихъ защитниковъ род-ной земли, турокъ или арабовъ, которые, будучи застигнуты врасплохъ неожиданнымъ непріятельскимъ нашествіемъ и располагая лишь жалкимъ вооруженіемъ, идутъ на вѣрную смерть, подъ пу-

сечный или ружейный разстрѣлъ. Истинная, чистая слава, впрочемъ, никогда не можетъ принадлежать завоевателямъ и нападающимъ». На чемъ же держится—спроситъ иной читатель—вся прошлая военная слава Франціи, слава ея великихъ полководцевъ, начиная съ Тюренни и Кондэ и кончая Наполеономъ? Предвидя эти ссылки, Лоти признаетъ отвѣтственными за кровопролитіе не однихъ итальянцевъ и французовъ, но и остальные христіанскіе народы. «Мы, европейцы,—говоритъ онъ—всегда являемся наиболѣе дѣятельными убійцами на землѣ; съ нашими словами братства на устахъ мы каждый годъ изобрѣтаемъ все новыя адскія орудія разрушенія, предаемъ огню и мечу, съ цѣлью добычи, старый африканскій или азіатскій міръ, и поступаемъ съ людьми желтой или смуглой расы, какъ съ безправнымъ скотомъ». Въ то время какъ Турція отчаянно борется за свое существованіе, около нея волнуются и хлопчутъ нѣкоторые европейскія государства, готовясь требовать «компенсаціи». Компенсаціи за что?—спрашиваетъ Лоти.—Не напоминаетъ ли это поведеніе гіенъ при видѣ буйвола, раздираемаго пантерой? Но гіены по крайней мѣрѣ не употребляютъ формулъ, не требуютъ компенсацій, и щелканіемъ своихъ зубовъ говорятъ просто и ясно: «здѣсь дѣлать и пожираютъ добычу, здѣсь пахнетъ мясомъ, и нѣтъ уже никакой опасности; вотъ и мы пришли, чтобы наполнить свое брюхо». Авторъ придаетъ своимъ взглядамъ большое принципиальное значеніе; онъ знаетъ, что на него «могутъ обрушиться оскорбленія и нападки со стороны фанатиковъ, заинтересованныхъ или ослѣпленныхъ, смѣшивающихъ цивилизацію съ желѣзными дорогами, эксплуатацію и убійствами». «Я приближаюсь—говоритъ онъ—къ концу своего земного пребыванія; я ничего больше не желаю и не боюсь; но пока я въ состояніи заставить кого-нибудь слушать мой голосъ, я буду считать своею обязанностью высказывать все то, что представляется мнѣ безспорной истиной. Долой завоевательныя войны, каковы бы ни были поводы, которыми онѣ прикрываются! Позоръ человѣческой бойнѣ!». «Позоръ Европѣ и ея мишурному христіанству—воскликаетъ Лоти въ другомъ мѣстѣ,—позоръ современной войнѣ!» Однако, когда нѣкоторые читатели усмотрѣли въ его статьяхъ проповѣдь антимилитаризма, онъ съ негодованіемъ заявилъ, что сильнѣе кого бы то ни было чувствуетъ уваженіе къ самоотверженнымъ и скромнымъ чинамъ арміи и флота. «Украсимъ путь нашихъ солдатъ музыкой и цвѣтами, дадимъ имъ все, что способно возбудить ихъ юный энтузіазмъ и что лучше приготовить ихъ для геройской смерти; пусть при ихъ проходѣ толпа привѣтствуетъ ихъ какъ благороднѣйшихъ сыновъ Франціи, и пусть провожаетъ ихъ со

слезами на глазахъ; пусть молодыя дѣвушки подносятъ имъ букеты»... Далѣе уже вполне откровенно объясняется истинный смыслъ радикальныхъ идей автора о войнѣ: дѣло сводится къ тому, что лучшее и самое усовершенствованное оружіе должно принадлежать Франціи. «Да,—говоритъ онъ,—мы должны имѣть ихъ для себя, эти быстро убивающія машины, истребляющія людей гуртомъ, и стараемся, чтобы наши орудія были наиболѣе разрушительныя; это къ несчастью необходимо, потому что мы составляемъ намѣченную добычу для нашихъ сосѣдей... Но намъ слѣдуетъ ревниво сохранять наши страшные секреты, ибо преступно и отвратительно, въ цѣляхъ наживы, продавать ихъ иностранцамъ, подъ предлогомъ поощренія французской промышленности, и подготавливать такимъ образомъ избіенія, которыя намъ не нужны». Другими словами, всякія вообще войны признаются постыдными и недопустимыми, кромѣ только тѣхъ, которыя нужны для Франціи, и всякій воинственный патріотизмъ, кромѣ французскаго, есть великое зло.

Пьеръ Лоти приводитъ въ своей книжкѣ разныя заявленія и свидѣтельства въ доказательство несправедливости и жестокости балканскихъ союзниковъ относительно турокъ. Въ одномъ письмѣ ему пишутъ по-французски: «Я читала ваши трогательныя строки (въ газетѣ «Gil-Blas»). Я—маленькая гречанка изъ Румелии, четырнадцати лѣтъ, и испытываю живое чувство состраданія къ этой бѣдной Турціи, покинутой Европою въ моментъ крайнихъ бѣдствій» и т. д. И авторъ не удивляется, что греческая изъ Румелии дѣвочка читаетъ «Gil-Blas» и бойко разсуждаетъ на французскомъ діалектѣ объ Европѣ и о великихъ державахъ. Такою-же усердною читательницей «Gil-Blas» оказывается какая-то испанская еврейка, выросшая и воспитанная въ Турціи; она умоляетъ автора писать и писать въ томъ-же духѣ: «пусть ваше сердце подскажетъ вамъ не только слова, которыя трогаютъ, но и такія, которыя убѣждаютъ и которыя невольно запомнятся людьми, призванными подписать приговоръ». Третье письмо, подписанное «группою молодыхъ мусульманскихъ дѣвицъ», начинается словами: «Какъ мы счастливы видѣть, что въ этой Европѣ, столь реалистичной и вѣроломной, нашлось доброе сердце, чувствующее къ намъ состраданіе!» Затѣмъ «глава дервишей, вертящихся и другихъ» жалуется автору на отреченіе Франціи отъ славныхъ традицій, дѣлавшихъ ее «покровительницею побѣжденныхъ»,—хотя въ глазахъ дервишей мусульманство едва ли могло когда-нибудь считаться побѣжденнымъ, нуждающимся въ иностранномъ покровительствѣ. Всѣ эти французскія письма юныхъ турецкихъ дѣвицъ и старыхъ дервишей по поводу статей

«Gil-Blas» производить впечатлѣніе довольно безыскусственной и наивной мистификаціи; но автору кажется, что они весьма убѣдительно доказываютъ существованіе искреннихъ симпатій къ Франціи въ различныхъ слояхъ турецкаго населенія,—симпатій, налагающихъ на французское правительство соотвѣтственные обязательства. Лоти больше всего беспокоится о судьбѣ Стамбула съ точки зрѣнія эстетики. Исключительная красота этого города, мистическая поэзія его мечетей и минаретовъ можетъ пострадать при насильственномъ захватѣ его грубыми балканскими завоевателями; поэтому необходимо было бы, по мнѣнію Лоти, позаботиться о сохраненіи турецкой власти по крайней мѣрѣ надъ Константинополемъ.

Турецкія звѣрства, какъ увѣряетъ авторъ, придумываются продажною печатью, получающею за это субсидіи отъ балканскихъ правительствъ; основательны и достойны довѣрія только свѣдѣнія о славянскихъ звѣрствахъ, сообщаемыя обыкновенно изъ австрійскихъ и венгерскихъ источниковъ. Такъ, по словамъ одной вѣнской газеты, «войска генерала Янковича разрушили множество селъ въ Албаніи, и тысячи албанцевъ были убиты или зарыты въ землю заживо»; въ Дедеагачѣ «шайка болгаръ грабила и убивала въ теченіе трехъ дней, продолжая кровавое дѣло прежнихъ комитаджі». Въ Салоникахъ греки, встрѣченные враждебными возгласами нѣсколькихъ турокъ, стрѣляли по этому поводу въ безоружную толпу и «убили пятьсотъ человѣкъ»; французскіе офицеры и моряки будто бы видѣли, какъ «сербскіе и греческіе солдаты выкалывали туркамъ глаза». При вступленіи болгаръ въ городъ Сересъ одинъ турокъ застрѣлилъ двухъ солдатъ, и въ отместку за это началось безпощадное избиеніе, продолжавшееся двадцать четыре часа, подъ снисходительнымъ наблюденіемъ болгарскихъ офицеровъ; «солдаты грабили, расхищали имущество, насиловали женщинъ, убивали, упиваясь кровью и добычей», при чемъ погибло будто бы болѣе полутора тысячъ мусульманъ. Въ Кавалѣ число жертвъ было значительно менѣе, но жестокости и истязанія было въ такомъ-же родѣ: австрійскій консулъ спасся лишь удаленіемъ на пароходъ австрійскаго Ллойда. Ночью трое воеводъ, съ вѣдома болгарской полиціи, захватили шесть богатыхъ табачныхъ торговцевъ изъ евреевъ, въ томъ числѣ трехъ больныхъ, и увели ихъ подъ проливнымъ дождемъ въ сосѣдній городъ, гдѣ несчастныхъ отпустили только на третій день, послѣ уплаты выкупа въ двадцать двѣ тысячи турецкихъ фунтовъ, т. е. болѣе полумилліона франковъ» (!?). По удостовѣренію какого-то корреспондента газеты «Droits de l'homme», въ Драмѣ, Демиръ-Гиссарѣ и другихъ мѣстахъ восточной Македоніи убито хри-

стіанскими союзниками «семьдесятъ тысячъ мусульманъ» (!?). Полтора болгарскихъ четниковъ ворвались въ Дедеагачъ и устроили страшный погромъ; мусульмане, преимущественно женщины и дѣти, искали спасенія въ мечети, но подверглись тамъ бомбардировкѣ и избіенію со стороны болгаръ; турки, скрывшіеся въ домѣ итальянскихъ монаховъ, не были выданы явившемуся за ними болгарскому отряду; главный изъ нихъ, крупный чиновникъ, для избѣжанія несприятностей, сдался добровольно, но потомъ, на нѣкоторомъ разстояніи отъ дома, былъ убитъ, а самый домъ монаховъ разграбленъ. По всему городу, въ продолженіе цѣлой недѣли, свирѣпствовала шайка грабителей и убійцъ, при участіи мѣстныхъ грековъ, и только съ приходомъ регулярной болгарской арміи погромъ кое-какъ прекратился. Въ одномъ изъ писемъ сообщаютъ фантастическія, официально опровергнутыя впоследствии свѣдѣнія о нападеніи сербскаго военнаго отряда на австрійское консульство въ Призренѣ, несмотря на протесты консула Прохаски, при чемъ скрывшіеся въ его домѣ албанскія семейства, женщины и дѣти, а также раненые, были будто бы безжалостно умерщвлены ворвавшимися солдатами. Корреспонденты, на которыхъ ссылается Лоти, принадлежатъ болѣею частью къ числу представителей католическихъ монашескихъ орденовъ, преимущественно іезуитовъ, и нѣкоторые изъ нихъ прямо объясняютъ, что интересамъ римской церкви на ближнемъ Востокѣ грозитъ роковая, неустраняемая опасность въ случаѣ окончательнаго торжества балканскихъ христіанъ надъ Турціею. Вопросъ о жестокостяхъ солдатъ и добровольцевъ во время послѣдней войны самъ по себѣ не можетъ имѣть никакого значенія, ни практическаго, ни принципиальнаго, ибо сущность войны именно и заключается въ совершеніи ужасающихъ массовыхъ избіеній и жестокостей, дающихъ широкій просторъ худшимъ инстинктамъ человѣческой природы. Вполнѣ возможно, что въ отдѣльныхъ случаяхъ вооруженные сербы, греки и болгары не щадили турокъ и вымещали на нихъ накопившуюся злобу за цѣлые вѣка порабощенія; но если судить по прошлымъ примѣрамъ, то турки, въ случаѣ побѣды, расправились бы съ возставшими врагами несравненно безчеловѣчнѣе. Относительно нынѣшнихъ побѣдителей указываются только отдѣльные факты злоупотребленія военной силою, но въ общемъ даже корреспонденты Пьера Лоти вынуждены признать, что регулярныя союзныя войска не принимали непосредственнаго участія въ погромахъ и въ избіеніяхъ мирныхъ жителей.

Чтобы подкрѣпить свою туркофильскую аргументацію, Лоти не брезгаетъ и личными нападками на правителей балканскихъ госу-



дарствъ, затрагивая ихъ интимную жизнь разоблаченіями довольно двусмысленнаго свойства. Фердинандъ Кобургскій извѣстенъ, будто бы, своею деспотическою суровостію; онъ въ теченіе пяти лѣтъ «держалъ въ заключеніи свою невѣстку, несчастную принцессу Луизу Кобургскую, и замучилъ свою первую жену, принцессу Марію-Луизу Пармскую»; онъ подчинялся Стамбулову, пока нуждался въ немъ, а потомъ устранилъ его при помощи таинственнаго убійцы. Откуда авторъ почерпнулъ данныя для этихъ чрезвычайно серьезныхъ и явно несправедливыхъ обвиненій—неизвѣстно. Королю Николаю Черногорскому—или «корольку», какъ пренебрежительно называетъ его авторъ—приписывается устройство синдиката съ цѣлью биржевой игры на пониженіе, и игра велась вплоть до момента открытія военныхъ дѣйствій; но авторъ не указываетъ, какой смыслъ могла имѣть биржевая игра на пониженіе, когда курсъ бумагъ и безъ того долженъ былъ упасть при объявленіи войны. О королѣ сербскомъ говорится, что у него «нехорошее лицо» и что одинъ изъ сыновей его обнаружилъ черты прирожденнаго преступника. Что касается турецкихъ правителей, начиная съ Абдуль-Гамида и его приближенныхъ и кончая пресловутыми дѣятелями младотурецкаго комитета, то о нихъ Лоти благоразумно умалчиваетъ. Въ одномъ мѣстѣ (стр. 110) авторъ проговаривается насчетъ реальной подкладки его возвышенныхъ чувствъ и идей по отношенію къ Турціи: «мы имѣемъ тамъ — напоминаетъ онъ — два съ половиною милліарда, помѣщенные французскими капиталистами въ турецкихъ процентныхъ бумагахъ; что сдѣлается съ этими деньгами нашихъ сбереженій, когда хозяевами станутъ новые завоеватели?»

Репутація Пьера Лоти, какъ писателя, всегда казалась намъ сильно преувеличенною и раздутою; новая книжка его, полная легкомысленныхъ и наивныхъ разсужденій, не свидѣтельствуетъ ни о выдающемся умѣ, ни о художественномъ талантѣ.

Л. Слонимскій.



## ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

— Николай Клюевъ. Сосенъ перезвонъ. Изданіе второе. Цѣна 60 к. Его же. Лѣсныя были. Книга третья. Цѣна 60 коп. Книгоиздательство К. Ф. Некрасова. Москва. 1913.

«Сосенъ перезвонъ» создалъ извѣстность г. Клюеву, и нельзя не привѣтствовать второе изданіе этой изящной книжечки. Она благоуханна, какъ сама сѣверная сосновая глушь въ жаркій лѣтній день, съ ея ароматомъ смолы и лѣсныхъ травъ. Въ ней вылился пока весь молодой поэтъ, принесшій свѣжее оригинальное вдохновеніе откуда-то изъ низовъ и изъ сѣверной глуши. Въ этой дали молодая душа переживала тѣ же боли, тѣ же муки и исканія, что и всѣ мы, и вынесла ихъ намъ въ гармонической, успокаивающей и чарующей формѣ, въ образахъ непосредственно навѣянныхъ родною глушью и чарами ея красоты, явной любящему сердцу. Греза поэта — «нерукотворный вѣкъ колосевъ золотыхъ», ее навѣяли «сѣрыя избы родного села, луга, перелѣски, кладбище», «дымно-лиловая даль», «болотъ и овраговъ пологость». Эта греза обвѣяна глубокимъ сознаніемъ возможности и въ убогой сферѣ полноты душевной: «будь убогъ и темень тѣломъ, свѣтелъ духомъ и лицомъ!».

Какъ поэтическая греза, какъ выраженіе религиозно-благоговѣйнаго сердечнаго отношенія къ міру, «Сосенъ перезвонъ» влечетъ къ себѣ и чаруетъ. Но г. Клюева уже дѣлаютъ и пророкомъ новаго религиознаго сознанія, раздуваютъ его свѣжій талантъ въ явленіе огромной культурно-исторической важности, сравниваютъ его съ Іоанномъ Дамаскинымъ и пр. Съ другой стороны, подчеркиваютъ въ его творествѣ, какъ особое достоинство, непосредственность его стиховъ, растущихъ «какъ попало, какъ деревья въ бору» (предисловіе г. Брюсова). То и другое, намъ думается, и преувеличено, и несправедливо. Въ г. Клюевѣ явственно чувствуется, на нашъ взглядъ, вліяніе интеллигентскихъ исканій религіи и модернизма. Противоположенія міровоззрѣній пахаря и интеллигенціи отзываются «Вѣхами». Непосредственность стиха, часто, просто неумѣльные стихи. Въ «Сосенъ перезвонѣ» замѣтно модернистское, преувеличенное пристрастіе къ новокованнымъ и областнымъ словамъ, попадаетъ и манерность образовъ и стиха, иногда перебивающая чудные образы. Послѣ насквозь фальшиваго и манернаго начала: «Я надѣну черную рубаху, опояшусь кожанымъ ремнемъ,

по камнямъ двора пройду на плаху, съ молчаливо-ласковымъ лицомъ» (мундиръ уличнаго радикализма и небывалая плаха, вмѣсто висѣлицы!); послѣ слащаваго «бальзамена» (вмѣсто всеѣмъ знакомаго мѣщанскаго простаго бальзамина), какъ то даже неожиданно встрѣтить въ этомъ же стихотвореніи до головокруженія чарующіе простою красотой и музыкой: «луговинъ поемные просторы, тишину обкошенной межи, облаковъ жемчужные узоры и дѣвичью пѣсенку во ржи», все, что нельзя выдумать, что поетъ само въ душѣ поэта. Этого смѣшенія безвкусной выдумки, нарочитой поддѣлки подъ народность и нагроможденія этнографическихъ деталей въ третьей книгѣ «Лѣсныхъ былей» гораздо больше, чѣмъ подлинной поэзіи, которою дышетъ «Сосенъ перезвонъ». Мы знакомы случайно съ народнымъ говоромъ и пѣсней одной изъ сѣверныхъ губерній, но многія стилизаціи г. Ключева поставили насъ трудностью пониманія ихъ въ тупикъ. Что такое, что «ягоды зрѣютъ, половѣютъ на заманку-щипоту»? Что такое «замурудные волосы», «гостибье», «зой-невидимка», «волось-гадь» (черный, какъ уѣзъ? но эта ассоціація образовъ не влечетъ, а отталкиваетъ), «неба ясные упеки», «заревѣтъ» (не отъ слова ревѣ, а отъ зари), «зарноокій», «судина», «изъ сеговины одинъ—рыбаку заочный сынъ», «зажалкуеть»? На каждой страницѣ такихъ выраженій не мало. Черезчуръ пестро колоритна эта розсыпь новыхъ словъ. Новыя стихотворенія г. Ключева пестрятъ и выраженіями нарочито манерными: какъ, напр., «пѣвникъ розмысловъ», «баснословъ-баянь», «попарщикъ» (вмѣсто пара, ровня) и другія выдумки, напоминающія условныя этнографическія картинки Мея и гр. Алексѣя К. Толстого. Въ погонѣ за непосредственностью народной рѣчи поэтъ теряетъ чувство мѣры и свою собственную непосредственность, впадая въ вычурный языкъ не то Андрея Бѣлаго, не то Городецкаго или Ремезова. Въ литературѣ г. Ключевъ счастливо занялъ свое особенное мѣсто, аналогичное мѣсту въ русской живописи поэта религіознаго сѣвера, Нестерова; картины его невольно вспоминаются подъ тихій «Сосенъ перезвонъ». Можно пожелать поэту побольше оставаться самимъ собою, и въ новыхъ вдохновеніяхъ добиться большей гармоніи настроенія и его выраженій, чѣмъ даетъ и его первая, пока лучшая, книжечка.

Ч. В—скій.

Сергій Городецкій. Ива. Пятая книга стиховъ. Спб. К—во „Шиповникъ“. 1913 г. Ц. 2 р.

Ни въ одной изъ предыдущихъ четырехъ книгъ Сергій Городецкій, какъ поэтъ, не опредѣлялся съ такою убѣдительною четкостью, какъ въ «Ивѣ»: «Ярь» только намѣтила будущій путь, а слѣ-

дующіе сборники были какими-то сдвигами съ этого пути, колебаними—то въ сторону символизма и импрессионизма («Дикая воля»), то—къ плоскости размашистой, бессодержательной пѣсни («Русь»). Поэтому—пятая книга является зеркаломъ, въ которомъ отразились стремленія поэта за довольно крупный (1908—1912 г.г.) періодъ времени, и знаменуетъ собой завершеніе извѣстнаго круга настроеній.

Необычайная любовь Сергѣя Городецкаго къ древней Руси, его привязанность къ невѣдомымъ медвѣжьимъ угламъ родины и соболѣзнованіе обиженнымъ судьбою—роднять автора «Яри» съ пѣвцами, вышедшими непосредственно изъ глубинъ народныхъ: недаромъ Городецкій такъ старательно переводить Яна Каспровича, а И. Никитину слагаетъ цѣлый гимнъ («Какая сила въ темномъ взорѣ, печаль какая на челѣ!»). Однако, мнѣ кажется, что именно здѣсь, въ сферѣ разсужденій о нуждѣ и о горѣ народномъ,—«Ива» наиболѣе уязвима: ибо, зная таковыя лишь по-наслышкѣ, Городецкій не могъ вплести въ свои строфы тотъ гнѣвъ, тотъ безысходный ужасъ, какимъ проникнуты строки бытовиковъ-народниковъ. Гораздо цѣльнѣе представляется поэзія Городецкаго—въ ея эпическомъ выраженіи. Въ самомъ дѣлѣ, кого не взволнуютъ такія искреннія,—внѣшне-спокойныя,—стихотворенія, какъ «Мощи» («Въ дубовомъ ложѣ дни забвенія, всѣ тридцать тысячъ дней провести, пока блаженнаго нетлѣнія не просіяетъ міру вѣсть; и толпы темныя, калѣбныя къ мощамъ отъ далей потекутъ, неся въ себѣ лампы вѣчныя, спасая тѣсный свой уютъ»), «Нищая» (съ укоризной: «Что же ты, Тула богатая, зря самовары куешь»), «Выходъ изъ церкви» («Вкругъ cereви кладбище тѣнистое,—цвѣтныя частые кресты,—гдѣ мужичье твое кряжистое спасается отъ маеты»), «Литва» (Вѣстникъ Европы, 1911 г.), «Сказъ о Святой горѣ» (ibid.) и т. д.? Вполнѣ законченныя, сжатые и понятныя—вышеупомянутыя вещи иногда однимъ стихомъ подчеркиваютъ или полосу скудныхъ обывательскихъ думъ: «воскъ дорожаетъ, а свѣча тончаетъ: на пчелъ, видно, моръ» (Постъ), или изгибъ сельскаго уюта: «елубятся туманы въ долинахъ и рвахъ... То высунетъ вѣтку береза изъ мглы, то мокрая крыша прорѣжетъ углы. То птица провѣетъ трусливымъ крыломъ, то скрипнетъ телѣга сырымъ колесомъ» (Осеннее утро), или—лихое подтруниваніе надъ выставленнымъ героемъ: «Да и что за лежня подъ землей? Темнота да жара донимаетъ... И навѣрхъ, осерчавшій и злой, продирается Вій, вылѣзаетъ» (Вій).

И досадно,—на ряду съ прекрасными стихотвореніями,—встрѣчать кое-гдѣ вымученныя, еще захлестнутыя мутью символизма пѣссы. Но видно, что послѣдній ужъ осужденъ Городецкимъ, и въ

«Ивъ» играетъ роль чешуи, которую весною сбрасываетъ змѣя. Жизнь, насыщенная запахами, цвѣтами и мощью чернозема,—многогранное земное бытіе властно плѣнило поэта: «Я въ лѣсу, полнозвучномъ, земномъ, утромъ, вечеромъ, въ полдень и днемъ, подь сосной, подь березой и кленомъ и подь ивовымъ слушалъ шатромъ» (Страпникъ міра). Не это-ли пушкинскій завѣтъ, не это-ли «широкошумныя дубравы»?..

Все-таки, нельзя обойти молчаніемъ неряшливость, присущую стиху Сергѣя Городецкаго, напр., въ сонетахъ—рифмы: крова—Христовымъ; пили—хватило; перину—синій; неудачные дифтонги: кобылоптица, золотозола; наконецъ, повторяемость нѣкоторыхъ образовъ.

Владимиръ Нарвуть.

— А. Чапыгинъ. Нелюдимые. Разказы. Спб. 1913 г.

Уже первыми разказами г. Чапыгинъ выдѣлялся среди начинающихъ писателей—особенно среди тѣхъ, что приходятъ въ литературу изъ народа. Положеніе этихъ писателей, не наследующихъ ничего даромъ, а до всего доходящихъ собственными усиліями и собственнымъ художественнымъ прозрѣніемъ, особенно трудное. Поэтому и прилагаемая къ нимъ мѣрка должна быть особенной. Тѣмъ пріятнѣе бросающаяся въ глаза въ первыхъ же опытахъ Чапыгина *природная* литературность, любовь къ родному языку, серьезное отношеніе къ писательскимъ задачамъ. Собранные вмѣстѣ эти разказы еще выигрываютъ. Въ сборникѣ, правда, есть не совсѣмъ удачныя разказы, есть и неудачное въ каждомъ изъ разказовъ, но общее впечатлѣніе отъ него хорошее. Языкъ у Чапыгина живъ, свѣжъ и образенъ, мѣстами красоченъ. Иногда даже кажется, что зрительныя впечатлѣнія не только преобладаютъ надъ другими, но подавляютъ ихъ, и это нѣсколько утомляетъ; обиліе живописи нарушаетъ художественную стройность. Но съ этимъ нужно мириться, такъ какъ предъ нами художникъ чисто зрительнаго типа.

Лиризмъ у г. Чапыгина преобладаетъ надъ бытомъ. Но и бытовая сторона отличается у него правдивостью, даже яркостью, когда авторъ имѣетъ дѣло съ хорошо знакомымъ ему матеріаломъ. Всѣ эти фигуры разныхъ «нелюдимыхъ» мечтателей изъ народа и одинокихъ, начиная съ голодной Макридки и Тараски-пучеглазаго, у него живы и характерны. Когда же авторъ переходитъ къ быту и психологіи «баръ», художественное чутье ему измѣняется и получаются какія-то неэстетичныя изображенія въ кривомъ зеркалѣ («Барыни», «Миного»); авторъ какъ будто бы даже искусственно



раздуваетъ въ себѣ всякія «классовыя» чувства, не содѣйствующія а мѣшающія творческимъ задачамъ. Не удастся г. Чапыгину и проникновеніе въ область мистики. Для этого у него недостаточно тонкости, и рассказы съ претензіей на мистику оставляютъ впечатлѣніе нѣкоторой надуманности и вычурности («Прозрѣніе»). Въ рассказахъ Чапыгина, при ихъ общей поэтичности и несомнѣнномъ своеобразіи, нѣтъ еще настоящей зрѣлости. Пока у него внѣшнія изобразительныя средства сильнѣе внутреннихъ. Въ этомъ его писательскій трагизмъ. Удастся ли автору преодолѣть этотъ трагизмъ, покажетъ будущее. Большимъ достоинствомъ этихъ раннихъ рассказовъ, вошедшихъ въ первый сборникъ, является прекрасный, чисто-русскій, мѣстами музыкальный языкъ и настоящій глубокій лиризмъ, который звучитъ одинаково сильно и въ рассказахъ, передающихъ впечатлѣнія отъ природы, и въ городскихъ эскизахъ. Нѣкоторые изъ лирическихъ очерковъ смѣло могутъ быть названы стихотвореніями въ прозѣ, напр., «Вѣчное», гдѣ философско-пантеистическій налетъ придаетъ авторскому настроенію углубленность. «Здравствуй, яркій, радостный день! ты роднишь меня съ тѣми, что истлѣли въ землѣ... такъ же, какъ я, видѣли они лѣсъ, воду, ястреба на копѣяхъ сна... Пусть тотъ, кто родится за мной, пинкомъ ноги швырнетъ мой глухо дребезжащій черепъ съ дороги, но знаю — онъ полюбитъ то, что любилъ я — цвѣты, лѣсъ и камни... онъ благословитъ то, что мнѣ даетъ наслажденіе, — природу. Заплачетъ надъ тѣмъ, надъ чѣмъ плакалъ я, мокрымъ лицомъ припадетъ къ родной землѣ, и отъ того лишній цвѣтокъ на моей могилѣ изъ травы расправитъ неструю чашечку». Эта интенсивная органическая эмоциональность должна служить автору источникомъ его будущихъ художественныхъ достижений.

Е. К.

— Александръ Амфитеатовъ. Ау! Сатиры, шутки, фельетоны и статьи. Книгоиздательство «Энергія». Спб. 1912.

— Его же. Эхо. «Московское книгоиздательство». М. 1913.

Въ книгахъ г. Амфитеатрова собраны и отелки на летучія злобы дня, и статьи, которымъ нельзя отказать въ нѣкоторомъ устойчивомъ значеніи. Авторъ цѣнитъ, повидимому, одинаково и то, и другое, но читатель, конечно, желалъ бы видѣть въ собраніяхъ статей крупнѣйшаго современнаго фельетониста лишь дѣйствительно цѣнное, отобранное отъ ежедневной по вѣтру летящей шелухи. У насъ не хватило, напр., терпѣнія перечитать «Слово о лѣтѣ 1911 г.», написанное въ стилѣ «Слова о Полку Игоревѣ»; это — на печатный

листь растянутое повѣствованіе въ такомъ родѣ: «присну смѣхъ въ «Сатириконтъ»: се сморчки ползутъ въ полунощи съ согбенными тѣлами,—Богдановичу Мещерскій князь шипѣть кажется, а тотъ уже отня въ казнь злато на новую субсидію». Утомительны и замогильныя записки Пушкина, фельетонъ о 75-лѣтнемъ его юбилеѣ, натянуто длиненъ и «Джигитъ», повѣствованіе о Думбадзе, написанное условнымъ языкомъ «восточнаго человѣка». Свои шутки г. Амфитеатровъ тянетъ большею частью слишкомъ долго, не умѣя, послѣ одной-двухъ страницъ поставить точку, какъ то дѣлалъ Салтыковъ: въ великолѣпномъ повѣствованіи іомудскаго принца о помпадурахъ, составляющемъ прототипъ «Джигита», всего-то полторы страницы. Довольно тяжеловѣсны и искусственны стихотворные грѣхи: пародіи и эпиграммы г. Амфитеатрова. Весь онъ, вообще, какъ сатирикъ, какой-то огромно-словный и тяжеловѣсный. Что дѣйствительно цѣнно въ сборникахъ г. Амфитеатрова, это—его характеристики-воспоминанія о болѣе или менѣе видныхъ, недавно ушедшихъ отъ насъ людяхъ. Талантливый рассказчикъ, онъ перегружаетъ иногда эти свои рассказы анекдотами, какъ перегружена, напр., ими статья объ актерѣ Далматовѣ, почти до впечатлѣнія, что все это—«не люблю слушать». Но рассказано все горячо, и характерными штрихами выпукло нарисованы живыя лица. Въ «Ау» и въ «Эхо» даны такія характеристики актера В. П. Далматова, ученыхъ П. Н. Лебедева и Евгенія Пассека и Мамина-Сибиряка. Всѣхъ ихъ въ разное время авторъ лично зналъ и былъ близокъ съ ними. Въ воспоминаніяхъ о Пассекѣ, вмѣстѣ съ которымъ авторъ работалъ въ 1882 году на переписи въ Москвѣ, рассказано много любопытнаго и обо Львѣ Толстомъ; въ участкѣ его оба они и работали. Въ качествѣ свидѣтеля-очевидца, авторъ отмѣчаетъ черты идеализаціи и обобщеній, внесенныя Толстымъ въ извѣстный его рассказъ о Ржановомъ домѣ. Самымъ сильнымъ впечатлѣніемъ переписи было посѣщеніе дома Падалки, послѣдняго «дна» человѣческой пропасти и униженія. Отсюда Толстой вышелъ «въ лицѣ бѣлѣе бумаги», и рассказомъ своимъ напугалъ Софью Андреевну. Замѣчательно, что объ этомъ впечатлѣніи Толстой не написалъ ничего: «почему Л. Н. не тронулъ перомъ своимъ этой черной бездны, трудно догадаться. Развѣ одно: что есть крайнія точки, о которыхъ касаться даже смѣлѣйшій реалистъ, вооруженный геніальнѣйшей изобразительностью, не дерзаетъ». Толстому же посвящена статья «Не тотъ Толстой», написанная по поводу его «посмертныхъ сочиненій». «Въ русскомъ изданіи Толстой апплике, Tolstoi made in Russia, разрушенный, вылинявшій, именно обрѣтый». Помимо цензурныхъ урѣзковъ, вынуждающихъ такой отзывъ о русскомъ собраніи «посмертныхъ сочиненій»,

текстъ ихъ во многомъ существенно расходится съ извѣстными въ литературныхъ кругахъ версіями, которыя не могли быть выдуманы и сочинены слушавшими ихъ въ чтеніи Толстого. Такимъ образомъ напрашивается мысль, чтоклады толстовскихъ рукописей пока еще не исчерпаны, или, можетъ быть, нѣкоторыя рукописи были уничтожены или искажены, переѣланы, по почину самаго автора или его ближайшихъ совѣтниковъ, резонеровъ его этической проповѣди.

— Проф. Трельсъ-Лундъ (Копенгагенъ). Небо и міровоззрѣніе въ круговоротѣ времени. Пер. съ нѣмец. Mathesis.—Одесса 1912.

Авторъ этой книги поставилъ себѣ весьма интересную задачу,—выяснить, какъ смотрѣли на жизнь люди XVI в., «какимъ колоритомъ были окрашены въ тѣ времена человѣческія отношенія и сама человѣческая дѣятельность. Его интересуетъ, по образному его выраженію, «летучая эссенція исторіи», «запахъ и цвѣтъ, который былъ свойственъ историческимъ явленіямъ, когда они еще трепетали жизнью и не успѣли попасть—высушенныя и спрессованныя—въ гербарій исторіи». Словомъ, дѣло идетъ для Трельсъ-Лунда о возсозданіи не столько идей прошлаго, сколько господствующаго настроенія, не столько о *міровоззрѣніи*, сколько о *міроощущеніи*. Датскій авторъ отдаетъ себѣ полный отчетъ въ трудностяхъ своей задачи. Во первыхъ, XVI в. былъ, по сравненію съ нашей эпохой, мало литературнымъ, печатное слово лишь въ весьма неполной и несовершенной степени отражало тогда настроенія эпохи. Еще важнѣе то, что, по мнѣнію Трельсъ-Лунда, въ XVI в. завершился циклъ идей, глубоко отличныхъ отъ нашихъ, и дѣло истолкованія ихъ оказывается весьма нелегкимъ. Поэтому нашъ авторъ рѣшается упростить свою задачу. Онъ исходитъ изъ допущенія, что «свѣтотыя ощущенія и чувство мѣста представляютъ собою двѣ первоначальныхъ и основныхъ формы проявленія человѣческаго интеллекта... для каждаго обитателя темной планеты, называемой землею, смѣна свѣта и тьмы, дня и ночи представляетъ первоначальный импульсъ и конечный объектъ его мышленія. Не только наша земля, но и мы сами, наше собственное духовное Я, отъ нашего перваго миганія передъ лучомъ свѣта до нашихъ высочайшихъ религіозныхъ и нравственныхъ чувствъ, созданы солнцемъ и питаются имъ. Солнце просвѣчиваетъ сквозь нашу рѣчь, когда мы говоримъ о богѣ свѣта и о теплотѣ любви. Непрерывно прогрессирующее сознаніе различія между днемъ и ночью, свѣтомъ и тьмою представ-

ляетъ собой внутренній нервъ развитія всей человѣческой культуры».

Теперь, читателю, вѣроятно, будетъ понятно нѣсколько загадочное названіе книги: «Небо (собственно образъ неба—Himmelsbild) и мировоззрѣніе въ круговоротѣ временъ». Трельсъ-Лундъ хочетъ показать, какъ «образъ неба», т. е. представленія о сущности небеснаго свода, о его разстояніи отъ земли и размѣрахъ, какъ различія между свѣтомъ и тьмою—представленія, измѣнявшіяся въ ходѣ времени—вліяли, и вліяли, согласно мнѣнію датскаго ученаго, рѣшающимъ образомъ на мировоззрѣніе соотвѣтствующей эпохи,—при чемъ подъ мировоззрѣніемъ онъ понимаетъ не научные результаты эпохи, а «нѣчто такое, что лежитъ впереди и позади ихъ, общее настроеніе, та неподвижная полуденная атмосфера, въ которой познаніе, чувство и воля сливаются воедино, всегда готовые снова раздѣлиться».

Книга состоитъ изъ трехъ частей или главъ: «Возникновеніе элементовъ мировоззрѣнія XVI столѣтія», «Сліяніе элементовъ мировоззрѣнія XVI стол.» и «Разложеніе стараго мировоззрѣнія и образованіе новаго». Первая самая обширная, глава начинается съ первобытныхъ временъ, даетъ послѣдовательно очеркъ воззрѣній ассиро-вавилонянъ, индусовъ, китайцевъ, египтянъ, іудеевъ, грековъ, арабовъ. Эта—наименѣ сильная часть книги, полная, однако, массы остроумныхъ наблюденій и замѣчаній. Но чѣмъ дальше углубляешься въ чтеніе книги Трельсъ-Лунда, тѣмъ больше она захватываетъ мастерствомъ, настоящей художественностью изложенія и своеобразной точкой зрѣнія. Односторонность этой точки зрѣнія, при которой астрономическіе концепціи играютъ доминирующую роль въ выработкѣ мировоззрѣнія, сразу бросается въ глаза. Но Трельсъ-Лундъ обладаетъ даромъ заражать. Односторонность освѣщенія искупается яркостью и красотой его. Трельсъ-Лунду, дѣйствительно, удастся возсоздать настроеніе чуждой намъ эпохи или, выражаясь точнѣе, вызвать въ насъ какія-то превзойденныя настроенія, воскресить какія-то переживанія, близкія, несомнѣнно, къ настроеніямъ той эпохи. Влестящи страницы, посвященныя описанію распадѣнія стараго мировоззрѣнія и формированія на его мѣсто современнаго міросозерцанія съ характерной для него идеей безконечности.

Книга Трельсъ-Лунда—отличная книга, которой можно пожелать только самаго широкаго распространенія.

И. ЮШЕВИЧЪ.

— Полное собраніе сочиненій Н. К. Михайловскаго. Томъ десятый. Подъ редакціей и съ примѣчаніями Е. В. Колосова. Изданіе 2-е. Спб. 1913. Цѣна 2 руб.

Десятый, дополнительный къ полному собранію, томъ сочиненій Михайловскаго содержитъ очень много мелкихъ его вещей, затерянныхъ въ журналахъ, въ которыхъ онъ работалъ такъ долго и плодovито. Весь этотъ матеріалъ раздѣленъ редакторомъ на двѣ части. Во вторую выдѣлены журнальныя рецензіи изъ «Книжнаго Вѣстника» 1865—67 гг., «Отеч. Записокъ» и «Русскаго Богатства» 1893—1904 годовъ; въ первую включены теоретическія замѣтки, полемика, прокламаціи, воспоминанія, письма, въ самомъ прихотливомъ хронологическомъ безпорядкѣ. Читатъ все это подрядъ довольно утомительно, вопреки заявленіямъ автора вступительной статьи г. Н. Русанова, признающаго рецензіи Михайловскаго необыкновенно законченнымъ и гармоническимъ цѣлымъ. По его словамъ, «порою онѣ положительно напоминаютъ собою небольшія, но высоко художественныя произведенія какого-нибудь великаго скульптора».

Михайловскаго постигла та же судьба, что и другихъ видныхъ публицистовъ, отдавшихъ большую часть своихъ силъ журнальной работѣ, съ ея ежедневно мѣняющимися и мимолетными интересами и настроеніями. Въ десяти томахъ его сочиненій много сырого матеріала, повтореній, мелочей и его читателямъ приходится иногда строить цѣльное зданіе его міровоззрѣнія изъ разбросанныхъ обломковъ и частей. Неизбѣжны были въ работѣ Михайловскаго и уклоны, и противорѣчія, и признаніе ихъ больше сдѣлало бы для пониманія его, чѣмъ неумѣренное поклоненіе.

Для большинства читателей новинкой будутъ въ десятомъ томѣ страницы 32—72, гдѣ даны извлеченія изъ нѣкоторыхъ статей Михайловскаго, появившихся когда-то въ нелегальныхъ изданіяхъ. Къ десятому тому приложенъ предметный указатель къ сочиненіямъ Михайловскаго и указатель литературы о немъ. Составленный по весьма общимъ рубрикамъ, краткій предметный указатель для справокъ крайне неудобенъ. Если бы вамъ понадобилось, наприкладъ, быстро найти, что и когда писалось Михайловскимъ объ отдѣльномъ писателѣ (Достоевскомъ, Некрасовѣ, Глѣбѣ Успенскомъ и т. д.), указатель окажется совершенно бесполезнымъ; къ нему приложено почему-то лишь нѣсколько извлеченій изъ указателя собственныхъ именъ. Въ общемъ, однако, трудъ редактора почтенный и полезный.

Ч. В—ій.



— Рѣчи, произнесенныя въ торжественномъ засѣданіи Совѣта Императорскаго Московскаго Университета и Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ въ память 1812 года. Москва, 1913.

21 октября 1912-го года состоялось торжественное соединенное засѣданіе Совѣта Московскаго Университета и Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ въ ознаменованіе памяти Отечественной войны 1812-го года.

Въ настоящее время появились въ особомъ изданіи рѣчи, произнесенныя въ засѣданіи. Рѣчи эти, напечатанныя въ значительно расширенномъ и дополненномъ видѣ, съ примѣчаніями и библиографическими ссылками, представляютъ весьма существенный интересъ и нерѣдко вносятъ немало новаго въ освѣщеніе и трактованіе событій 1812-го года.

Открывается сборникъ рѣчью проф. В. И. Герье на тему: «Императоръ Александръ I и Наполеонъ». Здѣсь особенно любопытна яркая и образная характеристика Наполеона, котораго авторъ считаетъ классическимъ типомъ европейскаго побѣдителя и завоевателя, строителя и созидателя государствъ (въ противоположность азіатскому—разрушителю государствъ и цивилизацій), выше всякой морали ставившаго особо понимаемое имъ чувство чести. Если Тэнъ, въ своей извѣстной характеристикѣ, ведетъ Наполеона отъ итальянскихъ кондотьеровъ Ренессанса, то проф. Герье продвигаетъ его еще дальше въглубь вѣковъ, видитъ въ немъ носителя политическихъ, идеаловъ римской имперіи, столь родственныхъ его духу. Обширная статья С. В. Бахрушина: «Москва въ 1812 году», основанная на пристальномъ и детальномъ изученіи мемуарной литературы, даетъ живую и колоритную картину дворянско-помѣщичьяго уклада Москвы въ началѣ XIX вѣка. Особенно ярко охарактеризована Москва передъ приходомъ французовъ; обстоятельно изложены и самое нашествіе, и состояніе Москвы подъ владычествомъ Наполеона. Нельзя не согласиться съ заключительнымъ выводомъ автора, что нашествіе Наполеона вовсе не нанесло непоправимаго удара дворянской Москвѣ, какъ это думали современники. Иныя, гораздо болѣе сложныя и глубокія причины привели къ разоренію дворянскаго землевладѣнія и къ упадку дворянской Москвы. Въ единственный упрекъ г. Бахрушину можно поставить нерѣдко излишнюю вычурность изложенія и нарочитую приподнятость тона.

Особую цѣнность въ разбираемомъ изданіи представляетъ занимающая половину сборника статья проф. М. К. Любавскаго, посвященная Московскому университету въ 1812-мъ году. Статья эта по содержанію значительно шире своего заглавія; авторъ не

только всесторонне характеризуетъ университетъ въ 1812-мъ году, но и останавливается подробно на его состояніи передъ Отечествен-  
ной войной. Проф. Любавскій прежде всего приводитъ рядъ любо-  
пытнѣйшихъ данныхъ относительно университетскихъ зданій; этотъ  
отдѣлъ его статьи снабженъ нѣсколькими рѣдкими гравюрами и пла-  
нами, изъ которыхъ особое вниманіе обращаетъ на себя рисунокъ фа-  
сада главнаго университетскаго корпуса, выстроеннаго знаменитымъ  
архитекторомъ Казаковымъ. Обстоятельному описанію внѣшняго  
вида университета соотвѣтствуетъ не менѣе подробная характери-  
стика внутренняго его состоянія, положеніе учено-учебнаго дѣла, дѣя-  
тельности профессоровъ и студентовъ. На ряду съ официальными  
документами авторъ пользуется записками и воспоминаніями того  
времени, что немало оживляетъ изложеніе. Подробно останавли-  
вается авторъ и на разореніи университета въ 1812-мъ году, и на  
его возстановленіи. Статья проф. Любавскаго лишній разъ свидѣ-  
тельствуешь о необходимости составленія новой исторіи Московскаго  
университета, на смѣну давно уже устарѣвшему труду Шевырева.—  
Закрываетъ сборникъ небольшая рѣчь К. В. Покровскаго: «1812-ый годъ  
въ русской повѣсти и романѣ».

И. Богороздинъ.

— И. Явинъ. Переселенческое движеніе въ Россіи съ момента осво-  
божденія крестьянъ. Кіевъ, 1912.

Переселенческое движеніе больше, кажется, интересовало наше  
правительство не какъ предметъ здоровой экономической политики,  
а какъ способъ отрицательнымъ или положительнымъ къ нему  
отношеніемъ идти на встрѣчу интересамъ помѣстнаго сосло-  
вія. Было время, когда переселеніе крестьянъ всячески задержива-  
лось, въ томъ предположеніи, что разрѣженіе сельскаго населенія  
поведетъ къ вздорожанію рабочихъ, нанимаемыхъ землевладѣльцами.  
Затѣмъ настало и такое время, когда переселеніе всячески мусиро-  
валось, въ расчетѣ, что разрѣженіе сельскаго населенія ослабитъ  
стремленіе крестьянъ къ овладѣнію помѣщичьими угодьями. Въ теченіе  
всего трехъ лѣтъ (1907-09) за предѣлы европейской Россіи выбыло  
слишкомъ два милліона душъ—болѣе, чѣмъ за предшествоющія двад-  
цать лѣтъ. Съ 1910 г. переселенческая волна ослабѣла; ослабѣла и  
тенденція смотрѣть на переселеніе крестьянъ, какъ на клапанъ для  
выпуска паровъ, опасныхъ для помѣщичьяго спокойствія. Пересе-  
ленческій вопросъ входитъ въ естественныя для него рамки вопроса  
о болѣе или менѣе правильномъ размѣщеніи населенія на территоріи  
обширнаго и крайне неравномѣрно заселеннаго нашего отечества,

вопроса о колонизаціи восточной части Россіи, имѣющаго наибольшее значеніе для судьбы именно этой окраины. Съ этой точки зрѣнія вопросъ возбудилъ особенный интересъ съ того момента, когда отдѣльныя области Россіи получили возможность заявлять о своихъ нуждахъ и добиваться ихъ удовлетворенія передъ лицомъ русскаго парламента. Указанная въ заголовкѣ настоящей замѣтки книга, дающая сводку матеріаловъ о различныхъ сторонахъ переселенія, вплоть до послѣдняго момента, является, поэтому, весьма своевременнымъ пособіемъ для ознакомленія съ общимъ положеніемъ переселенческаго дѣла.

Переселенческое дѣло разсматривается г. Язвинымъ со стороны отношенія къ нему власти, общаго его хода, его причинъ и слѣдствій въ мѣстахъ выхода и входа переселенцевъ. Главными матеріалами служили автору изданія переселенческаго вѣдомства и немногія спеціальныя земскія изслѣдованія. Соответственно имѣющимся матеріаламъ отдѣльныя части изслѣдованія г. Язвина обнимаютъ неодинаковыя промежутки времени; общій ходъ переселенческаго дѣла доведенъ имъ до 1912 г., но изслѣдованія о причинахъ переселеній (кромѣ черниговскаго) и о положеніи сибирскихъ новопоселенцевъ основываются на данныхъ не новѣ начала истекшаго десятилѣтія, и самый послѣдній, наиболее интересный періодъ переселенческаго движенія остается въ этомъ отношеніи не изученнымъ.—книга г. Язвина читается съ большимъ интересомъ, но не вездѣ изложена достаточно вразумительно и, повидимому, изобилуетъ неоправленными опечатками; списка опечатокъ совсѣмъ нѣтъ, и до настоящаго значенія нѣкоторыхъ цифръ приходится добираться проверочными вычисленіями.

В. В.

— Е. С. Каратыгинъ. Въ странѣ крестьянскихъ товариществъ. Второе, значительно дополненное и исправленное изданіе. СПб. 1913.

Второе, дополненное изданіе труда г. Каратыгина о сельскомъ хозяйствѣ и сельско-хозяйственной коопераціи въ Даніи,—о первомъ изданіи котораго своевременно была рѣчь въ «Вѣстникѣ Европы»—является какъ разъ въ такое время, когда въ русской деревнѣ ясно обнаружилось стремленіе къ коопераціи. Не безынтересно въ такой моментъ вспомнить о томъ, что кооперація была тѣмъ рычагомъ, съ помощью котораго достигнута высокая производительность сельскаго хозяйства и благосостояніе сельскаго населенія небольшой сѣверной крестьянской страны. О первоклассномъ достоинствѣ продуктовъ датскаго сельскаго хозяйства свидѣтельствуетъ

уже тотъ фактъ, что оно работаетъ главнымъ образомъ на избалованный англійскій рынокъ и отправляетъ за-границу 72% годового своего производства свинины, 75% масла и 90% общей добычи яицъ. А о значеніи въ области датскаго сельскаго хозяйства кооперативнаго начала можно судить по тому, что въ главнѣйшей его отрасли, маслодѣліи, кооперативная организація обнимаетъ 85% всѣхъ хозяйствъ (если считать и общественныя маслодѣльни—то болѣе 91%), 83% всего числа въ Даніи коровъ, 75% добываемаго въ странѣ молока и 87% выдѣлываемаго въ ней масла; что въ слѣдующей по важности отрасли сельскаго хозяйства—свиноводствѣ—кооперативныя свинобойни обслуживаютъ 46% хозяйствъ, коимъ принадлежитъ 64% общаго числа животныхъ; что черезъ посредство кооперативныхъ учрежденій продано около  $\frac{1}{3}$  части всего количества добываемыхъ въ странѣ яицъ; что въ Даніи существуетъ множество обществъ для усовершенствованія различныхъ отдѣльныхъ отраслей сельскаго хозяйства, а сельско-хозяйственныя общества не столь спеціальнаго характера обнимаютъ  $\frac{1}{3}$  часть хозяйствъ-земледѣльцевъ и  $\frac{1}{4}$  часть батраковъ-земледѣльцевъ, и достигаемые этими обществами результаты становятся общимъ достояніемъ.

Изъ книги г. Каратыгина мы узнаемъ, что блестящее развитіе, при участіи коопераціи, датскаго сельскаго хозяйства, всего сорокъ лѣтъ тому назадъ экспортировавшаго, какъ современная Россія, зерно, а нынѣ экспортирующее продукты животноводства—достигнуто при условіи прекрасной постановки низшаго и высшаго (относительно, конечно) образованія крестьянъ, полного отсутствія правительственной регламентаціи (кооперативный законъ изданъ лишь въ 1912 г.), и близости готоваго внѣшняго рынка—рынка Англіи, забросившей собственное сельское хозяйство и нуждающейся въ большомъ количествѣ привозныхъ сельско-хозяйственныхъ произведеній. Безъ этого послѣдняго условія сельское хозяйство Даніи врядъ ли достигло бы высокаго состоянія, потому что, какъ правильно говоритъ г. Каратыгинъ, «сбытъ продуктовъ является наиболѣе сильнымъ стимуломъ для улучшенія производства и нерѣдко, пока не налаживался правильный сбытъ, бывали тщетны всякія усилія ввести улучшеніе въ ту или другую отрасль народнаго хозяйства». Принимая во вниманіе различіе во всѣхъ указанныхъ отношеніяхъ Россіи и Даніи, позволительно усомниться, чтобы сельская кооперация въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ принесла у насъ тѣ же плоды, что и въ послѣдней странѣ.

В. В.

- Н. Г. Воблый. Статистика (пособіе къ лекціямъ). Третье изданіе, пересмотрѣнное и дополненное. Кіевъ. 1912.
- А. А. Кауфманъ. Теорія и методъ статистики. Руководство для учащихся и для лицъ, посвящающихъ себя статистическому труду. 2-е, совершенно переработанное изданіе. Москва. 1912.

Эти двѣ книги, посвященныя, казалось-бы, одному и тому-же предмету, настолько различны по содержанію, что и по нуждѣ не могли-бы замѣнить одна другую. Это можно предсказать уже по внѣшнему ихъ осмотру. «Статистика» г. Воблаго состоитъ изъ трехъ, приблизительно равныхъ частей: исторіи, теоріи и статистики народонаселенія; книга г. Кауфмана не содержитъ ни перваго, ни послѣдняго отдѣловъ, и всѣ ея шестьсотъ слишкомъ страницъ убористой печати посвящены тому предмету, который, подъ именемъ «теоріи статистики» (съ весьма, впрочемъ, ограниченной собственно теоретической частью) занимаетъ у г. Воблаго менѣе полутора ста страницъ (приведенныхъ къ объему книги г. Кауфмана). Это первое крупное различіе двухъ руководствъ обуславливается прежде всего различіемъ взглядовъ авторовъ на содержаніе статистики, какъ науки. А. А. Кауфманъ придерживается того мнѣнія, что статистика есть только методъ изслѣдованія, приложенный къ самымъ различнымъ областямъ явленій; свое руководство онъ посвятилъ ознакомленію читателя съ этимъ методомъ примѣнительно къ изученію общественныхъ явленій. Н. Г. Воблый составилъ свой курсъ соотвѣственно взгляду на статистику, какъ на науку, изслѣдующую массовыя явленія общественной жизни и устанавливающую ихъ закономерность и, кромѣ методологической части, включилъ въ свою книгу, примѣняясь къ обычнымъ образцамъ университетскихъ курсовъ, статистику народонаселенія, исторію статистики и описаніе статистическихъ учреждений въ различныхъ государствахъ. Этотъ послѣдній отдѣлъ г. Кауфманъ устранилъ изъ своего руководства, находя, что его мѣсто—въ справочныхъ изданіяхъ.

Обѣ книги рѣзко различаются и относительно трактованія общаго имъ обьѣма предмета—методологіи статистики. Г. Кауфманъ разработалъ этотъ, единственный у него отдѣлъ гораздо подробнѣе и систематичнѣе. Поставивъ себѣ цѣлью удовлетворить требованіе учащихся, для которыхъ «наибольшее значеніе имѣетъ теоретическое обоснованіе статистическаго метода», и интересы людей «собирающихся работать на богатой и обширной нивѣ статистико-экономическаго изученія нашего отечества», требующихъ главнымъ образомъ практическихъ разъясненій относительно приѣмовъ собиранія, оцѣнки и разработки статистическихъ матеріаловъ,



авторъ выдѣлилъ особо теоретическую часть, уясняя въ ней «связь теоретическихъ основъ статистическаго метода съ основными положеніями теоріи вѣроятностей». Въ практической части книги онъ пытается настолько обстоятельно характеризовать каждый моментъ статистической работы, чтобы дать возможность пользующемуся ею самостоятельно ориентироваться въ кругу тѣхъ операцій, съ которыми ему, какъ статистику, предстоитъ имѣть дѣло.

Курсъ г. Кауффмана, въ отличіе отъ курса г. Воблаго, характеризуется вниманіемъ, удѣляемымъ имъ нашей земской статистикѣ не только по тому соображенію, что онъ назначается, между прочимъ, для русскихъ изслѣдователей, но и потому, что земская статистика внесла много новаго въ область статистическаго изслѣдованія и особенно широко раздвинула его рамки. Использовать должнымъ образомъ опытъ земской статистики помогло А. А. Кауффману то обстоятельство, что онъ ознакомился съ обширными ея матеріалами не въ качествѣ лишь преподавателя статистики, но и занимаясь самостоятельно ихъ разработкой и провѣряя на практикѣ ея методы въ качествѣ мѣстнаго изслѣдователя. В. В.

— Письмо къ читателямъ о самообразованіи, Н. А. Рубакина. СПб. 1913. Цѣна 2 р.

Книга Н. А. Рубакина является результатомъ многолѣтней работы: наблюденій въ одной изъ Петербургскихъ библіотекъ (съ 1875—1907 г.), данныхъ произведенной имъ анкеты и переписки съ 3,216 самоучками и другими читателями, которую онъ ведетъ съ 1889 г. По словамъ автора, «нѣкоторыя мысли, изложенныя имъ въ книгѣ, возникли у него, когда онъ, будучи студентомъ, присматривался къ библіотечнымъ подписчикамъ, выслушивая ихъ почасти удивительныя сужденія и приговоры, видя гримасы, съ которыми отбрасываются въ сторону творенія даже самыхъ выдающихся писателей, а рядомъ съ этимъ, наблюдая несомнѣнно плодотворное вліяніе, которое производили на читателей далеко, на его взглядъ, не первостепенныя книги. Всѣ эти наблюденія приводили къ одному и тому же выводу: о благотворномъ или неблаготворномъ вліяніи чтенія на читателей нельзя никоимъ образомъ судить съ плеча, не изучая ни книгъ, ни читателей, ни соотношенія между ними». Результатами своихъ наблюденій надъ читателями самыхъ разнообразныхъ социальныхъ, психическихъ и антропологическихъ типовъ и дѣлится авторъ.

Г. Рубакинъ обращается къ среднему читателю, часто неудовлетворенному окружающей его средой, шаблонной, затхлой, засасы-

вающей. «Жалуются учителя, прикащики, конторщики, крестьяне, рабочіе, врачи», говоритъ авторъ. «Раздаются не только жалобы, но и стоны. Плачутъ слезами, плачутъ безъ слезъ, плачутъ кровью. Стрѣляются, вѣшаются, топятся, принимаютъ ядъ». Этимъ-то людямъ и хочетъ помочь г. Рубакинъ. Его цѣль—ободрить читателя и указать ему руководящую нить, которая поможетъ ему разобраться въ книжномъ матеріалѣ и выбрать то, что его удовлетворитъ. Отсюда бодрый тонъ книги, который долженъ заразить и читателя. Цѣль самообразованія Рубакинъ видитъ не въ многочтеніи: «его суть въ жизни, въ практическомъ воздѣйствіи на жизнь, въ ощущеніи жизни со всѣми ея неурядицами, частными и общими. Онъ приходитъ на помощь главнымъ образомъ тому читателю, который ищетъ отвѣта на разнообразные вопросы, возбуждаемые жизнью. Почти вся книга посвящена вопросамъ о цѣли и способахъ самообразованія. Авторъ стремится подойти къ читателю, „какъ руководитель-другъ“. Онъ дѣлитъ читателей на нѣсколько группъ и предлагаетъ каждой изъ нихъ соотвѣтствующія ихъ вкусамъ и способностямъ книги.

Въ первой части даны, главнымъ образомъ, общія указанія; подробные списки книгъ съ ихъ описаніями авторъ намѣревался дать въ отдѣльномъ томѣ. Только въ послѣдней главѣ встрѣчается краткій перечень книгъ для начинающаго читателя и дѣлается попытка систематизировать знанія. По нашему мнѣнію, въ этой небольшой программѣ есть нѣкоторые недочеты. Слишкомъ большое мѣсто отведено вопросу о строѣ народнаго образованія и воспитанія въ Россіи и за границей. Авторъ часто говоритъ, что въ указателѣ книжной литературы каждая книга должна сопровождаться ея характеристикой, но самъ, къ сожалѣнію, этого не дѣлаетъ.

Книга г. Рубакина могла бы принести большую пользу, если бы она не была такъ растянута. 298 страницъ—слишкомъ пространное введеніе для лицъ, желающихъ заняться самообразованіемъ. Въ дополненіи помѣщена интересная статья о распространеніи высшаго образованія въ народныхъ массахъ, посвященная исторіи этого вопроса за границей и въ Россіи. Особенно любопытны факты о Чаутокскомъ университетѣ въ Америкѣ, въ которомъ образованіе дается главнымъ образомъ при помощи книгъ, а лекціи читаются только 6-8 недѣль въ году. Цѣли Н. А. Рубакина, повидимому, во многомъ сходны съ цѣлями учредителей Чаутокскаго университета.

А. Т.

## ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

Балканскія событія и ихъ результаты.—Политика великихъ державъ и Австро-Венгрія.—Странная роль русской дипломатіи.—Кампанія противъ Черногоріи.—Особенности нашей внѣшней политики и славянофильскія манифестаціи.—Албанскій вопросъ.—Перемѣна царствованія въ Греціи.

Въ то время, какъ представители великихъ державъ обсуждали въ Лондонѣ условія возстановленія мира на Балканахъ, военные событія успѣли значительно измѣнить положеніе дѣлъ на театрѣ войны. Главнѣйшая крѣпость Эпира, Янина, сдалась грекамъ 6-го марта (21 февраля) послѣ упорной и продолжительной осады; 26 (13)-го марта соединенными сербско-балгарскими войсками взятъ штурмомъ послѣдній оплотъ турецкаго владычества на Балканскомъ полуостровѣ, Адрианополь. Укрѣпленная линія Чаталджи, защищающая доступъ къ столицѣ, все болѣе поддается напору болгарской арміи и можетъ быть прорвана ею въ каждый данный моментъ; но сами побѣдители не стремятся овладѣть Константинополемъ, который ни въ какомъ случаѣ имъ достаться не можетъ. Болгарамъ нѣтъ расчета возбуждать опасные международные споры и давать поводы къ активному вмѣшательству могущественныхъ иностранныхъ государствъ; они благоразумно останавливаются у воротъ Стамбула и твердо предъявляютъ свои требованія, не отказываясь отъ подкрѣпленія ихъ дальнѣйшими наступательными дѣйствіями.

Европейской Турціи не существуетъ болѣе; вѣковой восточный вопросъ, стоившій народамъ столькихъ кровавыхъ и матеріальныхъ жертвъ, разрѣшенъ окончательно, и притомъ самымъ неожиданнымъ образомъ. Наслѣдство «больного человѣка», служившее издавна предметомъ скрытыхъ и явныхъ притязаній великихъ державъ, ушло отъ нихъ безвозвратно и досталось совсѣмъ другимъ претендентамъ, къ которымъ дипломатія привыкла относиться пренебрежительно. Оставленные въ тѣни ближайшіе наслѣдники—туземные балканскіе народы—соединились, общими силами уничтожили турецкое могущество, вступили въ свои историческія національныя права и фактически отстранили Европу отъ участія въ открывшемся наслѣдствѣ. Европѣ оставалось только установить и санкціонировать результаты, достигнутые союзниками не только безъ ея содѣйствія, но и

вопреки всѣмъ ея кабинетнымъ предположеніямъ. Первое впечатлѣніе сокрушительныхъ ударовъ, нанесенныхъ Турціи, было таково, что ограничить ихъ реальныя послѣдствія казалось невозможнымъ, и даже хладнокровный британскій премьеръ заявилъ публично, что побѣдителямъ должны принадлежать плоды ихъ геройскихъ усилій; въ томъ-же духѣ высказывалась и официальная французская пресса. О русскихъ взглядахъ нечего и говорить. Нашей дипломатіи предстояло лишь присоединиться къ точкѣ зрѣнія Англіи и Франціи и неуклонно держаться разѣ усвоеннаго направленія. Въ Австріи и Германіи наиболѣе вліятельныя и серьезныя газеты признавали необходимость сближенія и дружбы съ побѣдоносными балканскими государствами; подготавливалась почва для новыхъ политическихъ комбинацій, которыя, въ сущности, вполне соответствовали бы интересамъ Россіи. Послѣ того, какъ удовлетворены были австрійскія требованія объ удаленіи сербовъ отъ Адріатики и объ образованіи новой автономной Албаніи, можно было ожидать благопріятнаго для Балканъ поворота въ общей европейской политикѣ.

Однако, на дѣлѣ замѣчается нѣчто совершенно другое. Мало по малу австрійская печать мѣняетъ свой тонъ; вѣнскій кабинетъ становится все болѣе требовательнымъ и непримиримымъ, поднимая постоянно все новые щекотливые вопросы и настаивая на дальнѣйшихъ уступкахъ, подъ угрозою военныхъ мѣропріятій. Эта странная тактика имѣла, повидимому, одну опредѣленную цѣль: побудить русскую дипломатію искать соглашенія съ Австро-Венгерією для избѣжанія непріятныхъ международныхъ конфликтовъ. А такъ какъ по традиціи вѣнскій кабинетъ, опирающійся на Германію, пользуется у насъ большимъ авторитетомъ, то наше министерство иностранныхъ дѣлъ невольно послѣдовало австрійскимъ внушеніямъ и обнаружило чувствительность къ австрійскимъ угрозамъ. О томъ, что мы связаны съ Франціей и Англією — у насъ, по обыкновенію, забыли. Мы пошли на встрѣчу какому-то неопредѣленному австрійскому пожеланіямъ, и черезъ нѣкоторое время, въ концѣ февраля, опубликовано было въ газетахъ слѣдующее «тождественное сообщеніе русскаго и австро-венгерскаго правительствъ».

«Воспослѣдовавшій недавно обмѣнъ писемъ между Его Величествомъ императоромъ австрійскимъ, королемъ венгерскимъ и Его Императорскимъ Величествомъ Государемъ Императоромъ вновь доказалъ, что дружественныя отношенія между обоими монархами не были затронуты событіями на Балканскомъ полуостровѣ и что цѣлью ихъ усилій попрежнему является сохраненіе мира.

«Вслѣдствіе сего, оба правительства пришли къ заключенію, что нѣкоторыя, чисто оборонительныя мѣры, принятыя въ погра-

ничныхъ областяхъ обоихъ государствъ, не представляются болѣе вызываемыми обстоятельствами.

«Поэтому рѣшено составъ австро-венгерскихъ войскъ въ Галиціи сократить до обычной нормы; равнымъ образомъ, будетъ сдѣлано распоряженіе относительно роспуска русскихъ воинскихъ чиновъ, подлежащихъ увольненію въ запасъ осенью минувшаго года».

Въ дополненіе къ этому сообщенію напечатано было официальное заявленіе, что «изъ объясненій съ вѣнскимъ кабинетомъ выяснилось, что Австро-Венгрія не питаетъ никакихъ агрессивныхъ видовъ противъ своихъ южныхъ сосѣдей». Состоялась, очевидно, какая-то сдѣлка между обѣими великими державами, но условія ея остались неизвѣстными публикѣ. Россія на что-то согласилась, въ чемъ-то уступила, дала какое-то обязательство, чтобы удовлетворить вѣнскій кабинетъ. Австро-Венгрія съ своей стороны не давала никакихъ обѣщаній и довольствовалась только обычными фразами о миролюбіи, изъ которыхъ наши дипломаты сдѣлали косвенный выводъ («выяснилось») объ отсутствіи у нея «агрессивныхъ намѣреній» противъ балканскихъ государствъ. Впрочемъ, даже эта невинная оговорка оспаривалась австрійскими офиціозами: Австро-Венгрія, по ихъ словамъ, ничѣмъ не связывала своей свободы дѣйствій и оставляла за собою право даже на агрессивныя выступленія, въ случаѣ надобности. Значить, соглашеніе было вполнѣ одностороннее, въ родѣ всѣхъ прежнихъ нашихъ секретныхъ сдѣлокъ съ австрійцами. Такъ мы отдали имъ Боснію и Герцеговину въ обмѣнъ на фиктивные обѣщанія; такъ брали мы на себя роль исполнителей ихъ мнимыхъ реформаторскихъ плановъ въ Македоніи.

Вскорѣ выяснилось, какую цѣну мы уплатили на этотъ разъ за прекращеніе австрійскихъ угрозъ. Россія согласилась не только на расширеніе границъ Албаніи, въ ущербъ балканскимъ союзникамъ, но и на включеніе въ нее сильнѣйшей пограничной крѣпости, которую Черногорія съ самаго начала войны сдѣлала главнымъ предметомъ своихъ военныхъ операцій. Осада города Скутари черногорскими войсками продолжалась уже нѣсколько мѣсяцевъ, когда вдругъ объявлено было «единогласное» рѣшеніе державъ присоединить этотъ городъ къ будущей Албаніи. Черногорія находится въ войнѣ съ Турціей и осаждастъ турецкую крѣпость, составляющую для нея постоянную угрозу; она не щадитъ усилий и жертвъ, чтобы завладѣть непріятельской твердынею, но до сихъ поръ не имѣла успѣха. Черногорцамъ помогаютъ союзныя съ ними сербскія войска, и кровопролитныя битвы около Скутари повторяются почти ежедневно. Если великія державы соблюдаютъ нейтралитетъ въ этой



войнѣ, то какъ могли онѣ по своему рѣшить судьбу турецкаго города, изъ-за котораго черногорцы еще воюють съ турками? По какому праву запрещаютъ черногорцамъ брать крѣпость, предназначенную специально противъ нихъ же, и требуютъ передачи ея новому, не существующему еще албанскому государству? Это странное требованіе, предъявленное Австро-Венгріею съ цѣлью обузданія и приниженія Черногоріи, было принято и одобрено нашей дипломатіей, по совершенно непонятнымъ и невѣдомымъ намъ мотивамъ; а разъ оно оказалось пріемлемымъ для Россіи, то и Франція, и Англія не имѣли уже повода возражать, и такимъ образомъ установилось внѣшнее единодушіе для такого коллективнаго шага, котораго нельзя назвать иначе какъ возмутительнымъ. Если Скутари не должно достаться осаждающимъ его черногорцамъ, то дальнѣйшая осада его не имѣетъ уже никакого смысла, и ее слѣдуетъ снять; маленькая Черногорія—слабѣйшая изъ балканскихъ союзныхъ державъ и единственная, терпѣвшая крупныя неудачи—не можетъ противиться волѣ Европы, а между тѣмъ и подчиниться ей она не въ силахъ, такъ какъ это значило бы отречься отъ своей самостоятельности и отъ всего своего будущаго. Отказъ въ подчиненіи неизбѣжно влечетъ за собою принятіе извѣстныхъ принудительныхъ мѣръ, начиная съ военной демонстраціи и кончая насильственной экзекуціей, т. е. открытыми военными дѣйствіями.

Одно вытекаетъ изъ другого, и первый ложный шагъ приводитъ къ цѣлому ряду послѣдующихъ, которые все болѣе усложняютъ положеніе. Къ несчастной Черногоріи грозно обращаются отъ имени Европы съ явно несправедливыми и обидными домогательствами, подъ предлогомъ защиты интересовъ будущаго австро-итальянскаго дѣтища — Албаніи. И въ этомъ крайне несимпатичномъ предпріятіи главная роль, такъ или иначе, принадлежитъ Россіи, ибо безъ ея согласія проектъ Австро-Венгріи не былъ бы поддержанъ ни Франціею, ни Англіею, и остался бы пустою дипломатическою затѣей.

Для чего понадобилось нашей дипломатіи принять участіе въ этой тягостной исторіи и создавать «волю Европы» тамъ, гдѣ была только воля одной Австро-Венгріи,—это загадка, которую мы разрѣшить не беремся. Россія не только не должна была одобрять враждебное вмѣшательство противъ Черногоріи, но напротивъ, обязана была энергически противодействовать всякимъ попыткамъ подобнаго рода. Было время, когда маленькая Черногорія провозглашалась у насъ единственнымъ вѣрнымъ другомъ Россіи; это было, конечно, сознательное преувеличеніе, но нельзя отрицать, что черногорское княжество всегда пользовалось особымъ покровительствомъ

и поддержкою со стороны Россіи, независимо отъ политическихъ интересовъ, связывающихъ насъ съ славянскими народами Балканскаго полуострова вообще. Такія отношенія обязываютъ обѣ стороны, и русская дипломатія не имѣла нравственнаго права присоединяться къ вѣнскому кабинету въ его походѣ противъ Черногоріи. Безпринципная податливость вѣншей политики обыкновенно оправдывается соображеніями миролюбія и осторожности. Само собою разумѣется, что мы должны тщательно избѣгать конфликтовъ съ Австро-Венгрією, какъ и съ другими державами; но для этого вовсе не требуется подчиненіе чуждымъ и враждебнымъ намъ проектамъ. Миролюбіе заключается вовсе не въ смиренномъ отрицаніи собственныхъ политическихъ взглядовъ и интересовъ, въ угоду могущественнымъ сосѣдямъ. Нѣкоторымъ кажется, что можно безвредить враждебные проекты условнымъ принятіемъ ихъ, въ видахъ позднѣйшаго ихъ измѣненія или смягченія; но это невѣрный и опасный пріемъ. Никогда не можетъ возникнуть спора изъ-за того, что мы на что-нибудь несогласны; никто не въ состояніи заставить насъ сдѣлать что-нибудь противъ нашей воли. Еслибы мы своевременно высказали свое опредѣленно отрицательное мнѣніе объ австрійскихъ планахъ относительно Черногоріи и Скутари, то Австро-Венгрія никакъ не могла бы изъ-за этого затѣять съ нами споръ; самостоятельно же выступить противъ одного изъ балканскихъ союзниковъ, противъ воли другихъ державъ, она не рѣшилась бы. Австрійцы привыкли достигать своихъ цѣлей болѣе дешевымъ способомъ, при помощи скрытыхъ военныхъ угрозъ; они пугали насъ сборами войскъ на границѣ, въ расчетѣ на тотъ же испытанный эффектъ, какой произведенъ былъ заявленіемъ графа Пурталеса во время боснійскаго кризиса. Тогда, при первомъ намекѣ на солидарность Германіи съ Австро-Венгрією, мы поспѣшили сдать всѣ наши позиціи, забывъ даже предупредить объ этомъ нашихъ западныхъ друзей; теперь мы такъ же точно повѣрили австрійскимъ военнымъ приготовленіямъ, отреклись отъ Черногоріи, согласились отдать Скутари албанцамъ и предоставили австрійцамъ устраивать великую Албанію въ тѣхъ турецкихъ провинціяхъ, которыя завоеваны были побѣдами сербовъ и болгаръ. Такой способъ дѣйствій имѣетъ, конечно, мало общаго съ политикою великой державы.

Наши дипломаты, вѣроятно, думаютъ, что своими уступками они избавили Россію отъ опасныхъ вѣнскихъ осложненій, способныхъ привести къ войнѣ. Но неужели можно предполагать, что сборы войскъ на границѣ означали въ данномъ случаѣ рѣшимость начать войну? Нѣтъ сомнѣнія, что австрійцы въ такой же мѣрѣ опасаются войны, какъ и мы. Допустимъ на минуту, что военныя при-

готовленія Австро-Венгріи оставили бы насъ равнодушными и насколько не повліяли бы на нашу сдержанную и спокойную внѣшнюю политику, направленную къ миролюбивой охранѣ жизненныхъ интересовъ Черногоріи и ея союзниковъ. Что произошло бы тогда? Австрійскія военныя мѣры, обходившіяся очень дорого, были бы поневолѣ отмѣнены, какъ не достигающія цѣли; о войнѣ не было бы и рѣчи, за отсутствіемъ достаточныхъ къ тому мотивовъ; никакихъ военныхъ экзекуцій противъ Черногоріи не предпринималось бы, въ виду опредѣленнаго отрицательнаго отношенія къ нимъ Россіи, Англіи и Франціи, къ которымъ, быть можетъ, примкнула бы и Италія. Теперь мы видимъ, что благодаря дипломатической тактикѣ, основанной на неосновательныхъ опасеніяхъ, мы попали на буксиръ къ Австро-Венгріи и идемъ за нею по пути къ военнымъ дѣйствіямъ противъ Черногоріи и Сербіи. Офіціальная Россія помогаетъ вѣнскому кабинету оказывать давленіе на черногорское правительство, чтобы побудить его отказаться отъ Скутари; она вынуждена признать необходимость принудительныхъ мѣръ въ случаѣ упорства черногорцевъ и такимъ образомъ попадаетъ въ положеніе, совершенно несомвѣстимое съ условіями цѣлесообразной русской политики. Въмѣсто того, чтобы оберегать и отстаивать русскіе и славянскіе интересы, наша дипломатія дѣйствуетъ заодно съ австрійцами; но, дойдя до извѣстнаго предѣла, она останавливается, пробуетъ лавировать, уклоняется отъ непосредственнаго участія въ насиліяхъ противъ Черногоріи и этимъ начинаетъ уже раздражать своихъ союзниковъ. Мы добились того, что правительства Англіи и Франціи, подобно нашему министерству иностранныхъ дѣлъ, согласились съ Австро-Венгріею и признали ея требованія исходящими отъ всей Европы. Британскій министръ, сэръ Эдуардъ Грей, въ засѣданіи палаты общинъ 25 (12)-го марта, говорилъ уже о Черногоріи въ тонѣ австрійскихъ офиціозовъ, возмущался ея непокорностью единодушной волѣ великихъ державъ и высказывался рѣшительно въ пользу немедленнаго прекращенія осады Скутари, для передачи его албанцамъ.

Вотъ результаты нашей политики! Мы пошли за Австро-Венгріей; Франція и Англія послѣдовали за нами, и теперь вѣнскій кабинетъ руководитъ всею европейскою дипломатіею, направляя ее противъ Черногоріи и отчасти также противъ Сербіи. Австрійскія газеты ежедневно печатаютъ громовыя статьи о «волѣ Европы», дерзко нарушаемой черногорцами, и требуютъ суровыхъ каръ для ослушниковъ; онѣ упрекаютъ Россію въ неискренности и въ тайномъ поощреніи черногорцевъ. Выходитъ нѣчто совсѣмъ непостижимое: намъ не хотятъ дозволить даже проявленія старинныхъ отношеній къ Чер-

ногоріи, а австрійцамъ предоставлено сколько угодно хлопотать объ Албаніи. Неужели это русская національная политика? Мы полагаемъ, что это вовсе не политика, а какое-то колебаніе, колебаніе опасное, потому что оно неизбежно приводитъ насъ въ безвыходный тупикъ или создаетъ матеріалъ для столбновеній, разочарованій и неудовольствій.

Существуетъ мнѣніе, что никакой иностранной политики намъ не нужно и что для насъ важно только сохранить внѣшній миръ. Но прочный миръ обезпечивается дѣльной и послѣдовательною политикою. Безъ нея мы, при всемъ желаніи мира, наткнулись на японскую войну и вмѣсто ожидаемыхъ легкихъ успѣховъ потерпѣли неслыханно-тяжелыя пораженія. Къ несчастью, у насъ давно уже нѣтъ определенной внѣшней политики—или, быть можетъ, мы еще не дождались установленія такихъ условій, при которыхъ такая политика была бы возможна. Прежде всего у насъ нѣтъ еще свободнаго общественнаго мнѣнія, нѣтъ привычки и права публично, безъ стѣсненій, высказываться по текущимъ политическимъ вопросамъ; народная масса остается какъ бы въ сторонѣ отъ государственной жизни и не привлекается къ обсужденію важнѣйшихъ ея задачъ. Образованные классы мало интересуются международными дѣлами и увлекаются ими только въ исключительные моменты, когда происходятъ крупныя, волнующія воѣхъ событія. Политика дѣлалась у насъ—и плохо дѣлалась—въ министерскихъ канцеляріяхъ и салонахъ, вдали отъ общественнаго контроля и наблюденія, безъ всякой связи съ реальными интересами и нуждами страны. Считалось даже особымъ достоинствомъ политики ея отвлеченность, ея служеніе чужимъ династіямъ и правительствамъ, или ея безкорыстіе, которое въ сущности всегда крайне дорого стоило народу. Великодушная щедрость на народный счетъ по отношенію къ Европѣ была одною изъ характерныхъ чертъ нашей старой государственности. Династическій характеръ нашихъ международныхъ связей, отсутствіе всякаго чувства отвѣтственности предъ странкою и народомъ, возможность рѣшать самые важные вопросы подъ вліяніемъ случайныхъ впечатлѣній или предвзятыхъ идей, безъ обстоятельнаго предварительнаго обсужденія,—все это порождало нерѣдко такіе акты, которые даже для нашихъ зачатковъ общественнаго мнѣнія представлялись чудовищными. Достаточно вспомнить секретное рейхштадтское соглашеніе 1876-го года, отдававшее Боснію и Герцеговину австрійцамъ безъ малѣйшей въ томъ надобности, въ то время какъ возставшіе босняки и герцеговинцы явно стремились къ соединенію съ Сербіей и Черногоріей, и въ русскомъ обществѣ раздавались громкія слова объ освобожденіи славянъ отъ иноземнаго ига.

Нѣкоторое подобіе славянофильскаго движенія вызвано у насъ новѣйшими балканскими событіями, но оно остается искусственнымъ и поверхностнымъ; главными выразителями славянскихъ чувствъ являются у насъ сомнительные дѣльцы новомоднаго русскаго націонализма, при содѣйствіи двухъ-трехъ увлекающихся прогрессистовъ. Симпатіи къ балканскимъ народамъ, добывающимъ съ оружіемъ въ рукахъ свою независимость и свободу, несомнѣнно имѣютъ у насъ прочное историческое основаніе; но и теперь, какъ тридцать пять лѣтъ тому назадъ, наша дипломатія отдала славянскіе интересы въ австрійскія руки и предоставила вѣнскому кабинету руководящую роль въ опредѣленіи ближайшихъ судебъ Черногоріи и Сербіи. Не смотря на совершившуюся огромную перемѣну въ характерѣ и обстановкѣ борьбы, не смотря на внушительныя побѣды славянъ и полный разгромъ турокъ, дипломатія все-таки ни въ чемъ не измѣнила своихъ пріемовъ и сохранила свою прежнюю вѣру въ необходимость подчиненія балканскихъ дѣлъ авторитетному руководству Австро-Венгріи. Мало мѣняются и взгляды нашихъ славянолюбцевъ, допускающихъ гражданскую свободу и полноправіе только для балканскихъ и австрійскихъ славянъ, но не для собственного народа. Стихійное чувство солидарности съ славянствомъ выразилось и въ нашей Государственной Думѣ, при полученіи извѣстія о паденіи Адрианополя, когда большинство депутатовъ устроило шумную манифестацію въ честь Болгаріи и затѣмъ въ кулуарахъ восторженно привѣтствовало почетныхъ гостей, генерала Радко Дмитріева и предсѣдателя болгарскаго народнаго собранія Данева. Попытка организовать славянофильскую политическую манифестацію въ болѣе широкихъ размѣрахъ на улицахъ столицы окончилась обычнымъ избіеніемъ манифестантовъ, къ великому смущенію официальныхъ представителей Сербіи и Болгаріи, къ которымъ главнымъ образомъ относились привѣтствія и возгласы участниковъ манифестаціи. Въ данномъ случаѣ традиціонная внутренняя политика коснулась внѣшней и освѣтила ее своеобразнымъ мгновеннымъ блескомъ. Позднѣйшее устройство официально разрѣшенной и одобренной демонстраціи, при участіи генераловъ и офицеровъ, 24-го марта, не могло уже ослабить значеніе урока, даннаго славянофиламъ. Страна, гдѣ самое невинное и свободное проявленіе политическихъ чувствъ считается противозаконнымъ и вызываетъ грубую полицейскую расправу, не можетъ имѣть истинно-національной внѣшней политики.

Дипломатія остается у насъ всецѣло достояніемъ высшей бюрократіи, для которой народныя интересы и общественное мнѣніе—только пустыя слова. Между тѣмъ, самые жизненные вопросы мира



и войны рѣшаются людьми, заправляющими внѣшней политикою, и народъ не можетъ относиться равнодушно къ тому, какъ и въ какомъ духѣ она ведется. Государство тратитъ на дипломатію весьма значительныя народныя средства, независимо отъ колоссальныхъ затратъ на армію, которыя, косвенно, также должны служить обезпеченію успѣховъ дипломатической дѣятельности. На дипломатію и на армію мы тратимъ гораздо больше, чѣмъ Австро-Венгрія; мы имѣемъ въ Европѣ возможность рассчитывать на союзъ и дружбу двухъ могущественныхъ и богатѣйшихъ націй — и, тѣмъ не менѣе, нашихъ официальныхъ дипломатическихъ дѣятелей неодолимо тянетъ на австрійскій буксиръ. Эта печальная черта нашей внѣшней политики, повидимому, органически связана съ нѣкоторыми особенностями нашей государственности.

Дипломатія усердно занимается теперь албанскимъ вопросомъ. Албанія суждено было сдѣлаться предметомъ заботъ и споровъ прежде чѣмъ она успѣла родиться на свѣтъ въ видѣ особаго государства. Странно, что это не родившееся еще государство пользуется уже несомнѣнными преимуществами предъ Сербією и Черногорією и удачно отрываетъ отъ нихъ цѣлыя области, завоеванныя ими съ оружіемъ въ рукахъ; оно безъ всякаго риска и безъ потерь одержало невидимую побѣду надъ войсками, осаждающими пограничную на сѣверѣ крѣпость Скутари, и поставило Черногорію въ крайне тяжелое положеніе категорическимъ требованіемъ немедленнаго снятія осады. Вся Европа, включая и Россію, хлопочетъ объ отнятіи Скутари отъ штурмующихъ его черногорцевъ и объ отдачѣ его будущей, ничего еще не сдѣлавшей и не заслужившей Албаніи; всѣ великія державы стараются какъ можно шире раздвинуть предѣлы новорожденнаго государства, отгѣснивъ для этого — сербовъ и грековъ. Албанія сразу нашла такихъ всемогущихъ покровителей, какихъ никогда не имѣла ни одна изъ прежнихъ балканскихъ державъ.

Чѣмъ объяснить это исключительное счастье Албаніи? О ней хлопочетъ Австро-Венгрія, сумѣвшая привлечь на свою сторону всю Европу, включая и Россію, вмѣстѣ съ Францією и Англією. Оттого для обезпеченія правъ и будущихъ пріобрѣтеній Албаніи пускаются въ ходъ чрезвычайныя коллективныя мѣры, военныя угрозы и морскія демонстраціи, предпринимаемыя съ согласія и одобренія Россіи. Изъ-за отдѣльныхъ крѣпостей и городовъ, желательныхъ для Албаніи, Австро-Венгрія готова, будто бы, затѣять общую европейскую войну, — если вѣрить нѣкоторымъ

хорошо осведомленнымъ дипломатамъ и журналистамъ. Говорятъ, что нашъ министр иностранныхъ дѣлъ, въ собесѣдованіи съ приглашенными имъ 22-го марта представителями разныхъ фракцій Государственной Думы, сообщилъ нѣкоторые достовѣрные свѣдѣнія въ этомъ родѣ, подтверждаемые авторитетными заявленіями дипломатическихъ агентовъ Австро-Венгріи и, быть можетъ, даже Германіи. Остается только сомнительнымъ, существуютъ ли такія данныя, которыя доказывали бы обязательность для Россіи прямого или косвеннаго участія въ австрійскомъ рѣшеніи вопроса о Скутари и въ предложенныхъ по этому поводу вѣнскимъ кабинетомъ мѣропріятіяхъ противъ Черногоріи. Мы думаемъ, что такихъ данныхъ нѣтъ и быть не можетъ. Впрочемъ, весьма возможно, что мы ошибаемся: дипломатическія тайны намъ недоступны. Но политика такой великой державы, какъ Россія, должна быть ясна и для непосвященныхъ; она должна быть не только миролюбивою, но и послѣдовательною, откровенно признающею и охраняющею свои интересы, помимо всякихъ закулисныхъ воздѣйствій.


Относительно Австро-Венгріи мы не можемъ сказать, что стремленія и цѣли ея дипломатіи представляются въ чемъ-либо неясными и противорѣчивыми, или обнаруживаютъ какія-либо рѣзкія колебанія и перемѣны; напротивъ, все тутъ ясно, общедоступно и послѣдовательно. Для вѣнскаго кабинета дѣло идетъ о выдѣленіи возможно большей части балканскихъ областей, прилегающихъ къ Адриатикѣ, въ видѣ новаго вассальнаго государства, фактически подвластнаго австрійцамъ. Будущіе устроители и дѣятели этой Албаніи, намѣченные и поощряемые дипломатическими агентами Австро-Венгріи, собираются, организуются и принимаютъ политическія резолюціи, подъ руководствомъ и наблюденіемъ австрійской администраціи. Разные албанскіе туземцы, съ болѣе или менѣе подозрительными титулами мѣстныхъ племенныхъ вождей (можетъ быть, въ родѣ нашихъ сельскихъ старостъ или волостныхъ старшинъ), печатаютъ въ австрійскихъ газетахъ и журналахъ свои заявленія о томъ, что при господствующей въ странѣ хронической анархіи и при склонности жителей къ постояннымъ междоусобіямъ немислимо оставить Албанію на произволъ судьбы и что только Австро-Венгрія способна водворить въ ней безопасность и порядокъ и ввести зачатки культуры. Австрійскіе публицисты считаютъ эти пожеланія вполне естественными и разумными, а дипломаты заранѣе готовятъ почву для ихъ осуществленія. Вотъ о чемъ хлопочутъ австрійцы отъ имени всей Европы, при благосклонномъ содѣйствіи великихъ державъ, какъ тройственного союза, такъ и конкурирующаго съ ними тройственного согласія. И поучительнѣе

всего, что вѣнскій кабинетъ, неуклонно проводя свою разсчетливую и старательно обдуманную политическую программу, прибѣгаетъ иногда къ угрожающимъ жестамъ, но заботливо избѣгаетъ дѣйствительнаго риска военныхъ столкновений. Намъ свойственны въ Европѣ, быть можетъ, болѣе мирныя и скромныя цѣли; но для успѣшнаго достиженія ихъ надо отказаться отъ традиціонныхъ пріемовъ податливости и впечатлительности въ сношеніяхъ съ вѣнскимъ кабинетомъ.

---

Военные и политическіе успѣхи, достигнутые Греціей въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ, были омрачены неожиданною смертію престарѣлаго короля Георга отъ руки какого-то сумасшедшаго грека, 18 (5)-го марта, въ Салоникахъ.

Покойный, сынъ датскаго короля Христіана IX, избранъ былъ на греческій престолъ восемнадцати лѣтъ отъ роду, въ іюнѣ 1863 года, и царствовалъ почти пятьдесятъ лѣтъ; онъ не имѣлъ удачи и успѣха, какъ правитель, и только на склонѣ дней ему улыбнулось счастье, во время послѣдней войны. Много разъ ему приходилось переживать тяжелые политическіе кризисы, которыми ставилась на карту и судьба его династіи; особенно трудно было его положеніе въ 1897-мъ году, послѣ разгрома греческой арміи турецкими войсками. Въ 1909-мъ году правительственная власть была захвачена «военною лигою», которая прежде всего потребовала удаленія изъ арміи наслѣднаго принца (діадоха) и трехъ его братьевъ; король долженъ былъ съ болью въ сердцѣ подчиниться, въ надеждѣ на лучшее будущее. Съ 1910-го года впервые выдвинулся нынѣшній министръ-президентъ, критскій патріотъ Венизелосъ, успѣвшій въ скоромъ времени пріобрѣсть общее довѣріе и авторитетъ, какъ талантливый и честный политическій дѣятель. Въ концѣ своей жизни король Георгъ впервые испыталъ чувство военной славы, и блескъ неожиданныхъ греческихъ побѣдъ сразу сдѣлалъ имя его наслѣдника Константина въ высшей степени популярнымъ не только въ Греціи, но и за ея предѣлами.



## ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ.

Несбывшіяся ожиданія.—Амнистія и смертная казнь.—Что разумѣть подъ „децентрализацией“ В. К. фонъ-Плеве и что разумѣть Н. А. Маклаковъ?—Черезъ десять лѣтъ: предположенія и факты.—Нѣсколько иллюстрацій.—Отданіе чести студентами-медиками и „преобразование“ военно-медицинской академіи.—Роковыя послѣдствія „пріостановленія“ дѣла Лыжина.—Юбилей Н. С. Таганцева.—Баронъ П. Л. Корфъ †.

Ожиданія, въ теченіе столькихъ лѣтъ связывавшіяся съ 1913-мъ годомъ и съ надеждами на амнистію, не оправдались. Говоря это, мы имѣемъ въ виду указъ 21 февраля постольку, поскольку онъ коснулся—вѣрнѣе, не коснулся—политическихъ и важнѣйшихъ религіозныхъ посягательствъ. Полное освобожденіе отъ суда и наказаній даровано лишь лицамъ, совершившимъ преступленія посредствомъ печати, а также признаннымъ виновными въ менѣе тяжкихъ видахъ оскорбленія Величества. Главная масса политическихъ преступленій, обложенныхъ высшими карами, осталась вовсе внѣ дѣйствія указа,—ибо ст. 102 уголовного уложенія включена въ тотъ недлинный, но объемлющій огромное количество дѣлъ и лицъ перечень, который устраняетъ примѣненіе милостей. Этотъ перечень, по своему объему, вообще составляетъ отличительную особенность указа 21 февраля, сравнительно съ однородными милостивыми манифестами 1896-го и 1904-го годовъ. Нѣтъ въ немъ такъ же, какъ было въ этихъ манифестахъ, и сокращенія давностныхъ сроковъ.

Сокращеніе времени лишенія свободы на одну треть въ прежнихъ манифестахъ было общимъ правиломъ. Изъятій въ этомъ отношеніи манифесты 1896 и 1904 гг. почти не знали. Все безчисленное множество осужденныхъ въ послѣдніе годы военными и общими судами за принадлежность къ «сообществамъ» социалъ-демократовъ, социалистовъ-революціонеровъ, дашнакцутюновъ, гинчакистовъ, синдикалистовъ и т. д., и т. д. по аналогіи ожидало, если не полного помилованія, то такого сокращенія. Его не получили ни отбывающіе каторгу, ни отбывающіе исправительный домъ, крѣпость или тюрьму. Только отбывающимъ ссылку на поселеніе даровано, на одинаковыхъ съ другими основаніяхъ, сокращеніе сроковъ на перечисленіе въ крестьяне и на возвратъ изъ Сибири. Мы

видѣли письмо одного осужденнаго по 102-ой статьѣ и отбывающаго трехлѣтнее заключеніе въ крѣпости. Значительную часть срока онъ уже отсидѣлъ. Болѣе года онъ считалъ дни, остающіеся до 21-го февраля. Последній мѣсяць—считалъ часы. Наканунѣ ему говорилъ начальникъ тюрьмы—онъ тоже былъ охваченъ общимъ ожиданіемъ:—«завтра будете дома». Наступило «завтра» и принесло съ собой: «милости... не распространяются». Сколько еще болѣе ужасныхъ душевныхъ трагедій вспыхнуло и замерло въ непроницаемыхъ казематахъ каторги!..

Вздохъ облегченія вызвали слова указа: «всѣмъ присужденнымъ по день 21-го февраля 1913 года къ смертной казни, а равно подлежащимъ этому наказанію за учиненныя до этого дня преступныя дѣянія, замѣнить смертную казнь ссылкой въ каторжныя работы на двадцать лѣтъ». Хотя на нѣкоторое время не придется читать и слышать о новыхъ казняхъ! И къ дѣлу Кузьмина, бывшаго въ дни революціи президентомъ красноярской республики, указъ уже получилъ примѣненіе: военный судъ, вторично разсматривавшій дѣло, вмѣсто смертной казни, назначилъ ему 20 лѣтъ каторги. Но, наканунѣ распубликованія указа, въ Харьковѣ мѣстная власть поторопилась повѣсить Осадчаго, совершившаго, какъ писали правыя газеты, «120 убійствъ». «Лѣвые листки» справедливо были ошеломлены казнью Осадчаго, особенно послѣ того, когда стало извѣстно, что указъ былъ разосланъ на мѣста 20-го февраля. «Новое Время» отвѣтило глумленіемъ. Газета паевого товарищества, насчитывающаго въ своемъ составѣ, вмѣстѣ съ братьями Сувориными, съ гг. Снѣсаревымъ и А. Столыпинымъ, А. И. Гучкова, нашла перья, которыя со смѣхомъ написали: «Въ самомъ дѣлѣ—какія «нынче времена! Не дали «погулять» даже такому заслуженному разбойнику, какъ Осадчій, а вмѣсто этого «ночью», «тайкомъ» «украли» у него жизнь, которая могла бы еще пригодиться на пользу отечеству!» Да, вѣрно: «нынче времена». Противъ утвержденій, что по русскимъ законамъ нельзя вѣшать «разбойника», хотя бы совершившаго 120 (?) общеуголовныхъ убійствъ, и нельзя вѣшать чловека, который черезъ сутки долженъ былъ услышать о дарованіи ему жизни,—противъ этихъ утвержденій не спорятъ: надъ ними смѣются...

---

Въ исторіи послѣднихъ лѣтъ борьбы за сохраненіе старыхъ формъ нашего государственнаго строя былъ моментъ, когда, какъ за средство спасенія, власть ухватила за идею децентрализаціи. Этотъ моментъ—начало 1903-го года. Тогда только что закончили ра-



боты мѣстные комитеты о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности. Съ мѣстъ громко прозвучалъ единомыслный голосъ. Экономическій и правовой тупикъ, въ который уперлась народная жизнь, ярко обозначился. Правительство усумнилось въ всемогущество бюрократическаго начала и сознало необходимость призыва общественныхъ силъ къ участию въ управленіи и даже въ законодательствѣ. Манифестомъ 26 февраля 1903 года было повелѣно «передать на мѣста» труды по пересмотру законодательства о сельскомъ состояніи «для дальнѣйшей ихъ разработки и согласованія съ мѣстными особенностями въ губернскихъ совѣщаніяхъ, при ближайшемъ участіи достойнѣйшихъ дѣятелей, довѣриемъ общественнымъ облеченныхъ».

Вмѣстѣ съ тѣмъ манифестъ объявилъ Высочайшее признаніе «незамедлительной» потребностью, въ цѣляхъ удовлетворенія «назрѣвшимъ нуждамъ государственнымъ»: «преобразовать губернское и уѣздное управленія, для усиленія способовъ непосредственнаго удовлетворенія многообразныхъ нуждъ земской жизни трудами мѣстныхъ людей, руководимыхъ сильной и закономѣрной властью, предъ Нами строго отвѣтственною». Эти слова заключали въ себѣ опредѣленно поставленный принципъ децентрализаціи въ общепринятомъ смыслѣ понятія—т. е. въ смыслѣ расширенія сферы компетенціи и объема правъ мѣстныхъ органовъ самоуправленія, за счетъ компетенціи бюрократическихъ органовъ центральной власти и ея агентовъ на мѣстахъ. Отъ послѣднихъ манифестъ предугаживалъ взять активную дѣятельность по части «непосредственнаго удовлетворенія многообразныхъ нуждъ земской жизни» и, взаменъ нея, для нихъ намѣчено было лишь руководство,—сильное, но закономѣрное и передъ верховною властью строго отвѣтственное.

«Незамедлительность» В. К. фонъ-Плеве понялъ буквально. На другой же день послѣ изданія манифеста, 27 февраля, подъ его предсѣдательствомъ уже засѣдала «комиссія по преобразованію губернскаго управленія», а 5 Марта комиссія закончила свои занятія. Что же касается содержанія предугажаній манифеста о децентрализаціи, то комиссія изъ товарищей министра внутреннихъ дѣлъ, нѣкоторыхъ директоровъ департаментовъ и пяти губернаторовъ поняла ихъ совершенно неожиданно и болѣе чѣмъ своеобразно. Изъ цитированныхъ выше словъ манифеста комиссія сдѣлала выводъ, что она обязана остановиться на двухъ вопросахъ: «во-первыхъ, о правильной постановкѣ губернаторской власти для приданія ей сильнаго, закономѣрнаго и строго отвѣтственнаго характера и, во-вторыхъ, объ улучшеніи современнаго управленія губерніею

черезъ усиленіе способовъ непосредственнаго, безъ обращенія къ центральнымъ учрежденіямъ, удовлетворенія мѣстныхъ нуждъ». Обсуждая первый вопросъ, комиссія остановила свое вниманіе только на способахъ сдѣлать губернаторскую власть «сильной». Дѣлать же что-либо для приданія ей «строго отвѣтственнаго характера» комиссія нашла ненужнымъ. Въ журналѣ засѣданій такъ прямо и записано, что комиссія «не останавливалась на отвѣтственности губернаторовъ въ виду того, что отвѣтственность эта вынѣ дѣйствующими законами поставлена вполнѣ правильно». Сужденія по второму вопросу комиссія тоже свела къ мѣрамъ усиленія губернаторской власти, дабы эта власть стала одинаково сильной и независимой какъ въ отношеніи населенія губерніи и органовъ губернскаго управленія всѣхъ вѣдомствъ, такъ равно въ отношеніи центральной власти.

Манифестъ 26-го февраля 1903 года, какъ извѣстно, практическаго осуществленія не получилъ. Менѣе, чѣмъ черезъ годъ, началась война. Затѣмъ, спустя полгода, Плеве былъ убитъ. Его преемникъ сказалъ памятные слова о «довѣріи». Неотложныя мѣры «для упроченія правильнаго хода государственной жизни» стали получать все болѣе и болѣе широкую постановку. Постепенно появлялись указъ 12 декабря 1904 г., манифестъ 18 февраля 1905 г., тѣмъ же днемъ датированный указъ и рескриптъ на имя А. Г. Булыгина, и, наконецъ, манифестъ 17 октября. Проектъ Плеве объ усиленіи губернаторской власти ни въ старый Государственный Совѣтъ, ни въ новыя законодательныя учрежденія не поступалъ и вскорѣ былъ забытъ. Одинъ издатель «Гражданина», кн. Мещерскій, никогда не забывалъ сѣтовать на безсиліе и безвластіе губернаторовъ и на то, что пріѣзжающимъ въ Петербургъ «хозяевамъ» губерній приходится подчиняться общимъ служебнымъ условіямъ пріема у министровъ. Послѣ смерти П.-А. Столыпина кн. Мещерскій сталъ возвращаться къ своимъ сѣтованіямъ еженедѣльно.

Мысли Плеве и образованной имъ въ 1903-мъ году комиссіи, десять лѣтъ спустя, возродились въ словахъ шестого его преемника. На вопросъ корреспондента «Temps» о предполагаемыхъ реформахъ Н. А. Маклаковъ отвѣтилъ:—«Я покажусь вамъ, можетъ быть, парадоксальнымъ, если заявлю, что я являюсь убѣжденнымъ сторонникомъ децентрализаціи»<sup>1)</sup>. Въ своемъ опасеніи изумить собесѣдника

1) Такъ какъ бесѣда въ подлинникѣ была напечатана на французскомъ языкѣ и текстъ перевода русскихъ газетъ съ нимъ не совпадаетъ, то, во избѣжаніе нареканій въ невѣрности цитаты, мы пользовались переводомъ, напечатаннымъ въ «Гражданинѣ» (№ 10)—въ изданіи, которое никто не заподозритъ въ недоброжелательствѣ къ Н. А. Маклакову.

новый министръ былъ правъ. «Децентрализація», какъ основа предполагаемыхъ реформъ, въ устахъ русскаго министра внутреннихъ дѣлъ, по нынѣшнимъ временамъ—дѣйствительно парадоксъ. Но, конечно—децентрализація въ обычномъ смыслѣ понятія. Министръ же, оказывается, понимаетъ децентрализацію, въ сопоставленіи съ нынѣшними временами, отнюдь не парадоксально. Далѣе Н. А. Маклаковъ говорилъ: «Страна наша настолько обширна, что представляется необходимость увеличить права представителей Его Величества въ губерніяхъ. Центральная власть не можетъ претендовать на рѣшеніе всѣхъ дѣлъ изъ столицы. Лица, которымъ поручено управленіе губерніей, по пространству иногда превышающей величину всей Франціи, должны обладать той полнотой власти, которая имъ необходима, минуя долгую проволочку министерскихъ канцелярій. Чиновникъ, занимающій высокій постъ, достойный представлять Монарха, долженъ обладать властью въ соотвѣтствіи съ оказываемымъ ему довѣріемъ. Я постараюсь, по возможности, развитъ эту власть такъ, чтобы губернаторы чувствовали себя до извѣстной степени независимыми отъ Петербурга».

Такой точно выводъ изъ предпосылки объ обширности «нашей страны» дѣлало екатерининское «Наставленіе губернаторамъ» 1764 г. Въ вѣкъ желѣзныхъ дорогъ, телеграфа и телефона его дѣлалъ Плевэ и дѣлаетъ Н. А. Маклаковъ. И мысли двухъ послѣднихъ совпадаютъ не только въ желаніи вернуть губернатору роль независимаго отъ центра «главы и хозяина всей врученной въ смотрѣніе его губерніи» или роль «истиннаго опекуна» всѣхъ, «какого-бы званія ни были, гражданскихъ мѣстъ»,—какъ говорило «Наставленіе»,—но и въ отношеніи вопроса о средствахъ противодѣйствія злоупотребленіямъ со стороны всевластнаго «хозяина» и «истиннаго опекуна». Комиссія Плевэ отбросила вопросъ объ отвѣтственности губернаторовъ, ибо онъ «дѣйствующими законами» разрѣшается «вполнѣ правильно». Н. А. Маклаковъ, предусматривая возраженіе о «возможныхъ злоупотребленіяхъ», вмѣсто отвѣта о мѣрахъ отвѣтственности, изложилъ рисующуюся ему систему ревизій, но только не такихъ, какія «производились въ теченіе послѣднихъ лѣтъ». «Это были—говорилъ онъ—слѣдствія, теперь же можетъ быть организованъ широкій контроль». Контроль, слѣдовательно, во всякомъ случаѣ, не влекущій судебной отвѣтственности.

Любопытно еще одно сопоставленіе. Комиссію Плевэ весьма озабочивало, что губернаторы только въ мѣстностяхъ, объявленныхъ въ положеніи усиленной охраны, могутъ издавать такіа обязательныя постановленія, неисполненіе которыхъ изъемлется изъ вѣдѣнія судебной власти. А потому комиссія проектировала

распространить, въ данномъ отношеніи, правила охраны и на губерніи, не находящіяся въ исключительномъ положеніи. Потребности въ такой «реформѣ» въ настоящее время нѣтъ. Ибо «реформа» какъ-то сама собой, безъ всякаго закона, но осуществилась и уже шесть лѣтъ дѣйствуетъ даже шире, чѣмъ того желалъ Плеве. Комиссія подѣ его предсѣдательствомъ, находя, что при разборѣ дѣлъ у мирового судьи «представители полиціи нерѣдко ставятся въ неудобное для органовъ власти положеніе», а административный порядокъ даетъ «поводъ къ нареканіямъ на произвольныя дѣйствія власти»,— считала необходимымъ «изыскать средній между названными порядками путь, въ видѣ какого-либо упрощеннаго производства». Для «реформы» же, явившейся безъ закона, никакого «средняго пути» не понадобилось. «Неудобное для органовъ власти положеніе» устранено. «Нареканія», правда, остались, но кто съ ними теперь считается!

Н. А. Маклаковъ, вступивъ въ должность министра внутреннихъ дѣлъ, принялъ «реформу» какъ фактъ, имъ самимъ на губернаторскомъ посту хорошо извѣданный. И онъ использовалъ ее такъ, какъ не рисковали использовать ни П. А. Столыпинъ, ни А. А. Макаровъ. Онъ создалъ понятіе наказуемаго «озорства» и въ порядкѣ изданныхъ губернаторами обязательныхъ постановленій изъясилъ новую категорію дѣлъ изъ вѣдѣнія суда, съ передачею ихъ на безапелляціонное разрѣшеніе губернаторовъ. Очевидно, ему не было повода предположительно говорить въ бесѣдѣ съ интервьюеромъ объ этой формѣ «децентрализаціи» и освобожденія губернаторовъ отъ зависимости отъ Петербурга, гдѣ засѣдаютъ законодательныя учрежденія и гдѣ издаются законы. Тѣмъ не менѣе его слова по поводу предпринятой борьбы съ хулиганствомъ заслуживаютъ особеннаго вниманія. «Для борьбы съ этимъ возрастающимъ зломъ—говорилъ Н. А. Маклаковъ—губернаторы, облеченные новой властью, до изданія спеціальнаго закона будутъ въ состояніи принимать надлежащія мѣры. Такимъ образомъ, мы можемъ сейчасъ же дѣйствовать и имѣть время изучить проектъ закона, который будетъ представленъ въ Государственную Думу». Быть болѣе откровеннымъ невозможно. Полагаемъ, что даже Плеве былъ бы приведенъ въ смущеніе облеченіемъ губернаторовъ «новой» властью до изданія спеціальнаго объ этой новой власти закона и карательными мѣрами, примѣняемыми въ цѣляхъ «изученія» проекта закона о нихъ—проекта, который «будетъ» представленъ въ законодательныя учрежденія. Подобная «децентрализація» безпримѣрна.

О мѣрахъ, которыя проектируетъ Н. А. Маклаковъ для обузданія «свободной» печати, мы писать не станемъ. Вмѣсто разбора вѣстийъ Европы.—апрѣль. 1913.

ихъ по существу, воспроизведемъ нѣсколько иллюстрацій, одновременно рисующихъ и положеніе провинціальныхъ газетъ, и тяжесть тисковъ изъ Петербурга—тисковъ закона и канцелярій,—которые давятъ губернаторскую власть и отъ которыхъ, въ виду «обширности нашей страны», ее необходимо освободить. «День» (№ 67), откуда мы заимствуемъ эти иллюстраціи, весьма умѣстно предпослалъ имъ слова указа 12 декабря 1904 года: «устранить изъ нынѣ дѣйствующихъ о печати постановленій излишнія стѣсненія и поставить печатное слово въ точно опредѣленные закономъ предѣлы».

Губернаторъ, арестовавшій за одну и ту же статью и редактора, и издателя, мотивировалъ свое распоряженіе такъ: «Можетъ быть и нѣтъ прямого указанія на право налагать одновременно штрафъ на двухъ и болѣе лицъ за одну и ту же статью, да это меня и не интересуетъ; вѣдь когда въ кражѣ, скажемъ, участвуютъ двое и болѣе воровъ, то три, четыре мѣсяца тюрьмы не дѣлятся между ними поровну, а всѣ садятся на одинъ максимальный (!) срокъ». Другой губернаторъ за одну и ту же статью оштрафовалъ сразу семь лицъ: редактора, подписавшаго номеръ, и шесть такъ называемыхъ запасныхъ, которыхъ имѣетъ каждая газета на случай внезапнаго ареста редактора.

Ревельская газета была оштрафована «за задержку, въ цѣляхъ политической демонстраціи, выпуска очередного номера»; «Тавричанинъ»—«за призывъ народа не вѣрить баснѣ объ отравленіи врачами холерныхъ больныхъ», такъ какъ этотъ призывъ крестьяне «поймутъ наоборотъ»; «Амурскій Край»—за пропускъ въ телеграммѣ Спб. Тел. Агентства словъ: «въ ихъ числѣ одна еврейка». Та же газета была оштрафована за то, что при печатаніи «не оттиснулась точка послѣ начальной буквы брата покойнаго г. министра»; она же—за замѣтку, что нѣкій проситель, подавшій прошеніе пограничному комисару въ августѣ, получилъ отвѣтъ только въ январѣ; «Козловская Газета»—за неуказаніе, что стражникъ «стрѣлялъ послѣ предупрежденія»; редакторъ «Тульской Мысли» арестованъ «за неуважительный отзывъ» о правомъ депутатѣ Тычининѣ; редакторъ «Огней»—за фельетонъ о священникѣ, который выписалъ себѣ какіе-то «очки-радій» для безпроигрышной игры въ карты. Въ Екатеринославѣ запретили писать о врачѣ, торговавшемся съ пациентомъ, въ Николаевѣ администрація потребовала, чтобы газета извинилась за статью о дамѣ, «выругавшей мальчика за то, что ея собака его искусила».

«Благовѣщенское Утро» перепечатало изъ столичныхъ газетъ замѣтку, въ которой говорилось о суевѣріи, связываемомъ съ цифрой 13, какъ съ несчастной. Авторъ замѣтки привелъ рядъ историче-



скихъ событій счастливыхъ и несчастныхъ, происшедшихъ въ тринадцатыхъ годахъ, не указавъ, однако, точно, какія онъ считаетъ счастливыми и какія несчастными. Въ числѣ приводимыхъ историческихъ примѣровъ было указано, что въ 1613-мъ году послѣдовало воцареніе Дома Романовыхъ. Администрація переполошилась. Рѣшено было за «возбужденіе населенія» газету «наказать». Произвели обыскъ, конфисковали злополучный номеръ, редактора-издателя арестовали, вслѣдствіе чего выходъ газеты приостановился.

И самому Н. А. Махлакову, впрочемъ, всего черезъ нѣсколько дней послѣ бесѣды съ корреспондентомъ «Temps» и менѣе, чѣмъ черезъ мѣсяцъ послѣ облеченія губернаторовъ «новой» властью, пришлось поступить вопреки тому, чего онъ является «убѣжденнымъ сторонникомъ», и властно сказать изъ Петербурга «хозяевамъ» губерній: полегче! Въ «Гражданинѣ», въ слѣдующемъ же за напечатаніемъ бесѣды номерѣ, появилось столь же краткое, сколь и выразительное извѣщеніе: «Министръ внутреннихъ дѣлъ разослалъ губернаторамъ циркуляръ, которымъ предписывается примѣнять обязательныя постановленія о хулиганствѣ съ особой осмотрительностью»....

Пока обязанность студентовъ военно-медицинской академіи отдавать честь офицерамъ не обогрилась кровью, объ этой внезапно наложенной на нихъ обязанности неумолчно говорили, но, всетаки, и занятія студентовъ продолжались, и улицы Петербурга не были свидѣтелями постоянныхъ столкновеній между студентами и офицерами. Но послѣ того, какъ студентъ Марковинъ, изъ-за неотданія чести, оказался съ разсѣченной головой въ клиникѣ, началось нѣчто невѣроятное. Газеты запестрѣли ежедневными рассказами о томъ, какъ офицеръ—то тутъ, то тамъ—остановилъ студента, сдѣлалъ «замѣчаніе», «приказалъ» городовому отвести въ комендантское управленіе, «поправилъ» руку, приложенную къ козырьку, и т. д., и т. д. Былъ случай, что, спутавъ форму, юный офицеръ потребовалъ отданія чести отъ врача. Было безчисленное множество случаевъ рѣзкихъ столкновеній и въ вагонахъ трамвая, и въ ресторанахъ, и въ театрахъ, и просто на улицѣ. Ночью, между юнкерами технического военного училища и студентомъ Пиральянцемъ произошла драка, закончившаяся тяжелымъ пораненіемъ Пиральянца; юнкеръ, обнажившій пашку и нанесшій ему рану, похвалялся въ полицейскомъ участкѣ и выражалъ сожалѣніе, что не рубилъ, какъ слѣдовало. Словомъ, создавалась безысходная бытовая нелѣпица.

Оборвали нелѣпицу сами студенты. Какъ это ни странно, но

нельзя не сказать, что не начальство всѣхъ степеней и ранговъ, а именно они нашли исходъ изъ создавшейся нелѣпицы и положили конецъ дальнѣйшему развитію кровавыхъ событій. Они объявили забастовку и сняли съ себя погоны и кокарды. Что студенты съ момента снятія погонъ и кокардъ сочли себя свободными отъ обязанности отдачіи чести, — это, подѣ ихъ угломъ зрѣнія, понятно. Не было у нихъ погонъ новаго образца и кокардъ на околышѣ, — не было и приказа объ отдачіи чести. Дали имъ эти погоны и кокарды, — появился приказъ. Значить, если снять вѣйшія отличія военной формы — тѣмъ самымъ анулируется сила приказа. Совершенно также взглянули на вопросъ не только посторонніе академіи офицеры, но и академическое начальство. И этимъ самымъ съ очевидностью обнаружилось, что кромѣ погонъ и кокардъ приказъ не имѣлъ подѣ собою никакой почвы.

Дѣйствительно, возложеніе на студентовъ-медиковъ обязанности отдавать честь офицерамъ не имѣло до объявленнаго нынѣ преобразованія академіи никакого внутренняго обоснованія и логическаго оправданія. Отданіе чести прикладываніемъ руки къ головному убору есть принятая во всѣхъ арміяхъ воинская обязанность подчиненныхъ въ отношеніи начальниковъ и младшихъ въ отношеніи старшихъ, — т. е. это есть обязанность со стороны и въ отношеніи лицъ, связанныхъ между собою состояніемъ на военной службѣ и воинской дисциплиной. Студенты военно-медицинской академіи на военной службѣ не состояли, и потому между ними и офицерами никакой военно-дисциплинарной связи не существовало. При такихъ условіяхъ, отдачіе чести было требованіемъ, лишеннымъ внутренняго содержанія, и именно въ силу того оно вызывало естественный протестъ. Взрослымъ и интеллигентнымъ людямъ, привыкшимъ сознательно относиться къ тому, что они дѣлаютъ и должны дѣлать, нѣтъ ничего тяжелѣе, какъ принужденіе совершать лишеныя смысла и логическаго оправданія дѣйствія. Въ тюрьмахъ политическихъ заключенныхъ розгами заставляютъ кричать начальству: «здравія желаю», и изъ-за отказа они подвергаютъ себя мукамъ голода. Кадеты — правда, тоже не состоящіе на военной службѣ, — отдаютъ честь безъ возраженія и, напротивъ, съ особенно подчеркиваемымъ усердіемъ. Но они дѣти; имъ это нравится и льститъ. Отдавая честь, они чувствуютъ себя какъ будто взрослыми. На почвѣ отдачіи офицерамъ чести городовыми также лишь въ видѣ рѣдкаго исключенія бывають столкновенія. Но городовые — бывшіе солдаты. Это — во-первыхъ. А, во-вторыхъ, между студентами-медиками и городовыми есть же разница, устраняющая возможность устанавливать параллель...

Когда послѣ объявленной студентами забастовки академія была закрыта, всѣ причастные къ приказу объ отданіи чести стали оправдываться и, не скрывая признанія общей вины, перелагали ее другъ на друга. Первымъ выступило съ официальнымъ «разоблаченіемъ» главное управленіе генеральнаго штаба. Со ссылками на документы оно объявило, что «главное управленіе генеральнаго штаба такого вопроса не возбуждало и не предполагало возбуждать, а ходатайство объ установленіи отданія чести студентами академіи всѣмъ штабъ и оберъ-офицерамъ было представлено впервые въ 1910-мъ году исполнявшимъ обязанности начальника академіи профессоромъ Варлихомъ». На это ходатайство главное управленіе генеральнаго штаба тогда же отвѣтило предупрежденіемъ, что «такая крупная реформа должна быть осуществлена съ крайней осмотрительностью, такъ какъ нельзя не предвидѣть, въ особенности на первое время, случаевъ нежелательныхъ и весьма серьезныхъ по своимъ послѣдствіямъ столкновеній между студентами и офицерами на почвѣ нарушенія воинскаго чинопочитанія». Предупрежденіе, однако, дѣйствія не возымѣло. Въ 1912-мъ году «начальникъ академіи тайный совѣтникъ Вельяминовъ вновь возбудилъ ходатайство о распространеніи правилъ воинскаго привѣтствія на студентовъ академіи, мотивируя означенное ходатайство тѣмъ соображеніемъ, что для студентовъ установлена новая форма, совершенно тождественная съ таковою военныхъ чиновъ». «Въ виду такого вторичнаго ходатайства академическаго начальства, которому не могла не быть извѣстной изъ упомянутой выше переписки точка зрѣнія главнаго управленія генеральнаго штаба, основаній возражать противъ установленія отданія чести студентами всѣмъ офицерамъ уже не имѣлось».

Тотъ же упрекъ по адресу академическаго начальства былъ главной темой рѣчи военнаго министра, сказанной профессорамъ академіи. «Печальное положеніе, въ которомъ мы сейчасъ находимся,—говорилъ ген. Сухомлиновъ,—заставляетъ меня обратиться къ вамъ съ нѣсколькими словами. Вина за послѣднія событія лежитъ не только на мнѣ, но и на профессорахъ, морально отвѣтственныхъ за положеніе дѣлъ въ академіи. Реформа была извѣстна профессорамъ задолго, а приказъ объ отданіи чести имѣлъ свое начало въ академіи. Главный штабъ, куда поступило въ свое время соответствующее ходатайство, предостерегалъ профессоровъ отъ принятія такой мѣры. Спустя два года это ходатайство было повторено, и главный штабъ, видя такое подтвержденіе, согласился на изданіе приказа». Оправданія проф. Варлиха кратки: онъ «спасалъ» академию и своимъ ходатайствомъ кому-то и чему-то шелъ «на встрѣчу».

Тоже «шелъ на встрѣчу» и проф. Вельяминовъ. Кромѣ того, онъ настойчиво заявляетъ, что ходатайствовалъ о распространѣніи на студентовъ «правилъ воинскаго привѣтствія», а отнюдь не объ установленіи «правилъ отданія воинской чести». Едва ли проф. Вельяминовъ можетъ не знать, что правила воинскаго привѣтствія и состоятъ ни въ чемъ другомъ, какъ въ отданіи чести младшими старшимъ.

Приведенныя «разоблаченія» главнаго управленія генеральнаго штаба и рѣчь военнаго министра давали основаніе думать, что военное министерство ликвидируетъ все происшедшее наиболѣе простымъ способомъ: отмѣною приказа объ отданіи чести, какъ мѣры, вопроса о которой высшій органъ строевого военнаго управленія «не возбуждалъ и не предполагалъ возбуждать», т. е. какъ мѣры, въ интересахъ войска не нужной. Въ дѣйствительности, результатъ получился діаметрально противоположный. Отнынѣ нелѣпицы не будетъ. Но не потому, что студенты военно-медицинской академіи освобождены отъ обязанности отданія чести, а потому, что эта обязанность стала органическимъ требованіемъ, вытекающимъ изъ ихъ юридическаго положенія. По новому положенію о военно-медицинской академіи, студенты суть военнослужащіе, отбывающіе воинскую повинность: студенты первыхъ двухъ курсовъ—на правахъ вольноопредѣляющихся, трехъ послѣднихъ—въ званіи заурядъ-врачей. Теперь уже не будутъ дико звучать военные термины въ обращеніяхъ къ нимъ офицеровъ: сдѣлалъ «замѣчаніе», «приказалъ». Юридическая логика восторжествовала... но цѣною цѣлаго столѣтія жизни высшаго медицинскаго учено-учебнаго учрежденія въ Петербургѣ, составлявшаго предметъ національной гордости. Говорятъ: отъ того, что студенты стали воинскими чинами, въ академіи ничто не измѣнится. Это немыслимо. Объявить слушателей высшаго учебнаго заведенія солдатами совсѣмъ не такъ просто. Ихъ надо солдатами сдѣлать. А для этого надо ввести въ строй жизни учебнаго заведенія совершенно новую организацію—батальонныхъ и ротныхъ командировъ,—надо измѣнить условія прохожденія курса, приспособить къ новымъ условіямъ систему преподаванія. Словомъ, академіи неизбѣжно предстоитъ обращеніе въ казарму, ибо гдѣ солдаты—тамъ не можетъ не быть казармы.

Такое «преобразованіе» военно-медицинской академіи естественно встрѣтило живой и негодующій откликъ въ Государственной Думѣ. Не имѣя возможности реагировать на существо «преобразованія», Государственная Дума, по инициативѣ трехъ оппозиционныхъ фракцій—прогрессистовъ, кадетовъ и трудовиковъ—поставила на свое обсужденіе вопросъ объ изданіи новаго положенія не въ порядкѣ общаго законодательства. Формальныя основанія для

признанія, что новое положеніе должно было по закону пройти черезъ Думу и Государственный Совѣтъ, безспорны. Достаточно сказать, что прежнее положеніе было издано въ общемъ порядкѣ, т. е. черезъ Государственный, а не черезъ Военный Совѣтъ, что нельзя въ порядкѣ спеціального военного законодательства измѣнять юридическое положеніе лицъ, обращая ихъ изъ гражданъ въ воинскихъ чиновъ, и что новое положеніе о военно-медицинской академіи измѣнило предусмотрѣнный общимъ закономъ—уставомъ о воинской повинности—условія отбыванія этой повинности.

Петербургская городская дума, съ своей стороны, сдѣлала попытку придти на помощь студентамъ, оказавшимся, въ виду характера преобразованія военно-медицинской академіи, среди учебнаго года, въ стѣнѣ высшаго учебнаго заведенія. Дума возбудила ходатайство о разрѣшеніи принять студентовъ въ женскій медицинскій институтъ, на что совѣтъ института далъ полное согласіе. Послѣдовалъ отказъ. Кромѣ того, городская дума ассигновала на выдачу студентамъ, внезапно лишившимся стипендій и впадшимъ въ крайне тяжеломъ матеріальномъ положеніи, пятнадцать тысячъ рублей. Думѣ объявлено, что это ея постановленіе особымъ по городскимъ дѣламъ присутствіемъ будетъ отмѣнено.

Дѣло бывшаго судебнаго слѣдователя Лыжина получило совершенно неожиданный оборотъ. 16 марта соединенное присутствіе перваго и кассационныхъ департаментовъ сената, обсудивъ «предварительное слѣдствіе о подлогахъ и похищеніи документовъ по дѣлу объ армянской революціонной партіи «дашнакцутюнъ» и производство с.-петербургскаго окружнаго суда объ освидѣтельствованіи состоянія умственныхъ способностей бывшаго судебнаго слѣдователя по особо важнымъ дѣламъ округа новочеркаскаго окружнаго суда, колл. сов. Николая Лыжина»,—опредѣлило: возбужденное противъ Лыжина уголовное преслѣдованіе приостановить «впредь до его выздоровленія».

Общественное вниманіе, окружавшее дѣло Лыжина въ теченіе цѣлаго года, конечно, было вызвано и поддерживалось отнюдь не его личной судьбой. Мало ли чиновниковъ, совершающихъ служебныя преступленія и, въ частности, подлоги. Но Лыжинъ былъ чиновникомъ особаго рода: онъ былъ судебнымъ слѣдователемъ. Онъ совершалъ подлоги въ актахъ, которые легли въ основаніе судебныхъ приговоровъ. За его преступленія расплачиваются люди. Съ мыслью же, что въ каторгѣ, въ тюрьмѣ и въ ссылкѣ томятся завѣдомо невинные люди, общественное сознаніе никогда не можетъ



примириться. И именно эта мысль заставляла болѣзненно ждать судебного приговора надъ Лыжинымъ, дабы явился неустрашимый законный поводъ для пересмотра дѣлъ, по которымъ онъ производилъ предварительныя слѣдствія.

Когда стало извѣстно, что возникли сомнѣнія относительно состоянія его умственныхъ способностей, тогда пересмотръ дѣлъ о партіи «дашнакпутюнъ», о новороссійской республикѣ и невѣдомой массы другихъ, прошедшихъ черезъ руки душевно-больного слѣдователя, представился тѣмъ болѣе неизбежнымъ. А потому къ разнорѣчивымъ извѣстіямъ о результатахъ освидѣтельствованія и испытанія Лыжина можно было относиться спокойно. Ибо казалось, что нѣтъ иныхъ возможныхъ исходовъ, кромѣ двухъ: или признаніе Лыжина здоровымъ—и тогда преданіе его суду и судебное признаніе совершенныхъ имъ подлоговъ; или признаніе, что онъ учинилъ подлоги, какъ говоритъ законъ, «въ безуміи, сумашествіи или въ припадкѣ болѣзни, приводящемъ въ умоизступленіе или совершенное безпамятство»,—и тогда естественный выводъ о недействительности актовъ, составленныхъ и завѣренныхъ душевно-больнымъ. Въ обоихъ случаяхъ получалась формальная необходимость для возобновленія дѣлъ: «открытіе подложности документовъ, на которыхъ основанъ приговоръ» (п. 3 ст. 935 уст. угол. суд.). Сенатъ нашелъ третій исходъ: судебное преслѣдованіе противъ Лыжина опредѣлено «приостановить».

Такое опредѣленіе юридически означаетъ признаніе сенатомъ, что Лыжинъ во время учиненія преступленій былъ здоровъ, но затѣмъ впалъ въ душевную болѣзнь. Душевно-больныхъ ни судить, ни наказывать нельзя, а потому судебное преслѣдованіе и приостановлено «впредь до его выздоровленія». Въ отношеніи Лыжина это опредѣленіе правомѣрно и спорить противъ него не приходится. Если человѣкъ, будучи психически здоровымъ, совершилъ убійство или кражу, а потомъ заболѣлъ, ничего другого быть не можетъ, какъ приостановленіе производства. Но въ томъ и суть преступленій, совершенныхъ Лыжинымъ тогда, когда онъ, по признанію сената, былъ здоровъ, что эти преступленія имѣли слѣдствіемъ осужденіе невинныхъ. И «приостановленіе» производства о Лыжинѣ явилось въ отношеніи ихъ такимъ же точно «приостановленіемъ»,—«приостановленіемъ» надеждъ на возобновленіе дѣлъ и на окончаніе тѣхъ напрасныхъ страданій, которыя они несутъ въ каторжныхъ и иныхъ тюрьмахъ и въ сибирской ссылкѣ. Понятіе «открытія» подложности документовъ, какъ основаніе для возобновленія дѣлъ, еще въ 1872-мъ году получило ограничительное кассационное разъясненіе. Требуется не обнаруженіе подлога, а признаніе его «вошедшимъ въ законную

силу судебнымъ приговоромъ». Слѣдовательно, пока не будетъ судебного приговора, который скажетъ, что Лыжинъ совершалъ подлоги, до тѣхъ поръ никакихъ измѣненій въ судьбѣ безвинно осужденныхъ людей не произойдетъ. Имъ объявлено: «подождите». Они должны ждать «впредь до выздоровленія» того, кто преступно ввелъ правосудіе въ заблужденіе. Они должны ждать, быть можетъ, годъ, быть можетъ—десять лѣтъ, быть можетъ—двадцать...»

Безповоротность судебного рѣшенія — одинъ изъ основныхъ принциповъ уголовного процесса по судебнымъ уставамъ 1864 года. Но принять онъ былъ въ предположеніи, что по крайней мѣрѣ высшимъ наказаніемъ люди будутъ подвергаться по рѣшенію наиболее совершенной формы суда—суда присяжныхъ. Этой формы суда для самой сложной и самой тяжелой по карательнымъ послѣдствіямъ категоріи дѣлъ—для дѣлъ политическихъ—уже много десятковъ лѣтъ не существуетъ. Принципъ же остался и съ одинаковой силой покрываетъ рѣшенія судебныхъ палатъ и сената съ сословными представителями и военныхъ судовъ. Это одно уже обязывало бы къ расширенію тѣхъ рамокъ, которыя допускаютъ возобновленіе дѣлъ, и, въ данномъ случаѣ, къ толкованію понятія «открытие подложности документовъ» въ его буквальномъ значеніи. Но, кромѣ того, въ судебныхъ уставахъ есть и другой принципъ: «правда и милость да царствуютъ въ судахъ». Правда реальная, внутренняя, правда—справедливость. Милость къ живому человѣку, обязывающая жертвовать всѣми отвлеченными началами для спасенія невинно-осужденнаго.

Приостановленіе производства по дѣлу Лыжина нельзя сопоставлять ни съ сравнительной мягкостью приговора, которымъ закончился прошлогодній процессъ о партіи «дашнакцутюновъ», ни съ тѣмъ, что «заподозрѣнные» на процессѣ слѣдственные акты, по заявленію первоприсутствовавшаго, были «изъяты» особымъ присутствіемъ сената изъ своего сужденія. Допустимъ, что сенаторы и сословные представители, при постановленіи приговора, сумѣли до конца вычеркнуть изъ памяти впечатлѣнія, воспринятія изъ содержанія «заподозрѣнныхъ» актовъ. Но тогда такихъ актовъ насчитывалось 37. Теперь же предварительнымъ слѣдствіемъ установлено, что Лыжинымъ было совершено около двухсотъ подлоговъ. Приговоръ, по числу оправданныхъ, было дѣйствительно мягкій. Можетъ ли быть, однако, увѣренность въ томъ, что ни одинъ изъ осужденныхъ дашнакцутюновъ не пошелъ на каторгу или въ ссылку на основаніи тѣхъ полутора ста слишкомъ документовъ, подложность которыхъ къ моменту приговора не была извѣстна? «Русскія Вѣдомости» (№ 65) отмѣтили одинъ изъ эпизодовъ, установленныхъ

по «пріостановленному» дѣлу Лыжина. «Результатомъ подлоговъ Лыжина—писала газета—было убійство одного изъ членовъ партіи «дашнакцутюнъ», Кешишьяна. Лыжинъ въ своемъ предварительномъ слѣдствіи писалъ, что этотъ членъ партіи выдаетъ своихъ товарищей и на основаніи этого оговора Лыжинъ привлекалъ другихъ членовъ партіи. Въ результатъ Кешишьянъ былъ обвиненъ въ предательствѣ и убитъ, а на самомъ дѣлѣ весь этотъ допросъ былъ сфабрикованъ Лыжинымъ».

Можно ли мириться съ мыслью, что государственное правосудіе оказалось въ одномъ положеніи съ судомъ революціи,—что оно держитъ людей въ каторгѣ на основаніи «сфабрикованныхъ» Лыжинымъ слѣдственныхъ актовъ? Неужели можно оставить безъ провѣрки кричащій фактъ о двухстахъ подлогахъ въ предварительномъ слѣдствіи—безъ единственно авторитетной и властной провѣрки въ порядкѣ новаго разсмотрѣнія дѣла о партіи «дашнакцутюнъ»? Неужели должно ждать для такой провѣрки выздоровленія Лыжина?.. Конечно, вновь разсматривать дѣло, на разсмотрѣніе котораго было потрачено два мѣсяца,—задача громоздкая и нелегкая. Конечно, новый процессъ будетъ крайне непріятенъ для вѣдомства юстиціи. Конечно, за возобновленіемъ дѣла о партіи «дашнакцутюнъ» неизбѣжно послѣдуетъ возобновленіе дѣла о новороссійской республикѣ—того дѣла, въ отношеніи котораго военный судъ еще лѣтъ пять назадъ вынесъ оставленное безъ послѣдствій постановленіе о неправильныхъ дѣйствіяхъ Лыжина. Конечно, затѣмъ настанетъ очередь провѣрки приговоровъ по всѣмъ дѣламъ, по которымъ Лыжинъ производилъ предварительныя слѣдствія. Но допустимо ли, чтобы государство въ дѣлѣ уголовного правосудія, по практическимъ соображеніямъ, поступало правдой-справедливостью, живыми людьми, и чтобы оно ихъ оставляло въ каторгѣ при наличности завѣренныхъ сомнѣній въ ихъ виновности?.. Этимъ людямъ, впрочемъ, и русскому обществу не говорятъ, что дѣла возобновлять не будутъ. Сенатъ сказалъ: подождите выздоровленія Лыжина...

19 марта исполнилось пятидесятилѣтіе ученой дѣятельности и государственной службы Николая Степановича Таганцева. Безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что въ Россіи не найдется ни одного юриста, который бы не зналъ его имени. Не найдется не только теоретика права, но ни одного судьи, прокурора, адвоката. Его изданія Уложенія о наказаніяхъ, Мирового устава и Уголовнаго Уложенія «съ разъясненіями» уже въ теченіе многихъ десятковъ лѣтъ служатъ настольными книгами въ каждой судебной

камерѣ и въ каждомъ адвокатскомъ кабинетѣ. «По Таганцеву» судятъ. «По Таганцеву» даютъ юридическіе совѣты. Но, конечно, извѣстность Н. С. Таганцева отнюдь не исчерпывается извѣстностью комментатора. Эта извѣстность есть только штрихъ, объясняющій его совершенно исключительную популярность.

Имя Н. С. Таганцева, какъ криминалиста-ученаго, мало сказать—окружено извѣстностью. Оно окружено твердо за нимъ признанной славой. Его «Лекціи» по общей части уголовного права представляютъ собою колоссальный по богатству матеріала и исчерпывающій по тщательности разработки трудъ. На любой вопросъ уголовного права въ этихъ «лекціяхъ» можно найти совершенно законченный отвѣтъ и въ историческомъ, и въ догматическомъ, и въ библиографическомъ освѣщеніи. Если юристы-практики «по Таганцеву» судятъ, то криминалисты-теоретики—все болѣе или менѣе его ученики—«по Таганцеву» читаютъ лекціи и составляютъ канву для своихъ научныхъ изслѣдованій. Н. С. Таганцеву принадлежитъ главная работа по составленію Уголовнаго Уложенія 1903-го года. Ему этотъ кодексъ, до сихъ поръ, кромѣ главъ о политическихъ и религіозныхъ преступленіяхъ, не ставшій закономъ, обязанъ той блестящей постановкой и разработкой ученія о вѣнѣемости, которая въ свое время была признана криминалистами Европы наилучшимъ разрѣшеніемъ труднѣйшей проблемы уголовного права. Послѣдователь классической школы Фейербаха, но далекій отъ схоластики, Н. С. Таганцевъ является яркимъ носителемъ гуманитарнаго направленія въ наукѣ. Онъ—горячій и убѣжденный противникъ смертной казни. Когда первая Дума приняла законопроектъ объ отмѣнѣ смертной казни, Н. С. Таганцевъ въ защиту законопроекта сказалъ въ Государственномъ Совѣтѣ блестящую рѣчь. Въ 1908-мъ году онъ единственный изъ членовъ верхней палаты по назначенію далъ свою подпись подъ призывомъ къ борьбѣ противъ висѣлицы.

На страницахъ «Вѣстника Европы» Н. С. Таганцевымъ были помѣщены двѣ статьи: «Послѣднее двадцатипятилѣтіе въ исторіи уголовного права» (1892 г., декабрь) и «Законопроектъ о смертной казни въ Государственномъ Совѣтѣ. Сессія 1906 года» (1906 г., ноябрь).

Н. С. Таганцевъ встрѣтилъ свой полувѣковой юбилей въ полномъ расцвѣтѣ силъ, здоровья и энергіи. Въ одномъ изъ поднесенныхъ ему адресовъ онъ названъ богатыремъ. Богатыремъ—науки, знаній, таланта. Отъ этого богатыря еще можно и должно ждать многого...

В. Кузьминъ-Караваевъ.

Скончавшійся на дняхъ баронъ Павелъ Леопольдовичъ Корфъ оставилъ прочный слѣдъ въ исторіи петербургскаго земства. Избранный председателемъ спб. губернской земской управы въ 1868-мъ году, вслѣдъ за возобновленіемъ дѣятельности спб. земства, при-  
 установленной въ январѣ 1867 г., онъ руководилъ земской работой въ теченіе десяти лѣтъ, тяжелыхъ какъ потому, что все нужно было создавать вновь, такъ и потому, что не миновало недовѣрчивое, недружелюбное отношеніе высшихъ сферъ къ едва зародившемуся самоуправленію. Крупнымъ замысламъ, широкой инициативѣ не благопріятствовало время; но многія изъ ближайшихъ задачъ были поставлены на очередь и отчасти осуществлены, не смотря на противодѣйствіе въ средѣ самого земскаго собранія. При баронѣ Корфѣ была основана, на примѣръ, спб. земская учительская школа, одна изъ первыхъ, открывшихъ свои двери одинаково для лицъ обоего пола. Это было его любимое дѣтище; кто участвовалъ въ засѣданіяхъ губ. земскаго собранія въ началѣ 80-хъ годовъ, тотъ помнитъ, какую упорную борьбу противъ земской учительской школы велъ гр. А. А. Бобринскій (нынѣшній членъ Госуд. Совѣта) и какъ побѣдоносно защищалъ ее бар. Корфъ. Большой потерей для земства было избраніе Корфа, въ 1878 г., въ петербургскіе городскіе головы — и еще большей потерей для города забаллотировка его на слѣдующихъ городскихъ выборахъ, въ 1881 г. Онъ продолжалъ трудиться для земства, какъ гласный и членъ разныхъ совѣтовъ и комиссій, но это не давало достаточнаго простора для его крупныхъ административныхъ способностей. Когда въ земствѣ возникала мысль о политическихъ реформахъ (въ 1882, въ 1905 гг.), бар. Корфъ стоялъ на ихъ сторонѣ, какъ приверженецъ умѣренного либерализма. Въ Государственный Совѣтъ онъ вошелъ, по выбору земства, уже на склонѣ лѣтъ и не могъ, поэтому, сыграть въ немъ той выдающейся роли, какая вѣроятно выпала бы на его долю нѣсколькими годами раньше. К. А.



### ЮБИЛЕЙ Д. Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКАГО.

Въ концѣ марта русская интеллигенція торжественно праздновала тридцатипятилѣтіе научной и литературной дѣятельности одного изъ виднѣйшихъ своихъ членовъ Д. Н. Овсянико-Куликовскаго.



Чествованіе началось 19-го марта на Высшихъ Женскихъ Курсахъ, гдѣ коллегія профессоровъ и тысячи курсистокъ тепло, трогательно и задушевно привѣтствовали своего любимого товарища и учителя. Продолжилось чествованіе 23-го марта въ залахъ «Старога Донона», гдѣ собрались для принесенія поздравленія Д. Н. многочисленные представители науки, литературы и общественности. Чтеніе адресовъ, произнесеніе рѣчей и привѣтствій продолжалось около двухъ часовъ.

Чествованіе открылъ О. Д. Батюшковъ, прочитавшій адресъ всероссійскаго литературнаго общества, въ жизни и дѣятельности котораго принимаетъ Д. Н. живое участіе. «Мы особенно вамъ признательны,—говорится между прочимъ въ адресѣ,—за цѣнное участіе въ собраніяхъ общества. Вашъ ясный умъ, отчетливость въ постановкѣ вопросовъ, стремленіе углубить рѣшеніе всякой представившейся проблемы отвлеченной мысли, считаясь съ ея психологической основой, благожелательность оцѣнокъ, смѣлое, иногда спорное, но всегда интересное отношеніе къ задачамъ, которыя вы умѣете ставить, будя мысль къ критической провѣркѣ разныхъ основположеній, всѣ ваши вполне несомнѣнные качества вдумчиваго и широкообразованнаго критика, обаятельно анализирующаго оболюбованныя имъ произведенія, высоко цѣнятся и въ нашемъ еще молодомъ литературномъ обществѣ».

Вторымъ выступилъ В. Я. Богучарскій, съ адресомъ отъ друзей и почитателей, покрытымъ многочисленными подписями. Адресъ этотъ гласитъ: «Мы глубоко чтимъ въ васъ серьезнаго, талантливаго ученаго, но сегодня, въ торжественный день вашего юбилея, мы хотимъ привѣтствовать въ васъ самую дорогую для насъ сторону вашей дѣятельности—литературную. Мы особенно цѣнимъ въ васъ крупную и оригинальную писательскую личность, которая сказывается въ въ вашихъ работахъ по исторіи русской литературы и критики.

«Въ предисловіи къ одной изъ самыхъ обширныхъ своихъ работъ—«Исторіи русской интеллигенціи»—вы сами опредѣлили серьезность и своеобразие той задачи, которая стояла предъ вами. По вашей мысли, въ такой молодой странѣ, какъ Россія, исторія интеллигенціи есть неизбежно психологическая исторія. Вашъ извѣстный руководящій трудъ является, такимъ образомъ, однимъ изъ немногихъ опытовъ исторіи коллективной психики. Въ исполненіе своего широкаго и оригинальнаго замысла вы внесли не только остроту анализа, неизмѣнно присущую вамъ, какъ тонкому психологу, но и точность и методическую послѣдовательность мыслителя. Психологическая характеристика литературно-общественнаго типа становилась въ вашемъ изслѣдованіи научной. Вы не только раскрыли

сущность душевнаго склада русскаго интеллигента—вы намѣтили закономерную послѣдовательность, съ которой совершается смѣна общественныхъ настроеній и формируется тотъ или иной обликъ, характеризующій людей одного поколѣнія.

«Русскіе интеллигенты, начиная съ двадцатыхъ и кончая девятыми десяти годами, проходятъ передъ читателями вашихъ книгъ, какъ выразители общественныхъ настроеній, съ тѣми особенностямъ, которыя внесла въ ихъ душевное содержаніе жизнь.

«Если вашъ методъ точнаго психологическаго анализа примѣнить къ вамъ, какъ представителю передовой интеллигенціи, то окажется, что вы сами стоите внѣ этихъ рѣзкихъ граней, раздѣляющихъ поколѣнія. Вы впитали въ себя наиболѣе интересное и сложное содержаніе нѣсколькихъ общественныхъ эпохъ. Отъ шестидесятыхъ годовъ вы унаслѣдовали ихъ здоровый и бодрый взглядъ на жизнь. Альтруистическимъ семидесятымъ годамъ вы родственны вашими мягкосердечіемъ и гуманностью. Отъ восьмидесятыхъ и девяностыхъ годовъ вы восприняли ихъ новую трезвость, любовь къ наукѣ и нерасположеніе къ догматизму. Наконецъ, наши бурные годы, полные общественныхъ исканій, также находятъ въ васъ откликъ и пониманіе, ваша широкая терпимость и прочный оптимизмъ—хорошая опора въ печальной смутѣ нашихъ дней.

«Ту же неизбежную широту, строгую, всестороннюю объективность и тонкость анализа внесли вы, Дмитрій Николаевичъ, и въ ваши блестящія литературныя монографіи, посвященныя корифеямъ нашей изящной словесности, Пушкину и Гоголю, Тургеневу и Толстому. Литературная молодежь находила въ васъ благожелательнаго критика, который, однако, во имя вниманія къ растущимъ силамъ не отказывался отъ своихъ вѣсцовъ.

«Въ этомъ богатствѣ и разнообразіи вашей литературной работы не слабѣетъ, но какъ бы крѣпнеть ваше творчество... Вашимъ почитателямъ, дорогой Д. Н., особенно пріятно праздновать вашъ юбилей потому, что это торжество—далеко еще не итогъ вашей яркой и цѣнной дѣятельности, не закатъ вашъ, а зенитъ, когда вы по общему признанію, находитесь въ расцвѣтѣ своихъ творческихъ силъ.

«Мы съ радостью привѣтствуемъ вашъ талантъ, въ свѣтлой надеждѣ еще долго видѣть васъ такимъ же бодрымъ и молодымъ среди заслуженныхъ руководителей русской литературы и общественнаго мнѣнія».

Отъ разряда изящной словесности Академіи Наукъ, привѣтствовала своего сочлена депутація въ составѣ А. Ф. Кони, А. А. Шахматова, Н. А. Котляревскаго и Ф. Ф. Фортунатова. Адресъ

разряда, короткий, выразительный и красивый, был прочитанъ Н. А. Котляревскимъ.

«Есть много великихъ художниковъ русскаго слова,—говорится въ адресѣ,—изъ устъ которыхъ мы могли бы сегодня услышать достойную вамъ похвалу. Но ихъ уже нѣтъ среди насъ. Если бы они могли обратиться къ вамъ съ привѣтомъ, они бы сказали:

«Велика тайна искусства. Инымъ она открывается сразу, и почти безсознательно они овладѣваютъ ею. Для другихъ эта тайна—предметъ пытливой философской мысли и чуткаго сердечнаго влеченія. И художникъ, и его истолкователь—служители единого дѣла. Вашъ талантъ тонкаго психолога и мыслителя вы отдали въ услуженіе намъ, и многія наши затаенныя мысли и чувства вы уловили и разгадали. Узами тѣснаго духовнаго родства мы навсегда связаны съ вами».

«Вотъ, Д. Н., что могли бы сказать вамъ великіе мастера—ваши частые и любимые собесѣдники. И они сказали бы правду—такъ думаемъ мы—ваши товарищи и друзья по разряду изящной словесности».

Далѣе слѣдовали адреса, привѣтствія и телеграммы отъ историко-филологическаго факультета СПб. университета, отъ историко-филологическаго факультета харьковскаго университета, отъ московскаго Общества любителей россійской словесности, отъ Литературнаго Фонда, отъ лингвистической секціи нефилологическаго общества, отъ педагогической академіи, отъ харьковскаго историко-филологическаго общества, отъ харьковскаго общества грамотности, отъ слушательницъ кievскихъ высшихъ женскихъ курсовъ, и мн. др.

Депутація отъ студентовъ СПб. университета поднесла Д. Н. адресъ, заканчивающійся словами: «Три съ половиною года назадъ мы обратились къ профессорской коллегіи историко-филологическаго факультета съ просьбой пригласить васъ въ составъ нашихъ преподавателей. И тогда вы вняли нашей просьбѣ. Времена мѣняются. Теперь у насъ нѣтъ легальныхъ средствъ съ той же опредѣленностью высказывать наше пожеланіе. Уже болѣе двухъ лѣтъ мы ждемъ вашего возвращенія. Мы твердо вѣримъ, что ученый, громко заявившій, что только въ условіяхъ демократическаго и общественнаго строя возможенъ полный расцвѣтъ научной мысли, вернется на нашу кафедру въ моментъ, когда такой степени остроты достигаютъ наши чаянія демократической школы».

Слушательницы Высшихъ женскихъ курсовъ привѣтствовали Д. Н. адресомъ за 1500-ми подписей. Адресъ составленъ чрезвычайно тепло и задушевно, въ выраженіяхъ, не оставляющихъ сомнѣнія въ глубокой любви учащейся молодежи къ Д. Н. и въ его

сильномъ и благотворномъ вліяніи на молодежь. «Вся культурная Россія,—говорится въ адресѣ,—знаетъ васъ, любитъ и учится у васъ. Мы, учащіяся, слушая васъ, непосредственно воспринимаемъ то, что вы вкладываете въ свою работу. Мы находимся въ болѣе счастливомъ положеніи, чѣмъ всѣ остальные. Многія изъ насъ, еще не поступивъ на курсы, знали и любили васъ. Читая ваши произведенія еще въ гимназій, мы проникались духомъ гуманности и справедливости, который освѣщаетъ всѣ ваши произведенія. Въ тяжелое время вамъ пришлось работать, время, когда на первомъ планѣ стояла партійность не только въ политикѣ, но и въ жизни и литературѣ... Вы всѣхъ объединили. Въ вашихъ лекціяхъ было что-то, что влекло всѣхъ насъ, что заставляло смолкать и напряженно прислушиваться къ вашему голосу». Заканчивается адресъ слѣдующими словами: «Будемъ беречь тѣ завѣты гуманности и мысли, что вложили вы въ насъ, а сейчасъ пожелаемъ вамъ, дорогой учитель, здоровья и силы для долгой и плодотворной работы, ибо только въ знаніи и любви сила».

Прогрессивная печать привѣтствовала юбиляра адресами, привѣтствіями и телеграммами.

Въ адресѣ газеты «Рѣчь» говорится: «Вашъ сегодняшний праздникъ—нашъ праздникъ, праздникъ русской общественности. Въ лицѣ вашемъ русское общество чувствуетъ одного изъ своихъ учителей, наставниковъ жизни въ широкомъ смыслѣ этого слова, потому что въ своей ученой и литературной дѣятельности вы никогда не удалялись отъ настоятельныхъ требованій жизни, всегда на нихъ откликались, не забывали лозунговъ и святыхъ словъ, завѣщанныхъ отцами русской свободы, и были имъ неизмѣнно вѣрны въ юности. Съ тою ясностью ума и чистотой сердца, которая всегда васъ отмѣчаетъ, вы рано и твердо сознали, что такое, говоря вашими же словами, социальная стоимость человѣка, сами ее осуществляли всѣми силами воли и таланта, другихъ учили сознать ее въ себѣ и посылно осуществлять, и благодарное общество сумѣетъ показать вамъ, какъ высоко пѣнить оно вашу социальную стоимость. Вѣрьте, что она не исчерпается во многіе годы, и что вы всегда будете чтимы, какъ лучший образецъ человѣка въ литературѣ, въ наукѣ, въ гражданскомъ быту, какъ одна изъ тѣхъ рѣдкихъ нормативныхъ личностей, самыя имена которыхъ ободряютъ и вдохновляютъ. Редакція «Рѣчи», столбцы которой не разъ были украшены вашими произведеніями, гордятся частью называть васъ своимъ сотрудникомъ и другомъ и приносить вамъ свое горячее привѣтствіе. Трудитесь бодро, живите долго. Честь вамъ и слава».

Въ привѣтствіи отъ «Русскаго Богатства», сказанномъ А. Г.

Горнфельдомъ, отмѣчается, что редакція читѣ Д. Н. не только какъ ученаго, внесшаго новый пріемъ научнаго изученія въ толкованіе литературныхъ произведеній и пролившаго новый свѣтъ на творчество нашихъ классиковъ, но и какъ писателя-гуманиста, въ своихъ сочиненіяхъ неизмѣнно воодушевленнаго мыслью о грядущемъ очеловѣченіи челоуѣчества. «Люди 60-хъ годовъ были непосредственными учителями и воспитателями вашей мысли, и вы сохранили и воплотили ихъ завѣты, научные и общественные».

Привѣтствовали Д. Н. также представители «Русскихъ Вѣдомостей», «Русскаго Слова», «Вѣстника воспитанія», «Вѣстника мира», читались телеграммы «Современника», «Современнаго Слова и др. Изъ отсутствующихъ литераторовъ привѣтствовали Д. Н. телеграммами П. Н. Милюковъ, В. Г. Короленко, Л. Андреевъ, А. Купринъ, Ив. Бунинъ, Максимъ Горькій, В. Кранихфельдъ, И. Сургучевъ, Т. Щепкина-Куперникъ, К. Баранцевичъ, В. Поссє, Н. Гредескулъ и мн. др. Всего телеграммъ получено нѣсколько сотъ.

Отъ нашего журнала юбиляра привѣтствовали всѣ находящіеся въ СПБ. члены редакціи адресомъ, который гласитъ:

Дмитрій Николаевичъ! По нѣсколькимъ наброскамъ карандашемъ узнается рука художника, по нѣсколькимъ стихамъ—рука поэта. Въ немногихъ, сравнительно, статьяхъ, напечатанныхъ вами, въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ, въ «Вѣстникѣ Европы», ярко отразились отличительныя свойства вашей критической мысли и вашего художественнаго дарованія. Возбудить новый интересъ къ темѣ, давно стоящей на очереди, найти въ ней незатронутую или недостаточно оцѣненную сторону, свести къ немногимъ выпуклымъ чертамъ характеристику писателя, показать глубокую связь, соединяющую его съ его эпохой и его народомъ—это одна изъ самыхъ трудныхъ задачъ, выпадающихъ на долю историка и критика. Она исполнена вами въ этюдахъ о Герценѣ, Добролюбовѣ, Львѣ Толстомъ, Успенскомъ, Гончаровѣ. Литература XIX-го вѣка, всемірная и въ особенности русская, давно привлекла къ себѣ ваше вниманіе; вы изучили всѣ главныя ея теченія, для васъ ясны многообразныя вліянія, которымъ она подвергалась, ясно взаимодѣйствіе въ ней личныхъ и общихъ условій. Это даетъ вамъ возможность подводить итоги, сосредоточивать результаты долгаго и тщательнаго анализа въ заключительной формулѣ, озаряющей новымъ блескомъ знакомый образъ. Таково, напримѣръ, «совмѣщеніе реализма мышленія съ идеализмомъ настроенія», которое вы такъ вѣрно признаете особенностью русскаго національнаго характера и олицетвореніе котораго вы видите въ Львѣ Толстомъ. Таковъ перечень «диссонансовъ» въ натурѣ Добролюбова, психическихъ ея контра-



стовъ, «разрѣшавшихся душевной гармоніей». И всѣ этюды, посвященные вами нашимъ великимъ писателямъ, дышатъ глубокою къ нимъ любовью. Чѣмъ яснѣе раскрываются передъ вами тайны ихъ творчества, тѣмъ больше проникаетесь вы благодарностью за все то свѣтлое и доброе, что они внесли въ русскую жизнь. Отсюда горячее сочувствіе ваше къ В. Г. Короленкѣ, какъ къ художнику и какъ къ человѣку, справедливо относимому Вами къ образцовымъ, нормальнымъ натурамъ, которыми, «по преимуществу, и движется человѣчество къ лучшему будущему». Вамъ, какъ и всѣмъ намъ, дорога идея, красной нитью проходящая черезъ автобіографію Короленка—идея, что «національность не добродѣтель, не порокъ, не принципъ, не знамя, а нѣчто нейтральное, и что она не должна являться поводомъ къ ненависти и враждѣ.

«Общая оцѣнка вашей многосторонней дѣятельности будетъ дана другими; мы могли остановиться только на одной ея сторонѣ, намъ особенно близкой. Редакція журнала, къ которому вы недавно примкнули еще тѣснѣе, отрадно считать васъ своимъ и твердо вѣрить въ плодотворное продолженіе вашей работы».

Въ отвѣтъ на привѣтствія юбиларъ произнесъ краткую, почувствованную рѣчь, содержаніе которой, приблизительно, таково:

— «Я выражаю глубокую благодарность и низкій поклонъ всѣмъ, привѣтствовавшимъ меня. Мои заслуги юбилейно преувеличены. Это неизбежно, но онѣ пріятно преувеличены. Мнѣ былъ данъ маленькій запасъ духовныхъ цѣнностей. Капиталь этотъ отличается одной особенностью. Онъ былъ, есть и будетъ настоящій, а не фальшивый. Онъ могъ дѣйствовать и оборачиваться. Я вложилъ его въ дѣло общее интеллигенціи и демократіи. Капиталь этотъ давалъ прибыль и вернулся теперь въ видѣ адресовъ и привѣтствій».

Закончилось чествованіе банкетомъ, подъ предсѣдательствомъ М. М. Ковалевского. Банкетъ, въ которомъ приняло участіе свыше полутора ста лицъ, сопровождался многочисленными рѣчами — М. М. Ковалевского, Д. И. Багалѣя, Ф. К. Волкова, Н. А. Морозова, И. В. Жилкина, О. К. Нечаевой, А. В. Тырковой, І. В. Гессена, С. А. Адрианова, Е. Н. Чирикова и др.

Вся прогрессивная печать отмѣтила день юбилея теплыми и содержательными статьями, помѣщеніемъ портретовъ, біографическихъ данныхъ и пр.



## БИБЛОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Гр. Л. Н. Толстой. Хаджи-Муратъ. Романъ. Съ рисунками художника А. П. Сафонова. Спб. 1912 г.

Лучшая часть оставленного Толстымъ Россіи посмертнаго дара и одно изъ лучшихъ его художественныхъ твореній, «Хаджи-Муратъ», независимо отъ появленія въ трехтомномъ изданіи А. Л. Толстой, вышла уже въ нѣсколькихъ отдѣльных изданіяхъ. Лежащее передъ нами—не изъ самыхъ дешевыхъ (жаль, что цѣна не указана), но отпечатано очень изящно. Рисунки хороши, но по тону суховаты, а въдѣ самый романъ такъ лириченъ.

Н. Л.

Отголоски славянской поэзіи. Перев. М. П. Петровскаго. Казань, 1913 г. Цѣна 1 р. 70 коп. Стр. 215+IV.

Книга М. П. Петровскаго является посмертнымъ собраніемъ его переводовъ стихотвореній и произведеній народнаго пѣсеннаго творчества пяти славянскихъ народовъ: польскаго, чешскаго, словенскаго, сербохорватскаго и болгарскаго. М. Петровскій началъ печатать свои переводы въ 1861 г., когда вышла его первая книга подъ тѣмъ же заглавіемъ, какое носить и вышедшая теперь; много его переводовъ помѣщено было также въ гербелевской «Поэзіи славянъ», работали покойный переводчикъ и въ другихъ изданіяхъ. Въ данное собраніе, вышедшее подъ редакціей И. Петровскаго, вошло все, что было переведено покойнымъ, кромѣ того, что, какъ поэма Гавличка: «Паденіе Перуна», не могло быть напечатано по цензурнымъ условіямъ. Переводы М. Петровскаго гладки, литературны, довольно близки къ подлиннику; не всегда они, — что почти невозможно, — стоятъ на уровнѣ вдохновенной высоты подлинника (особенно въ сербскихъ народныхъ пѣняхъ), но въ дѣлѣ ознакомленія русскаго чита-

теля съ творчествомъ родственныхъ народовъ они сыграли и способны еще сыграть значительную роль. Въ настоящее время, когда въ русскомъ обществѣ оживился интересъ къ славянству, изданіе переводовъ М. Петровскаго можно признать вполне своевременнымъ.

М. Сл.

М. Д. Рывкинъ. Навѣтъ. Романъ. Спб., 1912 г. Стр. 279. Цѣна 1 руб. 25 коп.

Произведеніе М. Д. Рывкина — историческій романъ изъ эпохи Александра I и Николая I, посвященный извѣстному велижскому дѣлу по обвиненію евреевъ въ ритуальномъ убійствѣ. Дѣло это началось въ 1823 г. и закончилось въ 1835 г. Поводомъ къ возникновенію его послужило исчезновеніе въ г. Велижѣ, Витебской губ., въ первый день Пасхи 1823 г. малолѣтняго сына мѣстнаго рядового Емельяна Иванова. Недѣли черезъ двѣ трупъ его былъ найденъ въ лѣсу; повидимому, заблудившійся ребенокъ погибъ отъ истощенія и страха. Однако по доносу пьяной и распутной солдатки Марьи Терентьевой возникло дѣло по обвиненію мѣстныхъ евреевъ въ убійствѣ съ религіозною цѣлью. Витебскій главный судъ въ 1824 г. постановилъ оставить привлеченныхъ къ дѣлу евреевъ «безъ всякаго подозрѣнія», а Терентьеву «за блудное житіе» приговорилъ къ церковному покаянію. По жалобѣ Терентьевой въ 1825 году дѣло было возобновлено, и на этотъ разъ имъ усиленно «заинтересовался» ген.-губернаторъ кн. Хованскій. Въ Велижѣ прибыла специальная слѣдственная комиссія, и по оговору Терентьевой, 44 еврея были закованы въ кандалы и заключены въ одиночныя камеры. Слѣдствіе велось «съ пристрастіемъ», необычнымъ даже для того времени; узники, въ числѣ которыхъ были женщины и старики, подвергались истязаніямъ, не только нравствен-

нымъ, но и физическимъ. Руководившій розысками слѣдователь Страховъ, настраивавшій Терентьеву и въ тоже время ея гипнотизируемый, раздвинулъ рамки слѣдствія до такихъ предѣловъ, при которыхъ чудовищное обвиненіе предъявлялось уже не отдѣльнымъ лицамъ, указывавшимся всегда пьяною солдаткою, а всему еврейскому населенію. По докладу кн. Хованскаго, въ 1826 году послѣдовало Высочайшее повелѣніе: «въ страхъ и примѣръ другимъ, жидовскія школы въ Велижѣ запечатать впредь до повелѣнія, не дозволяя служить ни въ самыхъ сихъ школахъ, ни при нихъ». Несчастные, томившіеся въ заключеніи около 9 лѣтъ, рѣшительно отрицали свою виновность и изобличали Терентьеву во лжи; нѣкоторые изъ нихъ погибли въ тюрьмѣ. Въ 1830 г. Страховъ, повидимому, убѣдившись, что онъ введенъ былъ Терентьевой въ заблужденіе, покончилъ самоубійствомъ. Въ концѣ 1834 г. дѣло перешло въ государственный совѣтъ, который по докладу гр. Мордвинова постановилъ освободить евреевъ отъ слѣдствія и суда, а Терентьеву за недоказанный доносъ сослать въ Сибирь на поселеніе. 18 января 1835 г. мнѣніе государственнаго совѣта государемъ было утверждено. Въ своемъ романѣ М. Д. Рывкинъ даетъ изображеніе трагедіи, въ продолженіе почти десяти лѣтъ тяготѣвшей надъ всемъ еврейскимъ населеніемъ города. Книга изобилуетъ любопытными штрихами бытовой исторіи евреевъ въ Россіи первой четверти XIX в. О велижскомъ процессѣ полезно было напомнить именно въ наши дни, въ виду дѣла Вейлиса.

С. Г.

Историческая беллетристика въ школѣ. Опытъ систематич. критическаго указателя. Ч. I. Всеобщая исторія. Составила Д. Г. Зандвергъ, подъ ред. Д. Н. Егорова. М. 1912 г. Цѣна 90 коп.

Книжка эта вызвана настоятельной потребностью. Въ подобныхъ указателяхъ и справочникахъ нуждается преподаваніе, чтобы быть живымъ, развивать въ учащихся самостоятельность и любовь къ знанію. Вѣрный путь къ этой цѣли—воздѣйствіе на художественную впечатлительность дѣтства и юности. Иная художественная страница большому способна научить, чѣмъ цѣлое изслѣдованіе. Наука даетъ готовые обобщенія, которыя, какъ бы ни были они приспособлены къ условіямъ возраста, усваиваются трудно—и педагогъ зоветъ на помощь художника, который, вводя читателя въ свой волшебный міръ, готовитъ почву

для самостоятельнаго претворенія частнаго въ общее. Художественный матеріалъ, рекомендуемый составителями, не великъ, но зато выбранъ удачно. Составители останавливались только на произведеніяхъ неоспоримой художественной цѣнности и старательно систематизировали матеріалъ, располагая его въ стройной хронологической послѣдовательности и отмѣчая все, характеризующее главныя стороны культурной исторіи.

Н. Л.

А. И. Боргманъ. Русская исторія. Пособіе для средней школы и самообразованія. Часть I. Спб., 1912. Часть II. Спб. 1913 г. Цѣна каждой части 2 р. 50 к.

Учебникъ г. Боргмана счастливо соединяетъ въ себѣ школьное пособіе съ книгой для самообразовательнаго чтенія. Онъ довольно объемистъ, и преподавателямъ придется при задаваніи уроковъ указывать ученикамъ неизбѣжныя сокращенія, но маломальски пытливый ученикъ охотно прочтаетъ и отмѣченныя скобками главы. Трудъ исполненъ съ большимъ педагогическимъ тактомъ и умѣлою осторожностью въ соблюденіи требованій школьной и иной политики. Содержаніе учебника вполне соответствуетъ уровню современной исторической науки, съ послѣдними приобритеніями которой авторъ, повидимому, прекрасно знакомъ; изложеніе живо и ясно. Ни одно изъ основныхъ теченій государственной жизни не упущено изъ виду. Всему дана объективная оцѣнка. Весьма пригодится любознательнымъ учащимся экономно составленный списокъ самыхъ важныхъ и доступныхъ трудовъ по русской исторіи.

Н. Л.

Программы для самообразованія (курсы высшей школы). Науки общественно-юридическія. Наука о народномъ хозяйствѣ. Статистика. Правовѣдѣніе. Москва, 1913 г. Стр. 264. Цѣна 60 коп.

Скромное заглавіе этой книги не даетъ яснаго представленія о дѣйствительномъ ея содержаніи: мы находимъ въ ней обстоятельный, всесторонній и въ тоже время сжатый критическій обзоръ литературы по разнымъ отдѣламъ социальныхъ и юридическихъ наукъ, составленный цѣлымъ рядомъ ученыхъ специалистовъ, преимуще-

ственно московскихъ. Этотъ сборникъ, посвященный «свѣтлой памяти Александра Ивановича Чупрова», является незамѣнимымъ пособіемъ не только для лицъ стремящихся къ самообразованію по известной программѣ, но и для всѣхъ, интересующихся современнымъ положеніемъ политической экономіи и правовѣдѣнія. Вступительная статья — объ отношеніи между хозяйствомъ и правомъ — принадлежитъ проф. А. А. Махулову по политической экономіи и ея исторіи, по экономіи промышленности и рабочему вопросу имѣются очерки проф. В. Я. Желѣзнова, по аграрному вопросу и сельскому хозяйству — А. А. Кауфмана и А. Н. Анцыферова, по статистикѣ — проф. Н. А. Каблукова, по общему ученію о правѣ — проф. П. И. Новгородцева и В. Вышеславцева, по государственному праву — В. А. Кистяковского и др.

Л. С.

«Домъ науки» имени П. И. Макушина въ Томскѣ. Томскъ, 1912 г.

Томскій «домъ науки» — народный университетъ, первый въ Сибири, возникшій по инициативѣ и преимущественно на средства мѣстнаго дѣятеля П. И. Макушина, который, «болѣя душой о распространеніи въ Сибири научныхъ знаній», положилъ начало просвѣтителскому разсаднику демократической окраски. Въ концѣ прошлаго года двери «дома науки» раскрылись впервые и въ память этого культурнаго торжества и была выпущена «на память» настоящая книжка. Образцомъ для устава томскаго народнаго университета послужилъ уставъ московскаго университета имени Шанявскаго, очевидно — своего рода «нормальный уставъ» для всѣхъ подобныхъ заведеній.

Н. Л.

В. В. Быховскій. Духовныя завѣщанія по дѣйствующему русскому законодательству. Москва, 1913 г. Стр. 166. Цѣна 1 руб.

Предназначенная служить общедоступнымъ практическимъ пособіемъ для лицъ, не имѣющихъ возможности или желанія пользоваться услугами повѣреннаго, книга В. В. Быховскаго содержитъ популярный очеркъ дѣйствующаго русскаго законодательства о духовныхъ завѣщаніяхъ, текстъ статей закона по этому предмету, законъ 3 іюня 1912 г. о расширеніи правъ на

слѣдованія по закону лицъ женскаго пола и права завѣщанія родовыхъ имѣній и образцы завѣщаній и относящихся къ нимъ прошеній. Очеркъ законодательства о завѣщаніяхъ, съ точки зрѣнія популяризаціи, преслѣдуемой авторомъ, въ общемъ составленъ недурно. Указаніе на то, что «законъ ставить условіемъ, чтобы всякаго рода споры противъ завѣщаній предъявлялись не позднѣе двухъ лѣтъ со дня публикаціи объ утвержденіи завѣщаній къ исполненію» — является чрезмѣрно категоричнымъ: въ силу сенатской практики, названный срокъ можетъ относиться только къ такимъ распоряженіямъ завѣщателя, которыя подлежатъ непосредственному исполненію послѣ его смерти. Приводимыя авторомъ извлеченія изъ сенатскихъ рѣшеній, недостаточныя для специалистовъ, въ большинствѣ случаевъ являются излишними для тѣхъ читателей, на которыхъ рассчитана книга.

С. Г.

Славянскій вопросъ въ его современномъ значеніи. Рѣчи и статьи. Спб. 1913 г. Цѣна 60 коп. Стр. 139.

Сборникъ изданъ молодымъ С.-Петербургскимъ Славянскимъ Обществомъ научнаго единенія, которое, въ отличіе отъ другихъ славянскихъ обществъ въ Петербургѣ, въ основу своей дѣятельности ставитъ «не племенной или расовый, не зоологическій, а культурно-психологическій принципъ, — принципъ сближенія всѣхъ дѣятелей, работающих на пользу общеславянской культуры, независимо отъ принадлежности ихъ къ тому или иному племени»; цѣлью своею общество ставитъ «не стремленіе къ сліянью, а единеніе при взаимной поддержкѣ самобытности каждаго славянскаго народа». Цитаты эти взяты изъ рѣчи проф. Вехтерева, открывающей сборникъ. Изъ другихъ статей сборника интересны: обстоятельное изложеніе вопроса объ отношеніи Сербіи и Балканскаго союза — проф. Лаврова; статья проф. Ковалевскаго о томъ, какой свѣтъ бросаетъ изученіе славянскаго права на бытовые порядки русскаго крестьянства; рѣчь проф. Чубинскаго на тему: «Балканская война и вопросы культуры». Любопытна также рѣчь деп. А. М. Александрова о настроеніи русскаго общества въ провинціи по томъ, какое значеніе для русскаго самосознанія имѣли балканскія событія: «они насъ вытащили изъ бездны отчаянія, самоанализа», «они подтвердили необходимость свободнаго развитія русскаго государства». Къ книгѣ приложенъ уставъ общества.

М. См.

Около болгарской войны. Дневникъ и сборъ девять любительскихъ фотографій.  
А. Пиленко. Спб., 1913 г. Цѣна  
1 р. 50 коп. Стр. 218.

Книга странная, настолько странная, что г. Пиленко счелъ необходимымъ оправдаться въ ней еще тогда, когда она не только не была напечатана, но не была даже написана. Въ предисловіи онъ даетъ ссылку на это оправданіе. На стр. 108-ой читаемъ: «Написалъ я уже не мало корреспонденцій. Перебираю ихъ въ умѣ: болшинство, оказывается, вертится вокругъ моей персоны: какъ я застрѣлъ въ болотѣ, какъ я ѣлъ вонючій кашкавалъ, какъ спалъ безъ оконъ... Всѣ эти корреспонденціи явно персональны. Поѣхалъ описывать войну,—а строчу о томъ, что сыръ скверно пахнетъ. Правильно ли это?» Авторъ, «единственный» (курсивъ автора) корреспондентъ, допущенный «въ самое пекло войны», находитъ, что это правильно. Г. Пиленко полагаетъ, что если онъ опишетъ испытанныя имъ неудобства, то читатель

сможетъ при помощи своей фантазіи вообразить все то, что испытывалъ на войнѣ болгарскій солдатъ. И потому онъ пишетъ о себѣ. Кромѣ того, авторъ ставитъ себѣ въ заслугу то, что «изъ-подъ (его) пера не вышло до сихъ поръ ни одного лживаго слова».

Книга г. Пиленко иллюстрирована фотографическими снимками, и это наиболѣе интересная часть изданія. Къ сожалѣнію, авторъ и фотографію заставилъ служить себѣ; на снимкахъ то и дѣло изображенъ петербургскій профессоръ, онъ же «единственный» корреспондентъ: Г. Пиленко на конѣ, еще на конѣ, потому его вещи, потому онъ бредетъ... Странная книга, и увѣ!—пока единственная объ этой единственной въ своемъ родѣ войнѣ. Будемъ надѣяться, что другіе корреспонденты, несмотря на «единственнаго» г. Пиленка, тоже побывавшіе «въ пеклѣ войны», расскажутъ русскому читателю о томъ, чего не сумѣлъ видѣть и рассказать новременскій профессоръ.

М. Сл.



## Въ теченіе марта мѣсяца въ редакцію поступили слѣдующія книги и брошюры:

*Абелодлевъ, Д.* Тѣнь вѣка сего. Романъ. Москва, 1913 г. Цѣна 3 руб.

*Айзманаъ, Д. Я.* Собраніе сочиненій. Т. V. Спб., 1913 г. Цѣна 1 руб. 25 коп.

*Амфитеатровъ, Александръ.* На всякій звукъ. Спб., 1913 г. Цѣна 1 р. 25 коп.

*Анисимовъ, Юліанъ.* Обитель. Москва, 1913 г. Цѣна 1 руб.

*Антоновъ, С. С.* Возвратъ пошлѣнъ въ Россію. Спб., 1913 г.

*Арандаренко, В. В.* Первый царь изъ дома Романовыхъ. Москва, 1913 г. Цѣна 20 коп.

*Баллодъ, Ф. В.* Введеніе въ исторію бородатыхъ карликообразныхъ божествъ въ Египтѣ. Москва, 1913 г. Цѣна 2 руб.

— Древній Египетъ, его живопись и скульптура. Москва, 1913 г. Цѣна 1 руб. 25 коп.

*Берсеневъ, Н. И.* В. Г. Вѣлинскій. Нижний-Новгородъ, 1913 г. Цѣна 7 к.

*Бойко, М.* Общество для распространенія знаній или незнаній. Москва, 1913 г. Цѣна 50 коп.

*Бориманъ, А. М.* Учебная книга по русской исторіи. Часть II. Съ Петра Великаго. Спб., 1913 г. Цѣна 75 коп.

— Русская исторія. Часть II. Спб., 1913 г. Цѣна 2 руб. 50 коп.

*Булаковъ, С.* Очерки по исторіи экономическихъ ученій. Вып. I. Москва, 1913 г. Цѣна 1 руб. 50 коп.

*Быховскій, В. В.* Духовныя завѣщанія. Москва, 1913 г. Цѣна 1 руб.

*Ватеръ, Владиміръ.* Біологическія основанія сравнительной психологіи. Т. II. Спб., 1913 г.

*Вассерманъ, Я.* Романъ мужчины сорока лѣтъ. Спб., 1913 г. Цѣна 1 руб.

*Видорчинъ, Н. А.* Опасность промышленнаго труда. Спб., 1913 г. Цѣна 1 руб.

*Волошинъ, Максимиліанъ.* О Рѣпинѣ. Москва, 1913 г. Цѣна 50 коп.

*Гартманъ, В. А.* Водареніе дома Романовыхъ. Москва, 1913 г. Цѣна 12 коп.

*Гиземпелъ, К.* Оплодотвореніе и явленія наслѣдственности въ растительномъ царствѣ. Москва, 1913 г. Цѣна 50 коп.

*Гинсъ, Г.* Переселеніе и колонизація. Вып. I. Спб., 1913 г.

*Григорьевъ, М. И.* Мелкій кредитъ въ Ярославской губ. Ярославль, 1912 г.

*Гурьевъ, А.* Отъ скуки. Книжка 2-ая и 3-ья. Спб., 1913 г. Цѣна каждой книжки 1 руб. 25 коп.

*Гюго, Викторъ.* Соборъ Парижской Богоматери. Ред. и вступительная статья П. С. Когана. Т. I, II и III. Спб., 1913 г. Цѣна за три тома 3 руб. 50 коп.

*Дмитриевъ, В. Н.* Леченіе морскими купаніями на берегахъ Чернаго моря. Спб., 1913 г. Цѣна 1 руб.

— Кефиръ. Спб., 1913 г. Цѣна 75 к.

*Дуловская, врачъ.* Куда вести больныхъ дѣтей. Спб., 1912 г. Цѣна 80 коп.

*Ждановъ, Левъ.* Въ стѣнахъ пнтриги (Два потока). Спб., 1913 г. Цѣна 1 руб. 50 коп.

*Зейнелъ, И.* Хозяйственно-этическія взгляды отцовъ церкви. Москва, 1913 г. Цѣна 2 руб.

*Карповъ, Вл.* Основные черты органическаго пониманія природы. Москва, 1913 г. Цѣна 80 коп.

*Клоповъ, А. А.* Самодѣтельность и земство въ народной жизни Россіи. Спб., 1913 г. Цѣна 30 коп.

*Клюевъ, Николай.* Лѣсныя были. Москва, 1913 г. Цѣна 60 коп.

— Сосенъ перезвонъ. Москва, 1913 г. Цѣна 60 коп.

*Князевъ, В.* Частушки-коротушки С.-Петербургской губ. Спб., 1913 г. Цѣна 1 р. 50 коп.

*Коноваловъ, Ис.* Очерки современной деревни. Спб., 1913 г. Цѣна 1 р. 50 коп.

*Конопницкая, Марія.* Собраніе сочиненій. Т. I. Спб., 1913 г. Цѣна 1 р. 25 коп.

*Круковский, Адр.* Народные и общественные мотивы поэзіи Некрасова. Варшава, 1913 г.

*Кузницкая, С.* Занятый паръ въ

подмосковской деревнѣ. Москва, 1913 г. Цѣна 15 коп.

*Кулишъ, І. М.* Лекціи по исторіи экономическаго быта Зап. Европы. Изд. 3-ье. Спб., 1913 г. Цѣна 2 р. 50 коп.

*Лаврентьевъ, Д. К.* Торговое право, вексельное и морское. Москва, 1913 г. Цѣна 1 р. 50 коп.

*Лехеръ, Е.* Физическія картины міра. Москва, 1913 г. Цѣна 50 коп.

*Ладиславскій, Вл.* Дома. Спб., 1913 г. Цѣна 40 коп.

*Ломакинъ, А. А.* Статистическое обследованіе товарообмѣна между Россіей и Германіей. Спб., 1913 г.

*Лондонъ, Джозъ.* Полное собраніе сочиненій. Т. XIII. Вѣлый клыкъ. Москва, 1913 г. Цѣна 1 руб.

*Лукрецій.* О природѣ вещей. Пер. И. Рачинскаго. Москва, 1913 г. Цѣна 2 р. 25 коп.

*Льткова, Ек.* Разказы. Спб., 1913 г. Цѣна 1 р. 25 коп.

*Маминъ - Сибирякъ, Д.* Горное гнѣздо. Романъ. Спб., 1913 г. Цѣна 1 р. 50 коп.

*Маркеловъ, Г. И.* Этюды по психологіи искусства. Спб., 1913 г. Цѣна 1 руб.

*Матвеевъ, М. П.* О взаимоотношеніяхъ земской и правительственной агроном. организацій, работающихъ въ Ярославской губ. Ярославль, 1912 г.

*Мейманъ, Эрнстъ.* Экономія и техника памяти. Пер. Н. Самсонова. Москва, 1913 г. Цѣна 2 руб. 50 коп.

*Мелиховъ, В. А.* Отвѣтъ «Русской Мысли» на ея отзывъ объ «Иудеяхъ въ Римской исторіи по изслѣдованію Э. Ренана». Харьковъ, 1913 г. Цѣна 10 коп.

*Миллеръ, Е. Е.* Условно-безпошлинный ввозъ для переработки и возврата пошлины въ Германію. Спб., 1913 г.

*Милль, Пьеръ.* По бѣлу свѣту. Разказы. Спб., 1913 г. Цѣна 1 руб.

*Музыкаль, В. В.* Собраніе сочиненій. Т. VIII и IX. Годъ. Спб., 1912 г. Цѣна 2 р. 50 коп.

*Монжессори, М.* Домъ ребенка. Москва, 1913 г. Цѣна 2 р. 50 коп.

*Мошковъ, В. А.* Болгарія, ея други и недруги. Варшава, 1913 г. Цѣна 45 коп.

*Мюрже, А.* Богема. Романъ. Спб., 1913 г. Цѣна 1 р. 25 коп.

*Нордау, Максъ.* Собраніе сочиненій. Т. I и II. Москва, 1913 г. Цѣна каждаго тома 1 руб.

*Некляевъ, И. Я.* Ближайшія за-

дачи Яросл. губ. земства въ области опытнаго дѣла. Ярославль, 1912 г.

*Некляевъ, И. Я.* Сельско-хозяйственные общества въ Ярославской губ. Ярославль, 1913 г.

*Ньинъ.* Грядущій Фаустъ. Изд. 2-ое. Рязань, 1912 г. Цѣна 30 коп.

*Одоевскій, В. О., кн.* Русскія ночи. Москва, 1913 г. Цѣна 2 руб.

*Окуновъ, Н. А.* Практическія указанія къ устройству воспитательно-исправительныхъ заведеній. Спб., 1913 г. Цѣна 50 коп.

*Олмеръ, Н.* Собраніе сочиненій. Т. III. Спб., 1913 г. Цѣна 1 р. 25 коп.

*Эльмановичъ, С. Д.* Заковъ Ману. Пер. съ санскритскаго. Спб. 1913 г. Цѣна 2 р. 50 коп.

*Опацинъ, В. Г.* Золотые сны. Романъ. Спб., 1913 г.

*Островскій, К.* Свѣтъ солнца. Спб., 1913 г. Цѣна 1 руб.

*Оаитовичъ, А. П.* Геометрія круга. Казань, 1908 г. Цѣна 1 руб.

*Панкратовъ, А. С.* Потомки Ивана Сусанина. Москва, 1913 г. Цѣна 20 коп.

*Перевушинъ, С.* Периодическія колебанія сельско-хозяйственной и городской выѣзмейдѣльной промышленности въ Россіи. Ярославль, 1912 г.

*Полонская, Н. Д.* Историко-культурный атласъ по русской исторіи. Вып. I. Кіевъ, 1913 г. Цѣна 2 руб.

*Померанцевъ, П. М.* Ростовскія артели по переработкѣ и сбыту сухенныхъ овощей. Ярославль, 1912 г.

*Прокоповичъ, С.* Кооперативное движеніе въ Россіи, его теорія и практика. Москва, 1913 г. Цѣна 2 р. 50 коп.

*Пушбышевскій, Станиславъ.* Освобожденіе. Романъ. Москва, 1913 г.

*Райскій, А.* Новые звуки. Кислородскъ, 1913 г. Цѣна 50 коп.

*Рыковъ, В.* Вѣтъ средней школы. Спб., 1912 г. Цѣна 1 р. 50 коп.

*Рядинъ, Е. П.* Душевное настроеніе современной учащейся молодежи. Спб., 1913 г. Цѣна 50 коп.

*Савватій.* Тетрадь въ сафьянѣ. Спб., 1913 г.

*Седашевъ, В.* Очерки и матеріалы по исторіи землевладѣнія Московской Руси въ XVII вѣкѣ. Москва, 1912 г. Цѣна 2 р. 50 коп.

*Семеновъ, Леонидъ.* «Ангель» Очерки поэзіи Лермонтова. Харьковъ, 1912 г.

*Сергеевъ-Ценскій, С.* Собраніе сочиненій. Т. VI. Москва, 1913 г. Цѣна 1 р. 25 коп.

Скаловскій, А. Н. Микрокосмосъ и макрокосмосъ. Спб., 1913 г. Цѣна 2 руб.

Соловьевъ, П. (*Allegro*). Перекре-стокъ. Повѣсть въ стихахъ. Спб., 1913 г. Цѣна 50 коп.

Соловьевъ, Владиміръ. Владиміръ Св. и христіанское государство. Москва, 1913 г. Цѣна 75 коп.

Стевянинъ, Игорь. Громокипящій кубокъ. Поэзы. Москва, 1913 г. Цѣна 1 руб.

Тассаръ, Ф. Воспоминанія о Гюи де Мопассанѣ его слуги Франсуа. Пер. съ франц. Спб., 1913 г. Цѣна 1 р. 50 коп.

Трубецкой, Евгений, кн. Міросозерцаніе Вл. С. Соловьева. Т. I. Москва, 1913 г. Цѣна за два тома 4 руб.

Тэнъ, И. Чтенія объ искусствѣ. Пер. съ франц. Н. Соболевскаго. №№ 659, 660, 663, 664 и 667 «Универсально» библіотеки». Москва, 1913 г. Цѣна 50 коп.

Усовскій, Б. Мотокультура. Харьковъ, 1913 г. Цѣна 20 коп.

Фридь, С. Б. Александръ Сергѣевичъ Даргомыжскій (1813—1913). Спб., 1913 г. Цѣна 20 коп.

Фриче, З. Поэзія кошмаровъ и ужаса. Москва, 1913 г. Цѣна 3 руб. 50 коп.

Храповицкій, В. А. Діана. Екате-ринославе, 1913 г. Цѣна 25 коп.

Цытаева, Марина. Изъ двухъ книгъ. Москва, 1913 г. Цѣна 15 коп.

Чаадаевъ, П. Я. Сочиненія и письма. Т. I. Подъ ред. М. Гершензона. Москва, 1913 г. Цѣна за два тома 5 руб.

Штернъ, Евгений. Современные русскіе лирики. 1907—1912. Стихо-творенія. Спб., 1913 г. Цѣна 2 руб.

Шукинъ, С. Около церкви. Москва, 1913 г. Цѣна 1 руб.

Энгельмейеръ, П. Е. Философія техники. Вып. 4-ый. Техницизмъ. Москва, 1913 г. Цѣна 80 коп.

Яблоновскій, А. Родныя картинки. Т. III. Москва, 1913 г. Цѣна 1 руб. 25 коп.

Оедоровъ, Николай Оедоровичъ. Фи-лософія общаго дѣла. Т. II. Москва, 1913 г. Цѣна 2 р. 50 коп.

Библиотечкарь. Вып. III—IV. Спб., 1913 г.

Вѣстникъ рязанскаго губ. земства. № 1. Рязань, 1913 г.

Къ вопросу о торговомъ договорѣ съ Германіей. Вып. I. Сборникъ ста-тей подъ ред. проф. М. Н. Соболева. Харьковъ, 1913 г.

Доклады Ярославской губ. зем.

управы Ярославскому губ. зем. со-бранію сессіи 1912 г. Ярославль, 1913 г.

Ежегодникъ экспериментальной пе-дагогики. V. Спб., 1913 г. Цѣна 1 р.

Засахаръ-Кры. Эго-футуристы. V. Спб., 1913 г.

Земскій агрономъ. № 1 и 2. Са-мара, 1913 г.

Земскія оцѣнки имуществъ въ Черниговской губ. Вып. I. Сост. М. П. Красильниковъ. Уфа, 1913 г.

Земско-статистическій справочникъ по Самарской губ. на 1913 г. Самара, 1913 г. Цѣна 30 коп.

Знаніе для всѣхъ. № 1—3. Спб., 1913 г.

Извѣстія м-ва иностранныхъ дѣлъ. Книга I. Спб., 1913 г.

Извѣстія одесскаго библиографи-ческаго общества при Император-скомъ Новороссійскомъ универси-тетѣ. Томъ II. Вып. I и II. Одесса, 1913 г.

Изданія «Посредника». № 34. Цвѣтничъ. Сборникъ разсказовъ. № 40. Въ зеленомъ саду. Проф. Кре-келина. № 258. И. Горбуновъ-Поса-довъ. Живая любовь. № 337. Э. Оже-шко. Въ зимній вечеръ. № 536. О. Рунова. Павлюкъ. № 538. Пѣснь о матери. Сборникъ стихотвореній. Сост. И. Горбуновъ-Посадовъ. № 665. Л. Н. Толстой. О Шекспирѣ и о драмѣ. Критическій очеркъ. № 880. Жизнь и ученіе Сиддарты Готамы, прозваннаго Буддой. Сост. П. А. Буланже, подъ ред. Л. Н. Толстого.

Изманъ Ивановъ-Срезневскій. 1812—1912. Краткій библиографи-ческій очеркъ. Спб., 1913 г.

Итоги одѣжно-статистическаго изслѣдованія Пензенской губ. Подъ общимъ руководствомъ В. Г. Гро-мана. Серія III, часть II. Вып. I. Ке-ренскій уѣздъ. Пенза, 1913 г. Цѣна 75 коп.

Календарь и справочная книжка земскаго корреспондента Московской губ. На 1913 г. Москва, 1913 г. Цѣна 25 коп.

Календарь Харьковскаго губ. зем-ства на 1913 г.

Кинешемскій земскій календарь-ежегодникъ на 1913 г. Цѣна 15 коп.

«Новая Жизнь». № 2. Львовъ, 1913 г.

Общество потребителей въ Яро-славской губ. Ярославль, 1912 г.

Описаніе выставки въ память столѣтія со дня рожденія И. И. Срезневскаго. Спб., 1913 г.

Отчетъ о маслосѣльныххъ арте-

ляхъ Ярославской губ. за 1911 операционный годъ. Ярославль. 1913 г.

*Отчетъ* Харьковскаго порайоннаго комитета по регулированию массовыхъ перевозокъ грузовъ по жел. дорогамъ за 1911 годъ. Харьковъ, 1912 г.

*Письма* А. П. Чехова. Т. III. (1890—1891). Москва, 1913 г. Цѣна 1 р. 25 коп.

*Происхождение человека*. Настольная книга по воспитанію дѣтей. Спб., 1913 г. Цѣна 1 руб. 50 коп.

*Рулевой*. № 1. Спб., 1913 г.

*В. В. Самойловъ*. Чествованіе столѣтія со дня его рожденія. 1813—1913. Спб., 1913 г.

*Сборникъ* рѣшеній гражданскаго кассационнаго департамента прав. Сената съ 1866 по 1914 г. въ сокращенной обработкѣ для практики. Подъ ред. Е. В. Васильева. Вып. I. Одесса, 1913 г.

*Сборникъ* статистическихъ свѣдѣній объ экономическомъ положеніи переселенцевъ въ Сибири. Вып. I, II, III и IV. Подъ ред. В. В. Кузнецова. Спб., 1912 г.

*Статистическій ежегодникъ* 1912 г. Изд. Харьковской губ. зем. управы. Харьковъ, 1913 г.

*Трудовая группа* въ IV. въ Гос. Думы. Обзоръ дѣятельности съ 15

ноября по 15 декабря 1912 г. Спб., 1913 г. Цѣна 10 коп.

*Труды* Харьковскаго об-ва сельскаго хозяйства за 1911 г. Харьковъ, 1912 г.

*Указатель* кооперативныхъ организаций и сельско-хозяйственного общества Ярославской губ. Ярославль, 1912 г.

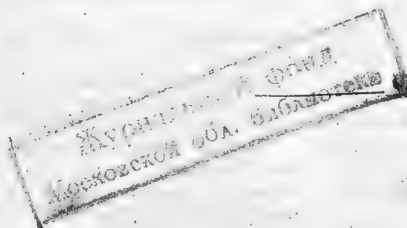
*Универсальная библиотека*. № 587. Л. Н. Толстой. Отецъ Сергій. Дьяволъ. № 590. Леопидъ Андреевъ. Рассказъ о семи повѣшенныхъ. № 665—666. Л. М. Гартманъ. Паденіе античнаго міра. № 669. Дж. Уатсонъ. Наслѣдственность. № 802—805. П. Флоберъ. Саламбо. Ропсанъ. № 807—809. Майнъ-Ридъ. Ползуны по скаламъ. № 820—821. Анатоль Франсъ. Подъ придорожнымъ вязомъ. № 822. Джекъ Лондонъ. Сила женщины. № 825. Джекъ Лондонъ. Последняя борьба. Москва, 1913 г. Цѣна каждого выпуска 10 коп.

*Уфимскій земскій календарь* на 1913 годъ. Уфа, 1913 г.

*Южный кооператоръ*. № 3. Одесса 1913 г.

*Balkanicus*. Le problème albanais, la Serbie et l'Autriche-Hongrie. Paris, 1913. Prix 1 fr. 50 c.

*Patouillet, I. Ostrovski et Son théâtre de moeurs russe*. Paris, 1912.



Библиотека  
ХАРЬКОВСКОГО  
О-ва Потребителей

Издатель: М. М. Ковалевскій.

Ред.: { Р. К. Арсеньевъ.  
Д. Н. Овсянко-Куликовскій.



